

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
СЪЕЗД  
СЛАВИСТОВ

---

СЛАВЯНСКОЕ  
ЯЗЫКОЗНАНИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА  
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ

**Редакционная коллегия:**

академик

**В. И. БОРКОВСКИЙ**

Член-корреспондент АН СССР

**О. Н. ТРУБАЧЕВ**

доктор филологических наук

**С. Б. БЕРНШТЕЙН**

доктор филологических наук

**Н. И. ТОЛСТОЙ**

Рукопись подготовила к печати

кандидат филологических наук

**Л. Г. НЕВСКАЯ**

# СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

Загреб—Любляна, сентябрь 1978 г.

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1978

Сборник содержит доклады крупных советских языковедов-славистов, предназначенные для VIII Международного съезда славистов.

Они охватывают наиболее актуальные проблемы исследований в современном языкоznании в области славистики, посвященные сравнительно-историческому изучению грамматического строя славянских языков, взаимодействию отдельных славянских языков между собой и с языками неславянскими, типологии систем славянских языков, особенно в области синтаксиса, этимологии и семантики, развитию древних славянских языков.

Особое внимание уделяется новейшим явлениям (включая и социолингвистические) в развитии славянских языков и диалектов в XX веке.

# ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС (1958—1978).

## ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

0. В этом докладе описываются результаты многолетних усилий большого международного коллектива, работающего над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА). В процессе работы были проведены многочисленные дискуссии, высказывались разные точки зрения. Но, как правило, обсуждение приводило к приемлемым для всех итогам. В дальнейшем изложение автор, возможно, не избежал некоторых личных взглядов. Однако он полагает, что большая часть изложенных ниже положений есть результат коллективной работы и принадлежит всем участникам работы в той мере, в какой они приемлемы для каждого из них.

1. К истории работы над ОЛА. Идея лингвогеографического изучения славянских языков возникла давно. Еще на I Международном съезде славистов в 1929 г. в Праге А. Мейе и Л. Теньер выступили с докладом «*Projet d'un Atlas Linguistique Slave*»<sup>1</sup>. С докладом «*Изоглоссы в славянском языковом мире*» выступил И. А. Бодуэн де Куртенэ<sup>2</sup>. Однако тогда еще недостаточно ясно осознавалось различие между лингвогеографическим изучением каждого и в конечном итоге всех славянских языков, с одной стороны, и Общеславянским лингвистическим атласом как работой нового типа, охватывающим целую семью родственных языков, имеющим свой собственный объект исследования, отличный от объекта национальных атласов — с другой.

Общая политическая обстановка 30-х годов в Европе не благоприятствовала проведению столь обширного международного начинания, поэтому оно не получило своего развития.

Обстановка изменилась после окончания второй мировой войны. К предполагавшемуся в Москве в 1948 г., но не состоявшемуся III Международному съезду славистов были представлены доклады на тему об ОЛА Р. И. Аванесова, Б. А. Ларина (СССР), П. Скока (Югославия), З. Штибера (Польша)<sup>3</sup>. В 1956 г.

<sup>1</sup> См.: *Sborník prací I Sjezdu Slovanských filologů v Praze*, sv. II. Praha, 1932:

<sup>2</sup> *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию, т. 2. М., 1963, с. 353—355.

<sup>3</sup> Доклад Б. А. Ларина «О принципах составления Общеславянского лингвистического атласа» был опубликован. См.: Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова, Сер. филол. наук, вып. 14, 1949. Остальные доклады остались среди архивных материалов.

в Белграде была организована международная встреча славистов, целью которой главным образом было взаимное ознакомление ученых разных стран с проведенными в них исследованиями последних десятилетий. Однако эта встреча имела более широкое значение для развития славистических исследований, так как на ней был организован Международный комитет славистов. Последний сразу же приступил к подготовке IV Международного съезда славистов, состоявшегося в Москве в сентябре 1958 г.

В процессе подготовки к этому съезду были сделаны и первые шаги по созданию ОЛА. Московский и варшавский диалектологические центры при участии чехословацких и югославских лингвистов на основе некоторого количества общих ономасиологических вопросов в вопросниках национальных атласов составили 20 пробных карт, которые были продемонстрированы на Московском съезде и наглядно свидетельствовали о возможности создания ОЛА<sup>4</sup>. О том же свидетельствовали ответы на один из вопросов (№ 27), предложенных участникам съезда, а именно на вопрос о возможности создания ОЛА, на который положительно ответили многие лингвисты разных стран<sup>5</sup>.

Вопрос о создании ОЛА впервые широко был поставлен на IV Международном съезде славистов. Непосредственной основой для работы съезда стали доклады Р. И. Аванесова, С. Б. Бернштейна (СССР), З. Штибера (ПНР)<sup>6</sup>. Эти доклады подверглись широкому обсуждению лингвистов из славянских стран<sup>7</sup>.

Съезд признал издание ОЛА одной из важнейших задач славянского языкознания. Среди других вопросов на заседании Комиссии по Международным научным предприятиям был поставлен вопрос об издании ОЛА. Было заслушано сообщение Р. И. Аванесова, в обсуждении которого приняли участие А. Белич (СФРЮ), Б. Гавранек (ЧССР), В. И. Борковский (СССР). Было принято решение создать инициативную группу в следующем составе: от СССР — Аванесов, Бернштейн, Бирилло, Жилко, Орлова; от Чехословакии — Гавранек, Травничек, Я. Белич, Паулины, Штольц; от Польши — Нич, Дорошевский, Штибер, Дейна, Урбанчик; от Болгарии — Стойков; от Югославии —

<sup>4</sup> Некоторые из этих докладов были опубликованы. См.: *Pomianowska W. Z prac nad próbnyimi mapami dialektów słowiańskich*. — In: *Poradnik językowy*. Warszawa, 1959, s. 115—119; *Preobrazenskaja M. W sprawie próbnego mapowania ogólnosłowiańskiego materiału*. — In: *Poradnik językowy*. Warszawa, 1960, s. 31—35.

<sup>5</sup> См.: Сборник ответов на вопросы по языкознанию. (К IV Международному съезду славистов). М., 1958, с. 235—266.

<sup>6</sup> См.: Аванесов Р. И., Бернштейн С. Б. Лингвистическая география и структура языка. М., 1958; Штибер З. О проекcie Ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego. — В кн.: Славянская филология, т. 1. М., 1958, с. 129—135.

<sup>7</sup> См.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии, т. 2. Изд. АН СССР, М., 1962, с. 355—386. См. также: IV Международный съезд славистов. Отчет. Изд. АН СССР, М., 1960, с. 132—133.

Ивич; просить Аванесова (СССР) возглавить эту группу и установить постоянный контакт со всеми ее членами.

Тогда же состоялось заседание инициативной группы. Были даны поручения ее членам, намечена следующая встреча в Варшаве в 1959 г. В 1961 г. инициативная группа была реорганизована в постоянно действующую Комиссию ОЛА при Международном комитете славистов (МКС). Председателем Комиссии был избран Р. И. Аванесов. В течение 1958—1978 гг. инициативная группа, а затем Комиссия ОЛА при МКС собиралась 21 раз: в 1958 г. — в Москве, в 1959 — в Варшаве, в 1960 г. — в Бауцене, в 1961 г. — в Праге, в 1962 г. — в Будапеште, в 1963 г. — в Душниках, а затем в Бухаресте, в 1964 г. — в Сараеве, в 1966 г. — в Москве, в 1967 г. — в Братиславе, в 1968 г. — в Бауцене, в 1969 г. — в Софии, в 1970 г. — в Варшаве, в 1971 г. — в Скопле и Охриде, в 1972 г. — в Минске, в 1973 г. — в Цикхае, в 1974 г. — в Дрездене, в 1975 г. — в Софии, в 1976 г. — в Варшаве, в 1977 г. — в Любляне, в 1978 г. — в Москве. Заседания Комиссии продолжались от 3 дней (1973), до 4 недель (1963), чаще всего в течение 8—10 дней. Одновременно происходили и заседания редколлегии. Кроме того, с 1968 г. в Москве ежегодно в январе—феврале проводились двухнедельные совещания международной рабочей группы, в работе которой принимали участие также и многие члены редколлегии. Всего таких совещаний проведено 11. Таким образом, за 20 лет было проведено 32 совещания, из них 15 — в Советском Союзе.

В 1961 г. был составлен небольшой пробный вопросник для предварительного пробного обследования, который был опубликован в журнале «Вопросы языкознания» (1963, № 1, с. 67—74) с вводным комментарием и предисловием Я. Белича. Итоги собирания по нему материала (было обследовано 42 нас. пункта) подведены в статье С. Утешеного<sup>8</sup>.

Одновременно была начата работа над основным вопросником, а также установлением сетки населенных пунктов и фонетической транскрипцией.

Комиссия ОЛА при МКС представила V Международному съезду славистов в Софии (1963 г.) предварительное издание «Вопросника ОЛА» (Варшава, 1963), карту ОЛА с напечатанной на нее сеткой населенных пунктов, а также справочное издание «Работа по подготовке Общеславянского лингвистического атласа. История проекта — нынешнее состояние работы — библиография» под редакцией Я. Белича (Прага, 1963), «Фонологическая транскрипция ОЛА» (Москва, 1964). Окончательное издание вопросника было осуществлено в Москве в 1965 г. в количестве 3000 экз.

<sup>8</sup> См.: Утешеный С. Из опыта работы с пробным вопросником ОЛА. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965, с. 98—103.

земпляров, с тем чтобы обеспечить все страны — участницы работы<sup>9</sup>.

С этого времени началось фронтальное обследование населенных пунктов (всего 850), расположенных в 10 странах — Австрии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Италии, Польше, Румынии, СССР, Чехословакии, Югославии, а также в некоторых соседних.

В соответствии с рекомендацией Комиссии ОЛА при МКС советская комиссия ОЛА приступила к изданию тематических сборников ОЛА, первый из которых под названием «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования» вышел в 1965 г., второй под названием «Материалы и исследования по Общеславянскому лингвистическому атласу» — в 1968 г. С этого времени сборник стал ежегодником, выходящим под названием сборника 1965 г. С 1965 г. по 1978 г. включительно издано 10 сборников, в которых приняли участие ученые из Австрии, Венгрии, ГДР, Италии, Польши, Румынии, СССР, Чехословакии, Югославии. Сборники ставили и ставят своей целью информировать научную общественность о ходе и предварительных результатах работы над ОЛА, содействовать развитию и уточнению его проблематики, методики собирания материала, а также публиковать статьи по теоретическим вопросам лингвистической географии и исследования по славянской диалектологии и связи славянского диалектного материала с данными древних письменных источников.

VI-му Международному съезду славистов в Праге (1968) Комиссия ОЛА при МКС представила «Отчетный доклад...», составленный Р. И. Аванесовым, окончательную редакцию Вопросника, опубликованную в Москве (в 1965 г.), очередной сборник ОЛА (М., 1968), а также сообщила о состоянии работы по собиранию материала на 01.08.1968 г.

К этому времени были опубликованы, кроме того, «Инструкция к Вопроснику ОЛА» (М., 1967) и «Методические указания собирателям материалов по Вопроснику ОЛА» (М., 1968).

VII-му Международному съезду славистов (Варшава, 1973) были представлены «Отчетный доклад...», составленный Р. И. Аванесовым, очередные выпуски ежегодника ОЛА (за 1969, 1970, 1971 гг.), а также 27 пробных карт ОЛА (по состоянию сбора материала на 01.01.1971 г.) с комментариями к некоторым из них, а также с образцом индекса (свода материалов) по слову \*(j)elepъ. Пробные карты ОЛА были опубликованы для широкого обсуждения в сборнике ОЛА за 1971 г., который вышел в свет в 1974 г. К этому времени была выработана также примерная структура ОЛА, обсуждавшаяся на протяжении ряда лет, которая предполагает, кроме вводного выпуска, содержащего общие сведения об ОЛА, выпуски следующих серий: 1) лексической, словообразовательной и семантической; 2) грам-

<sup>9</sup> См.: Вопросник Общеславянского лингвистического атласа. М., 1965.

матической, в которую включены также фонетика и фонология, так как звуковые явления конца слова трудно отделить от явлений морфологических. Предполагается, что просодические явления частью войдут в серию фонетико-фонологическую, частью — в морфологическую. Комиссия ОЛА при МКС могла также доложить VII-му Международному съезду славистов об окончании сбора материала, о завершении авторской работы над двумя выпусками ОЛА: вступительным выпуском, где излагаются общие принципы ОЛА, даются краткие демографические описания для каждого населенного пункта, списки информаторов и списки эксплораторов с краткими сведениями о них (объем около 400 страниц машинописи) и выпуск атласа на тему «Животный мир» (53 карты с комментариями). Эти два выпуска в настоящее время находятся в печати в Издательстве «Наука» (Москва). Закончена работа также над фонетическим выпуском ОЛА на тему «Рефлексы \*о и \*ё» и лексико-словообразовательным атласом на тему «Животноводство». Ведется работа над последующими выпусками ОЛА.

Ввиду значительности объема работы Комиссия ОЛА пока планирует издание 20 выпусков ОЛА, относящихся к первым двум сериям — лексико-словообразовательной и фонетико-фонологической. Предполагается издавать ежегодно по одному выпуску.

**2. К проблематике ОЛА.** ОЛА должен дать материал, который способствовал бы решению двух качественно различных проблем — проблемы историко-сравнительной и проблемы синхронно-типологической.

Первая — традиционная область славянского языкознания — охватывает такие вопросы, как образование славянского языкового единства и последующее его диалектное членение, а в дальнейшем также образование современных славянских языков. ОЛА может дать материал (вместе с данными историческими в широком смысле, включая этнографические и археологические) для решения вопроса о первоначальной территории, занимаемой славянами, и их последующего распространения в разных направлениях в разные географические зоны и в разные исторические эпохи, о контактах славянских языков с народами неславянскими на весьма обширной территории, различными по своему качеству и уровню культурами, — с германцами, балтийцами, кельтами, фракийцами, иранцами, финно-уграми, тюрками. Все это в той или иной степени может отразиться на картах ОЛА, свидетельствуя о появлении соответствующих диалектных различий, о постепенном обособлении языкового развития отдельных частей славянства, о развитии современных языков и диалектов.

Материалы ОЛА, как и современные исследования, не подтверждают традиционную точку зрения, согласно которой никогда единый праславянский язык распался на юго-восточную и западную группы, а потом первая из них — на южную и вос-

точную, что привело к разграничению трех славянских языковых групп: южной, восточной и западной. Материалы ОЛА очень недвусмысленно подтверждают, что процесс распадения славянского языкового единства был много сложнее. Об этом свидетельствуют изоглоссы, пересекающие славянскую языковую территорию в самых разных направлениях. Это означает, что отдельные части славянства, не соответствующие выделяемым сейчас трем славянским языковым группам, в разные эпохи в силу разных экономических, политических, культурных причин были в неодинаковых отношениях друг к другу. Например, уже давно известно, что восточнославянские языки по одним языковым чертам ближе к южнославянским, а по другим — к западнославянским; что некоторые западнославянские языки и диалекты обнаруживают большую близость к южнославянским, чем другие, что некоторые языковые и диалектные различия в пределах южнославянской группы восходят еще к праславянской эпохе, в то время как различия в пределах восточнославянской группы в подавляющей своей части относятся к более поздней исторической эпохе; что реликты балто-славянских контактов обнаруживаются иногда в очень далеких друг от друга пунктах славянской языковой территории, и т. д.

Помимо проблемы реконструкции праславянского языка в его общих и диалектных чертах ОЛА несомненно даст материал и для освещения вопросов общеславянских, т. е. более поздних процессов, охватывающих в той или иной мере все славянские языки и диалекты, основанные на общности предшествующей эпохи, но протекавших в разных частях славянства в значительной мере самостоятельно и приведших к разным результатам.

Наконец, ОЛА даст материал для изучения истории формирования современных славянских языков и диалектов, внутриславянских контактов — процессов более позднего времени. Карты ОЛА помогут в той или иной степени выяснить сложные и неодинаковые языковые отношения: русско-белорусские, белорусско-украинские и русско-украинские, белорусско-польские и украинско-польские, связи восточных славян со степными племенами — монгольскими, тюркскими, иранскими, кавказскими. Картографирование карпатского региона, где был стык словацких, чешских, польских, западноукраинских диалектов с венгерскими и румынскими, позволит углубить изучение старых языковых отношений в этом районе. Славянские языки Балканского полуострова тесно взаимодействовали с языками соседних народов — турок, румын, греков, албанцев, что могло в той или иной мере сказаться на развитии языков этой группы. Более детальное освещение могут получить польско-чешские языковые отношения («ляшские» говоры территории Чехии), немецко-серболужицкий билингвизм и др.

Большое значение в историческом, культурном и языковом развитии славян имела христианизация. Как известно, одна часть

славян (большая часть южных славян и восточные славяне) восприняли христианство из греко-византийского региона, другая часть (поляки и чехи, а также хорваты) — из Рима, германо-католического источника. Православные славяне усваивали греческие языки, а восточные славяне — также и южнославянские языки, так как они приняли христианство непосредственно от последних. Восточное православное славянство в течение длительного времени развивалось, испытывая по преимуществу влияние византийской культуры как через Болгарию, так и из Византии — в силу давних непосредственных связей с последней. Однако Древняя Русь в домонгольский период поддерживала широкие связи также с Западной Европой. Монгольское нашествие, не доделавшее до Центральной и Западной Европы ввиду стойкого сопротивления, оказанного Русью, создало для Запада благоприятные условия для успешного экономического, политического и культурного развития, и вместе с тем оно до известной степени отгородило восточное славянство от западноевропейской культуры, что не могло не сказаться на характере его языкового развития. Однако значение монгольского нашествия этим не ограничивается. Оно способствовало консолидации части восточного славянства на севере и северо-востоке, а затем и северо-западе и образованию русской (великорусской) народности и ее языка. Оно в значительной мере было причиной и того, что западные и юго-западные территории Древней Руси оказались в составе Великого княжества Литовского, а позднее — Польско-Литовского государства. А это в свою очередь способствовало развитию белорусской и украинской народностей и их языков, а также более тесным связям с польской римско-католической культурой, а через них — и с немецкой. С XV—XVI вв. усиливаются связи Русского централизованного государства с центром в Москве с Западной Европой, что, естественно, сказалось на развитии русской культуры и языка. Кроме непосредственных связей Русского государства с Западной Европой для развития русского языка имели большое значение его связи с украинским и белорусским языками, которым были свойственны многие элементы польского языка, как исконно польские, так и немецкие и латинские по своему происхождению.

Длительный период турецкого ига на Балканах не мог не отразиться на развитии языков этого региона, равно как и вхождение ряда территорий Центральной Европы в экономическую и политическую зависимость от германских государств отразилось в языках чешском, отчасти польском, словенском.

Отдельные части славянского населения, оказавшись в разных географических, удаленных друг от друга районах, в разных исторических условиях, живя там обособленной жизнью, поддерживая с иноязычными соседями экономические, политические и культурные связи, естественно, развиваются в разных направлениях и после неоднократной перегруппировки их язы-

ковых отношений с течением времени образуют современные славянские языки и диалекты.

Способствовать изучению истории современных славянских языков и диалектов по данным их современного состояния через реконструкцию промежуточных состояний до эпохи появления древнейших диалектных различий, иначе до позднепраславянской эпохи, — такова первая из двух основных задач, для решения которой ОЛА может дать материалы.

Другая задача, не менее важная и к тому же в значительной мере новая, — проблема синхронно-типологическая.

Если для микроатласов и одноязычных региональных атласов проблемы типологии практически не существует, а в атласах национальных она занимает более или менее скромное место (в зависимости от характера, качества, «глубины» диалектных различий), то для ОЛА, который охватывает целую семью хотя и близкородственных языков, но существенно отличающихся по своему строю, проблема типологическая становится существенной задачей, важной для всех уровней системы языка — фонетического, фонологического, морфологического (флексии), лексического, словообразовательного, синтаксического.

Для фонетики и фонологии уже сейчас можно сказать, что на «входе» (в Вопроснике) имеется более или менее реальная, хотя и реконструированная величина — фонема позднепраславянской эпохи (например, \*о, \*ё и т. д.). Однако на «выходе» — если иметь в виду репрезентанты данной паславянской фонемы для всех предусмотренных в Вопроснике языков — получаются явно не сопоставимые явления, потому что каждая данная фонема или группа фонем развивалась в своей частной фонологической системе по свойственным ей специфическим закономерностям, имела в качестве релевантных разные позиции, то расщепляясь на две фонемы, то объединяясь с другими фонемами в тесной связи консонантизма и вокализма, и т. д. То же можно сказать о словообразовании, флексии и других уровнях (достаточно указать на роль атематических глаголов или на суффиксальное обозначение лица имен существительных в отдельных славянских языках и диалектах). Поэтому наряду с картами на данное слово — например, на ту или иную позднепраславянскую фонему, на то или иное морфемное строение данного слова — в ОЛА на определенном этапе развития работы должны быть даны карты обобщающие, охватывающие целые фрагменты — большие или мельчие — языковой системы. Если первые строятся на материале отдельного вопроса, нередко даже отдельного слова данного вопроса, то вторые могут составляться на базе целого комплекса вопросов; так как только комплекс вопросов может характеризовать данный фрагмент системы языка. Такими фрагментами для картографирования в области фонологии могли бы служить, например, соотношение вокализма и консонантизма (вокалические и консонантные системы), место сонантов в фонологии

ческой системе, проблемы просодии — различия по долготе и краткости, по тону, ударение разноместное и фиксированное, корреляция согласных по велярности, палатализованности, палatalности и др. Существенны явления промежуточные между просодией и флексией, просодией и словообразованием (при подвижном ударении). Для морфологической системы большое значение имеет характер склонения существительных, замена флексивных форм аналитическими, сочетаниями с предлогами, категории лица и одушевленности/неодушевленности, судьба именных и членных форм прилагательного, различие нескольких прошедших времен (например, в южнославянских) и одного, как например в русском, категории вида и залога, наличие изменения форм прошедшего времени на -л по лицам в одних языках (например, в чешском и польском) и отсутствие такого изменения (например, в русском), разное образование сложного будущего времени, роль атематических глаголов в формировании глагольной системы славянских языков и диалектов и т. д.

В области лексики, словообразования и семантики также наряду с частными различиями (обозначение одного понятия разнокоренными словами, однокоренными, но различными в словообразовательном отношении, семантическими различиями генетически одного слова и т. д.) появится необходимость решать и общие вопросы системного характера (лексико-семантические группы — например, части тела, названия деревьев, ягод, овощей и фруктов, цветообозначение, времена года, временные понятия, родство и свойство, обозначение лица, обозначение температуры, глаголы говорения, глаголы волеизъявления, мышления, глаголы движения и т. д.).

Проблематике атласа должен отвечать Вопросник — решающий документ, в значительной мере предопределяющий его объем, характер, принципы, на которых он основан. Вот где поистине можно применить русские пословицы «За чем пойдешь, то и найдешь» или «На ловца и зверь бежит!» Вопросник составлялся в 1962—1964 гг. и отражает то понимание задач и проблематики атласа, которое тогда было у составителей. Вопросник, как уже говорилось, в основном построен на диахроническом тождестве слов и морфем, т. е. на генетическом принципе, а также на ономасиологических вопросах, сгруппированных по предметно-понятийным группам, и на выявлении значений отдельных праславянских слов. Поэтому синхронно-типологическая характеристика славянских языков и диалектов в ОЛА, видимо, не будет в такой степени полной, как хотелось бы.

Если бы Вопросник составлялся сейчас, то, возможно, он охватил бы и некоторые вопросы, специально ориентированные на проблемы структурной лексикологии, словообразования, морфологии, семантики, фонетической и фонологической типологии. Однако, как уже было сказано выше, работа на материале существующего Вопросника, при условии применения особых усилий,

не исключает возможности в какой-то мере осветить и эти проблемы.

Проблематикой ОЛА определяется не только Вопросник, но также территориальный охват, сетка населенных пунктов и другая документация.

**3. Вопросник.** Наибольшую трудность представляло составление Вопросника. Составители не имели перед собой образца — вопросника, рассчитанного на группу родственных языков. Национальные вопросы в какой-то мере могли быть использованы, однако они не соответствовали проблематике ОЛА: они всегда направлены на выявление внутриязыковых изоглосс, в то время как цель ОЛА — прежде всего выявить межъязыковые и диалектные изоглоссы, существенные для дифференциации славянских языков и диалектов в целом. Трудность представляла и двоякая направленность ОЛА — историко-сравнительная и синхронно-типологическая. Как уже было сказано, при составлении Вопросника приоритет был дан точке зрения генетической, диахронической. Составители предполагали, что такой подход позволит получить материал также и для типологического изучения. Во всех тех случаях, когда изучаются явления, основанные на диахроническом тождестве слов и морфем, т. е. когда имеется в виду получить определенные слова и формы в их современном оформлении (фонетическом, просодическом, флексийном, словообразовательном, семантическом), они даются в позднепраславянском оформлении. Однако праславянские реконструкции следует принимать лишь как удобную «точку отсчета», как условные символы, представляющие наиболее удобный способ сравнения и сопоставления современных языков и диалектов. Именно поэтому даже некоторые заведомо поздние слова даются в «православянской реконструкции».

Наконец, Вопросник должен был дать не только список языковых явлений, по которым нужно собрать материал, но также и служить методическим документом, определяющим во многом приемы и методы созиания материала.

Учитывая сказанное, составители Вопросника приняли следующую структуру. Вопросник состоит из двух разделов: «Список языковых явлений» (I) и «Список вопросов» (II). Первый строится в соответствии с отдельными уровнями системы языка и заключает в себе следующие части: явления фонетические, просодические, морфологические, словообразовательные, лексические, семантические, синтаксические. Все вопросы снабжаются большим количеством репрезентантов. Первый раздел Вопросника дает полное представление о его объеме и содержании. Вместе с тем он имеет большое практическое значение при обработке материала.

Не излагая содержания отдельных частей первого раздела Вопросника, отметим предметно-понятийные группы, которые входят в состав лексических явлений, так как на их основе стро-

ится самая большая часть второго раздела. Эти группы следующие: Животный мир, Животноводство, Растительный мир, Сельское хозяйство, Транспорт и пути сообщения, Народная техника, Строительство, Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Одежда и обувь, Человек, Гигиена, Медицина, Степени родства, Личные черты, Профессии и общественная жизнь, Обычаи, Метеорология и обозначение времени, Рельеф местности, Числительные, Ономастическое дополнение.

Второй раздел (II) «Список вопросов» предназначен прежде всего для полевой работы и в значительной мере определяет порядок и метод сабирания материала. Основная в нем как по объему, так и по значению часть — тематическая; кроме того, во второй раздел входит относительно небольшой подраздел — грамматический и семантический. Второй раздел завершается небольшой частью «Горное овцеводство», предназначенный для сабирания материала в горных районах с развитым пастбищным овцеводством.

Тематическая часть «Списка вопросов» (II, 1) строится по перечисленным выше предметно-понятийным группам. Она состоит из лексических и словообразовательных вопросов, сформулированных ономасиологически («как называется данный предмет»). К этим вопросам присоединены все категориальные и флексийные явления существительных, прилагательных и глаголов. Сюда вошли также числительные, образующие закрытый ряд. Однако местоимения, требующие некоторого контекста, а также предлоги и наречия помещены в грамматическую часть «Списка вопросов» (II, 2). Последняя охватывает те явления отдельных частей речи, которые не вошли в тематическую часть, а также конструкции предлогов с существительными, именное сказуемое, синтаксис предложения, союзы.

Семантическая часть тематического раздела (II, 3) заключает в себе вопросы, сформулированные по типу: «Какое значение имеет данное слово». Сюда входит относительно небольшое количество слов (108), принадлежащих древнейшему славянскому (prasлавянскому) фонду, семантически дифференцированных в современных славянских языках.

Всего вопросов 3454 (включая «Горное овцеводство»).

К Вопроснику (списку языковых явлений) прилагается два указателя: 1. Список слов в праславянской реконструкции в том виде, как они даются в вопросах фонетических, просодических, морфологических и семантических явлений. Примеры синтаксических моделей, которые могут быть заполнены разными словами, а также некоторые парадигмы, иллюстративный материал которых лексически не ограничен и потому, естественно, не могли войти в указатель; 2. Список примеров на русском языке — языке Вопросника и ОЛА, иллюстрирующих лексические и словообразовательные явления. Оба указателя снабжены ссылкой на номер по списку вопросов, на индекс (в принятых сокраще-

ниях) соответствующей части списка явлений (например, фонетических, морфологических) и номер явлений.

В начале Вопросника предусмотрена небольшая анкета для паспортизации и краткого демографического описания, которая включает в себя сведения о населенном пункте, сведения об информаторах и сведения об эксплораторах.

**4. Территория.** Генетическая, историко-сравнительная проблематика, на основе которой построен Вопросник, предрешала проблему объема картографируемой в ОЛА территории. В ОЛА картографируются в основном все исконно славянские языковые территории и территории давней колонизации, на которых сложились современные славянские языки в их диалектах. Территории поздней колонизации картографировать в ОЛА признано нецелесообразным. Диалекты на этих территориях представляют как сами по себе, так и в лингвогеографическом отношении особый, своеобразный интерес, однако проблематика их исследования выходит за рамки задач ОЛА. Поэтому за пределами территории ОЛА остались не только Сибирь и Дальний Восток, где представлены носители русского, украинского и белорусского языков, но также северо-восток, восток и юго-восток Европейской части СССР с их русскими диалектами. Не картографируются также говоры Слободской Украины, Донбасса, Новороссии. Карта-основа ОЛА включает следующие части территории СССР: северная граница по берегу моря, восточная — от точки пересечения  $66^{\circ}$  северной широты и  $48^{\circ}$  восточной долготы идет по  $48$ -му меридиану. Далее от точки пересечения с  $61^{\circ}30'$  северной широты граница поворачивает на юго-запад, на территории Украинской ССР восточная граница проходит по  $36^{\circ}$  восточной долготы до пересечения с  $47^{\circ}30'$  северной широты и далее следует на запад по параллели  $47^{\circ}30'$ .

Что касается неславянских стран, то принято решение включить в сетку некоторое количество славянских по языку населенных пунктов: лужицких в ГДР, словенских и сербохорватских в Австрии, сербохорватских, словацких и словенских в Венгрии, сербохорватских, болгарских, украинских, русских в Румынии, словенских и сербохорватских в Италии.

**5. Сетка.** Сетка населенных пунктов, принятая в ОЛА, была установлена после очень оживленной и длительной дискуссии. Вопрос о сетке, ее густоте тесно связан с проблемой объема Вопросника, количества вопросов в нем. Сетка и Вопросник вместе взяты определяют объем работы по собиранию материала. Если отвлечься от того, что вопросы бывают разные — на одни из них легко получить ответ (некоторые ономасиологические), на другие — значительно труднее (фонологические и грамматические явления, передко требующие значительного по объему материала), то можно утверждать, что при равном общем объеме работы между частотой сетки и объемом Вопросника существует обратно пропорциональная связь: чем чаще сетка, тем меньше

должен быть Вопросник, и, напротив, чем больше Вопросник, тем более редкой должна быть сетка. Конечно, идеальным решением было бы: иметь максимально густую сетку (в принципе охватывающую все населенные пункты) и одновременно максимально полный Вопросник (с охватом всех явлений языка). Однако такое решение возможно только для микроатласов, небольших региональных и национальных атласов, но оно трудно выполнимо для такого национального атласа, как атлас русского языка. Тем более оно невозможно в применении к огромной территории, охватываемой ОЛА. Быть может, для таких по охвату территорий атласов, как ОЛА, не говоря о лингвистическом атласе Европы, густая сетка и не требуется. Точно так же как геолог при помощи аэрофотосъемки видит то, что он не может наблюдать, находясь на земле, так и карты ОЛА должны показать такие объекты, которые нельзя обнаружить, «находясь на земле», — работая над микроатласами и национальными атласами.

Здесь уместно отметить, что в каждой задаче имеются величины данные, известные, и величины заданные, искомые. Если все величины неизвестные, то задача неразрешима (можно ли составить Вопросник для абсолютно неизвестного языка?). Если, напротив, все величины известны, то нет и задачи. В лингвистической географии в принципе величину данную, известную представляет языковое явление, а величину искомую — его территориальное распространение. Однако практически, с одной стороны, в процессе собирания материала могут быть обнаружены новые, ранее неизвестные варианты изучаемого явления, с другой — некоторые сведения о территориальном распределении последнего обычно имеются до начала работы над атласом, а именно они ложатся в основу Вопросника. Задача лингвогеографического описания — через известные сведения о диалектных различиях установить их территориальное размещение, что не исключает возможности одновременной фиксации ранее неизвестных вариантов данного явления.

Оптимальное решение применительно к огромной территории, занимаемой славянскими народами, заключается в разумном компромиссе между густотой сетки и объемом Вопросника: в основу работы над ОЛА была положена практически возможная частота сетки и практически возможная полнота Вопросника.

Исходя из всего сказанного, решено было установить основную, среднюю (нормальную) частоту сетки — 1 нас. пункт на  $3600 \text{ км}^2$ . При такой сетке обследуемые населенные пункты будут отстоять друг от друга в среднем на 60 км. В необходимых случаях основная, средняя (нормальная) сетка может быть сгущена. Наряду со средней (нормальной) сеткой предусмотрена разреженная (опорная) сетка, в которую входит 1 из 8 (в необходимых случаях 1 из 4) нас. пунктов основной, средней (нормальной) сетки. Иначе говоря, разреженная (опорная) сетка по количеству

населенных пунктов составит 12,5% (или 25%) основной, средней (нормальной) сетки.

Двум вариантам сетки соответствуют два варианта Вопросника — полный и сокращенный. Оба варианта Вопросника идентичны во всем, за исключением того, что в полном варианте имеется некоторое количество вопросов, отсутствующих в сокращенном. По полному варианту Вопросника обследуются населенные пункты разреженной сетки (т. е. 12,5% или 25%), а по сокращенному варианту — остальные населенные пункты (т. е. 87,5% или 75%). А так как все вопросы сокращенного варианта одновременно входят и в его полный вариант, то, следовательно, по вопросам, входящим в сокращенный вариант Вопросника, обследуются все 100% населенных пунктов. Явления, обязательные при обследовании только в населенных пунктах разреженной сетки, обозначаются знаком °, который ставится после номера вопросов. К таким явлениям отнесены некоторые вопросы грамматической части, а также части «Горное овцеводство», которые трудно получить в условиях ограниченного во времени полевого исследования.

**6. Картографирование.** Выпуски ОЛА составляться и публиковаться будут в течение длительного времени. Естественно, что составители будут встречаться с новыми — нередко качественно новыми — явлениями, с уровнями системы языка, которые ранее не картографировались (флексия, синтаксис, семантика), возможно, с новыми типами синтетических карт, строящихся на материале целой серии вопросов и имеющих в качестве своего объекта большие или мельчайшие фрагменты языковой системы. Будет, несомненно, развиваться и сама лингвистическая география, ее теория как науки. Поэтому здесь уместно изложить лишь самые общие принципы, которые, можно думать, сохранятся в дальнейшей работе, продолжая вместе с тем развиваться, углубляться с постоянным учетом специфики картографируемого материала.

Языковые (=диалектные) различия в рамках ОЛА всегда представляют тождество в одном отношении при различии в другом. Так как слово есть линия пересечения многих уровней языковой системы (мы не касаемся здесь синтаксических различий, где существенна прежде всего структурная схема синтаксической единицы, а не ее лексическое наполнение), то в нем часто отражается не одно противопоставление, а несколько. Например, возможны тождество корня при различии в суффиксах или, наоборот, тождество суффикса при различии корней, в обоих случаях — различия в фонемном составе корневой или суффиксальной морфемы или в неодинаковом звуковом воплощении той или иной фонемы. Сказанное означает, что составители карт ОЛА чаще всего имеют дело с языковыми (=диалектными) многоплановыми различиями. Поэтому, учитывая возможность того или иного плана противопоставления (=различия) с точки зрения синхронической или диахронической, представляется целесо

сообразным разграничить противопоставление первой степени (основное) и противопоставления 2-й, 3-й и последующих степеней. Конечно, в установлении иерархии противопоставлений, возможно, нельзя избежнуть некоторого субъективизма, но последний нейтрализуется тем, что при каждой карте дается индекс, где представители картографируемого явления даются в том виде, как они были записаны на местности (т. е. синкетично).

Основной способ картографирования в ОЛА — постановка графического знака для каждого населенного пункта. Разные графические знаки и разные модификации каждого графического знака отражают иерархию, иначе — неоднократную противопоставленность разных сторон картографируемого языкового явления. Основная часть карт ОЛА дается в одноцветном (черно-белом) оформлении. Некоторое количество карт (для особенно сложных многоплановых явлений) дается в цветном оформлении. Устанавливается иерархия графических знаков и их видоизменений, а также иерархия цветов. В качестве графических знаков используются геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, ромб, прямоугольник, эллипс, трапеция и др. В случае необходимости некоторые фигуры противопоставляются по положению (например, прямоугольник или эллипс может быть поставлен вертикально или горизонтально, треугольник — основанием вниз или вверх). Для одноцветных карт в качестве заменителя цветов могут послужить разные виды штриховки фигуры, например вертикальная, горизонтальная, вертикально-горизонтальная (в клеточку), косая вправо, косая влево и косая одновременно вправо и влево (в ромбик), фигуры могут быть черными и белыми (контурными). Если не используется штриховка фигур, то белые (контурные) фигуры могут иметь внутреннюю диакритику в виде линии — вертикальной, горизонтальной, горизонтально-вертикальной (в виде креста), косой влево или вправо или одновременно влево и вправо, а также в виде точки или пунктира. Белые (контурные) фигуры могут иметь контуры тонкие и толстые. Черные фигуры могут иметь внутреннюю диакритику в виде «просвета» (белой линии) вертикальной, горизонтальной, косой справа налево и слева направо. Как белые, так и черные фигуры могут иметь вписанные в них те же фигуры меньшего размера: в белых — черным цветом, а в черных — белым, т. е. просветом. При одноцветном исполнении возможны по мере надобности и другие варианты основных знаков, например закрашенные наполовину черным (по вертикали, по горизонтали, по диагонали), черное может охватить половину верхнюю или нижнюю, левую или правую, а также по диагонали (косую). Черный или белый цвет может охватить также четвертую часть фигуры, например, у круга — нижнюю или верхнюю, левую или правую, у квадрата — нижнюю левую или правую, верхнюю левую или правую, у треугольника — нижнюю левую или правую четверть, верхнюю или среднюю четверть. В некоторых случаях

полезно также применение внешней диакритики (например, прямая или косая линия, примыкающая к фигуре сверху или снизу). Так, для обозначения южнославянских долгот и интонаций применяются такие диакритические знаки: ' и ' сверху фигуры для обозначения восходящей и нисходящей интонации; ' (вертикальная линия) снизу фигуры для обозначения долготы. Предусмотрены знаки для квантитативных, частотных, статистических данных картографируемого явления. Отдельные серии карт (например, при картографировании одного слова, если речь идет о словах, являющихся репрезентантами одного и того же явления) могут использовать один и тот же определенный набор картографических средств в одних и тех же значениях.

Кроме знаков у каждого населенного пункта в ОЛА в необходимых случаях (например, если имеется потребность показать картографируемое явление на фоне структурно связанного с ним другого явления) применяется в цветных картах заливка определенных территорий соответствующими цветами, на черных картах — различная штриховка их.

Наконец, в тех же целях на картах ОЛА используются как дополнительное средство линии (изоглоссы), выделяющие или противопоставляющие по какому-либо языковому признаку определенные территории. Если изоглосс несколько, то они могут быть разными: линии могут быть более тонкими и толстыми, непрерывными и пунктирными (при этом просветы и линии могут быть разными). Как сплошные, так и пунктирные линии могут иметь с одной из сторон дополнительные различия в виде «ресниц» или «шипов». Возможны пунктирные и точечные линии.

На карте ОЛА употребляется, кроме всего прочего, отсылочный знак в виде звездочки. Звездочка, вписанная в фигуру, указывает на единичный вариант картографируемого данным знаком явления. Звездочка, употребленная самостоятельно, указывает на единичный некартографируемый вариант. В обоих случаях звездочка отсылает к индексу, в котором соответствующий пример приведен в оригинальной записи.

Характером языкового явления, его структурой определяются оптимальные способы картографирования, цель которых заключается в том, чтобы план выражения — способы картографирования — с наибольшей реальностью отражал план содержания — разные аспекты картографируемого явления в его структурных иерархических связях<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Проблемы картографирования впервые обсуждались на заседании Комиссии ОЛА при МКС в 1970 г. в связи с докладом Р. И. Аванесова «Система картографирования в ОЛА». Затем подробный проект инструкции по картографированию был предложен Ф. Т. Жилко, А. Н. Залесским и Т. В. Назаровой, который, однако, не был обсужден. Статья «О картографировании комплексных лингвистических единиц» была опубликована Т. В. Назаровой в ежегоднике «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971». 1974, с. 61—68. Обширная статья С. Утенченого

Остается сказать, что во вступительной статье к каждому выпуску ОЛА будет дано обстоятельное конкретное описание принципов картографирования в данном выпуске.

**7. Фонетическая транскрипция.** Инвентарь знаков стремится отразить звуковые звукотипы, представленные в разных славянских языках, даже если тот или иной звукотип встречается в одном из славянских языков или диалектов. Однако фонетический принцип при его последовательном проведении требует в принципе почти бесконечного увеличения инвентаря знаков и всегда используется с теми или иными ограничениями. Поэтому в транскрипции степень ее подробности регулируется применением фонологического критерия, использование которого позволяет сократить инвентарь знаков, хотя одновременно иногда он требует дополнения некоторыми знаками для обозначения звуковых единиц, не предусмотренных первоначальным проектом транскрипции, но релевантных для отдельных славянских диалектных систем.

Транскрипция основана на латинском алфавите, дополненном некоторыми знаками греческого и кириллического алфавитов, а также специальными знаками, применяемыми в фонетической транскрипции.

Система транскрипции ОЛА состоит из основного перечня инвентаря знаков (буквы латинского, кириллического, греческого алфавитов, знаки научной транскрипции, знаки латинского алфавита с диакритикой, обозначающие диграфы). Кроме того, диакритические знаки употребляются в неограниченном инвентаре знаков. Нижние диакритики указывают на носовое произношение гласных, неслогоность, сужение гласного, дифтонгичность, для согласных — на оглушение (позиционная глухость), полузвонкость, слогоность. Верхние диакритики употребляются для обозначения палатализации, палatalности согласных, для обозначения интонации гласных, места ударения. Долгота гласного и согласного обозначается двоеточием справа от буквы (а:, с:).

Практическое применение фонетической транскрипции показало, что она удовлетворяет потребности ОЛА, хотя — особенно на первых порах — эксплораторы испытывали определенные трудности. На практике, в ходе сортирования материала, возникали разного рода отклонения от принятой системы. В одних случаях оказалось необходимым консультировать эксплораторов по вопросам пользования транскрипцией ОЛА, в других — стихийно возникшие отклонения диктовались диалектным материалом и восполняли некоторые пробелы принятой транскрипции. Все это диктует необходимость в каждом выпуске ОЛА, особенно в выпусках фонетико-фонологических, давать по мере необхо-

---

«К систематизации знаков в лингвистическом картографировании» была помещена в том же ежегоднике за 1974 г. (М., 1976, с. 3—21).

димости комментарии к употреблению отдельных знаков. В индексе к каждой карте даются записи в том виде, как они были сделаны на месте, с разъяснениями в необходимых случаях употребления отдельных знаков<sup>11</sup>.

8. Обобщающая транскрипция. История лингвистической географии развивалась в направлении от подачи на карте «сырого», необработанного материала, как он был записан при помощи фонетической транскрипции на месте (Жильерон), к подаче материала в большей или меньшей степени обработанного, интерпретированного. Эти атласы можно считать атласами второго поколения. К нему относятся в разной мере немецкий атлас, малый атлас польских говоров, русский атлас и др. Обработка сказывается прежде всего в стремлении показать на карте не просто конкретный единичный факт в его бытовании в речевом потоке (например, применительно к русскому языку: произносится ли [n'a'su] или [n'i'su]), а ко всей системе предударного вокализма после мягких согласных. Иначе говоря, картографируется целое звено фонологической системы: 1) [n'a'su, n'as'la, n'i's'oš, n'i's'i; s'a'lu, s'a'lo, s'a'lы, s'a'lom, s'i'l'e; r'a'ku, r'a'ka, r'a'koj, r'i'k'e; t'a'nu, t'i'n'i; p'a'tok, p'at'ku, p'i'ti] (так наз. умеренное яканье); 2) [n'a'su, n'is'la, n'i's'oš, n'a's'i; s'a'lu, s'a'lo или s'a'lo, s'i'la, s'i'лом, s'a'l'e; r'a'ku, r'i'ka, r'a'koj или r'a'koj, r'ak'e или r'a'k'e; t'a'nu, t'a'n'i; p'itok, p'at'ku, p'a't'i] (так наз. диссимилятивное яканье архаического типа); 3) [n'a'su, n'as'la, n'a's'oš, n'a's'i; s'a'lu, s'a'lo, s'a'la, s'a'лом, s'a'l'e; r'a'ka, r'a'ku, r'a'koj, r'a'k'e; t'a'nu, t'a'n'i; p'a'tok, p'at'ku, p'a't'i] (так наз. сильное яканье); 4) [n'i'su, n'is'la, n'i's'oš, n'i's'i; s'i'lu, s'i'lo, s'i'la, s'i'лом, s'i'l'e; r'i'ka, r'i'ku, r'i'ka, r'i'koj, r'i'k'e; t'i'nu, t'i'n'i; p'i'tok, p'it'ka, p'i't'i] (так наз. иканье).

Историк языка легко соотнесет системное картографирование приведенного явления с древнейшими формами: *несж*, *несла*, *несеши*, *неси*; *селоу*, *село*, *села*, *селамъ*, *селѣ*; *рѣкж*, *рѣка*, *рѣкоj*, *рѣцѣ*; *танж*, *тани*; *патжка*, *патжкоу*, *пати* и сделает из них соответствующие выводы. Системное картографирование на неограниченном словарном материале отнюдь не мешает тому, чтобы — в случае наличия исключений из общего правила, лексикализации явления, его консервации в одном или нескольких словах — на эти слова составлялись отдельные карты.

Отметим, что интерпретация нужна не только в лингвогео-

<sup>11</sup> Проект фонетической транскрипции ОЛА был составлен З. Штибериом, а затем неоднократно обсуждался коллективом ОЛА. В 1964 г. на совещании ОЛА были приняты замечания С. С. Высотского (главным образом о разграничении обозначения палатализованных и палatalных согласных). В 1975 г. на заседании редколлегии ОЛА в Софии был принят ряд дополнений, предложенный Д. Брозовичем. С самого начала над фонетической транскрипцией для ОЛА работала С. К. Пожарицкая. Раздел о фонетической транскрипции в вводном выпуске ОЛА написан З. Штибериом, Д. Брозовичем, С. К. Пожарицкой. Он использован в этой части доклада.

графии, но также вообще при изучении диалектной лексики, словообразования, семантики и, конечно, в диалектной лексикографии, в особенности когда речь идет о многодиалектном словаре, охватывающем частные диалектные системы с существенными фонологическими и морфонологическими различиями. В сущности многодиалектный словарь и лексический атлас принципиально не отличаются друг от друга: и в том и в другом существен морфемный уровень и не существенны уровни доморфемные; и в том и в другом варианты картографируемого явления стратифицируются территориально. Еще в 1947 г. я предлагал понимать фонетическую систему диалектного языка как систему систем — суперсистему с максимальным набором фонем (т. е. включающую в свой состав фонему, встречающуюся хотя бы в одной частной диалектной системе)<sup>12</sup>, а в 1958 г. предлагал в многодиалектных словарях заглавное слово давать в морфонематической суперсистемной записи, снимая все позиционно обусловленные явления отдельных частных систем, одновременно указывая, что знание закономерностей каждой частной фонологической системы является своеобразным ключом, позволяющим, свертывая до необходимой степени состав фонем и снимая позиционно обусловленные явления, восстановить фонетический облик слова во всем его своеобразии в данной диалектной системе<sup>13</sup>. Нет необходимости говорить, что если речь идет о картографировании лексического явления, то, например, восточнославянские [kon', kon', kon', kon', kin'], ['lošat', 'lošet', 'lošat', 'lošet', 'uošet'] и др. сводятся к двум членам оппозиции, которые записываются как <k<sub>on</sub>'> и <'lošad'>, из которых можно вывести любую реально звучащую и произносимую форму.

Однако системность картографирования заключается не только в этом. Как известно, словоформа или лексема есть линия пересечения практических всех уровней системы языка. Поэтому показать на карте системность — это значит показать словоформу или лексему не в простой нерасчлененности отразившихся в них разнокачественных явлений, а как бы распутав их клубок, установить иерархию явлений, найдя разные его грани — более или менее существенные, установить противопоставление 1-й, 2-й и следующих степеней, показать эту иерархию на карте графическими средствами, конечно, одновременно освободившись от всего (прежде всего фонетического), что не существенно для картографируемого вопроса. Иллюстрацию к этому положению можно привести из разных атласов, в том числе русского<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> См.: Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 6, вып. 3, с. 211—218.

<sup>13</sup> См.: Аванесов Р. И. К теории диалектных словарей. — Cercetări de lingvistică. Cluj, anul 3, suppl., 1958, с. 53—57.

<sup>14</sup> См. в моих «Очерках русской диалектологии» (М., 1947). Об этом я писал в неопубликованном докладе к Международному съезду славистов в Москве, который должен был состояться в 1948 г. См. также: Вопросы теории лингвистической географии. Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1962.

Все сказанное в теоретическом отношении действительно и для ОЛА. Однако ОЛА можно считать атласом 3-го поколения, так как он, охватывая всю совокупность славянских языков и диалектов, порою глубоко и принципиально отличающихся друг от друга, ставит перед его составителями сложную задачу дать еще глубже интерпретированную, еще более обобщенную и абстрактную транскрипцию, которая позволила бы привести разноязычные факты к «одному знаменателю» и тем самым сделала бы возможным их прямое сопоставление на карте. Для этого следует отступиться от всей фонетической и фонологической информации, отраженной в записи на месте, от всех закономерных изменений и использовать обобщенную транскрипцию на той ступени абстракции, которая достаточна для того, чтобы дать возможность прямого противопоставления на карте языкового явления в его разных принятых в качестве существенных для данной проблемы аспектах. С диахронической точки зрения степень глубины этой абстракции различна. Во многих случаях запись в обобщенной транскрипции будет близка к позднеправославянской эпохе. Однако эту транскрипцию ни в коем случае нельзя принимать за праславянскую реконструкцию, и такая задача не ставится в ней (даже заведомо поздние по происхождению слова записываются при помощи этой транскрипции). Зная закономерности фонетического и фонологического развития отдельных славянских языковых и диалектных систем, пользующийся картой может без большого труда восстановить реально звучащую форму. Вместе с тем обобщающая транскрипция дает оптимальную возможность наглядно увидеть на карте языковую и диалектную дифференциацию на уровне морфем и иерархию картографируемых различий. Заметим, что так как территориальные различия обычно есть проецированные на пространстве временные различия, то обобщенную транскрипцию можно понять как на территориальной оси, так и на оси временной, т. е. в какой-то степени принять в качестве панхронической славянской транскрипции, которую можно было бы применять и при изучении истории славянских языков и диалектов<sup>15</sup>.

Обобщающая транскрипция, снимая все закономерное фонетическое и фонологическое, позволяет составителям карты и его читателям непосредственно иметь дело с морфемами тождественными или различными. Так, например, для картографирования лексических, словообразовательных и семантических явлений не существенно, как произносится слово, называющее «собаку», — [so'baka, sa'baka, sə'baka, sə'bakə] в одних языках и диалектах

<sup>15</sup> В структурном отношении совершенно безразлично, что русское [vo'da] и [va'da] представляют собой различие разнотерриториальное и одновременное или однотерриториальное и разновременное. То же, например, в славянских *rъь* и *sobaka*: эти слова могут характеризовать одну территорию в разные эпохи и разные территории одной эпохи. См.: Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962, с. 11. Сказанное относится не только к дивергентному развитию, но и конвергентному.

или [pes, p'es, p'os] — в других. Важно, что все эти варианты являются репрезентантами двух лексем, которые записываются как sobak-а и ръс-ъ. Другой пример: для названия «места, где стоят ульи» имеются «ответы»: p'čel'n'ik, pče'larnik, pše'łarn'ik, čełarnik, pče'lin'a:k, čelin'a:k, bəčli:nja, pči'lin, fčeli:n, pšeli:n и др.<sup>16</sup> С точки зрения словообразовательной не имеют никакого значения такие фонетические и фонологические особенности, как bеč, pč, pš, fč, č в начале слов, ī или ķ перед а и другие. Все эти репрезентанты на морфемном уровне сводятся к четырем различным словообразовательным типам: bəčel-ын-nik-ъ, bəčel-аг-ын-ik-ъ, bəčel-in-jak-ъ, bəčel-in-ъ.

В обобщающей и в известном смысле порождающей транскрипции кроме буквенных знаков, обозначающих явление на известной глубине абстракции, употребляется также ряд других знаков-символов, например для деления лексемы или словоформы на морфемы, для разного рода лексикализованных или морфологизованных явлений (метатезы, элизии, появления протетических явлений), для нерегулярной вокализации ъ и ъ, явлений народной этимологии, контаминации, изменений парадигмы морфологического происхождения и т. д. Для всего этого разработана целая система отыскочных знаков, которые сигнализируют необходимость обращения читателя к комментарию и/или к индексу, сопровождающему каждую карту, где материал дается в своем первозданном виде, как он был записан на месте экспратором в фонетической транскрипции.

**9. Легенда, комментарий, индекс.** Эти три элемента ОЛА тесно взаимосвязаны. Для каждой карты в ОЛА дается индекс, в котором приводятся все репрезентанты данного явления в каждом населенном пункте в том виде, как они были записаны экспратором на месте (т. е. в фонетической транскрипции и с теми замечаниями, которые были им сделаны, типа «чаще — реже», «старое — новое», «у старшего поколения — у молодежи» и т. д.). Это освобождает комментарий от необходимости раскрывать конкретную форму репрезентанта, если она записана в легенде при помощи обобщающей транскрипции.

Цель комментария и легенды заключается в том, чтобы дать читателю полную информацию о картиграфируемом явлении во всех его системных связях: основной оппозиции — оппозиции 1-й ступени — и других оппозициях (2-й, 3-й и следующих степеней), если картиграфируемое явление многопланное, иерархически сложное.

Если читатель сомневается в правильности той или иной интерпретации [а комментарий и легенда являются результатом большой предварительной работы по выявлению разных сторон

<sup>16</sup> Обобщающая транскрипция для ОЛА разработана З. Тополинской, П. Иви-чем, Ф. Михалком при участии других членов коллектива. Из их работ взят приведенный пример, на их же основе изложены здесь принципы обобщающей транскрипции.

картографируемого явления — наиболее существенного, менее существенного и вовсе несущественного (последние выносятся за пределы комментария и легенды)], он может обратиться к индексу, где соответствующий пример для каждого населенного пункта дан в оригинальной записи эксплоратора, и дать явлению ту интерпретацию, которую найдет нужной.

Комментарии, относящиеся к разным уровням языка, могут существенно отличаться друг от друга. Это не противоречит тому, что общие принципы ОЛА едины: различия в комментарии обусловлены спецификой каждого из языковых уровней.

Комментарий состоит из следующих элементов: 1. Индекс, номер, формулировка вопроса по вопроснику. Если проблема карты не соответствует вопросу, то разъясняется отношение между проблемой карты и индексом вопроса. Если карта составляется на основе нескольких вопросов, то последние указываются, и формулируется проблема карты. Даётся оценка материала со стороны его качества и полноты. В необходимых случаях материал отдельных населенных пунктов может быть дисквалифицирован, если он не пригоден для картографирования. 2. Приводятся в принятых для ОЛА сокращениях названия литературных языков в порядке нумерации нас. пунктов, закрепленной за каждым языком. 3. Объясняется проблематика карты с указанием на противопоставление основной, 1-й ступени и противопоставления 2-й, 3-й и других ступеней. 4. В необходимых случаях даётся этимологическая справка (по ограниченному кругу этимологических словарей) и реальный комментарий — этнографический (для лексических и семантических карт). 5. По мере необходимости в комментарии могут быть даны разъяснения по поводу знаков обобщающей транскрипции, которые фигурируют в легендах лексико-словообразовательных, морфологических и семантических карт. Такие разъяснения могут оказаться нужными также в фонетико-фонологических и синтаксических картах. 6. Если в славянских национальных или региональных атласах есть карты на данную тему, то в комментарии могут быть ссылки к ним. Легенды карт могут строиться по-разному, в зависимости от того, к какому уровню системы языка они относятся. Во всех случаях формулируется название карты, определяющее ее проблему, указывается вопрос (или вопросы), ответы на который послужили материалом карты. Далее приводятся в более или менее обобщенной записи все репрезентанты, которым на карте соответствуют разные знаки. К лексико-словообразовательным, морфологическим, семантическим картам репрезентанты даются в обобщающей, порождающей транскрипции. Определенная степень обобщенности может применяться также в фонетико-фонологических картах. Однако любое обобщение по мере необходимости разъясняется в легенде, и ему соответствует в индексе реально встречающаяся форма, записанная на месте при помощи принятой для ОЛА фонетической транскрипции.

## ОБЩЕКАРПАТСКИЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС. ПРИНЦИПЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Впервые картографирование говоров на территории Карпат началось еще в 30-е годы XX в. Здесь прежде всего следует назвать один из первых славянских региональных атласов — «Atlas językowy Polskiego Podkarpacia» М. Малецкого и К. Нитча (Kraków, 1934). Важным этапом в картографировании румынских говоров данного региона Восточной Европы явился «Atlasul lingvistic român», составленный С. Попом и Э. Петровичем, первая часть которого вышла из печати в Клуже в 1938 г. Позже отдельные говоры различных языков карпатского ареала изучались методом лингвистической географии в СССР, Чехословакии, Польше, Румынии, Венгрии. Опубликованные общие и региональные атласы, частные исследования лингвогеографического характера, а также многочисленные диалектологические описания отдельных говоров выявили значительный слой общин с пещифическими лексико-семантических элементов, характерных для многих карпатских диалектов родственных и неродственных языков. Именно это дало основание поставить вопрос о межъязыковом картографировании с целью изучения указанных выше особенностей.

К решению данной задачи лингвисты шли исподволь, различными путями. Возникновение интереса к некоторым аспектам карпатского языкознания в Институте славяноведения и балканстики АН СССР было связано с многолетней работой по лингвистическому картографированию болгарского диалектного материала. Уже давно было обращено внимание на то, что во многих юго-западных говорах украинского языка имеется большое число слов, отсутствующих в украинских говорах восточнее и севернее Днестра, но хорошо известных болгарским народным говорам. На этом основании В. Погорелов, И. Панькевич и ряд других исследователей с уверенностью говорили о «болгаризмах» в говорах юго-западной Украины, о их роли в формировании этих говоров. Однако выводы этих ученых не были приняты в славянском языкознании по многим причинам. Исследователи не знали территории распространения так называемых «болгаризмов» в диалектах языков карпатского ареала, не исследовали путей их проникновения в языки к северу от Дуная<sup>1</sup>. Была лишь постав-

<sup>1</sup> Бернштейн С. Б. Карпатский диалектологический атлас. — ВЯ, 1963, № 4, с. 76.

лена большая и интересная задача, решение которой, конечно, требовало обработки и систематизации разнообразного материала различными приемами лингвистического исследования. Так в Институте славяноведения и балканстики АН СССР возникла идея создания диалектологического атласа, который показал бы географию «болгаризмов» в юго-западных говорах украинского языка. Были также обследованы некоторые говоры молдавского, румынского и венгерского языков. В результате совместной работы с украинскими и молдавскими диалектологами был создан «Карпатский диалектологический атлас» (=КДА), опубликованный в 1967 г. Этот атлас дал ценный материал для решения многих вопросов. Он показал, что связи данных говоров с южнославянскими языками носят сложный характер. Атлас значительно увеличил список общих лексических элементов, обнаружил их семантическую дифференциацию.

Однако КДА показал, что мы тогда затронули лишь один из аспектов глубокой языковой интерференции в зоне Карпат, интерференций, которая в той или иной степени охватила карпатские говоры украинского, польского, словацкого, чешского, молдавского, румынского и венгерского языков. Стало очевидным, что на территории Карпат мы имеем дело с особым языковым миром, где обычные классификационные критерии для отдельных языков нуждаются в серьезном корректировании. Стало очевидным, что многие специфические элементы в языках карпатского ареала имеют глубокую основу, что они разнообразнее, чем это считалось раньше, а их интерпретация должна учитывать в ряде случаев данные диалектов западно- и восточнославянских языков, порой далеко отстоящих от карпатского региона.

В результате всех этих наблюдений возник план создания «Общекарпатского диалектологического атласа» (=ОКДА), который был активно поддержан многими диалектологами ряда славянских и неславянских стран (Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Югославии). Полное одобрение план составления ОКДА нашел на VII Международном съезде славистов (Варшава, 1973 г.).

Широкое обсуждение ряда важных теоретических, методических и организационных вопросов проводилось на международных конференциях по ОКДА (в Москве — 1973 г., Братиславе — 1974 г., Кишиневе — 1975 г., Ужгороде и Кракове — 1976 г.). На этих конференциях в ходе дискуссий были выработаны общие и частные принципы составления межъязыкового атласа типа ОКДА. Это было необходимо сделать в связи с тем, что история славянской лингвистической географии не знает примеров создания межъязыковых региональных атласов. Правда, в атласе Польского Подкарпатья содержится материал не только польских говоров. Однако этот атлас не может считаться межъязыковым, так как целиком подчинен проблематике польской диалектологии.

В настоящее время завершено составление вопросника ОКДА, по которому с лета 1977 г. начато обследование диалектов карпатского ареала. Планируется завершить всю работу над ОКДА к 1982 г.

Представляется важным сформулировать некоторые теоретические и методические принципы, которые легли в основу всей ведущейся в настоящее время работы над ОКДА.

1. Поставлена задача изучения результатов длительной интерференции языков карпатского ареала, следствием которой явилось возникновение многочисленных тожеств (главным образом лексико-семантических). Эти общие элементы прошли сложный путь многоступенчатых преобразований, многократных перекрестных заимствований. Прямолинейное распределение всех этих элементов по различным языкам на основании этимологического анализа в ряде случаев затемняет истинную картину взаимодействия языков. Это можно показать на ряде примеров.

1. Карпатаукр. *газда* 'хозяин, земельный собственник, муж, староста на свадьбе' (Гринченко),польск. *gazda* '(богатый) хозяин' (Karłowicz), в литературных текстах было известно в XVI—XVII вв., позже выходит из употребления (Linde; Заремба, 213), слвц. *gazda* 'хозяин, собственник' широко представлено в диалектах и литературном языке, чеш. диал. (морав.) *gazda* 'то же' (Káral; SSJ; Machek), рум. *gazda* 'собственник, богач, староста на свадьбе, хозяин дома' (DLR), венг. *gazda* 'хозяин дома, собственник' (фиксируется с XV в.) (MNyTESz). Карпатизм *gazda* рассматривается во всех диалектах карпатского ареала как унгаризм. В его распространении большую роль сыграл словацкий язык. Однако этимологически само венг. *gazda* восходит к слав. *gospoda* (Knieza; MNyTESz). Из языков карпатодунайского ареала данный карпатизм распространился через сербохорватское посредство в юнославянских языках, ср. с.-хорв. *gazda*, болг. диал. *газда* (Западная Болгария, Банат), словен. *gazda* (Skok; БЕР).

2. Карпатаукр. *марга*, *маржина* '(рогатый) скот' (Гринченко), польск. *marcha* 'скот', *marchy* 'овцы' (Karłowicz), рум. *marhă* 'скот' (фиксируется с XVI в.) в Трансильвании, Марамуреше (DLR), венг. *marha* (с XIV в.) 'богатство, товар, рогатый скот', нем. диал. *marhă* 'скот' (Трансильвания) (Tamás; MNyTESz). Данный карпатизм вошел в языки и диалекты карпатского ареала также из венгерского, однако по происхождению он является германским, ср. др.-в.-нем. *markat*, др.-сакс. *markat* (баварско-австр. *markat*, *marchat*, *marchot*) и под. < лат. *mercatus*, также др.-в.-нем. *märkat*, *märchat*, < лат. *mercatus* 'Kauf, Markt' (Kluge, под «Markt»; MNyTESz). Неправомерно сближение *marha* и *mrha* у П. Скока (см.: Skok), поскольку последнее восходит к \*тьг- (Machek; ср. укр. *мерша*, *мерха*, польск. *marcha*, *mrycha*, слвц., чеш. *mrcha* и под. 'слабое, болезненное животное, падаль' и т. п.). Карпатизм *marha* известен также

в некоторых болгарских диалектах (ср. банат. *марва* 'скот' — Стойков), отмечается и в языке славянских грамот Валахии XVI в. (Бернштейн, 158); шире распространен в диалектах сербскохорватского (*marha*, *mahra*, *marva*) и словенского (*marha*) языков (Skok; Pleteršnik). Итак, источником карпатизма-унгаризма *marha* является латинский язык, проникший на Карпаты через германское посредство.

3. Карпатоукр. *балта* '(большой) топор', польск. *bałta* 'топор, топорик (=оружие опришков)' (XVII в.) (Karłowicz; Brückner), слвц. *balta* 'топор' (Kálal; Czambel), 'валашский топорик на длинной ручке' (SSJ), рум. *baltă*, *bältac*, *bältag* 'вид топора' (DLR), 'палка с маленьким топориком, на которую подпираются' (Crângală, 206), молд. *baltag* 'алебарда' (!) (ДМР), венг. *balta* 'топор' (фиксируется с XV в.), диал. *baltág* 'топорик, палка с топориком, на которую опираются' (Wichmann), в Трансильвании *balta* и 'топор с длинной ручкой' (с XVII в. — Erdélyi). Слово имеет, бесспорно, тюркскую этимологию, однако пути его проникновения в языки карпатского ареала могли быть очень сложными. Не исключено, что одним из источников является древнетюркский (ср. параллели в тунгусском, монгольском — MNyTESz); в Карпатах распространялось через венгерское посредство. Вместе с тем нельзя исключать и влияние тур. *balta*, которое могло появиться здесь из румынского (как заимствование из болгарского) (БЕР). В южнославянских языках: болг. *балтия*, *балта* (БЕР; МБТР), с.-хорв. *balta* (Skok), макед. *балта*, *балтија*, *балтак* (PMJ), словен. *balta* (Pleteršnik).

4. Карпатоукр. (закарп., гуцул.) *вам, вами* 'плата натурой за помол зерна' (ЛАЗГ, № 107), *вама* 'таможня' (Сл. гуц.), рум. *vamă* 'таможня, плата натурой за помол; то, через что проходит душа, прежде чем отправиться на небо' (Tamás; Tiktin), диал. 'застава (у въезда в город)' (Трансильвания — ALR, № 908), молд. *вамэ* 'таможня, пошлина' (ДМР), венг. *vám* (с XII—XIII вв.) 'десятина, таможня, пошлина' (MNyTESz). Пути распространения данного карпатизма, широко известного в некоторых языках ареала в связи с развитием торговых отношений, неясны. С уверенностью можно лишь сказать, что в части украинских говоров это — унгаризм, в другой — возможно, заимствование из румынского; в самом румынском — из венгерского (Tamás). Вероятно, это слово относится к тем древним заимствованиям в венгерском языке, с которыми венгры пришли на Карпаты (MNyTESz). Это редкий пример карпатизма, имеющего более широкое распространение на Балканах, нежели в Карпатах, ср. болг. *вама* 'такса при продаже скота, плата за помол, открытый торг, таможня, пошлина' (БЕР), с.-хорв. *vam* 'вид налога' (Skok; RHSJ), словен. *vama* 'пошлина, таможня' (Skok; Pleteršnik), н.-греч. *βαμψα* 'то же' (Skok), арум. *vamă* 'то же' (Papahagi).

5. Карпатоукр. *балмуш*, *балмаш* 'мамалыга на сметане' (Желеховский; Гринченко; Robciuc), рум. *balmuș*, *balmoș* 'каша из кукурузной муки (часто на сметане)' (DLR), также вариант *bălmătică* 'пастушеская еда из сыра, масла, кукурузной муки' (Хацег), ср. другие значения: *bolmoajă* 'чары, волшебство', *bolmoji* 'чаровать' (Pamfile. Cânt., 343), молд. *балмоши* 'кушанье из сметаны, масла, брызги, кукурузной муки', также фразеологизм *талмэш-балмэш* 'мешанина, неразбериха' (ДМР), венг. *bálmos* (с XVII в.), *bálmas*, *bamos* 'мамалыга с растопленным творогом или сыром' (MNyTESz), нем. диал. *bálmesch* (Трансильвания). Ср. болг. *балмуш* (изменившееся под влиянием народной этимологии в *бялъж*, *белъж* — БЕР, МБТР) 'еда из свежего творога, сметаны', макед. *белмуж* 'растопленный сыр, творог с мукою' (PMJ), серб. *belmuž* 'еда из молока и муки' (Skok; РСХКН). Этимология слова неясна, возможно, оно является османализмом (ср. тур. *bulamaç* 'мучная каша' <*bul[ğ]lamak* 'смешивать' — MNyTESz; БЕР; Skok), прошедшем болгарское посредство и распространившимся на Карпатах как *румынизм* (=восточнороманизм).

6. Карпатоукр. *стрига* 'жаба' (ВхЗн, 270), польск. (Подгале) *strzyg(a)*, *strzygoń* 'младенец, родившийся с зубами, мертвец, который выходит из могилы и рвет зубами иконы в церкви, упырь' и под. (Karłowicz; SJP), силез. *strzyga* 'девушка плохого поведения' (Чадца — AJS, № 728), *strzyga* 'насекомое' (SJP), слвц. *striga*, *strigoň* 'колдун', *striga* 'ночная бабочка', *strigat* 'колдовать' (Kálal), *striga*, *strigoň* 'сказочное существо, баба-яга, колдун, -ня' (SSJ; Vázný, 88), чеш. диал. (морав.) *striga* 'ведьма, колдунья', ляш. *stříha* 'то же' (Machek), рум. *strigoī* 'вампир', *strigă* 'кто ворожит, колдует' (Tiktin), *strigă* 'воображаемое существо (в народных поверьях)', которое может сглазить ребенка, отнять молоко у коровы; 'ночная хищная птица; вид бабочки' (DLRLC; DExpl.), молд. *стригой* 'вурдалак', *стригоайкэ* 'ведьма', *стригэ* 'ведьма; вид бабочки' (ДМР), венг. *sztriga* (Гемер — Crâncală, 384). Этот карпатизм во всех языках ареала считается румынизмом, ср. рум. *strigă*, *strigoī*, восходящие к народнолатинской форме *striga* < класс. лат. *strix* 'сова' (Machek; Vázný, 88; ср. также параллели во всех романских языках — Crâncală, 385—386; иногда, правда, заимствованиями из румынского признаются лишь формы в польских и словацких диалектах на *-он-* < рум. *-oi[u]* < \**-oniū* — Crâncală); возможно, идентично греч. *στρίψιγξ* 'то же' (Frisk). Некоторые считают, что венг. *sztriga* — непосредственно из ср.-лат. *striga* (Crâncală), что представляется маловероятным; в словацком — книжного происхождения, в польском — из словацкого (там же). К югу от Дуная данный карпатизм известен арумынскому (*strigă* 'злая женщина, ведьма' — Papahagi), албанскому (*shtrigj*, *shtriga*, *strigë*, *shrigu[ni]* и под. 'колдун; злой человек; человек, у которого дурной глаз; злой дух; вампир; ночная бабочка' и т. п. — Mann; Leotti;

Fjalar), греческом (*στριγάλος* 'злой колдун' и под. — Crānjalā, 384—386); из славянских языков — в хорватских диалектах: štriga(n) 'ведьма, колдунья' (Крк), štrigonija 'колдовство', štrigun 'вурдалак' (Хорватское Приморье), štriga 'сороконожка', stržica 'бабочка' (< ит. strega — RHSJ), также в словенском: štrig (štrija) 'колдун', (s)štrigōn 'вампир', striga 'сколопендра', strigalica, -avka 'уховертка' (< ит. strega — Pleteršnik).

Таким образом, исследователь общих специфических элементов в диалектах карпатского ареала прежде всего имеет дело не с украинизмами, словакизмами, полонизмами, унгаризмами, румынизмами, болгаризмами и под., а с карпатизмами, которые этимологически могут восходить как к древним языкам карпато-балканской зоны, так и к современным языкам.

Генетически карпатизмы могут быть различного происхождения и формироваться в разное время. С диахронической точки зрения можно выделить две основные группы: собственно карпатизмы, т. е. общие элементы местного происхождения, и так называемые балканизмы — общие элементы, проникшие к северу от Дуная в результате многочисленных миграционных процессов, происходивших главным образом после турецких завоеваний Балканского полуострова. Это разграничение представляется существенно важным при изучении истории языков и диалектов карпатского ареала, когда стоит задача стратификации различных пластов лексики. Следовательно, учет этого плана особенно важен в историко-этимологических исследованиях. В практике лингвогеографических исследований указанная выше дифференциация не представляется существенной. Здесь под термином карпатизм следует понимать все специфические общие элементы, характерные для диалектов карпатской зоны на современном этапе их развития.

Как показывают приведенные выше примеры, карпатская языковая ситуация многими своими признаками ориентируется на балканский языковой мир. Ряд карпатизмов в той или иной степени является продолжением тех тожеств, на основании которых построена теория «балканского языкового союза». Объясняется это тем, что население Карпато-Дунайской области, начиная с эпохи бронзы, находилось в самых тесных этнических и языковых отношениях с населением Балканского полуострова.

Существенным представляется и установление соответствующих сходств в диалектах карпатской зоны и западно- и восточнославянских языков к северу от Карпат (Волынь, Полесье, Псковщина, кашубская область и т. п.). Именно поэтому нами предусматривается сбор материала и последующее картографирование диалектных фактов за пределами карпатской зоны. Конечно, ОКДА покажет лишь распространение определенных лексических единиц. Что касается их интерпретации и стратификации, то это задача будущих исследователей.

II. Специфическая общность языков и диалектов карпатского ареала прежде всего проявляется в лексико-семантической сфере. Попытки выделения карпатской общности на уровне фонетики и грамматики пока не дали очевидных результатов. Имеющиеся источники и работа по составлению вопросника ОКДА обнаружили существование многочисленных специфических терминов, связанных с особенностями рельефа карпатской зоны, ее растительным и животным миром, с особыми формами хозяйствования, с орудиями труда, жилищем, одеждой, пищей, средствами передвижения, а также с народными верованиями, с обычным правом, с народным творчеством. Много схождений и в области абстрактной лексики. Таким образом, совершенно очевидно выраживается специфика ОКДА — он будет по преимуществу лексико-семантическим атласом.

В известных нам атласах удельный вес семантических карт невелик. Объясняется это в первую очередь недостатками вопросников, которые не обеспечивали сбора тожественного инвентаря семантических дифференциальных признаков. Особое внимание семантике уделено нами в КДА. Здесь показаны семантические различия лексем *могила*, *туча*, *квочка*, *шершінь*, *ріпіця*, *трепета*, *чатина*, *ягода*, *глота*, *люди*, *челядь*, *жона*, *труп*, *борода*, *грижа*, *вурда*, *киселиця*, *квас*, *куча*, *стая*, *ватра* и под. В двух томах атласа унгаризмов в украинских говорах Закарпатья П. Н. Лизанца<sup>2</sup> более 40 семантических карт. В вопроснике ОКДА семантическая часть составляет примерно треть.

Всему сказанному выше не противоречит то обстоятельство, что в ряде случаев составители ОКДА будут учитывать и словообразовательный аспект, прежде всего характерные для данного региона словообразовательные типы и модели.

III. Работа над ОКДА потребовала точного и ясного ответа на вопрос о характере будущего лексико-семантического атласа. Несомненно, что лексико-семантический атлас может быть создан лишь при тщательном учете материалов по народной культуре. Это дало основание некоторым исследователям защищать положение, согласно которому целесообразно вести работу не над лингвистическим (=диалектологическим), а над лингвоязыковографическим атласом Карпат, который должен дать комплексное отражение явлений в области языка и народного быта<sup>3</sup>. Нельзя, разумеется, отрицать важности и полезности совместных усилий лингвистов и этнографов в деле разносторон-

<sup>2</sup> Lisanec P. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. Uzhorod, 1970; Лизанець П. М. Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської обл. УРСР, ч. III. Ужгород, 1976.

<sup>3</sup> Dzendzelivskyj J. Über das Problem des linguistisch-ethnographischen Atlases der Kultur des Karpatengebietes. — In: Ethnologia slavica, t. 2. Bratislava, 1970, s. 247—257; Он же. К вопросу о «Лингвистическо-этнографическом атласе культуры Карпат» (ЛЭАКК). — В кн.: Проблемы картографирования в языкоznании и этнографии. Л., 1974, с. 107—111.

него изучения определенных областей и зон. Особенно заинтересованы в этом, как нам представляется, лингвисты, которые чувствуют потребность в консультациях подлинных знатоков народного быта.

Составители ОКДА исходят из положения о нецелесообразности создания комплексного лингво-этнографического атласа. Лингвисты (=диалектологи) и этнографы в равной мере имеют дело с явлениями народного быта. Собирая материал по лексике и семантике, диалектолог должен знать материальную и духовную культуру населения. С другой стороны, и этнограф не может игнорировать языковой аспект, а именно терминологию изучаемых объектов. Но этим, собственно, и ограничивается та база, на основе которой возможны совместные исследования. Значительно глубже расхождения между лингвистическими и этнографическими исследованиями в плане как общетеоретическом, так и методическом. Эти расхождения существуют и в области картографирования.

Любое картографирование строится на учете дифференциальных признаков. Каждая из указанных наук имеет свои принципы выявления дифференциальных признаков, а следовательно, свой собственный подход к сегментации фактов реальной действительности. Сторонники комплексных атласов прошли мимо этого важнейшего методологического требования. Практически вся аргументация необходимости создания подобных атласов сводится к тому, что лексико-семантические атласы опираются на изучение явлений народного быта. На такой основе строить теорию комплексных атласов нельзя.

В обеих науках фактор функции играет большую роль, однако эта роль неодинакова. Например, в связи с различными природными условиями может сильно различаться тип жилого дома (его конструкция, материал). Этнограф обязан дать детальное описание дома и по возможности отразить все релевантные дифференциальные признаки на картах. Диалектолог должен это сделать лишь в том случае, если существующие различия находят соответствующее отражение в языке. Иными словами, лингвист смотрит на конструктивные различия предметов, равно как на различия в технике их изготовления (а также их функционирования и использования), сквозь призму языковых различий.

Для этнографов несущественны вопросы дифференциации фонетического (и морфологического) облика слова, выступающего в качестве термина (=названия) соответствующего предмета. При записи названий этнографы не пользуются транскрипцией. Для лингвиста эти вопросы имеют первостепенное значение.

Распространено мнение, что, например, в польской науке успешно осуществляется сближение представителей лингвистики и этнографии с целью создания комплексных (лингво-этнографических) атласов и исследований. Однако именно польские учёные, благодаря большим достижениям как в области лингвисти-

ческого, так и этнографического картографирования, четко выявили принципиальные различия в самом подходе к, казалось бы, одинаковым объектам исследования. Можно ли рассматривать как доказательство сближение тот факт, что в «Польском этнографическом атласе» (*Polski atlas etnograficzny*, t. 1–4. Warszawa, 1964–1971, далее: PAE) много карт, на которых представлена народная терминология тех или иных реалий? Нам кажется, нет. Подобное картографирование проводится с учетом интересов только этнографов, при котором элиминируются аспекты, не представляющие интереса в плане этнографии, но кардинально важные для лингвистов. Сказанное становится очевидным при сопоставлении близких по тематике карт в PAE и в «Малом атласе польских говоров» (*Mały atlas gwar polskich*, t. 1–13. Wrocław, 1957–1970, далее: MAGP).

1. Техника подачи лингвистического материала в PAE до предела упрощена, в частности не применяется транскрипция; кроме того, составители не всегда строги в использовании знаков: иногда близкие, однокоренные названия передаются разными знаками (*jagły, jagła: jaglana kasza* — № 26; *odłog : przyłog, załog* — № 162), с другой стороны, часто один знак объединяет различные (=разнокоренные) названия (*składzik, magazyn, skrytka* — № 96; *tłok, tłoka, słok* — № 162; *bróg, brodło*, также *kaptur, kapelusz, kapa* и *polska stodoła, letnia ~, feldscheune* — № 165 и под.).

2. Лингвистический материал приводится в PAE неполностью и без локализации. Так, на карте № 35 'способы сушки зерновых в поле' отражены такие существенные для этнографа моменты, как (а) сушка с помощью специальных приспособлений и (б) сушка спопов в укладках; термины приводятся суммарно (списком) лишь в случаях второго типа: крестообразные укладки — *mendle, półkopki, kory*. . . , круговые — *kopki, mendle, piątki, kozły*. . . , укладки в ряд — *kopki, sztygi, rzędy, kozły*. . .

3. Не менее существенны различия в картах типа «от слова к значению». Например, в результате сравнения карт № 64 MAGP (*«Co znaczy obora?»*) и № 108 PAE (*«Znaczenie nazwy „obora”»*) можно констатировать, что лингвисты стремятся к более тщательной фиксации значений и их оттенков. Так, в MAGP выделены два самостоятельных значения: '*pomieszczenie dla królów*' и '*~ dla całego żywego inwentarza*', тогда как PAE дает лишь одно значение 'помещение для рогатого скота' (хотя в примечании к карте указано, что существуют специальные помещения для рогатого скота и помещения для всех домашних животных). Далее, при более редкой сетке лингвисты зафиксировали и отразили на карте значение 'место для навоза' не только на юге, где оно широко известно, но и в центре (Лович), где оно выступает спорадически. В MAGP тщательно обработаны единичные значения, как картографируемые ('пренебрежительно о большом строении', 'օրոլ вокруг луны' и под.), так и некартографируемые, извле-

ченные из диалектологических источников и включенные в комментарии ('место на реке, где плотят бревна', 'глубокое место в реке, где собирается рыба', 'тонкие шнурки в лаптях' и др.) (т. 2, комментарии, с. 49, 51). Стоит сказать о том, что на карте PAE № 108 нанесены иные, кроме обога, названия для хлева; они же присутствуют и на карте № 65 MAGP с той существенной для лингвистов разницей, что на последней отмечены и названия *krownia*, *krowiarnia*, имеющие незначительное распространение в Северной Польше и спорадически — на юге (Рацибуж, Кемпно, Ключборк).

4. Можно привести также примеры, когда сравнение карт MAGP и PAE показывает, что лингвисты могут пренебречь дифференциальными признаками, релевантными для этнографов. Так, карта № 63 MAGP («*Spichrz* и синонимы») во многом сходна с картой № 81 PAE («*Nazwy spichrzy chłopskiej*»), однако лингвисты при картографировании (и, вероятно, при сборе материала) не ставили такие вопросы, как (1) является ли помещение для хранения зерна отдельным от жилого дома (или находится внутри него) и (2) является ли указанное помещение принадлежностью крестьянского хозяйства (или также и более крупного); указания на существование различий в реалиях отмечены в комментариях (MAGP, т. 2, комментарии, с. 51), но не учтены при составлении карты. В результате на этнографической карте *spichrz* (и другие названия) в значении 'постройка для зерна определенного типа' фактически присутствует лишь в Восточной и части Южной Польши, в то время как на лингвистической карте MAGP *spichrz* и синонимы картографируются на всей территории. Составители карты № 81 PAE добиваются более тесной связи названия с реалией — постройкой определенной конструкции — благодаря наличию карт и картосхем, представляющих, с одной стороны, типы изучаемых построек, и, с другой стороны, включением карты, описывающей разные способы хранения зерна: специальное помещение (*spichrz!*), но также и просто на чердаке, в кладовой и под.

Иногда этнографы, высказываясь в пользу идеи комплексного картографирования элементов традиционной культуры и соответствующих терминов, понимают под ним лишь наличие в этнографических атласах некоторого количества карт, на которых нанесены названия определенных явлений. Так, К. В. Чистов в качестве примера сочетания картографирования элементов материальной культуры и терминов приводит труд «Русские. Историко-этнографический атлас» (М., 1967) и замечает, что карты, представляющие в этнографических атласах названия по «методу и результату... весьма сходны с картографированием лексики, которое практикуется в диалектологических атласах»<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Чистов К. В. Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд. — В кн.: Проблемы картографирования в языкоизнании и этнографии, с. 77 и сл.

По нашему мнению, это сходство обманчиво. В упоминавшемся атласе «Русские...» есть карта «Названия сарафана» (№ 43). Может возникнуть вопрос: что дает эта карта лингвисту, занимающемуся русской бытовой терминологией? Рассмотрим данные, зафиксированные в пяти уездах бывшей Архангельской губернии: Мезенском, Пинежском, Архангельском, Холмогорском, Онежском, в каждом из которых отмечено от 5 до 9 названий сарафана (при этом пять названий являются общими для всего выбранного района). Лингвисту трудно пользоваться этим материалом, так как 1) названия не транскрибируются, 2) принятая в атласе «поуездная» сетка обследования не дает точной локализации названий и делает невозможным выявление изоглосс, 3) значения картографированных названий не раскрыты с необходимой полнотой, поэтому остается неясным, наблюдают ли мы в данном случае различия только языковые или же многообразие названий объясняется также и различиями реалий. Атлас «Русские» дает неполный ответ: карты № 41 и 42 показывают распространение в указанной зоне от одного (Холмогорский, Онежский уезд) до трех (Пинега) типов сарафана, а в комментариях (с. 210) указывается, что богатство наименований — результат различий не только в покрое, деталях, но и в матери и, о. к. раске. Однако поскольку соответствующих карт нет, невозможно точно соотнести, например, 8 названий, бытовавших на Пинеге (*штофник*, *сарафан*, *китайка*, *костыч*, *набивник*, *мареник*, *шушун*, *сандальник*) со всеми указанными выше дифференциальными признаками этнографического характера.

Все сказанное отнюдь не отрицает принципиальную возможность совместных работ лингвистов и этнографов. Нам представляется вполне реальным предложение Н. И. Толстого о широком применении метода параллельного рассмотрения изоглосс и изопрагм (отдельные положительные примеры подобных сопоставлений уже известны науке), и вместе с тем — о накоплении все новых фактов об их совпадениях и приближениях. Именно таким путем внимание этнографов привлекут явления языка, а лингвистов — данные этнографии<sup>5</sup>.

Перейдем к вопросам методического характера.

1. Вопросник ОКДА, его структура и характер. Индекс явлений, отраженных в Вопроснике ОКДА, был составлен на основе индексов по каждому языку карпатского ареала, которые подготовлены национальными коллективами. При отборе явлений учитывались следующие принципы: 1) в Вопросник не включались локальные тожества, представленные только в двух контактирующих языках. Например, в гуцульских говорах фиксируются заимствования из восточнороманских языков, отсутствующие как будто в иных районах Карпат: *густ* ‘вкус’ (также [не]густовний,

<sup>5</sup> Толстой Н. И. Некоторые вопросы соотношения лингво- и этнографических исследований. — Там же, с. 22.

[не]густовно), маса 'судебное разбирательство, рассматривающее раздел имущества после смерти владельца', парть 'доля, судьба' (ср. и: мати парть 'быть счастливым'), пумера 'сила, мощь' (также пумерний), стримтура 'крутизна, крутой склон' и т. д. (Сл. гуц.). Подобное ограничение в значительной мере диктуется состоянием наших знаний о лексике и семантике диалектов исследуемого региона. Наличие общих элементов в двух языках можно рассматривать в плане поздних, маргинальных заимствований, а не как результат интерференции, хотя не исключено, что общие элементы такого типа могут относится и к очень древним карпатизмам; 2) в Вопроснике включены лишь тожества, которые известны минимум в двух неконтактирующих языках ареала; 3) как правило, не указываются элементы, не связанные с традиционным народным бытом и культурой (прежде всего элементы поздней городской культуры).

Таким образом, в Вопроснике ОКДА были включены пункты, касающиеся традиционного быта сельских жителей Карпат, их типичных занятий; кроме того, в Вопроснике представлены разделы, посвященные живой и неживой природе. Вопросник ОКДА содержит следующие части: I. Дом. Утварь, Помещения для скота. Огонь; II. Одежда. Украшения. Обувь; III. Посуда; IV. Пища; V. Родственные отношения. Некоторые праздники и обычай. Музыка; VI. Человек. Болезни; VII. Растильный мир; VIII. Транспорт. Ремесла. Земледелие; IX. Животный мир. Животноводство; X. Рельеф.

В окончательном варианте решено остановиться на таком следовании вопросов, при котором в каждой части не помещаются в специальные подразделы вопросы двух типов («от значения к слову» и «от слова к значению»), они группируются в зависимости от тематики.

К ряду вопросов даны примечания о необходимости получить словоформы, манифестирующие определенные словообразовательные типы и модели.

В Вопроснике ОКДА для ориентации собирателей включены рисунки и схемы, представляющие реалии, которые относятся к лицу, предметам быта, орудиям труда и т. д. Вместе с тем рекомендуется, чтобы собиратели во время полевых исследований фиксировали с помощью своих рисунков и описаний форму наблюдаемых предметов, материал, из которого они изготовлены, особенности использования и функционирования и под.

2. Лексико-семантическая направленность атласа обусловила и требования, предъявляемые к транскрипции ОКДА. Принято решение, что транскрипция будет иметь более обобщенный характер, необходимый и достаточный для фиксации лексико-семантических дифференциальных признаков. При этом каждый национальный коллектив будет пользоваться принятой в данной стране системой записи лексических материалов, в частности так, как это делается в новых диалектных словарях.

3. Учитывая особый характер ОКДА, предусмотрено неравномерное распределение пунктов обследования на территории атласа. Наиболее густой является сетка обследования в горных районах и в районах, где, по данным этнографов, лучше сохраняется традиционный карпатский быт, специфические формы хозяйствования (в первую очередь горное пастушество).

Установлена окончательная сетка обследования в количестве 164 пунктов (нумерация идет с запада на восток и с севера на юг): польские — 1—20, моравские (чешские) — 21—30, словацкие — 31—50, украинские на территории Словакии — 51—54, венгерские — 55—61, на территории СССР — 62—129 (42 украинских, 20 молдавских, 5 венгерских), болгарские — 130—144, на территории Югославии — 145—164 (13 сербохорватских, 4 македонских, 1 албанский, 2 арумынских).

Особенность создания ОКДА состоит в существовании нескольких национальных версий Вопросника, являющихся аутентичными.

Как указывалось выше, при составлении общего Вопросника ОКДА были учтены подготовленные национальными коллективами индексы. Очевидно, однако, что сами эти индексы не представляют собой полного инвентаря явлений, которые следовало бы отразить в Вопроснике ОКДА. Как при составлении Вопросника любого атласа, при выработке Вопросника ОКДА нашла отражение обективная ступень, стадия изученности лексико-семантической сферы языков и диалектов карпатского ареала в плане специфики данного региона, возникшей в результате интерференционных процессов. Вопросник ОКДА отражает также субъективную сторону процесса его создания. Она состоит в том, что в ходе работы взаимодействовали принципы и опыт диалектологической работы участников работы над ОКДА как представителей соответствующих национальных диалектологий.

Вполне естественно, что участие в работе над ОКДА различных национальных коллективов, опирающихся на свои традиции, порождает известные трудности. С подобными трудностями в настоящее время, например, сталкиваются составители «Общеславянского лингвистического атласа». Однако следует сказать, что в работе над ОКДА их значительно легче преодолеть, так как наибольшие затруднения связаны все-таки с описанием фонетического и грамматического строя говоров, нежели с описанием лексики и семантики. Вместе с тем очевидно, что суммирование опыта всех участников работы над Вопросником ОКДА способствовало его обогащению, сделало его тем необходимым, надежным инструментом, с помощью которого предстоит решать сложные задачи, стоящие перед атласом. Первые полевые исследования во время экспедиции летом 1977 г. помогли устраниТЬ ряд недостатков в составе Вопросника, а также в его структуре.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БЕР — Български етимологичен речник, св. I—VIII. София, 1962—1971.
- Бернштейн — *Бернштейн С. Б.* Разыскания в области болгарской исторической диалектологии, т. 1. М., 1948.
- ВхЗн — *Верхратский И.* Знадоби до пізнання угорськоруських говорів, ч. 1. Львів, 1899.
- Гриченко — *Гринченко Б.* Словарь украинского языка, т. 1—4. Київ, 1907—1909.
- ДМР — *Дикционар молдовенеск-руссек.* Кишинэу, 1961.
- Заремба — *Заремба А.* Из проблематики карпатской лексики и семантики на польско-словацкой языковой границе. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975.
- Желеховский — *Желеховский Є.* Малоруско-німецький словар. Львов, 1882—1886.
- ЛАЗГ — *Дзендзелівський Й. О.* Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської обл. УРСР, I—II. Ужгород, 1958, 1960.
- МБТР — *Младенов С.* Български тълковен речник на съвременния народен и книжовен език, I. София, 1942.
- РМЈ — Речник на македонскиот јазик, I—III. Скопје, 1961—1966.
- РСХКНЈ — Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I и сл. Београд, 1959.
- Сл. гуц. — Картотека словаря гуцульского говора (хранится в Институте общественных наук АН УССР во Львове).
- Стойков — *Стойков Ст.* Лексиката на банатския говор. София, 1969.
- AJŚ — *Zaręba A.* Atlas językowy Śląska, I—V. Kraków, 1969—1976.
- ALR — *Atlasul lingvistic român*, s. n. III. Cluj, 1961.
- Brückner — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.
- Crâncală — *Crâncală D.* Rumunské vlivy v Karpatech se zvláštním žretem k Moravskému Valašsku. Praha, 1938.
- Czambel — *Czambel S.* Slovenská reč a jej miesto v rodině slovanských jazykov. Turč. sv. Martin, 1906.
- DExpl. — *Dicționarul explicativ al limbii române.* București, 1975.
- DLRLC — *Dicționarul limbii române literare contemporane*, I—IV. București, 1955—1957.
- DLR — *Dicționarul limbii române*, v. I, 1913, и след., București.
- Erdélyi — *Erdélyi magyar szótörténeti tár*, I. Bukarest, 1975.
- Fjalar — *Fjalar i gjuhës.* Tirane, 1954.
- Frisk — *Frisk Hj.* Griechisches etymologisches Wörterbuch, 1—22. Heidelberg, 1954—1970.
- Kálal — *Kálal M.* Slovenský slovník z literatúry aj nárečí. Banská Bystrica, 1923;
- Karłowicz — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich, I—VI. Kraków, 1899—1901.
- Kluge — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 15 Aufl. Berlin, 1951.
- Kniezsa — *Kniezsa I.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I. Budapest, 1955.
- Leotti — *Leotti A.* A Dizionario albanese-italiano. Roma, 1937.
- Linde — *Linde B.* Słownik języka polskiego, I—VI. Lwów, 1854—1860.
- Machek — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957.
- Mann — *Mann S.* An Historical Albanian-English Dictionary. London—New York—Toronto, 1948.
- MNyTESz — Magyar nyelv történeti etimológiai szótár, I—III. Budapest, 1967—1976.
- Pamfile. Cânt. — *Pamfile T.* Cântece de țară. București, 1913.
- Papahagi — *Papahagi Th.* Dicționarul dialectului aromân general și etimologic. București, 1963.

- Pleteršnik — *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar, I—II. Ljubljana, 1894—1895.
- RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—XVIII. Zagreb, 1880—1963.
- Robciuc — Рукопись кандидатской диссертации И. Робчука о румынских элементах в украинских говорах (хранится в Ин-те языкоznания, Бухарест).
- SJP — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego, I—VIII. Warszawa, 1952—1953.
- Skok — *Skok P.* Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I—IV. Zagreb, 1971—1974.
- Sławski — *Sławski F.* Słownik etymologiczny języka polskiego, 1—17. Kraków, 1953—1971.
- SSJ — Slovník slovenského jazyka, I—VI. Bratislava, 1959—1968.
- Tamás — *Tamás L.* Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente in Rumänischen. Budapest, 1966.
- Tiktin — *Tiktin H.* Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I—III. Bukarest, 1903—1925.
- Vážný V — *Vážný V.* O jménech motýlů v slovenských nářečích. Bratislava, 1955.
- Wichmann — *Wichmann J.* Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó und des Hétfaluer Csángódialekte. Helsinki, 1935.

Г. А. БОГАТОВА

## СЕМАНТИКА КОРНЕВОЙ ГРУППЫ И ИСТОРИЯ СЛОВА В СЛАВЯНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Историческая лексикология призвана описать сложение и эволюцию лексики как системы. Пока такого описания нет. Практически задачу накопления материалов для такого описания сегодня берут на себя словари, и потому необходимо оценить возможности лексикографии воссоздавать сложение и эволюцию частного звена этой системы — слова. Понятие истории слова многоаспектно.

«История слова, — писал В. В. Виноградов, — должна воспроизводить все содержание, всю цепь смысловых превращений, все „метаморфозы“. Она стремится раскрыть конкретные условия употребления слова в разные периоды его речевой жизни. Она определяет исторические закономерности изменения значений, связывающие судьбу отдельного слова с общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или иных ее стилей. История слова всегда жизненнее, динамичнее и реальнее его этимологии. Вопрос о происхождении слова только тогда получает твердую культурно-историческую базу, когда он опирается на исследование всех этапов смысловой эволюции слова, всех обстоятельств его бытования в разных социальных говорах, наречиях и родственных языках»<sup>1</sup>.

Как только мы зададим себе вопрос, что из перечисленных компонентов истории слова может быть зафиксировано лаконичными средствами лексикографии, становится очевидным, что перед нами, без сомнения, программа лексикологического описания слова, адресованная как ориентир отчасти исторической, отчасти этимологической лексикографии.

История слова как объект лексикографического описания имеет свою специфику в разных жанрах лексикографии. Историческая и этимологическая лексикография, например, имеют дело с разным по объему, по языковой принадлежности первичным материалом, пользуются разной методикой построения словарной статьи, идут к разным (по объему) конечным результатам описания.

Этимологическая лексикография реконструирует исходные формальные и семантические слагаемые корня, анализирует его селективные свойства (избирательность сочетания с аффиксом),

<sup>1</sup> Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — ВЯ, 1968, № 1, с. 19.

выделяет родственные формы и цельнолексемные соответствия в диалектах и родственных языках, случаи «проявления параллелизма развития с тождественным результатом» в языках других семей, т. е. в этимологической лексикографии преобладает структурно-генетический подход к описанию истории слова с выдвижением «на первый план формально-словообразовательного и пространственного критериев», реконструкции и гипотезы как необходимых элементов исследования сложения и эволюции слова<sup>2</sup>.

В исторической лексикографии словарная статья строится лишь на письменных источниках, принадлежащих одному языку, точнее одной письменности, имеющей непрерывную языковую и культурную традицию у носителей этого языка<sup>3</sup>, реже — на свидетель-

<sup>2</sup> Трубачев О. Н. О составе праславянского словаря. (Проблемы и задачи). — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963, с. 167. Преобладание какого-либо подхода, метода не исключает, как подчеркивает О. Н. Трубачев, необходимости использования методов смежных областей, возможности компромиссных решений: «Краеугольное оперативное понятие этимологии и этимологического словаря — реконструкция, и в этом состоит их отличие от истории и исторического словаря. Ошибочно думать, что единственная сфера реконструкции — дописьменный период; самая богатая письменная история... не исключает реконструкцию, не может ее заменить и далеко не всегда облегчает ее. В принципе уместно использование реконструкции при изучении современного словообразования и жизни слова» (Трубачев О. Н. Историческая и этимологическая лексикография. Праславянская лексика на d-начальное. — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Октябрь 1975 г. Москва. Вып. 3. Теория и практика исторической лексикографии. М., 1975, с. 14). См. также: Шимчук Э. Г. Лексическая и семантическая реконструкция в исторической лексикологии. — В кн.: Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков. Тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции. Днепропетровск, 1975, с. 20—21.

<sup>3</sup> Речь идет прежде всего о практике Словаря русского языка XI—XVII вв. (Вып. 1—4. А—Д. М., 1975—1977, далее: СлРЯ XI—XVII вв.), строящегося на материалах русской письменности, литература которой имеет «непрерывную тысячелетнюю письменную традицию» (акад. Д. С. Лихачев), хотя период XI—XIV вв. по степени лексической близости совпадает также и с историей украинского и белорусского языков. В Предварительных публикациях проблемной группы при ИРЯ АН СССР, № 69 за 1975 г., приведены подсчеты, сделанные В. З. Санниковым: из 1700 слов древнерусских юридических текстов (XI—XIV вв.) фиксируется 890 общих слов в старорусских текстах того же жанра (XV—XVI вв.) и 752 общих слова в западнорусских (староукраинских и старобелорусских) памятниках, т. е. согласно подсчетам не менее 68% слов для русского (и соответственно 62% для украинского и белорусского) могут рассматриваться входящими (потенциально и реально) в лексический состав русского языка с древнейшего времени его образования, с каким бы веком мы ни связывали начало этого процесса. Словари не решают проблем периодизации априори. Это в конечном счете само по себе является тем искомым, которое может быть установлено с большей точностью лишь после выхода словарей исторического жанра всех трех восточнославянских языков: Словаря древнеукраинского языка (далее: СлДУ XIV—XV вв.), Словаря старобелорусского языка XV—XVIII вв., а также Древнерусского словаря XI—XIV вв., готовящихся к печати.

ствах памятников письменности и диалектов<sup>4</sup>. Историческая лексикография в описании истории слова делает акцент на предметно-семантическом подходе с выдвижением в центр вопросов функционирования слова в языке: формирования и эволюции его значений, парадигмы форм, фонетического облика, синтаксической сочетаемости. Обязательность документирования этих процессов через иллюстративный и статистический материал, через указание на источник и дату, через обозначение вариантности и т. п. позволяет отчасти освещать и некоторые аспекты локализации слова или значений: стратификационный, социальный, региональный, жанровый. Построение словарной статьи исторического словаря, как правило, не предполагает никаких иных включений — библиографического обзора, существующих в работе лексикографа имплицитно, без цитирования, или поданных в справочно-отсыпичном аппарате к словарной статье в чрезвычайно свернутой форме<sup>5</sup>. Более того, «насыщение исторического словаря данными иной методики (диалектные, сравнительные и этимологические сведения) может лишь привести к своеобразному взрыву изнутри самого типа исторической лексикографии и потому не рекомендуется. Исторический словарь сохраняет свое полное научное значение как опорный свод филологической документации»<sup>6</sup>.

Жанровые различия, основанные на разном подходе к описанию истории слова, дают «на выходе» непосредственно в рамках словарной статьи, разную временную глубину ее исследования (здесь преимущества этимологической лексикографии, способной воссоздать и дописьменный период в истории развития слова, неоспоримы), дают разную степень подробности описания и документации отдельных процессов в фиксированной истории слова, что составляет преимущество и одновременно сложность исторической лексикографии как жанра, так как это связано с большими объемами словарей для языков с богатой письменной культурой<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> См.: Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—3. А—Взяться. Л., 1967—1977. В Институте болгарского языка Болгарской АН готовится словарь на материале древнеболгарских памятников (руководитель Д. Иванова-Мирчева), справочный аппарат словарных статей которого содержит сведения о распространенности лексемы, соответствиях в современных болгарских диалектах.

<sup>5</sup> См., например: *Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I—XIX. Zagreb, 1880—1967; *Slovník staročešský*. Jan Gebauer, t. I—II. 2-е изд. Praha, 1970, где этимологические сведения имеются лишь при основных, опорных словах гнезд.

<sup>6</sup> Трубачев О. Н. Историческая и этимологическая лексикография. Доклад на заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии в Варне. — ВЯ, 1977, № 6, с. 156.

<sup>7</sup> Можно назвать некоторые объемы изданий и сроки работы над картотеками и словарями по наиболее крупным предприятиям исторической лексикографии: И. И. Срезневский почти 40 лет собирал материалы для словаря древнерусского языка по письменным источникам в основном XI—XV вв.,

Стремление к объединению методик этих жанров пока чаще приводит к плодотворным результатам в этимологической лексикографии<sup>8</sup>, где тип историко-этимологического словаря с особым построением словарной статьи имеет весьма удачные образцы, особенно для языков с поздним развитием письменности. В. И. Абаев, автор «Историко-этимологического словаря осетинского языка», так комментирует правомерность «сложения усилий» двух жанров: «Этимология слова, понимаемая в узком смысле, предполагает сопоставление только двух единиц: исходной и конечной. Данный словарь является также историческим. Он стремится заполнить вакуум между исходным и конечным состоянием дать по возможности полную и обоснованную картину истории слова, его звукового, словообразовательного и семантического развития» с помощью сравнительно-исторического метода, внутренней реконструкции, привлечения материальных и типологических параллелей из других языков, а также «соотнесения лексических фактов с реалиями исторической жизни народа»<sup>9</sup>.

Как показывает международный опыт, для каждой письменности важно найти свой оптимальный вариант исторического словаря или системы словарей, учитывающих особенности ее разви-

---

их издание заняло 22 года. В течение 50 лет накапливалась Картотека ДРС для Словаря русского языка XI—XVII вв. С 1963 по 1977 год подготовлены материалы от А до начала С. Издано 4 выпуска (А—Д). Все издание рассчитано на 20 выпусков. Картотека СДР для Древнерусского словаря XI—XIV вв. создавалась с 1957 по 1964 год, издание этого словаря-тезауруса рассчитано на 20 томов. Картотеку для Словаря старобелорусского языка XV—XVIII вв. собирали с 1960 г., для Словаря древнеукраинского языка XIV—XV вв.— с 1957 по 1962 год, для Словаря русского языка XVIII в. — с 1960 г. Загребский исторический словарь хорватского или сербского языка публиковался в течение 87 лет (с 1880 по 1967 год). Издание Старочешского словаря, начатое Я. Гебауэром в 1903 г. (т. I, 1903; т. II, 1916), пока не доведено до конца (вып. VII, 1976, до слова *обеспү*). С 1953 г. издаются выпуски Старопольского словаря, работа идет над буквой Р. Небезынтересен в этом плане и опыт создания некоторых европейских исторических словарей: *Deutsches Wörterbuch*, начатый как исторический словарь братьями Я. и В. Гримм, выходил более ста лет (с 1852 по 1960 год), состоит из 32 томов, 380 выпусков. Исторический нидерландский словарь публикуют с 1863 г. В 1964 г. закончен 23-й том, работа еще не завершена. Шведский исторический словарь выходит с 1893 г. К 1971 г. опубликовано две трети словаря. Старопольский словарь выходит с 1931 г. Издано 25 выпусков (до Р). Исторический словарь испанского языка начат публикацией в 1951 г., вышло 10 выпусков (закончена буква А). Данные взяты из раздела: *Etat des principales entreprises lexicographiques européennes*. — В кн.: *Tavola rotonda sui grandi lessici storici* (Firenze, 3—5 maggio 1971). Accademia della Crusca. Firenze, 1973 (далее: *Tavola*).

<sup>8</sup> См.: Шанский Н. М. Принципы построения этимологического словаря словообразовательно-исторического характера. — ВЯ, 1959, № 5, с. 14—25, а также выпускляемый под руководством и редакцией Н. М. Шанского «Этимологический словарь русского языка» (т. 1—2, 6 выпусков. А—ЗЯТЬ. М., 1953—1975).

<sup>9</sup> Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 2. Л., 1973. Предисловие, с. 4.

тия<sup>10</sup>, состояние источниковедческой базы, характер картотечных накоплений<sup>11</sup>. Результат поиска зависит и от корректности и реалистичности задач научного и культурно-исторического плана, которые ставят перед собой создатели словаря, располагающие определенным образом подготовленным материалом. Кроме того, полнота отражения истории слова представляет собой требование, которое «преломляется различно в зависимости от того, выделяет ли словарь для описания одно историческое языковое состояние или он охватывает несколько таких состояний (ряд звеньев диахронической цепи)… Специфической особенностью словарей первого типа (одно языковое состояние) является то, что перед ними возникает проблема совмещения описания системной организации лексических элементов с характеристикой динамики в пределах системно организованных групп лексики (синхрония в диахронии). Словари второго рода (ряд языковых состояний) имеют дело с собственно диахроническим описанием»<sup>12</sup>. Дальнейшие наши наблюдения и суждения будут связаны именно с этим последним типом словарей.

Для диахронического словаря, нижней границей которого является начало письменного периода, проблема семантической истории слова<sup>13</sup> начинается нередко с проблемы номинации, если речь идет о реалии, с уяснения и реконструкции древнейшего, как правило, дописьменного, периода в истории реалии и слова. При создании этой рабочей исходной схемы лексикограф должен исчер-

<sup>10</sup> Именно так отвечает Фл. Дмитриеску на вопрос устроителей заседания по большим историческим словарям во Флоренции — что предпочтительнее общие диахронические словари или серия исторических словарей, подразделенных на хронологические отрезки. Применительно к румынскому языку, первые памятники письменности которого относятся к XVI в., предпочтительнее создание трех словарей «по горизонтальным срезам» — XVI в. (тезаурус), XVII и XVIII вв. (при выборочности круга источников). Accademia della Crusca (Флоренция) остановилась на двух словарях: «Tesoro», начинающегося с первых памятников письменности до Данте (XII в.), и Историческом словаре по материалам восьми веков истории языка (доклад *Duro A. Il Vocabolario della Crusca*. — Tavola). Французские лексикографы из Нанси делят историю французского языка на пять периодов (отрезков). Решено начать лексикографическую обработку с материалов «последнего отрезка XIX—XX в.» (*Imbs P. Les travaux pour le Trésor de la langue française*. — Tavola).

<sup>11</sup> См.: Богатова Г. А. Соотношение картотеки и словаря. — В кн.: Лексикографические источники и принципы их обработки (в печати).

<sup>12</sup> Сорокин Ю. С. Что такое исторический словарь? — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Вып. 3, с. 20—24.

<sup>13</sup> В данном докладе из комплекса проблем, связанных с воссозданием истории слова средствами исторической лексикографии, мы сознательно отбираем для обсуждения только вопросы семантического развития слова. Доклад строится в основном на опыте авторской (составительской) и редакторской работы над Словарем русского языка XI—XVII вв. (вып. 1. А—Б. М., 1975; вып. 2. В—Волога. М., 1975; вып. 3. Володько—вяльшина. М., 1976; вып. 4. Г—Д. М., 1977. Гл. ред. С. Г. Бархударов. Ред. Г. А. Богатова).

пать в первую очередь данные исследуемого языка: семантическую структуру слова, словообразовного гнезда, сопоставимые и противостоящие по смысловой и морфологической структуре лексемы, типы контекстов, данные диалектов, родственных языков, представленные в словарях и исследованиях по этимологии и исторической лексикологии, а также в трудах смежных наук: истории, этнографии, археологии, метрологии и др.

При подготовке лексикографического описания слова *верига*<sup>14</sup> после обследования довольно скромного гнезда (*верижница*, *верижникъ*, *верижный*) оказалось необходимым обратиться к глаголу \**верати/върати*, \**върѣти* 'совать, продевать, сунуть, прорвать': Съвѣзати ржѣт и нозѣт и коль жѣльзъ въврѣти междуу ржкама и ногама. Супр. р. 2 (Срезн. I), к его производному *враныи*: (А се) даю с(ы)ну своему, князю Дмитрию: . . . чель золоту врану с кр(е)сто(мъ) золотымъ, чепъ золоту колъ чату. Дух. и дог. гр., 16. Ок. 1358 г.<sup>15</sup> Описание древнейших образцов цепей, данное в работе Б. А. Колчина «Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого»<sup>16</sup>, подсказывает, что, возможно, чель *враная* изготавлялась из металлического прута посредством продевания, вдевания одного конца прута, стержня внутрь закругленно согнутой части другого, посредством составления цепи, «которая не паяна, а гнута без пайки». Мат. Арх. сл. IV, 96. 1623 г.

Оказалось необходимым обратиться и к слову *вервь* (*вървь*)/*веревь* (*въръвь*)<sup>17</sup> и их корневым группам, также связанным первоначально с семантикой 'совать, протаскивать'. На связь *вервь*, *веревка* и *верига* указывают и этимологические словари, приводя лит. *virvē* латыш. *vīrve* 'веревка' лит. *vergi* 'продевать нитку', латыш. *vērt* 'нанизывать', греч. Φερό 'тащу' (Фасмер I, 295).

Сопоставимость по общности морфем *въг-/ver-*, восходящих к глагольной основе со значением 'вдевать, совать, просовывать, тащить, протаскивать', может явиться основанием для рабочего

<sup>14</sup> См.: Добродомов И. Г. К этимологии русского слова *вериги*. — В кн.: Вопросы филологии. М., 1974. Статья содержит обзор и критику существующих этимологий слова как исконно славянского.

<sup>15</sup> Сокращенные обозначения источников в цитатах из картотеки ДРС или СлРЯ XI—XVII вв. даются по указателю источников в порядке алфавита сокращенных обозначений к СлРЯ XI—XVII вв. (М., 1975).

<sup>16</sup> Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого (производство, технология). — В кн.: Материалы и исследования по археологии СССР, № 65. М., 1959, с. 17—23.

<sup>17</sup> О существующих этимологиях слова *вервь* см.: Топоров В. Н. О двух праславянских терминах из области древнего права в связи с индоевропейскими соответствиями. I. Праславянское \**въгъвъ* и его продолжения. — В кн.: Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973, с. 119—120. В статье В. Н. Топорова дается «новое объяснение этимологии ряда слов того же семантического круга, а также расширение и углубление совокупности данных, относящихся к истории слова *въгъвъ* и его соответствий внутри славянских и — шире — индоевропейских языков», рассматривается слово *вервь* во всех значениях, скрепленных двумя крайними — «catena» и «состыпне».

допущения, касающегося исходной смысловой структуры этих двух слов, вида, состояния реалии: \*въгвь — *вервь/вервь* — это 'волокно растительного или животного происхождения, протянутое сквозь что-то при обработке<sup>18</sup>, veriga — *верига* — это 'волоченая металлическая нить, проволока, прут (в зависимости от диаметра отверстия в волочильной доске, сквозь которое ее «волочили», продерживали, протаскивали)'.

Такое допущение о первичной семантике поддерживается встречно и анализом контекстов корневых групп, к которым относятся эти два слова. Контексты содержат указание на вид, фактуру и назначение реалий после номинации: *вервь бѣлая лынная, веревки лычные; верви сапожные, вервица запунная, веревченко сѣновязное*. В примере «На колчанѣ... кругомъ каемъ веревочка литая» (Оруж. Бор. Год., 21. 1589 г.) имеется в виду металлическое украшение в виде веревочки, крученого шнуря. *Вервь* и производные взаимодействуют с глаголами *вязати въ веревку, обвязати вервию, удавити вервию, да не урвется вервь, взнзати на вервицу*.

Древнейшие контексты для слова *верига, вериги* указывают, что материалом реалии были мягкие, ковкие металлы (медь, даже золото) и лишь позднее, с XIV—XV вв., преобладает железо (возможно, с изменением названия реалии). В ранних памятниках письменности *верига, вериги* взаимодействуют с глаголами *сплести, связати, привязати*. Стаго Иоанна оца нашег Златоустаго слова на върбнницю. Отъ чудесъ къ чудесъ гнемъ ходимъ братия и доидѣмъ акы отъ силы, на силу, яко же бо въ веригахъ златахъ, притокы другъ друзъ съплетены, едино единого держитъ съплетеныхъ коежъдо. И продължаемо есть сице и стыхъ еуангелии чудеса другъ отъ друга направляютъ. Усп. сб., 385. XII—XIII вв.; Власи же его акы веригы съплетены. Там же, 185. Съвяза веригами. Там же, 185. Привязанъ веригами медяными. Сл. о трех мнисех, 137. XIV в.<sup>19</sup> *Вериги желѣзные* употребляются с глаголом *възложити*: под 1378 г. записи Ник. лет. XI, 40. Ср. также Прол. нач. XIV (Син. 239) 7а—б в Картотеке СДР (далее при примерах помета: СДР).

Из этих фактов можно реконструировать наиболее раннее значение слова *верига* 'проводка, металлический прут, витое или кованое изделие из них', имевшее вид «ужища» (наподобие троса),

<sup>18</sup> В олонецких говорах существует слово *верва* 'проводка' (СРНГ, вып. 4. Л., 1969, с. 123).

<sup>19</sup> И. Г. Добродомов высказывает мысль, что *вериги* относятся к древнейшим заимствованиям южнославянских языков, в частности старославянского, из булгарского. В качестве соответствий приводятся дериваты тюркского глагола *бр* 'плести', др.-турк. *брѣг* 'заплетенный'; чагат. *брѣг* 'пути для лошадей', тюрк. диал. *брѣк*, *брѣк* 'веревка для привязывания животных на пастбище'. См.: Добродомов И. Г. Проблемы изучения булгарских лексических элементов в славянских языках. М., 1974, с. 127. Он же. Проблемы изучения булгарских лексических элементов в славянских языках. Автореф. докт. дис. М., 1974, с. 12.

цепи (из гнутых кованых звеньев: «враная цепь»), применявшимся как 'узы, оковы, орудия истязания': Церя же ихъ удържавъ съвяза веригами горущими... по толицъ мчни живъ есть и власъ главы его не ополѣ, ни вона огньяная не обрѣте ся на немъ. Усп. сб., 185. XII—XIII вв. Сюда же, возможно: зѣло горка о дѣ темница и лута верига яже о тобѣ злопомпенъя стрсти. К. Тур. Кан., XII в., сп. XIV в., л. 221 об. (СДР).

В культовой среде как орудие самоистязания *вериги* принимают разнообразные формы, в частности форму тяжелого металлического обруча, носимого на шее<sup>20</sup>, на руках, тяжелой цепи с обручем (что и составляет основу для выделения, формулировки второго, специализированного значения в слове *вериги*): Съшед же онъ и сътвори веригы, привязавъ о выи своеи, краи же другии веризъ пригвозди къ стенѣ. ВМЧ, Дек. 31, 2812. XVI в. ~ XIV в.; (1472): Видѣхъ, рече во снѣ идуща Филиппа митрополита... из церкви и вериги на руцѣ несущи свои. Львов. лет. I, 300. И они на себя клали сами — иной вериги железны, а иной чепь на себя положил. Иос. Вол. Посл., 179. XVI в. ~ XV в.

Словарные статьи двух жанров лексикографии, занимающихся историей слова, различны по построению, оперируют различным по характеру первичным материалом, их, конечно, можно сопоставить, не забывая, однако, об относительности таких сопоставлений, так как сопоставлять придется по существу разные типы словарей — разные по характеру, составу и возрасту словарников. Например, словарная статья Словаря русского языка XI—XVII вв. на слово *вериги* существует на фоне словарника XI—XVII вв., насчитывающего по букве В 7435 позиций (или 6662 словарных статьи и 773 отсылочных). Словарник «Этимологического словаря русского языка», наиболее близкий по типу, одним из источников которого (о моменте первой фиксации) служит та же Картотека ДРС, имеет на В 938 словарных статей; в составе словарника много «молодых» слов (типа *вазелин*, *вермахт*, *вектор*).

### «ВЕРИГА, ж. и ВЕРИГИ, мн.

1. Металлическая нить, проволока, прут; свитые или кованые изделия из них (ужище, цепь). Видѣхъ мужа чирна вельми, и мнози воини подобны ему чирнѣюще ся, власи его акы веригы съплетены. Усп. сб., 185. XII—XIII вв. Видѣ-

«ВЕРИГИ. Заимствовано из ст.-сл. яз. В ст.-сл. яз. слово *верига* (Срезн. I, 245; Kurz, 180; SA, 150) образовано морфологическим путем посредством суф. -ига от глагола \*verti 'связывать' (см. *вервь*, *ворота*, *отворить*). Первоначально обозначало 'цепь', по-

<sup>20</sup> Значение 'низка, шейное украшение, ожерелье, цепочка' имеем в слове *верижца*: [Юлиан] посла с ними для церкви... многу службу... круглая свѣтилна и верижце сребренники сковавъ, посла. Хрон. Г. Амарта., 362. XIII—XIV вв. ~ XI в.

хом мужа велика, в высоту 100 локотъ, и бяше привязанъ веригами мѣдяны<sup>и</sup> по всему тѣлу... (ко деснои горѣ). Сл. о трех мнисех, 137. XIV в. || мн. *Оковы, узы*. Прѣтерзахуся от него веригы и пута скруша-хуся (нов. ужи). Мр. V, 4, Гал. ев. XIII в.\*; Съшед же онъ и сътвори веригы, привязавъ о выи своеи, краи же другии веризъ пригвозди къ стенѣ. ВМЧ, Дек. 31, 2812. XVI в. ~ XIV в. П о с а д и т и въ ве-риги — заковать. (1378): Они же возложиша руцѣ нань, и яша его, и посадиша его въ вериги желѣзны, и гладом нудяще его. Ник. лет. XI, 40.

2. *Металлический обруч, носимый на шее, руках как орудие самоистязания*. Чѣстьнюю свою веригу. Стихир. XII в.\*; (1472): Видѣхъ, рече, во снѣ идуща Филиппа митрополита въ всемъ своемъ сану... и ве-риги на руцѣ несущи свои. Львов. лет. I, 300; И они на себя клали сами — инои вериги же-лезны, а инои чепь на себя положилъ. Иос. Вол. П посл., 179. XVI в. ~ XV в.» (СлРЯ XI—XVII вв., вып. 2, с. 88—89).

П р и м е ч а н и я. Отдельные цитаты печатаются в сокращенном виде. Цитаты со звездочкой даны по Срезн. I.

Как мы видели выше, для такой достаточно старой письменности, как русская, в словарях с нижней границей, совпадающей с началом письменного периода, если пользоваться терминологией Н. И. Толстого, тип раннего исторического значения близок к этимологическому<sup>21</sup>. Построение словарной статьи словаря исторического жанра таково, что в «надводную» часть включается едва ли одна восьмая рассмотренных материалов, а этимологическая часть

том ‘цепь, носимую подвижниками’ и ‘кандалы’. Совр. форма слова *вериги* пред-ставляет собой по происхожде-нию им. п. мн. ч. от *верига*, закрепление которого в каче-стве единственной формы слова связано с семантикой данного сущ., обозначающего состав-ной предмет (ср. *оковы, путы*).

— Укр. *веріги*, бел. *варыгі*, болг. *верига*, макед. *верига* ‘цепь, горный хребет’, с.-х. *вериге*, словенск. *veriga*. Этимолог. сл. русск. яз., т. I, вып. 3. В. под ред. Н. М. Шан-ского, с. 59—60.

Для сравнения приведем также статью из Этимологического словаря русского языка М. Фасмера. «ВЕРИГА, мн. ч. *вериги*, др.-русск., ст.-слав. *верига* ἀλυσίς (Супр.), болг. *верига*, сербохорв. *ве-рига*, словен. *veriga*. Связано с *вератъ* ‘соват’. Ср. лит. *vérītā*, *veriu* ‘открывать, закрывать’, латыш. *vērt*, греч. *ἀειρω* ‘связываю’. См. Зубатый. AfslPh 16, 418; Траутман, BSW 351; Мейе, Et. 354. Ср. также *вереница* (Фасмер M. Этимол. словарь русского языка, т. I, с. 299).

<sup>21</sup> Толстой Н. И. К проблеме значения слова в славянской исторической лексикологии и лексикографии. — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференций. Октябрь 1975 г. Вып. 2. Славянская историческая лексикология. М., 1975, с. 47.

работы лексикографа только «скázывается» на последовательности значений, их определении, оставаясь целиком вне статьи, в рабочей лаборатории. Как убедительно об этом пишет Ф. де Толленаре, редактор Исторического словаря нидерландского языка, каждый раз «хорошо созревшая статья, хорошо продуманная классификация значений заставляет нас находить этимологию слова. С другой стороны, найдя этимологию слова, мы можем „кроить“ по соответствующим отрезкам классификацию значений»<sup>22</sup>.

Наряду с этимологией для воссоздания истории отдельного слова важен предварительный обзор семантических свидетельств всей корневой группы и их рабочая классификация. Так, для слова *веревь* мы можем исходить из пучка этимологических значений ‘переплеть, сплетать; свивать, вить, гнуть’, свойственных осложненной ступени и.-е. корня *дег-*, *верв-/верб-*<sup>23</sup>, т. е. *веревь* — это также ‘то, что свито, сплетено в результате обработки прядей волокна растительного и животного происхождения’.

Сопоставление семантических показаний корневой группы *верв-/верев-* позволяет уточнить разновидности реалий, обозначающихся этим корнем:

‘веревка, свитая из нескольких прядей’: **Вервь (вървь)**: Аже перетнеть вървь въ перевесѣ, то 3 гривне продаже. Правда Рус. (пр.), 131. 1282 г. ~ XII в.; Повисѣ на дрѣвѣ повѣсивши нбо без вървии. Усп. сб., 347. XII—XIII вв. **Веревка**: Еще плетень бываетъ . . . кладутъ шесты вдоль, единъ на другой, веревками перевязывающи. Назиратель, 445. XVI в. **Веревченко**: Веревченко съновязное, ветхое. (Кн. прих.-расх. Корел. с.) Арх. Он. 1963 г.;

‘крученый шнур, шнурок, бечевка (используемые как перевязь, низка, фитилек и т. п.): **Вервь**: Внегда пригорѣти свѣщи падаше вервь в лоханию и творяше клокотъ. ВМЧ, Сент. 1—13, 143. XVI в. Женчюга вервий 10. Александрия, 89. XV в. ~ XII в. **Вервица**: 10 вервиц запунных. Там. кн. Тихв. м., 1265, 102 об. 1626 г. **Веревка**: Шапка скорлатна червчата . . . кругомъ веревка капительная. Плат. Бор. Год., 19. 1589 г. **Веревочка**: Да целомъ, государь, тебѣ бью шапку лисью горлатную черну, а послалъ ее къ тебѣ . . . продержнувъ въ нее веревочку, запечаталъ тою же печатью, которой ся грамотка запечатана. АИ II, 362. 1610 г.;

‘сплетенные из ремешков четки, лестовка; плеть’: **Вервица**: Отец же даетъ ему вервицу, по неи же самъ молитву творяще. Ж. Пафн. Бор., 131. XVI в. **Вервь**: Соколы безъ верви отнюдь у нихъ не летывали, не поворачивали. Пис. Алекс. Мих., 1657 г. (Срезн.); ‘ссущенные нитки, дратва’: **Вервь**: Трои сапоги шыл. . . и вервии, и воскъ, и поднаряд, и гвоздье восмь алтын. Кн. расх. Корел. м. № 937, 42. 1563 г. 5 мотков вервей сапожных. Столб. ик.,

<sup>22</sup> Tollenare F. de. L'etymologie dans le dictionnaire historique. — Tavola, p. 105.

<sup>23</sup> Петлева И. П. К этимологии двух древнерусских слов. — В кн.: Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. (В печати).

489. 1673 г. Ср. определение, данное у Бурнашева к слову *верва*: «Так у сапожников называется из нескольких пеньковых или льняных нитей ссученная прядь, варом с воском спущенным высмоленная... *Вервы* — сканая наложенная нитка». СРНГ Вып. IV, 123 (Арх.).

Выявление смысловой корреляции внутри корневой группы — это один из рабочих моментов, предваряющих построение словарной статьи исторического словаря. Полнота корневой группы, гнездового фона обеспечивает полноту и объективность семантической информации о слове<sup>24</sup>. Эта информация, как правило, не односторонна. Не всегда по опорному слову, скажем, *вервь*, можно судить о реальных и потенциальных значениях производных слов, таких как *веревка*, *веревщикъ* и др. Очень часто исходное слово может быть не зафиксировано в памятниках письменности (элемент случайности письменных свидетельств при любом методе выборки не исключен<sup>25</sup>) или утрачено в прошлом, например \**věn* от *viti* не фиксируется в славянских языках или бытует в фольклоре как вторичное, поэтому в исторической лексикографии предпочтительнее пользоваться понятием *семантический опорный* (а не исходного) слова корневой группы. В корневой группе, таким образом, в качестве опорных могут служить производные слова, например *вѣнецъ*, *вѣнокъ* (часто слабо различавшиеся. Ср.: Да отецъ пожаловал, дал дочери своеи: вѣнецъ царской... съ яхонты, да с лалы, да з зерны с великими, другои вѣнок низан великим жемчугом. Дух. и дог. гр., 312. Ок. 1486 г.), *вѣникъ*. Они лидируют в корневой группе из 25 слов (в СлРЯ XI—XVII вв.). Опорные слова обычно являются древнейшими мотивирующими словами корневой группы, чаще сохраняют близость к этимологическим типам значений. Например, у слов *вѣнецъ*, *вѣнокъ*, *вѣникъ* связь с *viti* 'вить, сплетать, связывать' очевидна. Ср. *Вѣнецъ* 'венок': Вѣньцъ отъ тряния. Остр. ев.\* 1057 г.; Бѣаше венеца исплетењъ отъ всякого цвѣта. (Ж. Андр. Юрод.) ВМЧ, Окт. 1—3, 100. XVI в. ~ XII в.; 'ярус бревенчатого сруба', т. е. 'вид связки из рубленых кусков дерева'<sup>26</sup>: (1382): Заложиша церковь, три вѣнцы. Воскр. лет. VIII, 48; Продаль струбокъ, пять вѣнцовъ, а взяль... за струбокъ семь денегъ. Ворон. а., 206. 1632 г.; *Вѣникъ* 'связка, сноп стеблей, ветвей, веник': (1407): А тое весны... сено дорого велми, а вѣник по мор-

<sup>24</sup> См.: Богатова Г. А. История слова и русская историческая лексикография. — В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы конференции. Вып. 3, с. 27.

<sup>25</sup> В картотеке ДРС и СлРЯ XI—XVII вв. фиксируются, например, прил. *абинный*, *акулий*, *вылуговый*, *жичковый* при отсутствии существительных, от которых они образованы (*аба*, *акула*, *вылугъ*, *жичка*) в материалах XI—XVII вв.

<sup>26</sup> В слове *вѣнецъ* в этом значении живут старые семантические соотношения между 'рубить, резать, рвать' и 'связывать, плести', о которых писал О. Н. Трубачев: Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966, с. 249.

дъке бяще. Псков. лет., II, 115; В бане обольются мытелью и возмутъ вѣники. (Пов. врем. лет.) Ипат. лет., 7. [Лавр. лет.: прутье младое; Радз. сп.: вѣтвие.]; Три вѣника травные. . . для чищенья государскаго платейца. Заб. Дом. быт., I, 705. 1651 г.

Наряду с этимологией семантические свидетельства корневой группы помогают проверить классификацию значений в их диахронической последовательности. В тех случаях, когда в картотечном собрании ранние значения какого-либо слова представлены поздними свидетельствами, обоснование избранной последовательности происходит вне рамок словарной статьи, в пределах корневой группы, располагающей производными словами, семантически близкими им значениями с более ранней фиксацией:

береза как название дерева известно в первой фиксации по двинским грамотам XV в., но первую фиксацию слова в письменности фактически можно датировать по производному березовый (1128 год записи: Ядяху люди листъ липовъ, кору березову. Новг. I лет., 124);

гранатъ как название дерева и плода (1-е знач.) вынуждены были иллюстрировать в СлРЯ XI—XVII вв. документами петровского времени: На деревѣ гранатъ яблоко поспѣло. Петр., VII, 273. 1707 г.; Лимоны и померанцы, яблоки и гранаты. Опис. гос. Кит., 71 об. 1713 г., тогда как производные к 1-му и 2-му значению ('гранат, драгоценный камень', XVII в.) восходят к XVI в.: Плод огородный гранатовыхъ яблокъ. Травник Любч., 428. XVII в. ~ 1534 г.; О гранатове камени. Там же, 686;

глазъ. Если говорить об истории слова в значении 'орган зрения', то его истоки постепенно удревняются<sup>27</sup>. Их можно связывать, как следует из свидетельств словарных статей СлРЯ XI—XVII вв., с началом XVI в.: И язъ отъ дву своихъ глазъ одно око — Кудаяра брата своего послалъ есми. Крым. д. II, 497. 1518 г. Ср. Коровий глазъ — название растения (стоящее в одном ряду с названиями растений чижевъ глазъ, раковые глаза): Оукуюсь ваксе . . . по-русски коровей глазъ. Травник Любч., 244. XVII в. ~ 1534 г. Семантическую линию глаз — око продолжает лексикализованная форма мн. глазки — очки: Наложи на нос да гляди в глазки. Без глазков тебѣ не видѣть. Псков. разгов., 185. 1607 г. Если же «читать» историю существительного и по образованным от него прилагательным, то значение 'обладающий острым глазом, зрением' можно найти уже в XIII—XIV вв. в названии эфиопского племени блемиев — глазатые: Памет<sup>〈ъ〉</sup> стхъ отъ ншихъ избеныхъ отъ глазатыхъ при Диоклитианъ цри. Прол. XIII—XIV вв.\* Срезневский сопровождает слово греч. βλέμψις от βλέμψια (?) 'взор, глаз'. Ср. также глазатый 'глазастый': Писана кабала. . .

<sup>27</sup> М. А. Соколова относит появление значения 'орган зрения' к концу XVI в. См.: Соколова М. А. Из истории слов основного словарного фонда русского языка. — Докл. и сообщ. Ин-та языкоznания, 1952, № 2. См. также: Sjöberg Anders. Ранний случай употребления слова глаз со значением 'орган зрения' в русском языке. — Russian Linguistics, 1974, 1, p. 33—36.

на Фому... а ростомъ середней, молодъ, лѣтъ въ двадцать, гла-  
зать, языкомъ момотливъ. Новг. каб. кн., 162. 1593 г. Это первич-  
ное для письменной истории слова значение само было перенос-  
ным от более раннего 'кругляш, окатыш, блестящий камешек —  
галька, стеклянный шарик, бусинка' и т. п. Только это значение  
'камень-окатыш' имеет польская глосса *glasz* в средневековом  
латинском тексте, приведенном в Старопольском словаре:  
*Glaz* 'камій (otoczak), petra': *Glasz* Park, 409; *Wylkojuszko,*  
*villa habens in se ecclesiam parochialem lapide rotundo*, quem  
*glasz vocamus, muratam.* DŁLB III, 154<sup>28</sup>. Это следует и из сви-  
детельств других слов корневой группы *глаз-* в древнерусском языке.  
*Глазокъ* 'отшлифованный (водой) камешек': (1114): Егда будеть  
туча велика и находять дѣти наши глазки стекляныи... а дрыя  
подлѣ Волховъ беруть, еже выполоскывает вода. Ипат. лет., 277.  
*Глазенцы* 'бусы?' (бусины? шарики? игральные кости?): Да ку-  
пити ему железа... тонкова иголнова... да купити ему глазен-  
цовъ багровыхъ крупныхъ. Ревел. а. I, 83. XVI в.

Использование ономастических материалов Картотеки ДРС, изданий типа «Ономастикона»<sup>29</sup> могло бы расширить возможности воссоздания семантической истории слова в рамках словарной статьи. В «Ономастиконе», например, регистрируется *Глазъ* как прозвище в конце XIV в. Интерпретация этого употребления (*Глаз Зернов*) может быть связана с более ранним пучком значений, если учесть обычную для того времени семантическую преемственность в прозвищных наименованиях лиц, связанных родством. Александр Захарьевич Зерно, костромской боярин, убитый в 1304 г. в Костроме, был родоначальником Вельяминовых-Зерновых (вторая часть фамилии давалась по прозвищу с номинативным значением 'зерно; меченое зерно, камешки-кругляши, шарики для жеребьевки; игральная кость'). К этой фамилии принадлежал и Андрей Дмитриевич *Глаз Зернов* (от него — Вельяминовы-Глазовы). Прозвище *Глазъ* возможно было связано с нарицательным *глаз* в знач. 'камешек-кругляш, шарик', если иметь в виду семантическую линию *зерно—глаз*. Реальность такой семантической преемственности может быть подтверждена многочисленными примерами сложения родовых фамилий, имен, прозвищ: «В роде муромцев Кравковых прозвища: Сума Васильев, 1596 г., у него сын Осип Мешок Сумин, 1614 г., внук Матвей Мешков Карман; в родстве с Кравковыми Осип Карман Мешков сын» (Вес., 163); «Окунь Иванович Линев, помещик, вторая полов. XV в., Новгород (от него — Окуневы); Андрей Иванович Сом Линев 1472—1496 гг.; Алексей Ершов сын Линев, 1550 г.» (Вес., 181); «Карась Туруса-манов Линев, и. XVII в.» (Вес., 134); «Кн. Иван Федорович Лось Волконский, 1594—1637 гг., у него сын Лосенок» (Вес., 185); Сопля Иван Матвеевич Бутурлин, он же Возгра, вторая полов.

<sup>28</sup> *Słownik staropolski*, t. II, z. 6 (12). Wrocław—Kraków—Warszawa, 1958.

<sup>29</sup> Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974 (далее: Вес.).

XVI в. Его сын носил прозвище Сопленок» (Вес., 296). Не случайны для XVI в. такие «наборы» в полном именовании лиц: Скворец Ильич Соловьев сын Борцов, 1569 г., Иван Синица Воронин, 1512 г. (Вес. 287) и др.

Не исключена возможность другой интерпретации и для производного *глазки* мн. 'очки', через *глазокъ* 'шлифованный минерал, шлифованное стекло'. Ср. нем. *Brille* 'очки' от *берилла*, полурагоценного прозрачного камня, который шлифовался и вставлялся как глазок в раку, чтобы через него видеть моши святых. Очки — *Brille* появились позднее, около 1300 г.<sup>30</sup>, т. е. соотносимость *глазки* — *очки* по *глазъ* — *око* вторична, как вторично само значение *глазъ* как 'орган зрения' по отношению к \**глазъ* — *камень* 'кругляш, окатыш; блестящий (прозрачный или шлифованный) минерал', значение, которое реально реконструируется по данным корневой группы, истории некоторых реалий (включая сюда и *глазки* — *очки*) как первое. Или — при условии более четкого разделения производных — здесь могли бы иметь место слова-омонимы: *глазъ*<sup>1</sup>, при *глазъ*<sup>2</sup> 'орган зрения'.

Такую ситуацию для исторической лексикографии (особенно для типа диахронических словарей) нельзя считать редкой.

Разрыв в последовательности значений, возникающий часто при большой степени переносности, образности второго значения, ведущий постепенно к утрате ассоциативных связей с первым значением, рождению цепочки «собственных» производных дает основание для разделения на омонимы первоначально (для нижней границы словаря) многозначного слова. В этом особенность диахронических словарей, таких как СлРЯ XI—XVII вв., одним из принципов которого при оформлении заголовочного слова является ориентация на «облик слова в конце охватываемого словарем периода»<sup>31</sup>.

В составе таких словарей неизбежны однокорневые омонимы. Омонимы со свитой собственных производных в составе корневой группы<sup>32</sup>. Воссоздание истории слова в таком случае будет связано с двумя (напр., *гранатъ*<sup>1</sup> и *гранатъ*<sup>2</sup>), а то и с тремя словарными статьями (напр., *полъ*<sup>1</sup>, *полъ*<sup>2</sup>, *полъ*<sup>3</sup>). Поскольку случай с *пол-* и его словоизводным гнездом подробно разбирался нами ранее<sup>33</sup>, рассмотрим корневую группу *гранат-*:

<sup>30</sup> Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache<sup>20</sup>. Berlin, 1967, S. 101.

<sup>31</sup> См. вводную статью «О построении Словаря русского языка XI—XVII вв.» (СлРЯ XI—XVII вв., Вып. 1. М., 1975, с. 11). Некоторые из словарей диахронического плана принципиально дают слово в форме наиболее ранней его фиксации, например: Slovník staročeský. Díl I, s. V.

<sup>32</sup> Это важный признак, так как простой разрыв последовательности значений или значительное расхождение их не дают оснований для выделения омонимов, но решать, какой случай перед нами, нельзя, не выходя за рамки словарной статьи.

<sup>33</sup> См.: Богатова Г. А. Семантические наблюдения и лексикографическая практика. I. Пол- и полъ<sup>1</sup>, полъ<sup>2</sup>, полъ<sup>3</sup>. II. Полъ и пола. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянин-

*Гранатъ*<sup>1</sup> 1. Гранат (дерево и плод), иллюстрации см. выше. 2. Драгоценный камень, гранат. Гранатъ, а по руски виниса камень... кручину отдаляетъ. Леч. III, 156. XVIII в. ~ 1672 г. 3. Название сорта сукна (тоже, очевидно, данное по признаку цвета). 7 арш. сукна черленого гранату, парпъянъ тожъ. Заб. Быт царic, 644. 1625 г.; А на государѣ было платья (для дожжа):... кебенякъ гронадъ вишневъ. Выходы цар., 35. 1634 г. *Гранатъ*<sup>2</sup> и *граната*: 1. Разрывной снаряд. Велѣл к валу того замка приложитъ гранату и от силы тое гранаты валу взорвало. Куранты<sup>1</sup>, 179. 1637 г.; Сорокъ гранатовъ полыхъ к огненнымъ пушкамъ. Город. оп. Опочки, 183. 1691 г. 2. Артиллерийское орудие для стрельбы разрывными снарядами. Раненъ камнемъ изъ граната въ грудь. Мат. медиц., 1121. 1679 г.; Гранат большой железной, въсю в нем пятдесят семь пуд. Арх. Гамеля, № 264, 41. 1682 г.

И хотя в основу *гранатъ*<sup>2</sup> лег другой признак плода граната («Названо по сходству полого снаряда, начиненного осколками, с гранатом». Фасмер I, 452), наличие параллельной перспективной формы *граната* и производных *гранатный*, *гранатчикъ*, относящихся только к *гранатъ*<sup>2</sup>, все-таки решает вопрос в пользу выделения в самостоятельную словарную статью этого лексико-семантического комплекса. Производные повторяют схему значений *гранатъ*<sup>2</sup>: *Гранатный*, прил. к *гранатъ*<sup>2</sup> (в знач. 1, 2). Формы ядерные и гранадные. А. Тул. и Каш. зав., 22. 1662 г.; Пушечного и гранатного литъя подмастеръю... два рубли с полтиною дано. Арх. Гамеля, № 246, 163. 1664 г.; Пушки проломные... и гранатные. Котош., 137. 1667 г. *Гранатчикъ* 'мастер по изготовлению разрывных снарядов': Гранатчикъ Яковъ Микитинъ, а велѣно де ему нарядить 3000 ядеръ розныхъ статей. ДАИ XII, 85. 1699 г. Разобранный случай с *гранатъ*<sup>2</sup>, уже имеющем, как отмечалось, стремление к формальному обособлению (параллельная форма *граната* быстро сменила *гранатъ*<sup>2</sup>), начался все же с расхождения значений, хотя история слов продолжает «читаться» в рамках осложненной корневой группы.

Но сложность «подачи» и «прочтения» истории слова в словарях, охватывающих несколько столетий, часто бывает связана с расхождением корневых групп.

Фонетические и морфологические характеристики слова, как это ни парадоксально, более подвижны, чем семантические. Проблема тождества слова для словаря, который охватывает несколько языковых состояний (ряд звеньев диахронической цепи), связана в основном с динамичностью этих характеристик. Цепочка *дощанъ* > *тищанъ/тchanъ* > *chanъ* представляет собой диахроническую последовательность, которую в идеале — историческом словаре, теоретическая модель которого нарисована акад. Л. В. Щербой, можно будет увидеть в одной словарной статье.

ских языков. М., 1974; *Она же*. [То же название]. III. Пологина и полоница. — В кн.: Древнерусский язык. Лексикология и лексикография (в печати).

Для современной лексикографической практики такая цепочка не может быть одним лексикографическим словом, так как здесь имеет место значительное расхождение фонетического и морфологического строения конечных звеньев цепи (*дощанъ* — *чанъ*) и отнесенность к разным реалиям. В развитии реалии здесь тоже имела место известная последовательность: от ‘вместилища, изделия из дерева’ к ‘вместилищу, изделия из металла’. Звенья этой цепи в словаре исторического жанра распадутся по меньшей мере на два лексикографических слова. Необходимость такой сегментации уменьшает шансы представить в одной словарной статье историю слова. Однако, если не допустить разрыва цепочки в смысловой трактовке и в лексикографическом оформлении (через пометы типа *дъщанъ* см. *дощанъ*, *тищанъ* — ср. *чанъ*), история слова может быть легко прочитана и в разных алфавитных местах словаря, особенно с учетом фона ближайшего корневого окружения слова. Для восприятия условий номинации реалии и образования слова *дощанъ* как субстантивированного прилагательного важно обращение к *дощаной* ‘сделанный из дерева, досок, дощатый’: Домы дъщаны (Иезек. XXVII, 6) Библ. Гени. 1499 г.; Усъчки и урубки дощаные и бревенные. Дм., 131. XVI в. Словарные статьи на *дощанъ* и *чанъ* не содержат энциклопедических или описательных определений, но иллюстрации («четыре дощана квасных». А. Ивер. м. Росп., сст. 15. 1665 г.; Тъ дощаны отданы. . . капуста солить. Кн. расх. Ивер. м. № 43, 25. 1668 г.), корневое окружение ясно указывают на материал, назначение, форму реалии, время бытования. Идентичность определений ‘чан, кадъ’, взаимоотсылающая помета — ср. *чанъ* и — ср. *дощанъ* в таких словарях могут помочь исследователю в воссоздании фона, времени рождения или исчезновения слова.

В 1940 г. в «Опыте общей теории лексикографии» Л. В. Щерба писал: «Историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты и эпохи, причем указывалось бы не только возникновение слов и новых значений, но и их отмирание, а также видоизменение. Вопрос осложняется еще тем, что слова каждого языка образуют систему. . . и изменения их значений вполне понятны только внутри такой системы в целом. Как это сделать, однако, неизвестно, так как самый вопрос как будто еще не ставился в полный рост»<sup>34</sup>.

Сейчас, почти 40 лет спустя, когда русской, украинской и белорусской лексикографией накоплены значительные материалы, наступило время практического воплощения теоретических идей, и вопрос о способах отражения «последовательных изменений системы» и ее частного звена — истории слова встает в полный рост и перед лексикологией, и перед лексикографией.

<sup>34</sup> Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. — Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1940, № 3.

# ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ В СОВРЕМЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Основное внимание в этой работе уделяется категориальным значениям в языковой онтологии, на материале славянских языков. В частности предпринимается попытка охарактеризовать типы структуры этих значений, некоторые аспекты их взаимодействия, разные формы их существования — не только в языке, но и в речи. Отсюда вытекают и принципы описания грамматических значений на основе определенной системы понятий и терминов.

## ТЕОРИЯ ОБЩИХ ЗНАЧЕНИЙ И ПРИНЦИП МНОГООБРАЗИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Морфологические категории в славянских языках не укладываются в схему общего значения. Концепция общих значений (в частности в трактовке Р. О. Якобсона) не может претендовать на всеобщую значимость и универсальность. Далеко не все значения грамматических форм могут быть сведены к этому общему знаменателю. Таков вывод, к которому приводит осмысление опытов приложения данной теории к языковому материалу, сопоставление с другими подходами к описанию грамматических значений, оценка критики концепции общих значений на разных этапах ее развития<sup>1</sup>.

Вместе с тем нет достаточных оснований считать, что идея общего значения вообще должна быть отклонена. Эта идея отражает действительно существующую разновидность системно-структурной организации грамматических значений. На наш взгляд, понятие общего грамматического значения имеет право на существование, но не как единственная и всеобъемлющая модель описания значений грамматических форм, а как одна из моделей, соответствующая одному из типов семантических структур.

<sup>1</sup> См. критический анализ концепции общих значений, например, в следующих работах: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. 1—2. М., 1958, с. 42—44; Курилович Е. Заметки о значении слова. — ВЯ, 1955, № 3, с. 78—80; Dokulil M. K pojetí morfológické kategorie (na příkladě morfológické kategorie slovesného způsobu v češtině). — Jazykovedný časopis, R. XVIII, 1967, č I, s. 21—24; Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 20—21, 91.

Мы исходим из принципа множественности типов строения грамматических значений. Этот принцип давно уже был сформулирован и применен в грамматическом описании. Так, А. М. Пешковский писал: «Объединение... форм со стороны значения может осуществляться при помощи: 1) единого значения, 2) единого комплекса однородных значений, 3) единого комплекса разнородных значений, одинаково повторяющихся в каждой из форм»<sup>2</sup>.

Во многом сходный подход к определению значений грамматических форм представлен в концепции В. В. Виноградова. Данная им характеристика падежных форм русского языка отражает многообразие семантических структур разных падежей<sup>3</sup>.

Принцип многообразия моделей описания грамматических значений не предполагает дедуктивного построения определенной схемы на основе интеграции существующих разнородных концепций. Этот принцип основан на стремлении отразить то многообразие структурных типов значений, которое существует в языковой онтологии. Для лингвистического анализа в этом направлении необходимо понятие, достаточно широкое для того, чтобы оно могло охватить разные типы выявляемых семантических структур. Таким понятием, на наш взгляд, является категориальное значение.

### ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Основными признаками категориальных грамматических значений в славянских языках (а также других языках представляемого ими типа) являются: а) обязательность (обязательность реализации данного грамматического содержания в каждом акте функционирования формы), б) инвариантность (абсолютная для одних типов категориальных значений и относительная для других, когда речь идет об инвариантности определенного признака или комплекса признаков в пределах центральной сферы функционирования данной формы), в) системная релевантность, т. е. роль данного значения как признака (или комплекса признаков), лежащего в основе определенных грамматических классов и единиц, противопоставленных другим классам и единицам в замкнутой системе, г) опора на интегрированную замкнутую систему формальных грамматических средств.

В круг категориальных грамматических значений входят значения членов морфологических категорий (например, значения

<sup>2</sup> Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956, с. 27.

<sup>3</sup> См.: Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). 2-е изд. М., 1972, с. 139—147.

сов. и несов. вида, ед. и мн. числа и т. п.). т. е. значения тех рядов морфологических форм, на противопоставлении которых строится морфологическая категория. Особой разновидностью категориальных значений являются значения частей речи как грамматических классов слов. К категориальной семантике относятся также значения типов синтаксических конструкций.

Таким образом, категориальными являются значения, присущие грамматическим классам и единицам: а) классам морфологических форм (членам морфологических категорий и paradigm) и каждой из форм как единице, входящей в данный класс, б) классам конструкций (членам синтаксических категорий и paradigm) и каждой конструкции как единице, входящей в данный класс, в) грамматическим классам слов (частям речи) и каждой словоформе как единице, входящей в данный класс<sup>4</sup>.

В дальнейшем мы сосредоточим внимание лишь на значениях граммем — членов морфологических категорий. Поскольку эти значения свойственны каждой из форм, входящих в противопоставленные друг другу ряды морфологических форм, для краткости мы будем говорить о значениях морфологических форм. Примеры приводятся из русского языка.

### СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Материал славянских языков дает основания выделить следующие структурные типы категориальных грамматических значений морфологических форм: 1) целостное общее значение, охватывающее все функции данной формы; 2) основное значение, охватывающее центральные функции формы; 3) многозначные полицентрические структуры.

Рассмотрим каждый из этих структурных типов в отдельности.

1. Единое целостное общее значение, охватывающее все функции данной формы как определенный положительный семантический признак. Имеется в виду признак, который определяется положительно (не негативно и не нейтрально). Этот тип семантических структур представляет собой действительно общее значение: в каждой из функций, реализующихся при употреблении морфологической формы, представлен общий инвариантный семантический признак.

В качестве примеров семантических структур рассматриваемого типа можно привести: а) значение неделимой целостности действия, присущее в славянских языках формам сов. вида, б) значение глагольных форм 1-го лица; в) значение форм сравнительной степени прилагательных и наречий; г) значения пред-

<sup>4</sup> Подробнее об основных признаках категориальных значений см.: Бондарко А. В. Категориальные и некатегориальные значения в грамматике. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 180—202.

шествования (прошедшего времени), одновременности (настоящего) и следования (будущего) по отношению к исходной точке отсчета, присущие соответственно формам типа *решал* и *решил*; *решаю*; *буду решать* (значение форм типа *решу* имеет иную структуру; см. об этом ниже).

Говоря об общем значении как об одном из типов структуры категориального значения, мы имеем в виду не абстрактную формулу лингвистической теории, а явление языковой онтологии. Предметом анализа является языковое значение, реально выражаемое (в той или иной частной реализации) в каждом акте речи. Эти речевые реализации (и их устойчивые типы, относящиеся к правилам функционирования элементов системы языка) отличаются друг от друга дополнительными семантическими признаками, обусловленными контекстом и речевой ситуацией, а в части случаев также и лексическим значением данной словоформы. Эти дополнительные признаки накладывают свой отпечаток на обобщенное категориальное значение, так или иначе конкретизируют и варьируют его, так что в акте речи категориальное значение всегда выступает в обогащенном указанными источниками и конкретизированном виде. Однако данный инвариантный признак присутствует в каждом акте употребления формы как категориальный элемент выражаемых семантических комплексов и реально выражается, участвуя в формировании смысла высказывания.

2. Основное значение, определяющее место данной формы в системе и охватывающее ее центральные функции (периферийные функции остаются за пределами категориального значения; они входят в семантический потенциал формы, но не лежат в основе ряда форм, противопоставленного другим рядам в данной системе).

Примером структуры рассматриваемого типа может служить значение формы будущего простого в русском языке. Словоформы типа *напишу* входят в ряд морфологических форм, объединяемых значением следования по отношению к исходной точке отсчета. По этому признаку данный ряд форм противопоставлен рядом форм со значениями одновременности и предшествования.

Значение следования по отношению к грамматической точке отсчета, т. е. значение будущего времени, является для данной формы основным, но не единственным. Как известно, в определенных условиях контекста эта форма может участвовать в реализации периферийной функции настоящего неактуального, нередко с дополнительными модальными оттенками, например: *Бывает так, что заходит вдруг забыть себя человек, — все забыть...* (Сергеев-Ценский). В одних случаях (как в приведенном примере) значение настоящего неактуального замещает, вытесняет основное значение будущего и не обнаруживает с ним какой-либо связи. В других случаях значение настоящего неактуального

может совмещаться со значением будущего, являясь связанным с ним в двойственной семантической функции: речь идет о том, что бывает обычно (постоянно, всегда) и что может быть (должно быть) и в будущем. Например: — *Во всем Петербурге не находитесь такого почерка, как твой почерк* (Достоевский).

Для русского языка функция неактуального настоящего не может рассматриваться как компонент категориального значения рассматриваемой формы (хотя она и входит в ее семантический потенциал), так как эта функция не лежит в основе данного ряда форм и в основе его противопоставления другим рядам<sup>5</sup>.

Другие примеры: а) значение прямого объекта как основное значение винительного падежа (без предлога) в русском и других славянских языках, при наличии ряда периферийных функций обстоятельственного характера (см. характеристику винительного падежа, данную В. В. Виноградовым); б) основное значение побуждения, свойственное формам повелительного наклонения, при наличии периферийных функций, далеко не всегда связанных с этим значением (*Скажи он мне об этом раньше, все было бы иначе*); в) основное значение участия адресата в осуществлении действия, присущее глагольным формам 2-го лица, при наличии (в русском и ряде других славянских языков) периферийной обобщенно-личной функции, которая при употреблении форм ед. числа далеко не во всех случаях обнаруживает связь с указанным основным значением (*Не знаешь, что и думать*).

Определяющим критерием при выделении основного значения является его системная значимость, т. е. его роль в качестве признака, лежащего в основе данного ряда форм и в основе его противопоставления другим рядам форм в данной системе. Это не означает, однако, что условия реализации основного значения не зависят от контекста и речевой ситуации. Если одна и та же форма в одних случаях ее употребления выражает одно значение (основное), а в других — иное (периферийное), то отсюда следует, что и основное значение по условиям его выражения зависит от контекста. Эта зависимость всегда присутствует, по крайней мере в том смысле, что контекст не должен заключать в себе тех особых и ограниченных условий, которые характерны для периферийного значения. Так, для того чтобы форма типа *напишу* выражала значение будущего времени, необходимо, чтобы контекст не заключал в себе тех условий, которые определяют выражение значения настоящего неактуального (в той разновидности, которая исключает значение будущего времени). Например, для этого необходимо, чтобы были исключены условия контекста, представленные в таких случаях, как *Нынче ваши дамы сошли к платье, два раза наденут — и подавай*

<sup>5</sup> Ср. иную трактовку значения данной формы в кн.: Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. (Значение и употребление). М., 1971, с. 50—55.

*новое* (Мамин-Сибиряк). Для того чтобы могло быть реализовано основное значение формы повелительного наклонения, необходимо, чтобы были исключены условия контекста, которые представлены в случаях типа [Агния:] *Срам-то бывает у богатых; а мы, как ни жили, никому до того дела нет* (Н. Островский)<sup>6</sup>.

Особой разновидностью рассматриваемого типа семантической структуры, на наш взгляд, является основное значение тех форм, которые представляют немаркированный член привативной оппозиции. Хотя теоретический анализ приписывает таким формам некоторое общее значение, заключающееся в отсутствии сигнализации того признака, который выражается маркированным членом оппозиции, мы не имеем оснований утверждать, что именно это значение реально выражается (в том или ином варианте) в каждом акте употребления данной формы. Действительно, указание на отсутствие у немаркированного члена оппозиции того признака, носителем которого является маркированный член, касается лишь значимости данной формы, общей характеристики ее места в системе, но не представляет собой реального значения, выражаемого при употреблении формы. Реальной семантической величиной, которая выступает как в системе языка, так и в речи, является в данном случае не общее, а основное значение морфологической формы. У форм, о которых идет речь, это значение противоположно значению маркированного члена оппозиции. Именно это значение определяет семантическую специфику данной формы.

Основное значение форм такого рода, действительное для центральной сферы их употребления, сочетается с периферийными функциями, реализующимися в условиях нейтрализации привативной оппозиции или частичного сближения функций ее членов. Эти периферийные функции определяются значимостью данной формы как немаркированного члена оппозиции, но они не охватываются категориальным значением.

Примером такой семантической структуры является значение форм несов. вида в славянских языках. Значимость этих форм, их место в системе может определяться как отсутствие указания на целостность действия. Но реальным значением форм несов. вида в центральной сфере их употребления является основное значение нецелостности действия, противоположное значению сов. вида. Случай же типа *Об этом мне уже говорили; Я не брал книги; Вдруг кто-то в ходит* не охватываются категориальным значением несов. вида, хотя такое употребление обусловлено значимостью немаркированного члена оппозиции.

<sup>6</sup> Ср. иной подход к данному вопросу в работах Е. Куриловича, который подчеркивает, что первичная функция, данная системой и базирующаяся на релевантных противопоставлениях внутри системы, независима от семантического (или синтаксического) контекста, см.: Курилович Е. О методах внутренней реконструкции. — В кн.: Новое в лингвистике, вып. IV. М., 1965, с. 411, 429—432.

3. Сложная многозначная полицентрическая структура: категориальное значение представлено несколькими (двумя и более) основными, центральными функциями или комплексами функций, находящимися в разных отношениях друг с другом; при этом возможны периферийные функции, не входящие в сферу категориального значения. В разных актах употребления данной формы, относящихся к центральной сфере ее функционирования, реализуется то одна, то другая семантическая функция, представляющая категориальное ядро семантического потенциала формы, но не исчерпывающая всех возможностей этого ядра.

В качестве примеров семантических структур данного типа могут быть приведены значения форм родительного, творительного и предложного падежей (см. их характеристику в трудах А. М. Пешковского и В. В. Виноградова).

В разных структурных типах категориальных значений по-разному проявляются свойственные им признаки обязательности и инвариантности. У категориальных значений первого типа эти признаки выступают как абсолютные, без всяких ограничений. У значений второго типа признаки обязательности и инвариантности имеют относительный характер: они действительны лишь для центральной сферы функционирования данной формы. Это не значит, однако, что по отношению к периферийным функциям вообще устраивается признак обязательности, свойственный грамматическим категориям. Обязательность проявляется в том, что в каждом акте употребления формы реализуется тот или иной компонент ее содержания — если не основной (являющийся категориальным), то периферийный. Наконец, по отношению к категориальным значениям третьего типа признаки обязательности и инвариантности оказываются в еще большей мере относительными, а формы их реализации — еще более сложными. В данном случае варьирование проникает и в центральную сферу функционирования грамматической формы. Налицо обязательность реализации одного из центральных значений — либо того, либо другого. Инвариантность заключается в том, что форма является носителем постоянной, устойчивой системы значений.

Мы отдаём себе отчет в том, что содержание признаков обязательности и инвариантности применительно к категориальным значениям второго и особенно третьего типа оказывается иным по сравнению со значениями первого типа. Однако, по-видимому, эти различия в трактовке указанных признаков отражают реальные различия, существующие между категориальными значениями. Эти различия отражены в самом определении понятия категориального значения, данном выше. Вероятно, многообразие типов категориальных значений затрагивает и самые признаки обязательности и инвариантности.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗНАЧЕНИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДАННУЮ ЧАСТЬ РЕЧИ

Категориальные значения морфологических категорий существуют не изолированно, а в их взаимосвязях. Изучение этих взаимосвязей на основе определенной системы понятий и терминов является одной из актуальных задач морфологии славянских языков.

Морфологические категории, характеризующие определенную часть речи, представляют собой особое единство, особый тип группировок в морфологии. Это единство может быть названо группировкой (комплексом) морфологических категорий. Такая группировка при явно выраженных многосторонних и разноспектных связях (как это имеет место в глаголе) становится особого рода системой, имеющей свою структуру, элементами которой являются отдельные категории и отношения между ними.

Группировка морфологических категорий данной части речи находит конкретное выявление в словоформах. Таким образом, группировка морфологических категорий как единство, охватывающее целые классы форм и характеризующее грамматические классы слов, репрезентируется (полностью или частично) в словоформах как конкретных единицах языка, выступающих также и в речи.

При выражении значений членов морфологических категорий, представленных в данной словоформе, возможны два типа соотношения категориальных значений: 1) значения контактируют, взаимодействуют; 2) реализуются параллельно и независимо друг от друга<sup>7</sup>.

Необходимо различать два типа связей между морфологическими категориями: а) функциональные и 2) парадигматические. Функциональные связи касаются самого содержания морфологических категорий (как семантического, так и структурного) и закономерностей их функционирования. Парадигматические связи касаются зависимостей между парадигмами морфологических категорий.

В качестве примера могут быть приведены соотношения категории вида в русском языке с другими категориями глагола.

Функциональные связи между категориями вида и времени проявляются: а) в зависимости употребления видов от функциональных разновидностей времен, прежде всего связанных с различием в отношении разных времен к аспектуальному (в широком смысле) признаку локализованности/нелокализованности действия во времени (ср. настоящее актуальное и неактуальное, про-

<sup>7</sup> Анализ этих соотношений см.: Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976, с. 144—148.

шедшее время единичного и повторяющегося действия); б) в способности видовых и временных семантических признаков создавать видо-временные семантические комплексы (таково, например, конкретное настоящее время момента речи — комплекс признаков настоящего времени, локализованности действия во времени и процессности). Формально-парадигматические связи проявляются в зависимости парадигмы времени от вида (несов. вид — три формы времени, сов. вид — две формы).

Функциональные связи между категориями вида и наклонения проявляются в том, что изъявительное наклонение представляет собой основную позицию функционирования обоих видов, причем во взаимодействии с категорией времени. Повелительное и сослагательное наклонения характеризуются некоторыми особенностями функционирования видов. Возможно взаимодействие семантики вида с модальной семантикой в составе выражаемых в речи семантических комплексов. Парадигматические связи между видом и наклонением почти полностью отсутствуют. Каждое наклонение допускает оба вида, каждый вид может выступать в любом наклонении. Единственное парадигматическое ограничение заключается в том, что инклюзивные формы императива образуются преимущественно от сов. вида (ср.: *зайдемте, спо-емте*, хотя у некоторых глаголов движения в этих формах возможен несов. вид: *идемте, едемте, бежимте*).

Функциональные связи между категориями вида и залога: актив представляет собой основную позицию функционирования глагольных форм в обоих видах; страдательно-причастные формы обладают некоторыми особенностями видо-временных значений. Парадигматические связи: причастный пассив образуется преимущественно от форм сов. вида, а возвратный пассив — преимущественно от форм несов. вида.

Между категориями вида и лица наблюдаются слабые функциональные и парадигматические связи. Можно отметить связь некоторых вариантов потенциального типа употребления сов. вида с обобщенно-личным типом употребления формы 2-го лица (*Его не убедишь*). Отметим также указанные выше (когда речь шла о виде и наклонении) ограничения в образовании инклюзивных форм императива преимущественно от основ сов. вида (в данном случае формы инклюзива упоминаются как особые формы лица).

Между категориями вида и числа глагола отсутствуют явные и прямые функциональные и парадигматические связи. Отдельные ограничения в употреблении некоторых образований лишь косвенно связаны с категориями вида и числа (например, дистрибутивный способ действия в случаях типа *Мальчики попрыгали в воду* возможен лишь при ед. числе). Некоторые варианты потенциального типа употребления сов. вида (*Тебя не уговоришь; Еще бы — похудеешь* и т. п.) связаны с тем типом обобщенно-личного употребления, который возможен лишь в ед. числе.

Между категориями вида и рода глагола полностью отсутствуют какие бы то ни было связи<sup>8</sup>.

Связи между морфологическими категориями глагола (это выявляется и в приведенных выше примерах) имеют не последовательный и всесторонний, а избирательный характер. Данная категория связана не со всеми другими категориями, причем связана по-разному. Отсюда вытекает, что в комплексе морфологических категорий выделяется центр (ядро) и периферия.

В славянских языках наиболее целостной и вместе с тем наиболее сложной группировкой морфологических категорий является комплекс категорий глагола. Более простой и однородной по типу связей (между структурными согласовательными функциями) является группировка категорий прилагательного. Для имени существительного характерно наличие связей лишь между структурными функциями его категории. Явно выражены парадигматические связи. Семантические же связи между категориями имени существительного отсутствуют. По всей вероятности, следует выделять разные типы группировок морфологических категорий. По-видимому, лишь категории глагола представляют такое единство, которое является целостной системой, формируемой взаимосвязями, охватывающими и значение, и функционирование, и структурно-парадигматические отношения. Может быть, целесообразно отразить различия между разными типами группировок морфологических категорий и в терминологии.

Возможен анализ взаимосвязей морфологических категорий (в том числе и разных частей речи) и в более широком плане: с точки зрения соотношения морфологических категорий по таким признакам, как семантическая или структурная доминанта содержания, преимущественно отражательный или интерпретационный характер содержания, актуализационная значимость, синтаксическая и синтагматическая значимость, коррелятивность, альтернационный или деривационный характер формообразования<sup>9</sup>.

### СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ

При функционировании морфологических форм категориальные и некатегориальные семантические элементы переплетаются и взаимодействуют в составе сложных семантических комплексов. Таковы так называемые «частные значения» морфологических форм, т. е. значения, обусловленные контекстом, ситуацией, а в части случаев и лексическим значением данной словоформы.

<sup>8</sup> О взаимосвязях морфологических категорий в русском языке см.: Бондарко А. В. Проспект функциональной морфологии русского языка. — Zeitschrift für Slawistik, Bd XX, 1975, N. 5/6, с. 736—739, 742—743.  
<sup>9</sup> См.: Бондарко А. В. Теория морфологических категорий, с. 119—128.

Если пользоваться термином «категориальное значение», то целесообразно говорить не о «частных значениях» (этот термин соотнесен с «общими значениями»), а о речевых реализациях категориальных значений или о семантических функциях, выступающих в разных типах употребления данной формы.

Термин «речевая реализация категориального значения» далеко не всегда удобен — не только из-за его громоздкости, но и потому, что в данном объекте есть как речевой, так и языковой аспект. В каждом конкретном случае употребления формы мы имеем дело с реализацией ее категориального значения в речи. Однако эта речевая реализация представляет определенный устойчивый тип функционирования формы, а такие типы относятся к правилам функционирования языковых единиц, которые относятся — как определенные образцы, модели — к языку.

Категориальным элементом семантических функций, реализующихся при употреблении форм, является то, что исходит от категориального значения морфологической формы. Те же специфические признаки, которые исходят от контекста и ситуации (а также от лексического значения словоформы) и отличают одну функцию от другой, являются с точки зрения системной грамматической парадигматики некатегориальными.

Приведем в качестве примера такие функции форм прошедшего времени в русском языке, как перфектная и аористическая (ср.: — Я *стал* и — Он *остановился* и *задумался*). Категориальным элементом этих функций, исходящим от самой морфологической формы, является значение прошедшего времени<sup>10</sup>. Этот признак (в более общей формулировке — признак предшествования по отношению к исходной точке отсчета) наряду с признаками одновременности и следования, присущими другим формам, лежит в основе оппозиции форм времени. Различия же между перфектной и аористической функциями непосредственно не определяются системой морфологических форм.

Нельзя сказать, что подобные различия вообще не зависят от системы форм: категориальное значение данной формы создает предпосылки для такой дифференциации семантических функций, которая соответствует этому значению (при употреблении других форм реализуются иные семантические функции и между ними выступают иные различия). Иначе говоря, дифференциальные признаки частных семантических функций в известной степени зависят от специфики категориальных значений. Однако непосредственно конкретные дифференциальные признаки, отличающие одну функцию от другой, определяются контекстом, ситуацией, лексическим значением словоформы.

<sup>10</sup> Как известно, существенную роль в реализации указанных функций играет глагольный вид. Однако в данной связи мы отвлекаемся от вида и обращаем внимание на ту сторону рассматриваемых функций, которая связана с формами времени.

Рассматриваемые различия важны для грамматики, так как они отражают дифференциацию устойчивых типов функционирования формы и представляют такую вариативность категориальных значений, которая не может быть безразличной для их содержательной характеристики. Исследуя контекстуально обусловленные варианты, мы лучше познаем инвариантное в содержании формы. Но парадигматической грамматической категориальности в таких различиях нет. Здесь можно видеть категориальность иного рода — присущую типам функционирования морфологических форм, устойчивым типам контекста. Однако категориальность контекста (у контекста есть не только синтагматика, но и своя семантическая парадигматика) — явление особого рода, которое не следует смешивать с категориальностью в плане системной грамматической парадигматики.

### ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РЕЧЕВОЙ СМЫСЛ

Одним из важных принципов описания грамматической семантики является разграничение грамматических значений языковых единиц и смысла высказывания (речевого смысла). Вместе с тем важно изучить роль речевых реализаций категориальных значений в передаче смысла. Определим нашу трактовку ряда понятий и терминов, существенных для анализа «речевых проекций» категориальных грамматических значений.

План содержания текста высказывания — это семантическое целое, элементами которого являются взаимодействующие речевые реализации языковых лексических, лексико-грамматических (в том числе словообразовательных) и грамматических (морфологических и синтаксических) значений, выраженных языковыми средствами данного высказывания<sup>11</sup>. План содержания текста соотнесен с планом его выражения — языковыми средствами, экспонентами которых являются звуковые или графические цепочки.

Смысл текста — это информация, вытекающая из содержания текста, т. е. тот компонент речевого смысла, который базируется на плане содержания текста.

Речевой смысл (в рамках данной работы — смысл высказывания) — это та информация, которая передается говорящим и воспринимается слушающим на основе содержания, выражаемого языковыми средствами в сочетании с контекстом и речевой ситуацией, на фоне существенных в данных условиях речи элементов опыта и знаний говорящего и слушающего. Таким

<sup>11</sup> Понятие «текст», разумеется, выходит далеко за пределы высказывания, однако в настоящей работе мы ограничиваемся рамками высказывания. На первом этапе анализа целесообразно рассмотреть более простые отношения в элементарной «ячейке» текста. Исследование более крупных и сложных единиц — это особый этап анализа, связанный с дополнительным и специфическим кругом проблем.

образом, источниками речевого смысла (РС) являются: 1) план содержания текста (ПСТ) и вытекающий из него смысл (смысл текста — СТ), 2) контекстуальная информация (КИ), 3) ситуативная информация (СИ), 4) энциклопедическая информация (ЭИ). Следовательно, РС=ПСТ > СТ+КИ+СИ+ЭИ.

При разграничении понятий, сходных с понятиями плана содержания текста и речевого смысла (или соотносимых с ними), обычно подчеркивается роль контекста и ситуации в передаче и восприятии смысла. Именно этот фактор рассматривается как основа и причина необходимости разграничивать соответствующие понятия<sup>12</sup>. Мы не отрицаем важности контекстуальной и ситуативной, а также энциклопедической информации как источников и компонентов речевого смысла (чем, действительно, в значительной мере обусловлена его нетождественность плану содержания текста). Но и независимо от этих источников информации, внешних по отношению к данному тексту, имеются существенные внутренние различия между планом содержания текста и тем компонентом речевого смысла, который базируется на содержании текста. Эти различия обусловлены неизоморфностью языковой структуры плана содержания текста и структуры смысла.

Рассмотрим сначала соотношение плана содержания текста и его смысла, отвлекаясь пока от контекстуальной, ситуативной и энциклопедической информации.

Семантическая структура плана содержания текста определяется конфигурациями конкретных языковых значений (связанных с определенными формальными показателями) в их речевых реализациях. Таким образом, план содержания текста структурирован лингвистически. Структура же смысла текста определяется собственно смысловыми единицами и отношениями между ними. Следовательно, смысл текста структурирован понятийно. Между структурой плана содержания текста и структурой его смысла есть определенные связи и отношения, но нет обязательной изоморфности и идентичности.

Сравним высказывания: (1) — *У вас есть спички?*; (2) — *У вас нет спичек?* и (3) чеш. *Máte zápalky?* В этих высказываниях заключены следующие компоненты смысла текста: 1) предмет обладания, 2) предикативный признак обладания, 3) обладатель (мы оставляем в стороне актуализационные признаки — модальный, темпоральный и т. д.).

<sup>12</sup> См., например: *Skalička V. Text, kontext, subtext. — Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3. Slavica pragensia III. Praha, 1961, s. 74; On же. Die Situation und ihre Rolle in der Sprache. — Omagiu lui Alexandru Rosetti. Bucureşti, 1965, p. 841; Hausenblas K. Über die Bedeutung sprachlicher Einheiten und Texte. — Travaux linguistiques de Prague, 2. Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue. Prague, 1966, p. 62—63; Лейкина Б. М. К проблеме взаимодействия языковых и неязыковых знаний при осмыслиении речи. — В кн.: Лингвистические проблемы функционального моделирования речевой деятельности. Л., 1974, с. 98.*

План содержания текста в высказывании (1) интерпретирует эти смысловые компоненты так: 1) предмет обладания представлен как независимая субстанция (носитель предикативного признака), занимающая центральное место в синтаксическом содержании высказывания; 2) предикативный признак обладания интерпретируется как наличие (наличие предмета обладания); 3) обладатель представлен как «сфера субъекта», к которой относится наличие предмета (в распоряжении обладателя).

В высказывании (2): 1) предмет обладания представлен как зависимая субстанция — косвенный объект, зависящий от предикативного признака и занимающий периферийное положение в синтаксическом содержании высказывания; 2) предикативный признак обладания в данном случае находит выявление в вопросе не о наличии предмета, а об отсутствии (с целью выяснить наличие).

В высказывании (3): 1) обладатель имплицитно представлен (в конструкции с формой 2-го лица) как независимая субстанция — носитель предикативного признака; 2) признак обладания выражен глаголом со значением обладания; 3) предмет обладания интерпретируется как зависимая субстанция — прямой объект.

Структура плана содержания текста имеет как нелинейное, так и линейное, синтагматическое выявление, обусловленное порядком следования словоформ. Так, в высказывании *Кирпичную пыль унесло ветром* (Конецкий) сначала реализуются лексическое и грамматические значения первой словоформы, затем второй и т. д. Последовательно реализуются и элементы синтаксического содержания членов предложения. В реализации плана содержания текста есть и нелинейные элементы: в каждой словоформе в едином комплексе даны лексическое значение и значения грамматические. Однако указанные нелинейные элементы выступают все же в рамках последовательности словоформ. Структура же смысла текста представляет такой смысловой результат развертывания плана содержания текста, в котором смысловые единицы и отношения между ними даны совместно как элементы единого целого.

Одним из признаков, отличающих структуру плана содержания текста от структуры его смысла, является признак избыточности. В структуру смысла входят лишь те элементы плана содержания текста, которые являются информативно значимыми, т. е. вносят нечто новое в передаваемую и воспринимаемую информацию. Так, в высказывании *Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление* (Чехов) каждая глагольная форма, подчиняясь «закону обязательности» грамматических категорий, выражает значения наклонения, времени, числа и т. д. В смысловой структуре эта избыточность не воспроизводится и не копируется.

Возможно сокращение и распространение текста — вместе с его содержанием — при сохранении его смысла. Это еще раз

свидетельствует об объективной обоснованности разграничения понятий плана содержания текста и его смысла.

Полная синонимия высказываний трактуется нами как соотношение текстов, передающих один и тот же смысл, но отличающихся друг от друга с точки зрения плана содержания (см. приведенный выше пример — *У вас есть спички?/ — У вас нет спичек?*). Другой пример: (3) *Эти места были описаны Тургеневым, но теперь леса вырублены, мужик измельчал, помещик разорился или превратился в кулака...* (Пришвин). Ср. текст с мн. числом: (4) *... мужики измельчали, помещики разорились или превратились в кулаков*. Денотативная основа смысла в этих текстах одна и та же. Налицо, в частности, смысловой элемент множественности, отражающий денотативную ситуацию, участниками которой являются определенные множества (классы) субъектов. В высказывании (3) каждое из этих множеств интерпретируется обозначением его представителя. Здесь выражено коннотативное значение «репрезентативной собирательной единичности», отличающее содержание данного текста от текста (4), в котором множества субъектов интерпретируются посредством форм мн. числа как неопределенная множественность.

Явления, сходные с синонимическими преобразованиями или аналогичные им, нередко трактуются как нейтрализация грамматических оппозиций. На наш взгляд, во многих случаях такого рода (но не во всех) наблюдается то же явление, о котором говорилось выше: тождество смысла текстов при различии в плане содержания. Следовательно, в таких случаях можно говорить о нейтрализации (устранении семантического различия) лишь на уровне смысла, но не на уровне содержания текста. Ср., например: (5) *Собаки бежали, подняв хвост* и (6) *Собаки бежали, подняв хвосты*. На уровне смысла здесь представлена множественность, но в содержании текстов сохраняется различие между значениями ед. и мн. числа (в данном случае выступает дистрибутивное значение ед. числа: имеется в виду хвост каждой собаки).

Смысл текста сохраняется при точном переводе с одного языка на другой. Переводчик стремится передать заключенный в содержании данного текста ( $\text{ПСТ}_1$ ) смысл ( $\text{СТ}_1$ ) средствами другого языка. Возникает текст, совпадающий с исходным с точки зрения смысла ( $\text{СТ}_2 = \text{СТ}_1$ ), но отличающийся с точки зрения содержания текста ( $\text{ПСТ}_2 \neq \text{ПСТ}_1$ ). Если лингвистическая теория перевода не проводит различия между понятиями, передающими величины смыслового и языкового содержания, то она встречается с серьезными затруднениями при лингвистической интерпретации процесса перевода.

Следует подчеркнуть, что план содержания и смысл текста — это не отдельные объекты, а разные стороны, разные аспекты одного и того же семантического объекта. Смысл опирается на определенный текст с его планом содержания. И в том случае, когда имеется в виду тот смысл, который является семантическим ин-

вариантом ряда синонимичных текстов, этот семантический инвариант реально соотносится то с одним, то с другим, то с третьим текстом. Аналогична ситуация при переводе текста с одного языка на другой.

Помимо той информации, которая вытекает из текста, источниками речевого смысла, как уже говорилось выше, являются контекстуальная, ситуативная и энциклопедическая информация. В этой работе мы коснемся лишь ситуативной информации. Имеется в виду исходящая от ситуации речи либо так или иначе связанная с нею информация, существенная для речевого смысла.

Ситуативная информация может быть грамматически значимой и грамматически незначимой. Грамматическая значимость ситуативной информации проявляется в ее воздействии на синтаксическую структуру и/или на речевые реализации категориальных грамматических значений.

При анализе роли ситуативной информации в передаче и восприятии речевого смысла важно проводить различие между двумя типами речи: 1) ситуативно актуализированной (с актуальной ситуативной обусловленностью) и 2) ситуативно неактуализированной (без актуальной ситуативной обусловленности). В первом типе речи налицо непосредственная связь содержания текста с ситуацией речи. Для речевого смысла существенна ситуативная информация. Ситуативно актуализированная речь характерна для непосредственного общения говорящего и слушающего, но возможна и в других условиях, в частности в письмах, дневниках. Второй тип речи представлен в тех случаях, когда нет непосредственной связи содержания текста с ситуацией речи, с позицией говорящего (пишущего) в момент речи. Такова, например, авторская речь в художественном повествовании, констатация закономерностей и правил в научных трудах, учебниках и т. п. Отсутствие актуальной ситуативной обусловленности возможно и в условиях непосредственного общения, например в беседе на научные темы.

Различие между указанными типами речи существенно для анализа прежде всего тех категориальных значений (в их речевых реализациях), которые представляют актуализационные признаки высказывания, в частности модальные, темпоральные, персональные.

При актуальной ситуативной обусловленности речи содержание темпорального и персонального признаков непосредственно включает в себя ориентацию на момент речи и личность говорящего. При отсутствии же актуальной ситуативной обусловленности речи темпоральные и персональные отношения, сохраняя ориентационный характер в плане языковой системы, не имеют прямой связи с моментом речи и личностью говорящего (пишущего). Например, «условно-литературное» прошедшее время со-

храняет ориентационную природу с точки зрения категориального значения форм прошедшего времени (обозначающих предшествование по отношению к грамматической точке отсчета), но отсутствует непосредственная ориентация времени действий на момент речи говорящего (пишущего). С категориально-грамматической точки зрения эти различия несущественны, но с точки зрения «грамматики речи» они имеют важное значение. Учение о категориальных значениях, если оно охватывает и их реализацию в речи, не может обойтись без учета указанных различий между ситуативно-актуализированным и ситуативно-неактуализированным употреблением морфологических форм. Ср. употребление форм времени и лица в следующих примерах, один из которых (7) относится к ситуативно-актуализированному, а второй (8) — к ситуативно-неактуализированному типу речи: (7) — *Мы, кажется, сбились с дороги?.. Куда ты ведешь, дьявол?* (Чехов); (8) *По проселочной дороге плетется пара почтовых кляч. В тарантасе сидит мужчина в шинели инженера-путейца* (Чехов).

В тексте, имеющем характер воспоминаний или включающем воспоминания как один из компонентов, повествование, неактуализированное с точки зрения значений времени и лица, обычно перекрещивается с широко представленной темпоральной и персональной актуализацией. Например: *Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял... Так-то, братцы! Но до двадцатых годов было еще ой как далеко, целая вечность! Теперь я так писать стесняюсь* (В. Катаев).

В первом типе речи категориальные значения наклонений выступают как элементы противопоставления, актуального для говорящего в момент его речи и для слушающего, для ситуации речи в целом. Например: — *Это сидело в вашем теле?* — Да, в верхней трети бедра... — Ну, так и носили бы его на простой стальной цепочке. Это было бы гораздо лучше... Как это было? Только не сочиняйте (В. Катаев). Во втором же типе речи актуальное отношение категориальных модальных признаков реальности, гипотетичности и побудительности к говорящему в момент его речи утрачивается. Так, когда литературно-художественное повествование ведется в индикативе, то этот «модальный ключ» текста (так же как персональный и темпоральный) устанавливается именно в особой замкнутой сфере этого текста, как правило, отвлеченно от ситуации речи. Текст характеризуется общим признаком условно-литературной реальности, присущим произведениям данного типа, но это не означает, что существует непосредственная и актуальная оценка говорящим содержания каждого высказывания как реального (в актуальной оппозиции к признакам гипотетичности и побудительности, с речевой позиции актуализации). Актуальная оценка модального отношения говорящим (пишущим) в этих условиях возможна (таково, например, прямое обращение к читателю, выражение

позиции автора к событиям и т. п.), но такие отступления от основной линии повествования означают переход к ситуативно актуализированной речи. Подчеркнем, что между рассматриваемыми типами речи нет резкой грани: возможны переключения одного типа в другой, промежуточные, переходные разновидности<sup>13</sup>.

\*

Речевой акт начинается со смысла (его прообраза, первоначального замысла) и кончается смыслом — тем смыслом, который воспринимается слушающим. Собственно же языковые значения — грамматические, лексические, лексико-грамматические — представляют собой своего рода промежуточный этап. Языковые значения, будучи строительным и формообразующим материалом мысли, являются средством (в самом широком смысле) ее формирования и объективизации. Вместе с тем языковые значения и их речевые реализации — это не только средство выявления мыслительного содержания, но и форма его существования. Постоянные переходы (перекодирование) от смысла (для говорящего) к значениям, выступающим в плане содержания текста, и от них — вновь к смыслу (для слушающего) представляют собой проявления того факта, что языковые значения и понятийные категории, план содержания текста и речевой смысл — это разные формы и способы существования семантики.

---

<sup>13</sup> Наша трактовка различия ситуативно актуализированной и ситуативно неактуализированной речи в некоторых отношениях созвучна с выдвинутой Э. Бенвенистом (в связи с анализом категории времени, а также лица) теорией двух планов сообщения — исторического плана (*plan de l'histoire*) и плана речи (*plan du discours*). См.: *Бенвенист Э. Общая лингвистика*. Пер. с франц. М., 1974, с. 271—272, 276—280. Применительно к темпоральным значениям с концепцией Э. Бенвениста в какой-то мере соотносится теория синтаксического индикатива и релятива, разработанная А. Беличем (см.: *Белић А. О језичкој природи и језичком развитку*. Београд, 1941, с. 355—390, 464—479). Ср. также работы Н. С. Поспелова по категории времени, в частности: *Поспелов Н. С. О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в русском языке*. — ВЯ, 1966, № 2.

В. И. БОРКОВСКИЙ

## СТРУКТУРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СКАЗКАХ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. БЕЛОРУССКИЕ СКАЗКИ

Народные сказки сохранились до сих пор в устной передаче в форме прозы. Однако, вникая в нее глубже и анализируя те или другие выражения, мы можем заметить, что эта проза особая: ей свойствен сказочны й с к л а д, стоящий в тесной связи с другими видами народной поэзии — песнями, не говоря уже о пословицах и загадках.

(Карский Е. Ф. Белорусы, т. III, вып. 1. М., 1916, с. 432).

Размеры статьи для сборника не позволяют нам остановиться на структуре сложного предложения в сказках всех трех восточнославянских языков<sup>1</sup>. Поэтому мы ограничиваемся только белорусским материалом (1079 сказок, включая и варианты).

О белорусских народных произведениях выдающийся знаток и собиратель белорусского фольклора А. К. Сержпутовский с полным основанием писал: «... мы бачым, які багаты скарб захованы ў думках і ў сэрцы нашых вясковых людзей, бачым, што крыніцы народных твораў ніколі нельга вычарпаць і што гэтыя творы растуць і шырацца»<sup>2</sup>.

К сказанному выше остается только добавить, что мысли и чаяния народа облечены в художественную форму, что язык народных произведений ярок и выразителен.

В первую очередь последнее относится к синтаксису.

Сохранившиеся в синтаксической системе сказок архаические конструкции, унаследованные еще от древнерусского периода, не выделяются резко на общем фоне и, употребляясь параллельно с современными синтаксическими конструкциями, подчеркивают своеобразие языка фольклора.

Следует отметить, что эти архаические черты синтаксиса находим и в русских, и в украинских сказках, что они являются, таким образом, общими для синтаксиса сказок всех восточных славян.

<sup>1</sup> Это мы предполагаем сделать в подготавливаемом нами исследовании «Сравнительно-исторический синтаксис фольклора восточных славян», где будет идти речь о структуре не только сложного, но также и простого предложения.

<sup>2</sup> Сержпутоўскі Аляксандар. Казкі і апавяданыні беларусаў з Слуцкага павету. Л., 1926, с. 1—11.

## СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отличительных признаков в бессоюзных сложных предложениях меньше, чем в союзных. Поэтому сходство данных предложений в восточнославянских языках особенно заметно.

Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые с союзными сложносочиненными, выражают различные смысловые отношения.

В бессоюзных сложных предложениях могут перечисляться действия или явления, которые происходят одновременно (в приведенных ниже примерах — в прошлом или в настоящем времени).

Такое употребление бессоюзных сложных предложений, несомненно, художественный прием, сознательно использованный рассказчиком для усиления впечатления: Сычас собаки забрахали, свисьцели засвистали (Ром. 6, № 27 (28). Могилевск. г. и у.)<sup>3</sup>; Разодзевся цар с паненкой Волынкой, пошли у субор. Дзяравы цвицяць; у суборы свечи гораць; певшыя плюць; огонь горыць перад субором, смола кипиць у котле (Ром. 6, № 31 (32). Могилевск. г., Оршанска. у.); Сычас конь зарзав, собака забрахав, сокол зацвилів (Ром. 6, № 36а (37). Могилевск. г., Рогачевск. у.); И став ён тых пастушков грамоци учыць, яны гразьзю писали на бяросьци (Ром. 6, № 50а (51). Могилевск. г., Сенненск. у.)<sup>4</sup>; На вуліцы грабутца куры; хобдзяць свіне да ў лужах кеўзаютца; валандаютца гусі да праз плут с агарбодаў шчыпяць траву; дзіеци перакідаютца да перасыпяюць песочак, або лепяць алайдкі (Сержп., Мозыр., № 51); Ніхтò з ім не знаўса, ніхтò не зваў к сабе ў госьці, відамо пакідзішчэ (Сержп., № 4); От паахвобціса Салімбон з сваімі прыбліжённымі, налавілі яны мнўого ўселікаў зверыні, нагатовілі там і пачалі балявадзь (Сержп., № 7); Збіегліса людзі на пожар да насілу патушылі, чудзь усі ўёска не згараўла (Сержп., № 72); Рыба паплыла ў вадзіе, зверы пабіеглі па землі, шукáючи сабе мейсца (Сержп., № 90).

Отметим, что во втором примере первое предложение говорит о последующих одно за другим действиях, а затем — целая картина одновременно совершающихся действий.

<sup>3</sup> В примерах из всех сборников сохраняем правописание подлинника, только вместо ё употребляем е и не пишем ѿ на конце слов. В сборнике А. К. Сержпутовского 1911 г. своеобразная передача белорусских звуков, замененная в сборнике 1926 г. общепринятой научной записью. Мы перевели и сказки, изданные в 1911 г., на транскрипцию сказок, опубликованных в 1926 г., что, несомненно, сделал бы и сам собиратель при переиздании сборника. У Е. Р. Романова в шестом выпуске вместо дз и ц (передача дзеканья и цеканья) с 70-й страницы употребляются д, т. Для единобразия мы сохраним дз и ц, как это имеет место в третьем и четвертом выпусках труда Е. Р. Романова.

<sup>4</sup> Обращаем внимание читателя на этот текст, где говорится о бересте как материале для письма.

В первом и третьем примерах одновременность действий подчеркивается употреблением слова *съчас*, которое относится к каждой из частей предложения.

Весьма немногочисленны примеры, в которых действия расположены в одинаковой последовательности: Приходя вясна, наступаа лето, подойшла косовица и также жатва (Ром. 6, № 44 (46). Могилевск. г., Гомельск. у.); Усхадзіласа бура; загу́ ў лес; затращалі вѣткі (Сержп. Слуцк., № 14); От і пача́ ў камень мячáць, пача́ ў царевіч і ўсё его тавáрышы зноў рабітда людзымі (Сержп. Слуцк., № 72); От вýшаў ён з цéркvi, пача́ ў сустракаць знаéмых людзéй да вітацца з імі, тые здымáюць шапкі да пытаяць аб здаровейку (Сержп., № 12).

Во всех приведенных примерах сказуемые выражены глаголами совершенного вида. В художественных произведениях белорусских писателей наиболее распространены предложения с глаголами совершенного вида, только изредка встречаются предложения с глаголами несовершенного вида<sup>5</sup>.

Встречаем в сказках и случаях употребления бессоюзных сложных предложений с противительным и противительно-сопоставительным значением: Хоча ести — есть нéчаго, хоча пить — пить нечаго (Ром. 3, миф. № 9. Могилевск. г., Гомельск. у.); Тэй народ уснувшi, Иван одзин не (Ром. 4, № 76. Могилевск. г. и у.); Яны ехали трои судок, мы их у три часы догоним (Ром. 6, № 30 (31). Могилевск. г., Чаусск. у.); Приходзя ён у тэй дом, сядзiць там девушка (Ром. 6, № 366 (38). Могилевск. г., Быховск. у.); Пошоў воробей к мышоне и говориць: «Ну-ка сянни соберы своих звероў, я — своих пшиц» (Шейн., № 18. Могил. г., Горецк. у.); Папробуваў гукáць — у гóрле сцісло (Сержп. Мозыр., № 50); Абхадзілі яны нéмаль усяо вéску, ніхтó не прымáе на нач (Сержп., № 5).

Переходим к рассмотрению сложносочиненных предложений с союзами.

В роли содинительных союзов в сказках выступают *и*, *ды* (*да*), *ды i* (*да i*).

Союз *и* может соединять части предложения, в которых действия происходят одновременно, но употребляется также и тогда, когда имеет место последовательность действий. Во втором случае к временному значению часто присоединяется причинно-следственное значение.

В следующих примерах одновременность действий: Клубочек сам коцитца, и яны за клубочком идуць (Ром. 3, миф. № 29. Могилевск. г., Сенненск. у.); Кони идуць дальше, и ён идзéць (Ром. 4, № 21. Могилевск. г., Сенненск. у.); Гуляли ў дзярневні вясельля, и было дужо много людзей (Ром. 4, № 73. Могилевск. г., Сенненск. у.); Укачуецца у хату клубочик, и ён

<sup>5</sup> См.: Граматыка беларускай мовы, т. 2. Сінтаксіс. Мінск, 1966, с. 683.

услед за им (Ром. 6, № 32 (33). Могилевск. г., Чериковск. у.); Ехав ён целый дзень и обнимаець яго ўсмная ночь (Ром. 6, № 35 (36). Могилевск. г., Оршанска. у.); Давидон заснув, и жонка заснула, и дзевка заснула, все заснули (Ром. 6, № 50а (51). Могилевск. г., Сенненск. у.); Посярбд рэчки быў камінь и вода плискáлася (Шейн, № 29. Минск. г., г. Борисов); Пражылі яны нémаль усяо жытку и не было ў іх дзецеў (Сержп., № 8); Кó-цяцца калюёдкі, і сáні паўзúць упérяд (Сержп., № 30).

В приведенных примерах в обеих частях предложения употреблены или глаголы совершенного вида в форме прошедшего времени (шестой пример; здесь четыре части предложения), или глаголы несовершенного вида в форме прошедшего времени (третий, четвертый и седьмой примеры; во второй части четвертого примера глагол опущен) или настоящего времени (первый, второй и девятый примеры).

Это обычное соотношение форм глагола в частях предложения, но могут быть и глаголы разных времен и разных видов (примеры пятый и восьмой).

В следующих примерах — последовательность действий: Стало цяпер у яго семяро хортков, и яны яго слухались и усюдых за им ходзили (Ром. 3, миф. № 3. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ён разрезав мезяный палец, и пошла з естаго пальца кров (Ром. 3, миф. № 21а. Могилевск. г., Быховск. у.); Маменька дала яму сто рублей, и пошов ён на рынок (Ром. 3, миф. № 85. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ён з радости тут запрог кóняй, и сели яны з ёй на повозку (Ром. 4, № 61б. Могилевск. г., Гомельск. у.); Ён заплаців яму дрого, і ён яго пусців у ту боковучку (Ром. 6, № 51 (52). Могилевск. г., Климовичск. у.); Молодцы завяли яго у клець, і ён лёг на засикаць спаць (Шейн, № 56, Витебск. г., Полоцк. у.); Гэто зельле царица сварыла и выпила, и чараз год родзиўся сын (Шейн, № 96. Минск. г., Слуцк. у.); Узяў Янко бацька за руку й знудоў ені палецнёлі (Сержп. Слуцк., № 4); Спужаўса маскаль, і ў вачу пацемнёло (Сержп. Мозыр., № 13); Прышлá бсень, і ат памудорку прапало ўсе гаўядо (Сержп. Слуцк., № 14); Узяў мужык ліпаўку й зубленку, і пашлі ені з цыганом у лес (Сержп. Слуцк., № 41), Тым часам сбнейко паходзіа на міесьц, нагрывае яго сваім блáскам; і той зноў памалéньку начнё ачуняць да абрастáць цёлам да ўпі на сваё міёйсцо, каб съвеціць у нуочы (Сержп., № 10); Сіёў ён на кабылку, і паехалі яны далéй (Сержп., № 23); Па немалум чáсе падышлá парá, і радзіўса ў яе гóжы хлапчук (Сержп., № 72); Adzín haspadár paswarýusie z wiédzmaju i taho sámaho dnia wzőrk kaniá jeho žjeū (Федер., № 139. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Господствует при временной последовательности прошедшее время глаголов совершенного вида в обеих частях предложения, но может быть и другое соотношение времен и видов (в первом примере прошедшее время глагола совершенного вида — прошедшее время глаголов несовершенного вида для обозначения

постоянно протекающего действия; в примере Сержп. 10 — будущее время глаголов совершенного вида).

Причинно-следственные отношения можно видеть в примерах Ром. 3, миф. № 21а; Ром. 6, № 51 (52); Шейн, № 96; Сержп. Мозыр., № 13; Сержп., № 10; Федер., № 139.

В случаях, когда части предложения соединяются с помощью *ды* (*да*) или *ды и* (*да и*), присоединяемая часть отчетливо выделяется в речи, причем это особенно заметно при употреблении *ды и* (*да и*), благодаря которому стоит ударение на следующем за ним слове (глаголе, а в примере Сержп. Мозыр., № 57 — местоимении): Спадабáласа ёмý маладзíца да й юон спадабáуса (Сержп. Мозыр., № 57); От адзéласа царéуна, сёла на свайгó канý, да й паéхалі енý туды, гдзé лежáу царéвіч (Сержп. Слуцк., № 72); Убрáуса ён у тýю адзéжу, накупíў бацьку й матцы рýдзных падáрункаў, да й паéхалі яны да гасподы (Сержп., № 8); От прышлі яны ў ягó край, нашлі тýю ўёску, дзé ён жыў, алé там ужé без гаспадарá й хáтка ягó абернúласа да яéх хлопцы расцягáлі на вагóнь (Сержп., № 41)<sup>6</sup>; «Самая лéпшая на съvéci красуótка жывé за гарámi, за марámi ў тры-дзесáтум цárстве, да там яéх пíлнúе зъмéй» (Сержп., № 50)<sup>7</sup>; Алé нíхто не съпевáу, тýдлькі шантáуса лíес да раўло морэ, ўзъбегáочы на бéраг (Сержп., № 76)<sup>8</sup>; Пасадzíу Бортнік сýна съvíное рýло на вýоз да й паéхалі яны да гасподы (Сержп., № 86); Сíёу ён на вýоз да й паéхалі яны ху́чýай к таму касцéлу (Сержп., № 83); Убáчыу яéх гаспадáр, да й пашлі яны ráзам (Сержп., № 100).

С противительной связью употребляются в сказках *ды* (*да*) (со значением *но*), *але*, *толькі*, *аж*, *ажно*.

Союз *а* находим в предложениях, в которых сопоставляются субъекты действия, действия, явления, реже — в предложениях, где субъекты действия, действия, явления противопоставляются.

Во второй части сложносочиненного предложения слово, обозначающее субъект действия, как правило, стоит сразу же после союза *а*. В сказках, за редкими исключениями, сказуемые выражены глаголами, причем, тоже за редкими исключениями, одного вида и времени.

Преобладают формы прошедшего времени: Поехали сваты, а Иванька став дожидать серады (Ром. 3, миф. № 9. Могилевск. г., Гомельск. у.); Паненки пошли у лазыню, значитца, а ён пришов и став ли двярэй (Ром. 6, № 15. Могилевск. г., Сенненск. у.); Вумныи сыны поехали ў лес, а дуринъ застався дома (Ром. 6, № 28 (29). Могилевск., Мстиславск. у.); Братья ехали три годы, а ён догнав их у тры месяцы (Ром. 6, № 31 (32). Могилевск. г.,

\* Часть предложения *да яé...* входит в состав сложносочиненного предложения с *але*.

? Возможно, что здесь *да* имеет значение *но*, *только*.

\* Часть предложения *да раўло...* входит в состав сложносочиненного предложения с *тýдлькі*.

Оршанск. у.); Парень сев одыхать, а девица стала обед готовить (Ром. 6, № 44 (46). Могилевск. г., Гомельск. у.); Паіехаў сабе пісар да гасподы, а мужыкі сабраліса ѹ гуртому пашлі к пану (Сержп., Мозыр., № 45); От раз дзед быў на гумніё, а ба́ба ў хаджаласа калé пέчы, пеклá алáдкі (Сержп., Слуцк., № 48); Адны паташліса, а другіе заплуталіса ѹ залбесках да ѹ загінулі ѹ нéтры без яды (Сержп., № 30); От той чалавéк пасфя́ў багачу жыто, а яго жуонка капала бульбу (Сержп., № 52); Дóugo йграў ён, а пан усé слухаў да ўсе дўмаў (Сержп., № 56); Так плáкала да прычытала тая дзéвачка, а разбуйнікі стайлі да слухалі (Сержп., № 64); Узабраўса дзед на вúз, а чалавéк закрыў его сіенам, прыціс рублем да ѹ павіоз у сваё селб (Сержп., Слуцк., № 69); Paświaż adzíń pastuszók byczkí, a líska padkrálasie, da-j uchapiła adnahó (Федер., № 23. Гродненск. г., Волковыск. у.); Hetó skazàuszy, sam pabièh, a bácko paszczóu da wiedźmara (Федер., № 122. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Отметим примеры с формами глагола настоящего времени: Козел круциць головой, а ён жариць дубиной (Ром. 3, миф. № 25, Могилевск. г., Сенненск. у.); Едем мы полям, а з другой дороги на сестречу нам едя моя першая жонка (Ром. 4, № 61в. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Я лапці плету, а Mixáль курыць ляльку да кáжэ кáскі (Сержп. Мозыр., № 36); Седзяць янá за сталом да сілкуюцца, а хлапчук бéгае па сталу да пераскокае цéраз лóжкі (Сержп., № 8); От пъюць да весёляцца малайцы, а дзéеўкі скáчуць да паюць пfeсыні (Сержп., № 50); Пан распытóвае, а пастух вúчыць яго вуму́-рóзуму (Сержп., № 56); Скупы збíрае, трасéцца, а чорт з яго смеéцца, заханчáе да ѹ мéх забíрае (Сержп., № 81); Жывé тая дзéеўка да спажывáе пáньскіе грóши, а дзéеўкі тóулькі ablízvaющца да завíдуюць ёй (Сержп., № 83); Жанáты сын з жуонкаю яздзяць да тóулькі ablízvaющца, а стары да яго старéнны сын насíлу глытáюць пúосную кáшу (Сержп., № 93).

Имеются в сказках случаи с употреблением в первой части формы прошедшего времени глагола, а во второй — настоящего времени (в примере Шейн, № 93 во второй части сначала прошедшее время глагола, затем настоящее: нашоў, нясе): Пошли тыя дзеци к Кожамяку, а ён на возяри кожи мынець (Ром. 3, миф. № 32. Могилевск. г., г. Сенно); Цыревна сейчас побегла сама наўпроты, а мяньведь к ёй бяжыть (Ром. 6, № 6. Могилевск. г., Гомельск. у.); Слуги пошли, а часовой сабе ходзиць по комнаце (Шейн., № 18. Могилевск. г., Горецк. у.); Пан згубиў загарок, а чаловек нашоў и нясе к пану (Шейн., № 93. Минск. г., Борисовск. у.); Паднýуса Кавáль да ѹ пашоў за пчóлкаю, а ена лециць уперуóд да тóулькі гудзé (Сержп. Слуцк., № 72); Далá ямú ба́ба вечéraць, а самá стаіць калé пέчы да ўзыхáе (Сержп., № 8); Паіехаў ён далей, а зáяц бежыць за ім на́зíркам (Сержп., № 23).

В следующих примерах, где в роли сказуемого выступает краткое прилагательное *рады* без вспомогательного глагола (пер-

вый пример) и междометие *бубух* (второй пример), сохраняется временний план первой части предложения (прошедшее время): Уздумали браты ехаць ў сваты, а бацьки их и рады гэтому (Шейн, № 133. Минск. г., Игуменск. у.); Яна села на лопату, а ён яé у печку бубух (Ром. 3, миф. № 49б. Могилевск. г., Рогачевск. у.).

Отметим случаи употребления в первой части предложения глагола-сказуемого в форме 2-го лица ед. ч. повелительного наклонения, а во второй части — в форме 1-го лица ед. ч. будущего простого: Возьми вядро да зачерпни у речцы воды, а я табе обед звару (Ром. 3, миф. № 21б. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Ідзі ты адайн, а я хацá паставо у дзверáх (Сержп., № 12).

В примерах, которые мы привели ранее, сопоставляются субъекты действия и действия.

В следующем примере, поскольку в обеих частях составного сказуемого, без вспомогательного глагола в нем, качественное прилагательное, четко сопоставляются именно качества, при одновременном сопоставлении субъектов — носителей качества: А lùstro kàžä: — «Ту charòsza, а twajà daczkà jeszszè charòszsza» (Федер., № 399. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Предложения с сопоставлением (а также и с противопоставлением) состоят из двух частей, но могут иметь и три части. В первом из примеров союз *а* стоит и перед второй, и перед третьей частью, во втором — только перед третьей: Царьский сын Василий царьством править, а Иван — Кухаркин за дворника, а батьки у живых нетуци (Ром. 6, № 29 (30). Витебск. г.; Городокск. у.); Панин сын вучиўся хорошо, кухарыхин лучш яго, а сучкин яще лучши (Шейн, № 53. Минск. г., Борисовск. у.).

Граница между сопоставлением и противопоставлением не является достаточно четкой, поскольку основывается только на лексических данных.

Как нами сделано в отношении сложносочиненных предложений в древнерусских памятниках<sup>9</sup>, мы и в отношении фольклора считаем противопоставлением, а не сопоставлением лишь те случаи, когда сказуемые по своему лексическому значению антонимы (или близки к антонимам) или когда одним из сказуемых что-либо утверждается, а сказуемым другой части предложения отрицается: У смока дванатца сил отбыло, а ў Иваньки прибыло (Ром. 3, миф. № 4. Могилевск. г.; Сенненск. у.); У меньшаго брата дзеци были, а у большаго ня было дзяцей (Ром. 4, № 28. Могилевск. г., г. Сенно); У весь скот цел, а яго жарабца зъели волки (Ром. 4, № 44а. Могилевск. г., Горецк. у.); Іскры сымлютца, а губа не гарыць (Сержп. Слуцк., № 49); Мужчыны смеётца, а Каваль чуць не плачэ (Сержп. Мозыр., № 57); Жалітца Каваль мужчынам, а тые смеётца да строяць кепікі (Сержп. Мозыр., № 57); Усіё яго лічылі дурням, а ў яго, мабыць, чорт рó-

<sup>9</sup> Борковский В. И. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. М., 1958, с. 106.

зуму не зъеў, — ён быў дага́длівы й ве́льмі хітры мужы́к, да́рам, што ўсіе яго звалі раскіракаю (Сержп., № 4); От ляглі яны ўсе спаць кругом агнё, да й разам захрапі, а ямú не спіца (Сержп., № 26); Працуюць простиye лёбдзі, а паны түолькі камендуюць да падганяюць (Сержп., № 30).

Отметим особо два примера, в которых противопоставляются не сказуемые, а обстоятельства (первый пример: по кошачаму — по чалавечаму), дополнения (второй пример: *bièdnym* — *bahatygom*): Гэты Марцин Глинский навучиўся говориць по кошачаму, а гэтот кот навучиўся говориць по чаловечаму (Шейн, № 8. Минск. г. и у.); *Tak bahatýr astàusa bièdnym, a bièdny astàusa bahatygom* (Федер., № 311. Гродненск. г., Волковыск. у.).

При помощи союза *a* могут сочетаться и части предложения без сопоставления или противопоставления.

В этих предложениях последовательность действий, союз *a* допускает его замену союзом *и*: Узай пан хлапчукá к сабіе на далёню, а той і давай там скакаць да вычвараць уселякіе штукі (Сержп., № 8); Паказаў пан яго пані, а тая дзівіца й з рук яго не пускае (Сержп., № 8); Хутко вы́сватаў ён сабіе сámую гóжую дзіеўку, а за не доўгім часам яны й пабраліса (Сержп., № 8); Хучы́эй усіх загналі яны свае плыты, а за тобе далі ім буйш грошэй (Сержп., № 9); Седзіць яна ў дзіеўках, а ніхто й не ду́мае пасылаць к ёй свату́ю. бо ўсе ёне добра́ давідалиса, якáя гэто цáца (Сержп., № 13).

Заканчивая изложение вопроса о сложносочиненных предложениях с союзом *a*, отметим употребление сложного союза *a то* со значением ‘иначе, в противном случае’ в прямой речи: «Гра́ да гасподы цягнúцца, а то ба́ба качаргю сперы́эсьціца мазгаўню да скáжэ, што пъяны загубіў шапку» (Сержп., № 4).

Помимо отношений сопоставления в примере и оттенок значения условия.

Для пр o т i v o p o s t a v l e n i я того, о чём сказано во второй части предложения, сообщаемому в первой части, в сказках употребляются союзы *але*, *аж* (*ажно*), *ды* (*да*), *толькі*.

По степени употребительности на первом месте стоит *але*, затем *аж и*, наконец, *ды* (*да*). Союз *толькі* несколько отличается по своему значению от других названных союзов, поскольку его функции ограничительные, он указывает на некоторое несоответствие сообщения во второй части предложения утверждению в первой части: Немá у Музы́кі нічого ў рукáх, түолько пад пáхаю ў мешэ́чку скрыпка (Сержп. Слуцк., № 2); Алé ніхто не съпевáў, түолькі шантáуса ліес да раўлó морэ, ўзъбега́ючи на бéраг (Сержп., № 76); Стаяў ён, стаіць і не варухнёцца, түолькі зúбы ляскочуць, бы яго трáсца трасé (Сержп., № 81); Расцé дзіёвачка да ўсе харащы́эе, түолькі велізны шрам астáуся на баку (Сержп., № 82).

В предложениях с *аж* (*ажно*) вторая часть говорит о чём-то неожиданном, непредполагаемом. Поэтому часто мы находим *аж*

(ажно) после глаголов восприятия в первой части: Яны развезали мешок, поглядзели — аш там Миша (Шейн, № 19. Могил. г., Го-рецк. у.); Глядзіць Сэмко, ажно ён усю нүоч у канаве ў гразі пралежаў (Сержп. Слуцк., № 4); Выйсунуліса людзі з паграбаў, зірнулі, аж млын хвіля перавернула (Сержп. Мозыр., № 29); Тым часам чуе юн, аж равуць медзьвёдзі (Сержп. Слуцк., № 54); Падхобдзіць ён туды да й чуе, аж там баба крычыць, клінё, чудзь не галосіць, што хтось укрáў тýю сарóчку, катóрую яна хавала сабіе на смéрць (Сержп., № 6); Зірнúй ён, аж дачка Салімудна ажылá да й падымáецца з трунý, бо мýсіць, як ён уда́рыў тым каменям, дак ат таго рýху мясо ў горле й праскóчыло й дзеу́чына ажылá (Сержп., № 7); Зіркúй чалавéк, аж сапраўды ў садóчку звýса рýой пчóл (Сержп., № 14); Зірнúй ён, аж царéўны ўже пíмá (Сержп., № 23); На зáутра яшчэ раненько вýсунуўса багаты брат з хáты, зірнúй, аж чéшча лежыць под вакнóм (Сержп., № 34); Зірнúла яна, аж тут і яе жаніх (Сержп., № 83).

В следующем примере нет глагола восприятия, но вместо него описательная форма *павела носам*: Павелá яна носам, аж сапраўды ў хáце штось дóbра пахне (Сержп., № 34).

Отметим несколько примеров без глагола восприятия: Бяжиць ён дорогой — аж косиць дужо много косцов (Ром. 3, миф. № 35. Могилевск. г., Сенненск. у.); Прыйежджаюць яны ик двору волшебницы, аж тут собаки окружыли и ни даюць далий проезду (Шейн, № 39. Минск. г., Игуменск. у.); Надзіёў ён тýю сарóчку аж каўнёр не сходзіцца, а рукавы туболькі па лóкці (Сержп., № 6); Падхобдзіць ён туды, аж маскаль швырнё дблато ў рýэку да й прыка́жэ<sup>10</sup>: «берýса рýба малая й велікая!» (Сержп., № 17); Прыйезджáе ён туды, аж там ужэ ўсіе гатóвяцца к весéльлю (Сержп., № 23); Засвеціла яна агонь, аж той разбúойнік ім дабра прыўёз побен вўз да й злажкý у сінечках (Сержп., № 34); Ідуць дáлей, аж чалавéк падпíрае тын (Сержп., № 41); Памáцала яна на вóзе, аж там много ўселякага дабра (Сержп., № 83); Разрýзала каваліха той хлеб, ажно там тое злато, што яны пала́жылі (Сержп., № 99).

В первой части предложения с *аж* (*ажно*) преобладает употребление формы прошедшего времени, во второй — формы настоящего времени (в числе случаев и примеры с пропуском глагола).

Форме настоящего времени в первой части предложения может соответствовать во второй части предложения и форма настоящего времени, и форма прошедшего времени глагола совершенного вида.

Форме прошедшего времени глагола совершенного вида может соответствовать во второй части предложения и форма прошед-

<sup>10</sup> Формы будущего простого *швырне*, *прyкажэ* для обозначения протекающих в данный момент действий.

шего времени глагола совершенного вида, и форма настоящего времени.

Четко выраженное противопоставление находим в предложениях с союзом *але*: Адзёліса ены, алé ось прыхóдзіць пан, завé гарбату піць (Сержп., Мозыр., № 35); Я мнúго знаў тых кáзак, алé шмат уже позабывáласо (Сержп. Слуцк., № 54); Не так ямú шкóда грóшэй, як тагó сабáкі, алéничóго не парадзіш, — паіехаў сваёю дарбáю (Сержп., № 8); Сýнуліса туды бацькі таіе дзеўчыны да хрóстнай матка багачá, алé ўсíе там і засталіса (Сержп., № 9); Падышбó ён к вадзíе й хацíе брысці ўбрóд, алé нóгі йдуць па вадзíе, бы па лéду (Сержп., № 12); Забудавáў сабé адзін чала-вíек млын, алé нíмá дзíе ўзяць каменéу (Сержп., № 20); От пачáу ён таргавáць тýю кабылку, алé мужык не хóчэ аддавáць нí за якіе грóшы (Сержп., № 23); Пачалі янá распытóваць у дзе-цéй, алé тýе малые, нíчбóго не знаюць (Сержп., № 34); Трэ йци туды, алé не мажэ ён атарвáць ачý ат таіе панéнкі (Сержп., № 41); Звáла, звáла дзеўчына, алé нíхто не абзывáеца (Сержп., № 74); Па немáлум чáсе сёла на карáб i купéцкая дачká, алé янá не бáчыла таіе жанчыны (Сержп., № 76); Запытáла янá, хто гéто, алé нíхто не абзывáеца (Сержп., № 83); Аглядáў, аглядáў цар тых дзéвак, алé нíйкая ямú не спадабáласа (Сержп., № 89); Так na piérszu niuocz paszczóu sàmy stárszy, alé juon zaspnúu i nizczo ho ni báczuц (Федер., № 68. Гродненск. г., Волковыск. у.).

В следующих примерах помимо противопоставления имеется и уступительное значение: Шкóда ямú хлóпца, алé ат бáбы жýткі нíмá (Сержп., № 23); От i цепéр жанчына працýе ад рáнку аж да пóўначи, алé яіе работы нíхто не бáчыць (Сержп., № 32).

Противительные отношения с большей или меньшей отчетливостью выражаются и в предложениях с союзом *ды* (*да*): Одна из их говорят: ён тут, да нельзя яго сыскаць! (Ром. 4, № 76. Могилевск. г. и у.); Король гувора: что, так тошно, карэта такая, да моя дочка не можа на таких лошадях ехать (Ром. 6, № 49 (50). Могилевск. г., Гомельск. у.); Кінулі мы его як сабáку, закапалі купцá, а грóшы скавалі пад дубам, да скóро нас злавілі (Сержп., Мозыр., № 36); Сóнейко печé, а дзíед з бáбаю седзíць у кажúшках да i то iм хóладно (Сержп. Мозыр., № 51); Жыў сабé адзін ка-вáль нí гádkí, да на его лíхо, былá ў его жўонка кавалíха (Сержп., Мозыр., № 57); Той слáвец, да лóдзі яго не кахáюць; тагó ка-хáюць, да не бáйца (Сержп., № 56); Седзíць багачá у пóграбе да падыхáе ат гóладу. Прóбуваў крычáль, да нíхто его не чýе (Сержп. Слуцк., № 79); Былі янá аднаіе маткі, аднагó бáцька, да не рóйную даў iм бúог дóлю (Сержп., № 80).

Особенно отчетливо противопоставление в следующих примерах, где в обеих частях при сказуемом одно и то же обстоятельство *скоро*, но во второй при этом *скоро* есть отрицание *не* (во втором примере *не так*): И скоро казка кажетца, да ня скоро дело де-лаетца (Ром. 6, 17в (19). Могилевск. г., Гомельск. у.); Вядомо ж,

скоро казка кажетца, да не так яно скоро дзеетца, як кажетца (Ром. 6, № 47 (49). Могилевск. г., Сенненск. у.).

Отметим пример с *ды i*, в котором благодаря *i* смысловое уда-  
рение на второй части предложения.

Этому же способствует и наречие *тұдльki* (тұдльki адна) в первой части: Асталáса ў тагó чалавéка тұдльki аднá целіца да й тýю ваўкi зары́зали (Сержп., № 52).

В наших материалах встретился пример с *но*, а также пример с частицей *ну* вместо *но*: Отец ётаго сына ужэ не пускаў, но Иванька-дурачок насилено пойшоў (Шейн, № 24. Минск. г., Речицк. у.); Скоро сказка сказуетца, ну ия скоро дело делаетца (Ром. 6, № 44 (46). Могилевск. г., Гомельск. у.).

Е. Ф. Карский еще 65 лет тому назад отметил, что в старобелорусских памятниках самое сильное противоположение выражается союзом *но*, однако в живой белорусской речи этот союз не употребляется<sup>11</sup>.

В работе по белорусской диалектологии, изданной в 1964 г., говорится, что в некоторых говорах допускается старинный союз *но*, и приводятся примеры из записей современной диалектной речи<sup>12</sup>.

Союз *но* не вошел в словарный состав современного белорусского литературного языка.

### БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ СО СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫМИ

Переходим к рассмотрению бессоюзных сложных предложений, сопоставляемых со сложноподчиненными<sup>13</sup>.

Поскольку в сказках говорится о многих событиях, приключениях в жизни героев (причем эти события и приключения следуют одно за другим), значительное место в сказках занимают бессоюзные предложения времени. Эта особенность синтаксиса сказок отмечалась нами в отношении сказок русского народа<sup>14</sup>.

В то же время, конечно, бессоюзные предложения времени и в сказках уступают по числу случаев употребления сложноподчиненным предложениям времени<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, т. 2, вып. 3. Варшава, 1912, с. 227.

<sup>12</sup> Нарысы па беларускай дыялекталогіі. Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў універсітэтаў і педінстытутаў. Пад рэдакцыяй член-карэспандэнта АН СССР Р. І. Аванесава. Мінск, 1964, с. 330—331.

<sup>13</sup> История этих предложений в восточнославянских языках рассмотрена в работе: Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Бессоюзные сложные предложения, сопоставляемые со сложноподчиненными. М., 1972.

<sup>14</sup> Борковский В. И. Синтаксис сказок Пушкинских мест. — В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкоznания. К 70-летию со дня рождения академика Михаила Борисовича Храпченко. М., 1974, с. 378.

<sup>15</sup> В данной статье мы не рассматриваем сложноподчиненные предложения. Им будет посвящена особая статья в другом издании.

В литературных языках восточных славян — полное господство сложноподчиненных предложений.

В древнерусских памятниках бессоюзные сложные предложения времени представлены небольшим числом случаев, их немного и в старорусских, старобелорусских и староукраинских памятниках.

В диалектах всех восточных славян бессоюзные сложные предложения времени встречаются чаще.

Эти наши выводы<sup>16</sup> в отношении всех трех языков совпадают со сказанным А. П. Груцо относительно белорусского языка. А. П. Груцо отмечает, что в белорусской письменности XIV—XVII вв. и в современном литературном белорусском языке бессоюзные сложные предложения времени употребляются редко, в народных говорах они встречаются чаще<sup>17</sup>.

Как правило, в первой части предложения, указывающей на предшествующее действие, глагол движения. Это обычно глагол совершенного вида в форме прошедшего времени, того же вида и времени и глагол в независимой части: Проехала трохи, *зашумела* у голове луччи (Ром. 6, № 31 (32). Могилевск. г., Оршанс. у.)<sup>18</sup>; Отъехали вёрст триста, *прочнулася* баба (Ром. 6, № 31 (32). Могилевск. г., Оршанс. у.); Ён ушов у хату, *старики* увознали сына, заплакали от радос্তи (Ром. 6, № 44 (46). Могилевск. г., Гомельск. у.); Коза пошла под мост, *воўк* яе за хвост (Шейн, № 15. Могилевск. г., Горецк. у.); Яна ўзышла на двор, — *медзведзь* за ёю (Шейн, № 19. Могил. г., Горецк. у.)<sup>19</sup>; Азірнўомса мы — *вісельнік* за намі сусіх нутг (Сержп. Слуцк., № 49); Атышліса яны ат дарбгі ў гупчачу, жўонка ѹ закружыласа да ѹ не віёдае куды ѹці (Сержп., № 13).

Заметное место занимают в сказках абсолютно сходные по структуре с предыдущими примеры, где те же глаголы движения в зависимой части говорят о времени, прошедшем или наступившем: Пройшло там кольки днёв, *приехав* батька с хуры (Ром. 3, миф. № 18а. Могилевск. г., Гомельск. у.); Пройшло скольки там уремя, *пыгнило* у того пана усё сено (Ром. 3, миф. № 38. Могилевск. г., Сенненск. у.); Пришла вясна, *стали* коняй водить на ношлег (Ром. 4, № 61в. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Ну, пришла ночь, *ина* легла, гэта дзевка, спаць, а яны *стали* гэту бабу пилнуваць (Ром. 6, № 47 (49). Могилевск. г., Сенненск. у.); Ночь подышла — *полягли* спаць (Шейн, № 13).

<sup>16</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис..., с. 71—80.

<sup>17</sup> Gruco A. Zdania podzielone okolicznikowe czasu w języku białoruskim. — Slavia orientalis, 1968, goč. XVII, № 1, s. 67. См. также: Груца А. П. Развіціё складназалежнага сказа ѹ беларускай мове. (На матэрыяле помнікаў пісьменнасці XIV—XVII ст. і сучасных народных гаворак). Мінск, 1970, с. 167.

<sup>18</sup> Здесь и далее в бессоюзных предложениях выделяем курсивом первое слово второй, независимой в смысловом отношении, части.

<sup>19</sup> Во второй части предложения пропуск глагола-сказуемого. То же и в следующем далее примере.

Минск. г., Борисовск. у.); Прайшлó мо сódзьве недзéлі, ачýхаўса Сымўон і пацéгса ў мястéчко (Сержп., № 35); Прышла пъятніца, сабралісе жанкí, пачалі памíж сабою сакатáць, пачалі прыдумóўваць уселякіе смéшные здарéння да ѹ смеюцце, аж захóдзецце (Сержп., № 100).

Приведем несколько примеров с глаголами различных значений в первой, зависимой, части предложения: Сагнало з поля сынёг, пачалі лóдзі лáдзіць сóхі да бóраны, пачалі гатóвіцца абраблáць зéмлю (Сержп., № 24); Алé от даў бóг дзéнь, дýмкі разлецеліса бы дым (Сержп., № 76); Кончыласо поле, вайши янý ў лéс (Сержп., № 96).

Крайне редко встречаем случаи, когда в одной и в другой части предложения глагол несовершенного вида в форме настоящего времени (первый пример), или глагол совершенного вида в форме будущего простого в первой части предложения и глагол несовершенного вида в форме настоящего времени во второй части предложения (второй пример), или глагол совершенного вида в форме прошедшего времени в зависимой части и глагол в форме настоящего времени в независимой части (третий пример): Приходиць на берех, ина ўжо ходзиць по берегу (Ром. 6, № 7. Могилевск. г., Климовичск. у.); У дзень ешчá нічагусенько, а прýдзе нýдчка — седзíць Матрúна да плачэ (Сержп. Мозыр., № 42); Трушки заснуў, приносюць мулу́йцы чаровики у шкляной скрынучцы и пустовили ямú (Ром. 3, миф. 12. Могилевск. г., Рогачевск. у.).

Такое употребление глаголов, особенно при смене одного времени на другое, несомненно, способствует живости изложения.

Отметим пример с интерпозицией зависимой части (выделяем ее курсивом): На зáйтре, ўжé сбнейко высéко, мужык пашóў к пáну ѹ прósіць, каб пан прадáў ему шарсюкá (Сержп. Мозыр., № 27); Жанкí бывáло, яшчé сбнейко не схаваецца за лéсам, а ўжé злóжаць сваё ручáйкі да верацéны, вынесуць у камóру або на гору кудзéлі да прásніцы да ѹ сустракаюць недзéльку, або другбе съято (Сержп., № 58).

В этих примерах действие, названное в независимой части, происходит в отрезок времени, обозначенный в зависимой части.

Большой интерес представляют предложения без союза придаточного предложения, но с соотносительными словами во второй части: *да́к* (*да́к*, *так*), *тады* (*тады*), *то*: Зьев гэтый хлеб, гетый сыр — *так* лёг и заснув (Ром. 6, № 35 (36). Могилевск. г., Оршанска. у.); Прыйедзе ие муж, *то* будзе яе глядаеци (Шейн, № 32. Минск. г., Новогрудск. у.); «Настане зіма, *то* будзе холдно ѹ хаци» (Шейн, № 42. Гродненск. г., Волковыск. у.); Падрасльі ўдáлыё дзейчáта, *да́к* іх наперабóй пачалі свáтаць да ѹ пабрálі замуж (Сержп., № 13); Засталіса сыны без бацька, а гаспадара, *да́к* хутко ўвесь двóр запусціеў (Сержп., № 21); Кінула ягó раз каваліха на дзедзінцы, *да́к* чудz ягó съіне не зыёли (Сержп., № 23); Па немáлум чáсе крúпнік зварýуса, *тады*

ён прынёс дзвіе ложкі, дастаў з варэнкі бóхан хлеба й кáжэ: «садзіса, бúдам вечéraць» (Серж., № 26); Пырнё чорт ба́бу віламі, *дак* яны й захрásнуць у плоце, а ба́ба што пырнё, *та* зробіць у чóрта дзéрку (Серж., № 37); «Не дóбрэ зрабіў, — кáжэ бúог, — ідзі, прыстáу ім гóлавы, *та* яны ажывúць» (Серж., № 37); Зірнёш на бóжы съвіёт, *дак* дакóла так гóжэ: штúшачкі вéсело па́біць да рáдасно шчабéчуць на зелéных вéтках (Серж., № 46); Прýдуць у вéску, стáнуць к лóдзям на рабóту, *та* тыé накóрмяць да яшчэ даду́ць на дарóгу (Серж., № 52); От секану́ў ён раз — другí гнілý пень, *дак* аттúль грóшы й пасыпаліса бы боб (Серж., № 53); Стúкнуў ён пálкаю аб зéмлю, *дак* пéрад ім бы вýраз з землі дóбры маладзéц да й пытаé, што яму трéба (Серж., № 76).

Примеры, сходные с вышеприведенными, мы находим и в новейших записях живой диалектной речи<sup>20</sup>.

Несмотря на наличие соотносительных слов, мы не относим эти предложения к сложноподчиненным, поскольку в них нет подчинительных союзов, соотносительные слова, за исключением *тады* (*тагды*), не способствуют определению предложений как предложений времени, основная связь частей предложений — смысловая.

Эти предложения ближе к бессоюзным сложным предложениям, чем к сложноподчиненным.

Как известно, бессоюзные у словные предложения широко представлены в пословицах<sup>21</sup>. В сказках они встречаются реже, причем некоторые из примеров можно отнести и к бессоюзным сложным предложениям времени.

В сказках чаще всего встречаем в обусловливающей части глагол в будущем времени, в обусловленной части, как правило, глагол в будущем времени, редко — в настоящем времени или в повелительном наклонении; если в обусловливающей части глагол в настоящем времени, то в обусловленной — будущее время или настоящее время (редко): «Станя табе тошно да нудно, ты приходзь к етому слупу; станя мне тошно да нудно, я приду к етому слупу» (Ром. 3, миф. № 17. Могилевск. г., Быховск. у.)<sup>22</sup>; И говóриць яму тожа: спасéш моих лошадзей, *получиши* што сказано; не спасеш — *отсяжу* голову и усторкну на частоколину! (Ром 3, миф. № 26. Могилевск. г., Быховск. у.)<sup>23</sup>; «А што ў нас у закони: загадку загадать. И три загадки ня угадаю, можаш комлаты разбить и узять мяне. А угадаю я три загадки, можаш отрактісь от мяне!» (Ром. 4, № 46. Могилевск. г., Гомельск. у.); Дык я й тýпер етой самой хусткой — одным рожком утрусь,

<sup>20</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис..., с. 77—78.

<sup>21</sup> Там же, с. 99.

<sup>22</sup> Два бессоюзных предложения, которые можно рассматривать и как временные.

<sup>23</sup> В этом примере и в двух следующих далее два бессоюзных предложения условия.

*стану* молод, другим утрусь, *стану* старым стариком (Ром. 4, № 61 в. Могилевск. г., Рогачевск. у.); «Коли скáжаш, дык ня зъем табе, а не скажешъ изъем» (Шейн, № 8. Минск. г. и у.)<sup>24</sup>; «А ці бўдзеш менé слухаць да гаспáдарку даглядáць?» — «Хацú — бўду, хачú — ніё», — атка́зывае яна да крúціць зáдам (Серж., № 13)<sup>25</sup>; Захвары́ёе хто, *бегіць* к ведзымáру, каб ён нашаптаў ці даў якóго зелья (Серж., № 52); Якобé туболькі плáгі немá на людзéй! От так бедá на бедзíё фéдзе да ешчé бедбю паганяé. Пастаіш — *бедá* нагоніць; пабежыш — *на бедú* налеціш (Серж., Слуцк., № 69)<sup>26</sup>.

Здесь же отметим редчайший случай постановки обусловливающей части в постпозиции к обусловленной (обусловливающей часть выделяем курсивом): Ладзька кажець: а што будзець, — я табе ўсё войсько подыму? (Ром. 3, миф. № 40. Могилевск. г., Сенненск. у.).

При повелительном наклонении глагола в обусловливающей части стоит будущее время глагола в обусловленной части, редко — настоящее время глагола: «Добра, я умею вучиць, давай яго мне, — я навучу» (Шейн, № 27. Минск.); Гесці хóчэтца, а палажý ў рот — *душá* не прымáе (Серж., Мозыр., № 51).

Как и в рассмотренных выше предложениях времени, в предложениях условия находим во второй части *дык* (*да*, *так*), *тады* (*тады*), *то*, встретился и союз *и*.

Нам уже приходилось отмечать эти соотносительные слова в белорусском фольклоре, причем мы сделали вывод, что по частоте употребления на первом месте стоит *то*, а затем *дык*, что союз *и* не только скрепляет части предложения, но и способствует подчеркиванию, выделению в речи слова, при котором он находится<sup>27</sup>.

Материал сказок, как нам кажется, подтверждает данный вывод. Больше всего примеров с указанными соотносительными словами при употреблении в обусловливающей части форм повелительного наклонения.

Приведем ряд случаев как с этими формами, так и с формами изъявительного наклонения и с инфинитивом в обусловливающей части: 1) *то*: Кáжуць-жэ: зачыні чорту дзвéры, *та* юон в акнó (Серж., Слуцк., № 55); А вéдамо, любі жўёнку шчýро, *та* ена ѹ на кáрак сáдзе (Серж., Мозыр., № 57); Е хлéб, *та* іесь, а не мáшака, *та* ѹ так аббóйдзецца (Серж., № 12)<sup>28</sup>; А яна кáжэ: — дай мнé сáмае гóжке плáцыце да чаравíкі, *та* пайдў (Серж., № 15); Не дáрам ліодзí кáжуць — састуці п্যáнаму з дарóгі, *та* бўдзé вéкую прыбáвіць (Серж., № 38); Не сказáць бáбе, *та* не бўдзé

<sup>24</sup> В примере придаточное предложение условия с *калі* и бессоюзное предложение условия.

<sup>25</sup> Два бессоюзных предложения условия.

<sup>26</sup> Два бессоюзных предложения условия.

<sup>27</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис . . . , с. 99—100.

<sup>28</sup> Два бессоюзных предложения с *то*.

жыткі, бо яна пачнё піліць да ёссыці, бы йржá жалéзо (Сержп., № 57); «Давáй гары́элку, *та скажу*» (Сержп., № 77); «Ідзі ка мнé служкыць», — кáжэ сівенькій дзедбк, — «*та* мнўдго наву́чышса» (Сержп., № 79); «А чалавéка табіе немá чагбó байца, — не рабі ямú шкóбы, *та* ён цебé не зачы́піць» (Сержп., № 90); 2) *дык* (*да*): «Добро, кажець солдат: дай сто рублей, *дык* я буду смолиць!» (Ром. 3, быт. № 22. Могилевск. г., Сенненск. у.); «Прыняси живой и мертвай воды, *да*к пушу» (Шейн, № 46); «Али ты слухай мяне, *дык* цел останешся» (Шейн, № 53. Минск. г., Борисовск. у.); От так прилажы вýхо к травé, *да*к і чувáць, як ена расцé (Сержп., Слуцк., № 58); Люbi, *да*к усе адалéеш (Сержп., № 76); «Дасі тры квáрты, *да*к усе скажу, як мае быць» (Сержп., № 77); «Не хóчэце съвінéй гадавáць да кармíць, *да*к не чакáйце ў спажкыць» (Сержп., № 97); 3) *тады* (*тагды*): Сокол кажедзь: «Ну, цар корми мене год, *тагды* я табе услужу» (Шейн, № 18. Могил. г., Горецк. у.); «Прынясіця мне тры воды: гþющаю, мертвую и жывущаю, *тагды* отпушу», — говора Знайдзён (Шейн, № 23. Минск. г., Игуменск. у.); 4) *и*: «Чаму́-б табіе не вучыць людэй, каб яны ўсё роўно былі шчаслівые. Зрабі гэ *и* ты будзеш самым слáўным чалавéкам на ўсём свéце» (Сержп., № 65).

Е. Ф. Карский относительно бессоюзных предложений с условным (сослагательным) наклонением отмечает, что они «иногда встречаются и в живой речи: не было б пастуха, ваўкі зъели бы карбў»<sup>29</sup>.

Здесь ирреально-условное бессоюзное предложение, которое в древнерусских памятниках почти не представлено<sup>30</sup>.

В следующем примере из сказок мы тоже видим ирреально-условное бессоюзное предложение, хотя здесь ирреально-условное значение недостаточно отчетливо, поскольку есть и значение желательности действия, которое пока не осуществлено: От наняліса-б жаць, *да*к і ёлі-б хлеб (Сержп., № 32).

Бессоюзные уступительные предложения и я составляли в старобелорусских памятниках редкое исключение. Е. Ф. Карский приводит только один пример (с а во второй, независимой части)<sup>31</sup>, тот же пример, со ссылкой на труд Е. Ф. Карского, и в работах А. П. Груцо<sup>32</sup>.

У Е. Ф. Карского дан и пример из белорусской сказки без сочинительного союза во второй части<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> Карский Е. Ф. Белорусы. Язык белорусского народа. Вып. 2. Исторический очерк словообразования и словоизменения в белорусском языке. Вып. 3. Очерки синтаксиса белорусского языка. М., 1956, с. 496.

<sup>30</sup> Лавров Б. А. Условные и уступительные предложения в русском языке.— М.—Л., 1941, с. 94.

<sup>31</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 497.

<sup>32</sup> Груца А. П. Складназалежныя сказы з даданымі ўступальнымі. — Весці Акадэміі наук БССР. Серыя грамадскіх науку, 1966, № 1, с. 112; см. также: Груца А. П. Развіццё складназалежнага сказа ў беларускай мове, с. 144.

<sup>33</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 459.

У А. П. Грудо один пример из диалектных записей последнего времени (с *a* во второй части) <sup>34</sup>.

К примеру, приведенному Е. Ф. Карским, можем присоединить лишь три примера, причем только в третьем из них нет сочинительного союза *a*: Ночу целу пилновали, *a* некто стох украв (Ром. 6, № 31(32). Могилевск. г., Оршанс. у.): Саўсім састарыёуса бацько, *a* ены ёго слухаюць, шануюць (Сержп. Слудц., № 8): Перапарблі яні нёмаль увесь лес — *nemá* разбуйнікаў, бацца яні ў землю праваліса, ці схаваліса ў воду (Сержп., № 64).

«Граматыка беларускай мовы» (т. 2. Сінтаксіс, с. 704—705) приводит случаи употребления бессоюзных уступительных предложений в художественных произведениях (все случаи без сочинительного союза во второй части), но не указывает, в какой степени распространены эти предложения по сравнению со сложноподчиненными уступительными предложениями.

Бессоюзные сложные предложения, в которых вторая часть указывает на обоснование, motivo ировку, причину того, о чем говорится в первой части, а также предложения, в которых вторая часть поясняет, раскрывает содержание первой части, были известны как древнерусским, так и старорусским, старобелорусским и староукраинским памятникам.

Уже в древнерусских памятниках данные предложения отличались ясностью, четкостью смысловых связей между частями предложения.

Закрепленное за зависимой частью предложения причиной и пояснения второе место в сложном предложении способствовало определению смысловой связи.

Особенное значение этот порядок имел в предложениях причины, где изменение его привело бы не к смысловой связи как результата — причины, а к обратной: причина — результат.

Указанные предложения стали достоянием как литературных языков восточных славян, так и диалектной речи.

В сказках, рассказываемых тем или иным сказочником, их много, так как в устной речи смысловая связь получала подкрепление в интонации, и с большим основанием можно было пользоваться менее сложной (без союзов) синтаксической конструкцией.

Преобладают предложения причины, хотя, в отличие от предложений пояснения, имеют конкурирующие с ними сложноподчиненные предложения, в которых зависимая часть может стоять не только на втором месте, но в ряде случаев и на первом.

Бессоюзных сложных предложений причины в сказках в полтора раза больше, чем предложений пояснения.

Приведем ряд примеров с бессоюзными сложными предложениями причины: От, Господь говбрыць: «А што? Я казав — п'янаого обыйци треба: п'яный чаловек хуже дурного собаки!» (Ром. 4, № 7.

<sup>34</sup> Груца А. П. Складназалежныя сказы з даданымі ўступальнімі, с. 112.

Могилевск. г. и у.); И кричала усим голосом громко: утякай, стариц, хутчай — гадюка ў хати (Ром. 6, № 44 (46). Могилевск. г., Гомельск. у.); Бацюшка дужа рад быв етому делу — яму пастух нужин быв (Ром. 6, № 54. Могилевск. г., Мстиславск. у.); «А чом нильга? Принясить тольки богаты межу да мъяса, а сами сковайтесь: ён вельми сильни» (Шейн, № 2. Могил. г., Гомельск. у.); Ледви знашли Климко: пъяны спаў (Шейн, № 57. Витебск. г., Полоцк. у.); «У нуочы еще ліепш іці: не так горачо» (Сержп. Мозыр., № 11); И чым дা�лей, тым гарыэй: нема спасобу, нема ратунку ат ліхбого Змія (Сержп. Слуцк., № 71); А шкода, што не стральнү́, — добрая-б была шкúра (Сержп., № 21); «Razstupisa syräja ziemllica, razstupisa — brat siestrù za žuonku uzziāu!» (Федер., № 75. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Видо-временные соотношения форм сказуемого в обеих частях предложений причины так многообразны, что не представляется целесообразным устанавливать какие-либо соответствия. Не эти соответствия, а смысловая связь, порядок частей позволяют отнести то или иное предложение к предложениям со значением причины во второй части.

Особенно заметна смысловая связь, необходимым представляется наличие второй части в тех случаях, когда в первой части предложения отрицается возможность, желательность того или иного действия.

Отрижение результата в наибольшей степени требует указания во второй части предложения на причину: Ведзьма ничего не кажець — спиць (Ром. 3, миф. № 40. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ну так жа позычив человек у чортá гроший, и нияк ён ня можа з яго зыскаць: бедный дужо человек быв (Ром. 4, № 40. Могилевск. г., Горецк. у.); «Ты у яго не служи, — ён бедный, у яго есць нечаго» (Ром. 4, 41в. Могилевск. г., Горецк. у.); «Не, ня буду я жанитча — у мяне нема шубы!» (Ром. 4, № 49. Витебская г., Велижск. у.); Ня треба мне и гроши ваши — у мяне своё есць (Ром. 6, № 3. Могилевск. г., Гомельск. у.); Была баба тыкá злая, што работник у ней не як не живець: ина яго усё побьець (Шейн, № 64. Витебск. г. и у.); «Не души», — кажэ пугач, — «я табіе памагу ў велікай прыгядзе» (Сержп. Слуцк., № 5); Так нічога ѹ не парадзілі дзеды: не слухаюць іх да ѹ тудлько (Сержп. Мозыр., № 46); Нагараваўса Каваль з тобю ліхбю бабаю, да нічога не парадзіць, — не кабыла, не прamenяе (Сержп. Мозыр., № 57); От біегаў, біегаў чорт за Ціхонам мо куолькі гадую́, ужэ забіегаўса бы хорт, а нічога не мажэ парадзіць, — маўчицу Ціхон да жывé, як буйг веліць (Сержп., № 68).

Отметим редчайший случай, когда зависимая в смысловом отношении часть находится в интерпозиции: А сам тоды царь тэй — нема живописа, нема дочки — помёр и сам (Ром. 4, № 39. Могилевск. г., Горецк. у.).

Видо-временные соотношения форм сказуемого в обеих частях предложений многообразны и в предложениях пояснения. Однако

можно отметить господствующие соотношения: 1) глагол в форме прошедшего времени в обеих частях предложения; 2) глагол в форме настоящего времени тоже в обеих частях предложения.

2/3 примеров приходится на эти соотношения, причем первых в два раза больше, чем вторых.

Части бессоюзного сложного предложения пояснения бывают не только простыми предложениями, но и сложными (одна первая или вторая часть, обе части).

Приведем ряд примеров с различными типами предложений пояснения: Потом, видзиць ён ето самое дзэло, статью: *прилетаюць* четыре голубки, скинулись дзявицыми, натопили ему лазыню (Ром. 6, № 14. Могилевск. г., Мстиславск. у.); Тогда яны придумали другую штуку, штош угадаць злодзия: *пусьциць* козла и хто гэтого козла украдзе, той злодзий (Шейн, № 96. Минск. г., Слуцк. у.); «*Праўда*», — кáа смерць, — «*пъянство* вéрно мñе слúжыць: *енó рóbіць бúольш*, чым усé хварóбы ráзам (Сержп. Слуцк., № 4); Зажыў з тых часau той чалавéк, як у Бúога за пáзухаю: *усегб* ему давблí, усé его шанцúюць (Сержп., Слуцк., № 14); Дауніeй быў вéльмі дóбры адзín гúод: *харóшая* осень, рúбounая зіmá, а веснá цюоплая, пагуодная (Сержп. Мозыр., № 17); От пан цíхенько й паменіў гéтыx дзецéй: *сабіe* ўзýu кавальчукá, а кавалю атдáу свайгó хлапчука (Сержп., Слуцк., № 59); Жыў юон як усé любдзi: *гаравáй*, працаváй, а достаткаu не маў (Сержп. Мозыр., № 74); Янá думала, што матка не вóраг ля свайгó дзіцáтка, да й апукáласа: *тáя* сказáла бацьку (Сержп., № 9); Як зъменяеца раслíна, так зъменяюца й людзi: *рðзязица*, жывúць, клапóцяць, пóтым памíráюць (Сержп., № 73); Жыvé там купéцкая дачká ў раскóшы: *пíць*, ёссыці ўсегб мнúого, чаго тúолькі душá хóчэ (Сержп., № 76); У ягб былá малáя гаспадárка: *старéнькая* хáтка да аднá карúdóuka да й тáя безхвóстая (Сержп., № 86).

В примерах вторая часть предложения поясняет, раскрывает, конкретизирует содержание первой части (отдельного слова или словосочетания), однако в одних случаях необходимость такого разъяснения требуется больше, в других — меньше.

Когда лексическое значение поясняемого слова вполне конкретно, первая часть и без поясняющей части не представляется неполной.

Если поясняемое слово местоимение или образованное от него наречие, только наличие второй части устраивает смысловую неясность первой части: Усё пропало: *хлопчик* обярнуўся ў камень, золото зробилося пеплом (Шейн, № 69. Гродненск. г. и у.); Алé пад стáрась пачалó ўсе балéець: *кбсцi* трэ, спíну лóміць, ногi i рúкі млéюць, кáшэль дúшыць, вóчы не баčаць, вúпы не чýюць, а на языку смáку немá (Сержп. Мозыр. № 51); Той чалавéк так і зрабіў, *пракалбóу* наjкóм шкúру на сваёй руцé да кроўю намáзаў сваю мéтку (Сержп., № 65).

Хотя в последнем примере значение *так* в известной степени определено предыдущим текстом, но полностью оно выясняется лишь благодаря второй части данного предложения, которая устанавливает, есть ли абсолютно точное совпадение сказанного раньше с тем, о чем говорится дальше.

Основная характерная особенность бессоюзного сложного предложения следствия, как и соответствующего сложноподчиненного предложения, — постпозиция части, указывающей на следствие, результат действия, о котором говорится в первой части.

Смысловые связи обеих частей бессоюзного сложного предложения следствия (действие — результат) весьма отчетливы.

Е. Ф. Карский отметил бессоюзные предложения без союзов сочинительного предложения *и*, *а*, а также с союзами *и*, *а* как в старобелорусских памятниках, так и в диалектной речи<sup>35</sup>.

А. П. Груцо в статье «Складназалежны сказ з даданым выніковым»<sup>36</sup> утверждает, что в современном белорусском языке бессоюзные сложные предложения следствия сравнительно немногочисленны, а в старобелорусской письменности они отмечаются спорадически.

В свое время мы согласились с этим выводом<sup>37</sup>.

Однако в отношении сказок следует сказать, что в них, особенно в мифических, эти предложения не составляют исключения. В мифических сказках результат оказывается невероятным, неожиданным, сказочным.

Приведем ряд примеров из разных сказок: Махнули хусткой — *став мост* (Ром. 3, миф. № 3. Могилевск. г., Сенненск. у.); Яна кинула назад гребенку — *стала гора земляная: ни перайти, ни пераехаць и птице не пераляতеть* (Ром. 3, миф. № 7а. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Помазав тоды вовк живучей водой — *Іван Златовус и ожжив* (Ром. 3, миф. № 8. Могилевск. г., Сенненск. у.); Утчиніў дурань дэвери — *выскучив* кунь (Ром. 3, миф. № 12. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Просиць коня — *ніхто не даёць* (Ром. 3, быт. № 20б. Могилевск. г., Быховск. у.); Узяв ён кольцо, надзвез на палец да здзев — *тріста дукатов* посыпалось (Ром. 3, миф. № 25. Могилевск. г., Сенненск. у.); Яна улила воды у водно вушко — *побегла* вода, улила у другое — *побегла* крупа (Ром. 3, миф. № 92. Могилевск. г., Сенненск. у.)<sup>38</sup>; Ён дуба колотнув, дуб разъбився (Ром. 6, № 25 (26). Могилевск. г., Рогачевск. у.); Ён яе покачав — *лупнула* жана купечацкая, стала лядети (Ром. 6, № 6. Могилевск. г., Гомельск. у.); Ён мэзинным пальцом стукнув у дно — *тое* дно выскочило (Ром. 6,

<sup>35</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 459, 467.

<sup>36</sup> Груца А. П. Складназалежны сказ з даданым выніковым. — Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх наукаў, 1965, № 3, с. 99; см. также: *Он же. Развіццё складназалежнага сказа ў беларускай мове*, с. 208—209.

<sup>37</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис..., с. 64.

<sup>38</sup> Два бессоюзных предложения следствия.

№ 19 (21). Могилевск. г., Чериковск. у.); Ён крикнув на часовых — часовыя прискоіли (Ром. 6, № 43 (45). Могилевск. г., Чаусск. у.); Дзед заснуў, а баба встала и стросяціла яблыню — все яблыки и посыпалися (Шейн, № 41. Гродненск. г., Слонимск. у.); Абецдá юён велікі гасцінец таму, хто пойдзе к пану. Перабрá ўсé селó — нема ахвадніка (Сержп. Слуцк., № 47); Пóсле царá асталáса царыца. Алé, вёдамо, ба́ба — *nіхтоб* ей не слúхае (Сержп. Слуцк., № 67).

Результат может быть особенно подчеркнут в речи постановкой союза *и* или частицы *от* в сочетании с *и* перед второй частью предложения: 1) Ён тоды дмухнув ноздрами — *и* гора разступилася (Ром. 3, миф. № 4. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ён махнув — *и* стали логи да болоты, и лес яловый, такой гусценный, што и вуж не проповзе (Ром. 3, миф. № 21б. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Иван Попелыш ўзяв гэту чару, лизнув, мазнув *и* — чара сухая покатилась к порогу (Шейн, № 30. Могилевск. г., Рогачевск. у.); А царыца *ні* на чого не ўважае, абы тóлькі ёй аби́яць таго гóжаго хлóпца. От велёла янá, *й* прывелі яго к ёй (Сержп., № 86); 2) Пабéгла вадá ў ямы, *от* *i* зрабіліса там выжары, пе́лі да такáя тхлáня, што *й* не пралéзьці (Сержп., № 10); Пагаманіў ён гэ ў ваднúом мéйсцы, *от* *i* схамену́ліса любдзі да *й* началі варушы́цца (Сержп., № 30); Дбóго ўшлі янá, *от* *i* захацфеласо ім фесці (Сержп., № 52).

В первой и во второй части бессоюзного предложения следствия, как правило, глагол-сказуемое имеет форму прошедшего времени.

Бессоюзное сложное предложение, вторая часть которого указывает цель действия, не закрепилось в восточнославянских языках.

На бессоюзное сложное предложение цели Е. Ф. Карский приводит из старобелорусских памятников только один бесспорный пример<sup>39</sup>, однако, говоря о заключительном сочетании предложений, указывает, что в некоторых из них (в одном примере из диалектной речи и в семи из старобелорусских памятников) помимо обозначения вывода, следствия из предыдущего имеется еще оттенок цели. «Иногда предложение, присоединяемое при посредстве *и*, имеет даже оттенок цели: седаиць на дзереве и *нихай* яго никто не забачиу» (Шейн, Мат. II, № 22 Бобр.)<sup>40</sup>.

К примерам, приведенным Е. Ф. Карским, можем присоединить пример из Баркулабовской летописи и пример из мифической сказки, в которой в двух случаях ясно выражена цель: 1) За тым реченье мовены были, *не быти* им послушным, от духовных (л. 149)<sup>41</sup>; 2) Малаго брата жонка и кажець: стой, мам, не пе-

<sup>39</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 459.

<sup>40</sup> Там же, с. 467.

<sup>41</sup> ПСРЛ, т. 32. Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. М., 1975, с. 180.

чалься: мы и яго спрячем: будуць ехаць по дорози, дак я скинуся крыницаю, што будзець вода, дак аж кипець, холбдана; и ли тыя крынички будзець комягас্তа — *коня* попоиць, и черпаха лежаць — *воды* налиць: конь напъетца и самим напитца и поехаць (Ром. 3, миф. № 16. Могилевск. г., Климовичск. у.).

В труде Е. Ф. Карского «Белорусы» имеется много показательных примеров на бессоюзные дополнительные предложения из старобелорусских памятников, а также из фольклора (за исключением одного примера, остальные из сказок)<sup>42</sup>.

Приводились и нами примеры из старобелорусских памятников, кроме того, — из живой диалектной речи<sup>43</sup>.

Характерным признаком бессоюзных дополнительных предложений является наличие в первой их части переходных глаголов (и отглагольных форм) восприятия, мыслительной деятельности, волевого или эмоционального состояния, говорения, сообщения, вводящих вторую — дополнительную часть.

Так как включение подчинительного союза в какой-то степени мешает сжатости, лаконичности изложения, устраниет логическое ударение на глаголе, который вводит дополняющую часть предложения и стоит непосредственно перед нею, ослабляет переходность этого глагола, сказочник предпочитает употреблять бессоюзное, а не союзное сложное предложение.

Благодаря отсутствию союза возникает пауза ожидания после глагола, глагол выделен в речи, подчеркнута его переходность.

Поэтому использование бессоюзия, безусловно, художественный прием.

Приведем ряд примеров из огромного числа встретившихся нам в сказках: Трошкі пруйшли, бачуць — *стоиць* дум (дом) (Ром. 3, миф. № 12. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Тоды чуець — *идзець* некто (Ром. 4, № 57. Могилевск. г., Сенненск. у.); И чая ён — *на крыши* веробьи спороваць (Ром. 4, № 64. Могилевск. г., Чериковск. у.); Едзе фурман с паняю, угледзеў: *ляжыць* на дорози новый бот (Шейн, № 57. Витебск. г., Полоцк. у.); Аж чуиць — *яблыками* запахнуло (Шейн, № 78. Минск. г., Борисовск. у.); Идуць яны и бачаць — *стоиць* двор (Шейн, № 118. Минск. г. и у.); «Бáчу — *níšé* велікае да й закрúціць» (Сержп. Мозыр., № 45); Тўолькі я чýю — *лешчудткі* ў менé сámí вýсунуліся з тóрбы да грук да дóлу (Сержп. Слуцк., № 49); Ідзé ён да йдзе, аж бáчыць, *калá дарбógi* стаіць карчомка (Сержп., № 50); Дак кáжуць — *там* жыў той Рымша (Сержп. Слуцк., № 55); Ідзé ён да й йдзе, аж бáчыць, *vísicu* на плóце калé растáнцоў бéлая бы снéг мушчынская сарóчка (Сержп., № 6).

Глагол, вводящий вторую часть, как правило, стоит непосредственно перед этой частью.

<sup>42</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 459—460.

<sup>43</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис. . . , с. 112—116.

Исключения крайне редки: И виджу я — *твой* оцец и мой оцец возюць смолу (Ром. 3, быт. № 20а. Могилевск. г., Быховск. у.), Видзюць яны — *у сялу* гориць цяпло (Ром. 3, миф. № 83. Могилевск. г., Сенненск. у.); Видить ён — *стоить* будка, а ў тэй будци быў заперт мядведь (Шейн, № 55. Могилевск. г., Горецк. у.).

В следующем примере опущен переходный глагол восприятия, восстанавливаемый по смыслу: Идуць яны коло господского дома, *строюць* плотьники комнаты помещику (Ром. 6, № 32 (33). Могилевск. г., Чериповск. у.).

Самая яркая, самая характерная для сказок синтаксическая конструкция — это, несомненно, бессоюзное сложное предложение без относительного местоимения, но с выраженным значением определения в зависимой (с точки зрения смысловой, а не формальной) части.

Эти бессоюзные сложные предложения представлены в древнерусских памятниках, затем в старорусских, старобелорусских и староукраинских произведениях. Они сохранились в современных народных говорах всех восточнославянских языков, встречаются в разговорной литературной речи, но вышли из употребления в письменных литературных языках.

В работе Е. Ф. Карского приведен ряд примеров из старобелорусских памятников, а также из белорусских сказок<sup>44</sup>.

Нами также отмечены случаи употребления бессоюзных сложных предложений в старобелорусских памятниках и в живой диалектной белорусской речи<sup>45</sup>.

В сказках встретились все три типа бессоюзных предложений по классификации А. А. Потебни<sup>46</sup>: 1) без повторения имени и без местоимения на месте имени; 2) с повторением имени; 3) с местоимением на месте имени.

Сказочник прибегает к этим предложениям при описании людей, предметов, характерных для них признаков.

Реже других находим предложения первой группы, в которых «дополнение или подлежащее главного предложения указывает на подлежащее или дополнение придаточного паратактичного, в коем нет не только относительного, но и указательного местоимения»<sup>47</sup>.

Приведем несколько примеров<sup>48</sup>: «Што от етаго от городу на сто дватцать верст попасу нема нийкого ни конём, ни сабе; дак я скинуся лугом привукрасным, *трава будзець ядомая*, и две вербы будзець при дорозі» (Ром. 3, миф. № 16. Могилевск. г., Климовичск. у.); Жив сабе едзин чаловек богатый, *Якубом звали*.

<sup>44</sup> Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 460.

<sup>45</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис..., с. 134—141.

<sup>46</sup> Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. III. М., 1968, с. 251—258.

<sup>47</sup> Там же, с. 251—252.

<sup>48</sup> Определяющая часть напечатана курсивом.

И была у яго жонка, и дочка, и сынок (Ром. 4, доп., № 20. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ну, спрашую у яго Господзь: «кого ты видзеў?» — А так и так, Господзи: видев дзевку, воду́ с одного колодзежа у другий пераливая, да старииков — тын подпираюць (Ром. 4, № 26. Могилевск. г., Рогачевск. у.)<sup>49</sup>; Отпрог коний, спутав, ёсё як треба, и пошов у хату, — *так побочь дороги стояла* (Ром. 4, доп., № 41. Могилевск. г., Гомельск. у.); Тогда ён пошов на базар и ўбачив, што цар Кирбит водя Булата доброго молодца, ў зялезні окован увесь, и продае яго (Ром. 6, № 2. Могилевск. г.); Посмотряць, што комната для их хороша, выбрав ён (Ром. 4, № 44б. Могилевск. г., Горецк. у.)<sup>50</sup>; А вот тольки ёсть будочка, дрениным лычком завязана, дак у тую будочку не гляди (Ром. 6, № 12. Могилевск. г., Чериковск. у.); «Вот жа, кaeць, — коли ты хочеш знаць, дзе моя душа — и ён гэто чуець, Ликсандра Давидонович: ёсь на моры, говориць, белый камянь, ляжицъ сярод мора на вýсьпi» (Ром. 6, № 13. Могилевск. г., Сенненск. у.); А потым, говóрать, ё у нас старая мядведица, *сем лет на 'дном боку ляжыть*, тая можа ти ня знаа, туу спросить! (Ром. 6, № 24 (25). Могилевск. г., Рогачевск. у.); Показала ямú так хизобку маленькую, — *лычком завязана, ступой закáчана* (Ром. 6, № 26 (27). Могилевск. г., Сенненск. у.); Ну, доклали до царя: ёсь у царьства такий стариик, *тритцаць три сыны с половиной* (Ром. 6, № 30 (31). Могилевск. г., Чаусск. у.); У мяне ёсь сандук зялезній, трыста пудов, *у моры ляжыцъ* (Ром. 6, № 31 (32). Могилевск. г., Оршанск. у.); Ну, и видиць, што падаюць две дудучки перяд им, *незвестно ким зброшено их* (Ром. 6, № 54. Могилевск. г., Мстиславск. у.)<sup>51</sup>; Ўходзиць ён ў другий покой и спотыкае там двух паненок, *сидяць и шиюць* (Шейн, № 53. Минск. г., Борисовск. у.); Ракá глыбокая й широкая — *немá як перайci*, а тут ешчэ калé бéraга высóкая гарá стаіць, а на туды гары — тры дубы таўшчóразные як пfech (Сержп. Слуцк., № 5); А сенажáці муруðжные да берагí, — *сёна нiёкуды дзевáць* (Сержп., № 22); Так kàzä da chfurmánà: «Zmiliusie, pabiežy pa taju ksiònczku, ja tam zabýusie na stôliku, a ja tut pastajù (Федер., № 317. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Второй тип бессоюзных сложных определительных предложений, характерной чертой которого является повторение в определяющей части имени существительного (с указательным местоимением или без него; вторые случаи составляют в сказках исключение), встречается чаще, чем первый тип. В старобелорусских же памятниках, как нами уже отмечалось, предложения, относящиеся ко второму типу, представлены небольшим числом примеров<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Пример отмечен Е. Ф. Карским (*Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 460*).

<sup>50</sup> Зависимая часть со значением: которую выбрал.

<sup>51</sup> Пример отмечен Е. Ф. Карским (*Карский Е. Ф. Белорусы, 1956, с. 460*).

<sup>52</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис. . ., с. 136—137.

Определяющая часть присоединяется к определяемой при помощи союза *а*. Примеры с *и* и примеры без союза встречаются реже.

В следующих примерах определяющая часть имеет союз *а*: «Ёсь там на левой дорози гора, а ў тэй горе стоиць быгатырьская лошадзь тритцыць три леты» (Ром. 3, миф. № 14. Могилевск. г., Сенненск. у.); Як то была нейдзи силная гора, а ў тэй горе жив ұмок (Ром. 3, миф. № 32. Могилевск. г., г. Сенно); Пришли мы к саду, а у том саду косьцёл (Ром. 4, № 21. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ехыли, ехыли, приежжаюць ік светлый криница, а на тэй криница зылотэй кубычык (Ром. 4, № 83. Могилевск. г., Сенненск. у.); Нипадалéчу стайць дуб, а ў тым дубу дуплë; ён ўзяў и ў тым дуплі стаў, и схаваўся, царь Гвидон Саміхлёнавич (Ром. 6, № 17а. Витебск. г., Городокск. у.); Стоиць хатка на куриной нозцы; а ў тэй хатцы Баба-Іга косьциная нога (Ром. 6, № 41 (43). Могилевск. г., Климовическ. у.); Видить ён — стоить будка, а ў тэй будци быў заперт мядведь (Шейн, № 55. Могилевск. г., Горецк. у.); Однож там стоиць медный палац, а ў гэтум палацы жила панна (Шейн, № 60. Минск. г., Новогрудск. у.); «Я нашоў ў лесі одну глыбокую яму, а ў той ямы на дне вельми много золота и дорогих речоў» (Шейн, № 63. Минск. г., Новогрудск. у.); Тогда Цар-дзевица говорыць цару: «коли ты достанеш з моры шкатулки, а ў тэй шкатулцы мой персыченъ, то выду за цябе замуж» (Шейн, № 134. Минск. г., Слуцк. у.); Жиў сабе неколи на свеця пан, а ў пана того быў náробок по имени Климко (Шейн, № 138. Минск. г. и у.); Iszuđoū adzin czäławièk, ažno spatykàja czòrta, a tðj czort nios mieszðk zðłatv (Федер., № 273. Гродненск. г., Волковыск. у.); Iszuđoū sabiè czäławièk kräz rùszezu, a u tuðj puszczy nièszzoś usið straszyło (Федер., № 287. Гродненск. г., Волковыск. у.).

В сходных по содержанию текстах находим союз *и*: Орав на поли мужик волом, и вол гэтый быв дужа тупый (Ром. 3, жив. № 18а, Могилевск. г., Сенненск. у.); «Каб я знала, куды ён пойдзець, али куды поедзець, обернулася б я зялёным лугом, и на тым ба лугу стояла кроваць» (Ром. 3, миф. № 15. Могилевск. г., Сенненск. у.); Ишли дорогой по лясу. Тут коло дороги высичано лядо, и на том ляди посеяно репы (Ром. 3, быт. № 14. Могилевск. г., Рогачевск. у.); И стоиць бел шатёр, и ў етым шатры ляжіць Слон Иванович (Ром. 6, № 29 (30). Витебск. г., Городокск. у.); Ишли, ишли, ишли, ишли — потходзюць, стоиць дуб огромаднейший, и под тым дубом пошла нора, так, як колодзязь, усё равно (Ром. 6, № 37 (39). Могилевск. г., Чериковск. у.); Там выросла яблоня и на той яблони — яблочки золотые (Шейн, № 47. Гродненск. г., Волковыск. у.).

При отсутствии союза связь между определяющей и определяемой частью не была столь заметной, как при наличии союза.

Возможно, сказочник делал более отчётливой паузу перед определяющей частью, или записывающему эта пауза казалась такой, какой она бывает в конце предложения.

Во всяком случае примеров с запятой перед определяющей частью почти в три раза меньше, чем примеров с точкой и точкой с запятой.

Приведем несколько примеров без союза: Тоды змей говбриць матцы: «далеча отсюль ёсь гора, у тэй горы ямина, у ямини ключ» (Ром. 3, миф. № 1. Могилевск. г., Сенненск. у.); Зайшов у больши лес, по стежцы пришов на большую полянку. *На той полянцы стоить хатка, маленькая* (Ром. 3, миф. № 86. Могилевск. г., Рогачевск. у.); Увышли яны ў хатку, *у той хатцы попранишныя лавки и полицы, а ходяина яма* (Ром. 3, быт. № 3. Могилевск. г., Гомельск. г.); И нашов у леси, стоиць хатка. *У етои хатцы спасалися три пустельники* (Ром. 6, № 32 (33). Могилевск. г., Чериковск. у.); «Есь у мяне сад больши, *у садзи дзве криницы: одна криница вода живущая, а другая гоющая*» (Ром. 6, № 42 (44). Могилевск. г., Сенненск. у.); Потом увышли у горыд; *етый горыд завалин камними* (Ром. 6, № 51 (52). Могилевск. г., Климовичск. у.); Подзякаваў яму Климко и пошоў до дому, а на проциў яму идзе кобыла коросливая и с жарабям, *у этого жаребяци быу звончак на шии* (Шейн, № 138. Минск. г. и у.).

Как нами отмечено выше, примеры без указательного местоимения, подчеркивающего связь определяющей части с определяемой, составляют исключения. Среди них случаи как с союзом, так и без союза. Приведем несколько примеров: «Каб я знала, куды ён пойдзець, али поедзець — обярулася б я зялёным садом, *у садзи была б яблыня з золотыми яблыками*» (Ром. 3, миф. № 15. Могилевск. г., Сенненск. у.); Вот идзéць меньший брат, и видзиць — стоиць душ, *а на дубу гняздзечко* (Ром. 3, миф. № 41. Могилевск. г., Сенненск. у.); Пряляжжают яны у повдни ў город, *стоить город за калиновым мостом* (Ром. 6, № 36 (37). Могилевск. г., Рогачевск. у.); «Есть у моры скрыня, *а ў скрыни заяц, а ў зайцу вутка, а в вутцы яйцо*» (Ром. 6, № 36б (38). Могилевск. г., Быховск. у.)<sup>53</sup>; Тут нядалёко быў двор, *а ў дворэ собаки* (Шейн, № 74. Минск. г., Игуменск. у.).

Если в первом типе предложений нет никаких указаний на связь определяющей части с определяемой, кроме ясно выраженного смыслового единства, а во втором типе эти указания даже избыточны, поскольку повторяемое существительное обычно имеет при себе еще и указательное местоимение, то в третьем типе зависимость определяющей части от определяемой выражена употреблением местоимения *ён*, отсылающего к существительному определяемой части.

<sup>53</sup> В примере три определяющих части: *а ў скрыни заяц; а ў зайцу вутка; а в вутцы яйцо.*

В предложениях третьего типа более заметна зависимость определяющей части от определяемой, чем в предложениях первых двух типов, и части предложения в предложениях этого типа более тесно соединены в единое целое.

А. А. Потебня полагает, что третий тип восходит в глубокую древность, но все же он новее второго и третьего типов<sup>54</sup>.

Как нами уже отмечалось, и для старобелорусских памятников, и для белорусской диалектной речи характерно стремление к устраниению повторяющегося имени существительного, к постановке одного местоимения<sup>55</sup>.

Определяющая часть в сказках присоединяется к определяемой при помощи союзов *а*, *и* и без союза.

По степени употребительности идут примеры с союзом *и* и без союза, а не с союзом *а*.

Однако господство этих случаев объясняется тем, что в стереотипном начале сказок, для которого характерны предложения с *жыў*, *быў*, *жыў быў* (это сочетание встречается редко), сказочник предпочитает присоединять определяющую часть при помощи союза *и* или без союза.

В дальнейшем изложении преобладают предложения с *а*.

Приведем несколько предложений, начинающих сказку:

а) с союзом *а*: *Жив сабе купец, а былó ў яго два сыновья: больший Иван купецкий сын, меньший Микита Игравич купецкий сын* (Ром. 6, № 42 (44). Могилевск. г., Сенненск. у.); *Быу сабе коваль, а у яго были тры сыні, одзін — шавец, другі — кравец, а треці — коваль* (Шейн, № 71. Минск. г., Игуменск. у.); *Жиў сабе поп, а у яго ни один работник ни вýбудить года* (Шейн, № 137. Могилевск. г., Горецк. у.);

б) с союзом *и*: *Жив сабе Пётра, и ён занимався хлебопёком* (Ром. 4, № 29. Могилевск. г., Чаусск. у.); *Была сабе одна ліска (лисица) и яна была надто пуглива* (Шейн, № 5. Гродн. г., Волковыск. у.); *Жиў сабе в одном сяле Сенька и была у яго жонка, але надто ленивая* (Шейн, № 89. Минск. г., Новогрудск. у.); *Вуչ sabiè dzièd i bàba i u ich niják ni było dziecièj* (Федер., № 329. Гродненск. г., Волковыск. у., Лысково);

в) без союза: *Идзець бабка — годов триста ёй было* (Ром. 6, № 26 (27). Могилевск. г., Сенненск. у.); *Быў на свеци одзін бедный чилавек. Ня меу ён сабе притулку* (Шейн, № 13. Минск. г., Борисовск. у.); *Była sabiè adnà զdawà, mieła jenà syna* (Федер., № 55. Гродненск. г., Волковыск. у.).

Отметим еще ряд предложений, не являющихся началом сказки:

а) союз *а*: *Приежжаюць туды, баба ляжиць на койцы, кыло яé самодуды, а на их мухи сидзяць* (Ром. 3, миф. № 39. Могилевск. г., г. Сенно); *У того цара была дочкиá, а к ей ходзили черци* (Шейн,

<sup>54</sup> Потебня А. А. Указ. соч., с. 263.

<sup>55</sup> Борковский В. И. Сравнительно-исторический синтаксис..., с. 137—141.

№ 18. Могил. г., Горецк. у.); На горе стоиць мельник, а у яго на одным усу двадцаць камней крүцяцца и на другим 20 (Шейн, № 45. Минск. г., г. Борисов); Прыехали яны к однай бабе, а у ея было сто дочок (Шейн, № 133. Минск. г., Игуменск. у.); Алё ось падышлі тые разбуйнікі — да ё пачалі падаць у ямы, а ў іх бымá вадá (Сержп., № 30); Падлетаюць яны бліжы́эй, а там стаяць велізазные катлы, а ў іх гарыць смалá (Сержп., № 77);

б) союз *и*: А ў того шавца быв вúчань, и звали яго пятрок (Ром., 4, № 75, Могилевск. г., Чериковск. у.); Потом забег, — стоить яблонка, и на ей ёсь яблочки; ён узяв шибнёв и став шибаць, и яблочки збиваць (Ром. 6, № 47 (49). Могилевск. г., Сенненск. у.); Рас ишоў з вясельля пьяный музыка и ён любиў нюхаць табаку, а табакерку носіў за пазухою (Шейн, № 52. Минск. г. и у.);

в) без союза: Ехув, ехув, ехув, — аж сядзиць птах — за сем вёрст видно от яго (Ром. 3, миф. № 41. Могилевск. г., Сенненск. у.); «Увидзила уво сне, мой сынок: кажетца, церяз моря ляжыць Кит-рыба; по ёй колявину выбиты» (Ром. 6, № 32 (33). Могилевск. г., Чериковск. у.); Як тольки яна пришла, дык у яе родзися сын, яго назвали Покоци-Горошек (Шейн, № 46. Минск. г., Игуменск. у.); А у той бабы быў полюбоўник, называўся ён Хомá (Шейн, № 102. Минск. г., Игуменск. у.); Пад гэстымі дзераўлікамі стаіць ледзянáя караваць, на юдай побаг, бáтцэ з інею сплéчены (Сержп., Слуцк., № 72).

Интерес представляет следующий пример, в котором третий тип как бы для уточнения, устранения возможной неясности подкреплен вторым типом определяющей части: Цяпер, дзе-то бабка якая была — двесьца годов було ёй, гэтой бабцы, — и налучила на яго, што ён ляжиць (Ром. 6, № 13. Могилевск. г., Сенненск. у.).

Заканчивая рассмотрение структуры сложного предложения в белорусских сказках (сложносочиненного без союзов и с союзами и бессоюзного сложного предложения, сопоставляемого со сложно-подчиненным), вновь подчеркнем, что принципы построения предложений однородны в сказках всех восточных славян. Что касается сложноподчиненного предложения, то мы имеем основание сделать тот же вывод и в отношении этих предложений, поскольку различия наблюдаются преимущественно в «комплекте» союзов и относительных слов, употребительности того или иного союза и относительного слова.

Восточнославянские сказки, как мы уже отметили выше, отличаются высокоразвитой системой синтаксиса не только простого, но и сложного предложения, четкостью, ясностью и многообразием синтаксических построений, что является существенным признаком художественного произведения.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Ром. 3, жив.; Ром. 3, миф.; Ром. 3, быт. — *Романов Е. Р.* Белорусский сборник, т. 1. Губерния Могилевская. Вып. 3. Сказки. Витебск, 1887<sup>56</sup>.
- Ром. 4 — *Романов Е. Р.* Белорусский сборник, вып. 4. Сказки космогонические и культурные. Витебск, 1891.
- Ром. 6 — *Романов Е. Р.* Белорусский сборник, вып. 6. Сказки. Могилев, 1901.
- Шейн — *Шейн П. В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. 2. Сказки, анекдоты, легенды, предания, воспоминания, пословицы, загадки, приветствия, пожелания, божба, проклятия, ругань, заговоры, духовные стихи и проч. СПб., 1893.
- Сержп. Мозыр.; Сержп. Слуцк. — *Сержпутовский А. К.* Сказки и рассказы белорусов-полемщиков. (Материалы к изучению творчества белорусов и их говоров). СПб., 1911<sup>57</sup>.
- Сержп. — *Сержпутоўскі А.* Казкі і апавяданы беларусаў з Слуцкага павету. Л., 1926.
- Федер. — *Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1893 prez Michała Federowskiego. Tom II. Baśnie, przypowieści i podania ludu z okolic Wołkowska, Słonima, Lidu i Sokółki. Część I. Baśnie fantastyczno-mityczne.* W Krakowie, 1902.

---

<sup>56</sup> Условные дополнительные сокращения при Ром. 3: жив. — животный эпос, № 1—27; миф. — сказки мифические, № 1—95; быт. — сказки бытовые, сатирические, юмористические, № 1—23.

<sup>57</sup> Условные дополнительные сокращения при Сержп.: Мозыр. — Мозырский уезд; Слуцк. — Слуцкий уезд.

## К СООТНОШЕНИЮ СЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ И ПРАСЛАВЯНСКОЙ МОРФОНОЛОГИИ (в истолковании сложных имен)

Двусторонняя связь, существующая между всеми отраслями славянского исторического языкоznания, особенно действенна для славянской этимологии вследствие многогранности предмета исследования и определяемого этой многогранностью комплексного характера методики этимологического анализа. Необходимость и плодотворность использования в этимологии всех достижений исторического языкоznания прекрасно иллюстрируется подъемом этимологических исследований в послевоенный период. Вместе с тем в последнее время все более подчеркивается, что этимология, бывшая по существу первой формой сравнительно-исторического языкоznания и почвой для развития всех его других отраслей, сохраняет и сейчас значение источника и фильтра материалов для сравнительно-исторической грамматики<sup>1</sup>.

Признание действительной двусторонней взаимообусловленности этимологии и сравнительно-исторической грамматики подводит теоретиков этимологии к изменению представлений о круге интересов этимиолога и непосредственном предмете этимологических исследований. Так, Я. Малкель считает полезным и плодотворным для этимиолога чередование лексикологических исследований с изучением фонологических и морфологических явлений<sup>2</sup>. Правда, и сейчас еще в отношении предмета этимологии преобладает мнение, будто изучаемыми классами слов в этиологических работах могут быть лишь лексикологические гнезда, опирающиеся на историческое тождество корня<sup>3</sup>. Однако уже высказано соображение, что для исторической грамматики особенно важно этиологическое изучение групп слов типа местоимений, предлогов, имен существительных по подгруппам (терминов родства, анатомических обозначений и т. д.), глаголов<sup>4</sup>. Впрочем, предложенные Малкелем в качестве объектов этиологического исследования группы слов неоднотипны: местоимения, предлоги, глаголы являются лексико-грамматическими классами, тогда как группы имен

<sup>1</sup> Ср.: Трубачев О. Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике. — В кн.: Этимология. 1968. М., 1971, с. 24; Он же. [То же название]. — В кн.: Этимология. 1970. М., 1972, с. 3—4.

<sup>2</sup> Malkiel Yakov. Etymology and modern linguistics. — Lingua, 1975, 36, № 2/3, p. 120.

<sup>3</sup> Puzynina Jadwiga. O dorobku i perspektywach badawczych słowołwórstwa historycznego języka polskiego. — Prace filologiczne, 1976, XXVI, 1, с. 156.

<sup>4</sup> Malkiel Y. Etymology and modern linguistics, p. 117.

существительных выделены по чисто семантическим основаниям. Этимологическое изучение лексики определенных семантических групп приобрело уже широкое распространение и признание. Но основания для классификации материала лежат здесь в области той же лексики, и в этом отношении данный тип исследования близок к этимологизации по гнездовому принципу. С точки же зрения проблемы взаимосвязи этимологии и сравнительно-исторической грамматики наиболее перспективной представляется постановка вопроса об этимологическом изучении л е к с и к о г р а м м а т и ч е с к и х к л а с с о в слов, типа упомянутых Малкелем местоимений и предлогов. Подобное изучение является базой, например, для определения лексического наполнения архаических славянских и индоевропейских типов именных основ.

Выделение объекта этимологического анализа по лексико-грамматическим основаниям создает бесспорные преимущества для решения вопросов исторической грамматики, но, кажется, не ограничивает также возможности и перспективы собственно этимологии, поскольку и в этом случае предметом исследования является не случайный конгломерат слов, а лексика, однородная семантически, грамматически и, возможно, системно организованная, что позволяет при этимологизации опираться на принцип возможности генетического подобия. А это именно тот принцип, применение которого определяет и все преимущества этимологического исследования лексики по семантическим группам.

Соотношение славянской этимологии и праславянской морфонологии характеризуется такой же двусторонней зависимостью. Этимология дает для праславянской морфонологии материал о функционировании различных морфонологических чередований, обогащая представление о наполнении известных в этом отношении категорий, расширяя круг этих категорий и побуждая рассматривать вопросы о неизвестных ранее чередованиях. Поскольку именно этимология обнаруживает периферийные, наиболее архаичные случаи чередований, ей принадлежит существенная роль и в определении хронологии чередований. В свою очередь известные праславянские морфонологические модели служат для поисков и обоснования генетических связей материально различных лексем, исследуемых этимологией. Лексика, построенная по одной морфонологической модели (один тип чередований), разумеется, может в семантическом плане характеризоваться лишь самым обобщенным сходством, но ей непременно присущее грамматическое единство и генетическая однотипность. Поэтому представляется, что предметом этимологического исследования могут быть лексические группы, выделенные по морфонологическим характеристикам. В частности, и морфонология, и этимология заинтересованы в изучении происхождения славянских имен и глаголов с долгим корневым вокализмом.

Удлинение гласных является наиболее поздним из праиндоевропейских типов чередований, и наибольшее развитие оно полу-

чило уже в отдельных группах индоевропейских языков<sup>5</sup>. В истории славянских языков удлинение действовало длительное время, точнее — неоднократно становилось актуальным как морфонологическая характеристика различных грамматических категорий. Вероятно, древнейшие случаи относятся к началу праславянского периода (например, корневое удлинение в отглагольных именах *-o* и *-a*-основ), тогда как наиболее поздние — к концу его и даже начальному периоду истории отдельных славянских языков (удлинение корневого гласного в итеративах на *\*-ati*, *\*-ajō*,ср. польск. *wruszać* от *ruchać* < *\*rъxati*, при рус. *запихать*). Кроме того, в славянских языках сохраняются продолжения индоевропейских случаев удлинения. Как категории индоевропейского удлинения, так и категории, охваченные удлинением в отдельных группах индоевропейских языков (в том числе и славянских), еще требуют изучения в отношении условий чередования, лексического наполнения каждой категории и даже набора самих категорий. Поэтому морфонологический анализ лексики любой категории, характеризующейся удлинением гласных в славянских языках, необходимо дополнять этимологическим анализом, который контролирует привлеченный материал и дает новый, позволяя более обоснованно судить о хронологии удлинения в данной грамматической категории.

В данной работе рассматривается удлинение корневого гласного в отглагольных бессуффиксальных именах, выступающих в качестве второй части сложных имен существительных и прилагательных. Славянскому словосложению посвящена довольно обширная литература. Поскольку сложные имена восходят генетически к словосочетаниям, их изучение ведется, как правило, в связи с типами словосочетаний, в том числе глагольных. Но вопрос о морфонологических соотношениях глаголов в словосочетании и отглагольных имен в составе сложных имен (в качестве их второго члена), кажется, не рассматривался.

В исследованиях по индоевропейской морфонологии отглагольные тематические имена в составе сложных слов рассматриваются в связи с отглагольными тематическими именами вне сложений. Установлено, что на отглагольные имена в сложениях отчасти распространяется характерный для этих имен вне сложений корневой вокализм в ступени *o*<sup>6</sup>. Что же касается удлинения, то предположение о его возможности во второй части сложений принадлежит Ф. де Соссюру, сопоставившему гор. *fidur-dogs*, *ahtau-dogs* (при лит. *degù*) с др.-инд. *śata-śārada*, *pr̥thu-jāghanā*, *dvi-jāni* и греч. *εὐ-ῆνωρ*, *φιλ-ήρετμος*<sup>7</sup>. Последовавшие за Соссюром иссле-

<sup>5</sup> Kuryłowicz J. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956, p. 142 (далее: Kuryłowicz. L'apophonie).

<sup>6</sup> Kuryłowicz. L'apophonie, p. 78—79; Pohl H. D. Die Nominalkomposition im Alt- und Gemeinslavischen. Klagenfurt, 1977, S. 64.

<sup>7</sup> Saussure F. de. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipsick, 1879, p. 165, примеч. 1. Относительно генети-

дователи, однако, обнаружили совсем иную природу долгих гласных в греческих сложениях, не связанную с собственно удлинением (закон Вакернагеля) и, кажется, также в древнеиндийских сложениях (где долгота хорошо согласуется с законом Бругмана<sup>8</sup>). Таким образом, готское удлинение оказалось собственно германским явлением. Но, критикуя гипотезу Соссюра, Бак, например, привел и новые материалы и не только из германских языков (др.-англ. -bēge и др.-в.-нем. -bārī в сложениях), но и из балтийских и славянских: лит. atúodogiai 'яровая рожь' (ср. dagà 'жара, урожай') и ст.-сл. юдскажда 'aquaeductus'<sup>9</sup>. Поскольку, однако, (1) формы с удлинением, представленные в одном каком-либо языке в сложениях, обнаруживаются в других языках вне сложений и (2) известны случаи удлинения вне сложений при кратком вокализме в однокоренных именах, являющихся второй частью сложений, постольку Бак считает случаи появления форм с удлинением только в сложениях случайностью. По его мнению, сложения являются вторичными производными, и они лишь воспроизводят вокализм первичных производных (в частности, краткость или долготу вокализма отлагольных -ō-, -ā- и -ī-основ)<sup>10</sup>. Впрочем, Бак напомнил о необходимости собрать и объединить все случаи удлинения в различных языках, отметив особую частоту их в германских, балтийских и славянских языках<sup>11</sup>.

Замечание о неполноте материала целиком относится к удлинению в сложениях. Действительно, уже в работе Лескина о литовском аблайте содержатся случаи удлинения в сложениях, не упомянутые Баком: naktigone 'ночной выпас', naktigonis 'ночной пастух' — ср. ganýti 'пасты'; pēdsokas 'след' (есть и pēdsakas) — ср. sakiótí 'следить'; dvilýpis 'двойной' — ср. lipti 'прилипать'; vienstýpis 'с одним побегом, веткой' — ср. stípti 'цепенеть' и даже māžtožeи 'мелочь, малость' — ср. māžas, māžti<sup>12</sup>. Курилович в своем исследовании об индоевропейских чередованиях приводит среди обширных материалов по вопросу об удлинении

ческих связей гот. dags, -dogs (в сложениях) существует и другое мнение: предполагается его происхождение от и.-е. \*ág'hes- (см.: *Pokorny J. Indo-germanisches Etymologisches Wörterbuch*. Bd I. Bern, 1951 и сл., S. 7), но и в этом случае необходимо допущение влияния (контаминации с?) и.-е. \*dhegʷʰh- (давшим лит. degù). Впрочем, сохраняет свое значение и непосредственное возведение гот. dags и т. д. к и.-е. \*dhegʷʰh- (см.: *Kluge F., Götze A. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 15. Aufl. Berlin, 1951, S. 782—783).

<sup>8</sup> Kuryłowicz. L'apophonie, p. 79, 159.

<sup>9</sup> Buck Carl Darling. Brugmann's law and the sanskrit vrddhi. — American Journal of Philology, 1896, XVII, 3, p. 468—469 (автор дал литовскую лексему в старой графике: atódogei).

<sup>10</sup> Там же, с. 469—470.

<sup>11</sup> Там же, с. 458.

<sup>12</sup> Leskien A. Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen. Leipzig, 1884 (=Abhandl. d. Sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften, Bd 9, № 4), S. (соответственно порядку перечисления материала) 326, 366, 277, 285, 373 (автор дает dvilýpis, современные словари литовского языка — dvilýpis).

в балтийских и славянских именных основах, производных от глаголов, лишь лит. *naktīgonė*, *naktīgonis*, причем помещает их рядом с *lomą*, *tvorą*, не останавливаясь на сложном составе первых слов<sup>13</sup>. Славянских сложений с удлинением корневого гласного среди материалов Куриловича нет; не останавливается на них и Г. Поль.

Несмотря на неразработанность вопроса о морфонологии сложных имен в славянских языках, этимологические объяснения сложных имен иногда оказываются основанными на толковании долгого вокализма второй части сложения как апофонической долгой ступени или даже, на допущении удлинения корневого гласного в отглагольном имени, являющемуся второй частью сложения: рус. *чистоган* еще Дикенман связал с *гонять*, *ганяти* (предполагая, очевидно, тождество вокализма *-ган* и *ганяти*<sup>14</sup>); вторую часть слав. \**netorugъ* Миклошич отнес к корню *рег-* 'летать' (не объясняя отношений гласных<sup>15</sup>, а Фасмер отметил, что гласные представляют затруднения<sup>16</sup>); рус. *бедолага* (точнее — его украинский источник) А. С. Львов объяснил как связанное во второй части с глагольной основой *-лаг-а-* (корень *лег-/лог-*), приведя в качестве структурно близкого однокоренного образования *сулага* 'тишки'<sup>17</sup>; рус. *горлопан* В. А. Меркулова связала с гнездом опона, *опона* и т. д., а рус. *диал. шишибар* 'репейник' объяснила как табуистическое по происхождению соединение *шиши* 'нечистая сила' и имени, производного от *борбть* (при этом вокализм *-бар* автор связывает с «активно действующим» в последние полтораста лет

<sup>13</sup> Kuryłowicz. L'apophonie, p. 295.

<sup>14</sup> Dickenmann E. Untersuchungen über die Nominalkomposition im Russischen (=Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin). Leipzig, 1934, S. 315 (далее: Dickenmann).

<sup>15</sup> Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Amsterdam, 1970 (воспроизведение издания: Wien, 1886), S. 214.

<sup>16</sup> Фасмер M. Этимологический словарь русского языка, т. 3. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. M., 1971, с. 68—69 (далее: Фасмер).

<sup>17</sup> Львов A. С. Бедолага. — В кн.: Вопросы культуры речи, IV (раздел «Краткие заметки», 4). M., 1963, с. 167—169. Что касается существа данной этимологической интерпретации слова *бедолага*, то она представляется маловероятной: в славянских языках нет, кажется, фразеологизмов типа \**лежать в беде*. С другой стороны, обращают на себя внимание следующие сочетания: рус. *мыкать горе* (откуда *горемыка*; *мыкать* значит и 'двигать', и 'рвать'), польск. *klepać biedą* 'мыкать горе' (>*biedoklep*) и *pchać biedą*. Ср. также кашуб. *Ti lěże mają tak'e b'ězēšē, že go nīxt navet hāmrq* ('шмотем') *n'e rozvali* (*Sycta Bernard. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej*, VII. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1976, с. 31; далее: *Sycta*). Семантическая модель этих сочетаний побуждает искать во второй части укр. *бідола́з(а)*, *бідола́га*, *бідола́к(а)*, *бідора́ха*, *бідора́ка* основу со значением 'быть, рвать, разбивать (т. е. 'бедолага' = 'бьющийся с бедой, (стремящийся) разбить беду')'. Может быть, она восходит к тому же корню, что в укр. *лах* и *лаха* 'отрешся', польск. *łach* 'то же', рус. *лохмы* (и-е. \**lēk-* 'раздирать'). Вариант на *-лага* (как и *-раха*, *-рака*) объясняется в таком случае вторичными ассоциациями.

процессом замены в определенных морфологических позициях ударного *o* на ударное *a*. Ср. . . . *оспаривать*. . . »<sup>18</sup>).

Приведенные этимологии свидетельствуют о том, что исследователи считали возможной апофоническую долготу корневого гласного в отлагольном имени, являющемя второй частью славянского сложного имени, однако их представления о сущности и хронологии соответствующего явления (высказанные или подразумеваемые сопоставлениями — см. *чистоган*, *шишибар*) весьма разнородны. Следовательно, полезно как морфонологическое толкование данных отношений, так и этимологическая корректировка, дополнение и хронологическая оценка материала.

В славянских языках обнаруживается довольно значительная группа сложных имен, имеющих в качестве второй части отлагольное имя с долгим гласным в корне. Однако ценность этих сложений для рассмотрения вопроса об удлинении вокализма в данной словообразовательной категории не одинакова. Большая часть сложений с долгим вокализмом соотносится с родственными глаголами, имеющими также долгий корневой вокализм того же качества. Ср., например, слвц. *vlnolam*, польск. *kamieńo-łam* — слвц. *lámat*, польск. *łamać*; с.-хорв. *oslobad* 'название растения' — *bádati* 'колоть'; с.-хорв. *vodòvalja* 'канавка для стока воды' — *váljati*; рус. *зуботычина* — *тыкать*; рус. *горемыка*, *босомыка*, *босомыга*, *коломыка* — *мыкать(ся)*; рус. *диал. краснозыря*, *пустозыря* 'зевака, разиня' — *зырить*. Очевидно, что тождество долгого вокализма второй части сложения и долгого вокализма глагола делает вполне вероятным образование имени от глагола с сохранением долгого вокализма производящей основы, так что весь материал подобного рода не может иметь решающего значения при рассмотрении вопроса об удлиниении корневого вокализма в сложениях. В некоторых из приведенных случаев глаголы с долгим вокализмом являются, судя по семантике глаголов и имен, единственной возможной производящей основой для сложений: ср. рус. *босомыка*, *босомыга* — *мыкаться* и *-мкнуть* (\**тьknoti*), значение 'ходить, бродить' в последней основе не представлено. Относительно некоторых других сложений равно возможно предположение об образовании второй части от глагола с кратким вокализмом, т. е. вероятно удлинение: ср. рус. *зуботычина* — *тыкать* и *ткнуть*. Однако не исключено и сохранение долгого вокализма производящей основы. К числу таких двусмысленных и потому мало показательных образований должно быть отнесено и единственное упомянутое Баком славянское сложение с долгим вокализмом во второй части — ст.-сл. *водокажда* '*aquaeductus*', к которому можно присоединить также с.-хорв. *kolòvada* 'мельница или водяная мельница; отводная канавка для дождевой воды': помимо естественного сопостав-

<sup>18</sup> Меркулова В. А. Несколько диалектных названий растений. — В кн.: Этимология. 1965. М., 1967, с. 156—157.

ления с \*vəditi, возможно также предположение о связи с \*vaditi, продолжениями которого являются, например, болг. *vádя* 'вынимать, вычертывать, выводить', слов. *váditi* 'вынимать'.

Следует отметить, что среди потенциальных производящих глагольных основ с долгим вокализмом, соответствующих приведенным выше именам, есть и итеративные основы на -ati, -aj̑ с относительно поздней долготой корневого гласного (слвц. lámat'), и основы иной структуры с более древней долготой: основы на -iti (\*vaditi), -ěti (рус. *зырить*, преобразованное из древней основы на -eti,ср. лит. žiūrēti<sup>19</sup>), -ati, -j̑ (мыкать, тыкать). Следовательно, и долгота вокализма в сложных именах может быть разнородной.

Для многих сложений, долгий вокализм которых как будто имеет соответствие в долготе вокализма глагольных основ, предположение о воспроизведении в имени долгого вокализма глагола, однако, неприемлемо, поскольку в глаголах эта ступень огласовки представлена лишь в приставочных образованиях (обычно итеративных), тогда как в сложениях вторая часть бесприставочная. В этих случаях правомерно толкование второй части как имени, образованного от глагола с кратким вокализмом (обычно с вокализмом в ступени редукции), так что долгий вокализм имени является следствием удлинения гласного производящей основы:ср. слвц. drvotina 'хворост, труха, опилки'<sup>20</sup> — слвц. t'at', tñem < < \*tēti, тъп. В словацком языке гласный в корне основы настоящего времени сохранялся только в ранний период, до падения редуцированных. Соответственно слвц. drvotina может быть или очень древним словацким образованием, или продолжением праславянского имени, связанного во второй своей части отношениями производности с \*tъnq (\*tēti)<sup>21</sup>. Ср. также ст.-чеш. borotina 'пасека'<sup>22</sup>. Другие образования этого типа: белор. *сухонір* (в сочетании *праць сухонірам* 'стирать белье, не замачивая предварительно')<sup>23</sup> — ср. \*rygrati (об образовании от \*rygrati, а не \*-pirati свидетельствует приведенное сочетание); рус. *чистожин* (у нас *жнут чистожином*) — ср. \*žъnq (\*žēti); рус. *пустожи́ра* 'дармоед' — ср. \*žъrgati и др.

Хотя в этой группе, как уже было отмечено, преобладают имена с вокализмом в ступени продления редукции, встречаются и об-

<sup>19</sup> См. мою статью «Этимологические заметки» (в кн.: Балто-славянские исследования. М., 1974, с. 39).

<sup>20</sup> Kálal M. Slovenský slovník z literatury aj nárečí. Banská Bystrica, 1924, с. 118 (далее: Kálal).

<sup>21</sup> Представляется возможным, что близким к слвц. drvotina сложением является с.-хорв. *полутѝна* 'расщепленный пополам пень' (Елезовић Г.). Речник косовско-метохиског дијалекта, II. Београд, 1935), хотя есть суффиксальные производные от \*polu-: polùtica 'половина' и даже polùtina 'то же' (Skok P. Etimologiski gjećnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Kn. II. Zagreb, 1972, с. 697, далее: Skok).

<sup>22</sup> Картотека старочешского словаря в Праге.

<sup>23</sup> Дуброўская Е. Ф. Прыслоўі у гаворцы вёскі Вялікія Аўцюкі. — В кн.: З народнага слоўніка. Мінск, 1975, с. 275.

разования с корневым \*ō во второй части, которое может рассматриваться как удлинение корневого o производящего глагола (тогда как \*ō представлено в глаголе лишь в приставочных основах): например, рус. *диал. ветрогар* 'загар на лице, на руках, обветрение тела на воздухе' — ср. лицо *горит от ветра*.

Для другой группы сложений с долгим вокализмом во второй части гипотеза о наличии удлинения обосновывается семантическими отношениями, связывающими данные имена с глаголами, имеющими краткий корневой вокализм, тогда как однокоренные глаголы с долгим вокализмом так или иначе семантически обособлены. Например: рус. *чистоган* (в сочетаниях типа *платить чистоганом*) соотносится с сочетанием *гнать (гони) деньги (гонять в этом значении не употребляется)* и поэтому -ган в сложении tolkуется как производное от основы настоящего времени *гоню* (\*gon'q), а не от *ганяти* (см. выше сопоставления Дикемана). Отсутствие подобных соотносительных словосочетаний делает затруднительным выбор производящей основы для однокоренного с *чистоган* (во второй части) рус. *диал. шалыган, шелыган* 'шатун, бродяга, бездельник', белор. *шалоган* 'плут, шалун'. Зато есть и образования от других корней, которые, аналогично с *чистоган*, определенно связаны словообразовательными отношениями с глаголами, имеющими краткий вокализм. Например, полесск. *душомáт* 'мучитель'<sup>24</sup> явно соотносится с рус. *мотать душу*, тогда как глаголы с корневым \*ō или непременно приставочные (*выматывать*), или отличаются по значению (рус. вят. *матить* 'препятствовать, делать помеху, замедлять'<sup>25</sup>). Слвц. *drvotar* 'лесоруб'<sup>26</sup>, судя по ст.-чеш. *třítí prkna* 'резать, пилить доски'<sup>27</sup>, должно быть во второй своей части связано с гнездом \*ter- 'тереть'. Однако семантически близких глаголов с вокализмом \*ō в этом гнезде нет: ср. укр. *тарáтися* 'валиться в грязь',польск. *tarzać* 'крутить, валить', t. *się* 'пачкаться', помор. *tařas* 'двигаться, крутиться'. Очевидно, следует предполагать образование второй части сложения с удлинением корневого гласного от глагола с кратким вокализмом, \*toriti, продолжения которого в славянских языках представляют значения, близкие к 'сечь, резать, пилить': ср. помор. *štořec* sā 'разрываться, раздираться'<sup>28</sup>. Поскольку, однако, в словацком языке нет глагола \*toriti, возможна постановка вопроса о более древнем происхождении сложения *drvotar*, нежели история собственно словацкого языка.

<sup>24</sup> Никончук Н. В. Из лексики полесского села Листвин. — В кн.: Лексика Полесья. М., 1968, с. 82.

<sup>25</sup> См. мою статью «К реконструкции количественных чередований в некоторых славянских этимологических гнездах» (в кн.: Этимология. 1970. М., 1972, с. 58).

<sup>26</sup> Kálal, с. 118.

<sup>27</sup> Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Praha, 1968, с. 658 (далее: *Machek*<sup>2</sup>).

<sup>28</sup> Lorentz Fr. Pomoranisches Wörterbuch, II, 3. Berlin, 1970, S. 484 (далее: *Lorentz*. Pomor.).

Во всех приведенных случаях, относительно которых было высказано предположение о наличии удлинения во второй части сложения, тождественный долгий вокализм присутствует в системе родственных глаголов. Несмотря на семантические различия между сложными именами и глаголами и различия в наличии/отсутствии префикса, самый факт существования в глаголе долгого вокализма может все-таки служить базой для сомнений в реальности процесса удлинения в сложении. Поэтому для обоснования гипотезы об удлинении корневого вокализма во второй части сложений очень существенно обнаружение сложных имен, долгий вокализм второго члена которых вообще не имеет тождественных соответствий в родственных глаголах. Такие имена есть. Кашуб. kołovažē, -ā, -go n., kołovaža, -óv plt. 'колея'<sup>29</sup> образовано от koło 'колесо' и глагола vozēc: относительно этимологической связи с этим глаголом ср. слов. kolovoz и лит. ravožà 'глубокая колея'; при этом в гнезде \*vez- в славянских языках нет глагола с вокализмом \*ō. Рус. вологод. ледостай 'пора замерзания рек', судя по j, во второй своей части образовано от основ стоять или стою. Укр. калабáйка 'зарубка на дереве для добывания сока' должно быть связано с \*kolo и \*biti. Возможно, таково же происхождение болг. колобáйча 'округлый камешек для игры' (ср. диал. байка 'округлый гладкий камешек'<sup>30</sup>). В гнезде слав. \*biti нет глагола с вокализмом в ступени \*ō, так что в украинском и болгарском сложениях удлинение вполне реально. Однако не совсем ясно, какой глагол послужил производящей основой: единственный глагол этого гнезда с вокализмом \*o — \*bojati sę, отличный по значению. Следовательно, возможны два предположения: (1) глагольная основа \*bojati (sę) имела первичное значение, близкое к \*biti, и послужила для образования сложений; (2) сложения имели первоначально вокализм в ступени \*o (как, например, несохранившееся сложное имя, от которого образованы рус. псков., твер. колобить 'болтать, молоть пустяки', колобиться 'биться, колотиться, перебиваться'), замененный позднее долгим вокализмом по аналогии с актуальной моделью — сложениями с удлинением. Наконец, еще одно образование этого типа — упомянутое уже выше рус. горлопан: в гнезде слав. \*rěti, \*ръпъ нет глаголов ни с вокализмом в ступени \*ō, ни с вокализмом в ступени \*o. Поэтому и здесь, при бесспорности удлинения, приходится предполагать утрату производящего глагола с \*o-ступенью или наложение удлинения на первичный вокализм отглагольного имени в ступени \*o.

Последняя из рассмотренных групп сложений является достаточно надежным обоснованием гипотезы об удлинении корневого

<sup>29</sup> Sychta П., 1968, с. 192; VII, 1976, с. 126. Варианты kołovoz, kołovažē (II, с. 192) представляются вторичными.

<sup>30</sup> Георгиев Вл., Гълъбов Ив., Заимов Й., Илчев Ст. Български етимологичен речник, I. София, 1962, с. 27; авторы считают слово байка этимологически неясным.

гласного в отглагольных именах, входящих как вторая часть в состав славянских сложных имен. При наличии такого обоснования приобретают определенное значение для изучения закономерностей этого удлинения и имена двух предшествующих групп: типа слвц. *drv̥tina*, белор. *сухопір* и типа рус. *чистоган*, слвц. *drv̥tar*. Из обзора этих материалов становится очевидным, что удлиненный вокализм сложений представлен ступенью \*ō и ступенью продления редукции (*in*, *ig* и т. д.). Поскольку имеющийся в нашем распоряжении материал не является, разумеется, исчерпывающим, нельзя исключить возможность существования в сложениях и ступени \*ē, но весьма вероятна в таком случае ее меньшая употребительность в этой категории по сравнению со ступенью \*ō и ступенью продления редукции. Другая существенная черта, характеризующая некоторые из рассмотренных сложных имен, — отсутствие в славянских языках (или в том славянском языке, в котором зафиксировано сложение) потенциальных производящих глагольных основ с вокализмом в ступени \*o (см. выше слвц. *drv̥tar*, укр. *калабайка*, рус. *горлопан*), что позволяет предполагать утрату этих основ (следовательно, большую древность сложений) или наложение удлинения на более древнюю форму вокализма — ступень \*o. Наконец, еще одна структурная особенность рассматриваемых сложений: вторая их часть или (что более точно) сложение в целом, как правило, является бессуффиксальным именем существительным с -o- или -a-основой. Среди приведенных выше образований лишь два суффиксальных: кашуб. *kołoważē* и укр. *калабайка* (с болг. *колобайчя?*), которые можно толковать как производные с суффиксами (соответственно) -ъje и -ъka от бессуффиксальных сложений или как оформление данными суффиксами сложений в целом (а не только второй части).

Все отмеченные структурные особенности характеризующихся удлинением корневого вокализма отглагольных имен во второй части сложений сближают данное явление удлинения корневого вокализма с удлинением его в отглагольных бессуффиксальных именах -o-, -a- и -i-основ вне сложений (ср. \*kga̯j, \*trava, \*tvarg̥). Этот последний тип удлинения представлен во многих праславянских образованиях, его возникновение относят к древнейшему периоду истории праславянского языка — до монофонтонизации дифтонгов<sup>31</sup>. О простом воспроизведении отглагольных имен этого рода в составе рассматриваемых сложений (как предполагал Бак, см. выше) вряд ли может идти речь: во-первых, отглагольные имена как вторые части сложений редко находят точные соответствия в отглагольных именах вне сложений (ср. слвц. *drv̥tar* 'лесоруб' — с.-хорв. *tār* 'размельченная солома', рус. *ветрогар* — *гарь*); во-вторых, многие сложные имена соотносятся с глагольными словосочетаниями или сами употребляются в таких сочетаниях с однокоренными глаголами, которые опре-

<sup>31</sup> Kuryłowicz. L'apophonie, c. 286—289, 296—298.

деленно доказывают словообразовательную связь второй части этих сложений именно с глаголами, а не с именами (см. выше *чистоган* — *гнать деньги*; *чистожин* — *жать чистожином*) и свидетельствуют о наибольшей вероятности непосредственно отглагольного происхождения и для вторых частей других аналогичных сложений. Следовательно, можно ставить вопрос о сходстве явления удлинения в сложениях и в отглагольных именах вне сложений. Структурное их подобие было уже отмечено выше. Однако возможны сомнения относительно правомерности их хронологического сближения.

Если среди отглагольных имен с удлинением корневого вокализма много праславянских образований, представленных в нескольких (если не во всех) славянских языках, то почти все приведенные выше сложения с удлинением вокализма во второй части зафиксированы в одном каком-либо славянском языке, что может рассматриваться как свидетельство их позднего возникновения. В противовес этому о более глубокой древности (нежели история отдельных славянских языков) ряда образований этого типа говорят отмеченное выше отсутствие потенциальных производящих глагольных основ с вокализмом в ступени \**o* (если только в этих сложениях не вторичное удлинение, хотя, впрочем, и вторичное удлинение может быть косвенным доказательством актуальности удлинения как такового в сложных именах). Более надежным аргументом в пользу предположения о праславянской древности удлинения в сложениях является тот факт, что среди них все-таки есть имена, представленные в нескольких славянских языках и восходящие к праславянским образованиям. Прежде всего, это \**lъgostajъ*, реконструируемое на основе рус. *легостай* 'ветреный, опрометчивый, нерадивый, ленивый человек' (и *лигостай* 'сухощавый, бессильный, тощий человек'<sup>32</sup>), слвц. *l'ahostaj* 'нерадение, леность', чеш. *lhostejný* 'равнодушный' и толкуемое как производное от \**lъg-* 'легкий' и глагола \**stojati*, так что первичное значение сложения восстанавливается как 'легкое существование, беззаботность'<sup>33</sup>. Другое имя этого типа — \**netopугъ* (ст.-сл. *нетопыръ*, болг. *нетопир*, слов. *netopír*, чеш. *netoprúg*, в.-луж. *netopury*, н.-луж. *nedopury*, рус. *нетопырь* и т. д.), возводимое в первой своей части к гнезду слав. \**noktъ*, во второй — к гнезду \**reg-* 'лететь'. Помимо фиксации почти во всех славянских языках, о праславянской древности этого образования свидетельствует архаичная, уникальная для славянских языков огласовка корня в первой части — \**e*, находящая соответствие в хетт. *neku-* 'смеркаться', *nekut* 'вечер' и т. д. В *nekciye* 'вечером'<sup>34</sup>. В качестве глагола с кор-

<sup>32</sup> *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2. 3-е изд. Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. СПб.—М., 1904, стлб. 627.

<sup>33</sup> *Machek* <sup>2</sup>, с. 330.

<sup>34</sup> *Иванов В. В.* О значении хеттского языка для сравнительно-исторического исследования славянских языков. — В кн.: Вопросы славянского языкоznания, вып. 2. М., 1957, с. 19.

нем \*рег- обычно приводится ст.-сл. *пёрж*, *п(а)рати* (Вайян считает, что такая реконструкция инфинитива не оправдана, возможно лишь \*рerti или \*рьрти<sup>35</sup>). Дело, однако, в том, что для второй части сложения наиболее обоснована реконструкция с вокализмом уг (а не iг), и производящая основа поэтому должна была бы иметь корневое ъг, а такая огласовка в гнезде \*рег- не зафиксирована. Это заставило многих исследователей отказаться от со-поставления \*петоругь с гнездом \*рег-. Учитывая праславянскую древность сложения, можно все-таки предположить, что его вторая часть образована от древнего, впоследствии утраченного глагола с корневым ъг (ср. отсутствие непосредственной производящей основы для -пан в рус. *горлопан*).

Представляется, что еще одно сложение с долгим вокализмом во второй части, известное в ряде славянских языков, может быть истолковано (в этой второй части) как отлагольное имя с удлинением корневого гласного — это \*сухорагъ(ъ), реконструируемое на основе рус. *сухопарый* ‘худой, тощий’, слвц. *suchopar* ‘сухая земля’, белор. *сухобарком* ‘без заквашивания (делать тесто)<sup>36</sup>’, *сухопарники* ‘жареная картошка, нарезанная дольками<sup>37</sup>’, с.-хорв. *suhoparac* ‘незаправленный, без пряностей; простой’, макед. *сувопарен* ‘сухой, скучный’. Обычно вторая часть этого сложения отождествляется с \*рагъ ‘Dampf, Hauch’ (так что, например, для сочетания *конь сухопарый* Ягич предлагал толкование ‘конь, который мало потеет’<sup>38</sup>; О. Н. Трубачев, также предполагая сложение *сухо-* и *пар*, сравнивает его с моделью *худосочный*<sup>39</sup>). Но семантика \*сухорагъ(ъ) в славянских языках открывает и другие возможности для реконструкции его словообразовательных связей. Так, значение ‘незаправленный, без пряностей’ при наличии с.-хорв. *нăопаран* ‘отварной, вареный; незаправленный (о кушанье)’ позволяет предполагать непосредственную словообразовательную связь с глаголом \*pariti. Тогда первичное значение сложения реконструируется как \*‘приготовленный (сваренный, жареный) всухую (без приправ и т. д.)’ = \*‘вываренный, выпаренный досуха’ (ср. помор. *пѡраёlc* ‘тощая свинья’<sup>40</sup>?). С другой стороны, белор. *сухобарком* ‘без заквашивания (делать тесто)’ побуждает обратить внимание на другое этимологическое гнездо — \*рег- ‘давить’ (поскольку тесто приготавливается замешиванием). На возможность этой связи косвенно указал (среди прочих предположений) еще Дикенман, упомянув рядом с *сухо-*

<sup>35</sup> Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves, III. Le verbe. Paris, 1966, p. 212.

<sup>36</sup> Кімчук Ф. Д. З лексікі цэнтральнага Загароддзя. — В кн.: З народнага слоўніка. Мінск, 1975, с. 150.

<sup>37</sup> Корань Н. Д. Да палескага дыялектнага слоўніка. — Там же, с. 160.

<sup>38</sup> Jagić V. Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Aufreten. — Archiv für slavische Philologie, 1899, XXI, 1, S. 33.

<sup>39</sup> См. дополнение О. Н. Трубачева в кн.: *Фасмер* III, с. 814.

<sup>40</sup> Lorentz. Pomor., I, S. 569.

*парый* сочетание есть сухопёром 'всухомятку'<sup>41</sup>. Если учесть семантические модели лексем перм. *сухомёсливый* 'недостаточно сочный, жесткий'<sup>42</sup> и смол. *сухомятина* 'человек худощавый, сухопарый'<sup>43</sup> (при известном *сухомятика* 'сухая еда'), то \**сухорагъ(јь)* может быть понято как \*'замешанный, сделанный всухую (без воды — о почве, без приправ — о кушанье, без закваски — о тесте)', откуда далее 'тощий, худой'. В этом случае в \**сухорагъ(јь)* представлено удлинение корневого гласного, характеризующее собственно сложение, поскольку в гнезде регулятив 'не зафиксирован глагол с вокализмом \**ô*. Нет здесь, однако, и глагола, с огласовкой \**o*, так что для \**сухорагъ(јь)*, как для \**неторугъ и горлопан*, приходится предполагать утрату производящей основы. Правда, в отношении \**сухорагъ(јь)* нельзя совершенно исключить возможность происхождения от *pariti*, что ослабляет вес этого образования среди доказательств праславянской древности удлинения в сложениях.

Существенным аргументом в пользу праславянской древности удлинения во второй части сложений являются сложения, реализующие архаические, утраченные в других случаях значения некоторых корней или содержащие неизвестные славянским языкам вне этих образований индоевропейские корни. Подобные сложения могут быть обнаружены, если, опираясь на имеющиеся факты удлинения корневого вокализма в отглагольных именах, являющихся второй частью сложений, допустить действие такого же чередования в некоторых «темных» лексемах. Один из таких случаев — с.-хорв. *kolobâr*, слов. *kolobár* 'круг, оборот', не получившее еще, кажется, этимологического истолкования: если начальное *kolo-* не представляет затруднений, то *-bar* признается неясным<sup>44</sup>. Сок, поместив *kolobar* в своем словаре в статью *kolo*, предположил неясную основу *kolob* и также не дал решения<sup>45</sup>. Перспектива для выяснения происхождения слова открывается при взгляде на него как на сложение с возможным удлинением корневого вокализма во второй части, которая при этом должна быть отглагольным именем. Тогда комплекс *-bar* оказывается возводимым к гнезду слов. \**berg* (<и.-е. \**bher-*) при условии обращения к древней, индоевропейской семантике его — 'нести, вести'. Этимологическое значение *kolobar* реконструируется как \*'обведенное (или обводящее, движущееся?) вокруг'. Близкое к *kolobar* семантическое развитие представлено в восходящих в конечном счете к тому же и.-е. \**bher-* греч. περιφέρω 'носить кругом, вращать', περιφορά 'вращение, небесный свод, кольцевой

<sup>41</sup> Dickenmann, S. 301—302.

<sup>42</sup> Беляева О. П. Словарь говоров Соликамского района Пермской области. Пермь, 1973, с. 620.

<sup>43</sup> Доброловский В. Н. Смоленский областной словарь, II. Смоленск, 1914, с. 891.

<sup>44</sup> Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, 19. Zagreb, 1899, с. 211.

<sup>45</sup> Skok, II, с. 127.

ярус.' Поскольку в славянских языках глаголы гнезда \*berg не сохранили следов значения 'нести, вести', с.-хорв. kolobár и слов. kolobár должны быть продолжениями раннепраславянского образования, производящая основа которого (типа греч. φορέω) утрачена славянскими языками.

В русских северных говорах записано не зафиксированное еще опубликованными словарями прилагательное *сокопáтный*, *сокопáтной* 'сильный, в полном соку' (с. Усьянско-Дмитриевское, Северо-Двинский р-н, Вологодская область)<sup>46</sup> и *сокопáтная*, *сукопáтная* (береза) 'молодая, богатая соком' (дер. Васьково, Черевковский р-н, Архангельская обл.)<sup>47</sup>. Последнее сочетание — *сокопáтная береза* — представляется отражающим первичные связи и употребление прилагательного и обнаруживает реальную обстановку, в которой возникло слово. Наличие сока, его большее или меньшее содержание в березе становятся особенно очевидными и существенными для человека весной, во время с о к о д в и ж е н и я, когда для получения сока делают в стволах отверстия, через которые сок и вытекает, падает. Следовательно, вполне вероятно, что в прилагательном *сокопáтный* значение 'богатый соком, в полном соку' восходит к этимологическому, первичному значению '(имеющий) движущийся, струящийся, падающий сок', так что основа *-pat-*, соединенная с *сок-*, должна восходить к корню со значением 'стремиться, двигаться, течь, падать'. Это позволяет предположить, что во второй части слова *сокопáтный* сохранились следы неизвестного в других славянских образованиях и.е. корня \*pet-<sup>48</sup>, давшего, например, др.-инд. *patali* 'лететь, бросаться, падать; лить, бросать', авест. *tāta-* 'падающий (о дожде)', греч. *πτωμάρος* 'река'. В таком случае рус. диал. *сокопáтный* является продолжением праслав. \*sokoratъjь (или \*sokoratъjь, поскольку суф. -ъj- часто играет роль вторичного расширителя, ср. выше рус. *сухопарый* и с.-хорв. *suhoparan*).

Рассмотренные случаи фиксации сложений с удлинением в нескольких славянских языках, а также сохранения в подобных сложениях архаичных значений и утраченных славянскими языками индоевропейских корней, хотя и очень малочисленные, представляются доказательством праславянской древности явления удлинения корневого вокализма в отглагольных бессуффиксальных именах, являющихся второй частью сложных имен. Иными словами, удлинение корневого вокализма, возникшее в раннепраславянский период и сопровождавшее образование отглагольных бессуффиксальных имен -o-, -a- и -i-основ, распространялось также и на образование таких имен как вторых компонентов

<sup>46</sup> Рукописный словарь Романова. 1928 г. Картотека словаря русских народных говоров (Ленинград).

<sup>47</sup> Записано в 1957 г. доцентом МГУ А. И. Кузнецовой, любезно предоставившей мне свои рукописные материалы.

<sup>48</sup> Рефлекс и.-е. \*pet- некоторые исследователи видят в слав. \*astrebъ. См.: Vey M. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, 49, с. 24—40.

сложных слов. Относительно малого количества сложений этого типа, которые представлены в нескольких славянских языках, следует иметь в виду, что и число других сложений, которые можно было бы считать обще- и праславянскими, очень невелико<sup>49</sup>.

Возможно, что на базе праславянского морфонологического количественного чередования гласных, сопровождавшего образование сложных имен с отглагольным именем в качестве второго компонента, сформировалось словообразовательное чередование морфем, сохранившееся в истории отдельных славянских языков и выражющееся в предпочтении, которое часто оказывается в сложениях морфемам с долгим (исторически!) вокализмом перед морфемами с кратким (опять-таки исторически) вокализмом. Однако при всей молодости некоторых сложений корни сопутствующих им чередований уходят в праславянский язык.

Наконец, следует остановится на упомянутом выше замечании Бака о наличии сложений с кратким вокализмом при долготе его в однокоренных именах вне сложений — замечании, которое Бак считал аргументом против гипотезы об удлинении в сложениях. Действительно, такое соотношение возможно:ср. \*съгвото́сь, но польск. przetak 'решето', \*рота́сь 'пряжа, напряденная на одно веретено'. Более того, наряду со многими сложениями, характеризующимися удлинением, представлены тождественные им по обоим корням сложения с кратким вокализмом во второй части: ср. слвц. drvotina 'хворост, труха, опилки' — слвц. drvotey, польск. drewotnia и т. д. 'место, где рубят дрова'; кашуб. kołovażé 'колея' — слов. kolovòz 'то же', с.-хорв. kolòvoz 'колея, путь'; белор. праць сухонірам — праць сухапёрам<sup>50</sup>. Подобная вариантность широко распространена среди отглагольных имен и вне сложений и не противоречит реальности действия удлинения в данных категориях. Причины вариантности многообразны. Не последним по значимости обстоятельством является большая ограниченность, необязательность действия морфонологических и словообразовательных тенденций в отличие от фонетических закономерностей. Возможны параллельное действие нескольких морфонологических моделей в какой-то период, разновременное образование однокоренных лексем, более позднее преобразование лексемы на части славянской территории под влиянием взаимодействия с однокоренными глаголами. Изучение источников вариантности вокализма в сложениях (как и вне сложений) необходимо для определения относительной хронологии как отдельных вариантов в каждом конкретном случае, так и морфонологических моделей.

<sup>49</sup> Jagić V. Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten. — Archiv für slavische Philologie, 1898, XX, 4, S. 535—536.

<sup>50</sup> Вештарт Г. Ф. Матэрыялы для дыялекктнага слоўніка. — В кн.: Народнае слова. Мінск, 1976, с. 63.

Е. И. ДЕМИНА

## К ТЕОРИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

Проблематика сравнительного изучения славянских литературных языков в тех или иных своих аспектах обсуждалась на всех послевоенных съездах славистов. В ходе сравнительных исследований славянских (и не только славянских) литературных языков постепенно накапливалось все большее число конкретных наблюдений и фактов, подтверждающих известную идею о том, что при всем своеобразии современного облика литературных языков разных народов процесс их формирования в качестве национальных литературных языков в целом характеризовался рядом параллельных, сходных явлений, особенностей и тенденций развития. Это закономерно вело к появлению у современных литературных языков не только исторически и синхронно обусловленного своеобразия, но и независимо сложившихся типологически сходных функциональных и субстанциональных особенностей. Необходимость теоретического осмысления этих фактов делает актуальной постановку вопроса о выделении особого раздела теории литературных языков, посвященного проблеме их сравнительно-типологического изучения. Не случайно созданная в 1970 г. при Международном комитете славистов Международная комиссия по изучению славянских литературных языков (МКСЛЯ) главной своей задачей назвала их сравнительно-типологическое изучение. Это нашло отражение в предложенном комиссией Проекте характеристики современного состояния славянских литературных языков<sup>1</sup>.

Своевременность постановки такой задачи определяется не только самой подтвержденной всем ходом исследовательской мысли важностью этого направления языкоznания, но и тем, что и в теоретическом, и в практическом отношении оно является одним из наименее разработанных. К числу общепринятых положений теории сравнительно-типологического изучения литературных языков можно отнести, пожалуй, только признание самостоятельности стоящих перед этим направлением задач по сравнению с задачами сравнительно-генетических и структурно-типологических исследований языков безотносительно к степени их литературности, подробно обоснованное в рассматриваемой ниже работе Д. Брозовича, и соответственно необходимости

<sup>1</sup> ВЯ, 1973, № 5, с. 156—157.

выработки собственной методологии их решения. Достаточно ясным представляется неоднократно высказывавшееся положение: «Типология литературных языков и группировки языков по родству и структурно-типологическим признакам не совпадают между собой»<sup>2</sup>. Широко принято также положение о том, что сравнительно-типологическое исследование должно опираться главным образом на анализ функциональной стороны литературных языков. В целом же проблематика и методологические приемы исследований в данной области, круг задач, на решение которых они нацелены, все еще недостаточно ясны. Сам предмет типологии применительно к литературным языкам не определен с достаточной полнотой. Не сформулированы исходные теоретические принципы, единая терминология. Значительные расхождения наблюдаются при выборе тех «оснований для сравнения», которые позволили бы выделить и исследовать применительно к каждому литературному языку существенные для его типологической характеристики признаки. Не выработана единая процедура типологического анализа. В понятие «тип литературного языка» вкладывается неодинаковое содержание. С полным основанием в редакционной заметке к одному из сборников говорится, что «мы еще далеки и от выработки единых (более или менее приемлемых для всех) методов исследования и установления признаков, по которым могли бы классифицироваться литературные языки по типам»<sup>3</sup>. Вместе с тем очевидно, что без предварительного выяснения основных вопросов теории и методики сравнительно-типологического изучения литературных языков, в частности славянских, невозможна целенаправленная работа по практическому осуществлению этой задачи. Назрела необходимость обобщения достигнутых в данной области результатов, критического осмыслиения применяемых методов сравнительно-типологического анализа, определения круга подлежащих дальнейшему исследованию проблем и спорных решений. Это в свою очередь могло бы явиться основой дискуссии, которая способствовала бы «созданию предпосылок для типологического и сопоставительного изучения славянских литературных языков»<sup>4</sup>. Настоящий доклад и представляет собой попытку рассмотрения проблемы в указанном аспекте.

Современное направление типологического изучения славянских литературных языков сосредоточено на создании теоретической базы их синхронной типологии, главным образом на поиске и обосновании тех критерииев, которые могли бы явиться

<sup>2</sup> Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка. — ВЯ, 1975, № 6, с. 5.

<sup>3</sup> Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Под редакцией Ф. П. Филина и А. И. Горшкова. М., 1976, с. 3—4.

<sup>4</sup> Едличка А. Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка. — Там же, с. 16.

отправным пунктом классификации современных национальных славянских литературных языков по своеобразию присущих каждому из них отличительных особенностей и выделению на этой основе типов литературного языка. Постановкой подобной задачи имплицитно определяется и сам предмет типологии литературных языков. Так, из идеи своеобразия исходит постановка задач типологических исследований в упоминавшемся Проекте МКСЛЯ, специальный пункт которого гласит: «Отдельные славянские литературные языки, которые возникали в различных языковых, коммуникативных и общественных условиях и в результате этого создали широкий диапазон специфических особенностей, отражающихся в их современных структурах и функционировании, представляют собой широкое поле для сопоставительного и типологического исследования и исследований общетеоретического характера»<sup>5</sup>. Данную сторону исследовательской проблематики подчеркивает и Ф. П. Филин: «Определяя общие свойства и границы литературного языка эпохи нации, мы не должны забывать о том, что каждый язык неповторим. Своебразие литературных языков может быть раскрыто лишь посредством их сравнительно-типологического изучения»<sup>6</sup>.

В работах, направленных на решение подобным образом сформулированной общей задачи, поднимается и решается круг вопросов, связанных с определением критериев классификации современных национальных литературных языков и соответственно описанием набора индуктивно или дедуктивно устанавливаемых классификационных признаков, позволяющих судить о своеобразии языков и их распределении на группы (типы) по каждому из этих признаков; вопросы, связанные с организацией данных признаков в процедуре классификации; проблема установления типа литературного языка как категории обобщающего порядка на основании классификаций литературных языков по отдельным признакам.

Открывает это направление статья Д. Брозовича «Славянские стандартные языки и сравнительный метод»<sup>7</sup>. Исходя из мысли, что стандартные языки<sup>8</sup> по природе своей равноправны и отно-

<sup>5</sup> ВЯ, 1973, № 5, с. 156.

<sup>6</sup> Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка, с. 5.

<sup>7</sup> ВЯ, 1967, № 1, с. 3—33. Тот же текст с незначительными редакционными поправками под заглавием «Slavenski standardni jezici i usporedna slavistika» см. в кн.: Brozović D. Standardni jezik. Zagreb, 1970. Ср. также: Брозович Д. Об общих и специфических особенностях узусной и кодификационной языковой нормы в славянском мире. — В кн.: Проблемы нормы..., с. 131—138. Здесь подробнее рассмотрено отмеченное в указанной выше работе различие стандартных языков по особенностям их нормы.

<sup>8</sup> Историю стандартного языка Д. Брозович предлагает начинать с момента, когда он распространяется на всей территории и когда стабилизируются его субстанция и структура (см.: Брозович Д. Славянские стандартные языки..., с. 23). Таким образом, под современным стандартным языком он понимает

шения между ними не зависят от генетических отношений между субстанциями, на основе которых они создавались, автор считает возможным систематизировать эти языки по критериям их «стандартности», т. е. критериям, которые должны «выявлять, измерять и оценивать нормированность стандартного языка, его функции как орудия высшей цивилизации, отношение к национальным и культурным комплексам, способ формирования, характер основы, на которой создан стандартный язык (но не субстанции и структуры), наконец, систему его графики и орфографии» (с. 21). Указанные критерии должны удовлетворять требованию, чтобы их набор без изменения формулировок мог быть применен к любой языковой семье или группе стандартных языков, связанных какими-то общими свойствами, т. е. носить абстрактный характер. В соответствии с этими критериями на основании анализа особенностей современных литературных языков и этапа их формирования Брозович выделяет набор позволяющих установить своеобразие их стандартности признаков, которые сведены к 15 бинарным оппозициям (с. 27). Распределение по этим признакам позволяет получить 15 различных классификаций славянских литературных языков и соответственно 30 попарно противопоставленных типов. Маркировка признаков стандартности позволяет представить результаты классификации в виде таблиц (с. 29–30). Как следует уже из выбранных критериев, классификационные признаки стандартности должны отражать как современные особенности славянских литературных языков, так и некоторые аспекты их истории (способ формирования, характер основы). Действительно, только 5 из 15 названных в работе оппозиций основаны на синхронных признаках, а именно, оценивают состояние нормы современного литературного языка и его отношение к современной языковой ситуации (степень автономности и гибкой стабильности, характер дублетов в пределах нормы, соотношение стандартных и нестандартных форм языка нации, степень поливалентности, отношение к калькированию, отношение между литературным языком инацией). Остальные 9 оппозиций либо непосредственно основаны на фактах истории (например, устанавливают, имели ли место перерывы в развитии данного литературного языка), т. е. являются собственно диахроническими, либо учитывают некоторые особенности формирования стандартных языков, сказавшиеся на их современном облике (в основном это оппозиции, выявляющие разные стороны вопроса о характере диалектной базы данного стандарта), т. е. имеют синхронно-диахронический характер.

Заметим, что поскольку выделяемые признаки должны по замыслу автора характеризовать «стандартность» данного стандартного языка, т. е. присущие ему как современному националь-

---

фактически национальный литературный язык, что видно и из содержания работы в целом.

ному литературному языку особенности, включение в определение стандартности признаков диахронического характера, сформулированных не в своей проекции на современность, не в своих типологически релевантных для настоящего результатах, позволяющих судить о стандартности отдельных современных литературных языков, а в своей исторической сути как факт прошлого, «нестандартного» состояния литературного языка, представляется нам логически и методологически уязвимым. Так, например, наличие перерыва в развитии литературного языка — признак, взятый Брозовичем за основу организации одной из оппозиций, — само по себе еще ни в коей мере не определяет того, каким путем пойдет развитие данного языка после перерыва и тем самым каковы будут релевантные в типологическом отношении особенности «стандартности» современных литературных языков. Как известно, перерыв в развитии в истории белорусского и чешского языков был вызван сходными историческими условиями и проявился в типологически сходной форме (вытеснение в условиях порабощения старого письменного языка языком господствующей нации). Старобелорусский язык после долгого упадка в конце XVII в. был окончательно вытеснен польским, чешский язык после поражения чехов в 1620 г. на Белой Горе — немецким. Однако «выход» из этой сходной ситуации был диаметрально противоположным. После перерыва белорусский литературный язык сложился, как бы заново на основе народной речи. Этим обусловлено такое его типологическое своеобразие по сравнению с русским литературным языком, как незначительный удельный вес церковнославянских и других книжных элементов. Именно на эту особенность современного белорусского языка как черту, определяющую его типологическое своеобразие по сравнению с русским, обращает внимание Филин, лишь затем пытаясь выяснить причину таких синхронных различий (следование традиции письменных языков Московской и Киевской Руси, с одной стороны, исторически обусловленный отказ от традиции — с другой)<sup>9</sup>. Сходен с белорусским в своем отношении к элементам традиции современный сербохорватский язык, однако это объясняется не перерывом в его развитии, а прямым разрывом с традицией и сменой исходной диалектной базы, связанными с реформой Вука Караджича. Чешский же литературный язык после известного перерыва в своем развитии, напротив, обратился к традициям «золотого периода» чешской письменности, в частности к языку Кралицкой библии и других памятников XVI в. Это надолго, вплоть до наших дней, определило разрыв между письменным литературным языком и так называемым обиходно-разговорным языком, вызвало появление двух различных форм устной литературной речи: разговорной литературой (*novorová*

<sup>9</sup> Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка, с. 5.

*čeština*) и обиходно-разговорной (*obecná čeština*)<sup>10</sup>. Сложившееся в результате этого типологическое своеобразие современной языковой ситуации и должно приниматься в расчет синхронной типологией. Белорусский язык в данном аспекте примыкает к другим славянским литературным языкам. Таким образом, диахронические признаки, отразившиеся на современном облике литературного языка, видимо, могут привлекаться лишь как элемент типологической характеристики данного языка в его отношении к другим литературным языкам того же типологического ряда. Однако, на наш взгляд, их нельзя относить к числу признаков, указывающих на характер стандартности данного литературного языка, т. е., по самому определению, признаков синхронного плана, призванных выявлять своеобразие современных литературных языков в том или ином аспекте.

Оппозиции типов славянских литературных языков, выделяемых по тому или иному классификационному признаку, строятся в работе Брозовича «Славянские стандартные языки и сравнительный метод» (с. 27) на основании неоднородных логических принципов. Это оппозиции типа  $A \sim \text{не } A$  (например, оппозиция «языки, соответствующие формуле 1 стандартный язык — 1 нация  $\sim$  языки, для которых эта формула недействительна»);  $A \sim \text{отчасти } A$ , т. е. оппозиции по степени проявления данного признака (например, оппозиция «языки с высокой степенью автономии и гибкой стабильности  $\sim$  языки с низкой степенью автономии и гибкой стабильности»); отчасти  $A \sim A$  (например, «языки, норма которых ограничивает возможность неспонтанного калькирования  $\sim$  языки, терпимые к такому калькированию»);  $A \sim B$  (например: «языки с гомогенной исконной диалектной основой  $\sim$  языки с негомогенной основой»); наконец,  $A \sim \text{не } A+B$ , т. е. оппозиции с добавочным по отношению к основному признаком (например, «языки с непрерывным развитием от эпохи формирования современной субстанции и структуры  $\sim$  языки с не непрерывным развитием, с некоторым обновлением исходной субстанции и структуры»). Взятые за основу классификации признаки не всегда достаточно ясно разграничены и не одинаковы по своему «удельному весу» для характеристики того или иного языка, на что обращает внимание и сам Д. Брозович. Среди них, как отмечалось, есть признаки синхронные и диахронические, непосредственно с характером стандартности современного языка не связанные. Типологическая значимость всех оппозиций поэтому вряд ли является равнозначной. В связи с этим (но не только с этим) представляется неоправданной предлагаемая Брозовичем процедура оценки стандартности того или иного языка в числовых показателях, согласно которой языки, обладающие признаком,

<sup>10</sup> Белич Я., Гавранек Б., Едличка А., Травничек Ф. К вопросу об «обиходно-разговорном» чешском языке и его отношении к литературному чешскому языку. — ВЯ, 1961, № 1, с. 44—51.

отнесенным в левую часть формулировки каждой из 15 оппозиций независимо от ее характера, получают числовую оценку 2 на шкале стандартности; языки, удовлетворяющие отнесенному в правую часть оппозиции признаку, — числовую оценку 0, соответствующие биполярному ответу языки — числовую оценку 1 (см. табл. 1 на с. 29). Неясно, например, почему литературные языки, в основе которых присутствуют иноязычные элементы той же языковой семьи (сюда отнесены русский и болгарский языки, поскольку в основе первого есть церковнославянские элементы, в основе второго — русские), получают оценку ноль на шкале стандартности по сравнению с остальными славянскими языками, обладающими «собственной диалектной основой стандартности» (с. 27)?<sup>11</sup> Или, например, почему языки, отражающие и обслуживающие гомогенную цивилизацию (сюда с оценкой 2 отнесены польской, нижнелужицкий, верхнелужицкий, чешский, словацкий, словенский; с оценкой 1 — русский, белорусский, украинский, хорватский вариант сербохорватского языка), более стандартны, чем остальные славянские языки, обслуживающие гетерогенную цивилизацию? На каком основании можно рассматривать как обладающие меньшей степенью стандартности языки, пережившие пурристическую базу или, например, терпимые к калькированию? Если вспомнить, что по определению автора языкам, обладающим стандартностью, т. е. стандартным языкам, присущ фактор стабилизованности, единства субстанции и структуры на всей охваченной данным языком территории, можно заметить следующее. Сам по себе тот факт, что, например, в основе данного литературного языка представлены субстанциональные элементы другого славянского языка (скажем, в основе русского языка — церковнославянские элементы) еще не свидетельствует о колебаниях в этом отношении в современной норме, т. е. о меньшей по сравнению с другими языками «стандартности» этого языка в данном отношении. Так же можно расценить и другие случаи.

Мы не случайно придаем такое значение процедуре определения числовых показателей стандартности, поскольку именно на сравнении данных суммарной оценки степени стандартности отдельных литературных языков по всем признакам вместе или по их отдельным группам строится предложенная Брозовичем типология стандартности славянских литературных языков, делаются выводы о степени типологической близости языков по их стандартности, определяется расстояние между ними (с. 33).

<sup>11</sup> Обратим внимание на то, что особому критическому рассмотрению могла бы быть подвергнута и не всегда очевидная правомерность распределения языков на типы по тому или иному признаку. Неясно, например, почему в рассматриваемой оппозиции в разные ее части отнесены украинский, словацкий языки, с одной стороны, болгарский — с другой (ср. наличие чешских элементов в основе словацкого литературного языка, польских и русских — украинского).

Ясно, что изменение хотя бы одной оценки в связи, скажем, с перенесением того или иного признака из правой части оппозиции в левую, повлечет за собой изменение в таком образом установленной типологии стандартности, присущей данной группе языков как системе. Оценка рассмотренной процедуры типологического обобщения тем более важна, что автор предлагает использовать ее как универсальный метод исследования любой группы языков, связанных какими-то общими свойствами.

Итак, уже первый опыт типологического анализа современных славянских литературных языков натолкнулся прежде всего на трудности методического порядка, связанные с необходимостью классификации объектов по неограниченному числу<sup>12</sup> выделенных по критерию своеобразия неоднородных признаков, неодинаково распределенных между этими объектами, что с большой степенью вероятности ведет к выделению числа типов, равного числу принятых в качестве критериив классификации признаков. И действительно, материал приведенных в работе Брозовича таблиц показывает, что распределение современных славянских литературных языков на типы по каждому из классификационных признаков в отдельности не совпадает между собой, т. е. число различных распределений на типы равно числу предпринятых классификаций. В свою очередь ни один из рассмотренных литературных языков не совпадает с другим по совокупности присущих ему во всех указанных классификациях признаков. Следовательно, если каждую из подобных отличающихся совокупностей признаков рассматривать как особый тип, мы получим число типов литературного языка, равное числу привлеченных к сравнению языков, что хорошо показали составленные Брозовичем таблицы. Таким образом, работа Д. Брозовича помогает вскрыть ряд принципиальных вопросов, наталкивающих на серьезные размышления и дальнейшие поиски, в частности показывает всю сложность проблемы установления обобщающего итоги классификаций по разным признакам понятия «тип литературного языка» как категории более высокого порядка.

Идеи, связанные с установлением своеобразия современных национальных («стандартных») литературных языков по характеру их стандартности получили дальнейшее развитие в одной из статей Н. И. Толстого<sup>13</sup>. Толстой избирает более экономный набор синхронных и диахронических признаков, совокупность

<sup>12</sup> Число классификационных признаков резко возросло бы, если бы Брозович воспользовался своим предложением классифицировать языки по особенностям их графики и орфографии или в зависимости от лексического обозначения в них различных реалий, связанных с цивилизационной надстройкой (ср. с. 20—21).

<sup>13</sup> Толстой Н. И. К вопросу о зависимости элементов стиля стандартного литературного языка от характера его «стандартности». (На материале славянских языков). — В кн.: Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР. Ашхабад, 1968, с. 124—134.

которых и обозначается термином «стандартность», а также иную методику использования этих признаков для определения стандартности данного языка. Избранные им признаки призваны определить характер литературного языка через его отношение к нестандартным феноменам (диалектам, койне и т. п.), к другим стандартным языкам, а также к другим историческим состояниям того же самого языка донационального периода. К синхронным признакам отнесены: 1) наличие диалектной базы и близость к ней стандартного литературного языка; 2) близость к фольклорно-поэтическому койне; 3) наличие типов или вариантов стандартного языка; 4) наличие автономных «диалектных» областных языков. (Последний признак Брозович не включает в свою классификацию, считая, что он не оказывается на особенностях стандартного языка). К диахроническим: 1) разрыв с традицией в истории литературного языка; 2) перерыв в общем развитии литературного языка; 3) смена диалектной базы в истории литературного языка. Сочетание положительных и отрицательных ответов на вопрос, обладает ли тот или иной язык данным признаком, и позволяет судить о характере его стандартности. Н. И. Толстой подчеркивает, что нельзя смешивать или рассматривать линейно, равноправно диахронические и синхронические признаки литературного языка, как это имело место в работе Д. Брозовича, поскольку они исторически связаны между собой причинно-следственными отношениями<sup>14</sup>. Однако тот факт, что «стандартность» того или иного языка определяется согласно принятой автором терминологии и процедуре анализа по совокупности признаков, входящих в оба ряда, практически ничего в положении дела не меняет.

А. Едличка в качестве критерия классификации современных славянских национальных литературных языков на типы избирает фактор их отношения к современной языковой ситуации в принятом в современной социолингвистике понимании этого термина<sup>15</sup>. Соответственно с этим за основу определения типа литературного языка как понятия обобщающего порядка он предлагает взять совокупность тех его функциональных признаков, которые непосредственно вытекают из анализа языковых, социальных и коммуникативных условий функционирования литературных языков. При этом учитываются не только признаки, связанные с анализом современной языковой ситуации, но и признаки диахронического порядка, свидетельствующие о своеобразии исторического развития некоторых сторон языковой ситуации, отразившемся на современном состоянии литератур-

<sup>14</sup> Впрочем, в указанной работе Н. И. Толстого говорится и о том, что «в ряде случаев наличие перечисленных признаков диахронического порядка находится в зависимости от наличия (тезр. отсутствия) признаков синхронного порядка в отдельных славянских литературных языках» (с. 129) (т. е. следствие определяет причину?), что вызывает недоумение.

<sup>15</sup> Едличка А. Проблематика нормы..., с. 16—36.

ного языка. Специфика нормы литературных языков при установлении их типов в расчет не принимается. Исходя из указанных принципов, А. Едличка выделяет следующие оппозиционные типы литературных языков: 1) литературный язык с представленным наряду с ним в системе национального языка обиходно-разговорным языком или, позднее, разговорной формой литературного языка — литературный язык с сосуществующим с ним диалектом или интердиалектом, который выполняет и функции обиходно-разговорного языка; в диахронии учитывается отношение литературного языка к диалектной основе; 2) литературный язык, состав носителей которого не ограничен ни в социальном, ни в региональном отношении — литературный язык определенной социальной группы; этот тип представлен в истории некоторых литературных языков; учитывается и исходная региональная база литературной нормы или же ее изменения в дальнейшем развитии; 3) литературный язык с полностью сформировавшимися стилевыми пластами для всех коммуникативных сфер — литературный язык, в котором эти пласти только вырабатываются; 4) литературные языки, в которых существуют социальные и коммуникативные условия для явлений контакта в рамках единого государства — литературные языки без наличия условий для такого контакта. Как отмечает Едличка, на территории распространения славянских литературных языков отмечаются «почти все» установленные таким дедуктивно-индуктивным путем оппозиционные типы. Так, по наличию контакта в рамках государственного объединения выделяются следующие типы: чешский и словацкий; сербохорватский, словенский и македонский; русский, украинский и белорусский языки, с одной стороны, польский, болгарский — с другой. Распределение языков по другим признакам не рассматривается.

Нетрудно заметить, что хотя в работе Едлички постулируется положение о том, что тип литературного языка определяется по совокупности присущих ему признаков, фактически в его работе речь идет об оппозиционных типах, выявляемых в синхронии и диахронии на основании противопоставленности по одному конкретному признаку, как это имело место и в исследовании Д. Брозовича. Однако в отличие от Брозовича на вопросе о далеко не ясной процедуре сведения выделенных по отдельным синхронным и диахронным признакам современных и исторических типов литературного языка в понятие более высокой иерархической ступени «тип литературного языка» А. Едличка не останавливается. Заметим, однако, что если принять его предложение и считать типом литературного языка отличную от других совокупность признаков, присущих каким-то литературным идиомам во всех описанных выше классификациях, то разбиение литературных языков на противопоставленные, оппозиционные типы исчезнет, число выделенных таким образом типов литературного языка сравняется с числом привлеченных к сравнению языков,

а вместе с этим исчезнет и целесообразность выделения таких типов как единиц сравнительно-типологического анализа, имеющего целью представить определенную систематизацию, классификацию объектов в рамках типологического целого. Не случайно Д. Брозович, пытаясь охарактеризовать в сравнительном плане типы литературных языков как единиц более высокого по сравнению с установленными в оппозициях по одному признаку типами порядка, переходит на язык цифр — цифровые данные в принципе сопоставимы. Однако реальное содержание, вкладывающееся в понятие «тип литературного языка», при этом остается невыявленным. Нельзя вместе с тем не оценить принципиальной важности предложения А. Едлички о привлечении факторов языковой ситуации при изучении литературных языков в сравнительно-типологическом плане независимо от того, идет ли речь о современных литературных языках или о каких-то этапах их истории<sup>16</sup>.

Оригинальный «социально-коммуникативный» подход к решению проблемы типологической классификации современных (стандартных) литературных языков, основанный на идее тесной взаимосвязи норм «верbalного» (т. е. языкового) и «невербального» поведения индивида в акте коммуникации как форме социального взаимодействия, в котором эти нормы могут «существовать, взаимодополняться, субституировать и потенцировать одна другую», предлагает В. Барнет<sup>17</sup>. Поскольку, по мнению Барнета, понятие нормы в концептуальном отношении близко к понятию стандарта, можно допустить возможность сосуществования точек соприкосновения и между понятиями стандарта, используемыми в лингвистике, с одной стороны, в социологии — с другой. Опираясь на предложенное в одной из работ по социологии выделение четырех типов стандарта, понимаемого как «ролевые предписания (нормы) плюс ролевые экспектации» («ожидания»), В. Барнет предлагает перенести эту классификацию на литературный или стандартный язык. В соответствии с этим выделяются следующие типы лингвистического стандарта: 1) «универсалистический» тип стандарта, в максимальной степени ориентированный на приспособление речевого поведения к ситуации с целью функциональной адекватности сообщения соответствующей ситуации; 2) «интеграционный» тип, ориентированный на объединение определенной языковой территории

<sup>16</sup> Учет факторов языковой ситуации при сравнительном изучении национальных славянских литературных языков в период их формирования находим в ряде современных исследований. Ср., например: *Gutschmidt K. Parallele und divergente Entwicklungstendenzen in jungen slawischen Literatursprachen aus soziolinguistischer Sicht.* — ZfSl, 1973, Bd XVIII, Hf. 4. Таким образом, уже накоплен известный фактический материал для сравнения славянских литературных языков по этим критериям.

<sup>17</sup> *Барнет В.* Языковая норма в социальной коммуникации. — В кн.: Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах, с. 58—64.

с преобладанием унификационных тенденций в рамках языковой сообщности; 3) «интенциональный» тип, ориентированный на достижение определенной цели, например формирование нового литературного языка, приспособление его к новой коммуникативной ситуации, защиты языка как символа национального самосознания; 4) «резистентный» тип, ориентированный на сохранение положения *status quo*, т. е. на сохранение, например, традицией приписываемых языковому стандарту качеств. Таким образом, за основу классификации на типы берется критерий «на что ориентирован данный тип стандарта», т. е. фактор экспекций, ожидания того, каким будет социально одобренное речевое поведение коммуникантов в акте коммуникации. Иными словами, речь идет о специфике отношения общества к реализации норм литературного или стандартного языков в той или иной коммуникативной ситуации. При этом, как подчеркивает Барнет, понятия литературного и стандартного языков нельзя смешивать. Литературный язык «не был в более древние эпохи связан с престижными экспекциями в речевом поведении в рамках всего этого ческого или национального языка»<sup>18</sup>, в то время как стандартный язык всегда связан с экспекциями в рамках всей соответствующей социальной или языковой сообщности. Отсюда следует, как нам представляется, что специфика стандарта в том понимании, какое вкладывает в этот термин сам автор, не может быть оценена только в одном измерении, как это имеет место в предложенной классификации. По-видимому, исходя из логики самого автора, классификацию типов лингвистического стандарта по критерию, на что ориентирован данный тип стандарта, следовало бы дополнить критерием: «насколько широка социальная сфера действия престижных экспекций». Впрочем, поскольку классификация распространяется на предварительно разграниченные по данному критерию литературные идиомы (литературный язык и стандартный язык), критерий социальной сферы действия стандарта в имплицитном виде фактически введен в классификацию. Присутствует в ней и хронологический критерий: классификация призвана охватить разные этапы существования литературных языков — этап их формирования (когда, заметим, еще только складывается новый литературный язык и его новые нормы, и, следовательно, самого лингвистического стандарта, тип которого устанавливается в классификации, еще нет) и этап современных сложившихся литературных (стандартных) языков.

Все это в значительной мере определяет трудности, на которые наталкивается попытка практического наложения предложенной типовой схемы на факты славянских литературных языков. Как отмечает сам автор, ни один из них не представляет собой чистый вид, а всегда относится к смешанному типу с доминантой одного из основных типов. Нельзя вместе с тем не отметить, что учет

<sup>18</sup> Там же, с. 59.

в рамках одной классификации различных состояний литературного языка придает типовой схеме Барнета определенный динамизм, позволяет отразить в ней не только современное состояние национального литературного языка, но и некоторые пути его становления. Так, по Барнету, чешский литературный язык XIX в. был примером резистентного типа и лишь в 20—30-е годы XX в. стал преобразовываться в универсалистический тип стандарта.

Социально-коммуникативный подход может, по мнению Барнета, взаимно дополняться принятым в других работах функциональным подходом. Такая постановка вопроса возвращает нас все к той же нерешенной проблеме выделения типа литературного языка по совокупности признаков, присущих литературным языкам в классификациях по различным критериям. Причем число таких критерии, а следовательно, и число выделяемых по одному дифференциальному признаку типов литературного языка легко может быть умножено<sup>19</sup>. Очевидно, классификации, основанные на выявлении своеобразия той или иной группы современных национальных литературных языков по данному признаку по сравнению с другими принятыми во внимание при сравнительном анализе языками того же типологического ряда, и разбиение языков по этому признаку на противопоставленные типы в силу самой подобной постановки задачи не могут послужить исходным материалом для обобщения, для выделения типа литературного языка как категории более высокого, объединяющего данные всех подобных частных классификаций порядка. В этом причина кажущегося противоречия между целью поиска (выделение типов литературного языка по совокупности указанным способом установленных признаков) и конкретными результатами, к которым приводит такой поиск (число устанавливаемых таким способом типов равно числу привлеченных к сравнению языков). Лишь выявление совокупности сходных, совпадающих у ряда объектов, принадлежащих данному множеству, признаков дает представление о типе.

Это отнюдь не означает, что классификации по критерию своеобразия нецелесообразны. Они не только позволяют судить о распределении современных литературных языков в связи с той или иной их особенностью, что имеет важное познавательное значение, но и дают ценный материал для типологии языков по совокупности соизмеримых с другими языками признаков, характеристики, позволяющей точно определить место того или иного литературного языка в данном типологическом ряду. Однако при этом следует иметь в виду, что типологическая харак-

<sup>19</sup> Ср., например, предложения о разграничении типов славянских литературных языков, отраженные в Хронике второго заседания МКСЛЯ. — ВЯ, 1973, № 5, с. 152—153.

теристика объекта и установление типа объектов — задачи отнюдь не равнозначные. В свете сказанного предложенные в рассмотренных выше работах критерии классификаций, выявляющих своеобразие отдельных групп внутри славянских литературных языков по тому или иному их признаку, можно рассматривать как важнейшие исходные предпосылки для составления вопросника к будущей программе синхронных исследований конкретных славянских литературных языков. Эта программа должна содержать постановку ряда задач для наблюдений над славянскими литературными языками в самых разных аспектах с целью последующего обобщения результатов этих наблюдений и создания на этой основе типологической характеристики отдельных славянских литературных языков в соизмеримых параметрах, позволяющих судить о их соотношении между собой. Формулировка каждого из вопросов программы, как нам представляется, должна основываться на одном конкретном признаке, причем ожидается положительный или отрицательный ответ о наличии этого признака у каждого из привлеченных к сравнительному анализу языков. Сводные данные типологической характеристики литературных языков удобно представлять в виде таблицы. С этой целью факт наличия или отсутствия в каждом из языков того или иного из принятых в расчет признаков определенным образом маркируется. Создание такой программы представляется нам одной из первоочередных задач теории сравнительно-типологического изучения литературных (славянских) языков.

Как уже отмечалось, рассмотренные выше работы посвящены современным национальным литературным языкам. Их авторы видят свою основную задачу в создании классификации этих языков и выделении их типов на основании своеобразия этих языков в том или ином аспекте. Выбор критерии классификации в признаках, свидетельствующих о своеобразии отдельных литературных языков, не случаен. Он обусловлен тем, что сравнению подвергаются объекты, уже предварительно выделенные из множества всех подобных объектов на основании наличия у них определенной совокупности сходных для всех них признаков, т. е. объекты (языки), принадлежащие к одному типу — типу национального литературного языка. Эти сходные признаки<sup>20</sup> как бы выносятся за скобки. Внутри скобок исследуемые объекты могут быть расчленены на группы и классифицированы лишь на основе своеобразия в том или ином отношении. Такая постановка вопроса,

<sup>20</sup> Набор общих признаков, в своей совокупности характеризующих национальный литературный язык и позволяющих рассматривать его как особую историческую категорию, приводится во многих работах. Ср., например: Гуман М. М. Литературный язык. — В кн.: Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 532—534; Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка, с. 4.

естественно, не может вызывать возражений. Не следует только забывать, что и на современном этапе в славянских странах существуют не только национальные литературные языки, но и другие типы литературного языка, например региональные литературные языки. В связи с этим перед синхронной типологией встает задача разграничения данных типов литературного языка по совокупности общих в рамках каждого из них признаков<sup>21</sup>.

Обратим, однако, внимание на другую сторону вопроса. Смещение акцента на изучение факторов своеобразия внутри одного типа может привести к уже неоправданному, на наш взгляд, ограничению задач сравнительно-типологического изучения литературных языков. В задачи такого изучения не в меньшей, если не в большей мере входит выявление типологически сходных особенностей литературных языков разных народов, появлявшихся у них на том или ином этапе их исторического развития под действием общих, типологических тенденций развития, что и позволяет рассматривать литературный язык как категорию историческую, говорить о его исторических типах, определенной последовательности в смене этих типов в ходе поступательного движения общества, развития его экономических и культурных формаций. Подобная постановка вопроса неизбежно приводит нас к проблеме определения задач исторической типологии литературных (славянских) языков и их практической разработки как необходимого предварительного условия исследования литературных языков на современном синхронном срезе.

Задачи исторической типологии существенно отличаются от задач синхронной типологии в том виде, в каком они сформулированы выше, по целому ряду причин. Прежде всего историческая типология литературных языков имеет дело не только с проблемой установления типов литературных языков разных народов по совокупности присущих им на каком-то этапе их развития общих релевантных особенностей (что позволяет, например, установить такой исторический тип, как национальный литературный язык), но и с проблемой изучения «внутринациональных» типов, т. е. типов того же самого литературного языка, сменявших последовательно друг друга в истории литературного языка данного народа, а также в ряде случаев сосуществовавших в нем на определенном историческом этапе его развития и взаимодействовавших между собой. Так, например, в Болгарии в период XVII — первой половины XIX в. сосуществовали, взаимодействовали и сменялись один другим различные письменные идиомы, претендовавшие на роль литературного языка и отражавшие тенденцию к общей демократизации литературного языка, к сближе-

<sup>21</sup> О противопоставлении основных признаков национальных и региональных литературных языков см., например: Толстой Н. И. Славянские региональные литературные языки и их функции в современный и донациональный период. — В кн.: Славянские литературные языки в донациональный период. Тезисы докладов. М., 1969, с. 14—15.

жению его с живым народным языком при сохранении им элементов книжной традиции (язык новоболгарских дамаскинов, восходящих к архетипам начала XVII в., язык Иосифа Брадатого, Паисия Хилендарского, Софрония Врачанского и других писателей начала XIX в.), а также поздние редакции древнеславянского языка (болгаро-сербская, церковнославянско-русская) и многочисленные опыты использования в качестве языка письменности чистого диалекта как крайнее, обреченнное на невозможность какой-либо стабильности проявление тенденции к демократизации<sup>22</sup>. Разнообразие письменно-литературных идиомов на народной основе было обусловлено различными в каждом из них способами решения вопроса о соотношении народных элементов и книжной традиции, а также выбором конкретной диалектной базы. Однако по своему месту в кругу других формаций языкового целого, по своей соотнесенности с другими литературными идиомами данного периода, по своим функциональным особенностям, сфере распространения, характеру норм, по отсутствию у них разговорной формы все они могут быть отнесены к определенному историческому типу литературного языка, известному и в истории других славянских и не только славянских народов — типу книжного языка на народной основе<sup>23</sup>.

Среди исторически сменивших друг друга и сосуществовавших у разных народов на определенном этапе литературных идиомов могли быть представлены идиомы гомогенные и гетерогенные, идиомы, опиравшиеся на живой народный язык и традиционные литературные идиомы, идиомы, связанные только с определенными жанрами письменности, наконец, литературные идиомы с неродной, чужой субстанцией и структурой, выполнявшие те или иные функции литературного языка данного народа. Например, возникшие во второй половине XVI—XVII в. в Словении и в Лужицкой Сербии книжные идиомы на основе народной речи сочетались с использованием латинского и немецкого литературных языков. В Белоруссии и на Украине в этот же период пользуются «простой русской мовой» (т. е. западноукраинским литературным языком, близким в одних своих вариантах к украинскому, в друг-

<sup>22</sup> Общую характеристику этого периода, представляющего собой один из этапов предыстории современного болгарского национального литературного языка см.: Демина Е. И. «Начало» современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии. — ВЯ, 1969, № 6, с. 89—93.

<sup>23</sup> Описание характерных особенностей данного исторического типа литературного языка на материале балканских литературных языков (болгарского, албанского, румынского, греческого) см.: Демина Е. И. Типологическая характеристика раннего этапа формирования балканских литературных языков. Доклады и сообщения советской делегации. III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы. (Бухарест, 4—10 сентября 1974). М., 1974. Сокращенный текст доклада см. в кн.: Балканские исследования. Проблемы истории культуры. М., 1976. с. 285—290.

гих — к белорусскому народно-разговорному субстрату) наряду с книжнославянским, польским и латинским<sup>24</sup>. Число славянских примеров легко умножить.

Необходимость идентификации и разграничения сосуществующих на определенном этапе истории литературного языка данного народа литературных идиомов, отнесения их к одному типу или разным типам по совокупности сходных релевантных признаков, а также важность выявления своеобразия отдельных идиомов внутри данного исторического типа литературного языка с целью типологической характеристики, уточняющей место того или иного литературного идиома в общем с ним типологическом ряду, свидетельствуют о том, что задачи исторической типологии решаются не только с помощью диахронических, но и с помощью синхронических методов анализа. Исторические типы литературного языка, как и динамика их развития во времени, а также процесс их исторической смены должны исследоваться в общем историческом контексте эпохи, в единстве своих синхронических и диахронических взаимосвязей.

Поскольку между отдельными историческими типами литературного языка данного народа и других народов, как и между самими сложившимися на определенном историческом этапе жизни разных народов языковой и историко-культурной ситуацийми, можно провести определенные инвариантные типологические параллели, выявить сходные явления и сходные тенденции их развития, установление «внутринациональных» типов литературного языка может и должно сочетаться с выявлением аналогичных «интернациональных» типов, являясь фактически составной частью этой общей задачи. Таким образом, отдельные исторические типы литературного языка должны рассматриваться как в своих соотношениях в рамках конкретного литературного языка в процессе его исторического развития, так и в их соотношении с особенностями процесса исторического развития литературных языков славянских (и не только славянских) народов в целом.

В связи с этим, естественно, меняется и направленность задач сравнительно-типологического исследования литературных языков, то искомое, к достижению которого оно направлено. Цели классификации определенного типа объектов по своеобразию присущих им признаков, характерные для рассмотренных выше синхронно-типологических исследований, отступают на задний план по сравнению с целью выявления типологического сходства (и типологических различий) в структуре исторического процесса развития литературных языков разных народов, установления

<sup>24</sup> Толстой Н. И. Взаимоотношения локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII вв.). — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. (София, 1963). М., 1963, с. 254.

тех общих, типологических тенденций этого развития, через которые и проявляются присущие этому процессу в целом закономерности, а также с целью определения «возмущений» в конкретном проявлении этих закономерностей, объясняющих, в частности, своеобразием истории данного народа, например, такими факторами, как наличие или отсутствие собственной государственности, единого политического, экономического и культурного центра и соответственно направленной языковой политики государства, формы вероисповедания и их территориальное распределение, уровень образования населения, наличие или отсутствие традиций письменности, богатство литературы и под., а также своеобразием историко-культурной и языковой ситуации на разных этапах этой истории.

При определении задач исторической типологии возникает одна трудность, которую мы до сих пор обходили молчанием. Как известно, характер, сфера действия, функции явления, именуемого «литературный язык», исторически изменчивы, а тем самым объект наблюдений на разных этапах истории как бы не равен себе. Не говоря о возможностях перерыва в развитии, отмечаемого в истории некоторых славянских литературных языков, смены одного литературного языка другим с иной (в том числе неродной, иноязычной) субстанцией и структурой, о возможностях сосуществования у данного народа в данный исторический период разных литературных идиомов и т. п., нельзя не иметь в виду и глубоких различий между литературным языком донационального и национального периодов, что, как известно, даже дает основание некоторым лингвистам отказаться от термина «литературный язык» применительно к любому письменному языку донационального периода. Если считать, что задачей исторической типологии является установление исторических типов литературного языка данного народа и введение этих типов в сходные типологические ряды литературных языков других народов, а также исследование динамики и закономерностей исторического процесса смены этих типов, может возникнуть опасение, есть ли у нас основания для такой постановки вопроса, всегда ли можно говорить о наличии единого объекта таких наблюдений, т. е. о «том же самом» литературном языке данного народа на всем протяжении истории, начиная от появления у него первых литературных идиомов. Представляется необходимым следующее разъяснение.

Мы предлагаем разграничивать относящиеся к разным уровням абстракции понятия, стоящие за термином «литературный язык» в принятом использовании этого термина. С одной стороны, «литературный язык» — это определенное историко-культурное явление, особый социальный феномен, проявляющийся в самом факте наличия у данного народа специально обработанного наддиалектного письменного (или также и устного на основе письменного) идиома или ряда таких идиомов, функционирующих

в качестве средства цивилизации и обслуживающих общение в сфере достаточно высокой культуры, государственные и иные общественные потребности. С другой стороны, это литературные, письменные, книжные и т. п. языки, т. е. те или иные литературные идиомы как конкретная манифестация этого историко-культурного явления. Сравнительно-типологическое изучение литературных языков, на наш взгляд, должно быть ориентировано на определение сходных тенденций в динамике самого данного историко-культурного явления у разных народов, установление сходных типов его манифестации через конкретные литературные идиомы, на поиск тех общих особенностей субстанции и структуры последних, которые обусловлены действием этих тенденций, и, наконец, на изучение общих закономерностей смены исторических типов литературного языка, основанное на выявлении типологически сходных тенденций в структуре процесса развития этого феномена у разных народов.

Хотелось бы еще раз подчеркнуть ту мысль, что обращение к задачам исторической типологии литературных языков, в частности славянских, как нам представляется, методологически обуславливает необходимость выявления в первую очередь именно сходных сторон отдельных литературных идиомов как конкретной манифестации феномена *литературный язык* на данном этапе его развития, идентификации этих идиомов и их объединения в более крупные единицы анализа с целью установления особых исторических типов литературного языка, обладающих специфической совокупностью исторически релевантных общих признаков у всех представляющих данный тип идиомов. Как только мы становимся на почву истории (а так практически мы поступаем и говоря о современном национальном литературном языке как особом историческом типе), сравнение литературных языков по отдельным критериям, позволяющим судить о их своеобразии, не должно выходить за рамки предварительно выделенного по совокупности общих особенностей исторического типа или же использовать лишь на фоне сравнения таких исторических типов в целом. Сравнение же по тому или иному позволяющему судить о своеобразии критерию литературных идиомов «всех времен и народов» и установление на основе такого сравнения особых диахронно-типологических цепочек таких идиомов, разделенных внутри каждой цепочки на типы по тому или иному классификационному признаку, представляется нам атомистичным и неисторичным по своей сути. Подобным недостатком страдает на наш взгляд в других отношениях удачная организация типовой схемы литературных языков в исследовании М. М. Гухман<sup>25</sup>. Автор ставит задачу охватить этой схемой все основные литературные идиомы, отмеченные у разных народов на протяжении всей истории существова-

<sup>25</sup> Гухман М. М. Литературный язык. Раздел «Типы литературных языков», с. 544—545.

вания феномена литературный язык, и разделить их на типы в соответствии с тремя критериями, позволяющими судить о своеобразии таких сторон литературных идиомов, как, во-первых, охват ими сфер общения, во-вторых, характер их единства и уровень нормализационных процессов, в-третьих, степень их обосбления от обиходно-разговорных форм. Классификации по каждому из критериев в отдельности охватывают собой диахронические цепочки литературных идиомов от античности и средневековья до наших дней. Подобранные таким образом литературные идиомы и разделяются на противопоставленные между собой типы. В соответствии с числом избранных в качестве основания для сравнения критериев выделяются три такие диахронические цепочки и предпринимается соответственно три классификации на типы. Так, например, по первому критерию (охват сфер общения) сравниваются между собой: современные национальные литературные языки, средневековые языки Запада и Востока, классический арабский, греческий литературный язык эпохи Гомера. Они подразделяются на следующие типы: литературные языки, обладающие максимальной поливалентностью (сюда относятся различные национальные литературные языки) ~ литературные языки с функциональными ограничениями (только письменные — многие средневековые языки Запада и Востока; выступающие только в устной разновидности — греческий литературный язык эпохи Гомера; имеющие и письменную, и устную форму, но исключенные из определенных сфер общения, — языки Индонезии, кроме индонезийского; внутри только письменных языков вводится и более дробное деление). Подобным же образом строится классификация по двум остальным критериям, причем не все идиомы, рассмотренные в рамках одной классификации как определенный тип, находят свое место в другой. Исключение составляют только национальные литературные языки, участвующие во всех трех классификациях и отнесенные в соответствии с каждым классификационным признаком к особому типу.

Типовая схема М. М. Гухман, безусловно, помогает отразить историческое многообразие типов манифестации феномена литературный язык. Избраны существенные для характеристики литературных языков сравнительные критерии. Однако в целом эту схему отличает, как нам представляется, именно отсутствие подхода к литературному языку как к определенной исторической категории, на каждом этапе своего развития характеризующейся совокупностью, своеобразным неповторимым единством наиболее существенных общих признаков-координат. Сравнение, претендующее на исторический подход, должно, на наш взгляд, быть ориентировано на выделение определенных исторических типов литературного языка по совокупности общих для представляющих его идиомов признаков и лишь на следующем этапе анализа быть сравнением этих исторических типов между собой или же попытками дать классификацию по каким-то своеобразным особенностям

внутри данного типа. При этом не следует отождествлять представление об определенных этапах в развитии феномена литературный язык и соответствующих ему исторических типах языка с фактором обязательной хронологической одновременности этих этапов в истории разных народов.

Решение проблемы выделения исторических типов литературного языка в рамках сравнительно-типологического исследования предполагает необходимость изучения процесса формирования данного типа и представляющих его литературных идиомов у разных народов, выявление основных типологических тенденций этого процесса и особенностей их реализации на фоне своеобразия языковой, исторической и историко-культурной ситуации на данном этапе и, наконец, включение данных такого исследования как в определение самого исторического типа литературного языка, так и в типологическую характеристику отдельных литературных идиомов, принадлежащих к данному типу. Иными словами, подобное исследование должно базироваться на сравнительной характеристике целого исторического этапа функционирования феномена л и т е р а т у р н ы й я з ы к у разных народов, определяемого как период формирования и применения данного исторического типа языка.

Опыт такого исследования был предпринят нами в работе, посвященной типологической характеристике раннего этапа формирования балканских литературных языков — болгарского, албанского, румынского, новогреческого (XVII — начало XVIII в.)<sup>26</sup>, на пример которой мы позволим себе здесь сослаться для разъяснения наших взглядов, поскольку в рамках доклада мы лишены возможности проводить специальные наблюдения в этом аспекте и за славянскими языками. В указанной работе выделены и соотнесены со специфическими особенностями исторической и языковой ситуации жизни порабощенных балканских народов (среди которых решающую роль играло, с одной стороны, отсутствие единого политического, экономического и культурного центра и соответственно направленной языковой политики государства, исповедание у некоторых балканских народов различных религий при конфессиональном в целом содержании литературы, сильная диалектная раздробленность языкового континуума, с другой — процесс пробуждения национального самосознания, подъем национально-освободительного движения, рост городов, развитие ремесла и торговли) независимо сложившиеся у каждого из них сходные типологические тенденции в развитии феномена л и т е р а т у р н ы й я з ы к, проявившиеся на фоне дивергентного развития в эту эпоху, связанного с процессом демократизации литературного языка. Речь идет о тенденции к отказу от традиционного, непонятного простому народу литературного языка (книжно-

<sup>26</sup> Демина Е. И. Типологическая характеристика раннего этапа формирования балканских литературных языков.

славянского в Болгарии, Валахии, Трансильвании и Молдавии, византийского — в Греции, латинского, арабского, отчасти книжно-славянского — в Албании) и созданию новых книжных языков на народной основе; о центробежной тенденции к созданию все новых опытов демократизации языка письменности и новых литературных идиомов; о тенденции к литературному двуязычию и многоязычию гомогенного и гетерогенного характера. В результате действия этих общих тенденций развития и значительного в этот период сходства самих исторических условий созданные в это время в балканских странах книжные языки на народной основе обладали совокупностью общих для них отличительных особенностей. Каждый из них в отличие от сосуществовавших с ним книжных языков на народной основе характеризовался наличием своей собственной нормы или тенденции к таковой при наличии значительного числа вариантов. Типы этих языков различались между собой выбором диалектной базы и отношением к традиции. В процессе создания этих книжных языков имела место ситуация весьма своеобразного гомогенного или гетерогенного двуязычия. Книжные языки на народной основе использовались только в определенной функциональной сфере — обычно конфессиональной письменности, — что влекло за собой возникновение информативной специфики, накладывало отпечаток на их словарь, грамматические и стилистические особенности. Круг действия этих языков был весьма ограниченным, нередко замыкаясь в рамках деятельности отдельного книжника, не распространялся на устное общение, в то же время имело место взаимодействие этих идиомов между собой и их известная преемственная взаимосвязь. Наличие всех этих сходных, независимо у каждого народа сложившихся особенностей рассмотренных литературных идиомов позволяет отнести указанные книжные языки на народной основе к особому историческому типу литературного языка, как историко-культурного явления. Отметим, что этот исторический тип литературного языка<sup>27</sup> на определенном этапе развития был представлен у многих славянских народов (ср., например, язык протопопа Аввакума, язык так называемых «Няговских поучений на евангелие» — памятника закарпатской части Украины конца XVI—XVII в.<sup>28</sup> и др.). Изучение предыстории современных национальных славянских

<sup>27</sup> Подробную характеристику особенностей одного из представляющих данный исторический тип литературного языка у славянских народов книжных языков на народной основе см.: Демина Е. И. Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе. — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. VII Международный съезд славистов. (Варшава, август 1973). М., 1973.

<sup>28</sup> Панькевич І. Закарпатський діалектний варіант української літературної мови XVII—XVIII вв. — *Slavia*, 1958, № 27, seš. 2; Петров А. Материалы по истории Угорской Руси, т. VII. Поучения на евангелие по Няговскому списку. Пг., 1921.

литературных языков и должно, на наш взгляд, начинаться с этого важнейшего переходного этапа.

Сравнительно-типологическое исследование современных славянских национальных литературных языков непосредственно должно предваряться созданием типологической характеристики процесса развития феномена литературный язык на втором этапе их предыстории — этапе формирования нации и национальных литературных языков, связанном в ряде славянских стран с периодом национального Возрождения<sup>29</sup>. Постановка и решение подобной исследовательской задачи безусловно подготовлены благодаря интенсивной разработке вопросов формирования славянских литературных языков в период становления нации как в исследованиях, посвященных отдельным славянским литературным языкам<sup>30</sup>, так и в ряде сравнительных исследований (особенно в работах В. В. Виноградова, Б. Гавранка, Р. Оти, Д. Брозовича, А. Едлички, Г. Шустер-Шевца, К. Гутшмидта).

В рамках данного доклада мы, естественно, не можем в сколько-нибудь полной мере поднять эту большую проблему, к важности разработки которой мы бы только хотели здесь привлечь внимание исследователей. Затронем лишь одну сторону вопроса. Среди многих общих для славянских литературных языков в период их становления в качестве литературных языков нации тенденций развития<sup>31</sup> важно выделить наиболее значимые, ведущие тенденции, существенным образом сказавшиеся на современном облике литературных языков. К числу таких основных тенденций развития, видимо, относятся прежде всего тенденции, связанные с отношением участвовавших в процессе создания литературного языка нации литературных идиомов к традиции и к народной основе, действовавшие на фоне общей для всех славянских языков этого периода тенденции к конвергентному развитию и созданию единого литературного языка нации. Мы имеем в виду: 1) тенденцию к демократизации языка письменности, к широкому использо-

<sup>29</sup> Общую характеристику процесса формирования национальных литературных языков у южных, восточных и западных славян в конце XVII—середине XIX в. см.: Толстой Н. И. О последней попытке применения «общеславянской азбуки» к словенскому литературному языку. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965, с. 260—262.

<sup>30</sup> Соплемся на сборник «Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков» (М., 1978), подготовленный в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, где содержатся и библиографические данные по чешскому, словацкому, верхнелужицкому, сербскому, болгарскому, словенскому литературным языкам.

<sup>31</sup> Заметим, например, что многие признаки, взятые Д. Брозовичем за основу рассмотренной выше классификации стандартных славянских языков, можно отнести к проявлению подобных общих тенденций развития. Так, можно говорить о тенденции к автономности и гибкой стабильности нормы, о тенденции к стилистическому расслоению дублетов, пуристической тенденции, тенденции к калькированию и под. Между собой славянские языки различаются по степени продвинутости этих общих для них тенденций развития.

зованию народных выразительных средств; 2) тенденцию к сохранению «престижных», традиционных форм языка письменности, принятых обществом правил использования языковых идиомов в определенной коммуникативной ситуации; 3) тенденцию, которую можно охарактеризовать как «органическое, проникающее сближение ранее противопоставленных и обособленных систем письменного и разговорного языка»<sup>32</sup> и которая явилась своеобразным синтезом обеих названных выше тенденций.

В большинстве славянских стран в период формирования национальных литературных языков действовали все три указанные тенденции развития, что определяло силу дивергентного развития и сложности последующего конвергентного этапа. В конечном счете под влиянием ряда исторических и общественных причин в каждой славянской стране побеждала какая-то одна из названных тенденций. К крайним проявлениям двух первых тенденций развития может быть отнесено решение языкового вопроса, с одной стороны, у сербов и белорусов, где литературный язык фактически был создан заново на основе живой народной речи, с другой — у чехов, где победу одержала тенденция к возрождению образцовой формы литературного языка XVI в., что, как уже отмечалось выше, на долго определило существенный разрыв между письменным литературным и разговорным литературным языком и сохраняющееся и в наши дни своеобразие соотношения существующих форм литературного языка. Особенность ситуации у словаков определялась, с одной стороны, невозможностью опереться в процессе создания национального литературного языка на собственную традицию, так как до конца XVIII в. у них не было литературного языка на основе родной речи, и в связи с этим существенной ролью тенденции к демократизации, с другой стороны, довольно сильной тенденцией к сохранению в сфере письменности традиций чешского литературного языка, долгое время осознававшегося как обработанная форма родной речи, или попытками найти средний путь. Для русского и польского литературных языков характерно, что действие тенденции к проникающему сближению письменного и разговорного языка, а также отдельные опыты письменности на народной основе имели место на фоне непрерывавшейся литературно-языковой традиции. У большинства славянских народов, прошедших сложный путь развития, на разных этапах которого сосуществовали и противоборствовали разные тенденции развития, в конечном счете победила тенденция ко все более глубокому синтезу выразительных возможностей живого народного языка и традиционных выразительных средств.

Разумеется, не все полученные при сравнительном исследовании процесса формирования того или иного исторического типа языка данные, релевантные для типологической характеристики

<sup>32</sup> Ларин Б. А. Разговорный язык Московской Руси. — В кн.: Начальный этап формирования русского национального языка. Л., 1961, с. 25.

отдельных представляющих данный тип литературных идиомов, должны войти в число признаков самого исторического типа литературного языка. При определении существенных признаков этого типа, совокупность которых отличает его от других синхронных и диахронных исторических типов данного литературного языка и других литературных языков, принимаются в расчет его наиболее общие инвариантные характеристики: степень обработанности и устойчивости нормы, охват функциональных сфер общения, степень его признания и распространения в языковом коллективе, наличие разговорной разновидности, т. е. признаки, явившиеся следствием, итогом пережитого им процесса развития. Типологическая же характеристика отдельных относящихся к данному типу литературных идиомов вберет в себя прежде всего данные о своеобразии реализации в том или ином из них общих, типологических тенденций развития, имевших место в период формирования этого исторического типа. Наряду с данными, выявляющимися при анализе языковой, социальной и коммуникативной ситуации в данном языковом коллективе, а также исследовании специфики присущей данному литературному идиому нормы и особенностей его субстанции и структуры, связанных с действием указанных тенденций развития, эти данные являются необходимым составным звеном типологической характеристики конкретных литературных языков по совокупности соизмеримых с другими языками признаков.

## К ВОПРОСУ О БАЛКАНИЗМАХ В ЛЕКСИКЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

I . 1. Интерес к вопросу о балканализмах в лексике восточнославянских (также и западнославянских языков) стимулируется развернувшейся в последние годы работой над созданием Общекарпатского диалектологического атласа. Так, в лексике украинских говоров Карпатского региона обнаруживается значительное количество элементов балканского происхождения, большая часть которых принадлежит к терминологии горно-пастбищного скотоводства. Поэтому вполне естественно, что некоторые вопросы балканистики, в частности вопрос о происхождении, составе и путях распространения балканской пастушеской лексики, представляют интерес также для исследователей собственно карпатского ареала. Равно и для балкановедения не лишено интереса изучение исторических и территориальных пределов распространения балканских языковых влияний. Разумеется, нельзя не учитывать того, что помимо пастушеской терминологии балканализмы из других лексических сфер в разное время и в различных исторических условиях также проникали в языки и диалекты Центральной и Северо-Восточной Европы.

Вопрос о месте балканализмов в составе общекарпатской лексики, подлежащей картографированию в подготавливаемом атласе, составляет особую проблему. С. Б. Бернштейн, один из инициаторов этих работ, уже начиная со своей программной статьи 1963 г. настаивает на ограничении балканализмов от собственно карпатизмов. Относя возникновение «карпатских инноваций», объединяющих юго-западные украинские и частично говоры западных славян с южнославянскими, к периоду карпатской миграции южных славян (I тысячелетие н. э.), он считает, что именно эти особенности составляют основу карпатского единства и что от этих собственно карпатизмов «необходимо отличать „балканализмы“, многие из которых этимологически восходят к южнославянским языкам. Некоторая часть этих балканализмов — румынского, албанского, новогреческого и турецкого происхождения. В данном случае речь идет о заимствованиях из балканских языков (главным образом через румынский) в сравнительно позднее время (после XIV в.). Турецкое завоевание Балканского полуострова вызвало отлив населения в северные области. Это не могло пройти бесследно для языков карпатского ареала»<sup>1</sup>. Таким образом, карпатизмы и

<sup>1</sup> Бернштейн С. Б. Карпатский диалектологический атлас. — ВЯ, 1963, № 4, с. 79.

балканализмы, как основные единицы, с которыми имеет дело исследователь проблем языковой интерференции на Карпатах, разграничиваются прежде всего хронологически. «Карпатизмы формировались в начальные периоды истории современных языков и диалектов карпатской зоны (первое тысячелетие н. э.)»<sup>2</sup>, и процесс этот еще принадлежит к позднему периоду истории «праславянских диалектов в связи с карпатской миграцией славян»<sup>3</sup>. Проникновение же в карпатский ареал лингвистических балканализмов связано с переселениями более позднего времени, в частности с передвижениями на Карпаты балканских пастухов-номадов.

Такое разграничение полезно с методической точки зрения, поскольку оно определяет различные аспекты (или даже области) карпатологических исследований: с одной стороны, круг проблем, связанных с древней историей славянских племен и их языков, с другой стороны, изучение исторических условий сложения лингвистической карты карпатского ареала на протяжении последних пяти-шести столетий. Но тем не менее, говоря о конституирующих признаках карпатского лингвистического континуума в его исторически существующем виде, мы могли бы все эти признаки, взятые в их актуально данном соотношении, назвать «карпатизмами», а затем уже определять хронологические уровни отдельных языковых слоев.

С этой точки зрения роль собственно балканализмов в создании специфического облика карпатской лексики, определяющего, в частности, особый характер сходств между восточнославянскими и западнославянскими диалектами карпатского региона, была исключительно велика. И прежде всего это относится к терминологии горно-пастбищного скотоводства — факт, исторически связанный с процессом переселения в области Северных и Северо-Западных Карпат восточнороманских пастушеских коллективов, исторически засвидетельствованным в период XIV—XVII вв., но начавшимся, возможно, и ранее (так называемая «валашская колонизация»).

Миграционные передвижения групп балканского пастушеского населения в центральные районы Восточной Европы, совершившиеся постепенно, на заднем плане политической истории и без заметного влияния на ее события, в течение нескольких столетий захватывали горные области Украины, Польши, Венгрии и Чехословакии, оставляя определенные следы в культурно-бытовом облике и диалектах населения соответствующих районов и придавая им тем самым черты значительного сходства. Этот факт привлекает к себе в последнее время пристальное внимание этнографов<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Бернштейн С. Б. Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии. — В кн.: Славянское языкознание. М., 1973, с. 31.

<sup>3</sup> Там же, с. 37.

<sup>4</sup> См. изданные в Венгрии специальные сборники, посвященные горно-пастбищному скотоводству: Viezucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa.

и лингвистов. Подготавливаемый Общекарпатский диалектологический атлас несомненно даст богатый материал для углубленного изучения указанной проблемы в ее лингвистических аспектах. В опубликованных работах пока рассматриваются происхождение и распространение лишь отдельных лексических балканализмов, представленных в языках карпатского ареала<sup>5</sup>.

Для изучения карпатских балканализмов прежде всего необходимо располагать их относительно полным перечнем. В этом отношении определенным шагом вперед является опубликование Индекса молдавской части программы-вопросника «Общекарпатского диалектологического атласа»<sup>6</sup>. Этот Индекс может служить отправной точкой для предварительного выделения основного репертуара балканализмов, содержащихся в карпатской лексике. Хотя в Индексе представлены только молдавские лексемы, подбор их строго определен наличием соответствий в говорах хотя бы двух языков Карпатской зоны. Весь материал был тщательно отработан на заседаниях III Международной конференции по «Общекарпатскому диалектологическому атласу» (Кишинев, 21—23 апреля 1975 г.). Поэтому любой из помещенных в Индексе лексических элементов может интерпретироваться как карпатизм (в широком значении этого термина). Разумеется, молдавская часть

Budapest, 1961; Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Budapest, 1969. Польский этнограф К. Добровольский пишет об исторической значимости продвижения в Северные Карпаты валашского пастушеского населения, происходившего медленно, но неуклонно в направлении с востока на запад. Это продвижение отмечается в сообщениях о странствиях пастухов и об отведении им земель крупными землевладельцами. «В южной части Восточных Карпат (в Карпатской Украине) свидетельства об отведении земель относятся еще к первой половине XIV в.; в Западных Бескидах, ранее всего в области Живца (*Zywiec*), и в Силезских Бескидах, а также в Моравской Валахии и в Северо-Западной Словакии оседание пастушеского населения происходило, согласно источникам, главным образом в XVI в. Хронология поселений сама по себе еще не указывает на нижнюю границу времени появления в Карпатах валашского элемента. Не подлежит сомнению, что выделению земель для поселения ранее предшествовали странствия пастухов, о чем вполне определенно свидетельствует название *Beskid* (*Bieskit*). *Beskid*, *Bieszczad*, это слово албанского происхождения, встречается на южной стороне центральной части Северных Карпат уже в 1269 г. Во всяком случае хронология выделения земель вполне определенно отражает наложение прошлого валашского элемента, происходившее этапами» (*Dobrowolski K. Die Haupttypen der Hirtenwanderungen in den Nordkarpaten vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. — Viezucht u. Hirtenleben*, с. 120).

<sup>5</sup> Клепикова Г. П. К вопросу об изучении балкано-карпатской терминологии горного пастушества (*strunga* и родств.). — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1972; *Она же*. Балканские элементы в карпатской терминологии горного пастушества. — В кн.: Проблемы истории и культуры. М., 1976. См. также: Клепикова Г. П. Славянская пастушеская терминология. М., 1974; *Она же*. Функционирование и генезис терминологии горного пастушества в славянских диалектах карпатского ареала. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Л., 1975.

<sup>6</sup> Общекарпатский диалектологический атлас. Лингвистические и этнографические аспекты. Кишинев, 1976, с. 155—192.

будущего вопросника далеко не охватывает состава чисто славянских карпатизмов. Однако в отношении основного репертуара карпатских балканализмов материал, представленный в Индексе, вероятно, дает более или менее полную картину. Во всяком случае это касается элементов восточнороманского происхождения, а также албанских, греческих и турецких элементов, проникавших в карпатскую языковую среду через посредство восточно-романской речи переселившихся в горные районы Карпат балканских пастухов-номадов<sup>7</sup>.

В дальнейшем изложении я совершенно оставляю в стороне сложный вопрос о балканизмах южнославянского происхождения, ограничение которых от древних «карпатизмов» эпохи карпатской миграции южных славян представляет значительные трудности<sup>8</sup>. Внимание будет сосредоточено в основном на восточнороманском лексическом слое, включая входящие в него древнебалканские элементы, а также албанские и греческие (вопреки ожиданиям, очень немногочисленные) заимствования.

I. 2. Значительную часть карпатских балканализмов составляют чисто романские элементы с ясной этимологией. Среди них широко представлены термины горно-пастбищного скотоводства.

Специализированные названия пастушеских профессий и типов пастбищ: молд. *пăкуரăр* ‘овечий пастух’, ср. рум. *răscigăr* id. (лат. *pecus*, -*oris* ‘скот’, произв. *pecorārius*); молд. *боуăр*, рум. *bouăr* (лат. *bo(u)ārius* от *bōs*, *bouis*), молд. *вăкăр*, рум. *văcăr* (лат. *casca* ‘корова’) ‘пастух крупного рогатого скота’; молд. *пăскэлăу* ‘пастбище’ (лат. *păscuălis*, произв. от *păscere* ‘пасти’); молд. *вăрăтик*, рум. *vărătic* ‘летнее горное пастбище’ (\**uegăticus*, произв. от лат. *uegă*, *ueris* ‘лето’); молд. *томнăтик* ‘осеннее пастбище’, ср. рум. *tomnătic* ‘осенний’ (\**autumnăticus* от лат. *autumnus* ‘осень’); молд. *иernăтик*, рум. *iernătec* ‘зимнее пастбище, зимовка, зимний корм’ (\**hibernăticus* от лат. *hibernus* ‘зимний’); молд. *мериээ* ‘место полуденного отдыха скота; полуденный отдых скота’, ср. алб. *тigzizë* id. (лат. *meridiare* ‘предаваться полуенному отдыху’).

Овчье стадо и овцы, различаемые по определенным признакам: молд. *тұрмэ* ‘стадо; специально большая отара овец; стая (птиц), толпа (людей)’, рум. *turmă* id. (лат. *turma* ‘конный отряд’ — толпа); молд. *сугăр* ‘новорожденный ягненок, сосунок’, рум. *sugăr* ‘грудной ребенок, ягненок-сосунок’ (лат. *sūgāre* ‘сосать’); молд. *корнӯтэ* ‘рогатая овца’, рум. *cornut* ‘рогатый’ (лат. *cornutus* ‘рогатый’); молд. *мулгăрэ* ‘дойная овца’, рум. *mulgără* id. (лат. *mulgere* ‘доить’).

<sup>7</sup> См.: Голомб З. Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје. — В кн.: Македонски јазик, X, кн. 1—2, 1959.

<sup>8</sup> См.: Бернштейн С. Б. Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала, с. 36 и сл.

Названия молочных продуктов, производимых в горных станах: молд. *lăptie* 'разовое количество молока, выдоенное от всех овец', рум. *lăptie* 'молоко' (лат. *lac*, *lactis*, арх. *lacte* 'молоко'); молд. *кяг*<sup>1)</sup> сывороточная закваска, 2) сырье ягненка, теленка; 3) желудок животного, 4) внутренности животного, 5) сгущенное молоко' и др., ср. рум. *chiág* 'сычуг' (лат. *coāgulum* 'свертываемое вещество; закваска; сырье; кислое молоко'); молд. *каш* '1) сгустившееся овечье молоко, 2) свежий овечий сыр; 3) сорт брынзы', ср. рум. *caș* 'свежий овечий или козий сыр' (лат. *cāseus*, *cāseum* 'сыр').

В репертуар скотоводческой лексики романского происхождения, естественно, входят также анатомические термины: молд. *кárne* 'мясо', рум. *cárne* (лат. *carō*, *carnis* 'кусок мяса'); молд. *коáдэ* 'хвост' (также 'коса, лента'), рум. *coádă* 'хвост' и др. (лат. *cauda*, *coda* 'хвост'); молд. *кан* 'голова', рум. *cap* id., молд. *кэнэцъинэ* 'голова животного, отделенная от туловища', рум. *cărațâna* (лат. *caput*, *-itis* 'голова'); молд. *бэшикъ* 'пузырь; мочевой пузырь', рум. *băsică* (лат. *uēsica* id.); молд. *флокотый* 'линяющая шерсть у животного; шерсть низкого качества', рум. *floc* 'клок, прядь', ср. алб. *flok* 'волосы' (лат. *floccus* 'клок шерсти').

Романские элементы богато представлены в географической лексике, непосредственно отражающей естественную среду пребывания бродячих пастухов с их стадами — горный ландшафт: молд. *жýнте*, рум. *mûnte* 'гора' (лат. *mons*, *montis*), молд. *кулme*, рум. *cúlme* 'вершина' (лат. *columnen* 'вершина; конек кровли'); молд. *коáсте* 'склон горы, косогор', ср. рум. *coástă*<sup>1)</sup> ребро, 2) сторона, 3) берег' (лат. *costă* 'ребро, бок'); молд. *плай* 'плоскогорье, горная местность, горный склон' и др., рум. *plái* id., ср. алб. *pllajë* 'плоскогорье' (\**plania* от лат. *plānus* 'ровный, плоский'); молд. *вáле*, рум. *vále* 'долина' (лат. *vallēs*, *vallis* id.); молд. *рýпэ*, рум. *gâră* 'овраг, обрыв, пропасть', ср. алб. *gripe* 'обрыв' (лат. *gīra* 'берег'); молд. *рупту́рэ* 'обрыв, овраг', рум. *gurătura* 'разрыв, обрыв' (лат. *gurtúra* 'разрыв, разлом'), молд. *рыу*, рум. *gâi* 'ручей, поток' (лат. *gīus* id.); молд. *ваd*, рум. *vad* 'брюд, мелкое место', ср. алб. *va* id. (лат. *uadum* 'брюд'); молд. *фынтынэ*, рум. *fântâna* 'колодец, источник' (лат. *fontâna* id.); молд. *фрэснёт* 'ясеневый лес', рум. *frăsinét* id., *frásin* 'ясень', ср. алб. *fráshen*, *fráshër* 'ясень' (лат. *fraxinus* 'ясень'); молд. *фэжёт*, рум. *fágét* 'буковая роща', *fag* 'бук' (лат. *fagus*); молд. *плоáе*, рум. *ploáie* 'дождь' (лат. *pluuiia*, \**plovia*).

Наличие романизмов характерно также для карпато-балканской лексики, связанный с пастушеским бытом, включая одежду, пищу и др.: молд. *купэ*<sup>1)</sup> единица меры молока у пастухов, 2) кружка, глиняная чашка для еды; ковш, стакан и др.', ср. рум. *сирă* 'чаша, кубок, ковш' (лат. *сирра* 'чан, кадка'); молд. *спүзэ*<sup>1)</sup> горячая зола, смешанная с угольками (у костра пастухов); *пепел*', рум. *spuză* 'зола', ср. алб. *shpuzë* 'горячая зола, перемешанная с угольками' (лат. *spodium* 'пепел, зола' — из греческого,

ср. греч. *σποδιά* ‘куча золы’); молд. *спузár* ‘человек, поддерживающий огонь на летних пастбищах в горах’; молд. *кэмíшэ*, рум. *cămásă, cămésă* ‘рубаха’, ср. алб. *këmishë* id. (лат. поздн. *camisia* id.); молд. *пептáр* ‘безрукавка овчинная’, рум. *rieptár* ‘безрукавка’, ср. *riépt* ‘грудь’ (лат. *pectus, -oris* ‘грудь’); молд. *колçúнь* ‘1) носки; чулки, 2) гетры из шерстяного домотканого материала’, рум. *colçún* ‘чулок’, ср. алб. *kalcë* ‘узкие штаны из домотканой шерсти’ (лат. *calx, calcis* ‘пятка; нога’, *calceus, calceolus* ‘одежда для ног’); молд. *тýртэ*, рум. *turtă* ‘лепешка’ (лат. *torta* ‘круглый пирог’); молд. *плэчýнтэ*, рум. *plăcintă* ‘плоский слоеный пирог’ (лат. *placenta* ‘плоский пирог’ — из греч. *πλαχός* ‘плоская лепешка; пирог’), молд. *погáче* ‘лепешка; булка’, рум. *pogáce* ‘лепешка из кукурузной муки’ (нар. лат. *focácea* ‘лепешка’), молд. *бука́тэ* ‘кусок (хлеба и др.)’, рум. *bucátă* id., *bucáte* ‘1) кушанье, 2) злаки, зерновые хлеба, 3) скот’ (лат. *bucca* ‘1) рот, 2) кусок (пищи)’).

Несколько яркими романизмами характеризуется терминология родства: молд. *фамíлье*, рум. *familie* ‘семья, родня’, ср. алб. *fëmijë* ‘дитя; семья’ (лат. *familia* ‘коллектив домочадцев, включающий рабов и слуг’); молд. *непом, непоáтэ* ‘внук, внучка; племянник,-ца’, рум. *перóт, пероáта* id. (лат. *perōs, -ōtis* ‘внук, племянник’); молд. *кумнáт* ‘шурип, деверь, зять, свояк, кум’, рум. *cumnát* id.; молд. *кумнáтэ* ‘золовка, свояченица’ и др., рум. *cumnátă* id., ср. алб. *kunat, kunatë* id. (лат. *cognātus, cognāta* ‘родственник,-ца, свойственник,-ца’); молд. *сóкру*, рум. *sóсru* ‘свекор, тесть’, молд. *соáкре*, рум. *soácră* ‘свекровь, теща’ (лат. *socer* ‘свекор’, поздн. произв. *socra* ‘свекровь’).

Относительно мало романизмов в земледельческой лексике. К числу их можно отнести: молд. *цáринэ* ‘1) пашня, нива; 2) территория села вместе с пастбищами и полями; 3) поле, 4) пастбище’ и др., рум. *țárină* ‘пашня, нива’, ср. молд. *цáрэ*, рум. *țără* ‘страна’ (лат. *terra*); молд. *чапэ* ‘лук’, рум. *серóі* ‘большая луковица’ (лат. *cépa* ‘лук’); молд. *линтэ*, рум. *línte* ‘чечевица’ (лат. *lens, lentis* ‘чечевица’) и др. В равной мере как со скотоводством, так и с земледельческим хозяйством могут быть связаны такие термины, как молд. *фуркэ* ‘1) вилы, 2) прядлка, 3) вилообразная подпорка для ветвей’, ср. рум. *furgă*, алб. *furkë* id. (лат. *furca* ‘вилы’); молд. *кар* ‘воз; арба’, рум. *car* id., молд. *кэрўцэ* ‘телега, повозка’, рум. *сáгүтă* id. (лат. *carrus, carrum* ‘четырехколесная повозка’); молд. *кэнэстру* ‘недоуздок, узда; вожжи’, рум. *căpástru* id., ср. алб. *karistër* id. (лат. *caristrum* ‘неуздок, намордник’) и др.

Обзор романских элементов карпатской лексики приводит к заключению об их преимущественной принадлежности к совершенно определенной семантической сфере, связанной с хозяйством, бытом и географическими условиями существования балканского пастушества. Дальнейшее подтверждение это заключение находит при анализе тех балканализмов, занесенных в карпатский ареал восточнороманскими пастухами, которые могут рассматриваться

ваться как языковой вклад древнебалканского населения, а в некоторых случаях как ранние заимствования, проникшие в восточно-романскую речь из албанской.

В мои задачи не входит рассмотрение сложного и спорного вопроса об исторических взаимосвязях восточнороманских языков и албанского. Резюмирую кратко его фактическую сторону. Многие из нероманских элементов в лексике восточнороманских языков имеют соответствия в албанском языке. Соответствия эти можно разбить на три категории: а) лексические элементы, этимология которых неясна как для восточнороманских языков, так и для албанского; б) лексические элементы, этимологизируемые на почве албанского языка, но не заставляющие с необходимости предполагать в них источник заимствования для соответствующих восточнороманских слов; в) лексические элементы, не только получающие достаточно убедительную этимологию на почве албанского языка, но и дающие основания усматривать в восточнороманских формах дериваты, произведенные на албанской почве с помощью продуктивных албанских суффиксов.

Основой для исторического объяснения имеющихся лексических соответствий могут служить следующие соображения.

1. Палеобалканский язык (дакийский), послуживший субстратом при образовании восточнороманских языков, и палеобалканский язык (древнеалбанский), продолжением которого является новоалбанский язык, по всей вероятности, были между собой достаточно близки. Независимо от того, именовать ли древнеалбанский язык иллирийским или фракийским (при отсутствии достаточно релевантных лингвистических материалов, выдвигаемые гипотезы опираются в основном на соображения экстралингвистического характера), и восточнороманская, и албанская речь могли унаследовать от палеобалканского языкового континуума первых веков новой эры тождественные или очень сходные лексические элементы. Так как албанский язык непосредственно продолжает один из палеобалканских языков, то, естественно, материалы его словаря, его морфологическая и словообразовательная системы предоставляют более благоприятные условия для этимологических исследований, чем это возможно при изучении восточнороманской лексики, для которой палеобалканализмы являются субстратными. И в этом аспекте факты албанского языка могут иметь определенную объяснительную значимость при исторической интерпретации древнебалканских элементов восточнороманской лексики, безотносительно к решению вопроса о заимствованиях.

2. История албанского народа на протяжении первого и в начале второго тысячелетий н. э. в сущности почти не известна, что делает допустимым выдвижение разного рода гипотез относительно территории его расселения, передвижений, контактов с другими народами Балканского полуострова. Наличие в восточнороманской речи некоторого количества старых заимствований из албанского

языка составляет один из немногих реально данных фактов, на которые могут опереться историки, изучающие этот круг вопросов. При интерпретации древних албано-восточнороманских языковых контактов можно принимать во внимание существование пастушеского номадизма не только у восточных романцев, но в прошлом также и у албанцев (отгонное скотоводство существовало у северно-албанских горцев еще в XIX в.). Балканская пастушеская лексика, распространявшаяся далеко на север — в область Карпат, складывалась в процессе многовековых контактов между разноплеменными пастушескими коллективами. История этих контактов не зарегистрирована письменными источниками, но следы ее сохраняются в живых балканских языках и диалектах.

Карпатские балканализмы нероманского происхождения выразительно свидетельствуют о древности этого лексического слоя и о его принадлежности к сфере пастушеской терминологии.

Среди балканлизмов, занесенных в карпатский ареал восточно-романскими пастухами, многие слова имеют соответствия в албанском языке. В некоторых случаях это позволяет установить этимологию индоевропейского уровня.

Так, например: молд. *gară*, рум. *gard* ‘изгородь, плетень’ — алб. *gardh* id. из и.-е. \**ghord-*,ср. лит. *gaſdas* ‘изгородь, огороженное место’ и др. Интересно, что в албанском *gardh-* является основой для образования производных со значением ‘оплетения (соломой, ветками)’, например *gardhōgē* ‘оплетенная бутыль’, *gardhēc* ‘плетеный (из прутьев) короб для кукурузных початков’. Вост.-ром. *gard* может являться наследием другого древнебалканского языка, также осуществившего переход и.-е. \**o* > а. Однако не исключается и заимствование из албанского.

Молд. *țarc* ‘1) загон (для ягнят, телят, поросят), 2) загороженное место, куда кладут молочные продукты, 3) плетеный короб для кукурузных початков’, рум. *țarc* ‘1) загон для ягнят, 2) изгородь вокруг стога сена’ — алб. *thark* ‘1) огороженный плетнем загон для скота, 2) отгороженная плетнем кладовая для молочных продуктов, 3) плетеный короб для кукурузных початков’. Албанская именная основа *thar-k-*, образованная с помощью суффикса -k, находится в аблautном отношении к глаголу *thur* ‘плести, окружать плетнем’. Это указывает на то, что индоевропейский корень \**k̑er-* ‘плести, вить’ мог иметь рефлексы помимо зарегистрированных в Этимологическом словаре Ю. Покорного армянских и греческих также палеобалканских. В процессе сатемной ассимиляции и.-е. \**k̑* → алб. *th*, промежуточной ступенью был звук типа *ts̑*<sup>9</sup>. Консонантизм восточнороманского слова, которое может быть как субстратным элементом, так и заимствованием, отражает эту промежуточную ступень, ср. также и.-греч. *τσάρχος* ‘загон для козлят’.

<sup>9</sup> См.: Çabej E. Ältere Stufen des Albanischen im Lichte der Nachbarsprachen. — Zschr. f. Balkanologie, 1964, II, с. 17 и сл.

Молд. *трінэ*<sup>1)</sup> плетеная калитка в овечьем загоне, 2) борона, 3) сплетенное из ветвей приспособление для сушки инжира — алб. *trinë id.*, возможно, производное с нулевой ступенью огласовки от *tjerr* ‘вить, прясть’<sup>10</sup>, восходящего к и.-е. \*terō (корень \*ter-) со значением ‘drehend reiben oder bohren’,ср. др.-в.-н. *dräen*<sup>11</sup>. В этой, как и в предшествующих лексемах, отражена характерная для пастушеского быта практика изготовления хозяйственных приспособлений из веток или прутьев (плетеных загородок и др.).

Молд. *стырпі* ‘1) терять молоко, 2) высыхать (о воде)’, рум. *stârpî* ‘терять молоко, осушать, истощать; уничтожать’. Албанские соответствия представлены целым гнездом образований, восходящих к родственным индоевропейским корням \*(s)ter- ‘бесплодный’ (ср. лат. *sterilis*, гот. *stairō f.* и др.) и \*ters- ‘сохнуть, жаждать’: *shterr* ‘иссякать’ — ‘1) об источнике, 2) о корове, козе, овце’, т. е. ‘терять молоко’, ср. *ter* ‘сушить’. С детерминативом -р-: *shterpē* ‘яловая овца’, *shterpōj* ‘терять молоко’, ср. также: *shterpōre* ‘двухлетняя коза’, *shterrē* ‘молодая корова, которая еще не телилась’.

Молд. *чут* ‘безрогий, бесхвостый, безухий (баран или овца); с изъяном’, рум. *ciut* ‘безрогий’, *ciută* ‘лань’ — алб. *shyt*, -ё ‘безрогий’ с изъяном (например, кувшин с отбитой ручкой), *sutë* ‘лань’. Может восходить к и.-е. \*sk(h)e-n-d, \*(s)k(h)ed- ‘раскалывать’ (расширение \*sek- ‘резать’)<sup>12</sup>; образование остается, однако, не вполне ясным.

Молд. *зárэ*, рум. *záră* ‘пахтанье’, молд. *зэр*, рум. *zăg* ‘сыворотка из овечьего или коровьего молока’ — алб. *dhallë* ‘пахтанье’, ср. греч. γάλα, γάλακτος ‘молоко’, лат. *lac, lactis*. Если реконструировать индоевропейский корень с начальным палатальным ꝑ, то в албанской форме *dhallë* перед нами оказывается конечный результат процесса ассимиляции, а в восточнороманском — его промежуточная ступень. Э. Чабей считает восточнороманскую форму заимствованной из древнеалбанского<sup>13</sup>.

Молд. *póтурэ* ‘1) слой теста, 2) блин’, рум. *pătură*<sup>14</sup> ‘шерстяное одеяло, 2) попона, 3) слой’ — алб. *pétull(ë)* ‘1) блин, оладья; 2) плоский камушек’. Албанские и восточнороманские образования восходят к тому же индоевропейскому корню \*pet-, \*petə- ‘простираться’, от которого происходят лат. *rateō* ‘быть открытым, простираться’, греч. πετάνωμι ‘простирать, расстилать’, πέταλον ‘лист’ и др. Албанская основа *petë-* оказалась очень продуктивной, о чем свидетельствует большое количество производных. В этой связи получает объяснение также соответствие алб. *petk, petëk* ‘одежда’ — молд. *nétek* ‘1) кусок ткани, 2) заплата, 3) платье,

<sup>10</sup> См.: *Camaj M. Albanische Wortbildung*. Wiesbaden, 1966, с. 49.

<sup>11</sup> *Pokorny J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, 1, 1956, с. 1071—1072; см. также: *Çabey E. Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe.—Studime Filologjike*, 1966, 2, с. 79.

<sup>12</sup> *Camaj M. Albanische Wortbildung*, с. 61.

<sup>13</sup> *Çabey E. Ältere Stufen des Albanischen*, с. 21.

4) имущество', рум. *pétec* '1) лоскут, 2) заплата, 3) клочок'. Алб. *pet-k*, *petë-k* образовано от основы *petë-* с помощью суф. -k и первоначально имело значение 'лоскут, кусок ткани', засвидетельствованное в восточнороманских формах.

Молд. *скрум*, рум. *scrum* 'пепел' — алб. *shkrum(b)* id. Албанское слово хорошо объясняется из и.-е. \*ker(ə)- 'гореть'. Продуктивный в албанском преверб *sh-* передает полноту завершения процесса сгорания, конечное -b не имеет этимологического характера<sup>14</sup>.

Молд. *бӯзэ*, рум. *búză* '1) губа, 2) край' и др. — алб. *buzë* '1) губа, 2) край, берег' и др. Еще Н. Йоклем было дано объяснение алб. *buzë* из \**bug-zë* < \**bṛdīā*<sup>15</sup> от и.-е. \**bher-* 'расщеплять, раскалывать', ср. лит. *burgá* 'рот', болг. *бърна* 'губа'. В восточнороманском или тождественный по происхождению субстратный элемент, или давнее заимствование из албанского.

Молд. *бálтэ*, рум. *báltă* '1) озеро, 2) болото, лужа' и др. — алб. *baltë* 'размокшая (от дождя или снега) земля; почва'. С историко-фонетической точки зрения албанское слово выявляет характерное для древнебалканских языков отражение и.-е. \**bhol(ə)tă*, будучи, таким образом, дополнительным свидетельством распространения слова в балканском ареале и древних связей этого ареала с балто-славянским. Восточнороманское *baltă* также имеет древнебалканское происхождение.

Молд. *белán*, рум. *bălán* '1) белой масти (о животных), 2) белокурый' — алб. *bal*, *balík* 'собака с белым пятном на лбу', *bálo* 'белый вол', *balásh*, *balósh* 'конь с белым пятном на лбу' и др. Эти образования этимологически восходят к и.-е. \**bhol-* 'белый, блестящий'.

Молд. *vátrę* '1) место, где горел костер, 2) очаг, 3) огонь' и др., рум. *vátră* 'очаг' — алб. тоск. *vatërg*, опред. *vatra*, гег. *votërg*, опред. *votra* 'очаг'. Албанское слово имеет себе соответствия индоевропейского уровня в авест. *ātar-* 'огонь', лат. *ātrium* 'центральное помещение римского дома, снабженное дымовым отверстием в кровле', ср. прилаг. *āter*, *ātra*, *ātrum* 'темный, черный' (первоначально 'задымленный'); ирл. *áith* (род. п. *átho*) 'печь' и др. С историко-фонетической стороны алб. *vatërg*, *votërg* совершенно прозрачно. Из двух диалектных форм более ранней является гег. (*v*)*otërg*, отражающая соответствие и.-е. \**ā* — алб. *o*, ср. и.-е. \**mātar-* 'мать' — алб. *motërg* 'сестра'. Появление перед *o* протетического *v*- имеет себе аналогию в заимствованных из латинского гег. *voj* (из *oleum*) 'растительное масло' и прилаг. *i vorfén* (из *orphanus*) 'бедный'. В древнетоскском начальное \**vo-* > *va-*, ср. гег. *votërg* — тоск. *vatërg*, гег. *voj* — тоск. *vaj*, гег. *vorfén* — тоск. *varfërg*. В определенной форме ед. числа и с тоскским вокализ-

<sup>14</sup> См.: Çabej E. Studime rrëth etimologjisë. — Studime Filologjike, 1966, 1, c. 27.

<sup>15</sup> Jokl N. Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. — Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. d. Akad. d. Wiss. in Wien, 1911, Bd 168, 1, c. 8.

мом алб. *vatra* широко распространилось в ряде славянских языков. Вост.-ром. *vatră* является, вероятно, заимствованием из албанского.

Следующая группа балканлизмов обнаруживает явные признаки непосредственно албанского происхождения. Это прежде всего образования с суффиксом собирательности *-zë* (< \*diā), который ранее был в албанском языке весьма продуктивен.

Молд. *рыйзэ* '1) желудок, спец. желудок жвачного животного, 2) сыр, 3) сорт брыззы, приготовленной в желудке теленка или ягненка', рум. *rânză* '1) желудок, 2) зоб (у птицы)' — алб. *gréndës*, *rréndëz(ë)* < *grâne-zë* 'сычужное вещество', производ. от *grâne*, *grénë* '1) сыр, 2) сыр (ягненка или теленка), 2) сыр (ягненка или теленка)', *rraskë*, *rraskëz*. Вост.-ром. *rânză* — это алб. *grâp(ë)zë*. Этимологически алб. *ran-* со значением 'сычужный фермент' можно сопоставить с др.-в.-нем. *rinnan* 'бежать, течь', нем. *gerinnen* 'свертываться' (о молоке, крови),ср. *die geronnene Milch* 'свернувшееся молоко'. Ср. также алб. диал. *grâj* (<*grânj*) 'бежать, течь, капать', а также *ren(d)* 'бежать'. И германские, и албанские лексемы восходят к и.-е. \**er-*, \**g-* 'приходить в движение'.

Молд. *брыйза* '1) соленый свежий (или коровий) сыр, 2) внутренности', рум. *brânză* 'брыйза', *a se facere brânză* 'свернуться' (о молоке) — алб. вост. гег. *brenza-t* мн. 'внутренности', производ. от наречия *brenda* 'внутри', ср. в тексте XVI в. (Бузук) *përbrendësa* 'interius, viscera'. Заимствованное восточнороманским албанское существительное *bréndëza* > *brenza* имело значение 'желудок, сыр'.

Молд. *гэлбáзэ*, рум. *gălbeáză* 'болезнь (печени) у овец' — алб. *gëlbázë*, *këlbázë* 'мокрота, выделения; болезнь у овец'. В восточнороманской лексике это изолированный термин; в албанском *këlbázë* отчетливо соотносится с глаголом *kalb* 'гноить', *kalbem* 'гнить', ср. *i kalbët*, *i kalbur* 'гнилой', с умлаутом *qelb* 'гной' и др.

Молд. *зэбáле* '1) пена у рта людей, скота, 2) трещинки, ранки в углах рта, 3) коренной зуб, 4) удила', рум. *zăbálă* '1) удила, 2) мн. ранки в углах рта' — алб. *dhëmballë* 'коренной зуб' (др.-алб. \**džambálā*), производ. с аугментативным суффиксом от *dhëmb* 'зуб' из и.-е. \**ǵompho-*, ср. др.-инд. *jámbha-ḥ*, ст.-сл. *зѣбъ* и др. Албанское слово получило в речи восточнороманских пастухов новые значения.

Молд. *бáрзэ*, рум. *barză* 'аист' — алб. прилаг. *i bardhë* 'белый' (др.-алб. \**bardža-*) из и.-е. \**bh₂erǵo-* 'белый; сверкающий'. Ср. производные *bardhosh* 'белый козел, белый конь', *bardhíshe* 'белая коза' и др.

Молд. *мош* рум. *mos* 'старик' — алб. *moshë* из \**motsha* 'возраст', производ. от формы отложит. п. мн. ч. существительного *mot* 'время, год'. Алб. *mot* восходит к и.-е. \**mē-to-* 'год', ср. лит. *mėtas* 'год, время', и.-е. \**mē-* 'измерять'.

Молд. *пурѓу*, рум. *pârău* 'ручей, поток, речка' — алб. *тоск*. *përrgúa*, гег. *prgré* 'ручей, поток', основа *рггоп-* из *pë-(г)он-<\*ре-рēн-*, и.-е. \**rē-n-* от \**er-*, \**r-* 'приходить в движение, волноваться'. О происхождении из албанского вост.-ром. *pârău* и болг. *порой* 'дождевой поток' писал еще Г. Мейер<sup>16</sup>.

И, наконец, балканским албанского происхождения, проникшим далеко на север, с полным основанием можно считать название горной цепи на севере карпатского региона: укр. *Бескид*, польск. *Beskid*, венг. *Beszkéd*. В восточнославянском представлен апеллятив: молд. *бескид* 'гора (с летним пастбищем); скала'. В албанском ему соответствует апеллятив *bjeshkë* 'летнее пастбище в горах; гора, на которой летом пасут скот; горный хребет'; от него производные *bjeshkój* 'пасти скот на горных лугах', *bjeshkatár* 'пастух, пасущий скот в горах', *bjeshkatáre* 'женщина, изготавлиющая молочные продукты в горном стане', *bjeshkí* 'мастерство изготовления молочных продуктов'. В определенной форме мн. ч. *bjeshkë* образует оронимы: *Bjeshkët e Nëtuna* — серб. *Проклетия*, букв. 'Проклятие пастбища' — название горного хребта на севере Албании; *Bjeshkët e Gjakovës* — название горного хребта на северо-востоке Албании. Слово *bjeshkë* этимологизируется на албанской почве. Н. Йокль<sup>17</sup> и вслед за ним Э. Чабей<sup>18</sup> восстанавливают форму \**bie(r)shkë*, производную от глагола *bie* (и.-е. \**bher-*) 'падать, срываться сверху, ударять'<sup>19</sup>. Первоначальное значение: 'крутой горный склон'. Нет оснований связывать это слово с фракийским этнонимом *Веззои*, *Веззои*. Формы с конечным -ed, -id, распространившиеся в карпатском ареале, передают албанскую определенную форму множ. числа *bjeshkët*<sup>20</sup>.

Однако далеко не во всех случаях ясны этиологические связи древних балканских, сохраненных в албано-восточнославянских соответствиях. В частности, сложность представляет вопрос о происхождении такого распространенного в карпатском регионе балканского, как *strunga*, ср. закарпатско-укр. *струнга* 'узкий проход, отверстие в одной из стенок загона, где доят овец'<sup>21</sup>, молд. *стрұнгэ* '1) загон для дойки овец; 2) дыра в заборе; 3) щербина, промежуток между передними зубами, 4) испорчен-

<sup>16</sup> Meyer G. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891, с. 335.

<sup>17</sup> Jokl N. Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen im Bereich des Albanischen. Berlin—Leipzig, 1923, с. 165 и сл.

<sup>18</sup> Çabej E. Studime rrëth etimologjise. — Bull. i Univ. të Tiranës, 1960, 4, с. 59—60.

<sup>19</sup> Pokorný J. Indog. etymol. Wörterbuch, I, с. 129.

<sup>20</sup> Древнепольский вариант географического названия — *Biesczad*. укр. *Бещады*, по-видимому, может быть объяснен на славянской почве (уподобление балкан. \*-ed старославянскому -ѣдь, см. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, I, с. 161).

<sup>21</sup> Дзенджелевский И. А. Овцеводческая лексика закарпатских говоров. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. М., 1965, с. 126.

ный зуб (дыра в коренном зубе); 5) дупло'. Слово представлено во всех языках Балканского полуострова и за его пределами — в украинских, польских, северославацких, моравских и венгерских говорах<sup>22</sup>. Вероятно, алб. *shtrungë* должно обладать кругом значений лексемы *strunga*, засвидетельствованным для всего балкано-карпатского ареала, из которых основным следует признать 'узкий проход; отверстие в изгороди загона, через которое овец гонят на дойку'. Однако в опубликованных словарях семантика слова *shtrungë* недостаточно разработана. Так, в толковом «Словаре албанского языка» дано одно, притом очень неопределенное значение: 'место у входа в загон, где доят скот'<sup>23</sup>. Опираясь на значение '*letto, giaciglio*' 'ложе, подстилка' (*shtresë*), показанное в словаре А. Леотти, Э. Чабей объясняет *shtrungë* как производное от глагола *shtroj* 'расстилать'<sup>24</sup>. Эта этимология не может быть принята прежде всего по семантическим соображениям, так как она не учитывает значения слова *strunga* в других балканских языках. Видимо, более прав был Н. Йокль, возводивший алб. *shtrungë* к основе \**strg-* и сближавший его с лат. *stringō* 'сжимать'<sup>25</sup>. Считая *strunga* древнебалканским словом, можно предполагать существование в древнебалканских языках, в том числе и в древнеалбанском, глагольных основ, восходивших к и.-е. \**streng-*, \**strenk-* со значением 'сжимать, стеснять'. В производной от такой глагольной основы именной основе \**strungā-* представлена нулевая ступень огласовки. В речевой практике древнебалканских пастухов слово *strunga*, имеющее общее значение 'узкий проход, щель', получило специальное значение 'узкий вход в овечий загон' и затем 'овечий загон'<sup>26</sup>. Албанский глагол *shtrëngjój* 'жать, теснить, принуждать' до сих пор принято относить к числу латинских заимствований (лат. *stringere*)<sup>27</sup>. Однако эту этимологию нельзя считать бесспорной, на что указывает и Э. Чабей<sup>28</sup>. Этот глагол мог быть произведен на албанской почве от несохранившейся более древней основы, находившейся в абраутическом отношении к общебалканской основе \**strungā-*.

<sup>22</sup> См.: Клепикова Г. П. К вопросу об изучении балкано-карпатской терминологии горного пастушества...

<sup>23</sup> Fjalor i gjuhës shqipe. Tirana, 1954, с. 548.

<sup>24</sup> Çabej E. Studime rreth etimologjisë... — Studime Filologjike, 1966, 1, с. 43 и сл.

<sup>25</sup> Jokl N. Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung, с. 89.

<sup>26</sup> См. изложение точек зрения по этому вопросу в статье Г. П. Клепиковой «К вопросу об изучении балкано-карпатской терминологии горного пастушества...», с. 197 и сл.

<sup>27</sup> Из новых работ см.: Mihaescu H. Les éléments latins de la langue albanaise. — Revue des études sud-est européennes, IV. Bucarest, 1966, 1—2, с. 20; Haarmann H. Der lateinische Lehnwortschatz im Albanischen. Hamburg, 1972, с. 152.

<sup>28</sup> Çabej E. Zur Charakteristik der lateinischen Lehnwörter im Albanischen. — Revue de linguistique, VII. Bucarest, 1962, 1, с. 171.

Принадлежат к элементам древнебалканской лексики, однако этимологически или не вполне или вовсе не ясны следующие карпатские балканализмы: молд. *flăuer*, рум. *flúier* ‘пастушеская свирель, рожок’ — алб. *flojére* id.; молд. *groáпэ*, рум. *groáпă* ‘яма’ — алб. *горё* ‘яма, углубление’ (вероятно, восходит к и.-е. \*ghrebh-‘кошать’, но не ясен глухой консонантизм в исходе корневого элемента); молд. *бяркэ*, *биркэ*, *быркэ* ‘овца’ — алб. *berg* ‘мелкий рогатый скот’ (собир.); молд. *гáурэ*, рум. *gáură* ‘дыра, нора, дунло’ — алб. *gavër*, *zgavër* ‘дупло, углубление’; молд. *бáлегэ*, рум. *bálegă* ‘навоз’ — алб. *balgë*, *bagël* id.; молд. *кэпүшэ*, рум. *căpăшă* ‘клещ’ — алб. *këpùshë* id.; молд. *зáмэ*, рум. *zámă*, *zeámă* ‘мясной отвар’ — алб. *dhamë* ‘сало’, жир (животный’); молд. *гúшэ*, рум. *gușă* ‘зоб’ — алб. *gushë* id.; молд. *цап*, рум. *çap* — алб. *сјар* ‘козел’; молд. *бач*, рум. *báciu* ‘старший чабан, занимающийся изготовлением брынзы’ — алб. *baç* id.; молд. *копил*, рум. *copil* ‘ребенок; мальчик’ — алб. *корил* устар. ‘мальчик; незаконорожденный; слуга’ и др.; молд. *кырлиг* ‘пастушеская палка с железным крючком для ловли овец’ — алб. *këgluk* id.; молд. *трáйстэ*, рум. *traistă* ‘котомка, торба’ — алб. *trastë*, *traistë* id.; молд. *кэчүлэ*, рум. *caciúлă* ‘шапка из смушки’ — алб. *kësulë* ‘шапка (без полей)’; молд. *фúстэ* ‘юбка, платок’, рум. *fustă* ‘юбка, передник’ — алб. *fustë*<sup>29</sup>.

Многие балканализмы субстратного происхождения, представленные в карпатской лексике, не имеют надежно выявленных албанских соответствий, например молд. *ўрдэ* ‘вторичная сыворотка, вторичный сыр; сыр из козьего молока’, рум. *urdă* ‘сладкий овечий сыр’ и др.<sup>30</sup>; молд. *ўрмэ* ‘дорога, проложенная дикими животными’, ср. рум. *urgă* ‘след’ и др.

Среди карпатских балканализмов, представленных в молдавском индексе, очень мало слов греческого происхождения. К числу их принадлежит важный и широко распространенный пастушеский термин *koliba*<sup>31</sup>; молд. *колибэ*, рум. *colibă* ‘хижина, избушка, шалаш’, сохраняющий консонантизм др.-греч. *καλύβη*; молд. *мэгár*, рум. *măgăr* ‘осел’ из и.-греч. *γοράρι* ‘вьючное животное, осел’ (от *γόμος* ‘кладь, товар’), ср. алб. *gomâr* id.; молд. *друм*, рум. *drum* ‘дорога’ из и.-греч. *δρόμος* ‘дорога, улица’; молд. *аргáт*, рум. *argát* ‘батрак, поденщик’ из и.-греч. *ἀργάτης* <*έργάτης*> ‘рабочник’; молд. *кэлүгэр*, рум. *călugăр* ‘монах’ из и.-греч. *κλήγερος* id.; молд. *фрикэ*, рум. *frikkă* ‘боязнь’ — через алб. *frikë* id. из и.-греч. *φρίκη* ‘страх, содрогание’, ср. др.-греч. *φρίξ* ‘дрожь’; молд. *триандафиýр*, рум. *trandafir* ‘роза (растение и цветок)’, алб. *trëndafil*, болг. *тръндафил* id. — из и.-греч. *τριαντάφυλλο(ν)* ‘роза’.

<sup>29</sup> Связь алб. *fustë* ‘юбка’ с алб. *fustán* ‘платье’ из тур. *fıstan* ‘платье’ имеет, вероятно, характер позднейшей контаминации.

<sup>30</sup> О спорных албанских соответствиях см.: Rosetti A. Istoria limbii române. Bucureşti, 1968, с. 275.

<sup>31</sup> См.: Клепикова Г. П. Славянская пастушеская терминология, с. 207 и сл.

Столь же мало турцизмов. молд. *майдан*, рум. maidán ‘площадь, пустырь’ — тур. meydan ‘площадь’; молд. *чишмá*, рум. cișmăea ‘источник, фонтан’ — тур. çeşme id.; молд. *махалá*, рум. mahală ‘окраина города, предместье’ — тур. mahalle ‘квартал (города)’; молд. *одáе* 1) загон за селом для крупного рогатого скота, 2) сторожка в поле, 3) помещение, комната’, рум. odáie 1) комната, 2) овчарня’ — тур. oda ‘комната’; молд. *сбээ* 1) печка, 2) жилая комната’, рум. sobă ‘печка’ — тур. soba id.; молд. *гердáн*, рум. gherdán ‘ожерелье, бусы’ — через посредство алб. gjerdán ‘ожерелье’ из тур. gerdan ‘шея’; молд. *гайдз*, рум. gáidă ‘волынка’ — тур. gayda id.; молд. *бостáн* ‘тыква, дыня; бахча’, рум. bostán ‘тыква, арбуз’, алб. bostan ‘бахча; дыня’ — тур. bostán ‘огород’; рум. pătlägeá, молд. пэтлэжикэ ‘помидор, баклажан’ — тур. patlican ‘баклажан’; молд. *фуду́л*, рум. fudul ‘надменный, высокомерный’ — тур. fodul id.; молд. *кэлэ́үзэ*, рум. călaúză ‘проводник, путеводитель’ — тур. kilavuz id.; молд. *кала́балык*, рум. calabalák 1) пожитки, 2) толпа, сорище, 3) суматоха’ — тур. kalabalık 1) толпа, 2) толкотня, суматоха, 3) багаж’. Надо учитывать, что турцизмы могли проникать в карпатский ареал не с Балканского пол-ва, но с оккупированных турками территорий в нижнем течении Дуная и Днестра.

Итак, основную массу балканлизмов, распространявшихся в карпатском ареале, составляют восточнороманские, древнебалканские и албанские лексические элементы, занесенные в результате миграций балканского пастушества.

**I. 3.** Территориальное распределение балканлизмов в карпатском регионе должно полностью выявиться на картах будущего Атласа. Однако по имеющимся в печати предварительным данным уже сейчас можно составить представление о репертуаре балканлизмов, распространенных на отдельных участках лингвистического ареала. Так, например, в украинских говорах Северной Буковины отмечаются оронимы балканского происхождения<sup>32</sup>. В числе их романизмы: *плай* ‘относительно ровный безлесный горный хребет’, *ри́па* ‘гора с обрывистыми склонами’, *царинка* ‘горный луг’; древний балканлизм *гропí* ‘местность, изрытая ямами, оврагами’, южнославянизм *бердо* ‘гора с крутыми каменистыми склонами’. Также отмечаются балканлизмы в лексике, связанной с пастушеским хозяйством и бытом<sup>33</sup>, к которым относятся: *тúрма* ‘отара овец’, *вакár* ‘коровий пастух’, *гл’аг* ‘сычуг’, произв. *гл’агáти* ‘заправлять молоко гл’агом’, *ձзер* ‘сыворотка’, *кул’бстра* ‘молозиво’ (ср. вост.-ром. *colastră* ← лат. *colostra*),

<sup>32</sup> Герман К. Ф. Оронимы-карпатизмы в украинских говорах Северной Буковины. — В кн.: Симпозиум по проблемам карпатского языкоznания. Тезисы. М., 1973, с. 10–11.

<sup>33</sup> См.: Прокопенко В. А. Областной словарь буковинских говоров. — В кн.: Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972; Он же: Молдавские элементы в лексике украинских говоров Буковины. — В кн.: Восточнославянно-молдавские языковые взаимоотношения. Кишинев, 1961.

*колыба* '1) сарай, 2) шалаш (курінь)', *шкрум* '1) чад, 2) нагар, сажа, 3) пепел', *буката* 'кусок', *бэ'ама* 'жирный суп, обычно куриный', *гуша* 'зоб', *трайста* 'торба', *к'иптар* 'вышитая безрукавка на меху', *кол'цун* 'шерстяной чулок' и др. Термины родства: *мбшул* 'дед', *моша* 'бабушка', *неп'йт* 'племянник', *неп'обта* 'племянница', *кумнáт* 'муж сестры; брат мужа, жены', *кумнáта* 'сестра мужа, жены; жена брата', *копыл'ук* 'внебрачный ребенок', *фам'ил'иа* 'семья, родня', прилаг. *фудул'ний* 'высокомерный' и др.

Интересен и важен вопрос о распространении карпатских балканализмов за пределами карпатского региона, в частности на восточнославянской языковой территории. По данным, собранным Г. П. Клепиковой, в южноукраинских (бессарабских) говорах представлены: *strunga* в значении 'загон, где доят овец', *tsar(o)k* 'загон для ягнят', *(d)zeg* 'виды сыворотки', *kolastra* 'первое молоко после отела скота', *urda* 'творог худшего качества', *kl'ag* 'вещество, которым заквашивают молоко при изготовлении брынзы', *koliba* 'жилище пастуха на горном пастбище'; в южноукраинских и белорусских: *šut(k)(a)* 'безрогое животное (или с маленькими рогами)'; в центральноукраинских и южнорусских *tsap* 'коzel', в русских диалектах *by(i)gka* 'овца; овечья шкура' и др.<sup>34</sup>

В Словаре В. И. Даля отмечены: *брынза* новорос. 'овечий сыр', *карұча* новорос., молдаван. 'арба, телега, повозка', *плацында* новорос., греч. и молд. 'пирожное: род пресных, тонко раскатанных лепешек; слоеный, в листах, круглый, сладкий пирог'; *цап* южн. и зап. 'коzel'; *царина*, *царана* новорос. 'пахотная степь, поле или выгон; //околица с заворами, городъба и ворота от скота'; *шутый* южн., зап. 'комолый, безрогий', *тайстра* сев. малорос. 'большой мешок'.

Изучение вопроса о карпатизмах различного происхождения (в том числе и балканализмов) в украинских, белорусских и русских говорах только еще начинается, и тут возможны интересные открытия как в аспекте лингвистической географии (распространение слов как свидетельство возможных переселенческих движений, экономических и культурных связей), так и в области этимологического определения элементов диалектного словаря. С обеих точек зрения представляется любопытным, в частности, проникновение карпатского балканализма *bukata* в лексику русских говоров.

Речь идет о рефлексах латинского *bucca*, -ae f. 'рот', просторечного синонима к *бс*, *бгис* п. 'рот, уста'. Слово это унаследовано всеми романскими языками,ср. фр. *bouche*, исп. *boca*, итал. *bocca* 'рот; устье реки, отверстие' и др. На Балканском полуострове — в албанском и восточнороманских языках — лат. *bucca*

<sup>34</sup> Клепикова Г. П. Балканские элементы в карпатской терминологии. . . , с. 211 и сл.

получило несколько иное семантическое развитие: алб. *bukë* '1) хлеб, 2) дневная (обед) или вечерняя (ужин) еда; 3) житье-бытье'; аром. *bîcă* '1) кусок, 2) порция пищи, принимаемая за один раз, 3) щека, 4) ягодица', рум. *bucă* '1) щека, 2) мн. ягодицы'. Самостоятельные значения получило образованное на восточно-романской почве производное рум. *bucătă*, молд. *бука́тэ* '1) кусок (хлеба, мамалыги, дерева и др.), 2) промежуток, расстояние, интервал времени', мн. *bucate* '1) кушанье, блюдо, 2) злаки, зерновые хлеба'. Молд. *бука́тэ* стоит в индексе карпатизмов, предназначенных для включения в программу-вопросник «Обще-карпатского диалектологического атласа».

В карпатоукраинских говорах засвидетельствованы формы *бука́т*, *бука́та*, *бука́тка* в значении 'кусок' (*Втіяла букат сира; Прийде нам сі без букатки хліба пропадати*)<sup>35</sup>. Из карпатского ареала слово *букатка* проникло в белорусские говоры в значении 'печенный хлеб' (*Толочане в полуздень зъели букатку хлеба*)<sup>36</sup>. В русских говорах слово было зарегистрировано В. И. Далем. На основании новых данных, дополнивших и уточнивших его указания, семантика и ареал распространения балканализма *бука́т* в русских говорах предстает в следующем виде: «*Бука́та, ы, ж. 1. Булка. Бельск. Смол., 1914. 1. Бука́тка, и, ж. 1. Каравай хлеба. По достатку пекут булатку. Зап., Даль. В сравн. Девка, як бука́тка — бука́точка. Бельск., Пореч. Смол. Сев. зап. 2. Ржаной хлеб. Пореч. Смол., 1914. 3. Кусок мяса. Сарат., Даль. Булатка мяса. Дон. // Доля пищи бурлака в артели. Сарат. Даль*»<sup>37</sup>. Производ. «*Булатник, а, м. Шутл. Начальник артели бурлаков, выдающий членам артели их долю пищи. Сарат. Даль*»<sup>38</sup>.

Пути движения этого интересного слова, таким образом, протянулись из карпатского ареала через белорусские говоры и далее через северо-западные говоры русского языка далеко на юго-восток — в области Нижней Волги и Дона. Вероятно, слово распространилось на Волге как элемент профессионального арго бурлаков.

II. Относительная датировка возможностей проникновения карпатских лексических балканализмов в народные говоры восточнославянских языков за пределами карпатского региона, естественно, связывается в основном со временем появления в этом регионе балканского пастушеского населения. Тем самым эти явления оказываются принадлежащими к сравнительно поздним инновациям диалектной лексики и потому должны быть отграничивамы

<sup>35</sup> Гринченко В. Д. Словарь украинского языка, I. Киев, 1907, с. 108.

<sup>36</sup> Носович И. И. Словарь белорусского языка. СПб., 1870, с. 38.

<sup>37</sup> Словарь русских народных говоров, вып. 3. Л., 1968, с. 264.

<sup>38</sup> Там же. Возможно, что прилаг. *булатый* в значениях 1) 'общирный, просторный'; 2) 'толстый'. Смол. (см. там же) также произведено от основы *букат-*.

от балканализмов, распространявшихся в восточнославянской языковой среде в более ранние периоды.

О каких «балканализмах» здесь может идти речь? Говоря о раннем слое балканализмов в восточнославянских языках, я имею в виду те южноевропейские лексические элементы, которые проникали в язык восточнославянских племен на протяжении I тысячелетия н. э., когда область восточнославянского расселения в своей западной части непосредственно граничила с придунайскими территориями. Все культурные и языковые влияния средиземноморского юга, распространявшиеся к северу от Дуная не через посредство письменности (греческой, церковнославянской), но как результат живого общения в народной среде, шли через балканские земли, уже ранее сделавшиеся достоянием культуры и языка народов этих земель. Применительно к южноевропейским заимствованиям древнерусской поры обычно принято различать, на основании этимологии соответствующих лексем, их народно-латинское, греческое, южнославянское, иногда готское происхождение, чем предполагается их раздельная трактовка по слоям. Однако если исключить из рассмотрения церковную лексику, изучение которой имеет свои специальные проблемы, представляется возможным рассматривать все эти древние заимствования как элементы общего потока лексических инноваций, распространявшихся из областей юго-восточной Европы в область расселения восточнославянских племен. Этимологический аспект их изучения должен быть дополнен этно- и культурноисторическими аспектами. Иначе говоря, необходимо учитывать сложный этнолингвистический и этнокультурный характер древнебалканского ареала как той промежуточной среды, в которой особым образом преломлялось любое культурное или языковое явление, продвигавшееся из Средиземноморья в более северные области Восточной Европы. Для всей территории Балканского полуострова, включая придунайские земли, I тысячелетие было временем длительного и бурного протекания этногенетических процессов. Уже в первые века, в условиях романизации, связанной с политическим господством Римской империи и в разной степени охватившей многочисленные древнебалканские племена, традиционно объединяемые под названиями фракийских, дакийских, иллирийских, произошло образование восточнороманских и албанского этносов. Конкретные перипетии и факторы этого процесса, включая участие в нем исторически менее значимых для конечного результата этнических элементов (кельтского, готского, иранского), остаются неизвестными, однако сам факт его действия не подлежит сомнению. В середине тысячелетия, с приходом на Балканский полуостров славян, начинается новый период в этнической истории этого региона. Особую важность приобретает сложение отношений южных славян с восточнороманскими, албанским, греческим этносами. Политическое господство Византийской империи и Болгарского царства, со своей стороны, не могло не оказать

определенных влияний на сложение культурных и языковых общностей в процессе формирования балканского многочленного единства, традиции которого закладывались уже в этот бурный период этнической истории.

При таком подходе все языковые и культурные явления, распространявшиеся с юга на север через балканскую языковую и культурную среду, могут быть названы «балканизмами» — балканизмами древней поры.

Непосредственные контакты восточнославянских племен, юго-западная часть которых населяла земли по Бугу и Днестру, с балканским ареалом осуществлялись уже в первые века н. э., в эпоху завоевания Римом придунайских областей. «С первых веков нашей эры наблюдается воздействие Рима на культуру восточных славян», — писал Б. Д. Греков <sup>39</sup>. Среднее Поднепровье II—V вв. заключает в себе значительную совокупность показателей, говорящих о «распространении здесь римских изделий и о воздействии римских производственных навыков на местное ремесло» <sup>40</sup>. Память о «Веках Трояновых», дошедшая до нас в поэтическом тексте «Слова о полку Игореве», была, как полагает Б. А. Рыбаков, «надежной хронологической глубиной того эпического репертуара, который дожил еще до XI—XII вв.» <sup>41</sup>. «Века Трояновы» — это не время царствования одного императора, а «время существования Римской империи, совпавшее с расцветом славянской жизни в Среднем Приднепровье (черняховская культура), сильно окрашенной культурным воздействием „Трояновой земли“». «Века Трояновы» — это II—IV вв., те три столетия, когда славянская племенная знать пропадала римлянам зерно, меряя его римскими мерами, накапливала сокровища римских монет, украшала жен римскими изделиями» <sup>42</sup>.

Если в период IV—VI вв. юго-западное крыло восточнославянского этнического массива в днепровско-днестровском междуречье было представлено антами, то к концу I тысячелетия н. э. с севернобалканскими землями непосредственно граничат территории дулебов, а также уличей и тиверцев, живших, согласно летописным сообщениям, по Бугу и Днестру и получивших у греков название «Великая скуфь» <sup>43</sup>. В X в. к придунайским землям тяготели политические и экономические интересы Киевской Руси, что нашло яркое выражение в балканских походах Святослава и его желании утвердить центр своего княжества в Переяславце на Дунае <sup>44</sup>. В XI—XII вв. славянское население По-

<sup>39</sup> Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949, с. 377.

<sup>40</sup> Там же, с. 373.

<sup>41</sup> Рыбаков Б. А. Древняя Русь. М., 1963, с. 16.

<sup>42</sup> Там же, с. 15.

<sup>43</sup> Повесть временных лет, I. М.—Л., 1950, с. 14.

<sup>44</sup> «Яко то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, поволоки, вина и овощеве разноличныя, из Чехъ же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медь и челядъ» (там же, с. 48).

бужья и Поднестровья передвинулось под давлением тюркских кочевников «частью на север, а большей частью на запад, в Карпатские горы»<sup>45</sup>.

Таким образом, контакты восточных славян с населением дунайских земель развивались в течение многих столетий, начиная с эпохи римского владычества. Эти контакты были долговременным источником проникновения в восточнославянскую среду балканских языковых и культурных влияний, отражение которых в языке представлено хорошо известным слоем лексических заимствований, а в области народных верований и обрядов — рядом явлений, балканские связи которых, хотя номинально и учитываются, однако нуждаются в более углубленном исследовании.

Определенный интерес представляет вопрос о том, в какой мере галицко-волынские земли, где обосновались отодвинувшиеся с юга бывшие дулебы, уличи и тиверцы, продолжали и в последующие столетия служить для Киевской Руси передаточной средой распространения балканских влияний, проникавших с юго-запада, через области Карпат.

К числу элементов южноевропейской лексики, проникших в восточнославянскую языковую среду через древнебалканский ареал, могут быть отнесены слова, источники заимствования которых определяются как народная латынь, например: рус. *комбра*, *баня*, *конопля*, *черешня*, *дыня*, *мята*, *мост* ‘виноградное сусло’, *млин* (обл.) ‘мельница’, *скудель* (обл.) ‘глина, глиняный сосуд’, *кошуля* (обл.) ‘овчинный тулуп’, греческий язык — *терем*, *кбливо* ‘поминальная кутья’, готский язык — *вино*<sup>46</sup> и др. Некоторые из таких заимствований имеют, по-видимому, древнебалканское происхождение, например *гугна*, *гуня* (обл.) ‘ветхая одежда, отрепья, старый меховой полушубок’. Представленные в этом неполном перечне названия построек, одежды, культурных растений отражают процесс заимствования слов в связи с распространением определенных реалий, что говорит о бытовых контактах восточнославянского населения с населением южнодунайских областей.

Об этих давних и, по-видимому, довольно тесных контактах особенно ярко свидетельствуют некоторые восточнославянские термины народнообрядового характера, которые могут быть сгруппированы в особый разряд по признаку принадлежности

<sup>45</sup> Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956, с. 158.

<sup>46</sup> Общепринятое мнение о заимствовании слова *вино* через готский язык не кажется мне бесспорным. Но и принимая это объяснение, можно тем [не менее отнести *вино* к числу ранних балканализмов, так как участие готов в исторической жизни юго-восточной Европы в I тысячелетии н. э. достаточно хорошо известно, и к тому же сама основа гот. *wīna-* из лат. *vīnum*, вместе с культурой виноделия, ср. *weinagards* ‘виноградник’, могла быть усвоена готовами только на юге. Второй элемент композита *-gards* также имеет балканские соответствия, см. выше алб. *gardh*, рум. *gard* ‘изгородь’.

к некогда существовавшей семиотической системе, отражавшей языческие верования древней Руси (сюда относится и приведенный выше обрядовый термин *кбливо*). Хорошо известная латинская этимология таких слов, как *русалия*, *руса́лка*, *колыда*, получает достаточно убедительное культурно-историческое обоснование, если признать, что и в области дохристианских верований между восточными славянами и народами Балканского полуострова существовало определенное взаимодействие. И с этой точки зрения термины *русалия* и *коло́да* оказываются для восточнославянских языков словами не столько латинского, сколько собственно балканского происхождения, так как они проникали не как элементы римской или византийской традиции, но как элементы народнообрядовых систем, существовавших в I тысячелетии н. э. в восточнобалканском ареале и имевших в качестве основы древнебалканские (фракийские, дакийские) и древнеславянские языческие верования, с народнороманскими, греческими и другими напластованиями. Против этих систем боролась, частично приспособливаясь к ним, христианская церковь.

И языковые, и этнографические данные говорят о древних и глубоко заходивших связях населения восточнославянского и севернобалканского ареалов в области языческой обрядности и, следовательно, в области народного быта вообще.

Др.-рус. *русилия* — это название языческого весеннего праздника, с которым календарно были соотнесены церковные праздники Духова дня и Троицы. Против «бесовских игрищ и песен», которыми сопровождалось на протяжении недели («русальная неделя») обрядовое действие *русилий*, устойчиво сохранявшееся в народной среде, ожесточенно боролась церкви. Название *русилия* этимологически восходит к лат. *Rosália* ‘праздник роз’ (*dies rosae* ‘день розы’), который был связан с культом предков и представлял собой весенний обряд поминок. У народов Балканского полуострова, усвоивших указанное латинское название, соответствующий весенний праздник носил характер бурных народных игр, включавших театрализованное действие боя между русальскими дружинами. Сравнительный анализ балканских и русских исторических и этнографических данных был произведен А. Н. Веселовским, пришедшим к выводу, что в русалиях «сохранились отголоски фракийско-македонского народно-классического культа»<sup>47</sup>. О значении обряда А. Н. Веселовский писал: «Анализ русских суеверий приводит к заключению, что весенние русалии, главным образом, поминальный обряд; русалки = *manes*; на древние отношения родства указывает совпадение их культа с весенным обрядом кумовства; они — покойники...»<sup>48</sup>. Широко засвидетельствованный в русской этногра-

<sup>47</sup> Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха, XIV.— Сб. ОРЯС, т. 46, № 6, СПб., 1889, с. 281.

<sup>48</sup> Там же, с. 270.

фической литературе обряд установления временного «кумовства» девушек с русалками (с последующим «раскумлением») и связанный с ним обряд «крестины кукушки»<sup>49</sup> позволяют объяснить в качестве элемента терминологической системы ритуальных действий русские термины обрядового родства *кум*, *кума*. Рус. *кум* восходит к нар. лат. *comptater* ‘крестный отец’<sup>50</sup>, ср. ст.-сл. *къмтъръ* id., рус. стар. ряз. *къмтър* ‘кум’ (Даль). Слово это пришло с юга вместе с группой других обрядовых терминов.

Устанавливаемая на основе лингвистических и этнографических данных связь русских русалий с соответствующими балканскими обрядами нуждается, однако, в более глубоком изучении и в более развернутой семантической интерпретации. На огромном этнографическом материале Д. К. Зеленин убедительно показал, что в основе русского обрядового действия русалий лежит не поминование предков, но поминование покойников, умерших неестественной смертью, и что представления о «нечистых» покойниках, «нечисти», окрашивают восточнославянский образ «русалок»<sup>51</sup>. Можно усматривать в этом специфическую особенность восточнославянских языческих верований. Но возможен и просмотр с точки зрения восточнославянских фактов семантического содержания русальных обрядов, засвидетельствованных у народов Балканского полуострова. В частности, воинственный характер русальных игр на Балканах может быть интерпретирован как принадлежащий обряду изгнания злых духов (ср. русские «проводы русалок»<sup>52</sup>).

Характерно, что другой русский поминальный праздник — *радуница* не имеет тех значений сакральной нечистоты, которая характерна для семантики *русалий*, и целиком посвящен почитанию и оплакиванию умерших родственников<sup>53</sup>. Радунице, справляемую на второй неделе после пасхи, во многих местностях называют «родительским днем» (калуж., вят. и др., см. Карточку Словаря русских народных говоров). Русское название *радуница* является переосмысленным (путем сближения с *рад*, *радость*) производным от греч. *ρόδωνια* (от *ρόδον* ‘роза’) — прозрачной кальки лат. *Rosalia* ‘день роз’ с тем же значением ‘праздника поминования мертвых’. Возражение против этой этимологии М. Фасмера<sup>54</sup>, указавшего на отсутствие значения ‘поминки’ у греч. *ρόδωνία* ‘розовый куст, розовый сад’, не кажется убеди-

<sup>49</sup> Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Пг., 1916, с. 268 и сл.

<sup>50</sup> Вряд ли есть необходимость возводить ст.-сл. *къмтъръ* к лат. \**comptater* ‘крестная мать’. Фонетическое развитие *mp* > *mb* > *m* прослеживается на балканской почве, ср. алб. *kumprëg*, *kumtërg*, также *kumbargë* из лат. *comptater*, ср. рум. *cumâtră*.

<sup>51</sup> Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии.

<sup>52</sup> Там же, с. 237 и сл.

<sup>53</sup> Zelenin D. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin u. Leipzig, 1927, с. 332.

<sup>54</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, III. М., 1971, с. 431 и сл.

тельным. Калькированный термин *родоук*, специально для обозначения «чистого» поминального дня (в отличие от отмеченного языческим веселием и церковным осуждением праздника русалий, гр. *ρωσάκια*), мог быть создан в бытовой среде низшего духовенства на Балканах, распространиться в порядке живого народного общения и попасть таким путем к восточным славянам.

В славянской языческой обрядности, как известно, большое место занимали обряды, связанные с культом огня в его различных функциях. Авторы исследования о древних славянских семиотических системах отмечают, что помимо «обряда возжигания живого огня, когда сам огонь был основным объектом ритуального почитания, огонь возжигался или так или иначе использовался еще в целом ряде обрядовых действий»<sup>55</sup>.

Есть основания предполагать, что в обрядовой терминологии, связанной с культом огня, у восточных славян использовался древний балканский *vatra*. Однако со значениями ‘огонь’, ‘огонь’ слово это зарегистрировано только в карпатско-украинских говорах: «*Vattra* ж. 1. Очаг. Огонь. *Живá vattra*. Огонь, добываемый при помощи трения друг о друга двух кусков дерева, добывается с известными обрядами ватагом в полонині и служит для разведения огня в жилище пастухов и для совершения различных обрядовых действий над скотом, охраняющих, по мнению пастухов, этот последний. 2. Под печи, на котором печется хлеб»<sup>56</sup>. Неизвестно, насколько древним элементом карпато-украинской лексики является этот балканский. Он мог быть принесен балканскими пастухами в относительно более позднее время. Во всяком случае, архаическая семантика (‘живой огонь’) свидетельствует о существовании обрядовой функции термина *vattra* в определенной части восточнославянского ареала, в данном случае при скотоводческом типе хозяйства. Пережитки обрядового значения этого термина в связи с земледельческим культом обнаруживаются в русских говорах, а именно в семантике диалектного слова *вбтра, вбтря*.

Одним из древнерусских языческих обрядов, подвергшихся резкому осуждению церкви, был обряд возжигания огня под овином и моления огню-сварожичу<sup>57</sup>. Приводя характерные упоминания из христианских поучений («кто под овином молится или во ржи», «огневи сварожичу молятся», «иже молятся огневи под овином», «и огневи молятся, зовуще его сварожичемъ»), Е. В. Аничков заключает: «Мы имеем перед собой сельскохозяйственный культ, в котором соединяются огнепоклонство с почитанием солнца»<sup>58</sup>. О пережитках этого культа у белорусов сви-

<sup>55</sup> Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965, с. 145 и сл.

<sup>56</sup> Гринченко В. Д. Словарь украинского языка, с. 128.

<sup>57</sup> См.: Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914, с. 240; Mantsikka V. J. Die Religion der Ostslaven, I. Helsinki, 1922, с. 177.

<sup>58</sup> Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь, с. 291.

детельствует А. Е. Богданович, сообщающий: «Хоропий хозяин, насаживая в овине снопы первый раз в году, чтобы просушить их для молотьбы, бросает обыкновенно сноп ржи в овinnый огонь. Это несомненно отголосок первобытных жертв огню»<sup>59</sup>.

О том, что овinnый огонь в ритуальной функции, а также скигаемые на нем в качестве жертвы снопы колосьев, обозначались в древней Руси термином *ватра*, *вотра*, свидетельствует зарегистрированное в Словаре Даля значение *вотра* костром. ‘распоясаные снопы, которыми набивают овин ворохом’. Широко представленное во многих русских говорах для слов *вотра*, *вотря* значение ‘измельченная солома с колосом, оставшаяся после молотьбы’<sup>60</sup>, отражает другую функцию ритуального возжигания огня — связанное с поминанием предков ‘ожжение соломы’. Д. К. Зеленин замечает: «Жжение соломы и означает, подобно воскурению фимиама, приглашение к родному очагу покойных предков, „родителей“. Эта мысль ясно выражена в Стоглаве: „въ великий четвертокъ порану солому палять и кличутъ мертвыхъ“. Довольно ярко сквозит она и в южновеликорусском обряде „греть родителей“»<sup>61</sup>. Определенную связь с ритуалом когда-то, возможно, имело и слово *ватрушка* — первонач. ‘лепешка, испеченная на огне, «на очаге», «на поду» (см. выше значения слова *ватра* в карпатоукр.). Аналогично по образованию болг. *погача* ‘хлеб, испеченный в золе, лепешка’, с.-хорв. *pogacha* ‘пресный хлеб’, алб. *pogaçe*, рум. *pogáce* ‘лепешка’ — из нар. лат. *focācea* ‘изделие из теста’, от лат. *focus* ‘очаг’. Этот балканализм засвидетельствован и в русском языке. Так, в Словаре Акад. 1847 г. *погач*. Обл. Род пресного пирога, а также у Даля (со знаком вопроса).

Балканизмы представлены также в терминологии зимних праздников. Я не останавливаюсь специально на термине *коляда*, этимология которого давно известна (из лат. *calendae*). Семантика и ареал распространения соответствующего обрядового действия достаточно хорошо освещены в научной литературе. Связь восточнославянского обряда колядования с соответствующими новогодними обрядами у народов Балканского полуострова вполне очевидна. К сфере обрядовой лексики зимнего календаря в восточнославянских языках принадлежал еще один балканлизм, также явно не книжного, но народного происхождения. Это др.-рус. *корочунъ* ‘зимний солнцеворот’ (Новг. I лет. под 1143 г.), рус. обл. *корочун* ‘зимний солнцеворот 12 декабря; смерть’, зап.-укр. *керечунъ*, *керечунъ* ‘вечер; сочельник’, *кремчунъ*, *гречунъ* ‘соchельник, рождество; хлеб особого рода’, белор. *корочунъ* ‘корчи;

<sup>59</sup> Богданович А. Е. Пережитки древнего мирообразования у белорусов. Гродна, 1895, с. 17.

<sup>60</sup> Словарь русских народных говоров, вып. 5, с. 160. См. также *вотрина* ‘измятая ржаная солома’ и др.: там же, с. 161.

<sup>61</sup> Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии, с. 281.

злой дух, сокращающий жизнь; нечаянная смерть'. Ср. молд. *крячун*, рум. *craciún* 'рождество; обрядовый хлеб, выпекаемый к новому году'; болг. *крачун*, *крачунец* 'рождественский день', с.-хорв. имя собств. *Крачун*, слвц. *kračún* 'рождество'.

Ни на славянской, ни на романской почве *крачун*, *корочун*, *сгасиун* убедительно не этимологизируются<sup>62</sup>. Убедительная этимология предложена Э. Чабеем<sup>63</sup>. Отправными моментами для нее являются: 1) наличие в албанском языке существительного, гег. *kërcú*, *kërcúni*, тоск. (с ротацизмом) *kërcú*, *kërcúri*, основа *kërcún-* 'пень, чурбан', фонетически объясняющего восточнороманские и южнославянские формы; 2) существование у балканских народов зимнего праздника солнцеворота, в обряд которого входит сжигание специально доставляемого из леса обрубка древесного ствола (с.-хорв. *бадњак*), сопровождаемое ритуальной трапезой и наполненное магической символикой (возрождающееся солнце, священный огонь, пожелания плодородия в новом году)<sup>64</sup>.

В албанском языке слово *kërcún-* выступает как обычный апеллятив. Специальным термином для обозначения ритуально сжигаемого обрубка ствола у североалбанских горцев, сохраняющих этот обряд (в центральной и южной Албании он не сохранился), является *buzëm*, *buzmi*. Соответственно праздничная ночь (рождественская, поскольку древний зимний праздник оказался совпавшим с рождеством) называется *nata e buzmit*. Но в другие балканские языки *kërcún-*, по-видимому, перешло только в связи с обрядом, благодаря чему за ним закрепилось значение 'зимнего праздника' и затем 'рождества'. Рум. *seára crăciunului* 'рождественский вечер' является, как отмечает Э. Чабей, полной смысловой параллелью албанскому *nata e buzmit*<sup>65</sup>. Наличие слова *сгасиун* во всех языках восточнороманского ареала говорит, по его мнению, о раннем периоде заимствования, что подтверж-

<sup>62</sup> Критику предлагавшихся этимологий см. в статьях: Schütz J. Der rumänische *crăciun* «Weihnachten» im Slavischen. — Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. München, 1966, с. 35 и сл.; Десницкая А. В. О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением карпатского лингвистического ареала. — ВЯ, 1976, № 3; *Она же*. К интерпретации балканализмов в карпатской лексике. — В кн.: Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1976.

<sup>63</sup> Čabej E. *Crăciun*. — Studii și cercetari lingvistice, XII, 1961; 3, *Она же*. Studime reînăște etimologisăr. . . — Studime filologjike, 1964, 1, с. 61.

<sup>64</sup> В литературе содержится подробное описание этого обряда у народов Балканского полуострова: «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники» (коллективный труд Ин-та этнографии АН СССР, под ред. С. А. Токарева). М., 1973; Schneeweis E. Die Weihnachtsbräuche der Serbo-Kroaten. Wien, 1925. Специально у североалбанских горцев: *Zojzi Rr. Gjurmët e pji kalendarit primitiv në popullin tonë*. — Bul. i Inst. të Shkencavec. Tiranë, 1949, 1. О празднике Крачун у молдаван на широком этнографическом материале и с развернутым теоретическим освещением содержания обряда: Попович Ю. В. Молдавские новогодние праздники. Кишинев, 1974.

<sup>65</sup> Čabej E. *Craciun*, с. 314.

дается и древнеалбанским характером формы *karcun-*, отразившейся при заимствованиях<sup>66</sup>.

В развитие точки зрения Э. Чабея можно добавить следующее.

1. Основа *kërcin-* принадлежит к числу древних элементов албанской лексики. От того же корня *kërc-* образована также основа *kërcin-* 'берцовая кость'. Новоалб. *këgsip*- восходит к др.-алб. основе *karc-yp-*, которая в других языках Балканского полуострова отразилась с южнославянской метатезой как *kračip*, и далее, будучи очень рано занесена в восточнославянскую языковую среду (путем живых речевых контактов), преобразилась в полногласную форму *корочун*. С точки зрения исторической фонетики албанского языка, переход \**karc-* > *kërc-* объясняется безударной позицией гласного. Согласный -с- [ts] исторически явился вариантом -s- в положении после плавного, ср. обычное для албанского языка историческое чередование -с-/s- в парадигмах некоторых глаголов. Праалб. \**kar-s-* может быть возведено к и.-е. корню \*(s)ker-, \*(s)korg- 'резать, отрубать' с расширением \*(s)kor-s-: \**kor-s-* > \**kar-s-* > *kër-c-*. Возможна и другая реконструкция: и.-е. \*(s)kor-t-i/o-. Как известно, индоевропейское сочетание \*-ti- на албанской почве давало -s-. В этом случае алб. *kërcun-* 'пень, обрубок ствола' имеет соответствия в лит. *kartis*, лат. *karts* 'жердь, шест'<sup>67</sup>.

2. Зафиксированное в восточнославянских языках (в русском и белорусском) значение 'смерть' находит объяснение в семантике древнего праздника зимнего солнцеворота, включающей, наряду с символикой возрождения плодородия, также элемент почитания умерших предков и соответственно обращения к загробному миру, который нужно умилостивить, так как он может быть опасен.

На восточнославянской почве сохранились, по-видимому, лишь отголоски древнего обряда в виде, на первый взгляд, как будто мало связанных между собой значений ритуального термина *корочун* — 'зимний солнцеворот' и 'смерть'. Алб. *kërcun-* не используется как обрядовый термин. На этом основании Ю. В. Попович возражает против этимологии вост.-ром. и слав. *kračun*, предложенной Э. Чабеем<sup>68</sup>. Но в Албании ритуал сжи-

<sup>66</sup> Объяснение Э. Чабея поддерживается в работах: Schütz J. Der Rumänische *crăciun* . . ., с. 39 и сл.; Camaj M. Albanische Wortbildung, с. 106. С этимологией, предлагаемой М. Цамаем, который морфологически делит *kërcun-* и считает *kër-* префиксом, я согласиться не могу.

<sup>67</sup> Подробнее см.: Десницкая А. В. О некоторых вопросах балканистики . . ., с. 44 и сл.

<sup>68</sup> Попович Ю. В. Сравнительный анализ некоторых обычаем годового цикла у народов балканского и карпатского ареалов. — В кн.: Общекарпатский диалектологический атлас. Кипинев, 1976, с. 143 и сл. Сам Ю. В. Попович предлагает воскресить старое объяснение слова *kračun* — от «предполагаемого древнеславянского *krt-* 'черт'» (там же, с. 144). Эта этимология не может быть принята прежде всего по семантическим соображениям, так как она не учитывает значений термина *kračun*, а также содержания и функций соответствующего новогоднего обряда.

гания новогоднего обрубка дерева сохранился только на севере, а в центральной и в южной Албании от него не сохранилось следов. Возможно, что ранее апеллятив këgsip- 'пень, обрубок дерева' мог использоваться и в обрядовой лексике, но это его употребление исчезло вместе с обрядом. Во всяком случае эта этимология является наиболее убедительной в семантическом отношении и бесспорной с точки зрения исторической фонетики албанского, восточнороманских и славянских языков.

\*

Древнерусские обрядовые термины, этимологические и семантические связи которых протягиваются в юго-западном направлении и которые могут быть отнесены к числу ранних балканизмов, выступают перед нами не как изолированные, случайно попавшие лексические элементы иноязычного происхождения, но образуют хотя и небольшой, но внутренне связанный семантический разряд. Это делает более убедительным объяснение каждого из них как элемента существовавшей некогда древнерусской системы обрядовой лексики. В формировании этой системы определенную роль играли юго-западные (балканские) влияния, следы которых выявляет этимология и семантические соответствия некоторых слов с сохранившимся или утерянным обрядовым значением.

Л. П. ЖУКОВСКАЯ

## ПОСТОЯННАЯ И ВАРЬИРУЮЩАЯСЯ ЛЕКСИКА В СПИСКАХ ПАМЯТНИКА (вопросы изучения и лексикографирования)

Лексику списков древнего памятника можно рассматривать с точки зрения наличия или, наоборот, отсутствия последовательности ее употребления в одном и том же контексте во всех сохранившихся списках памятника или в определенных группах списков. При этом к постоянной лексике отнесем слова, не варьирующиеся в таких контекстах по семантике (1), с общим корневым элементом (2), представленные в единственно возможном словообразовательном оформлении (3) и принадлежащие к одному и тому же грамматическому классу (4). К варьирующейся лексике отнесем слова, образующие ряды в два или несколько слов, употребленных в одном и том же контексте в списках одного и того же памятника (=произведения) письменности, имеющих одинаковую или близкую семантику, но различающихся между собою в материальном (см. п. 2 и 3) и грамматическом (п. 4) отношениях.

В зависимости от охвата списков памятника компоненты рядов варьирующейся лексики, с одной стороны, и постоянной — с другой, могут изменяться. Привлекая для изучения лексики списки памятника в соответствии с хронологическими, территориальными, текстологическими или какими-то иными ограничениями, можно получать аргументированные данные о функционировании того или иного лексического фонда и отдельных его компонентов в определенное время, на определенной территории, в определенных культурно-исторических центрах и т. п.

Немало проблем в исторической лексикологии славянских языков и даже самих древних славянских литературных и нелитературных языков может опираться на изучение постоянной и варьирующейся лексики в памятниках письменности. В частности, составление словарников постоянной и варьирующейся лексики по спискам каждого распространенного в средние века памятника может стать основой для будущей общеславянской лексикографической работы и лексикологических исследований.

*О единстве средневековой славянской письменности и различиях языка.* Одной из актуальных задач славистики, которая не может быть решена силами отдельных ученых и даже силами какого-либо крупного научного коллектива, является установление фонда лексики, функционировавшей в общелитературно-славянской книжности средневековья повсеместно или в отдель-

ных регионах. Представленная в нескольких сотнях памятников (=произведений), сохранившихся к тому же нередко в сотнях списков определенного памятника, эта письменность, по мнению некоторых славистов, представляет общеславянский литературный язык средневековья, называемый чаще церковнославянским языком; по мнению других славистов, она представляет разные литературные (или литературно-письменные) языки отдельных славянских стран или народов.

Вопрос этот имеет длительную историю, но для безусловно доказательного решения его славистика до сих пор не располагает необходимыми данными. Наиболее умозрительной нам представляется первая точка зрения, однако в предлагаемом докладе мы не ставим задачу всесторонне критически рассматривать ее.

В частности, для однозначного суждения о том, существовал ли единый общий письменный язык или же в разных славянских землях функционировали только региональные, более или менее различающиеся между собой языки, необходимо: 1) иметь свод лексики, не изменявшийся и не заменявшийся во всех славянских средневековых книгах (актовая письменность, имевшая внутригосударственное распространение, и другие нелитературные письменные источники — надписи, граффити, частная переписка — при таком рассмотрении могут учитываться особо прежде всего для изучения региональных литературных языков); 2) свод лексики, варьирующейся в этих книгах при передаче одного и того же текста (во многих случаях, но не всегда, среди вариантов будет и исходное слово, представленное уже в кирилло-мефодиевских или иных ранних славянских переводах и компиляциях, не дошедших в авторских оригиналах, но сохранившихся в весьма многочисленных списках, начиная с XIII в., и в менее многочисленных рукописях X—XII вв.); 3) эта варьирующаяся лексика сама должна быть изучена с точки зрения последовательного или, наоборот, непоследовательного употребления определенных вариантов в рукописях, переписанных в разных славянских странах в то или иное время.

Поскольку эти, на наш взгляд совершенно необходимые, данные не могут быть получены в ближайшие десятилетия, ниже предлагаются некоторые соображения по изучению и прежде всего по накоплению лексических материалов из общелитературно-славянской книжности. Это накопление может стать необходимой базой для изучения лексического состава отдельных средневековых славянских литературных языков или общеславянского литературного языка этого периода (хотя существование последнего нам и представляется сомнительным).

Отрицая единство литературного языка у славян в средневековье, мы в то же время не отрицаем единства средневековой славянской литературы и признаем существование общего фонда памятников письменности, в большинстве своем восходящих к восточносредиземноморскому куль-

турно-историческому ареалу и византийской письменности в особенности. Эти памятники могли относительно свободно мигрировать из страны в страну и обратно вследствие близости материальных и общественных условий жизни, вследствие общности идеологической и культурной. Эта близость или общность выражалась в сфере понятий и требовала общности языкового выражения. Благодаря языковому родству славян во многих случаях эти общие понятия могли быть обозначены одинаковыми или сходными языковыми средствами (единство корневых морфем, общий фонд основных словообразовательных элементов, максимальная близость грамматических категорий и форм) и выражена общим славянским письмом (алфавитом). При этом одни общие явления восходили к эпохе праславянского языкового родства, другие появились вследствие единства христианской культуры, полученной славянами через Византию и потому отражающей общие идеи и явления культуры восточносредиземноморского региона.

Это единство письменной культуры и сходство языкового выражения в одних и тех же памятниках письменности, переписывавшихся в разных славянских краях, видимо, и принималось за единство литературно-письменного языка. Но единый язык должен был бы иметь одинаковые фонетические, морфологические, синтаксические, словообразовательные средства и единую в семантическом и материальном отношении лексику. В действительности же все эти стороны языка, как известно, не выступают вполне едиными в средневековых рукописях, даже в списках одного и того же памятника, написанных в разных славянских странах. Поэтому сами реально существующие рукописи побудили ученых прошлого века выдвинуть понятие извода.

Итоговое определение извода в лингвистическом смысле (не текстологическом!) дал Е. Ф. Карский: «При списывании книг с древних церковнославянских оригиналов болгарами, сербами и русскими возникали изводы, или редакции, церковнославянских памятников с местными чертами, свойственными народным языкам — болгар, сербов, русских»<sup>1</sup>. Обычно лингвисты сужают это понятие извода до отражения на письме только фонетических и морфологических языковых особенностей. Синтаксис, как отражение специально продумываемого письменного языка в отличие его от живой речи, настолько специфичен, что эта его специфика перекрывает те различия славянских разговорных языков, которые существуют теперь и не могли не быть у славян в средние века, но до сих пор изучены крайне недостаточно. Что же касается лексики, то она изучена в еще меньшей степени. Если же учесть, что лексика состоит не из обозримого числа определенных явлений, как фонетика, морфо-

<sup>1</sup> Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928, с. 315 (разрядка наша. — Л. Ж.).

логия, синтаксис и словообразование, а из тысяч разрозненных элементов — имеющих свою историю отдельных слов, то придется признать, что степень изученности славянской лексики средневековья ничтожна.

Ведь даже в случаях, когда составлен словарь определенной рукописи, содержащей какой-либо памятник письменности, у лингвистов нет оснований однозначно квалифицировать выявленную лексику как принадлежащую оригиналу этого произведения или, наоборот, как принадлежащую языку последнего переписчика (т. е. писца данной рукописи). Например, одним из очень ценных для славистики последних лексикографических трудов является составленный А. Давидовым «Индекс» слов Козьмы Пресвитера<sup>2</sup>. Но в лексикологическом отношении этот «Индекс» остается пока только материалом для дальнейшего изучения, поскольку представленная в нем лексика не может быть квалифицирована ни во времени, ни в пространстве: сам памятник создавался в X в. Козьмой Пресвитером, но все использованные А. Давидовым рукописные источники — не болгарские и даже не южнославянские, а восточнославянские рукописи XV—XVI вв. Между тем на основании изучения русских списков разных древних славянских памятников (см. ниже) накопилось уже немало сведений о внесении восточнославянскими писцами собственного словаря в переписываемые произведения.

По мере развертывания текстологического изучения древних и средневековых славянских памятников обнаруживается все больше данных о разнообразии лексического состава списков каждого памятника. В качестве иллюстрации приведем заключение лингвиста О. П. Лихачевой, сделанное ею после текстологического исследования 43-х списков повести «Стефанит и Ихнилат», которая пришла на Русь из Индии через Византию и южных славян, но сохранилась в русских сборниках XVII—XIX вв. О. П. Лихачева отмечает: «Оставшиеся в тексте греческие и южнославянские русскими переписчиками понемногу изменялись, иногда с ущербом для смысла текста. Лексика памятника постепенно модернизировалась. Происходило также редактирование интерполяций, вводимых в текст на протяжении всей его истории, и проводилось оно исходя из разных „читательских нужд“: одни редакторы усиливали дидактическую сторону памятника, другие стремились освободить сюжет от излишних назидательных отступлений<sup>3</sup>. Включение нового содержания, замена устаревшей лексики приводили к изменению лексического состава редакций и списков памятника.

Пожалуй, ни у кого не вызывает сомнения, что в «светских» памятниках изменение словаря имело место и что историческая

<sup>2</sup> Давидов А. Речник-индекс на Презвитер Козма. София, 1976.

<sup>3</sup> Лихачева О. П. «Стефанит и Ихнилат» в рукописной традиции. — В кн.: Стефанит и Ихнилат. Средневековая книга басен по русским рукописям XV—XVII веков. Л., 1969, с. 215.

лексикология должна его выявлять. Иначе до последнего времени полагали о словаре памятников, обслуживавших в первую очередь нужды церкви. Не случайно Евангелие, Апостол, Псалтырь, книги Ветхого завета оставлены за пределами круга источников Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.<sup>4</sup>, хотя именно в XI—XIV вв. списки названных памятников сильно русифицировались во всех отношениях, в том числе и путем замены устаревавших и непонятных слов словами понятными, заимствованными из живого древнерусского языка и письменности. Преодолению ложных представлений о единобразии в лексикологическом отношении (а также текстологическом) самого распространенного в средневековые памятника письменности — Евангелия (более 25% сохранившегося древнего рукописного фонда в книгохранилищах СССР) мы посвятили ряд статей и отдельную книгу<sup>5</sup>. Приводимые в них факты о языковом расхождении даже такого памятника, как Евангелие, имеют максимальную значимость не только при решении вопроса о составе источников «Словаря церковнославянского языка» (или памятников), но и при составлении словарей региональных литературных языков. Ведь списки этого памятника, как восходящие к общему переводу IX в., осуществленному Кириллом и Мефодием, и как предназначавшиеся в основном для богослужения, должны были бы обладать максимумом единства в языковом отношении. Они должны были бы явиться отражением того самого единого славянского литературного языка, функционировавшего с «IX почти до конца XVIII в. и распространенного среди восточных и южных славян, а в ранний период и среди славян западных»<sup>6</sup>. Оказалось же, что в языковом отношении различаются не только списки, но даже одни и те же (т. е. повторно написанные) чтения в одном и том же списке. Это продемонстрировано нами в указанной работе на материале Мстиславова евангелия кон. XI—нач. XII в. (с. 129—207).

Некоторые лексические различия при передаче одного и того же текста по разным спискам будут представлены ниже на материале разных по содержанию и характеру памятников, имевших к тому же разную литературную судьбу: восходящего к старославянскому переводу богослужебного памятника (наши материалы), пришедшего из Индии через Византию, Сербию и Болгию, но представленного только в поздних русских списках («Степанит и Ихнилат», исследование О. П. Лихачевой), восходящего к древнему болгарскому оригиналу («Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, работа Г. С. Барановой), переведенного непосредственно с греческого на древнерусский («Хри-

<sup>4</sup> Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Введение, инструкция, список источников, пробные статьи. М., 1966, с. 16.

<sup>5</sup> Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.

<sup>6</sup> Толстой Н. И. К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян. — ВЯ, 1961, № 1, с. 52.

стианская топография» Козьмы Индикоплова, работа Л. А. Илюшиной), произведений древнерусского писателя XII в. («Слова» Кирилла Туровского, работа Т. А. Алексеевой).

О работе Комиссии по составлению Словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка. Из находящихся в ведении Международного комитета славистов международных предприятий наиболее близкой по своим задачам к названной выше проблематике выявления лексики, не изменявшейся по спискам памятников и варьирующейся в произведениях средневековой славянской письменности и в их списках, является деятельность Комиссии по составлению Словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка. Ее работа и принятые решения отражают нынешнее состояние вопроса, и потому остановимся на них<sup>7</sup>.

Двадцать лет назад на заседании Комиссии по делам конкретных международных предприятий во время IV Международного съезда славистов, происходившего в Москве, проф. Й. Курц «обосновал необходимость словаря, включающего все случаи употребления слов, зафиксированных в церковнославянских памятниках всех редакций с древнейших времен до XVI—XVIII вв. (типа тезауруса)<sup>8</sup>. Докладчик в то время был известен научной общественности не только как крупный ученый-славист, но и как главный редактор начавшего выходить «Словаря старославянского языка». О последнем на обложке его первого выпуска, вышедшего в том же 1958 г., говорилось: «В словарь старославянского языка входит словарный запас текстов, которые возникли в кирилло-методиевский период, и церковнославянских текстов чешской редакции<sup>9</sup>. Словарь церковнославянского языка должен был стать продолжением этого словаря. Предложение Й. Курца было принято. Были избраны первые члены Комиссии и ее председатель — Й. Курц. Съезд принял постановление: «III. Считать заслуживающими внимания следующие предложения, выдвинутые на заседаниях комиссий... По комиссии по международным научным предприятиям: ... 3) Создание единого словаря церковнославянского языка разных изводов»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Автор просит рассматривать настоящую статью не как написанную вице-председателем названной комиссии, но только как выражение личной точки зрения автора и как материал для дискуссии на предстоящем съезде славистов в Любляне.

<sup>8</sup> Князевская О. А. [Хроникальная заметка о заседаниях Комиссии по составлению Словаря общеславянского литературного (церковнославянского) языка 25—29 апреля 1966 г.] — ВЯ, 1966, № 5, с. 147 (разрядка наша. — Л. Ж.). Мы придаем этой публикации важное значение, поскольку она была санкционирована инициаторами составления названного словаря — Й. Курцем и В. В. Виноградовым незадолго до их смерти. Далее при ссылках на эту работу в тексте в скобках указаны страницы.

<sup>9</sup> Slovník jazyka staroslověnského. 1. Praha, 1958 (разрядка наша. — Л. Ж.).

<sup>10</sup> IV Международный съезд славистов. Отчет. М., 1960, с. 160—162 (разрядка наша. — Л. Ж.).

В июне 1963 г. в Загребе и в сентябре на V Международном съезде славистов в Софии состоялись первые заседания Комиссии по составлению Словаря церковнославянского языка. На них сразу же выявились расхождения во взглядах ее членов на задачи и даже на самую возможность составления единого словаря. Потребовалось даже специальное решение о том, что создание общего словаря «не исключает возможности создания параллельных словарей разных редакций, которые будут основаны на общих согласованных принципах и технических нормах» (с. 148). Было решено, что для общего словаря верхним хронологическим пределом является XVI в., «но в некоторых важных и хорошо обоснованных случаях для отдельных редакций можно привлекать рукописи вплоть до начала XVIII в.» (с. 147). Что касается материала по древнейшему периоду, то он должен быть обеспечен картотекой Старославянского словаря, подготовленной в Чехословакии (с. 147—148).

Обсуждался вопрос и о названии языка, словарь которого должен составляться. Мнения разделились между предложенными определениями: «церковнославянский», «общеславянский литературный», «общеславянский книжный». На заседании в Софии было решено придерживаться первого названия.

В апреле 1966 г. по предложению председателя Советского комитета славистов В. В. Виноградова состоялись плодотворные заседания комиссии в Москве. Здесь рассматривался ряд теоретических и практических вопросов, связанных непосредственно с изучением средневековых славянских литературно-письменных языков. С докладами выступили представители почти всех славянских стран и стран, использовавших в древности церковнославянский язык в качестве культового: И. Курц, И. Хамм, Г. Михаилэ, Л. П. Жуковская, А. Назор, А. С. Львов, Л. Мощинский, Н. И. Толстой, В. Ф. Мареш, П. Джорджич. В обсуждении большинства вопросов активное участие принимали академики В. В. Виноградов и Б. Гавранек.

Относительно словаря общего языка были приняты дальнейшие решения, в частности: «Координировать теоретические и практические принципы подготовительных работ по словарям: отбор памятников, способ расписывания памятников (выборки) и внешний технический вид карточки» (с. 150).

Специальных докладов об объекте — языке, словарь которого должен составляться, — прочитано не было. Но наименее близко подходил к этому Н. И. Толстой в своем докладе «Определение круга источников словаря древнего общеславянского литературного языка вместе с предварительным решением вопроса периодизации этого языка и уточнением хронологических и территориальных рамок его функционирования». По мнению Н. И. Толского, «полезно определить в первую очередь нормы раннего и позднего периодов, а затем уже периодов промежуточных, имея в виду постоянное развитие древнеславянского языка

в плане „внутреннем“ и смещение центров в плане внешнем» (с. 149).

Между тем при задаче составления словаря общего языка понятие объекта нуждается в первоочередном выяснении. Именно отсутствие единства мнений об объекте и привело к указанной выше ревизии первоначального определения «церковнославянский» (общеславянский, общеславянский книжный, древний общеславянский литературный, межславянский, международный литературный славянский<sup>11</sup>) и уже в 1963 г. потребовало решения о праве на существование паряду с общим словарем словарей региональных, в составлении которых в первую очередь были заинтересованы учёные отдельных стран.

С нашей точки зрения, язык, как бы его ни квалифицировать, в настоящее время не может быть предметом лексикографической работы, так как именно он — язык — в конечном счете является искомым объектом. Именно в поисках лексического состава этого языка, в сравнении с которым впоследствии могут изучаться региональные средневековые языки или диалекты, был задуман единый словарь церковнославянского языка (ведь речь шла не о переводном словаре, задача которого зафиксировать весь фонд лексики и указать значение всех слов, а о научном словаре!). Но получается заколдованный круг: мы ищем словарь (лексический фонд) языка, но сам язык сможем определить, лишь хотя бы приблизенно зная его словарь. При настоящем состоянии разысканий в этой области объектом лексикографирования может явиться только сохранившаяся письменность, представленных во всех своих редакциях и списках этих редакций.

Характерно, что в формулировках решений, принятых на заседаниях в апреле 1966 г., можно заметить истоки именно такой трактовки объекта. Так, если в п. 1 по традиции назван еще «общеславянский литературный (церковнославянский) язык», то в п. 4 уже читаем о работе Комиссии «в области старославянской и общелiterатурно-славянской письменности средневековья» (с. 150). Правда, в последнем случае речь идет прежде всего об издательской работе. Однако выше в неоднократно цитировавшемся обзоре читаем о том, что И. Хамм «отстаивал правомерность названия „церковнославянский“ язык; в этом термине хорошо отражено реальное содержание сохранившихся источников» (с. 148; разрядка наша. — Л. Ж.).

В период между VI Пражским (1968) и VII Варшавским (1973) съездами славистов не было заседаний Комиссии по составлению церковнославянского словаря. Это было обусловлено в значительной степени утратами наиболее активных ее работников:

<sup>11</sup> Два последних определения принадлежат Л. Мошинскому. См.: *Мошинский Л.* Отношение словаря церковнославянского языка к словарям отдельных славянских языков. — ВЯ, 1966, № 5, с. 84.

В. В. Виноградова (4 октября 1969 г.) и ее председателя Й. Курца (6 декабря 1972 г.). На VII съезде по предложению Международного комитета славистов председателем комиссии был избран В. Ф. Мареш (Прага—Вена).

Только в октябре 1974 г. в Загребе, в единственном в славянских странах специализированном Старославянском институте «Светозар Ритиг», состоялось очередное заседание Комиссии. Оно было менее представительным: присутствовали только представители республик Югославии и СССР, руководство комиссии и Й. Хамм. По вопросам непосредственно связанным с работой над Словарем церковнославянского языка, выяснилось главное: создание единого словаря в настоящее время нереально. Даже в республиках Югославии не может составляться общий словарь, хотя в каждой из них, кроме Словении, развернулась самостоятельная работа.

Поэтому главной задачей Комиссии стало обсуждение и выработка таких общих принципов составления словарей отдельных редакций древнеславянского литературного языка (или языков), которые обеспечили бы единство теории и практики их составления. Эти словари должны по возможности охватить все лексическое достояние во всем объеме всех жанров церковнославянской письменности. Они должны дать возможность 1) изучения лексической специфики каждой редакции церковнославянского языка, 2) изучения общей лексической основы, 3) сравнительного изучения лексического богатства в границах церковнославянского языка в сравнении с живыми современными славянскими языками. Из этих требований вытекает необходимость координации в отборе текстов, в идентичной до деталей выписке материала из источников, в составлении самих словарей на одинаковых началах. По мнению большинства участников, координация этой работы и тесное сотрудничество не только необходимы, но и относительно легко выполнимы. Так, было решено, что заглавное слово во всех случаях должно даваться в кириллице, даже если источник написан глаголицей; заглавное слово должно быть переведено, кроме современного языка соответствующей редакции, на русский язык.

В настоящее время было бы целесообразно вернуться к более представительному обсуждению некоторых общих вопросов, связанных с лексикографическими работами в ряде стран, имея в виду также и общеславянские задачи. Было бы желательно общими усилиями всех славистов наметить такие более или менее узкие исследовательские и полуисследовательские темы, в ходе выполнения которых можно накапливать материал, необходимый для каждого регионального словаря и словаря общей древней и средневековой книжной письменности. Свои соображения об этом мы излагаем ниже. Предварительно же считаем необходимым остановиться на объеме работы, так как только понимание разрыва между необходимым и возможным поможет всем славистам,

а не только членам Комиссии по составлению словаря церковнославянского языка, сообща искать пути выполнения труднейшей задачи.

*Об объеме работы по изучению славянского лексического наследия.* Древнее славянское письменное наследие огромно. Только в книгохранилищах СССР имеется полторы тысячи славянских рукописей X—XIV вв.<sup>12</sup>, примерно 3500 — XV в. и много тысяч рукописей, пока даже не доступных подсчету, — XVI—XVII вв. Эти рукописи являются списками отдельных памятников, иногда только частями их, иногда, наоборот, содержат несколько и даже много памятников (=произведений) древней и средневековой славянской письменности. Приближенное представление о числе памятников (не рукописей!) только до XIV в. дает перечень рекомендуемых наименований их<sup>13</sup>, в котором их более 350. Но к ним нужно добавить произведения, появившиеся у славян после XIV в. и представленные только в поздних списках (XV—XVII вв.) и потому не вошедшие в названный перечень наименований памятников. Такова, к примеру, смоленская «Повесть о перенесении ветхих гробниц Бориса и Глеба», созданная в XII в., но известная только в списке XVI в.<sup>14</sup>

Итак, количество произведений исчисляется сотнями, вероятно, даже многими сотнями. Количество же рукописей, содержащих списки этих памятников, исчисляется, естественно, тысячами. Если брать их в пределах, принятых для церковнославянского словаря, т. е. до XVII в. включительно, и по всем странам, имеющим славянские рукописи, то число списков составит десятки тысяч.

Между тем в каждом памятнике и в любом его списке могут оказаться слова, не зафиксированные в известных словарных материалах: словарях, словоуказателях, картотеках, словниках. Покажем это на нескольких примерах.

В 11 списках «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова XVI—XVII вв. Л. А. Илюшина обнаружила свыше 30 слов, отсутствующих в словарях древнерусского языка. Это — сущест-

<sup>12</sup> См.: Предварительный список славяно-русских рукописей XI—XIV вв., хранящихся в СССР. — В кн.: Археографический ежегодник за 1965 г. М., 1966, с. 177—272. Здесь учтена только книжная письменность.

<sup>13</sup> Жуковская Л. П., Тихомиров Н. Б., Шеламанова Н. Б. Рекомендуемые наименования памятников письменности и рукописей для славянского выпуска «Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР». — В кн.: Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2, ч. I. М., 1976 (ротапринт). Ввиду ограниченного тиража методического пособия указываем более ранний, но менее совершенный перечень, изданный типографским способом, в статье: Жуковская Л. П. Памятники русской и славянской письменности в книгохранилищах СССР. — Советское славяноведение, 1969, № 1, с. 57—71.

<sup>14</sup> См.: Воронин Н. Н., Жуковская Л. П. К истории смоленской литературы XII в. — В кн.: Культурное наследие древней Руси. Истоки, становление, традиции. М., 1976, с. 69—79.

вительные с отвлеченным значением: бессмертьство, болезньство, взвешивание, вопрошение, воспротивление, восхотение, иерейство, изящие, ковачество, кругловидство, круглообразство, любоверие, мытие, напояние, начальствие, пламеньство, подобочестие, поклонение, покрывание, посоздание, разноличие, ражигание, сваролюбие, смертотворие, совопрошение, созвание, стужение, суточно-трудолюбство, теплотьство, трудолюбство<sup>15</sup>, истертые<sup>16</sup>. Отмечая образования на -ние, -тие от одних и тех же глаголов, Л. А. Илюшина приводит данные о том, что эти образования неодинаково реализуются по спискам (хотя текстологического изучения ее работа не содержит): престанье — списки 2 и 7, престатие — 1, 3, 6, 9, 11, пѣние — список 6, пѣтие — списки 1—5, 7, 9, 11<sup>17</sup>. Она же отмечает названия единорожецъ, инорожецъ, ноздрогъ для носорога в тексте памятника, но при этом оставленное без перевода название ринокерос, ринокерось и в одном из списков — ринокорос в надписях под рисунками<sup>18</sup>. Как видим, даже место расположения слова в рукописи может свидетельствовать о наличии его в языке или только в пассивном запасе (если это не простая графическая копия греческой надписи без соотнесения ее по семантике со словом единорожецъ и др.).

Г. С. Баранкова в лингвотекстологическом исследовании списков «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского отмечает такие не зафиксированные в «Материалах» И. И. Срезневского слова, которые она выявила в списках названного памятника: обильство, прѣмудрьство, вѣзвышеніе — вѣзвышаніе, обнощеніе, немысле, начьство, начье, лихование, разнье, ясность<sup>19</sup>. Во всех словарях, в том числе и в упоминавшемся выше «Индексе» Козьмы Пресвитера, отсутствуют слова: акариевъ, арпагия, астрономицкіи, благыныны дарь, богоратие, вѣсплаканіе, вѣсемоще, генефилиология, доброизволеныныи, дубовыныи, избѣскование, измразити, обрѣтельныи, обѣходичныи, пакыдошествие, полтица — палтица, равнодѣние, равнославие, сѣкавецъ<sup>20</sup>.

Приведенные данные нескольких памятников свидетельствуют о том, что каждый список памятника должен быть изучен, если

<sup>15</sup> Илюшина Л. А. К истории суффиксального словообразования отвлеченных имён существительных в книжном языке XVI—XVII веков. (На материале списков XVI—XVII веков «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова). М., 1968, с. 48.

<sup>16</sup> Илюшина Л. А. Система словообразовательных типов имён существительных в русском книжном языке XVI—XVII вв. (На материале списков «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова). Автореф. канд. дис. М., 1969, с. 9.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Илюшина Л. А. Сложные существительные — названия животных в русском языке. — Вестн. Моск. ун-та, 1968, № 3, с. 68.

<sup>19</sup> Баранкова Г. С. О словообразовании существительных в списках «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского. — В кн.: Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. М., 1974, с. 155.

<sup>20</sup> Баранкова Г. С. Лексика русских списков «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского. Автореф. канд. дис. М., 1977, с. 13—14.

мы поставим задачу выявить в сю лексику (и с точки зрения материальной, и с точки зрения семантической), представленную в средневековом славянском письменном наследии. Выполнение этой задачи в обозримое время маловероятно даже в региональных словарях. Между тем речь идет о полном общеи словаре всей средневековой славянской книжной письменности.

Так, на упомянутом совещании в апреле 1966 г. Й. Хамм подчеркнул, что церковнославянский словарь «должен содержать материал, извлеченный из сохранившихся рукописей от древнейшей поры до XVI—XVII вв.; при его подготовке необходимо обратить особое внимание на полноту материала и строгую последовательность отбора памятников, на точную цитацию вариантов» (с. 148). Однако что такое «строгая последовательность отбора памятников» — до сих пор неясно. Обычно при составлении словарей привлекаются единичные, нередко случайные списки памятника. Как правило, предпочтение отдается древнейшим. Они более известны, во всяком случае — учтены археографами, и иногда в той или иной мере изучены. Однако хорошо известно, что сходство и различие текста и словаря определяется не столько древностью, сколько текстологической близостью или удаленностью списков памятника. Например, написанное для новгородского князя в кон. XI—нач. XII в. Мстиславово евангелие и принадлежащая Пушкинскому дому аналогичная рукопись XIV в. (Пуш.) ближе между собой, чем Мстиславово и написанное на 70—100 лет позднее его в новгородской земле Милятино евангелие.

Невозможность прочтения всех списков памятника составителями словаря, как бы ни был велик коллектив, очевидна.

*О текстологии как средстве для выявления большинства лексических расхождений в списках памятника.* Как один из возможных путей охвата максимального числа лексических вариантов в списках памятника представляется путь предварительного текстологического изучения его.

В своей характеристике особенностей древнерусской литературы в связи с необходимостью текстологического изучения ее Д. С. Лихачев указывает: «Характер истории текста произведений древнерусской литературы имеет много общего с фольклором, где текст не только просто меняется, но часто совершенствуется на позднейших этапах своего существования... На всем пути истории текста памятника стоят люди с их возвретиями, интересами, вкусами, навыками письма и чтения, особенностями памяти и общего развития... Движение текста произведений длительно, многообразно, сложно, не имеет границ и не связано с современными нам представлениями об авторской собственности»<sup>21</sup>.

Это движение текста в конечном счете выражается в изменениях композиции и языкового выражения. Изменения текста,

<sup>21</sup> Лихачев Д. С. Основные принципы текстологических исследований памятников древнерусской литературы. — В кн.: Текстология славянских литератур. Л., 1973, с. 221, 223, 234.

не относящиеся к изменениям композиции и выражению содержания, проявляются в движении собственно языковых средств и прежде всего в лексических заменах. И потому, перефразируя изречение Д. С. Лихачева «Текстология — это фундамент исследования литературы, древнерусской по крайней мере»<sup>22</sup>, мы считаем возможным заключить: «Текстология — это фундамент исследования языка и особенно лексики древних славянских памятников письменности, представленных в двух и более списках». Причем с возрастанием числа сохранившихся списков эта роль текстологического исследования все более возрастает.

В качестве примера приведем исследование 49 списков «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, осуществленное Г. С. Баранковой. Автор пишет: «Выяснилось, что общие словообразовательные особенности присущи не столько спискам, написанным приблизительно в одно и то же время, сколько спискам, принадлежащим к той или иной ветви (группе), выделенной при текстологической классификации»<sup>23</sup>. Таковы, например, в списках «Шестоднева» слова: *сущие — существо, величие — величество, обилье — обильство, начатки — начала, бесправедье — бесправдие — неправда* и др. Эта закономерность — лингвотекстологическое соответствие — особенно хорошо прослеживается на часто употребляющихся словах<sup>24</sup>.

Распределение лексики по текстологическим группам отмечает Т. А. Алексеева, исследовавшая несколько десятков списков «Слов» древнерусского писателя XII в. Кирилла Туровского, встречающихся в составе разных сборников XV—XVII вв.: «В списках Чудовской группы на месте прилагательного *всераинскии* имеется прилагательное *живоносныи*, а в списках Пискаревской, Троицкой и Уваровской групп — прилагательное *породныи*»<sup>25</sup>. Рассматривая не зафиксированные в «Материалах...» И. И. Срезневского слова, Т. А. Алексеева отмечает глагол *плакнити*, характерный для списков «Слова о расслабленном» Кирилла Туровского только в Волоколамской группе списков, тогда как списки Чудовской группы имеют глагол *полоскати*, а списки Пискаревской и Уваровской групп — глагол *полокати*<sup>26</sup>.

Приведенные факты свидетельствуют о возможности отбора представителей той или иной текстологической группы списков определенного памятника для полного исследования этих представителей с целями выявления лексики, которую необходимо включить в будущий словарь.

<sup>22</sup> Лихачев Д. С. Указ. соч., с. 234.

<sup>23</sup> Баранкова Г. С. О словообразовании существительных в списках «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского. — В кн.: Памятники русского языка. Вопросы исследования и издания. М., 1974, с. 144.

<sup>24</sup> Там же, с. 145—147.

<sup>25</sup> Алексеева Т. А. «Слова» Кирилла Туровского как источник для исторической лексикологии. — В кн.: Источники по истории русского языка. М., 1976, с. 81.

<sup>26</sup> Там же, с. 82.

Мы уже отмечали, что славянские богослужебные книги, лексика которых не вошла в качестве источника в составляющиеся в нашей стране словари, являются важнейшим источником Словаря общелитературной средневековой письменности славян. Речь шла также о том, что нельзя удовлетворяться данными нескольких произвольно отобранных списков любого памятника (например, предпочтенных из-за их древности или диалектной принадлежности последнего писца, которая определяется по отражению фонетических особенностей в орфографии рукописи). У нас нет полного представления о лексическом богатстве рукописей, наполняющих наши архивы. Однако необходимо учесть лексику всех без исключения книг, написанных до XVII в. включительно. В случае невозможности провести такую трудоемкую работу в обозримый срок и суммировать полученную лексику необходимо провести текстологическое исследование каждого памятника или типа книги внутри определенного памятника (например, тетра и трех типов апракоса, относящихся к одному памятнику — Евангелию), чтобы затем для сплошной выборки материала отобрать главных и наиболее полных по сохранности текста представителей отдельных текстологических групп (с. 148—149).

Теперь, спустя 12 лет после этих высказываний, мы думаем, что и такая суженная задача не может быть решена в обозримое время. Ведь и для такого отбора рукописных источников потребуется несколько сот исследователей, которые могли бы затратить по десятку лет для того, чтобы текстологически изучить каждое из дошедших до нас произведений древней славянской письменности (вспомним указанное выше среднее число: 350 наименований).

Мало того. При текстологическом отборе рукописных источников для последующего изучения их с целями лексикографии приходится иметь в виду, что полного лексического состава функционировавшей в средневековых славянских языках лексики мы все же не будем иметь и при использовании полного словаря отобранных (путем предварительного текстологического исследования) представителей всех текстологических групп памятника. Так, Г. С. Баранкова, изучившая язык 16 таких представителей из числа текстологически обследованных 49 списков IV Слова «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, отмечает: «Большая группа рассматриваемых слов употребляется непоследовательно в разных списках, независимо от принадлежности этих списков к той или иной ветви»<sup>27</sup>. Среди них встречаем: *разнство — разнество — разные, высота — высота, быстрота — быстрота, знамения — знаменования — назнаменования* и др.

Как видим, определенные лексемы бытовали в языке древнерусских писцов XVI—XVII вв. в качестве более или менее сино-

<sup>27</sup> Баранкова Г. С. О словообразовании. . . , с. 147.

нимичных и потому могли свободно заменять друг друга в разных списках памятника по усмотрению писцов, не ставящих перед собой целей редактирования текста.

Но, естественно, в таком ряду могут оказаться и редкие, единично употребленные в каком-либо списке слова. Выявление их для региональных словарей и для Словаря общей письменности также необходимо.

Как показало проводившееся в последние годы исследование лексики какого-либо избранного памятника по более или менее многочисленным спискам его (см. указанные выше работы), каждый список памятника потенциально может хранить в себе слова, не отмечавшиеся раньше в древней письменности или отмечавшиеся с другой семантикой, может содержать отмечавшиеся в словарях раритеты, подтверждение существования которых (того, что они не гапаксы), их употребительности и их значений также очень важно для будущего общеславянского Словаря средневековой славянской письменности.

Даже в таком, казалось бы весьма известном памятнике письменности, каким является Евангелие, по спискам его находим немало заслуживающего особого внимания. Например, в тексте Мт. XIII 33 вместо *три сага* в Рум-111 (рукопись ГБЛ, ф. 256, собр. Румянцева, № 111) читаем: *полтора спуда итальска. сиага три*. л. 33г (параллельный материал по нескольким рукописям см. в нашей работе «Текстология и язык...», с. 323—325). В значении ‘горчичный’ в списках этого же памятника находим не только весьма разнообразные слова, отличающиеся словообразованием (см. там же, с. 35—96, 323—324), не только единичное заимствование *сиапники* — Увр-268 (ГИМ, собр. Уварова, № 268), но и редкие слова другой семантики: *горашники* — Тип-19 (ЦГАДА, ф. 381, собр. Синодальный типографии, № 19), *грушники* — Пуш. (рукопись Пушкинского дома, Р. IV, оп. 25, № 30). В аналогичном источнике имеем глагол *сказигиса* (*съказигиса*), не отмеченный Срезневским: *мѣси сказатъса* — Румн-117 (евангелие тетр XIV в., ГБЛ, ф. 256, собр. Румянцева, № 117) вместо наиболее распространенного сочетания *мѣси погыблютъса* — М. II 22. В тексте Л. XX 20 встречаем не отмеченное И. И. Срезневским слово *на-чаллѣтко* (вместо *владѣтели, владычество*) в рукописях Мзк-1072 и Мзк-3794 (ГИМ, собр. Музейское, соответственно № 1072 и 3794). Своебразная лексика представлена в Новом Завете Алексия XIV в. в бытовом контексте: и *никто* (ж) *прілага* *платна непрана нашикае(т)* 17в, М. II 21 и *никто* (ж) *пріставле(т)* *плата непрана бв*, Мт. IX 16, в соответствии с текстом в Мстиславовом евангелии: *никто* же бо не приставляет заплаты платана небѣмена 31б, Мт. IX 16. Глагол *нашикати*, например, не отмечен Срезневским; лишь в тексте XVII в. в описании платья Алексея Михайловича находится производное слово *нашивка*. Слово *прилогъ* в значении ‘заплата’ также

не зафиксировано в этом источнике. Интересно и причастие *непрариц* от редкого глагола *прариц* 'стирать', широко известного и сейчас северо-западным русским говорам (в них представлены и разные производные) и некоторым другим. Немало примеров такого рода читатель найдет в названной выше нашей работе «Текстология и язык...»

О. П. Лихачева отмечает индивидуальные особенности списков памятника среди своих источников: «Индивидуальные особенности рукописи П — наличие в ней пояснительных глосс типа: *Ихнилат* — соболь, *Стефанит* — горностай, *протомагер* — кот, *пифик* — обезьяна»<sup>28</sup>.

Таким образом, отбор наилучшего представителя текстологической группы только облегчает работу исследователя в целом: 1) позволяет в обозримые сроки выявить максимум лексических различий между списками памятника, 2) позволяет легче осмыслить значение слова по ряду лексических вариантов, в который это слово входит, 3) позволяет делать аргументированные заключения об истории слова, в том числе 4) выявлять синонимы литературно-письменного языка или его местных разновидностей. Но текстологический метод не гарантирует исчерывающую выборку словарного состава (словника) всех списков.

*О последующем изучении лексики.* К сожалению, текстологический метод не гарантирует и с ч е р п ы в а ю щ у ю выборку словарного состава (словника), содержащегося во всех сохранившихся списках памятника. И при такой подготовительной работе не исключается возможность того, что за пределами внимания исследователя (или простого выборщика редко встречающейся лексики для включения ее в определенный словарь) останутся отдельные раритеты, свойственные какому-либо отдельному списку. Кроме раритетов, в принадлежащих к одной и той же текстологической группе списках памятника могут быть несистематично по отношению к тексту представлены слова, действительно бывшие синонимами и потому свободно заменявшие друг друга. Речь идет здесь о замене лексики под пером простого переписчика, а не только редактора, проводящего относительно последовательную замену одних слов другими в соответствии с сознательно выбранными критериями.

Не менее важной для славистики, и славянской лексикологии и лексикографии в частности, является проблема установления не варьирующейся по разным источникам лексики. Иными словами: стоит задача не только выявить весь словарный запас, не только лексику, варьирующуюся в своих значениях, но и лексику постоянную, как в своем материальном выражении, так и по семантике. Это важно как при составлении того или иного регионального словаря, так и при составлении общего словаря средневековой славянской письменности.

<sup>28</sup> Лихачева О. П. «Стефанит и Ихнилат. . .», с. 213.

В упоминавшейся работе «Текстология и язык...» мы показали на схеме № 9 и в комментарии к ней постоянство лексем, обозначающих одни понятия, и варьирование лексем, обозначающих другие понятия. «В этом материале обращает на себя внимание совпадение наименований золота, серебра, меди, в передаче служебных слов и других слов, относящихся к древнейшему основному словарному фонду» (с. 342). Кроме названий металлов, в числе постоянной лексики оказались числительное *дъка*, местоимения *вашъ*, *свои*, глагол *быти* — *есть* (кроме рукописи Тип-11, ЦГДА, ф. 381, собр. Синодальной типографии, № 11; в которой слово ошибочно заменено омонимом *быть*), частица *же*, отрицания *не* с глаголом и *ни* с существительным при двойном отрицании, не заменено слово *поуты*, одинаково выражены понятия *быти* *достоинъ* и *дѣлателъ*; последовательно представлены названия предметов материальной культуры *потасъ* и *жезлъ*. Но разными словами в разных рукописях названы, по-видимому, разные предметы — дорожная сумма: *мѣхъ*, *мошна*, *кре-тице*, *пира*, *тоболъ*, *кългалице*; различаются названия сорочки — *сраница*, *риза*, названия обуви: *оноуца* (*onoucha*), *сапогъ*, *сбоугель*, *обоука*, *сандалъ*; со словом *поуты* употреблены разные предлоги: *на* — *по* — *при*; усилительная частица *бо* имеет вариант *субо*. Приведем весь этот текст Mt. X 9—10 в том виде, как он представлен в Мстиславовом евангелии кон. XI—нач. XII в.: *не притажите злата ни сребра. ни мѣди при потасѣхъ вашихъ. ни мѣха на поуты. ни двою сраницу ни онжца. ни жазла. достоинъ бо дѣлателъ пица своѧ єсть* 32в. Приводя для этого текста варьирующуюся и постоянную лексику, мы сознательно опустили пару *мѣзда* — *пица*, так как варианты представлены здесь уже в греческих текстах: в большинстве употреблено греч. ἄτροφή 'пища, средства пропитания', но в Кипрском евангелии, написанном на рубеже первого и второго тысячелетий и находящемся ныне в Париже (по Грекори — К 017, по Зодену — ε-71) употреблено слово ὁ μισθὸς 'мѣзда, заработка плата'. Следовательно, разница в словоупотреблении по спискам славянского Евангелия здесь может быть обусловленаprotoоригиналом и греческими источниками, употребленными славянами при сверке или редактировании каких-то текстов.

Лингвисты пока не знают, какое количество общих корней, словообразовательных элементов, грамматических форм, фонетических соответствий можно иметь и какое число различных и уже и о иметь для того, чтобы какие-либо языки (или языковые материалы: текст, речь) квалифицировать как разные языки, а в каких случаях говорить о диалектах одного и того же языка. Тем более не ясно, как учитывать частотность употребления языковых фактов в потоке речи (для древних эпох — в составе текста). Но несмотря на это, мы стоим перед необходимостью выявлять общую лексику, не изменявшуюся и не заменявшуюся в письменных источниках средневековья, и лексику, варьирующую-

щуюся по памятникам и даже по спискам одного памятника. (Последнее представляется нам даже более важным, во всяком случае более показательным, поскольку отражает восприятие семантики слова самими носителями языка, а не соображения лингвистов ХХ в.).

Составление словников лексических вариантов и постоянной лексики, с нашей точки зрения, содействовало бы решению ряда лексикографических и лексикологических задач: 1) способствовало бы введению в научный оборот новых слов, т. е. слов, ранее не фиксировавшихся в определенной материальной оболочке, выраженной в написании, 2) исследованию ранее не известной семантики слов, зафиксированных в словарях, картотеках и других лексикографических материалах с иными значениями, 3) уточнению времени бытования слов, с особым вниманием к более ранним и, наоборот, к последним фиксациям их в сохранившихся рукописных источниках<sup>29</sup>, 4) подтверждениям значения или бытования единично зафиксированных в словарях слов, которые могут ошибочно квалифицироваться как раритеты и даже гапаксы, 5) выявлению истории отдельных слов при той или иной их семантике, т. е. установлению времени их существования в пределах славянской ойкумены или их принадлежности к какой-либо разновидности общего славянского языка, в конечном счете — принадлежности к языку этнической группы, совокупности княжеств, княжества, скриптория... и, наконец, 6) выявлению лексического фонда постоянной лексики, характерной для всей средневековой славянской письменности или для региональных литературных языков; каких именно.

Разрешение первых четырех задач представляет ценность для всех славистов, причем в разрешении первых двух нуждаются не только лингвисты, но и представители других наук, имеющих дело с древними источниками (историки, литературоведы, юристы, искусствоведы, историки техники, медицины и других наук). В материалах для разрешения 5-й задачи особо нуждаются историки литературных языков, в большинстве случаев выступающие в печати с собственными построениями, воспроизводящими более или менее точно какое-либо из разнообразных высказываний ученых XIX в., без собственных разысканий и материала.

Так, уже теперь полезным и актуальным для русистики было бы выявление специфических лексических вариантов, свойственных русским рукописям, написанным в XV в., но восходящим к более древним южнославянским, а затем, видимо, и древнерусским образцам. Убедительным примером может послужить приведенный нами по 150 рукописям текст Mt. VI 24 (см. «Текстология и язык...», с. 31—50). Воспроизведем его по рукописи 1453 г. —

<sup>29</sup> О хронологической достоверности лексикографических источников см.: Тверогов О. В. Текстология и лексикография. — В кн.: Текстология славянских литератур. Л., 1973.

Влк.-24: никто же можета дѣ́мъ гнома работати. любо единаго възлюбитъ. а дроугаго възненавидитъ, или единаго держитъ, о дроу-  
сѣм же не ради гнчнега. л. 69 об. В этом тексте особенно интересна лексика любо, възлюбитъ, възненавидитъ, или, держитъ, не-  
радити начнега, так как каждое из этих слов имеет множество лек-  
сических вариантов в указанных 150 рукописях. Даже если не  
учитывать орфографические варианты (окончания -аго и -ого, при-  
ставка въз- и воз-, окончание глаголов с буквой к и без нее), если  
отклонить далее графические варианты (оу — у — ѿ, ѹ — є, с и з,  
выносные и написанные в строке буквы, написания, сокращенные  
под титлом или с выносными буквами, и полные написания и  
нек. др.) и остаться в пределах только лексики и текста (последо-  
вательность: сначала о любви, а потом о ненависти, сначала о доб-  
ром отношении, затем — о плохом), то можно выявить единственную  
крупную группу рукописей с приведенной выше лексикой. Этих  
рукописей 7 или 8 (в рукописи Щукин-9 читаем и либо вместо любо).  
Все они относятся к XV в.

Эти рукописи таковы:

Влк-24: 1453 г., бум., ГБЛ, ф. 113 (собр. Иосифо-Волоколамское), № 24;

Вск-4: XV в., перг., ГИМ, собр. Воскресенское, № 4;  
Клм.: XV в., перг., Клементьевское ев., ГБЛ, ф. 304 III (собр.

Троице-Сергиевской лавры, Ризница), № 23 (М. 8656);

Музн-10659: около 1450 г., бум., ГБЛ, ф. 178 (собр. Музейное), № 10659;

ТСер-66: 1474 г., бум., ГБЛ, ф. 304 I (собр. Троице-Сергиевской  
лавры, Фундаментальная библиотека), № 66;

Усп-16; 1499 г., бум., ГИМ, собр. Успенское, № 16;

Щукин-9 (?), 1443 г., перг., ГИМ, собр. Щукина, № 9;

Щукин-13, 1430 г., бум., ГИМ, собр. Щукина, № 13.

Типологически эти 8 рукописей — полные апракосы (наш  
шифр для них содержит 3 буквы) и тетры (наш шифр из 4-х букв).

Среди остальных 142 рукописей нельзя найти даже 4-х, имею-  
щих одинаковую лексику в тексте Мт. VI 24.

Наличие лексических вариантов покажет ряд слов, употреб-  
ленных в остальных 142-х рукописях в соответствии с выражением  
не ради гнчнега в указанных рукописях, написанных после южно-  
славянского влияния и представляющих поздний унифицирован-  
ный текст: възлюбитъ, даржитъ, пресвидитъ, приобидитъ, не ро-  
дитъ, не родити начнега, не ради гнчнега, не родити възлюбить,  
не ради гнчнега, не ради начнега, не бѣти начнега, не бѣсти  
начнега, не брѣжетъ. Семантически интересен и ряд антонимов:  
имѣтъса, понимѣтъса, даржати имѣтъса, оугодитъ и др., которым  
в указанных 8 рукописях соответствует глагол держитъса.

Приведенный в 8 рукописях глагол не ради гнчнега соблазнительно-

было бы квалифицировать как южнославянскую лексему, проникшую в русские списки в период южнославянского влияния. Однако не *радити* имеется уже в Архангельском ев. 1092 г.; это же в *Юстремировом* ев. 1056—57 гг. и некоторых более поздних. Оно же в болгарском Врачанском евангелии и сербском из собр. Гильфердинга в ГПБ, № 2 и др. В «Материалах для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского глаголы *радити, нерадити, родити, неродити* широко представлены в собственных древнерусских памятниках, в том числе даже летописях. В разговорных фразах встречаются также деепричастия *радя, не радя*. Так даже этот малый пример показывает, что вопрос о южнославянском влиянии в сфере лексики достаточно сложен и решение его можно искать путем исследования варьирующейся лексики в списках памятников, написанных до этого времени, в годы усиленного южнославянского влияния и после этого периода.

Словарь литературного языка определенной страны, этнической группы или определенного культурно-исторического ареала того или иного исторического периода может изучаться путем сопоставления (1) лексики, общей для всех списков соответствующего памятника письменности, и (2) лексики, различающейся в списках памятника. В конечном счете сопоставление лексики той и другой групп позволит либо прекратить, либо, наоборот, мотивировать распространенные в славистике высказывания о наличии у всех православных славян общего средневекового церковнославянского (литературного; литературно-письменного...) языка или приведет к признанию разных, хотя и похожих языков, которые функционировали в разных славянских странах как свои литературные.

Однако такое обобщающее исследование потребует не только выявления всей употреблявшейся в памятниках письменности лексики, не только выявления варьирующейся и постоянной лексики, но по существу исследования истории почти каждого слова, если эта лексика варьируется, входит в ряд лексических вариантов. Особенно сложно это выявить, когда то или иное слово входит в несколько рядов лексических вариантов. При квалификации языковых фактов в сохранившихся до нашего времени письменных источниках исследователю нужно знать, является ли то или иное слово фактом общего для всех славян старославянского языка IX—первой пол. XI в.? Является ли определенное слово фактом общего церковнославянского языка или оно — особенность данной рукописи и отражает явления «извода»? В последнем случае перед нами встают вопросы: 1) является ли рассматриваемое слово фактом литературного языка определенного народа или определенной страны, 2) является ли оно принадлежностью койне, т. е. общего устного языка, обслуживавшего потребности общения однородного или неоднородного по происхождению или по своей языковой принадлежности этноса и тем самым выполнявшего основную функцию литературного языка, или же 3) рассматриваемое слово принадле-

жит диалекту или небольшой группе диалектов определенного славянского языка.

*Некоторые соображения практического характера.* В заключение высажем некоторые практические соображения о возможности и путях осуществления работ по составлению словников лексических вариантов, встречающихся в списках памятника в одном и том же контексте, и списков постоянной лексики.

Слово как единство материальной (в применении к нашему источнику — буквенной) оболочки, грамматического оформления и семантики в словнике памятника, распространенного в списках до XVII в. (если нужно, то и в более поздних рукописях), должно быть представлено один раз. Это достигается повторным написанием слова в «словарной статье» (термин условный) только при разных наборах лексических вариантов. Во всех остальных случаях применяется система отсылок. Покажем это на следующем наборе лексем (приводим их в алфавитном порядке): *богатство*, *богатство*, *жикотъ*, *жизнь*, *жигие*, *мамона*, *момона*, *притгажание*, *сгтажание*. Всего приведено 9 слов, но три из них — *жикотъ*, *жизнь*, *жигие* — выступают в двух разных рядах лексических вариантов, т. е. имеют по два значения: 'жизнь' и 'богатство'. Следовательно, в сумме в словнике должно оказаться 12 словарных статей. В словнике лексических вариантов Евангелия их целесообразно представить так, чтобы слова, выражющие главное (основное) значение одного ряда вариантов, начинали основные словарные статьи, на которые в остальных случаях (для остальных вариантов) даются только отсылки. Так, в русской работе их желательно представить следующим образом:

- 1) *богатство* см. *богатство*,
- 2) *богатство* — *жикотъ* — *жизнь* — *жигие* — *мамона* — *момона* —  
*притгажание* — *сгтажание*, Мт. XIX 22, М. IV 19, Х 22,  
Л. XVI 11, 13,
- 3) *жикотъ* см. *богатство*,
- 4) *жикотъ* см. *жизнь*,
- 5) *жизнь* — *жикотъ* — *жигие*, М. VII 14,
- 6) *жизнь* см. *богатство*,
- 7) *жигие* см. *богатство*,
- 8) *жигие* см. *жизнь*,
- 9) *мамона* см. *богатство*,
- 10) *момона* см. *богатство*,
- 11) *притгажание* см. *богатство*,
- 12) *сгтажание* см. *богатство*.

Если подобный словоуказатель составлялся бы, например, в Болгарии, то пп. 4, 5, 8 должны были бы быть изменены и выглядеть так.

- 4) *жикотъ* — *жизнь* — *жигие*, М. VII 14,
- 5) *жизнь* см. *жикотъ*,
- 8) *жигие* см. *жикотъ*.

Приведенный перечень демонстрирует, что слово в нем представлено в заглавной статье только один раз. Каждый лексический ряд вариантов, близких по семантике, также представлен только по одному разу: см. 2 и 5 — в русском варианте и 2, 4 — в болгарском.

При рассмотрении приведенного перечня следует иметь в виду, что указанные в нем 12 «словарных статей» разойдутся по алфавиту и соответственно будут разделены словами на буквы в — е, з — л, н — о, р, т. е. избыточной информации словник содержать не будет: каждое слово, независимо от того, приведено ли оно с отсылкой или начинает перечень вариантов, будет стоять один раз на своем месте по алфавиту.

Представление лексики списков какого-либо памятника (произведения) письменности в ряду лексических вариантов, без перевода на какой-либо современный славянский язык, тем более без перевода на неблизкородственные языки (латинский или греческий), в которых слово имеет свою систему значений и свои особенности употребления, может обеспечить наибольшую объективность в осмыслении значения слова, поскольку приближает современных исследователей к пониманию значения слова в средневековые.

Подобного рода словники могли бы составляться прежде всего в интересах отдельной страны или научных планов какого-либо учреждения и даже отдельного лица. Преимущество их также в том, что они могут распространяться в процессе работы и даже издаваться с пометами, необходимыми для каждой ближайшей поставленной цели. Например, для РСФСР, Украины и Белоруссии было бы желательно в ряду вариантов как-либо выделять (подчеркиванием, шрифтом) заведомо восточнославянское слово. Вероятно, не вызовет возражений ни в одной славянской стране выделение в этих рядах какого-либо словника лексики, зафиксированной в так называемом каноне старославянских памятников (т. е. в сохранившихся до нашего времени списках X—XI в. включительно, выполненных с произведений, переведенных в кирилло-македонскую эпоху и обладающих максимумом старославянских особенностей в орфографии, графике и, следовательно, в языке).

Из конкретных работ мы назвали бы, например, очень нужный славистике словник Пересопницкого евангелия, в котором украинские ученые в качестве заглавного слова в каждом ряду лексических вариантов указали бы специфическое слово этого важного источника для изучения украинского языка, выделенное в рукописи специальной рамкой после слова в тексте, которое оно поясняет. В ряду вариантов к таким словам были бы указаны хотя бы только соответствующие слова из основного текста самого же Пересопницкого евангелия<sup>30</sup> (конечно, наряду с ними было

<sup>30</sup> См.: Житецкий П. И. О Пересопницкой рукописи. — Труды III Археологического съезда. 1874, т. II. Киев, 1978, с. 221—230; Он же. Текст Евангелия

бы крайне желательно иметь варианты, представленные в этих контекстах в других славянских рукописях, но о возможности такой работы решать самим составителям).

В библиотеках некоторых университетов имеются свои средневековые славянские рукописи. И думается, что было бы долгом чести в этих учебных заведениях обследовать словарь этих рукописей и ввести эти материалы в сферу общей славистической науки. Таково, например, из числа древних рукописей Евангелие № 2072 в Научной библиотеке Казанского университета<sup>31</sup>. В этом же хранилище немало рукописей XV—XVII вв. Аналогичные ценнейшие рукописи, начиная с XIII в., имеются в Библиотеке Московского университета. Есть они и в библиотеке Ленинградского университета. Естественно, конечно, что аналогичная работа может и должна вестись работниками и учащимися высших школ в общих книгохранилищах, расположенных в разных городах. Для СССР укажем: Киев, Вильнюс, Львов, Одессу, Ярославль, Вологду, в которых есть даже рукописи древнейшего периода славянской письменности.

При развертывании подобной работы в дальнейшем может быть организован взаимный обмен ксерокопиями и машинописными словарными материалами между разными странами, между республиками в федерациях, между научными центрами в пределах каждой страны. Такие материалы могут создаваться в машинописном виде и размножаться тиражами, обеспечивающими только потребности специалистов и без поступления их в широкую продажу.

Как легко заметить, главнейшей трудностью на пути ведущейся работы по составлению региональных словарей и тем более Словаря общей средневековой славянской письменности является задача охватить все лексическое достояние во всех жанрах этой письменности.

Но не менее трудоемко выявление постоянной и варьирующейся лексики, без которого не может вестись исследование истории отдельных слов, развиваться историческая лексикология больших и малых региональных языков, без которого сама историческая лексикология не может стать орудием дальнейшего лингвистического, текстологического и литературоведческого изучения славянской письменности.

Нет сомнения, что эта работа может быть выполнена только усилиями всех славистов-медиевистов. Мало того, необходимо найти такие формы работы, чтобы к ней можно было привлечь славистически образованную молодежь и студентов. Эти лица

лия Луки из Пересопницкой рукописи. — Там же. Приложение, с. 43—111. Отд. отд.: Житецкий П. И. Описание Пересопницкой рукописи XVI в. Киев, 1876.

<sup>31</sup> См.: Архангельский А. С. Древнеславянское евангелие, принадлежащее Обществу археологии, истории и этнографии при имп. Казанском университете. — Филологические записки, 1883, № 1, с. 1—28.

должны уметь читать и понимать рукописи, написанные в основном уставом и полууставом, но также и скорописью; правильно квалифицировать грамматические формы, понимать специфику орфографии своей редакции (извода) и других редакций (изводов) средневековой славянской письменности, чтобы различия в этих сторонах письма не принимать за различия лексические. Эта работа трудоемка, требует от исполнителя определенных знаний и навыков, а также безусловной тщательности.

Постепенное пополнение и доработка таких материалов, в которых будут сведены все варианты и в то же время учтена постоянная лексика, постепенно подведет последующих ученых к возможности составления не только общего Словаря славянской средневековой письменности, но даже, при последующем специально направленном изучении, полного исторического словаря или словарей языка (языков), в котором кроме обычных данных будут сведения о месте и времени бытования каждого слова.

Крайне желательно, чтобы все слависты-медиевисты, а не только члены ныне действующей Комиссии по составлению Словаря церковнославянского языка, включились в эту работу, и подготовка такого словаря действительно стала общеславянским мероприятием.

## ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ И СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНОГО АКТА

B e n. It's a figure of speech! Light the kettle.  
It's a figure of speech!

(Pinter H. The dumb waiter).

1. Русская разговорная речь понимается нами как речь носителей литературного языка, обнаруживающаяся в устной форме в условиях непринужденного неподготовленного общения. Разговорная речь<sup>1</sup> характеризуется совокупностью специфических черт, позволяющих рассматривать ее как особую языковую систему, противопоставленную в пределах литературного языка кодифицированному литературному языку<sup>2</sup>.

Для современного языкознания характерно стремление различать «разговорную речь» и «разговорный стиль» как особые лингвистические объекты. При этом, однако, в понимании природы этих объектов и задач и методов их изучения имеется еще много неясного. Остановимся на некоторых существенных расхождениях в понимании того, что представляет собой РР.

Изучая этот объект, лингвисты прежде всего обращают внимание на специфические условия его функционирования. РР — это языковая сфера коммуникации, для которой характерны: устная форма как основная форма реализации, непринужденность сферы общения, неофициальность отношений между ПК, неподготовленность речевого акта, непосредственное участие партнеров в акте коммуникации, сильная опора на внеязыковую ситуацию, приводящая к тому, что внеязыковая ситуация становится составной частью акта коммуникации, использование невербальных средств коммуникации (жесты и мимика). Набор перечисленных признаков признается большинством исследователей РР в качестве ее специфической характеристики<sup>3</sup>. (Мы не рассматриваем здесь те концепции, согласно которым РР считается любой устной речь, в том числе официальная<sup>4</sup>).

Охарактеризованное выше понимание условий реализации РР приводит к ее выделению в качестве особой языковой сферы, которую неправомерно отождествлять с функциональными сти-

<sup>1</sup> Далее принятые следующие сокращения: РР — разговорная речь, КЛЯ — кодифицированный литературный язык, ПК — партнеры коммуникации, КА — коммуникативный акт, АБ — афферционная база.

<sup>2</sup> Обоснование этого тезиса см. в кн.: Русская разговорная речь. М., 1973.

<sup>3</sup> См., например: Problemy běžně mluveného jazyka, zvláště v ruštině. — Slavia, 1973, № 1, с. 25—26; Русская разговорная речь. М., 1973; Сиротинина О. Б. Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974. Необходимо отметить, однако, что О. Б. Сиротинина рассматривает РР как один из функциональных стилей языка.

<sup>4</sup> См., например: Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.

лями литературного языка<sup>5</sup>. Об этом убедительно пишет К. Ко жеиникова, характеризуя взгляды лингвистов, признающих РР функциональным стилем, и критикуя такое понимание РР<sup>6</sup>.

2. Общее внимание к функциям языковых средств, стремление изучать язык в связи с условиями его функционирования пронизывает современное языкознание. Если взять такую единицу, как предложение, то для ее изучения характерно переключение внимания с изолированного, взятого вне сферы его функционирования предложения<sup>7</sup> на «жизнь предложения». С этим связано разграничение понятий предложения и высказывания, интерес к проблемам актуального членения, к лингвистике текста, речевой деятельности, речевому акту и т. п.

Однако РР занимает в этой проблематике особое положение. В КЛЯ изучают жизнь предложения в тексте, тогда как в РР важно изучать использование синтаксических единиц в общем акте коммуникации, ибо из всех вербальных типов коммуникативных сфер РР наиболее тесно связана с внеязыковыми средствами человеческой коммуникации. Именно поэтому важность изучения РР на фоне целостного КА, формируемого несколькими (не только вербальными!) семиотическими системами, становится все более очевидной. Наблюдается функциональный параллелизм языковых и внеязыковых средств в сфере коммуникации. Так, Вл. Барнет различает три типа РР: 1) носителем информации являются только языковые средства; 2) носитель информации — сочетание лингво-семиотической системы и жестовых и мимических знаков; 3) информация передается лингвосемиотическими средствами в сочетании с социальным поведением и социальными отношениями людей<sup>8</sup>. Автор приходит к выводу, что предметом изучения должно быть «не изолированное (вербальное) высказывание, а высказывание, рассматриваемое на фоне коммуникативного акта, который в принципе может реализоваться через посредство нескольких семиотических систем»<sup>9</sup>.

3. Признавая важность и необходимость такого комплексного подхода к изучению РР, следует отметить, что исследование КА во всей его полноте и сложности имеет три основных аспекта: социологический, психологический и лингвистический. Встает вопрос: в какой мере эти аспекты совместимы в одном исследова-

<sup>5</sup> Об этом мы писали еще в Проспекте «Русская разговорная речь» (М., 1968).

<sup>6</sup> Koženíková Kv. O podstatě hovorovosti. — Studia Slavica Pragensia. Universitas Carolina Pragensis. 1973. Praha, 1974, с. 200—202.

<sup>7</sup> Ср. разграничение предложений и псевдопредложений («слепки предложений без функций предложений») в кн.: Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976, с. 186.

<sup>8</sup> Barnet Vl. K principiám strojenia vyskazývanií v razgovornoy reči. — В кн.: Bulletin ruského jazyka a literatury, XVIII. Praha, 1974. См. также: Barnet Vl. Komunikativní akt a výpověď. — Slovo a slovesnost, 1973, № 1; Kolektiv rusistů UK. Problemy běžně mluveného jazyka, zvláště v rukopisu. — Slavia, 1973, № 1.

<sup>9</sup> Barnet Vl. K principiám strojenia vyskazývanií v razgovornoy reči, с. 136.

нии? Является ли комплексное изучение КА, включающего РР, задачей лингвиста? С нашей точки зрения, психолог, социолог и лингвист при изучении одного и того же объекта — коммуникативного акта — ставят перед собой разные задачи<sup>10</sup>. Лингвиста интересует в первую очередь собственно языковая часть КА. Однако лингвист не может закрывать глаза на специфические условия функционирования РР, и прежде всего на те факторы, которые влияют на ее лингвистические особенности. Учет этих обстоятельств требует изучения целого ряда сложных вопросов, отражающих такие стороны общей проблемы, как: РР и структура ситуации, РР и невербальные средства коммуникации, РР и личностные и социальные особенности ПК и многие другие. Эти вопросы точнее можно сформулировать так:

В какой мере и как именно собственно языковые характеристики РР зависят от структуры КА? Можно ли обнаружить виды такой зависимости и повторяющиеся (т. е. «предсказуемые», не сугубо индивидуальные) типы «ситуативных преобразований» высказываний РР, виды эллиптизации и т. п.?

Как происходит «стыковка» языковых средств КА с неязыковыми? Какие именно невербальные средства (кроме жеста и мимики, т. е. акций ПК) участвуют в коммуникации? Какие из них могут рассматриваться как средства знакового характера?

Как коррелируют характерологические, возрастные, социальные, образовательные и другие особенности говорящих с лингвистическими характеристиками РР?

Можно ли построить типологию ситуаций КА, коррелирующую с лингвистическими различиями структуры РР?

Эти и многие другие вопросы ждут своего исследования, еще только начинают изучаться.

Пока можно лишь сказать, что наметилось два основных подхода к данной проблематике:

1) стремление охватить комплексный характер КА, включающего РР;

2) стремление изучить прежде всего собственно лингвистические характеристики РР, учитывая при этом ее специфическую роль в акте коммуникации и желая выявить связи РР с неверbalными средствами передачи информации и обнаружить особенности КА, которые оказывают то или иное влияние на те или иные черты РР.

Таким образом, если у сторонников первого подхода объектом исследования является коммуникативный акт и РР как его составная часть, то сторонники второго подхода изучают лингвистическую систему РР как один из элементов целостного акта коммуникации, принимая во внимание невербальные средства коммуникации, особенности ситуации и особенности гово-

<sup>10</sup> Назову в качестве примера работы, демонстрирующие социальный и психологический подход к изучению акта коммуникации: Janoušek J. *Socialní komunikace*. Praha, 1968; Леонтьев А. А. *Психология общения*. Тарту, 1974.

рящих субъектов лишь в той мере, в какой это необходимо для выявления собственно лингвистических характеристик РР. Мы придерживаемся второго подхода<sup>11</sup>.

4. Поиски корреляций между невербальными и вербальными компонентами КА ведут исследователи разных языков. Назовем два центра, работающих в указанном направлении. Лингвисты Фрейбургского исследовательского центра разрабатывают теорию «Redekonstellationen» (совокупность факторов, определяющих разбиение речи на типы). Они изучают влияние общественной ситуации на языковое поведение внутри однородной группы говорящих. Среди экстралингвистических признаков, влияющих на дифференциацию устной речи, в качестве основных выделяются такие: 1. Число говорящих (один/более одного); 2. Отнесенность КА ко времени; 3. Спаянность КА с ситуацией; 4. Равноправие партнеров в акте коммуникации; 5. Степень подготовленности речи; 6. Мена говорящих (нулевая/относительно малая/относительно большая); 7. Фиксированность темы (тема задана заранее/не задана заранее); 8. Степень публичности речи (публичная/полупубличная/непубличная/частная)<sup>12</sup>.

Совокупность тех или иных реализаций каждого признака создает разбиение всего континуума устной речи на VI видов: I. Интервью; II. Дискуссия, тематический разговор; III. Разговор; IV. Доклад; V. Репортаж; VI. Рассказ.

Используя понятие регистр<sup>13</sup>, английские языковеды кладут в основу своей классификации иные признаки<sup>14</sup>. Среди ситуационных факторов они выделяют общественное назначение речи (*role*), средство (*medium*) речи, отношения между говорящими и тематическое поле (техническое/нетехническое).

Эти классификации охватывают все виды устной речи — публичную и непубличную, подготовленную и неподготовленную. Нас же интересуют лишь непринужденная неподготовленная устная речь, т. е. речь разговорная в собственном смысле этого слова.

<sup>11</sup> См.: Русская разговорная речь. М., 1973. На это обратили свое критическое внимание авторы рецензии, опубликованной в журнале «Československá rusistika» (1975, № 3).

<sup>12</sup> Признаки такого рода используются при описании текстов живой разговорной немецкой речи в книге: *Texte gesprochener deutschen Standardsprache*, III. *Alltagsgespräche*. Max Hueber Verlag. München, 1975; *Texte gesprochener deutschen Standardsprache*, I. Max Hueber Verlag. München, 1971, с. 23—27. См. также матрицу признаков, влияющих на разбиение речи: *Lehrgang Sprache. Einführung in die moderne Linguistik*. Lieferung 4. Beltz Verlag. Tübingen, 1974, с. 1027—1029.

<sup>13</sup> «Регистр — общий термин, который мы будем использовать для названия вариантов языка или набора языковых моделей, получаемых при соотнесении языковых и ситуационных группировок. Необходимо помнить, что регистр — относительное понятие. Мы имеем регистр только тогда, когда две независимые классификации (по языковым признакам и по ситуационным признакам. — Е. З.) совпадают» (*Ure J. N. The Theory of Register and Register in Language Teaching*. Essex, 1966).

<sup>14</sup> См. об этом в книге, посвященной изучению разных форм русской устной речи: *Report of the Contemporary Russian Analysis Project*. University of Essex, 1972.

## 5. Постараемся установить набор признаков КА, влияющих на РР.

С нашей точки зрения, такой выделяемый Фрейбургскими лингвистами признак, как фиксированность темы, не свойствен РР. Конечно, ПК могут заранее планировать и даже обдумывать содержание разговора (ср. такую, например, ситуацию: «Мне надо с ним выяснить отношения», «Он просил рассказать об отпуске»), но это явление в принципе отлично от чтения доклада или проведения дискуссии на заранее заданную тему. Общеизвестно, что заранее продуманная речь в условиях спонтанного протекания обычно идет не так, как предполагалось.

Мы считаем, что РР может обнаруживаться не в каждом КА, а лишь в КА, имеющем определенный набор признаков.

6. Среди признаков КА, в котором обнаруживается РР, целесообразно различать детерминанты и компоненты<sup>15</sup>. Детерминанты — это такие признаки, которые определяют выбор говорящим той или иной языковой системы или подсистемы<sup>16</sup>, у лиц, говорящих на русском литературном языке — выбор РР или КЛЯ в качестве вербального компонента КА<sup>17</sup>. Для того чтобы говорящий использовал РР, необходимо следующие детерминанты: 1) непринужденность речевого акта<sup>18</sup>, 2) неподготовленность речевого акта, 3) непосредственное участие ПК в речевом акте<sup>19</sup>.

Перечисленные признаки являются детерминантами, так как именно они определяют выбор говорящим РР, а не КЛЯ. Для того чтобы использовалась РР, необходимо наличие именно данных признаков. Изменение их значения делает использование РР невозможным. Кроме этих признаков есть признаки, которые могут влиять на строение РР, не определяя выбор РР или КЛЯ. Эти признаки являются компонентами КА.

7. Среди компонентов КА следует разграничивать:  
1. Признаки, связанные с партнерами коммуникации и 2. При-

<sup>15</sup> Ср. иное употребление этих терминов: Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика. (Теория и проблемы). М., 1976, с. 124—129.

<sup>16</sup> Ср.: «Речевое поведение, т. е. предречевой процесс выбора (выделено нами. — Е. З.) языковой системы, подсистемы или их единиц, детерминируют многие факторы. В результате их действия одна и та же семантическая информация может воплощаться в субстанционально различающихся языковых высказываниях» (Никольский Л. Б. Указ. соч., с. 124).

<sup>17</sup> Ср. замечание М. В. Панова: «... разговорной речью пользуются в определенных ситуациях (дружеская беседа, бытовой разговор и т. д.) те же люди, которые в других условиях полно и точно применяют нейтральный и высокие стили языка» (Панов М. В. О развитии русского языка в советском обществе. — ВЯ, 1962, № 3, с. 8).

<sup>18</sup> Непринужденность КА создается тремя компонентами: а) наличие неофициальных отношений между ПК; б) отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный, в том числе публичный, характер; в) условия, в которых протекает речевой акт, не нарушают неофициальность обстановки.

<sup>19</sup> См. подробнее: Русская разговорная речь. М., 1973, с. 9—10.

знаки, связанные с конкретной ситуацией данного КА (ее принято называть консистуацией<sup>20</sup>), т. е. признаки, идущие от участников КА (говорящих субъектов), и признаки, идущие от внешней обстановки<sup>21</sup>.

Консистуация относится к числу важнейших компонентов КА, влияющих на строение РР (см. об этом подробнее ниже).

Среди компонентов КА, влияющих на строение РР, большую роль играет также общность апперцепционной базы ПК<sup>22</sup>, которая понимается как наличие общих предварительных сведений, общего житейского опыта у ПК. Изучая роль апперцепционного момента в восприятии речи, Л. П. Якубинский различает элементы «постоянные и устойчивые» и элементы «прекращающие, возникающие в условиях момента». Это разграничение представляется нам принципиально важным, ибо общность АБ может объясняться и многолетним знакомством ПК, и общим для ПК знанием данного языка («владением его разными шаблонами» — Л. П. Якубинский), и кратковременным совместным опытом, важным лишь для данного КА<sup>23</sup>.

8. Ниже мы помещаем перечень основных компонентов КА<sup>24</sup>, влияющих на строение РР. Он не претендует на полноту. Пояснения к некоторым из компонентов содержатся в данном ниже примечании. Компоненты внутри I и II группы выделены по разным основаниям, что отражает сложность и многоплановость строения КА, участие в нем элементов разной природы. Вместе

<sup>20</sup> Консистуацией мы называем непосредственную обстановку, в которой происходит общение. Термин *ко нсистуация*, употребляемый довольно широко, построен по аналогии с термином *ко нтакт*, где *ко-* обозначает то же, что русская приставка *со*, — ‘совместность’.

<sup>21</sup> Ср.: *Hronek Jiří. O motivaci výběru jazykových prostředků v běžně mluveném projevu*. — *Slavica Pragensia*, X. Acta Universitatis Carolinae, 1968, с. 322. Ср. разграничение понятий внутренней и внешней прагматики в тезисах доклада: *Pala K., Svoboda A., Materna P. Externí a interní pragmatika*. — Материалы симпозиума «Актуализационные (прагматические) компоненты высказывания в славянских языках». — Брно, 1976. Ср.: *Firth J. R. Personality and Language in Society*. — В кн.: *Firth J. R. Papers in Linguistics*. London, 1957. Дж. Р. Ферс различает следующие категории: «А. Релевантные признаки партнеров коммуникации (person, personalities)

- (i) Вербальные действия партнеров коммуникации.
- (ii) Невербальные действия партнеров коммуникации.
- В. Релевантные предметы (objekts).
- С. Эффект верbalного действия» (с. 182).

<sup>22</sup> См.: Якубинский Л. П. О диалогической речи. — Русская речь, I. Пг., 1923.

<sup>23</sup> Понятие общность АБ смыкается с одним из употреблений современного термина пресуппозиция, который мы не используем ввиду его многозначности. См. обзор литературы: Арутюнова Н. Д. Понятие пресуппозиций в лингвистике. — Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1973, вып. 1. Ср.: Звегинцев В. А. Предложение в его отношении к языку и речи. М., 1976. Ср. термин «Vorwissen» у исследователей Фрейбургского лингвистического центра.

<sup>24</sup> Ср.: Morávek M., Müllerová O. Diadická komunikace. (Pokus o komplexní charakteristiku situace dialogu). — Slovo a slovesnost, 1976, № 3; Ванни-

с тем невербальные компоненты КА представляют собой некую организацию, ибо не все они совместимы друг с другом<sup>25</sup>.

### I. Компоненты КА, связанные с ПК

Число ПК:	два / более двух <sup>a</sup>
Мена ролей говорящий — слушающий:	нет <sup>b</sup> / редкая / частая
Взаиморасположение ПК:	визуальное / невизуальное <sup>b</sup>
ПК знакомы:	да / нет <sup>c</sup>
Отношения между знакомыми ПК:	близкие / нейтральные / далекие
Общность апперцепционной базы:	высокая / средняя / отсутствует
Роли ПК <sup>d</sup> :	роль в данном КА (покупатель, клиент, пассажир..); роли постоянные <sup>e</sup> (социальное положение, профессия, возраст, пол, роль в семье..)
Симметричность отношений ПК <sup>e</sup> :	да / нет
Индивидуальные особенности ПК:	разговорчивость — высокая / средняя / низкая; склонность к творчеству в языке — высокая / средняя / низкая
ПК ограничены во времени <sup>f</sup> :	да / нет
Осведомленность ПК в теме и речи <sup>g</sup> :	высокая / средняя / низкая

### II. Компоненты КА, связанные с конситуацией

Место КА:	дома, на улице, в транспорте...
Связь РР с данной конситуацией:	есть / нет
Частотность ситуаций <sup>h</sup> :	высокая / нет

ков Ю. В. Лингвостатистический справочник русской разговорной речи и получение информации высших уровней. — В кн.: Вопросы лингвистического анализа русской разговорной речи. М., 1976.

<sup>25</sup> Так, например, невизуальное расположение ПК несовместимо с передачей информации посредством жестов и мимики, т. е. использованием разных каналов связи. Ср. следующее замечание А. Д. Швейцера о компонентах КА: «Одним из показателей системной организации последних является отсутствие полной свободы встречаемости их компонентов» (Швейцер А. Д. Вопросы социологии в современной американской лингвистике. Л., 1971, с. 26—27).

Речь имеет характер сопровождения действий ПК:

да / нет

Речь имеет характер комментария текущих событий:

да / нет

Как видно из этого перечня, перечисленные компоненты могут получать реализацию разного рода: 1) взаимоисключающую — типа да / нет; 2) варьирующуюся по шкале больше / меньше или реализующую разные признаки (например, возрастные, профессиональные и т. п. признаки ПК).

#### П р и м е ч а н и я.

а) Ситуации, в которых два партнера коммуникации (диалог), и ситуации, в которых партнеров коммуникации больше чем два (полилог), имеют лингвистические различия. Для полилога — в отличие от диалога — характерна тематическая полифония. Так, нередко каждый из говорящих говорит о своем, так сказать, ведет свою партию. При этом возможны разные формы взаимодействия ПК и тем. Например, собеседник может покинуть своего партнера и вклиниваться в реплики других участников полилога, может вести разговор, участвуя в двух и более темах, и т. п.

б) Если мена ролей ПК не характерна для речевого акта, имеем дело с монологом. Однако в РР монолог всегда диалогизирован. В русском языке РР может протекать лишь как речь, в которой мена говорящий—слушающий в принципе возможна всегда. Даже если один из говорящих рассказывает что-то и КА строится преимущественно как монолог, принципиально важна возможность слушающего стать говорящим — вставить реплику, перебить, прекратить рассказ, сказав что-нибудь вроде: «Извини, я устал», «Простите, я должен уходить». Именно поэтому в последнее время подчеркивается еще одна особенность РР — мена ролей между партнерами коммуникации, имеющая не только внешний характер (говорящий становится адресатом речи, а адресат — говорящим), но связанная с глубокими особенностями строения акта коммуникации (ср.: Janoušek J. *Socialní komunikace*. Praha, 1968, с. 159).

в) Разграничение визуального и невизуального положения ПК важно потому, что в первом случае возможно использование разных каналов связи (в первую очередь — зрительного), а не только слухового, как при невизуальном положении (например, при разговоре по телефону, переговорах из одной комнаты в другую и т. п.). При визуальном положении ПК могут использовать такие невербальные средства коммуникации, как жесты, мимику, а также действия. Типические примеры. Разговаривают два добрых знакомых: А. А где же дочка-то? Б. (весело) Тю-тю! А. На даче? Б. (кивок — 'да'); А Петя уже... (передвигает пальцами, изображая ходьбу, — 'ушел'); А. (нюхая) Это у тебя «Красная Москва» (о названии духов)? Б. Угу//

г) Примером РР между незнакомыми ПК может быть разного рода информационный диалог: на улице (как пройти? как проехать?), в магазине (сколько стоит?) и т. п.

д) О понятии «роли говорящего» и разграничении постоянных и переменных ролей см.: Крысин Л. П. Речевое общение и социальные роли говорящего. — В кн.: Социально-лингвистические исследования. М., 1976. См. там же литературу вопроса.

е) О делении всех ситуаций общения на симметричные и асимметричные см.: Крысин Л. П. Указ. соч., с. 49.

ж) Два последних признака используются при описании текстов живой разговорной немецкой речи в кн.: *Texte gesprochener deutschen Standardsprache*, III.

з) Понятие осведомленность в теме речи базируется на АБ говорящих. Вместе с тем мы разграничиваем эти два понятия, так как: 1) учитываем в одном случае именно общность АБ говорящих, которая позволяет им многое оставлять не выраженным, не договаривать, не объяснять; 2) осведомленность в теме может быть разной у ПК.

Знакомство с темой (часто профессиональное) приводит к тому, что говорящий пользуется иными средствами выражения, чем человек, незнакомый с данным предметом. Это различие прежде всего сказывается в словоупотреблении, в выборе тех или иных средств лексики и фразеологии. Имея много общего в житейском опыте, ПК могут иметь общую АБ, но быть по-разному осведомленными в той или иной области, в конкретном предмете речи.

Вот несколько примеров<sup>26</sup>.

Разговор за завтраком родственников — женщины-филолога (А) и инженера (Б): А. Нам надо новый душ покупать // Он течет весь // Б. Нет / дело не в этом // Там в начале развализована оплетка // А. Что? Б. Ну / там штучка такая // (Через некоторое время А. спрашивает): А оплетка это там? (показывает — кружок). Б. (назидательно) Нет // Оплётка / это оплётка // То / что вокруг душа // Не знаю как сказать / развализована одним словом // Там такая блямбочка // А. (понимающе) А-а!; (Две подруги успокаивают третью). А. (филолог) Ты поменьше вспоминай // Б. (психолог) Надо гасить ассоциации // А. Видишь как умные люди говорят //; (Разговор в мастерской, где чинят сумки) (Клиент) Сумку мне не почините? Эти штучки (показывает) должны быть плоские // (Мастер) Нужны плоские штыри //

Разная осведомленность ПК в теме речи (необязательно профессиональная!) может создавать особый род «информационной подчиненности» — более осведомленный «подчиняет» менее осведомленного (см.: Девкин В. Д. Аспекты речи. — В кн.: Вопросы немецкой филологии. Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, т. 475. М., 1971).

и) Обычно выделяются два рода высокочастотных (или: стереотипических) ситуаций: 1. Стереотипы этикета и 2. Городские стереотипы. Это название связано с тем, что данные ситуации «привязаны» к какому-либо месту города (магазин, общественный транспорт, вокзал, почта и т. п.) и поэтому имеют очень большую опору на реальную конкретную обстановку речи, тогда как этикетные стереотипы такой «привязкой» не обладают.

Описание городских стереотипов дано в работе: Русская разговорная речь. Тексты (М., 1978), подготовленной коллективом сотрудников Института русского языка АН СССР.

Важность разграничения стереотипических и нестереотипических ситуаций подтверждает, в частности, факт выделения стереотипических ситуаций в учебных пособиях, предназначенных для лиц, изучающих народный язык.

<sup>26</sup> / (одна косая черта) обозначает интонацию незаконченности, // (две косые черты) — интонацию законченности. Вопросительный и восклицательный знаки употребляются так, как это принято в пунктуации.

Одна из классификаций этикетных ситуаций дана в книге А. А. Акишиной и Н. И. Формановской «Речевой этикет» (М., 1975). Иную классификацию этикетных ситуаций см.: Русская разговорная речь. Тексты.

Лингвистический смысл разграничения стереотипических и нестереотипических ситуаций состоит в том, что первые связаны с устойчивым, ограниченным в репертуаре, повторяющимся с высокой степенью вероятности набором речевых клише, тогда как вторые таких ситуационных клише не имеют. Характерная черта речевых формул городских стереотипов — высокая степень эллиптизации, так как опора на ситуацию-стереотип позволяет говорящему оставлять вербально не выраженным весьма многое.

Задача изучения РР в стереотипических ситуациях состоит в выявлении наиболее полного набора речевых клише, их соотнесении с определенными ситуациями и их характеристике по шкале «непринужденность-официальность».

9. Все названные выше невербальные компоненты КА так или иначе влияют на строение самой РР. Они выполняют две функции по отношению к РР (верbalному компоненту): в о с п о л н я ю щ у ю т е или иные элементы, не выраженные эксплицитно в РР, и м о т и в и р у ю щ и е в ы б о р тех или иных компонентов, наличных в языке<sup>27</sup>. Первая функция влияет на строение РР в плане синтагматики (преимущественно в области синтаксиса), вторая — в плане парадигматики (преимущественно в области номинативных средств, словоупотребления и словообразования).

В этой работе рассматривается влияние лишь некоторых компонентов КА на строение РР, в первую очередь таких, как связь с конситуацией и наличие общей ашперцепционной базы у ПК.

Существует функциональный параллелизм воздействия разных компонентов КА на РР. Так, связь с конситуацией и общность АБ могут действовать аналогично, т. е. позволяют говорящим не называть то, что восполняют эти компоненты КА и, следовательно, способствуют высокой степени эллиптизации РР (см. примеры ниже).

10. Настоящая работа основана на записях современной русской разговорной речи, ситуативно прикрепленной, преимущественно диалогической. Цель этой статьи — сообщить некоторые новые наблюдения над фактами РР и вместе с тем — под определенным углом зрения (соотношение верbalного и невербального компонентов КА) — дать некоторые итоги изучению РР, которое проводится коллективом сотрудников Института русского языка АН СССР.

Разные компоненты КА действуют комплексно. При этом, сложно переплетаясь, они обнаруживаются в явлениях разных

<sup>27</sup> Мы не касаемся здесь функций жеста, которые гораздо более многообразны, что объясняется специфической природой жеста. О функциях жеста в РР см. раздел «Жест в разговорной речи» (авторы Л. А. Капанадзе и Е. В. Красильникова) в книге «Русская разговорная речь». Среди жестов есть единицы, имеющие знаковый характер. Недаром говорят о языке жестов.

ярусов РР, т. е. могут влиять одновременно на синтаксис, строение номинаций, семантику, словообразование. Мы же — в целях удобства описания — будем рассматривать раздельно область синтаксиса, номинативных средств, словообразования и словоупотребления.

## I. СИНТАКСИС

0. В условиях непринужденного общения КА нередко строится так, что конситуация и вербальные средства коммуникации образуют единство: конситуация, действия ПК, их жесты, мимика и их речь составляют единый акт общения<sup>28</sup>. При этом для РР характерна такая закономерность. То, что дано самой ситуацией или ясно из нее, может не получать верbalного выражения. Обычно получает вербальное выражение то, что наиболее информативно значимо<sup>29</sup>. Несколько показательных примеров.

Разговор в передней двух женщин. А. (*Собираясь уходить, надевает туфли*). Б. А почему Вы не сапоги? А. Да сырое // Они у меня промокают // Глагол *надеваете*, существительное *туфли*, данные в конситуации, не употребляются.

(Двое готовят обед) Ты приоткрой / потому что не уследишь // и убежит — залет *//* (о кастрюле, которая стоит на плите).

1. Тесная связь РР с конситуацией вызывает целый ряд особенностей синтаксиса РР в сфере синтагматики. В ситуативно прикрепленной РР имеется большое количество синтаксических конструкций, которые содержат члены, имеющие нереализованные валентности. Факты этого рода неоднократно описывались в литературе<sup>30</sup>, при этом выделялись явления стационарного и нестационарного эллипсиса<sup>31</sup>, нереализация прямой и обратной валентностей наличных членов<sup>32</sup>.

<sup>28</sup> Ср.: «... бытовая обстановка есть один из факторов восприятия речи, один из моментов, имеющий со общую ее значение... Самое говорение производится с бессознательным расчетом на это сообщающее значение бытовой обстановки, и оттого оно, в свою очередь, может быть менее полным, менее отчетливым» (Якубинский Л. П. Указ. соч., с. 174).

<sup>29</sup> Как выразитель наиболее информативно значимого элемента сообщения может выступать жест. Например: Дайте мне пожалуйста (жест пальцами, изображающий пожнницы)*//*; — Есть? (жест двумя пальцами, изображающий держание сигареты); — Лешка уже был такой вот (жест перекручивания — о первнобольном).

<sup>30</sup> См., например: Чувакин А. А. Структурно-синтаксические разновидности ситуативных неполных предложений в современном русском языке. Автoref. канд. дис. Ростов-на-Дону, 1971; Атрощенко А. Ф. Конситуация и ее функции при эллиптическом словоупотреблении в разговорной речи. — Теория и практика лингвистического описания иноязычной разговорной речи. Уч. зап. Горьковского гос. пед. ин-та иностр. языков, вып. 49. Горький, 1972; Арутюнова Н. Д. О типах диалогического стимулирования. — Там же. Ср. в немецкой разговорной речи: Девкин В. Д. Особенности немецкой разговорной речи. М., 1965.

<sup>31</sup> См.: Земская Е. А. Русская разговорная речь. Проспект. М., 1968, с. 46—57.

<sup>32</sup> Под нереализацией обратной валентности понимается такое явление,

Высокая конситуативность РР оказывает воздействие и на строение ее номинативных средств, на использование (или неиспользование) в РР тех либо иных приемов и видов номинации. Эллиптичность в сфере синтаксиса совмещается обычно и с отсутствием прямого наименования того элемента действительности, который дан самой обстановкой речи. При этом вербальный компонент КА нередко является непосредственной реакцией на какие-то невербальные компоненты (и наоборот). Вот несколько примеров.

В квартире двое — мать и взрослый сын. Раздается звук набирания номера телефона. (*Мать*) (думая, что сын проверяет время по телефону) Сколько времени / если ты время? (*Сын*) Нет / я не время // (*Мать*) (молча вопросительно смотрит) (*Сын*) Поздесятого //

Показательно, что никакой глагол при существительном *время* (типа *узнавать, проверять*) говорящие не используют. (В такси. Пассажир, глядя в окно) *Запотевает* или *пачкается*? (Шофер) *Пачкается* // Грязь летит от машины // Облако // Ни тот ни другой не произносят слов *стекло, окно* и т. п., т. е. не называют, что же именно пачкается, в связи с чем глаголы *запотевает* и *пачкается* употребляются бессубъектно.

Но вербализованным может быть и название действия, данное конситуацией. В таких случаях обычно используются конструкции, содержащие именные члены (глагол, к которому они могли бы относиться, не выражен, т. е. не реализована обратная валентность именных членов): (*Колют орехи*) Я на подоконнике из-за того никогда / краска стирается //; А почему ты бумагой? (имеется в виду: почему вытираешь бумагой).

2. Аналогичное воздействие на строение РР оказывает такой компонент КА, как общность АБ, при наличии которой говорящие могут оставлять вербально не выраженным многие элементы высказывания. Характерный пример. (Двое знакомых встречаются на выставке. Молча кивают, жмут руки) **А.** А Иван Семеныч-то ходил? **Б.** Он был // (*расходятся*). Обоим Иван Семеныч известен как большой любитель живописи. Действует общность апперцепционной базы и конситуация. Объяснений, почему спрашивают именно об И. С., куда ходил И. С., где он был, не требуется. Ср. два диалога, в которых говорящие не называют предмет речи, потому что в первом диалоге он дан в конситуации (общность АБ отсутствует, так как ПК не знакомы); во втором диалоге предмет речи известен ПК из предшествующего опыта (конситуация не влияет, так как разговор идет по телефону).

---

когда вербально выражены лишь зависимые члены, тогда как их синтаксические «хозяева» отсутствуют. Вот ряд примеров: (О чае, на пачках с которымым изображен слон) Все говорят со слоном/ а мне не очень // (ср. чай со слоном); Я знаю, что многих воротит // И это не только старшего поколения// (ср. людей старшего поколения); Такого рода (ср. замечания такого рода) делают не только детям //

1) Разговор в трамвае двух незнакомых женщин. Одна везет красивый букет. А. (*кивает на цветы*). Это вы на рынке? Б. Нет / на ВДНХ // Там всегда хорошие //

Опора РР на конситуацию позволяет говорящим: не называть предмет речи, т. е. не употреблять слова *букет*, *цветы* или что-нибудь подобное; не реализовать обратные валентности именных конструкций (на рынке, на ВДНХ), так как из ситуации ясно, что спрашивают, где купили.

2) Разговор по телефону двух знакомых женщин с высшим образованием, которые накануне вместе смотрели соковыжималку и обсуждали, может ли она выжимать сок из капусты. (Звонок телефона. Начало разговора) А. Алло! Б. Леночка? А. Да-а // Б. Я хотела Вам только сказать / что капусту тоже берет // А. (с удивлением и радостью) Да-а? Б. Мы с Левой пробовали / прекрасно трется // А. (одновременно) Я так и думала // Она ведь твердая (*о капусте*) // Б. Только сок невкусный // А. Ну его надо добавлять в морковный или яблочный // Он очень полезный // Б. Да //

Отметим, что слова *соковыжималка* ни одна из собеседниц не произнесла ни разу. Общность АБ позволяет говорящим не называть предмет речи даже в начале разговора, не употреблять даже местоимение.

3. Спаянность РР с неверbalными компонентами КА и наличие общей АБ у ПК объясняет типическую особенность РР: широкое употребление таких конструкций, в которых нереализованными оказываются более сильные валентности слова, а реализованными — более далекие. Это объясняется следующим: то, что могло быть выражено членами, реализующими прямую обязательную валентность, обычно дано в самой ситуации или ясно говорящим из предшествующего опыта: (разговор о портфеле) Это сейчас какой-то самый модный значит цвет / венгры выпускают только такого цвета и гордятся им // Намажь мне паштетом пожалуйста //; Подожди Валюнечка! Поищу в столе //

Во всех случаях вин. п. при глаголах отсутствует, так как ПК ясно, о чем идет речь.

4. Наличие общей АБ у ПК объясняет еще одну интересную особенность РР в плане синтагматики — употребление личных местоимений, которые не замещают никакие предпоследующие существительные. Говорящие могут начать разговор прямо с местоимений (*он*, *она*, *этот* и под.), у которых нет антecedента. Общая АБ и конситуация проясняют содержание речи. Вот начало разговора двух хорошо знакомых женщин: А. А *он* уже приходил // Где же ты была? Опять упустила! Б. Я не думала что *он* так скоро // Где *он* сейчас? А. Наверх пошел. (Ни та, ни другая не спрашивают, кто «он»).

Несколько примеров из диалога, в котором две женщины говорят о покупке портфеля для сына одной из них. Ни слова *сын*, ни слова *портфель* они не используют, употребляя лишь

местоимения: — Спасибо тебе большое за *этот* (портфель) // *Он* (сын) так доволен и мне понравился очень //; А. Эти черные / коричневые / все эти надоели // А этот вот я люблю // Я очень люблю / у него (сына) вот рубашка такая / точно // Б. Угу // А. Так прямо уж *он* (сын) ходит в этой рубашке и с *этим* (портфелем) / так уж наверно совсем красота //

5. В РР могут нарушаться законы семантической сочетаемости слов <sup>33</sup>. Свойственная РР широкая возможность не выражать вербально многое, расширяет синтагматические свойства лексических единиц.

Рассмотрим это явление на примере сочетаемости глаголов с именами. Глаголы в РР могут присоединять к себе члены с нарушением законов семантической сочетаемости слов. Так, при наличии общих сведений и в определенной ситуации (много раз звонили брату, но не могли дозвониться) просьба «*Набери брата!*» не вызывает недоумения и оказывается вполне понятной, хотя глагол *набрать* в значении «составить из каких-либо знаков, цифр какой-либо сигнал» не должен присоединять к себе имя лица. Очевидно, что приведенное сочетание есть имплицитное обозначение той ситуации, которая полным способом должна была быть выражена «*Набери номер телефона брата*». Еще несколько примеров: *Важно допить землянику* // (Глагол *допить* семантически сочетается лишь с названиями жидкостей. Говорящий имел в виду: допить чай с земляничным вареньем); (*Из рассказа о байдарочном походе молодой женщины-математика, москвички*): Я первая заметила что мы *впадаем* // (т. е. река, по которой идут байдарки, впадает в другую реку).

Те из высказываний рассматриваемого типа, которые являются более частотными и употребительными, становятся в РР обычными номинациями данной ситуации. Так, например, вполне обычны конструкции типа: *Зажги чайник!*; *Я выключила морковку* //; *Не забудь погасить макароны* //; *Прикрути мясо* //, хотя очевидно, что действия *зажечь*, *выключить*, *погасить* и под. относятся к газу, а не к названию пищи. Такой способ выражения свойствен РР разных языков: Ср. в немецкой РР: *Dreh den Braten aus* (Выключи жаркое). *Schalte den Kuchen aus* (Выключи пирог) и т. п.

Для характеристики аналогичного явления в английской РР показателен диалог из пьесы Г. Пинтера «Лифт», в котором один из собеседников отстаивает правильность именно такого словоупотребления:

«B e n. Go and light it.  
G u s. Light what?  
B e n. The kettle.  
G u s. You mean the gas.

<sup>33</sup> О семантической сочетаемости слов см.: Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1975.

Б е н. Who does?

Г у с. You do.

Б е н. (*his eyes narrowing*): What do you mean, I mean the gas?

Г у с. Well, that's what you mean, don't you? The gas.

Б е н. (*powerfully*): If I say go and light the kettle I mean go and light the kettle.

Г у с. How can you light a kettle?

Б е н. It's a figure of speech! Light the kettle. It's a figure of speech!

Г у с. I've never heard it.

Б е н. Light the kettle! It's common usage! (*Pinter Harold. The dumb waiter*)<sup>34</sup>.

6. Другой вид нарушений семантической сочетаемости слов: соединение временных и логических предлогов, которым свойственно присоединять имена пропозитивной семантики<sup>35</sup>, с конкретной лексикой. Это явление широко распространено в РР. Возникающие при этом конструкции обладают вне данного КА смысловой недостаточностью. «Информативный голод» (Н. Д. Арутюнова) насыщается благодаря общности сведений, имеющихся у ПК, и конситуации. Так, например, сочетание *Я опоздал из-за ботинок* могло бы означать: из-за того, что покупал, отдавал чинить, порвал, чистил и т. п. ботинки. В данной конситуации оно обозначало: засунул куда-то ботинки и не мог найти.

По мнению Д. Н. Шмелева<sup>36</sup>, следует разграничивать два рода таких конструкций. Называя тот или иной предмет, говорящий: 1) имеет в виду типическую функцию данного конкретного

<sup>34</sup> В кн.: Plays of the modern theatre. Leningrad, 1970, p. 118. Ср. русский перевод (выделения наши):

Б е н. Пойди и зажги его.

Г а с. Зажги что?

Б е н. Чайник.

Г а с. Ты хочешь сказать — газ?

Б е н. Я?

Г а с. Ну да.

Б е н. (хмуро): Значит, по-твоему, я хочу сказать — газ?

Г а с. Ну да, а что же еще? Конечно, газ.

Б е н. (властно): Если я сказал — пойди и зажги чайник, это значит — пойди и зажги чайник.

Г а с. Да как же можно зажечь чайник?

Б е н. Так говорят! Зажги чайник. Так говорят!

Г а с. Никогда не слышал.

Б е н. Зажги чайник! Это распространенное выражение!

<sup>35</sup> См.: Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., 1976, с. 122. См. также: Апресян Ю. Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании. — В кн.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969, с. 304—306.

<sup>36</sup> «Следует обратить внимание на то, что все или почти все названия предметов, созданные человеком, функционально ориентированы в семантическом отношении. Функциональный элемент является, по-видимому, неотъемлемым элементом их семантической организации» (Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 234).

предмета; 2) не имеет в виду типическую функцию данного предмета. Ср. две фразы: 1) *Я проснулся из-за будильника* (=потому что звонил будильник). Пояснений не требуется, так как будить — основная функция будильника. 2) *Я проснулся из-за одеяла*. В этом случае требуется пояснение: одеяло упало на пол, и спящий замерз.

Конструкции первого рода обычно бывают понятны и без наличия общих сведений, знания конситуации и т. п. Они свойственны и КЛЯ, и РР. Конструкции второго рода — типическая принадлежность РР. Например: Б. А я по бульвару прошелся // А. *После зубов?*, (после лечения зубов; собеседнику известно, что Б. ходил лечить зубы); Успеем мы *погулять перед диваном?* (имеется в виду: перед тем, как мастер придет чинить диван).

Наличие разного рода имплицитных конструкций — типическая черта РР, влияющая и на синтаксис (изменение сочетаемости лексических единиц, создание «способов сокращенного обозначения усложненной ситуации в форме двучленного словосочетания»<sup>37</sup>), и на построение номинативных средств<sup>38</sup>. Ведь в таких случаях понятие о какой-либо ситуации, о процессе и связанных с ним актантах может быть выражено самым общим образом, часто метонимически. Для выражения своей мысли, нередко достаточно сложной, говорящий использует условный знак-сигнал, который понятен слушающему в силу его знакомства с конситуацией, общности АБ, разъясняющего жеста и т. п.<sup>39</sup> По существу здесь происходит сплав звуковой речи, конситуации и жестов. Все отсутствующее в РР дополняет конситуация и другие невербальные компоненты КА. В наиболее свернутом виде — это то явление, которое Л. А. Капанадзе называет термином «имя ситуации»<sup>40</sup>. Ср., например, такие обычные для РР выражения, как: *познакомились на картошке* (во время уборки картофеля), часто встречаемся *на учебнике* (во время обсуждения учебника).

Рассматриваемое явление В. Г. Гак характеризует как особый вид номинализации — *косвенная номинализация* (противопоставляя ее прямой, отлагольной). В таких случаях «при номинализации используются непроцессные слова, которые

<sup>37</sup> Тулина Т. А. Функциональная типология словосочетаний. Киев—Одесса, 1976, с. 118.

<sup>38</sup> Ср., например, номинации, выраженные сочетаниями «прилагательное + существительное», когда характер отношения, обозначенного словосочетанием, может быть понят лишь из общности АБ или конситуации. См. ниже раздел «Номинации».

<sup>39</sup> Это явление свойственно РР разных языков. Ср. в немецкой РР: «Ich bin 32» — в одной ситуации обозначает «мне 32 года», в другой — «мои занятия проходят в 32-й аудитории», в третьей — «я получил при жеребьевке № 32» (Левкин В. Д. Немецкая разговорная лексика, с. 181).

<sup>40</sup> См.: Русская разговорная речь, с. 434, Ср.: «В высказывании вместо обозначения целой ситуации на правах ее представителя фигурирует имя одного из участников» (Тулина Т. А. Указ. соч., с. 119). См. также: Земская Е. А. Русская разговорная речь. Проспект, с. 67.

лишь в данных лексико-синтаксических условиях обозначают процесс»<sup>41</sup>. Если сравнивать виды номинализации, допустимые в РР и в КЛЯ, то следует признать, что в РР этот вид номинализации применим шире, что объясняется спаянностью РР с общей структурой КА.

7. Типическая черта РР — широкое использование немаркированных грамматических категорий, среди которых главное место занимает им. п. существительного. Полифункциональность и высокая употребительность им. п. существительного<sup>42</sup> также объясняется особенностями строения КА, составной частью которого является РР: наличием общей ашерцепционной базы, опорой на конситуацию, тенденцией к экономии речевых усилий у говорящего, непринужденностью отношений, что дает возможность ПК не эксплицировать синтаксические связи между словами.

Широкому употреблению немаркированного им. п. может способствовать и фактор времени. В ситуации спешки, «цейтнотности» чаще говорят «Ленинградский / не скажете?», чем: «Скажите, пожалуйста, как пройти к Ленинградскому вокзалу?».

## II. НОМИНАЦИИ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Как справедливо пишет В. Г. Гак, «естественный язык имеет дело с неограниченным числом нечетко отграничивающихся означаемых»<sup>43</sup>. Если для кодифицированного языка характерна номинация мира словом, ведущая к созданию типизированных понятий и суждений, обычно связанных с общественной, коллективной практикой людей, то в РР дело обстоит иначе. Говорящий нередко именует окружающие лица и предметы, исходя из потребностей данного актуального общения, данной конситуации, расчленяя ее, в зависимости от того, что именно ему надо назвать. В связи с этим номинациям РР присуща сиюминутность. В РР много номинаций «на случай», созданных

<sup>41</sup> Гак В. Г. Номинализация сказуемого и устранение субъекта. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976, с. 86. Ср. характеристику аналогичного явления в немецкой РР: «Возьмем пример: Durch die Oma ist der Junge wiederzuerkennen (Из-за бабушки мальчика не узнать). „Oma“ (Бабушка) презентирует в разных ситуациях посещение бабушки, ее приезд, отъезд, смерть, сделанное ею внушение, ее поучительный рассказ, ее баловство, строгость, придирчивость и т. п., т. е. одного упоминания бабушки достаточно для реконструкции микроситуации по принципу смежных наименований» (Девкин В. Д. Немецкая разговорная лексика, с. 82).

<sup>42</sup> О функциях им. п. в русской РР см.: Лаптева О. А. О некодифицированных сферах современного русского литературного языка. — ВЯ, 1966, № 2; Русская разговорная речь, с. 241—264; Красильникова Е. В. К функциональной характеристике им. падежа существительных в системе русской разговорной речи. — В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи, вып. 7, ч. 1. Горький, 1976; Kafková O. K výstavbě výrovné mluvené řečtině. (Funkce nominativa a infinitivu). Autoreferát disertace. Praha, 1976.

<sup>43</sup> Гак В. Г. О двух типах знаков в языке. (Высказывание и слово). — В кн.: Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967, с. 18.

*ad hoc*, именующих лицо или предмет по какой-либо черте, важной для данного акта общения. Это может быть черта не постоянная, не связанная ни с профессией, ни с какой-либо общественно значимой ролью лица, ни с функцией предмета в человеческой деятельности. На структуру номинаций РР влияют также такие факторы, как общность АБ и характер отношений ПК, знакомство ПК с темой, что позволяет использовать подтекст, намек.

Восполнимость РР невербальными компонентами сказывается при построении номинаций и в плане синтагматики, и в плане парадигматики. В плане синтагматики она приводит к возможности использовать предельно краткие номинации, пригодные для наименования разных явлений действительности<sup>44</sup>. Так, слова типа *японец*, *англичанин* и т. п. в РР могут обозначать: преподаватель данного языка, студент, изучающий данный язык и литературу, артисты из данной страны, художественная или любая другая выставка, кинофильм, концерт, спектакль данной страны и т. п. Например: С нами был в группе один *англичанин* // (о студенте); У нас *немка* / *зануда* // (о преподавателе); А *японцев* ты собираешь? (о *марках*) //; Мы на поляков завтра идем // (в *тетрь*); А на *карелах* Вы были? (о *выставке*)<sup>45</sup>.

Особенности разговорных номинаций в плане парадигматики обнаруживаются в неоднократно уже отмечавшейся высокой вариативности синонимичных средств<sup>46</sup>. Ср. такие ряды: *На японскую эстраду* (*на Японию* / *на японцев*) у Вас есть билеты?; Ты когда *лабораторную работу* (*лабораторку* / *лабораторию*) сдаешь?; У тебя все *телефонное воспитание* (*воспитание по телефону* / *телефон*) процветает?; А со *слоном* (*слоновый чай* / *чай со слоном*) Вам нравится?; А ты *открывалку* (*чем открывать* / *открывать*) не забыл?; Сегодня *выдавальщица* (*кто выдает* / *кто на выдаче*) такая быстрая! (в *столовой*).

Рассмотрим некоторые типические виды номинаций РР.

1) Номинации, выраженные сочетанием имени существительного с отсубстантивным прилагательным. Характерной чертой

<sup>44</sup> Ср. замечание М. В. Панова по поводу метонимического и метафорического осмыслиения слов и выражений РР: «Многие семантические контрасты и разграничения нивелируются, текстуально „снимаются“. Вообще значение контекста (и конситуации) для понимания отдельных слов и выражений здесь значительно выше. . .» (Панов М. В. О развитии русского языка в советском обществе. — ВЯ, 1962, № 3, с. 8).

<sup>45</sup> Аналогичное явление свойственно немецкой РР: «Антропонимы, вместо называния лица, репрезентируют самые разные денотаты, имеющие какое-то отношение к этому лицу. . .». (Девкин В. Д. Немецкая разговорная лексика, с. 182). Ср. наблюдения над синтаксическим функционированием имен лиц в кн.: Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл, 1976.

<sup>46</sup> Эти две особенности типичны и для номинативных средств немецкой РР: «Две тенденции: стремление к многоименности (полиномия), к тому, чтобы все нужное было названо, имело свое имя, с одной стороны, и стремление к малоименности (олигономия), тенденция обойтись минимальным количеством знаков (при условии их универсализации и максимального использования)» (Девкин В. Д. Указ. соч., с. 74).

таких номинаций является их лаконичность, способность заменять конструкции, состоящие из косвенных падежей с предлогами или развернутые словосочетания<sup>47</sup>: Она проводит *телефонное воспитание* // (ср. воспитание по телефону); Зачем эта очередь? — *Макулатурного Сименона* дают //

Высокочастотным видом рассматриваемых номинаций является такой, когда в сочетании выражается важный лишь для данного речевого акта вид отношений между предметами, названными основой прилагательного и определяемым существительным. При этом понять, какой именно вид связи выражает словосочетание, можно лишь опираясь на общность апперцепционной базы ПК: А как твоя *лесная девочка*? (девочка, с которой один из ПК познакомился в лесу); Ты что делаешь? — *Змеиную воду* пью (перед позой змеи в гимнастике йогов); — Это наша *малиновая соседка* // (которая продает малину); Как же решать мою *никотиновую судьбу*? (о лечении никотиновой кислотой); Принесите какие-нибудь *картофельные фотографии* / (сделанные во время уборки картошки); Целое лето у меня ушло на это (печатание автореферата) // Какие-то *ротапринтные мальчики* / какие-то документы //

Номинации такого типа могут иметь и качественно характеризующее значение: Она ему была костылем // А раз она кончила свою *костылевую роль* / ей надо работать //

2) Номинации, содержащие имя в косвенном падеже с предлогом. Они называют лишь признак лица или предмета, само же имя лица или предмета не выражено. Оно восполняется консистуацией. Номинации такого рода в высшей степени типичны для магазинных ситуаций<sup>48</sup>: Две пожалуйста *в клеточку* и десять *в линечку* (о тетрадях, которые лежат на прилавке).

3) В качестве номинативных средств РР широко используются прозрачные по строению производные слова разной структуры. Разговорные номинации, выраженные производными словами, обычно создаются не на основе общественно важных, наиболее типических признаков какого-либо лица или предмета, как в КЛЯ, а по требованию данной ситуации, данного КА. В этом состоит одно из резких отличий РР от КЛЯ. Если посмотреть, например, на то, как, т. е. по какому признаку, строятся наименования лиц в КЛЯ и как, т. е. по какому признаку, они строятся в РР, то мы увидим значительную разницу.

Возьмем для примера сферу отсубстантивных производных — имен лиц. В КЛЯ такие существительные обычно обозначают человека по профессии, т. е. для КЛЯ характерны номинации

<sup>47</sup> См. подробнее о таких сочетаниях: *Земская Е. А.* Русская разговорная речь. Проспект, с. 64—66; *Столярова Э. А.* О функционировании прилагательных в разговорном стиле речи. — В кн.: Вопросы стилистики, вып. 9. М., 1975, с. 17—18.

<sup>48</sup> Богатый материал такого рода дан в кн.: Русская разговорная речь. Тексты (в печати).

типа: лицо, производящее, добывающее данный предмет (*каменщик*, *переплетчик*); лицо, продающее данный предмет (*мясник*, . . .).

Для РР типичны номинации лиц по иным признакам. Рассмотрим некоторые из них.

а) Имена лиц, называющие человека по его сиюминутной связи с каким-либо предметом, т. е. по связи актуальной для данного акта коммуникации, для потребностей конситуации: (о лицах, родившихся в июле) Это все *июльщики* //; (о лицах, собирающих и сдающих макулатуру) Я увидел там длинную очередь // Оказывается это *макулатурщики* // Стоят книгу получить //; На первом вечере в университете я был ее *предисловщиком* //

Создавая существительные такого рода, говорящие могут порождать омонимы к словам кодифицированного языка. Но, как правило, это их не пугает и не останавливает. Иногда лишь при этом требуются разъяснения, которые могут снять недоумение, недопонимание и т. п. Вот разговор, записанный на улице в Крыму в Коктебеле. Двое близких знакомых идут мимо красивой дачи: А. Здесь живут *каменщики* / Б. (с недоумением) Масоны? А. Да нет / камни собирают / у них коллекция //

Менее распространены отглагольные существительные — номинации лиц по актуальной для данного КА деятельности лица: (о покупке билетов в кино по способу «Нет ли лишнего билетика?») Там были сплошные *меняльщики* // (т. е. меняли билеты с одного сеанса на другой) //; (об аспирантке) Это моя *опоздальщица*//; (*шутливо*) Давайте я буду *сетконоситель* //

б) В РР продуктивны существительные со значением «любители есть то, что названо основой производящего существительного». Продуктивное средство выражения этого значения — существительные с суффиксом *-ник*: Значит собралось общество *рыбников*?; — Он *клубничник* / а я *вишенник* //; Он у нас *конфетник* //; Ты Нин такая *ягодница* //; — Свеклу будете? — Я / *овощница* //

Говорящие при этом нередко образуют слова, омонимичные к производным, функционирующими в КЛЯ с другим значением (например: «вместилище»): (Две подруги обсуждают кулинарные вкусы друг друга) Ты / *чайник* // а я *рыбник* //; А ты оказывается этот . . . Как сказать-то . . . *кофейник* // (не нашла более подходящего слова для выражения смысла «любитель и знаток кофе»). В форме женского рода: Так Вы *кофейница* / а я / *чайница* //

в) Среди наименований лиц большую группу составляют отглагольные производные, характерная особенность которых состоит в том, что говорящий называет лицо по выполняемому им профессионально действию, даже тогда, когда имеется нейтральное название данной профессии <sup>49</sup>. Такие существительные имеют более конкретный характер, чем общелiterатурные названия.

<sup>49</sup> О таких существительных см.: Санджи-Гаряева З. С. Наблюдения над словообразованием русской разговорной речи. Автореф. канд. дис. М., 1974.

Вот несколько примеров. В скобках помещаем принятые в КЛЯ названия данной профессии: (разговор о химчистке) А. А там сдавать и получать вместе? Б. Не вместе / но если там одна выдавальщица и получальщица / то через одного // (ср. приемщика); Там выдавальщица / молоденькая девушка // (о библиотекаре); — Ведь у нас же есть выступальщики! (о рецензентах); (глядя на бумагу) Я даже не знаю / где-е будет там заверяльщик подписьвать // (о референте); (о подписке на газеты) Спропшу-ка я у нашей подписывательницы / (замявшись). . . писательши //

Если рассматривать РР как поле действия двух противоборствующих тенденций — тенденции к расчлененности и тенденции к синкретизму, то структура номинаций — производных слов в РР поддерживает тенденцию к расчлененности.

Производное слово в РР, как расчлененная номинация, стоит ближе к словосочетанию, чем к непроизводному слову, как немотивированному знаку (ср. открывалка, чем открывать и штопор). Вместе с тем наличие «сокращенных», лаконичных номинаций, заменяющих название целой комплексной ситуации, поддерживает тенденцию к синкретизму РР.

Широкая употребительность в РР номинаций — производных слов, свобода действия в ней разных типов словообразования, в том числе окказионального, объясняют еще одну особенность РР. Класс хорошо членимых слов в РР значительно больше, чем в КЛЯ. С этим связан особый вывод, важный для проблемы членности слова и для роли морфем в РР. Морфема в РР выступает как более самостоятельная и подвижная единица, чем в КЛЯ.

Самостоятельные и подвижны в РР приставки, как именные, так и глагольные: Марина оказалась очень лаконичной / просто сверх //; (о дочери) Сегодня стирала она / училась / добродетельна была сверх //; Он иногда бывает квази или в худшем смысле псевдо математическим //; (После обсуждения научной работы): А. Вас обсудили? Б. Не об / а о //. А. Это тебя или Надю? Б. Надю об / а меня о (ср. обсудить и осудить); А. Ну как? отсамаркандились? Б. Ну да / и от -/ и на //. Ср. в записке: Прости за грязь и нéдо // (имеется в виду 'недоказанность').

Также могут вести себя и некоторые части слов, не получившие еще, на наш взгляд, статуса вполне усвоенных русским языком морфем. Ср. такие диалоги: (о художнике) А. Шагал / сюрреалист? — Шагал / не сюр // Но они все вышли из него //; (разговор двух студенток об экзамене по литературе): Реализм-то как раз ничего (т. е. я смогу ответить) // А что про этот вот? сюр // (т. е. сюрреализм).

Другой вид самостоятельности морфем обнаруживается в распространении какой-либо первой части слова — приставки, аббревиатуры и т. п. — распространителем-словосочетанием, местоимением или чем-либо подобным. Распространение приставки анти: А. Он анти-Толстой // Б. И анти-Достоевский // Вообще / анти-всё //; Л. А вот эта паста / поморин / она анти чего?

*В. Анти плохие зубы //; Экспрессивность может быть анти к чему угодно //*

(Две женщины готовят салат. Одна льет в него уксус. Другая говорит): Ты не *пере это?* — Стараюсь *не пере //;* Может ты зайдешь в *географ эту?* (о географическом магазине); — Нет общегерманского / общероманского и *обще других атласов //;* — Это принято обозначать термином *под — что-то //;* Это подраздел / подгруппа / *под — хотите что //;* У меня идея // Эту картиночку *пересюда* (перенести); Получается *гипер что-то //;* У каждого свое // у Жени интерференция / а у этих *транс-чего?*

Возможность расчленения слова объясняется тем, что говорящий в целях актуализации того или иного элемента сообщения прибегает к выделению морфем как самостоятельных единиц. Устная форма речи, свобода построения КА позволяют ему сделать это. Интересно отметить, что актуализация морфем, употребление их как самостоятельных единиц свойственно языку художественной литературы<sup>50</sup>, что доказывает известный изоморфизм между РР и языком художественной литературы.

### III. СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ

В области словоупотребления различные невербальные компоненты КА особенно ярко выполняют функцию, мотивирующую выбор той или иной единицы из парадигматического ряда.

1. Возраст ПК и их взаимоотношения определяют словоупотребление говорящих. Это отчетливо видно в использовании тех или иных формул речевого этикета. Выбор формул приветствия и прощания варьируется преимущественно в связи с этими факторами. Ср. нейтр. у всех говорящих *Здравствуйте, До свидания;* нейтр. у молодежи, фам. у людей среднего возраста — *Привет! Салют!,* грубоватое: *Здорово!* и т. п.

2. Симметричность или асимметричность отношений между ПК также влияет на выбор тех или иных лексических средств. Так, если молодежь обращается к лицам своего возраста обычно на *ты*, с формулами приветствия типа *Привет!, Салют!, Пока!,* то к лицам старшего поколения обычнее обращение на *Вы* и нейтральные формулы этикета типа *Здравствуйте!, Доброе утро!, До свидания!.*

3. Резко влияет на словоупотребление профессия говорящих. Это влияние обнаруживается не только в РР. Для РР оно характерно тем, что создает интересный сплав лексических единиц разного рода (научные термины и профессионализмы объединяются

<sup>50</sup> См. наблюдения над использованием морфем как самостоятельных единиц в работах: Земская Е. А. Словообразовательные морфемы как средство художественной выразительности. — Русский язык в школе, 1965, № 3; Черкасова Л. П. Наблюдения над экспрессивной функцией морфемы в поэтическом языке. (На материале поэзии М. Цветаевой). — В кн.: Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Членность слова. М., 1975.

с лексикой нейтральной и сниженной). Вот несколько примеров, один из ПК — врач. (Разговор двух женщин об их общем знакомом, А. — филолог, Б. — врач): А. Он мне не понравился//. Б. А Вы его не весной видели? А. Весной // Весной! Конечно весной// Б. Он был тогда в дисфории//; (Женщина-врач 32 лет) Он парциально глупый//; Я ничего не успеваю // Наверно у меня редукция энергетического потенциала//.

Характерна такая тенденция: при разговоре профессионала с непрофессионалом нередко последний стремится перевести термины неспециальными словами, обычно экспрессивными синонимами. (Зубной врач и пациент): (Врач) Да-а/карман у Вас большой // (Пациент, щутливо) Целая авоська // (Врач) Этот десневой карман дает болевые ощущения // (Пациент) Не болит / а мешает // Все застrevает в нем//; (Врач говорит матери, живущей вдвоем с сыном): Вы же индуцируете друг друга // При такой-то близости // Вы же это понимаете / (Мать) Ну да/накручиваем//.

4. На словоупотребление оказывают сильное влияние и личные особенности говорящего, такие, например, как склонность к разрушению речевого шаблона. Так, некоторые говорящие и в ситуациях-стереотипах стремятся проявить свою индивидуальность, хотя это — редкость. Приведем такой пример. В ответ на звонок телефона первая реплика с высокой степенью вероятности будет: *Алло!* (или с мягким л': *ал'о!*), *Да* (или: *да-а*); с оттенком официальности: *Слушаю* или *Я (vas)* слушаю, *Вас слушают*; *У телефона, (фамилия)+слушает* (например, *Петров слушает*) и т. п. Типизированный набор таких отзывов исчислим. Ответы, не входящие в набор, сугубо индивидуальны и нередко ставят партнера коммуникации в тупик, так как разрушают стереотип ситуации. Нам встретился человек, регулярно отвечающий в указанной ситуации: *Весь внимание*. Как правило, лица, слышавшие такой ответ впервые, переспрашивали, приходили в недоумение, нередко не могли даже понять, что сказано. Нарушение языковой конвенции не могло оставаться безнаказанным. Оно вело к непониманию.

5. Для современной РР примечательна тенденция сочетать научные термины, книжные слова и тому подобные элементы и менного характера с сугубо сниженными (иногда даже вульгарными) глаголами. Говорящий как бы стесняется несоответствия своей речи разговорным нормам<sup>51</sup> и разбавляет ее предикатной лексикой, чаще всего глаголами. Это объясняется тем, что назвать какую-либо реалию из сферы науки и техники обычным словом-нетермином он не может. Чем заменить термины «фокусное расстояние» и под.? Ведь тематический диапазон современной русской РР очень широк. В ней говорят обо всем (науке и технике, искусстве и экономике и т. д.). Поэтому, желая

<sup>51</sup> Ср.: Pisarkowa K. Składnia rozmowy telefonicznej. PAN. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1975.

сохранить непринужденность общения, говорящий нередко «отыгryвается» за счет сниженной предикатной лексики, чаще всего глагольной: Когда выяснили что есть цветовая дифференцировка / они лапы вверх подняли//; Я тут... несколько лет назад... в больнице оказалась // Думали / загнусь // Гемоглобин падал // Худела // Ничего // Прошло / оклемалась//; (из рассказа студента-математика москвича о байдарочном походе) Уклон на глаз виден градусов тридцать // И везде валуны понатыканы // Если человек опытный и ходил много / маленькая вероятность что погибнет он // Ну конечно о камень могло трахнуть//

Ср. также включение терминологического сочетания в сугубо разговорную синтаксическую конструкцию: (Студент в автобусе рассказывает приятелю о своих фотозанятиях) Я уже и так / и так / а у меня фокусного расстояния нету // Я раз — (жест) И вышло//

6. В области словоупотребления связь РР со структурой КА обнаруживается в высокой употребительности опустошенных и полуопустошенных лексических единиц. Широкое использование подобной лексики в РР не раз отмечалось в литературе (слова типа *вещь*, *дело*, *история*, *музыка*, *штука* и под.)<sup>52</sup>. Объясняется оно целым комплексом причин, среди которых можно назвать и восполняющую роль конситуации и АБ, и тенденцию к речевой экономии, и тенденцию к экспрессивности (так как многие из таких единиц отличаются особой выразительностью). Такая лексика имеется и в сфере глагола. В РР число единиц подобного рода велико, многие из них по характеру своей семантики близки прономинализованным существительным<sup>53</sup>. К числу наиболее известных относятся *шпарить*, *бахать*, *валять* и др.: Это же «Просвещение» (об издательстве) // Они всегда большие тиражи *бахают*//; Вы так *шпарили* по-английски! Я подумала / «Ну и чешет»!

Распространенность единиц такого рода может быть различной. Вот примеры менее употребительных глаголов: (В коридоре больницы встречаются двое). А. Любовь Павловна! Б. (Отвечает на бегу) Начинает телефон *раскочегариваться*! (часто звонит); Какие-то голые слова / без денотатов / в голове *шастают* и *шиныряют*//; Врачи говорят / всё надо есть ограниченно / а орехи можно *лупить* с утра до вечера//; Он прямо с ходу *шуряет* все эти словечки//

<sup>52</sup> Ср. характеристику слов-указателей, данную Л. А. Капанадзе. См.: Русская разговорная речь, с. 450—453. Ср.: Девкин В. Д. Немецкая разговорная лексика.

<sup>53</sup> См.: Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Об актуализации морфемной членности слова в речи. (Употребление префиксальных слов в устной речи). — В кн.: Развитие современного русского литературного языка. 1972. Словообразование. Членность слова. Ср. характеристику глаголов типа *валять*, *драть*, *дуть*, *жарить* в кн.: Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967, с. 29—30.

Показательно, что Ю. Д. Апресян рассматривает такие глаголы в разделе «О давлении синтаксиса на семантику», подчеркивая что «в языке существуют группы слов, помещение которых в несвойственный им синтаксический контекст может окказионально изменять значение»<sup>54</sup>. Однако в РР есть и такие глаголы, которые не видоизменяются в контексте, а предназначены для выполнения роли слов-пустышек, слов-заменителей, способных обозначать почти любое действие<sup>55</sup>. Глагол дает лишь эмоциональный ключ, семантику дополняет контекст и конситуация: Сашка еще здесь возился / чебурéкался / а потом я заснула//; Ты так ворочался / так ногами балабутил. . .

Еще ярче синтагматическая обусловленность семантики глагольного корня обнаруживается в префиксальных образованиях, когда значение корня дополняют и конситуация, и префикс<sup>56</sup>. И наконец, крайний случай, когда глагол представлен приставкой, а его корневая часть выражена опустошенным заменителем, например: (Женщина стоит в новой шубе перед зеркалом) У меня же дома нет зеркала // Я у тебя *на-это самое* / а уж дома я смотреть не буду // (Ср. *насмотрюсь, нагляжуся*).

\*

Итак, комплексное строение коммуникативного акта в условиях непринужденного общения, спаянность вербального компонента с невербальными порождает ряд особенностей строения РР. РР — это та сфера коммуникации, в которой связь между вербальными и невербальными компонентами является особенно тесной. Восполняющая функция невербальных компонентов обнаруживается особенно ярко в синтаксисе (в плане синтагматики), а также в структуре номинаций, когда значение «сокращенного» наименования восполняет конситуацию, общность аперцепционной базы ПК и другие компоненты.

Функция, мотивирующая выбор тех или иных средств, обнаруживается наиболее ярко в сфере словоупотребления (в плане парадигматики, т. е. при выборе той или иной единицы из ряда синонимических средств).

Многие невербальные компоненты КА оказывают аналогичное воздействие на строение РР. Так, спаянность с конситуацией и наличие общей аперцепционной базы у ПК объясняют высокую степень эллиптизации в синтаксисе РР, возможность употреблять опустошенную лексику, разные виды сокращенных, метонимических номинаций.

<sup>54</sup> Апресян Ю. Д. Указ. соч., с. 29.

<sup>55</sup> См.: Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Указ. соч., с. 120; Земская Е. А. Русская разговорная речь. Проспект, с. 94—95.

<sup>56</sup> См. об этом: Капанадзе Л. А., Красильникова Е. В. Указ. соч., с. 120,

## О ЯЗЫКЕ ДРЕВНЕГО СЛАВЯНСКОГО ПРАВА

(к анализу нескольких ключевых терминов)

До последнего времени конкретные исследования в области сравнительного анализа правовых терминов и их использования в отдельных славянских традициях<sup>1</sup> были в известной степени изолированы от собственно лингвистического изучения языка права. Преодоление этой изоляции становится возможным благодаря появлению ряда работ, в которых конкретный анализ отдельных правовых терминов приводит к вскрытию уже не только и не столько внутриюридических мотивировок, сколько более общих и глубоко лежащих мотивировок, объясняющих как собственно юридическую терминологию, так и более широкий круг понятий мифопоэтического характера. Недавние исследования индоевропейских истоков отдельных юридических традиций, в том числе и славянских, позволяют восполнить общую картину индоевропейской культуры и вместе с тем определить специфику права как единой целостной системы среди других аспектов общеиндоевропейской и праславянской культуры. Общие идеи, лежащие в основе данной правовой системы, и внутренние стимулы, определяющие функционирование этой системы, не могут быть исчерпывающим образом обнаружены в пределах самой этой системы и требуют выхода за ее пределы. Наличие этих более глубоких слоев, мотивирующих структуру и семантику правовой системы, объясняют исключительную архаичность языка права при сохранении за ним способности к включению элементов, связанных с обозначением новых специальных терминов и категорий, возникших существенно позже, в эпоху составления данного правового текста. Таким образом, уместно говорить об архаизме мотивировок, самой рамки правовых текстов и набора юридических формул, предполагающих наличие переменных величин, которые могут вводиться в рамки архаичных формул. Этот архаичный слой, обслуживая уже сложившееся (или складывающееся) право, сам принадлежит той более глубокой системе понятий, которую

<sup>1</sup> Ср. также исследования, как: *Janko J.* O pravěku slovanském. Praha, 1912; *Kadlec K.* Introduction à l'histoire du droit slave. Paris, 1925; *Niederle L.* Slovanské starožitnosti, I—IV. Praha, 1901—1924, не говоря уже о многочисленных работах в области изучения конкретных правовых памятников отдельных славянских традиций (ср., например, историю изучения «Русской Правды», южнославянских и западнославянских статутов и т. д.).

Л. Жерне назвал «предправом» (*prédroit*)<sup>2</sup>. Уже сам Жерне с этой точки зрения анализировал некоторые ключевые термины древнегреческого права. В том же русле идут и собственно лингвистические исследования терминов права Л. Р. Пальмером, Э. Бенвенистом, К. Уоткинсом и др.<sup>3</sup> В отличие от старых сравнительно-исторических работ о языке права, в названных исследованиях центр тяжести переносится на детальное исследование синхронной картины внутри одной данной традиции, что предполагает преимущественное значение внутренней реконструкции (а не внешнего сравнения) и внимание к значению сигнификату (а не к определению значения денотата). Такая установка способствует большей корректности и верифицируемости получаемых собственно лингвистических результатов. Общему прогрессу исследований в области языка права способствовали и работы, посвященные соприкасающимся с «предправом» и ранним правом областям древнеиндоеевропейской и праславянской культуры (миф, ритуал, поэтика, социальные структуры, экономические понятия и т. п.). Все эти области для древнейших эпох (в частности, для позднепраславянской и ранних славянских традиций) составляли единую синкетическую систему. Именно поэтому термины, которые позднее рассматриваются как собственно юридические, в более раннюю эпоху имели существенно более широкую сферу употребления.

Тот факт, что «предправо» в славянской традиции, как и в большинстве других индоевропейских, складывалось и функционировало в дописменный период, следовательно, в устной форме, ставит вопрос о том, какой могла быть эта устная форма, особенно если учесть, что свод «предправовых» установлений должен был удовлетворять условиям полноты, последовательности и исчерпывающего характера этого свода. Необходимость постоянно ссылаться на один и тот же устный текст правовых установлений требовала особой точности в его передаче. В этом именно и состояло отличие от передачи эпических (и — шире — вообще фольклорных) текстов, в которых существовала принципиальная установка на вариативность (которая ограничивалась лишь метрическими условиями). Но сама проблема выработки мнемотехнических средств, облегчающих передачу текста во времени и дающих гарантии его стабильности, объединяет метрические эпические и неметрические правовые тексты. Сама возможность такого объединения свидетельствует о принадлежности

<sup>2</sup> Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique (III. Droit et *prédroit*). Paris, 1968, c. 173—301.

<sup>3</sup> См.: Palmer L. R. The Indo-European Origins of Greek Justice. — Transactions of the Philological Society. London, 1950; Benveniste E. Vocabulaire des Institutions indo-européennes, I—II. Paris, 1969; Watkins C. Studies in the Indo-European Legal Language, Institutions and Mythology. — Indo-European and Indo-Europeans. Philadelphia, 1970, c. 321—354; Myth and Law among the Indo-Europeans. Ed. by J. Puhvel. Berkeley—Los Angeles—London, 1970; и др.

обоих классов текстов к некоему единому мифопоэтическому кругу.

Можно высказать предположение, что задача сохранения текста и его неизменного воспроизведения в эпоху «предправа» служила особого рода организации устного текста на семантико-композиционном уровне. Во всяком случае косвенное подтверждение этому можно отчетливо видеть еще в раннеславянских правовых текстах, где, хотя бы отчасти, прослеживается организация текста в зависимости от ряда признаков. Так, представление о данном конкретном своде правовых установлений (законов) как отражении некоего более общего неписаного божественного закона<sup>4</sup>, реализацией («оплотнением») которого является данное правовое уложение, уже определяет некий образец, который нередко (а в архаичных традициях постоянно) имеет обоснование и мотивировку в соответствующем мифе с четкой организацией его частей. В частности, не исключено, что у праславян (как и других индоевропейских племен) «предправовой» комплекс возник вокруг основного мифа, который как раз и описывает первое нарушение некоего традицией установленного порядка, наказание того, кто преступил порядок, нарушил традицию, и восполнение недостачи. Этот *casus primus* и мог послужить объектом первых «предправовых» суждений и заключений. Некоторые следующие ниже наблюдения над структурой ранних правовых текстов, кажется, позволяют еще увереннее говорить о возможности связи между «первоправом» и основным мифологическим текстом данной традиции. Но и вне этих древнейших связей ранние правовые тексты обнаруживают многочисленные элементы организации, которые, несомненно, увеличивают возможности сохранности текста во времени и его передачи и воспроизведения. Таковы, например, числовая индексация однородных последовательностей<sup>5</sup>, членения разного рода судебных инстанций (применительно к раннеславянской, но уже христианизированной традиции, ср. *княжий суд, церковный суд, общинный суд* и т. п.) и сами перечисления разного типа преступлений (против бога, князя, обчины и т. д.), характера этих преступлений (против отдельного лица, разных видов собственности и т. д.)<sup>6</sup> и соответствующих наказаний

<sup>4</sup> Ср., несмотря на несомненные христианские ассоциации, начало «Закона Судного людемъ»: *Преже всѧкоа правды достоинъ єсть о божии и правде глаголати* (ср. в «Уставной грамоте кн. Ростислава Смоленского» 1150 г.: *по божью строю при предшествующем богъ устроитъ*) или различие божьего, церковного и людского законов в «Законе Судном людемъ» или у Немани: *богъ прѣмилостиы... и законъ давъ и нравы оустави...*

<sup>5</sup> Ср.: *Первая тяжа* роспуст; *другая тяжа*, аж водить кто две жоне; *третья тяжа* аще кто поимется чрес закон; *четвертая уволовская*, аж уволочет кто девку... *девятая аж* кого бог отведет церковных людей, а не будет зла ничего церкви (Уст. грам. 1150 г.) и т. п.

<sup>6</sup> Сюда же относится и номенклатура преступников. Ср. в «Судебнике» 1497 г.: *А государскому убийце, и коромолнику, церковному татю, и голов-*

Сама судебная процедура, имеющая целью определение виновности или невиновности, предполагает последовательность введения средств установления истины (признание обвиняемого, показания свидетелей разного рода, пытка, божий суд, поединок и т. п.). В кодифицированных раннеславянских уложениях принципы такой семантико-композиционной организации в значительной степени смешаны и перестроены в соответствии с более сложными принципами, предполагающими, в частности, значительно большую дифференциацию характеристик самого преступника, преступления и соответствующих наказаний. Кроме того, письменный текст не нуждался в тех ограничениях (между прочим, на его объем и степень однородности), которые были действительны для устных правовых текстов.

Основные и наиболее жесткие приемы мнемотехнического характера сосредоточены на синтаксическом уровне. Речь идет прежде всего о принципиальной установке на использование одиночной (в крайнем случае — однородных) конструкции, которая «прошивает» весь текст, подчиняя себе все темы данного свода: любое утверждение облекается в форму именно этой конструкции. В наиболее общем виде такая конструкция представляет собой рамку, состоящую из начального антецедента, выраженного ограниченным кругом слов местоименного характера (*который, иже, кто, что, яко, как(o), аще, а...* и т. п.), и соотнесенного с ним опорного слова, также местоименного характера (*такой, тот, то, так(o), ино* и др.)<sup>7</sup>. Поскольку восточнославянские примеры сохраняют особую архаичность и, как правило, первичны (в том смысле, что продолжают старую дохристианскую традицию и не являются обычно переводами, как например многие старые юридические тексты у западных славян), уместно в данном случае сослаться именно на них. Ср. такие типы основной конструкции, как: А ще оутнеть мечемъ..., то 12 гривнъ за обиду. Кратк. Русск. Правда 4; А и же изломить копье..., то прияти скота оу него. Там же, 17; А ще который товар възметь Русин у Немчина..., тъй товар не ворочается. Договор Смол. с Ригой и Готск. берегом 1229 г., 21; А же кто холопа ударить, то гривна кун. Там же, 1; А к оторого татя поимают с какою татбою..., ино его казнити... Судебник 1497 г., 10; А как давати безсудныя..., да велети им подъя-

ному, и подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати... (статья 9); ср. в иных терминах: А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело... (там же, статья 8).

<sup>7</sup> Ср. обычное *jako...* в польских ротах и судебных записях, *aby* и *gdy*<sup>2</sup> в «Вислицком статуте», *ако, ошће ако, а, и тко, и кто, и кои* и т. п. в сербскохорватских законниках и т. п. Иногда рамка упрощается за счет устранения местоименного антецедента. Тогда возникают такие характеристные, например для «Законника» Стефана Душана, конструкции, как *И...*, *да...* (ср. дальнейшую редукцию: *И светителю да поставе духовники...*) или даже: *И да оуставѣтъ по црквахъ законъ...*).

чим бессудные давати и сроки отписывать. Там же, 27; А кот о-  
ром у посаднику сести на посадниство, и но тому посаднику крест целовать . . . Псковск. Судн. Грамота 3; А кт о  
имеет на ком сочит торговых денег по доскам, тот человек про-  
тиву положит рядницу. Там же, 38; А чemoу высковыхъ  
челобитныхъ цены боует ненаписано, и тому цена положить  
посемоу оуказу. Улож. Алекс. Мих. 1649 г. и т. п. Конструкции  
этого рода настолько постоянно (почти автоматически) появляются  
в правовых текстах, что их функционированию не мешает редук-  
ция первой или второй части подобных конструкций. Ср., с одной  
стороны: Оубеть моужъ моужа, то мъстить братоу брата. . .  
Кратк. Русск. Правда 1 (при варианте: А ж е оубиетъ . . .  
в Простр. Русск. Правде 1), а с другой стороны, обычные кон-  
струкции «Уложения» царя Алексея Михайловича без второй  
части: Кто пришедъ в црквь божю кого оубье досмерти, или:  
Кто оумышленiemъ и измѣною городъ зажжет, или: Кому ратнымъ  
людемъ себѣ и лошадамъ купити корму, и вдорогъ какъ ставитися  
настанѣхъ, и т. п. Наконец, существуют случаи, когда и первая  
и вторая часть конструкции редуцированы, точнее, выражены  
нулевым способом, но вполне просто восстанавливаются через  
соотнесение с этой конструкцией. Ср., например: Боудеть ратные  
люди идучи на государеву слоужбу, очнутъ кому насильство  
чинити. Улож. Алекс. Мих., и т. п. Постоянное наличие длинных  
последовательностей, в которых воспроизводится основная кон-  
струкция, позволяет в конце ряда элиминировать составные части  
этой конструкции, переходя к сокращенным формулам техниче-  
ского характера, ср. в «Русской Правде» после конструкции  
типа *A иже . . . , то . . .* появление таких формул, как: А въ княжи  
тивоунъ 80 гривенъ . . . ; А в смердѣ и в хопѣ 5 гривенъ . . . ; А за  
княжъ конъ . . . 3 гривнѣ, и т. п.

Внутри рамки, задаваемой указанной конструкцией, материал  
организуется или по сочинительному принципу (*и . . . и . . .* или  
бессоюзная связь), предполагающему охват всех объектов данной  
категории, или по разделительному признаку (*или . . . или . . . ,  
любо . . . любо . . . , ли . . . ли . . .* и т. п.), предполагающему выбор  
данного объекта из целой серии и тем самым намечающему схему  
ветвления. Ср.: Оубеть моужъ моужа, то мъстить братоу брата,  
или сынови отца, любо отцю сына, или братоучадоу,  
любо сестриноу сынови. Кратк. Русск. Правда 1; ср. там же, 1:  
аще боудеть роусинъ, любо гридинъ, любо коупчина,  
любо ябетникъ, любо мечникъ, аще изъгои боудеть, любо словенинъ, то . . . ; . . . ож клеть покрадут . . . или сани под  
полстью или воз под титягою или ладью под полубы, или въ  
яме или скота оукрадают или сено сверху стога имать,  
то . . . Пск. Судн. грамота 1 и т. п. Иногда два соседних утвержде-  
ния, следующих друг за другом, организуются в блок посредством приема, сопоставимого с отрицательным параллелизмом в народ-  
ной поэзии. При этом подобный отрицательный параллелизм мо-

жет присутствовать явно или быть в семантике ключевых для данного утверждения слов. Ср., с одной стороны: . . . аще не боудеть на немъ знамения никотораго же, то ли придетъ видокъ; аще ли не можетъ, тоу томуу конецъ. Кратк. Русск. Правда 2, и т. п., и, с другой стороны: . . . а правого не погубити, а виноватаго не жаловати. Пск. Судн. грам. 3, т. е. «правый оправдывается, неправый не оправдывается». Наряду с последовательностями, организованными по такому альтернативному принципу, существуют последовательности, упорядоченные по градуальному принципу; ср., например, характерные перечисления наказаний за одно и то же преступление, которое, однако, направлено против лиц, занимающих разное общественное положение (или же совершенно разными с точки зрения общественно-правового положения субъектами преступления).

Рассмотренная здесь основная конструкция славянских правовых текстов находит очевидные параллели в других древних индоевропейских юридических текстах. Подобные аналогии касаются не только общей схемы построения (рамочной конструкции и типов ветвления внутри ее частей), но и общего происхождения элементов самой схемы. В частности, в древнехеттских законах, записанных около XVI в. до н. э., строго соблюдается принцип введения каждого следующего юридического утверждения посредством *ták-ku* 'если', представляющего собой соединение местоименного слова *ta-* с такой же частицей *ku*, которые в совокупности тождественны слав. \**takъ* (\**tako*), обычному именно в правовых текстах. Более того, можно предположить этимологическое тождество обоих членов рамки, ср. слав. \**takъ* . . . \**jakъ* при хетт. *takku* . . . (*i*)*akku*. Ср. в хеттских законах: *ták-ku LÚ.ULÙLÚ-an LÚ-an-na-ku SAL-na-ku URUHa-at-tu-ša-az ku-iš[-ki] LÚ URULu-ú-i-qa-aš ta-a-i-iz-zí* 'Если какой-нибудь лувиец человека из Хаттусаса — будь то мужчина или женщина — обокрадет. . .' (§ 19A, 45—46). Такое же сходство обнаруживается и по отношению к коррелятивной (вторая в конструкции, предполагающая наличие антецедента) частице \**to* в раннеславянских юридических текстах и *ta-* в хеттских законах, ср., например: *ták-ku-iš LÚ-iš ú-e-mi-qa-zi t u - u š ku-en-zi* 'Если муж их найдет, то (хетт. *t[al]-*) их убьет' (§ 197, 8—9). Хеттские и славянские конструкции этого рода объединены еще и тем, что элемент *ta*, *to* сохраняет следы своего происхождения из индоевропейского указательного местоимения. Поэтому указанная коррелятивная частица совмещает в себе функцию указания на объект с чисто синтаксической функцией. В известной степени то же относится и к антецеденту, который может совмещать те же функции. Ср. с этой точки зрения уже упоминавшийся пример из Договора 1229 г.: Аще к оторый товар възмет Русин у Немчича. . . , тъи товар не ворочается (21) при типологически более ранней

схеме «Который товар . . . , то товар не ворочается»<sup>8</sup>.

Подобная аморфность значений антecedента и коррелятивная частица, объясняющая разную их реализацию в разных текстах, дает основания для предположений, относящихся к еще более раннему этапу правовых формулировок. Почти постоянное совпадение антecedента с вопросительным местоимением позволяет высказать мнение об отражении в рассмотренной двучленной рамочной конструкции правовых текстов более древней структуры, состоящей из вопроса («кто?», «который?», «что?», «как?» и т. п.) и ответа на него<sup>9</sup>, знаком которого является коррелятивная частица. Это предположение вытекает не только из синтаксической реконструкции обычных правовых утверждений, но и из наших знаний о процедуре суда (судебного разбирательства), строящегося как серия вопросов и ответов, имеющая целью установление истины<sup>10</sup>. Эти черты сохранены в юридической процедуре вплоть до настоящего времени. При предположении вопросо-ответного характера судебного разбирательства в древней индоевропейской традиции получают свое объяснение иначе непонятные значения некоторых ключевых слов всей системы права. Так, термин древнеримского права *sons* 'виновный' (причастие от глагола *esse* 'быть', 3-е л. мн. ч. *sont-*, *sunt-*, ср. др.-исл. *sannr*) можно понять в рамках элементарной ситуации судебного диалога: \**q<sup>u</sup>is esti?* — *so esti* 'кто есть? . . . — тот есть'<sup>11</sup>, где при трансформации личной формы глагола в причастие и получается *sons* (тот, т. е. виновный, — > 'виновный'). Славянские данные языка права в известной степени подтверждают такую реконструкцию. Так, рус. *сущий* (из

<sup>8</sup> Следует заметить, что сама рамка типа «Если. . . , то. . . » хорошо известна в самых разных традициях, в частности в древнейших правовых текстах. Ср. позднешумерские законы Ур-Нammu (конец III тысячелетия до н. э.), Законы из Эшнунны (XX в. до н. э.), Законы Хаммурапи (XVIII в. до н. э.), среднеассирийские законы из Ашшура (2-я полов. II тысячелетия до н. э.) и т. п. Заслуживает внимания сама связь подобной единой конструкции с идеей свода законов, возникшей, видимо, именно в Древнем Двуречье; иначе — в Древнем Египте, Индии (ср. «Законы Ману» или «Законы Нарады»), Китае.

<sup>9</sup> Иногда можно предполагать целую серию вопросов, за которой следует серия ответов. Ср., например: А будеть к то кому чѣмъ долженъ покабаламъ. . . и такимъ должникомъ. . . давать срокъ (Улож. Алекс. Мих.) и т. д.

<sup>10</sup> Такая процедура сохраняется (иногда очень отчетливо) в поздних и вторичных правовых текстах. Ср. в польской традиции (*«Ortyle Magdeburskie»*): *Pytaliſe nas o prawo tymi ſłowy. . . Na to my. . . mowimy prawo. . .* (серийно) или у южных славян: И кто прѣда сына оу дворъ и оупроси та царь: вѣровати ли га кю, и рече: вѣруи, колико и мене. . . (Законник Степана Душана) или: Още ако ки пита никога пред двором на полачи и рече: е тако воля ни? вола пита од нега никога згрешенъ. . . (Закон Винодольский) и т. д.

<sup>11</sup> См.: *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964, с. 169. Ср. также о лат. *sons*: *Watkins C. Studies. . .* Ср. также архаичную латинскую формулу из Варрона: *antique fere formula utuntur, cum empator dixit; Tanti sunt mi emptae (sc. ques)? et ille respondit: Sunt.*

церковнославянского) по отношению к правде (*сущая правда*), которое родственно лат. *sons*,ср. рус. *суть*<sup>12</sup> < \**sonti*, может в конечном счете объясняться из такой же диалогической схемы: «является ли это сущим? (есть ли это?)» — «это сущее (т. е. есть)», откуда — «истина». Тот факт, что в качестве антецедента в правовых текстах оказываются *если*, *ли*, *или*, *коли* и т. п., с одной стороны, и формы глагола *быть* (*будет*<sup>13</sup> и правртивившееся в союз *буде*) — с другой, указывает на следы вопросительной конструкции с участием глагола *быть* (*есть*) и в славянской юридической традиции. Вместе с тем другой пример юридического использования глагола *быть* представляют термины имущественного характера, ср. рус. *диал. есть* 'достаток, богатство, наличность', *éстье, éсьти* 'вещи из приданого' (*ес্তевбй, éстный, éственый, есьтевик* о зажиточном человеке), *éстино* 'есть, имеется' и 'точно, подлинно, действительно' (СРНГ, вып. 9, 1972, с. 42—44). Естественно, что примеры такого рода отсылают к другому ключевому слову правовых текстов — *истец*. Ср.: Искавше ли послуха, не налѣзутъ, а и ст ц я начнетъ головою клепати... Простр. Русск. Правда 17; А и своего города в чюкю землю свода нѣтуть, — то и ст ц ю лица взяти. Там же, 35 (ср. также 31, 32, 42, 81). Характерное в этих и подобных им примерах местоположение слова *истец* сразу вслед за коррелятивной частицей (ср. *то истец* > *тот истец*)<sup>14</sup> по аналогии с предыдущими случаями дает основание считать, что *истец* (от *ист-*) в текстах более ранней эпохи мог пониматься как объект, указывающий на тождество ('тот самый', 'именно тот'), и даже как сама коррелятивная частица. О том же говорит часто встречающееся в правовых текстах слово *исто, истое, истина, исцеово* в значении 'деньги, товар, имущество, богатство'. Ср.: аже кто возметь два рѣза, то то ему и ст о; паки ли возметь три рѣзы, то и ст а ему не взяти. Простр. Русск. Правда 48; а что срѣзить товаромъ тѣмъ ли пристить, то то ему собѣ, а и стый т о в а р воротить имъ... Там же, 93<sup>15</sup>. Такие употребления слова *исто* и под. соотносят его с местоименными формами типа лат. *iste* (ср. родовые различия в *ist*, *истец*; *исто, истое; истина*), также функционирующего

<sup>12</sup> Ср. русские пословицы типа: *Где с у д, там и с у т ь* (сугубничество) или *С у д и п о с у т и* (Даль).

<sup>13</sup> Ср.: И ш бо у д е тъ кровавъ..., то... (Русск. Правда 2). Ср. также многочисленные в «Жилинской книге» конструкции, начинающиеся с *Jestli* и имеющие во второй части слова с корнем *jist*. См.: *Ryšánek F. Slovník k Žilinské knize. Bratislava*, 1954, с. 218.

<sup>14</sup> Не менее характерны, конечно, и примеры, где *истец* следует сразу же за антецедентом. Ср.: А которой и ст е ц ь... там (Пск. Судн. грам., 12); А которой и ст е ц на судней роте не станет, ино ему заплатит... (там же, 99); А которым и ст ц ы вымоут... заклад... а оу тек и с ц о в... (там же, 104) и др.

<sup>15</sup> Или, наоборот, с начальным положением этого слова: А и ст е ц приехав с приставом а возмет что за свой долг..., ино быть ему оу грабежу (Пск. Судн. грам., 67).

и в правовых текстах<sup>16</sup>. Следовательно, обычные для текстов этого рода значения слов *исто*, *истина*, *истец*, как и в случае с лат. *sons* или рус. *сущий*, возвращают нас к достаточно четко определяемому типу конструкций, связанных с вопросо-ответной процедурой, который и объясняет возникновение указанных выше более поздних значений этих слов.

Если на синтаксическом уровне к мнемотехническим средствам помимо двучленной рамки с местоименным элементом, отсылающим к антецеденту, относятся повторения однородных членов синтагмы (часто соединяемых союзами *и*, *или*, *либо* . . .), то на уровне лексической композиции отчасти сходную роль играет пронизывание всего фрагмента данного текста единым ключевым словом, задающим тему данного фрагмента<sup>17</sup>. Ср.: А которому дадут татя, а велят его пытати, и ему пытати татя . . . , а на кого тать что взговорит, и ему то скажати великому князю или судии, которой ему татя дастъ, а клепати ему татю не велети никого. А пошлют которого неделщика по татей, и ему татей имати безхитростно. . . А изымав ему татя, не отпустити, ни посула не взяти; а опришних ему людей не имати. Судебник 1497 г., 34<sup>18</sup> (ср. вариант этого приема, связанный с включением в игру словообразовательных возможностей: А на кого тать возмолвит, ино того опытати . . . ино его пытати в татбе . . . ино татины м речам не верити . . . Там же 14). Такой прием пронизывания текста ключевым словом, в ряде случаев в рифме, объединяет подобные правовые фрагменты с фольклорными, прежде всего с заговорами, где также имеет место повторение одного ключевого слова (ср. *белый*, *черный*, *камень* и т. п.). Вместе с тем для известного периода в истории старой русской письменности характерны такие ими

<sup>16</sup> Ср. такие примеры, как: *Rychtař jma jim g i s t y den dáti* (Žilinsk. Kn. 149a) (eupnen gewissen tag geben). В польском словарике правовых выражений XV в. (изданном А. Брюкиером, см.: Prace Filologiczne, V, 1899, с. 35—37) польск. *gysczina* (=jścićina) передается лат. *quiditas*, что также может рассматриваться как указание на местоименную природу этого славянского слова, еще отчетливо сохраняющуюся в правовых текстах. Интересны в этом отношении и гибридные случаи типа: *que provenire solet in i s t i s swod, narak* . . . (латинский правовой документ от 1187 г., Чехия).

<sup>17</sup> Здесь не рассматриваются важные в мнемотехническом отношении клише языка права, отмеченные и лексически, и синтаксически. Ср., например: *брати, взяти, имати, сочти, доправити, дати на комъ, имати с кого по чемъ, взмоловити на комъ, ити, вести ротѣ* (на роту, въ роту, къ ротѣ), *дати судъ, вина (вину), руки по комъ, дати на руцѣ, правъдѣ дати, лезти на поле, присужжати поле и т. п.* Встречаемость этих клише в правовых текстах обычно весьма велика.

<sup>18</sup> Ср. еще: А положит кто отпустну ю. . . ино та отпустна я не в отпустну ю, опроче тое отпустные, что государь своею рукою напишет, и та отпустна я грамота в отпустну ю (там же, 18; ср. 42). Отчасти то же и в южнославянских кодексах, ср.: Въсаке соудіе да соуде по законьнику, право, како писпе оу законьнику, а да не соуде по страху царства ми (Законник Степана Дуццана).

тации языка судопроизводства, в которых обнаруживаются части, построенные по принципу раешника (частичная метрическая упорядоченность, наличие рифм, в том числе глубоких, иногда почти каламбурных) и этим сближающиеся с развивающимися почти одновременно жанрами массовой низовой литературы типа лубка (иногда включающего сатиру на судопроизводство)<sup>19</sup>. Другой прием, отчасти сближающий правовые тексты с фольклорными, состоит в повторении однокоренных слов в пределах синтагмы, причем такое повторение обычно является формулой. Ср. в «Судебнике» 1497 г. (1): *Судити суд* в самом начале текста (при этом формула включена во фрагмент, для которого ключевым является слово *суд*, ср. далее: *А на с у д е быти... А посулов... от с у д а... не имати... А с у д о м не мстити...*)<sup>20</sup>, ср. уже в Пространной редакции «Русской Правды»: *Аже кто оубиет жену, то тъмь же с у д о м с у д и т и...* (83) и позже: *И владычию наместнику суд и на соуд не судить, ни судиям ни наместнику княжа суда не судите.* Пск. Судн. Грам. 2. (ср. 4, 6, 29, 103, 109, 113 и др.); *тъмъже с у д б о м с у д и т ь.* Уложение Алекс. Мих. и т. д. Существуют и другие примеры использования подобного приема, ср.: и ему того велети казнити смертною казнью. Судебник 1497 г., 39; *А кого послух послушествует.* Там же, 48; и приставом посулу не сулили в суду... Там же, 67; ср. послал послана сей правдъ. Догов. Смол. с Ригой; *правду правити, правежъ правити;* ср. в связи с употреблением слов этого корня в правовых текстах: *въ ню же м ъ р ж м ъ р и т е, въ з м ъ р и т ь с а в а мъ.* Матф. VII, 2, и т. п. Такого рода повторения могут объясняться или типологически (в частности, они в известной мере предопределены структурой самих правовых текстов), или как семантический архаизм, в конечном счете возводимый к индоевропейским источникам. Так, формула *суд судити* соответствует лат. *iudicium iudicare*, др.-англ. *dōm dēman*, ср.-н.-нем. *een oordeel oordeelen*, нем. *ein Urteil erteilen*, хетт. *ḥap-nessar ḫannai* с тем же значением. Можно думать, что общеиндоевропейским является здесь не только сам принцип повторения однокоренных слов с этими значениями, но и использование общего корня и.-е. \*dhē-. Помимо вышеуказанной формулы *dōm dēman*, возводимой к архаическому источнику<sup>21</sup>, можно сослаться на такие употребления этого корня, как др.-инд. *dhāman-* 'закон', др.-греч. *θεμός* 'древнее установление, священный закон' (ср. *ἀρχατος θεμός*, *οἱ τῶν θεμῶν θεμοί* и т. п.), *θέμις* 'установление, (обыч-

<sup>19</sup> Ср. такие произведения XVII в., как «Повесть о Шемякином суде», «Повесть о Ерше Ершовиче» (пародия, связанная с судопроизводством на основании «Уложения» царя Алексея Михайловича) и т. д., вплоть до Капниста и Сухово-Кобылина.

<sup>20</sup> Ср. в начале «Судебника» 1550 г.: *О с у д е как с у д и т и...* (1) или же: *А на с у д е й давати с у д (в)* (Судебник 1589 г.) и т. п.

<sup>21</sup> Ср.: *Hans E. P. Doom and do*; — *Lingua Posnaniensis*, 16, 1972, с. 87—90.

ное) право; закон, суд, судебное решение' и т. п., *θεμιστῶς* 'законно, справедливо' и т. п. Общеславянское название суда (ср. ст.-сл. *съдъ*, польск. *sąd*), возводимое к сочетанию этого корня с приставкой \*sq- (из и.-е. \*som-) в конечном счете перфектирующего значения, — и.-е. \*som-, \*dhē-, может быть непосредственно сопоставлено с др.-хетт. -šan.. .dai 'установить'; др.-инд. sam-dhā- 'кость, присоединять, примирять(ся), устанавливать соглашение' и т. п., sam-hitā 'соединение' и т. п. (ср., в частности, обозначение силы, поддерживающей мировой порядок), sam-dhi и др.; др.-греч. *σύνθεσία* 'соглашение, условие', *σύνθησις* 'соединение, складывание, условие, соглашение', *σύνθημα* 'соглашение, условие', ср. многообразие юридических значений в др.-греч. *σύντηθημα* 'поручать, доверять, вверять, обусловливать, договариваться' (ср. *συνθέσαι εἰρήνην* 'заключить мир'), биться об заклад' и т. п.; лит. *sam-*das 'наем, аренда', *samdyti* 'нанимать' и др. Отражением того же индоевропейского корня \*dhē- являются слав. \*dělo, \*dělati, уже в ранних текстах обладающие юридическими значениями. Характерно, что эти два слова также образуют *figura etymologica*, встречаемую в языке права (ср.: государевы всакие дѣла дѣлать всѣмъ вѣмѣсте; дѣлать всакие государевы дѣла. Уложение Алекс. Мих. <sup>22</sup>); вместе с тем слова этого корня разными способами вступают в соединение со словом *суд*, ср. формулу *суд да дело*<sup>23</sup> или такие примеры, как *судомъ судить, и расправа дѣлать, въ соудныхъ дѣлехъ*. Уложение Алекс. Мих. и т. п. (само слово *дело* обладало четко выраженными юридическими значениями, ср.: Кто розбои учинилъ, тому дати вина по его дѣлу. Грам. рижан к кн. Мих. Конст., ок. 1300 г., *судебное дело* и др.).

Другая формула, в которой участвуют слова с корнем *суд-*, объединяет *судить* и *рядить*, ср.: Он и судит, и рядит; Некому судить, ни рядить; Судить, ни рядить не умеет и др. (Даль). Др.-рус. *рядити(ся)* 'заключать договор (условие)' и *рядъ* 'договор' обычны в старых правовых текстах. Ср.: поиметь робу без ряда, поиметь ли с рядомъ, то како ся будетъ рядилъ, на том же стоить. Простр. Русск. Правда 103 (ср. 104); . . . то послухи ему ставити, како ся будетъ рядилъ. Там же 46; тяжу урядити. Догов. Смол. с Ригой 1229 г. Параллелизм *судить* и *рядить* находит продолжение в паре *судница* (ср. Пск. Судебн. Грам. 82) и *рядница* (там же 32, 38)<sup>24</sup>. Сочетание *судить* и *рядить*, скрепленное на звуковом уровне рифмой, семантически связано как разбирательство некоего (судебного) дела и вывод из него, т. е. принятие решения, заключение договора и т. д. В этом смысле эта

<sup>22</sup> Ср. там же (в разделе «О суде»): *расправа дѣлать*.

<sup>23</sup> Ср. сходную формулу: *слово и дело* (государевы).

<sup>24</sup> Ср. *рядница* 'рядный договор, запись', *ряднѣе* 'деньги на свадьбу с жениха', *рядович*, *рядской староста* и т. п. Ср. частое соподчинение слов этих двух корней и в западнославянских правовых текстах: ст.-чеш. *sýd...* řád, ст.-польск. *sąd...* g rád- и т. п. (ср. тексты судебных записок и рот).

формула описывает основные этапы процесса установления виновности-невиновности. Не исключено, однако, что в более отдаленные эпохи эти два слова могли быть связаны даже этимологически. Возможно, что в праслав. \*rēdъ (ср. лит. rindà, rai-dùs и т. п.) следует выделить тот же элемент \*dъ, что и в праслав. \*sqdъ, также восходящий к \*dh(ē). Тогда в первой части можно было бы видеть элемент, сопоставимый с др.-исл. rím 'счет', др.-ирл. rím 'число', тох. В ýärt 'мера'; из других форм с назальным элементом ср. др.-греч. ἀρμός 'связь', ἀρμοία 'связь, согласие, соответствие'. Из примеров без этого элемента, но очень важных как с семантической точки зрения, так и ввиду употребления их в «предправовых» текстах, особого внимания заслуживают др.-инд. rtá-, о законе, управляющем и вселенной, и сферой человеческих отношений<sup>25</sup> (ср. rtá- 'правый', а также авест. aša- (=ARTA) 'справедливое, истинное', др.-перс. arta- 'закон, право, священное право') и лат. ritus 'обряд, обычай'. В более широкой перспективе должно быть учтено и др.-греч. ἀρμός 'связь, союз, дружба', соотнесенное с θεόμος (см. выше), ср. также ἀριθμός 'число, счет' (ср. числовой ряд). Если высказанные соображения окажутся справедливыми, то в юридических терминах ряд, рядить, орудие<sup>26</sup> (к \*rēd-: \*rēd-) обнаруживается глубокий архаизм, отсылающий нас к мифоэтической концепции универсального закона. По-видимому, уже в индоевропейском корень \*dhē- означал одно из самых кардинальных действий по устроению мира во всех его аспектах, введение определенного порядка, что и отражается в описанных употреблениях праслав. \*sqdъ, \*rēdъ/\*(o)rēd-, \*dēlo, \*dēti (ср. такие номотетические и ономотетические употребления, как праслав. \*jympē dēti и под.). Нужно думать, что в сходном смысле в индоевропейском (и позже в праславянском) употребляются слова с корнем \*stā-, в том числе праслав. \*stav-. Не случайно, что именно этот корень обозначает и само действие учреждения, и сам закон. Ср.: Преставися князь Ярославъ, иже Правду устави Судебник. Псковск. 1-я летоп. (1054 г.); Както ныне новую правду ставиши... Грам. Рижск. ок. 1300 г.; Ико же Ярославъ соудиль, тако же и сынове юго уставиша. Русск. Правда; Правда о установлене Роуськои земли... Русск. Правда (ср.польск. prawa ustawiona. Statut Wislicki и др.); ср. др.-рус. уставъ 'законы, совокупность законов, правило, распорядок, распоряжение, постановление, мерило' и т. д. (ср. ставило 'мера' и Мѣрило правъдное<sup>27</sup>, ки звѣсъ истинный, ср. также мѣрило и мѣра

<sup>25</sup> По совокупности значений др.-инд. rtá- ближе всего слав. \*zakonъ, слово, используемое и для обозначения свода юридических правил, обычая. Ср.: Законъ судный людемъ, законы и в раннем славянском праве и т. п.

<sup>26</sup> Ср. др.-рус. орудие 'судебное дело', ср. польск. orędnictwo 'извещение, поручение', orędować 'ходатайствовать, выполнять поручение'.

<sup>27</sup> Измерение как аналог права находит многочисленные параллели, в част-

как обозначение весов<sup>28</sup>); естественно, что слова этого корня широко представлены и в других славянских правовых текстах, ср. ст.-польск. *zastawa* 'fiscatio, zaklad' (постоянно в польских ротах из «Судейских книг»)<sup>29</sup>, слвц. *ustaviti* (ср. Má-li člověk jednoho v stavi t i před právo... a umřel by ten muž, má jeho umrlého postaviti Жилинск. кн. 146а и др.), рус. *постановление* и т. д. Другой тип обозначения закона и его учреждения предполагает использование корня и.-е. \*legh-, праслав. \*leg-, \*log-/ \*lož-. Ср. рус. *уложение*, др.-рус. *уложити* (... что же о уложать его оу вину... Долгов. грам. 1349 г.; Вся законы ихъ; уложеныя... Ярл. Узб. 1315 г., ср. употребление глагола  *положити* в «Русской Правде» типа: то 40 гривенъ положити за нь и т. п.; а то есмы положил и в исправу. Догов. грам. кн. Мих. Яросл. 1318 г.; ... да положить на них оброкъ. Уст. грам. Вас. Дмитр. 1392 г. и др.), польск. *ułożenie*, *ułożyć*, слвц. *uložiti* (ср.: A v tom sme my jím vložili den k právu. Жилинск. кн. 100а) и др. Ср. также  *положеное* 'определенное по суду', как правило, в формуле  *суженое, положеное* (ср. *судити, положити*), вплоть до формул разрешения и запрета:  *положено, неположено*. Такое употребление этого корня совпадает с др.-исл. *lög* 'закон, государственная общность', др.-сакс. *gi-lagu* 'определение, судьба, жребий' (ср. нем. *ein Gesetz auslegen*), ср. фонетический вариант той же индоевропейской основы и лат. *lēx* 'закон' (ср. *lectio* 'чтение; выбор, избрание' (*judicium*), *lego* 'читать; собирать' и т. п.)<sup>30</sup>. Точно так же и для отмеченных выше юридических употреблений слав. \*stav- находятся убедительные соответствия, ср. гор. *stava* 'суд', *stava* 'судья', др.-в.-нем., ср.-в.-нем. *stouwen* 'подавать жалобу', ср. др.-в.-нем. *stūatago* 'день суда'; лат. *statuo* 'устанавливать, определять, выносить определение, решать', *status* 'гражданское состояние' и т. п.; др.-греч. ἑστηκε в таких значениях,

ности в индоевропейских традициях, ср. италийск. *med-* (оск. *med-dix*, лат. *modus* и т. д.), см.: *Benveniste E. Vocabulaire...*, II. Эта связь значений объясняется, с одной стороны, очень ранними правовыми осмыслениями процедуры взвешивания (как варианта ритуальных измерений), типологические параллели которым обнаруживаются уже в древневосточной традиции начиная с шумерской (весы Бога Солнца, ср. позже весы Фемиды) и продолжаются вплоть до нового времени (ср. шекспировское *«Measure for Measure»* и традиционный мотив взвешивания, использованный в связи с Шейлоком), а с другой стороны, универсальной идеей обмена, регулирующей и «предправовые» отношения. Существенно, что сам корень слова, обозначающего обмен, совпадает с корнем, обозначающим процедуру измерения.

<sup>28</sup> Мѣсто судюю прежде оуготовасѧ му и мѣрило и ставило (Мерило праведн.); Еще искони оустановлено юсть... всѧкъ мѣрила... и з вѣсъ ставила... (Церк., уст. Влад.) и т. п.

<sup>29</sup> Ср. с.-хорв. *zastava* 'заклад, залог, заложенная земля' (Полицкий статут 8, 9, 47, 59b, 74c и др.).

<sup>30</sup> Ср. использование этого же корня в *religio, religare*. Характерен параллелизм *lēx* : *rēx, lēgo* : *rēgo*, который, в частности, может объяснить некоторую фонетическую аномалию в отражении и.-е. \*legh- в латинском.

как 'устанавливать, учреждать (ср. ἡθεά τε καὶ νόμος), назначать, провозглашать, определять' и т. п. Ср. возможное объяснение др.-греч. θέμι-στ-ες(-ος) из θέμι- и -στα, т. е. из сочетания и.-е. \*dhē- и \*stā- (ср. выше о типологически близком сочетании с продолжением и.-е. \*dhē- в праслав. \*rēd-, \*rōd-). Предполагаемое этими правовыми терминами абстрактное значение корней \*dhē-, \*stā- и \*legh- можно считать не менее древними, чем конкретные понятия 'ставить' ('класть'), 'стоять', 'лежать'; во всяком случае за абстрактными употреблениями этих слов преимущество в том, что они описывают универсальные ситуации<sup>31</sup>.

Все три указанных глагольных корня могут выступать в связи с наиболее общим обозначением права и закона, выражаемым продолжениями праслав. \*pravo. Ср.: Право, брате, еже есмь азъ дѣялъ... Жит. Андр. Юрод. XIII, 69; ср. выше Правда о уставлена и изложена правилѣа. Ефр. Кормч. Халк. I; И сю правду положи. Исход XXI, 1; и т. д. Характерно, что *ставити* и *правити*<sup>32</sup> образуют семантическую и словообразовательную пару, близкую к *судить* и *рядить*. Корень \*prav- помимо \*pravo и \*praviti отражен во многих других правовых терминах, ср. *правда* 'обет, обещание; присяга; повеление, заповедь; постановление, правило; свод правил, законы; договор, право, права (ср.: и спра- вити Правда. Новгор. 1-я летоп. 6737 г.); оправдание, суд; судебные издергки; свидетель; доказательство' и т. п.; *правежъ* 'взыскивание по приговору суда', *правило* 'постановление, устав', *правъ*, *правый*, *правильный* (ср. *неправъ*, *неправый*, *неправильный*), *справедливый*, *доправити*, *правити* 'присягать, клясться' и т. п.<sup>33</sup> Эти правовые термины позволяют определить место таких представлений в общей кар-

<sup>31</sup> Отчасти это относится и к корню \*sēd-, \*sed-; ср. этимологические фигуры типа В судѣ сидѣли (Новг. Суди. Грам. 1471 г.) (ср. *судебное засѣданіе*); siedzia siedzie na sąd (Statut Wislicki, II, 14) (O siedziach ustawenie); kteříz v súdě sedí. . . (Rád práva zemského 66) (XIV в.) и т. п. Ср. лат. *praeses* 'председательствующий' или нем. *Ge-setz*, что образует параллель со сходными употреблениями и.-е. \*legh- (в частности, в латинском).

<sup>32</sup> Ср. *правити* 'судить' (А то Богови правити. Ипат. летоп. 6656 г.), 'разбирать тяжбу (Где будетъ кто кому виноватъ, в томъ городе пра- вити... Грам. Герд. кн. Пол. 1264 г.); 'приводить в исполнение приговор суда' (А будеть правежъ... ино правитъ... приставъ. Жал. грам. Дан. Бор. 1410—1417), 'взыскивать' (правя на людѣхъ... сто рублеи. Псковск. 1-я летоп. 7049 г.) и т. п.

<sup>33</sup> Ср. такие клише, как *дати правъда* (*правъду*) (ср. частое в чешских правовых текстах *právo dátí*), *держати правъдѣ*, *затеряты правъду*, *по правъдѣ*, *вылезити на правъду*, *судити право*, *сказати по праву*, *право по души* ('по совести'), *правая грамота*, *слово (отѣкть)* *правити*, *доправити на комъ и т. п.*, не говоря о многочисленных сложных словах с элементом *прав-*; несмотря на возможность калькирования, заслуживают внимания такие образования, как *праводѣканіе*, *правомѣрие*, *правоподаніе*, *правосудиѣ*, *правословиѣ*, *правоѣрие*, *правоистинъный*, *правонарушение* и т. п.

тине мира у древних славян, определяемой двоичными оппозициями типа \*прачъ: \*не-прачъ, \*прачъ: \*лѣвъ, \*прачъ: \*кривъ, \*прачъда: \*кривъда. Все вторые члены этих оппозиций (\*прачъ, \*лѣвъ, \*кривъ и т. п.) синонимичны друг другу. Все они обозначают уклонение от порядка, нормы, закона, имеющих универсальное применение, тогда как \*прачъ имеет отношение к сфере упорядоченного, законосообразного, определяющего функционирование и самого мира (природный аспект) и отношений в обществе (социально-правовой аспект). Специфика славянской традиции по сравнению с другими близкородственными как раз и заключается в архаичной нерасчлененности понятий права, справедливости и закона (при лат. *ius* : *lēx*, фр. *droit* : *loi*, англ. *right* : *law*, нем. *Recht* : *Gesetz* и т. п.). Право, правда, справедливость, как и воплощающий их закон, имеют божественное происхождение, исходят от Бога, ср.: *божья правда* (ср. формулу: а тот став скажет как право пред Богом. Пск. Судн. грам. 20, стр. 55 и др.), *божий суд*<sup>34</sup>. Подтверждение этому можно видеть в оппозиции *бог* — *убог* (небог), которая может толковаться как особый способ выражения отмеченных выше оппозиций. В известной степени *убог* обозначает не только лишенность богатства (нищету), но и лишенность даваемых Богом (богатством, долей) прав. Ср.: Аще ли буду *богатъ*, гордость восприму; аще ли буду *убогъ*, помышляю на татьбу и на разбой. Слово Дан. Заточн. (ср. в качестве параллели: *истинаке-истина* в правовом и имущественном значении, ср. также *добро*). Противопоставление в «Шемякином суде» богатого убогому, с одной стороны, продолжает указанный пример, а с другой соотносится с древним архетипом сюжетной схемы, построенной на противопоставлении двух олицетворений — Правды (Доли) и Неправды (Кривды, Недоли)<sup>35</sup>. Известный фрагмент из «Голубиной Книги» о поединке Правды с Кривдой<sup>36</sup>, ко-

<sup>34</sup> Это обозначение долгое время сохраняется в связи с весьма архаичной формой судебного испытания — ордалией. В древних индоевропейских традициях (и, в частности, в славянской) ордалия предполагает испытание водой (ср. чеш. *Právo voda*. Кн. *Rožmberská*, 155 или *do vody břísti*. *Řád práva zemského*, 68 — об ордалии) или огнем, которые тем самым также включаются в «предправовую» сферу. Сама оппозиция огонь — вода играет значительную роль в древнеславянской модели мира и определяет ряд ритуалов (ср. купальские праздники). Любопытно определение правды в такой загадке, как: В о г и е не горит, в в о д е не тонет и в земле не сгниет.

<sup>35</sup> Ср. древнеегипетский рассказ об ослеплении Правды Ложью и аналогичные рассказы о двух братьях — Хорошем и Плохом в других литературах Древнего Востока, а позже — у Гесиода и др., не говоря уж о ведущем противопоставлении Истины и Лжи в иранском мифоэтическом и «предправовом» сознании (ср., например, древнеперсидские клинописные тексты).

<sup>36</sup> Термины этого корня весьма употребительны в южнославянских правовых текстах, ср. *край* ‘виноватый’, *крайац* ‘преступник’, *крайина* ‘вина, преступление’, *крайво* ‘несправедливо’ (ср.: Аколи кто кому *крайвъ*, да га

ренящийся в соответствующих индо-иранских (и глубже — индоевропейских) источах, вместе с тем поддержан многими собственно славянскими свидетельствами. Архаичность языкового выражения той же оппозиции в форме \*bogъ: \*u-bogъ (\*пебогъ) подтверждается такими структурными параллелями, как хетт. *šiu-*: a-*šiu-quant-*, др.-греч. θεός : ἀ-θεος, др.-инд. deva: a-deva-, bhaga : a-bhaga и т. п. Мифологические основы «права» особенно ярко подтверждаются персонификациями из этой сферы, ср. *Суд*, *Усуд* в сербской сказке, с.-хорв. *сујеница*, *сојеница* (ср. *усуд*), чеш. sudice, рус. *судинушка* (в плачах, ср. *Судьба*) и т. п. В этой же связи показательны конструкции, передающие идею идеального суда, ср.: ино тому посаднику крест целовати на том, что ему судит право..., а городскими кунами не корыстоватися, а судом не мстится..., а праваго не погубити, а виноватого не жаловати. Пск. Судн. грам. З; ... а судит прямо по крестному целованию... Там же, 5; и др. Типологически такие формулы соотносятся с др.-греч. примерами типа δίκην ιδύντατα εἴποι Ил. XVIII, 508; этому понятию прямого суда противостоят формулы, обозначающие несправедливый суд, ср. δίκην ἀδίκου δικάσαι 'неправильно разбирать тяжбу'. Учитывая указанные славянские примеры и аналогичные им случаи в других традициях, как и тот факт, что слово *правый* обозначает и соответствующую руку и невиновного (т. е. правого<sup>37</sup>, можно предположить, что различие правой и левой руки служило способом классификации и в юридической практике (правый — виновный) и, может быть, даже использовалось в реальной процедуре суда (ср., например, роль правого и левого в гаданиях у балтийских славян и т. п.). Само соотнесение, с одной стороны, \*грачъ, с другой — \*krivъ, \*lēvъ убеждает в необходимости выделения древнего корневого элемента \*гра-, который, по всей вероятности, связан с и.-е. \*reg-/ \*rog- как указанием некоей границы, предела (ср. др.-греч. πέρας), эталона, а отсюда, согласно Л. Р. Пальмеру, и судьбы, доли (ср. τὸ πεπρωμένον), иногда персонифицируемой, как и у славян, ср. Пόρος, имя «древнейшего из богов». Использование слов этого корня в более или менее сходных значениях известно и в других языках, ср. согд. р'г-, парф. -рг из иран. \*rāg- 'часть, доля', ср. я gnobsk. róga 'часть, пора', rógau 'на-

ние соудомъ и правдомъ по закону. Законник Стефана Душана; Та осуд крица плати... Закон Винодольский; Ср. Полицкий статут 13, 22, 39а, 43, 62, 66, 67с, 70б, 76, 79, 84д, 105 и т. п.), *крайда*, *крайница*, *крайти* (в частности, 'обвинять, винить') (ср. *крайнични законик* 'уголовный кодекс') и др.; словен. kriv 'кривой' и 'виноватый' (ср. kriva prisega 'клятвопреступление', ро krivem prisecí), krivda, krivica, krivec, kriviti и т. д.; макед. *край*, *крайда*, *крайина*, *крайница*, *крайви* (ср. *крайлево* 'кос-как, с грехом пополам': \*kriv-&\*lēv-); болг. *край*, *крайда*, *крайво*, *крайчо* и др.

<sup>37</sup> Тогда как связь левой руки и виновного выражена в менее прямой форме, ср. с.-хорв. *крайв* 'левый' и 'виновный'. Тем не менее сама идея такого соотнесения несомненна.

ружная часть помещения' (ср. *опора*, *подпорка*, *подпирать* и т. д.), рус. *пора* 'урочное время', *порный*, *порной* 'зрелый', *порато* 'сильно', *порить* 'толстеть, увеличиваться'. Если приведенные сопоставления верны, то оказывается возможным понимание права, правды как некоей опоры. К этому же корню относится и другой термин права *пря*, *прѣти* (*пърж*), обозначавший спор, скору.

Выход за предел, обозначаемый в конечном счете корнем \*reg-, и есть преступление, нарушение права. Ср.: Кто преступить си правила. Церк. уст. Влад.; Аще ли же кто... приступить се..., да будеть клать от Бога и от Перуна, яко преступи свою клатву. Догов. Игоря 945 г.; А кто сии радъ преступить... Ряд. зап. 1299 г. и др.; Не рушаще твоихъ оуставъ... Иллар. Зак. благод.; А хто сю грамоту иметь рушити, судить ему Богъ... Духовн. Сим. 1353 г.; Аще кто оуставъ мои пороушки..., соудивше, казнити ихъ по законоу. Церк. уст. Яросл. 1054 г.; Не могоу пороушки радиу... Ипат. летоп. 6796 г.; А хто мое слово пороушки... Грам. Мст. Дан. 1289; А кто сеи дѣль пороши... Новг. дан. XV в. и т. п. (ср. соответственно *прѣступникъ* и *нарушитель*).

Если проанализированный выше корень \*stā- относился к учреждению, основанию права (закона), то другой вариант того же корня (\*stam-p-, каузативное образование от \*stā-) в сочетании с префиксом \*reg- обозначал нарушение этого права (закона). В данном случае показательно использование одного и того же корня в этих двух правовых понятиях (а также само противопоставление префиксальной и лишней префикса форм как технических терминов права). Вместе с тем сам корень \*stā- в юридическом употреблении соотносится с использованием его для обозначения космогонической и духовной (ср. хетт. ištananza- 'душа', др.-греч. ἐπιστήμη, нем. Verstand и т. п.) деятельности. По-видимому, можно реконструировать связи с древними индоевропейскими терминами права и для глагола \*rušiti: и.е. \*geu-, расширенное или с помощью -s-, или с помощью -r- с инфиксом (ср. выше о \*stam-p-), ср. лат. rumpere. Еще важнее, что эти термины могли входить в типологически сходные контексты, ср. лат. ūsurpāre, предполагающее \*ūsum rumpēre, и слав. \*pravo rušiti (ср. *правонарушение*, *правонарушитель* и т. п.).

Восстановление ущерба, недостачи, изменения status quo при правонарушении достигалось с помощью определенной системы наказания, построенной по иерархическому принципу. Ср. такие термины, как \*vira, \*pěnja, \*golv-, \*тыzda, \*kara, \*kazнь (\*на-kaz-atи и т. п.) и др. Общее понятие правонарушения конкретизировалось в целом ряде специальных обозначений нарушения права и соответственно в разных категориях правонарушителей. Некоторые из них имеют глубокие индоевропейские корни и входят в типологически сходные правовые контексты.

Особенно показательно обозначение вора и воровства \*татъ, которое представлено как в разных славянских языках, так и в ряде древних индоевропейских. Сходство распространяется не только на корень, но и на суффикс, ср. др.-ирл. *táid* 'вор', хетт. *tajazel* 'воровство' (из \*-tel-), ср. др.-греч. τητάω, дорийск. τάτάω 'лишаю'. Понятие татьбы, с одной стороны, противопоставлено понятию разбоя, грабежа (ср.: А кто кого утяжет в татьбе с поличным, или в розбое, или в грабежи... Новгор. Судн. грам. XV в.; А кому будет дело... от татбе, и о розбое, и о грабежи... Там же; А на татии и на разбойники же, чего истец не возмет... Пск. Судн. Грам.; помышляю на татбу и на разбои. Сл. Дан. Заточн. 231; и т. д.), что соответствует оппозиции *furtum* — *rapina* в древнем римском праве, а с другой стороны, общее понятие татьбы дифференцируется в зависимости от ряда конкретных ограничений. Так, различению дневной иочной кражи (*si luci, si nocte; fur nocturnus*) соответствует сходное деление в славянском праве. Ср.: Азъ наполна<sup>х</sup> татьбины дньныа и татбины нощныа. Быт. XXXI, 39 (правда, в переводе). Еще более удивительно, что основоположная и для раннего римского законодательства против воров оппозиция *furtum manifestum* — *furtum nec manifestum* воспроизводится и в славянском праве. Ср.: Д в а же образа еста татьбы: ово убо яко же глтъса явлена татьба, ово же не явленая татьба. Новгор. Кормчая 1280 г. (ср. там же: Явленый же тать есть, егда со украденымъ добыткомъ... и еще не донесъ украденаго... аще же отнесе и положи... и потомъ и аще ять будетъ с тако-вымъ, и есть явленый тать, лист. 323). Различие места поимки татя (в доме, во дворе, в поле, ср. соответствующую оппозицию не только в праве, но и в мифологии и на уровне правил поведения) существенно для раннего славянского права, как и для римского права. В перечне нарушений закона на последнем месте идет убийство (ср.: О татбѣ и о розбѣ, и о грабежи, и о по-жозѣ, и о головщинѣ. Новгор. Судн. Грам. 1471 г.<sup>38</sup>), обозначаемое, как и убийца, убитый и плата за убийство, корнем \*golv- (голов-). Ср.: Аже кто оубиеть княжа моужа въ разбои, а головника не ищуть, то вирьною платить въ чьеи върви голова лежить. Русск. Правда; А где очинится головщина, а доличат его головника, ино князю на головникох взять рубль продажи. Пск. Судн. грам.; Да очинить на головшину, ино быти ему самому в головщинѣ. Там же; и т. п.; ср. укр.-карп. голованити 'убить' и т. д. Само обозначение убийцы через слово *голова* весьма архаично и отмечено в целом ряде традиций, в частности в связи со способом наказания за убийство. Уже в древнейших мифопоэтических традициях жертва приурочи-

<sup>38</sup> Но и: О доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое дело... (Судебн., 1497 г., 8) и др.

вается к мировому дереву (ср. висение на дереве Одина в скандинавской мифологии). Есть все основания считать, что в древнем индоевропейском праве наказываемого убийцу вешали также на дереве, последующим образом которого и является виселица. Др.-англ. *wulfhēafodtrēo* (в загадке; букв. 'дерево волчьей головы') выступает в качестве названия виселицы. В этом смысле неслучайно обозначение пойманного с поличным вора словом *волк*<sup>39</sup> в русских диалектах (ср. у Мельникова-Печерского, где описывается церемония наказания вора, облеченного в шкуру украденного им животного, что находит многочисленные параллели, например, в хеттском обряде одевания в овечью шкуру молодых людей, которые кричат по-волчьи). Отмеченное выше германское обозначение виселицы выступает в качестве синонима др.-англ. *warhītrēo* 'дерево преступника-изгоя', ср. также др.-исл. *vargtrē* то же, а также 'волчье дерево', где *vargr* 'волк, изгой' родственно славянским словам со значением 'враг' (иногда и 'убийца', ср. слвц. *vrah*), 'ворожея', 'ворожить', которые также восходят к древним «предправовым» терминам, ср. хетт. *hurkel-* 'чудовищное преступление' (от *hurki-* 'колесо')<sup>40</sup>. То же юридическое представление об изгое преступнике (что и *vargr*) отражено в производных образованиях от глагола \**verg-*, обычно с приставками с отдельным значением<sup>41</sup>, в славянском праве. Ср. *изверг* (*извергать*), *отверженный* (*отвергать*), ср. *выверз* с несколько иным значением. Ср.: Ико и з врагомъ и з врагъ и песь неключимъ. Кормч. Моск. Дух. Акад. Ио. Пост. 67; . . . такового божественная правила извергаютъ и отлучаютъ. Грам. м. Кипр. Новг. 1392 г.; Отъ върженыихъ же лишати и вънѣшнаѧ чисти. Ефр. Кормч. Ант. 1; и т. п. Естественно предположение, что славянские продолжения \**vorg-* и \**verg-* для более ранней стадии могут быть сведены к единому исходному элементу.

Выше рассмотрены юридические термины раннего славянского права, имеющие наиболее общее значение и, как правило, находящие достоверные индоевропейские «предправовые» параллели<sup>42</sup>. Эти термины почти всегда принадлежат к сфере права

<sup>39</sup> Ср. *волк* как прозвище человека, незаконно вырубающего лес, и, возможно, как обозначение капкана, железного крюка на веревке и т. п. (СРНГ, вып. 5, 1970, с. 40), см. выше о виселице.

<sup>40</sup> См.: Jacoby M. Wargus, *vargr* 'Verbrecher', 'Wolf'. Eine Sprach- und rechtsgeschichtliche Untersuchung. Uppsala, 1974.

<sup>41</sup> К подобным образованиям относится и такое архаичное слово, как *изгой*, *изгойство*, и ряд других лексем, ср. *отродъ*, *выродок* (при *изверг рода*) и т. п.

<sup>42</sup> Из других подобных терминов ср. др.-рус. *ðългъ* 'долг, дань', *ðължникъ*, находящие соответствия, с одной стороны, в германском и кельтском (ср. гор. *dulgas* 'долг', *dulga-haitja* 'кредитор', др.-ирл. *dligid* 'долг, обязанность', ср. *dligim* 'заслуживаю'), с другой — в др.-иран. \**dra(n)g-*: *draxta* 'иметь долг, быть должным', ср. парф. *'ndrgnj-* ('*ndgruj-*', '*ndrxt*') 'признать виновным, осудить, приговорить', ср.-перс. *drang* 'виновность, ответственность', хорезм. (') *wtb̥sū* 'препоручать, вверять', и т. п. См.: *Периканы А. Г. Сасанидский Судебник. «Книга тысячи судебных решений»*

или его непосредственных мифоэтических истоков. Наряду с ними существуют достаточно многочисленные слова, часто выступающие в юридических текстах и к тому же обладающие собственным юридическим аспектом. Но вместе с тем эти слова не являются исключительно юридическими понятиями и относятся к описанию социального устройства у древних славян в разных его аспектах. Речь идет о терминологии общинно-родового членения, ср. такие термины, как \*mīgъ, \*vъgъvъ, \*obtjo-, \*rodъ, \*pledme, \*vъsъ, \*domъ, \*(po-)gostъ, \*svojъ, \*čudjъ и т. д., выступающие и как обозначение субъектов права; или такие слова, обозначающие социальный статус, имущественные и юридические характеристики, как \*ljudinъ, \*ogъvъ, \*mqъvъ, \*volstъ, \*čeledъ, \*nisiđъ, \*ubogъ и т. д.; или общие термины обмена, основного процесса, охватывающего циркуляцию услуг, имущества, членов коллектива, духовных ценностей и контролирующего функционирование данного коллектива: \*dati, \*darъ, \*danъ, \*daťja, \*měna, \*měga, \*měriti, \*vira, \*rěnja, \*tъstъ, \*věno, \*kupiti, \*gostъ, и др. (ср. также ряд брачных терминов, относящихся к видам брака, отличным от обобщенного обмена, например \*voditi ženq и т. п.). Эти термины, несомненно, входят и в славянскую терминологию права в той мере, в какой оно регулировало всю эту совокупность социальных отношений. Вместе с тем многие из этих терминов весьма архаичны и служили важными элементами языка описания древнеславянской модели мира.

---

MátavdānI i Hazár Dátaštān). Ереван, 1973, с. 469—474. Это ирано-славяно-европейское соответствие как бы суммирует рассмотренные выше случаи более частных ирано-славянских или европейско-славянских юридических параллелей.

## ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД СЛАВЯНО-РУССКОГО ДВУЯЗЫЧИЯ В РОССИИ

Вопрос о древнеславянском языке — общем литературном языке славянства, его эволюции, его локальных типах и их взаимодействии с народным языковым субстратом на различных исторических этапах принадлежит к существеннейшим вопросам славистики. Постановка этого вопроса на IV и V международных съездах славистов, а также широкое обсуждение проблемы формирования национальных славянских языков, развернувшееся в 60—70-х годах, значительно оживило исследования в этой области. Но в полной мере необходимость в определении всех вех и в исследовании всех деталей исторического существования и функционирования древнеславянского языка встала перед языковедами-славистами в связи с созданием серии исторических словарей славянских языков (древне- и среднерусского языка, староукраинского, старобелорусского, болгарского и т. д.) и словарей языка церковнославянского. Созданию словарей предшествует систематическое обследование и языковая квалификация его источников, вне зависимости от того, отберет ли словарь для описания только источники народной (национальной) письменности, отстранив книжно-славянскую традицию, или включит источники книжно-славянского характера в общий корпус описания как специальный тип<sup>1</sup>.

Именно в связи с созданием одного из исторических словарей — Словаря русского языка XVIII в. — возникла настоятельная потребность в осмыслении того, что представляют собою источники книжно-славянского языка XVIII в. (первой его трети) и каков рецензируемый ими языковой тип.

Первая треть XVIII в. — Петровская эпоха — в сфере языковой привлекала лингвистов прежде всего своей новизной. При периодизации истории русского языка языковые новшества петровской поры дали основание причислить эту порубежную эпоху к новому времени, ограничить ее язык от старорусского

<sup>1</sup> Ср. обсуждение вопроса об источниках словарей в ст.: Журавский И. О подготовке Словаря старого белорусского языка. — ВЯ, 1963, № 4; Журавський І. Про білоруський варіант церковнославянської мови. — Мовознавство, 1967, № 4; Мареш Ф. Проект подготовки Словаря церковнославянского языка. — ВЯ, 1966, № 5; Хамм Й. Сербская и хорватская редакция общеславянского литературного языка. — ВЯ, 1964, № 3; и др.

языка Московской поры, с которым он тем не менее связан множеством нитей. Акцент на новом — методически важный момент в построении периодизации: «Для целей периодизации всегда удобно подчеркивать признаки нового в переходной эпохе и до некоторой степени затушевывать ее связи с предыдущим периодом»<sup>2</sup>.

Но именно это обстоятельство определило то, что судьбы старой письменной традиции в России XVIII в. (книжно-славянский тип языка) в русистике изучены чрезвычайно слабо. Книжно-славянский язык этого времени в общих курсах истории литературного языка обобщается, как правило, по своим структурным и стилистическим характеристикам с московским книжно-славянским языком XVI—XVII вв.<sup>3</sup>, а состояние его определяется как кризисное, заставлявшее его отодвигаться на вторые и третьи роли, уступая место новому книжному языку на национальной основе.

Для более обстоятельного и конкретного исследования этого вопроса, важного и для славистики (построение истории древнеславянского языка позднего периода), и для русистики (выяснение роли церковнославянского языка в формировании русского литературного языка нового времени — проблема, получившая большую дискуссионную остроту), предстоит выяснить, как нам представляется, следующее. 1. Каковы сферы употребления книжно-славянского языка в Петровскую эпоху; как велик объем письменной (а главное — печатной) продукции на этом языке; кто писал и кто читал эти книги, т. е. какова социальная база этого языка; какова общественная реакция на этот язык современников и какие моменты идеологического порядка связывались с ним. 2. Каковы были нормы книжно-славянского языка и как соотносилась реальная практика пишущих с существующей кодификацией книжно-славянского языка (Грамматикой М. Смотрицкого, в частности); существовала ли вариативность в пределах книжно-славянского языка (юго-западная и московская традиции) и можно ли говорить о жанрово-стилистических модификациях в нем; могли ли говорить о эволюции этого языка в XVIII в. по отношению к предшествующей эпохе. 3. Каковы отношения книжно-славянского языка и языка русского, каковы контактные зоны этих языков в первой трети века и те последствия, которые обусловлены совместным функционированием обоих языков в пределах одной жанровой разновидности. 4. Чем отличается функционирование книжно-славянского языка в России в послепетров-

<sup>2</sup> Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (Х—середина XVIII в.). М., 1975, с. 270.

<sup>3</sup> Биноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938; ср. также: Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI—XVII в.). — В кн.: Славянское языкознание. V международный съезд славистов. М., 1963.

свое время — в пору сложения русского литературного языка на национальной основе и научной его регламентации (В. Адодуров, М. Ломоносов); как соотносятся стили нового языка с книжно-славянской традицией.

Постановка всех этих вопросов оправдана тем, что Петровская пора оставила нам чрезвычайно богатую письменность на книжно-славянском языке. Для этого времени характерно наличие весьма парадоксальной ситуации: ломка старого уклада и старых норм жизни, борьба с церковью, складывание начатков науки нового времени сочетаются с активизацией книжно-славянского языка и широким творчеством на нем. С другой стороны, Петровская эпоха — последний этап славяно-русского двуязычия в широкой сфере культурного общения, после которого функции книжно-славянского языка резко сокращаются до обслуживания специфических нужд церкви, и он вновь становится языком канонических книг и богослужения.

В пределах настоящего доклада мы сумеем остановиться лишь на некоторых из поставленных выше вопросов и, естественно, с той мерой полноты, которая доступна при современной разработке темы.

Начнем со сфер распространения книжно-славянского типа языка в Петровскую эпоху.

1. Первоначальной и исходной сферой применения этого языка была и остается сфера конфессиональная. Петровская пора — время активной деятельности видных церковных писателей, лиц духовных: Феофан Прокопович — вице-президент синода, архиепископ Новгородский; Гавриил Бужинский — иеромонах флота, протектор синода по делам школ и типографий; Стефан Яворский — местоблюститель патриаршего престола, затем — президент синода; Феофилакт Лопатинский — ректор Московской славяно-греко-латинской академии; Дмитрий Туптало — архиепископ Ростовский; Афанасий Холмогорский; Иов, архиепископ Новгородский; ученые монахи братья Лихуды и мн. др. Все это люди большой образованности, многие из них — выпускники Киево-Могилянской академии, польских и римских колледжей, побывавшие в Европе. Это богословы, философы, историки, знатоки классических языков и классической древности, писатели и переводчики, полемисты и ораторы, блиставшие на академических и церковных кафедрах.

Имя каждого из них связано с делом русского просвещения: Ф. Лопатинского — с Московской академией, Ф. Прокоповича — с духовными семинариями Петербурга и Новгорода; архиепископ Иов организовал славяно-греческую академию, школу переводчиков, епархиальные школы в Новгороде, Дмитрий Ростовский — школу в Ростове.

С именами этих деятелей связано значительное количество богословских, догматических, церковно-дидактических, полемических сочинений. В них разрабатывались такие темы,

как вопрос о преосуществлении (евхаристии), троичности божества («единица в троице») и связанные с этим обрядовые моменты: троеперстное крещение, трегубая аллилуя, заповеди блаженств и их толкование, вопрос о добровольном мученичестве, о поклонении иконам и иконоборчестве и т. д. Все эти вопросы не были схоластическими для современников Петра, они являлись предметом пристального внимания и страстной заинтересованности не только узкого круга духовных лиц (о богословских увлечениях своего круга Ф. Прокопович иронически писал: «Ныне все мы болеем теологией»). С названными вопросами связаны для той поры наиболее острые идеинные столкновения; в толковании их пролегал водораздел между сторонниками православия и католицизма, православия и протестантизма, между сторонниками новой (никонианской) церкви и раскольниками разных толков и сект. Здесь крылась возможность «претыканий» в делах веры, зерна раскола и ересей, которые умножались в Петровскую пору необычайно.

Общеизвестно, что в обществе, где господствует религиозная идеология, в религиозную оболочку облекаются острые социальные противоречия и политические конфликты современности. Причем за сходной формой выражения могут крыться интересы разных социальных групп и классов. Таковы были в это время оппозиция абсолютистским устремлениям Петра I старо-московской партии (боярство, крупное духовенство) и протест низов. Петр I боролся с церковью как политической силой, стремящейся к господству над светской властью («Священство выше царства» — выражал эту идею Никон), ему нужно было подчинить церковь государству, но не уничтожить ее. Церковь обладала мощными средствами идеологического воздействия на народ; церковь была нужна Петру I для пропаганды его идей, объяснения реформ, благословения и высшего одобрения перед народом новой политики, как сила, способная бороться с политическими противниками царской власти. Помощь церкви и духовенства была особенно необходима там, где оппозиция принимала вид религиозной ереси.

Одну из интереснейших страниц истории Петровской поры представляет полемический поединок раскола и официальной церкви. Раскол был одной из форм протesta низов. Двадцатилетняя война, рекрутские наборы, военные подати, прикрепление крепостных к заводам, строительство Петербурга — источник тяжелейшего гнета для широких слоев населения. Бегство в леса, в раскольнические пустыни становится массовым явлением. В сознании людей, измученных тяжким трудом и нищетою, переживаемый ими момент рисовался приближением конца света. В народной среде начинает распространяться учение о последних временах и приходе антихриста. Петровские нововведения в быту — новая одежда, бритье бород, иностранцы, окружающие царя, «немецкие обычаи» — все это способствовало утверждению мысли о том, что Петр не «благочестивый» государь, что на престоле — антихрист.

В 1700 г. на Москве появляются и ходят по рукам рукописные тетради Талицкого о конце мира и пришествии антихриста. Талицкий призывает народ не повиноваться царю-антихристу и отказываться от уплаты податей. Талицкий был арестован, покаялся, но зерно сомнения было посеяно. По поручению Петра I Ст. Яворский пишет сочинение «Знамения пришествия антихриста и кончины вѣка от писаний божественных явленія» (1703). Однако опасная идея все ширится; ее подхватывает раскол. В 1707 г. был публикован «Ответ краткий на подметное письмо о рождении сими времени антихриста». «Ответ» составлен митрополитом Иовом и адресован раскольникам («сии бо наипаче ждут антихриста, и любимыя о нем беседы обыкоша имети»).

Затем по приказанию Петра I напечатана часть сочинения Дм. Ростовского против раскола: «Рассуждение о образѣ божии и подобии в человѣцѣ» — трактат о брадобритии. Раскольники были той средой, где царила старая церковная книга. Знание церковной литературы в расколе было поистине удивительно, равно как и умение «говорить от святого писания». Оправдать брадобрение в глазах раскольников автор мог только, апеллируя к святому писанию и сочинениям отцов церкви. Соответственны были и формы языка. Приведем в качестве примера отрывок из повествовательной экспозиции к этому трактату: «. . Бывши ми . . во градѣ Ярославль в июнь и июль месяцах и в един от воскресных дней, из цркве соборныя по стѣй літургии изшедшу ми, и ко двору своему грядущу, два нѣкія человѣка, брадаты но не стары, приступлише ко мнѣ возваша глюще: влдыко стый, как ты велиши, велят нам брады брить: а мы готовы главы наши за брады наши положити. Оуне нам есть да отсѣкутся наши главы, неже да обриются брады наши. Аз же нечаянному и внезапному вопросу тому удивихся, и не возмог вскорѣ что от писания отвѣщати, противу вопросих их гля: что отростет глава ли отсѣченая, или брада обриеная, они же усумнѣвшеся и мало помолчавше рѣша: брада отростет. А глава ни. Аз же рѣх им: оуне оубо вам есть не пощадити брады, яже и десятерицею бриема отрастет, неже потеряти главу, яже единою отсѣчена не отрастет никогда развѣ во общее всѣх мертвых воскресение. То рек, идох в келлию мою . . и бысть в нас разглагольствие довольно о брадобритии и не брадобритии» (3 — 4). Вслед за этим начинается опровержение «неученаго о бозѣ мнѣнія» и выяснение того, «сообразен ли убо нам есть бог». Книгу о брадобритии Петр приказал «разослать по всем местам и стараться оную доставить до рук сомнѣющихся, для чего напечатать оной 4000 экземпляров» (письмо Мусину-Пушкину 26 ноября 1714 г. Оп. 188).

Но полемика раскола с церковью продолжалась. Правительство сделало ставку на идейную победу над расколом. Были объявлены публичные с раскольниками «разглагольства» о делах веры. В 1720 г. опубликовано «Объявление како преосвященнѣйший

Питирим епископ Нижегородский и Алаторский с расколническими учителями, при собрании множайшем духовного, и мирского чина людех разменялся вопросами и ответами». В «Объявлении» исчислены присутствующие на разглагольствии раскольники нескольких заволжских сект, а также имена посадских людей и крестьян окрестных деревень.

В 1718 г. было опубликовано так называемое «Соборное дѣяние Киевское, на арменина еретика Мартина». Раскольники заподозрили его в недостоверности, и в 1723 г. в «Поморских ответах» А. Денисов, глава поморских раскольников, доказывал его подложность. Со своей стороны церковь выступила с книгой «Пращица новосочиненная противо вопросов раскольнических». В «Пращице» 240 вопросов раскольников и ответов на них со стороны церкви. В книге (с обеих сторон) ссылки на огромное количество богословских и церковно-учительных сочинений, в том числе и на полемическую литературу более ранней поры: «Жезл правления» («Зри, противниче, книга Жезл сказывает, двоекратное аллилуиа к двум лицам божественным быти», л. 323), «Уверт духовный» и т. д.

До конца Петровской поры синод продолжает издавать «увещания» к раскольникам. В одном из них — «Объявление о продерзателях, неразсудно на мучения дерзающих» (1722) — часть трактата Ф. Прокоповича о мученичестве; адресовано объявление раскольникам-самосожженцам. Это «Объявление» было велено читать в церквях, на ярмарках, перед церквями «во всенародное известие». Победы над расколом официальная церковь не добилась. От идейной борьбы и «разглагольствий» церковники все чаще склоняются к прямым репрессиям, руководствуясь той мыслью, что еретиков «убивати достойно есть и праведно. Самъмъ еретикомъ полезно есть умрети, и благодѣніе тѣмъ бываетъ, егда убиваются» (Камень веры, гл. 1).

Эта страница из истории полемической схватки раскольников с церковью приведена здесь для иллюстрации того, что богословская тема была остро полемичной, широко дебатировалась в самых демократических кругах и что языком «прений о вере» оставался язык книжно-славянский. Раскол знал и хранил язык древнего благочестия. Эта среда — проводник большого числа славянских элементов в собственно народный язык.

Объем печатной продукции церковно-религиозного характера, выпускаемый типографиями этой поры, весьма значителен. Некоторые книги, в частности известная книга Ф. Прокоповича «Первое учение отроком», содержащая толкование заповедей блаженств (проспект этой книги составлен Петром, он же выдвинул основной предмет обличения — грех ханжества и лицемерия), выдержала в петровское время 9 изданий. Дважды издается огромная книга Минеи четыри Дмитрия Ростовского, пользовавшаяся большой популярностью.

Продолжалось регулярное издание (особенно интенсивное в первое десятилетие) церковно-богослужебных книг для нужд церкви и духовенства (служебники, чиновники, требники, часословы, святыни, соборники, псалтыри «со возследованием», каноники, октоихи, триоди, ирмологии и т. п.)<sup>4</sup>.

Еще более обширен круг рукописных сочинений богословского, догматического, религиозно-полемического характера, связанных и со средой религиозных протестантов и раскола, и со средой официально-церковной. Так, знаменитая книга Ст. Яворского «Камень веры», излагающая доктрины православной религии и обличающая протестантизм, была напечатана лишь после смерти Петра I, в 1730 г.; антираскольничий трактат Дм. Ростовского «Розыск о Брынской вере» (1708—1709 г. ) напечатан впервые в 1745 г. Многие богословские сочинения Ф. Прокоповича увидели свет лишь во второй половине XVIII в.

Следует, наконец, отметить, что указом Петра I с 1712 г. была начата работа над пересмотром и исправлением текста первопечатной Московской Библии (1663 г. ). В этой работе участвовали Феофилакт Лопатинский, Софроний Лихуд, Федор Поликарпов. Правка была закончена в 1720 г., но печатанием труд петровских спрашивчиков завершен не был<sup>5</sup>.

2. Среди сфер распространения книжно-славянского языка в Петровскую пору следует выделить далее жанр духовного красноречия. Расцвету этого жанра способствовала сама атмосфера того времени, гордое ощущение того, что Россия вознесена «от тьмы невежества на феатр славы». Словом-проповедью ознаменовывались все важные события в государственной жизни и прежде всего — победы русского оружия: Слово о баталии Полтавской, Слово о победе у Ангута, Слово о взятии Нотенбурха, Речь при торжественном входе с победою от Дербеня, Слово о богодарованном мире и т. п.

Следует отметить, что лишь незначительная часть проповеднической литературы увидела свет в Петровское время. Проповеди Ст. Яворского, большинство проповедей Димитрия Ростовского и Гавриила Бужинского были опубликованы лишь в XIX в.; многие слова Феофана Прокоповича увидели свет лишь при издании его «Слов и речей» в 60-е годы XVIII в. Сам отбор проповедей для печатания очень показателен для политических тенденций петровского царствования и одновременно свидетельствует о стилистической эволюции в сфере жанра духовного красноречия.

<sup>4</sup> См.: *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом, т. I—II. СПб., 1862; *Брашовский С.* Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов, директор Московской типографии. СПб., 1895; Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689—1725. Составители Т. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.—Л., 1958.

<sup>5</sup> *Горский А. В.*, *Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской синодальной библиотеки. Отд. I. Священное писание. М., 1855, с. 165—166.

Среди Слов Петровской эпохи много слов-панегириков, приветственных речей и т. п. Интересным моментом является то, что высокое духовное красноречие используется здесь по отношению к объектам, весьма далеким от типичных объектов церковного прославления. Гавриил Бужинский произносит Слово похвальное Санкт-Петербургу, Феофан Прокопович — Слово о флоте, Иоанн Кременецкий, приветствуя Петра I, возвратившегося из заграничного путешествия (1717 г.), возносит хвалу Германии — «парице Европы».

Но самым интересным моментом была, может быть, та внутренняя модификация, которую претерпевало слово-проповедь. Построенная по каноническому образцу, развивающая какое-либо положение из святого писания, отцов церкви и т. п., из которых традиционно следовали какие-либо нравственно-этические, морализующие выводы в поучение христианам, проповедь той поры смело вводит сопоставления общественно-политического характера. Она в высокой степени публицистична. Особенно смело и искусно делает это Феофан Прокопович, блестящий оратор своего времени, «российский златоустый». В качестве примера приведем известную проповедь Прокоповича «Слово в неделю осьмую надесять» (1717), где автор также говорит о заграничном путешествии Петра I. Проповедь произнесена на тему евангельской притчи о Петре апостоле «с подруги своими», ловящем рыбу в озере. Целую ночь ловцы трудились напрасно. Но вот сказал Петру Христос: «поступи во глубину». И послушался Петр, и поймали ловцы рыбы множество «яко и мрежъ их претерзатися». Дальше идет толкование притчи об Апостолах — ловцах душ человеческих. Текст «поступи во глубину» в нем означает, что поле деятельности Апостолов не «Иудейский угол», а весь мир. И отсюда автор переносится к тезоименитому апостолу императору Петру, а текст «поступи во глубину» соотносится уже с «перегринацией» Петра в Европу («Не у брега мешкает твой Петр, Россие»):

«Не всуе бо славный оный Стихотворец Еллинский Омир в началъ книг своих Одиссея нарицаемых, хотя кратко похвалити Улисса вожда Греческаго, о котором повѣсть долгую поет, нарицает его мужа многих людей обычай и грады видѣвшаго. Сокращенная похвала, но великая. .

Перегринация или странствование, дивно объясняет разум к правительству, и есть, смѣле рѣку, есть тая лучшая и живая честныя политики школа. Предлагает бо не на хартии, но в самом дѣлѣ, не слуху но самому видѣнию, обычай и повѣдѣнии народов». (е — е об.).

И. А. Чистович называл проповеди Феофана Прокоповича политическими: «Ни одной стороны его < Петра I > реформы, ни одного события из его царствования он не оставил без того, чтобы не изъяснить с церковной кафедры их пользы и значения»<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868, с. 10.

К «политическим» речам Ф. Прокоповича примыкают политические трактаты, в частности трактат «Правда воли монаршей», прямо соотносимый с Петровским актом о престолонаследии (1722 г.). Однако по жанровой своей природе — это уже сфера науки: история и теория государственного права.

3. Научная литература на книжно-славянском языке — одно из весьма примечательных явлений в истории русского литературного языка. С Петровской порой связан первый этап существования в России новой науки. В начале века у нас появляется впервые систематическое изложение целого ряда научных дисциплин — гуманитарных, естественных, математических. Среди печатных изданий Петровской поры научной книге принадлежит очень видное место. Именно в этой области делается наибольшее количество переводов, и в частности с латыни — международного языка науки. Русские латинисты, связанные преимущественно с духовными академиями и семинариями, естественным образом вступили на это новое поприще, принеся сюда свои навыки книжно-славянского языка.

Среди научных книг на книжно-славянском языке важное место принадлежит истории. Интерес к истории в Петровскую эпоху глубок и органичен. Он знаменует новое положение России на европейской арене, где она становится полноправным членом среди других «политических» народов. Среди исторических книг следует упомянуть прежде всего переводы больших обобщающих трудов по древней и новой истории, сделанные в конце первого и начале второго десятилетия XVIII в.: «Введение в гисторию Европейскую» С. Пуффендорфа (1718), «Деяния церковная и гражданская» Цезаря Барония в сокращенном издании Петра Скарги (1719), «Феатрон, или Позор исторический» М. Стратемана (1720). Этот гигантский труд был осуществлен Г. Бужинским с помощниками («с потрудившимися»). В 1722 г. выходит в свет «Книга Историография почитания имене, славы и разширения народа славянского» Мавро Урбини, перевод с итальянского Саввы Владиславича (Рагузинского). В предисловии к этому переводу, написанном Ф. Прокоповичем, рассказывается о деятельности славянских учителей Кирилла и Мефодия.

В это же время появляются переводы книг по античной древности и мифологии: «Полидора Виргилия Урбинского Осмь книг о изобретателях вещей» (перев. Ф. Лопатинского) и «Аполлодора грамматика Афинейского библиотеки, или О богах» (перев. Барсова, предисл. Ф. Прокоповича). Перевод Феофилакта Лопатинского предварен вступлением, в высшей степени характерным для умонастроений этого времени. Ф. Лопатинский говорит о том, что автор книги хочет доказать «яко многая римския церкве дѣйства, чины и церемонии произрастоша и от древних еллинских языческих обрядов и обычаев»:

«Того ради любезный восточныя церкви читателю, читая сию книгу, аще гдѣ либо обращеши что твоей мысли и содер-

жанию аки бы несогласное, и подзорное, да не смущается твоे сердце, яко издадеся сие аки бы противно твоему благочестию. Въмы бо, яко от сиона изыде закон, и слово Господне от Иерусалима Но на высоком здраваго твоего разсуждения амфитеатръ став, разсмотряй силу предприятияго дѣла, и причину сего авторова трудоположения, чего ради сие, и кому, и о ком писал... Ибо читаем книги различны, не токмо сих именем христианским красящиhsя, но и древних еллинов, и египтян, и персов и прочих истории, не да вѣруем, но да вѣдаем творимая у них: и да явимся искусни во обхождениах их. Убо буди подобен трудолюбивѣй пчелѣ, не токмо благоуханныя цвѣты и древеса, но и мертвая тѣлеса облетающей, и от всѣх дивный пчелник, и сладкий мед сочиняющей. И тако здрав и прав будеш и умудришися».

Заметим попутно, что многие мифологические сюжеты были изложены значительно ранее в книжках, которые обычно назывались «Описание врат торжественных». Это истолкование символических картин и эмблем на триумфальных вратах, воздвигаемых учениками и учителями Славяно-греко-латинской академии. Существует описание врат 1703, 1704, 1709 гг. Наиболее известно из них описание под титулом «Политиколепная апофеосис», представляющее образец своеобразного информационно-делового стиля в кругу книжно-славянских памятников.

Следует назвать далее сочинение Димитрия Кантемира «Книга система, или Состояния Мухаммеданской религии» (перев. с лат. Ильинского, 1722), где описываются религия, нравы, законы, науки магометанского мира. Это сочинение поражает как своей эрудицией, так и фривольностью, достойной авторов эпохи Возрождения (особенно поразительной в формах книжно-славянского языка).

Книжно-славянской в Петровскую эпоху была и филология (ср. грамматики первой трети века — Ф. Поликарпова, Ф. Максимова, И. Кошиевского; буквари — К. Истомина, Ф. Поликарпова; лексиконы).

На книгах естественно-научных и математических я позволю себе не останавливаться специально, так как славянские источники в кругу естественно-научных сочинений Петровской поры довольно подробно описаны в книгах о формировании языка русской науки<sup>7</sup>. Замечу только, что среди этих книг есть учебные — типа Арифметики Магницкого (1703), и ученые — типа «Географии генеральной» Б. Варения (перев. с лат. Ф. Поликарпова 1718), представляющей первое в мировой литературе описание земли, построенное на основах математики и физики. Первые в России систематические курсы физики: «Зерцало естествозрительное»

<sup>7</sup> Кутина Л. Л. Формирование языка русской науки. Л., 1964; Она же. Формирование терминологии физики в России. Л., 1966.

(Рук. ГПБ О. VII. 1, 1713 г.) — курс натурфилософии Аристотеля, читанный в Славяно-греко-латинской академии, и «Философия естественная» (Рук. БАН 17.14.3., 1718 г.) — изложение физики Декарта, переведенное учеником этой Академии В. Гоголевым и посвященное Петру I. В стенах Славяно-греко-латинской академии ранее всего сложилась традиция изложения физической темы.

4. Четвертой сферой, где можно встретить книжно-славянский язык, является жанр технической книги. Естественно, в этой области книжно-славянская книга — явление достаточно редкое, но сам факт проникновения славянского языка в сферу ремесла, техники, практического руководства для этой эпохи очень симптоматичен. Назовем здесь такие сочинения, как «Книга учащая морского плавания» И. Копиевского (1701), «Книга земледельческая» (Новгород, 1705) — энциклопедия по сельскому хозяйству и медицине, «Книга Марсова» А. Маллэ (перев. с фр., 1713) и нек. др. Приведем образцы языка этих книг.

Аще подвиг корабля от ширины съверных управляетъся, линия убо яже с точки F грядет.. и пресъкает экватора. Кн. учащ. мор. плав., 98.

Како печи яйца кромъ огня. Како познати немощнаго аще умрет. Како изяти мертвое отроча из чрева матере его. Кн. землед.

Егда убо человѣцы точию жилища полския имѣша, и вмѣсто всѣхъ богатствъ токмо стада одержаша, тогда себѣ дѣлаша ограды из пеньевѣтвия древ сплетенныхъ. Кн. Марсова, 2.

5. Пятая сфера — художественная литература. Эта область также не нуждается в особом освещении. На Петровскую пору приходится расцвет школьного театра в России. Программы школьных действ, часто приуроченных к торжественным датам, разыгрываемые «славенороссийскими» отроками в новосияющих Московских Афинах, издаются типографским тиснением. Драматургическая продукция Петровской поры весьма значительна: львиная доля пьес пишется на языке книжно-славянском<sup>8</sup>.

Переживает свой расцвет «искусственная» (термин В. Н. Пегретца) поэзия: стихи торжественные, панегирические, плачевые, лирические. В стихотворную форму облекаются почти все школьные драмы, в текст их вставляются канты; стихотворные заставки приняты в книгах самых различных жанров; создаются стихотворные переделки рыцарских романов (ср. «Повесть о Париже и

<sup>8</sup> Ср. последние публикации текстов в серии «Ранняя русская драматургия, XVII—первая половина XVIII в.», в частности: Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974; Пьесы любительских театров. М., 1976.

Вене»). В качестве образцов языка искусственной поэзии приведем кант из поздней школьной драмы «Стефанотокос» (Рз., 301):

Востани, о Блаже, прииде вскорѣ,  
Прииде в помошь, утѣши днесъ в горѣ!  
Се в слезах погрязаю:  
Изсуни гнѣва мечь, Творче!  
На тя бо уповаю:  
Пожени врагов, Поборче!  
Ты моя надежда,  
Радость и одежда,  
Жизнь подавая.

Или — плач Кронштадта по Петру I:

Воастени и ты, флоте российски преславны,  
Аще несть во Европе в славе тебе равны,  
Иже бо правитель твой тебе оставляет,  
Днесъ кораблем вечности к небу востекает.

(Русск. силаб. поэзия, № 245, с. 355).

Далее следует упомянуть басню («Басни Эзопа», «Зерцало человеческое»), краткие нравоучительные повести типа «Апофегматы», историческую повесть (ср. «Повесть о разорении града Трои»), риторическую повесть («Повесть о сретѣ слона»). Все это — область книжно-славянского языка.

Суммируя наблюдения над сферами распространения книжно-славянского языка в первой трети XVIII в., мы можем с определенностью сказать, что книжно-славянский язык значительно расширяет свои литературные функции и обнаруживает явную тенденцию к полифункциональности. Этот процесс, характеризующий языковую ситуацию Юго-Западной Руси XVI—XVII вв., начинается в России не ранее второй половины XVII в. и достигает наибольшей интенсивности в XVIII. Достаточно ясны и причины подобной активизации. Петровскую пору характеризует напряженейшая деятельность в различных областях общественной жизни, в том числе — в сфере идеологии (политика, наука, религия, литература). Прежде чем возник новый «культурный» язык на русской национальной основе и сложилась новая общественная (ученая, писательская, переводческая) среда, действовали в меру сил и умения старые культурные «кадры». За ними была большая филологическая образованность, знание классических языков, переводческая школа, традиция в изложении ученої, исторической, политической темы на книжно-славянском языке. Характерной особенностью времени было своеобразное объединение культурных усилий: многие известные переводчики Петровской поры начинали свое образование в духовных академиях, а кончали его в университетах Европы. Интересно и другое: Ф. Прокопович пишет предисловие к Морскому регламенту, а Петр I — проспект книги о блаженствах. Леонтий Магницкий —

наш первый математик — с яростью обличает еретика-иконоборца Дм. Тверитинова. А Феофилакт Лопатинский не только переводит книгу по античной мифологии: он рассуждает о том, что следует читать и знать все, чтобы уметь разумно («с амфитеатра свободного разума») выбрать нужное. Мы говорим обычно о секуляризации духовной жизни в это время. Языковедам важно учитывать и другое: втягивание самого духовенства в мирские дела и светскую культуру: оно приносит сюда формы своего языка.

Перейдем теперь к вопросу об основаниях языковой квалификации текстов. Наиболее надежна при решении вопроса об отнесении памятника к книжно-славянской или русской языковой традиции опора на строевые характеристики языка — его грамматику. Следует сказать, что специфичность грамматики книжно-славянского языка XVIII в. по текстам этой эпохи очерчивается достаточно определенно. Именно грамматика (имея в виду орфографию, морфологию, синтаксис) с полной очевидностью говорит о том, что в первой трети века мы продолжаем иметь дело с двумя типами языка, со славянско-русским двуязычием гомогенного характера (Н. И. Толстой). Славянская лексика, хлынувшая в эту пору в русскую письменность различных жанров, дает менее надежное основание, хотя характер лексико-семантической системы книжно-славянского языка не оставляет сомнений в своей специфичности и особости. Квалифицирующим моментом (в плане лексики и семантики) служит в ряде случаев наличие глоссировок в текстах и однородность ее направленности: в книжно-славянском тексте от славянского слова текста к русской глоссе (ср. глоссы в «Систиме» Д. Кантемира: *трость* \* *перо*, *вѣтра* \* *парусы*, *кравец* \* *портной*, *кормилом* \* *собцом*, *ковчег* \* *сундук*; в «Книге землемедельческой»: *шаров* \* *цвѣтov*, *косни* \* *некюри*, *скорпia* \* *сверчъ* и под.). Таким же квалифицирующим моментом в плане стилистики является наличие в первой трети века книжно-славянских текстов стилистически и экспрессивно нейтральных, не отягченных никакими специальными стилистическими функциями и заданиями (ср. научная книга, история, информационный жанр типа Апофеоза и т. п.).

Грамматическая система, фиксируемая в текстах XVIII в., должна быть рассмотрена прежде всего в отношении к существующей кодификации книжно-славянского языка, т. е. к Грамматике Мелетия Смотрицкого. Однако к рассматриваемой поре кодекс М. Смотрицкого существует по крайней мере в трех вариантах: Грамматика 1619 г. (Эвю), Грамматика 1648 г. (Москва) и Грамматика 1721 г. (Москва). В истории русского языкоznания эта последняя Грамматика, связанная с именем Ф. Поликарпова, обычно расценивается как простая перепечатка Грамматики 1648 г. с самыми незначительными изменениями<sup>9</sup>. Лишь С. Бра-

<sup>9</sup> См.: Пекарский П. П. Указ. соч., т. II, с. 504; Засадкевич Н. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883, с. 144—145; Белов А. И. У истоков

иловский поставил эту грамматику в связь не с московским изданием, а с изданием 1619 г.; в качестве примера совпадения с этим последним изданием он приводит число «орфографийных просодий и строчных препинаний»<sup>10</sup>, но и он считает, что в содержании Грамматики 1721 г. нет ничего нового. Действительно, в основные структурные членения грамматики (типы склонения и группировка основ в пределах этих типов, основные категории в системе имен и глаголов, производные глагольные формы и т. п.) Ф. Поликарпов изменений не внес. Но зато само заполнение клеток в парадигмах формоизменения, сам материальный вид флексий в его грамматике весьма существенно отличается и от Грамматики 1648 г., и от Грамматики 1619 г. и дает существенно измененную систему норм.

Изменения в Грамматике 1721 г. шли в основном по трем линиям.

1) Отбор форм (или вариантов форм) при их несовпадении в Грамматиках 1619 и 1648 гг. Ср. несколько выборочно взятых примеров.

	1619 г.	1648 г.	1721 г.
И. мн.	мрежа	мрежи	мрежи
Д. и М. мн.	пианици	пианицѣ	пианицѣ
Р. мн.	ладіи	лодіи и лодей	лодіи и ло- дей
Р. ед.	клевретомъ, воиномъ	клевретомъ, воиномъ	клевретомъ, воиномъ
М. ед.	отци	отцѣ	отцѣ
И.-Зв. мн.	ходатае	ходатай	ходатае
Д. ед.	отрочата	отрочати	отрочати
М. п. мн.	сынѣхъ и сыновехъ	сынѣхъ и сыновѣхъ	сынѣхъ и сы- новехъ

При отборе форм Ф. Поликарпов отдавал безусловное предпочтение нормам Московской грамматики 1648 г.

2) Объединение форм, не совпадающих в Грамматиках 1619 и 1648 гг., на правах вариантов нормы.

	1619 г.	1648 г.	1721 г.
Д. ед.	снѣсѣ	снохѣ	снось и снохѣ
Р. ед.	мрѣжа	мрѣжи	мрѣжа и мрѣжи
Зв. ед.	святыни	святыне	святыни и святыне
И.-Зв. мн.	иерее	иереи	иерее и иереи
В. мн.	пастыра, иеред	пастыри, иерей	пастыра и пастыри иеред и иерей
Р. ед.	тысаца	тысащи	тысаща и тысащи

русской грамматики. — Уч. зап. Мичуринского гос. пед. ин-та, 1958,  
вып. 5, с. 92.

<sup>10</sup> Браиловский С. Ф. П. Поликарпов-Орлов..., с. 65—67.

3) Введение новых форм (или вариантов форм), не фиксируемых Грамматиками 1619 г. и 1648 г.

	1619 г.	1648 г.	1721 г.
P. ед.	пианица	пианицы	пианицы
Д. ед.	святыни	святыни	святыни
	тысячи	тысячи	тысячи и ты- сячи
M. ед.	сердци	сердци	сердци
	мрежи	мрежи	мрежи
I. мн.	доми	доми	доми и домове
	пророци, отци	пророци, отци	пророцы, отцы
	враче	врачи	врачие, враче- ве и врачи
	зное	знои	зное и зноеве
B. мн.	сыны и сыновы	сыны и сыновы	сыны и сы- нове
Zv. мн.	доми	доми	доми и домо- ве
P. мн.	клевретъ, воинъ,	клевретъ, воинъ	клевретъ и кле- вретовъ
	пророкъ	пророкъ	пророкъ и про- роковъ
	ходатай, иерей	ходатай, иерей	ходатай и хода- таевъ
	зной	зной	иерей и иереевъ
	знамении	знамении	зной и зноевъ
	врачъ	врачъ	знамении и зна- меней
	господей	господей	врачевъ
	тысячи	тысячи	господей и гос- подъ
D. мн.	господемъ	господемъ	тысячи и тыся- щей
T. мн.	грѣхами и грѣ- хи	грѣхами и грѣхи	господамъ
	имени, словесы	имени, словесы	грѣхами и грѣ- хми
			имени и име- нами
			словесы и сло- весами
	ходатай	ходатай	ходатайми
	зноими и знои	зноими и знои	зноими, знои,
	знамении и зна- менми	знамении и зна- менми	зноями
			знаменми и зна- миами

	1619 г.	1648 г.	1721 г.
И. ед.	врачи и врачами	врачи и врачами	врачи, врачами,
Тв. ед.	господы и господами	господы и господами	врачами господы, господами
Тв. мн.	кій коимъ	кіи коимъ	кіи и кой коимъ и кіимъ
Преход. вр. 2 л.	чель, чла, чло	чель, чла, чло	коими, кіими и кими
Прешед. 2 л.	читалъ, а, о	читалъ, а, о	челъ, чла, чло еси
Непред. 2 л.	прочель, а, о	прочель, а, о	читалъ, а, о если прочель, а, о если и др.

Рассмотренная в нормативном аспекте, Грамматика Ф. Поликарпова свидетельствует о новых и знаменательных тенденциях в сфере книжно-славянского языка.

Значительная вариативность форм была свойственна уже Грамматике 1619 г. Московская грамматика 1648 г. отчасти изменила характер этой вариативности, но широту ее не уменьшила. Грамматика 1721 г., сведя в вариативные ряды многие изолированные формы предшествующих редакций и введя многочисленные новые варианты, увеличила вариативность форм еще более. Такое увеличение числа варьирующихся форм в кодексе свидетельствует об определенном ослаблении кодификации и открывает широкое поле для новых (аналогических, ассоциативных и пр.) изменений нормы.

Основной источник расширения вариативности — живые русские (иногда, видимо, и южнорусские — украинские и белорусские) формы. Однако южнорусское воздействие оказывалось в грамматике в большей мере как поддерживающее влияние, на фоне которого восстанавливались некоторые исконные черты древнеславянского языка (ср. широкое введение флексии *-ове*, восстановление флексии *-а* и т. п.). Украинский и белорусский языковой фон не безразличен, видимо, и при отборе и включении некоторых живых русских форм (ср. включение флексии *-ов* Р. п. мн. ч. имен м. р. II скл.: *клевретов*, *пророков* и т. п.; или смешение флексий твердой и мягкой разновидности основ имен ж. р. I скл.).

В начале века (1703 г.) в предисловии к «Лексиону трезычному» Ф. Поликарпов резко отрицательно расценивал проникновение в книжно-славянский язык польских, украинских, сербских слов, нарушающих чистоту типа: «От разных стран приходящии, свое иностранная речения в разговоры и в книги привнесоша, на приклад, сербская, польская, малороссская. Итако рѣснота и чистота славенская засыпаша чужестранных языков в цепел». В Грамматике 1721 г. он убирает или снабжает ремарками польские и украинские пояснения Мелетия Смотрицкого к славянским формам (ср.

истолкование значения форм сослагательного наклонения в славянском через польское *гды бымъ читалъ*; или истолкование значений союза и междометия *яко* в первом случае — через *якъ*, *ижъ*, *абовѣмъ*, *гдыжъ*, и во втором случае — через *якъ*, *барзо*. Однако реакция на южнорусизмы у Ф. Поликарпова — русского книжного справщика и грамматиста — в 20-е годы была безусловно ослаблена. Причина этого крылась в широчайшем распространении южнорусских языковых особенностей в письменности этих лет — и книжно-славянской, и русской, особенностей, с которыми почти не боролась русская книжная справка.

Но, может быть, самое примечательное в Грамматике 1721 г. — отчетливо выраженная мысль о закономерности изменений в книжно-славянском языке, о исправлении и улучшении его, что, однако, вовсе не означает восстановления архетипа. Здесь впервые появляется оценка элементов этого языка с точки зрения «нынешнего употребления» и маркировка архаизмов языка, «нынешним употреблением» не подтверждаемых. Выставляя формы местоимения *что* и *чесо*, *чему* и *чесому* и т. п., Ф. Поликарпов помечает при форме *чесо*: «нынѣ необычно»; выставляя формы *тии* и *ти* (Им. мн.), при *ти* пишет: «нынѣ не употребляется». Такое же примечание делает Поликарпов по отношению к формам «русского» (по квалификации М. Смотрицкого) перфекта со связкой: «Обаче нынѣ не употребляется, славенску на лучшее божиею помощию произходящу». Отказ от старых форм иногда мотивируется чисто рационально. Так, приведя помещенную у Мелетия Смотрицкого и в Грамматике 1648 г. парадигму изменения числительного собирательного *четверо*, которая включает формы ед., дв. и мн. ч., Поликарпов присовокупляет следующее «увещание»: «Вышепомянутая речения *двои*, *трои*, *четверо* и прочия, аще у малороссов по древнему их обычаю единственным и двойственным числами и скланяхуся; обаче нынѣ благодатию божиего славенску языку разчищающуся, возмнѣся сие быти неправилно. Како бо четверых может кто нарещи единим, или двома, еже противно и разуму. Но нынѣ обыкновенне сице скланяти можно.

Един. и дв. лишается.

Мн. И.	четверо
Р.	четверыхъ
Д.	четверымъ
В.	четверо и четверыхъ
Зв.	четверо
Тв.	четверыми
Ск.	О четверыхъ».

Находим в этой грамматике и зачатки нормативно-стилистических указаний: *кій* или *кой* (при второй форме ремарка: «просто»); *святыхъ* и *святъ* (при второй форме: «шипитич.»).

Все это свидетельство существенно изменившегося отношения к книжно-славянскому языку в России. Для кодификатора

XVIII в. это не тот священный язык, любое изменение которого недопустимо и греховно; это литературный язык, который может и должен совершенствоваться и может изменяться, в зависимости от изменения его функций.

Сходные тенденции можно обнаружить и у петровских справников священного писания. Одна из их задач — замена слов, вышедших из употребления, непонятных или неточных. В этом плане любопытны следующие исправления<sup>11</sup>.

Библия 1663 г.	Текст справки
препругъ	покрывало
сосуды зданы	скудельны
отъ суна	отъ столпа
въ пятю между десятыма	в'двадесять
лѣто	пятое
в'ногатицы	в'горницѣ
гробію	въ конецъ
	и т. п.

Надо заметить, что подобное направление правки определилось уже в Острожской библии.

Сопоставление текстов первой трети XVIII в., писанных на книжно-славянском языке, и грамматики с очевидностью показывает, что книжники этой поры стремились следовать предписаниям грамматики даже в тех частях и разделах ее, которые были особенно искусственны и не имели опоры в живой языковой системе. «Для кругов московских книжников следование нормам грамматики М. Смотрицкого в высоком церковном слоге становилось признаком „литературности“ языка», — писал В. В. Виноградов о книжной практике XVII в.<sup>12</sup> В равной мере можно утверждать это и о рассматриваемом периоде. Однако тексты XVIII в. дают одновременно и широчайшую гамму всевозможных отклонений от грамматических норм. Исследование подобных отклонений, критика ошибок очень важна для суждения о возможном движении нормы — создании новых ее вариантов. Ведь часть языковых особенностей текстов XVIII в. должна рассматриваться как нарушение нормы по отношению к московской кодификации 1648 г.; в грамматике 1721 г. они канонизированы. Грамматисты XVIII в. ощущали острую потребность в создании ряда новых правил для некоторых языковых особенностей, которые не нашли отражения в грамматике. «Многая употребления обносима зрятся, а правил себѣ в славянствѣ грамматицѣ не имѣют», — писал Федор Максимов, автор сокращенной книжно-славянской грамматики для учащихся (1723 г.).

Приведем некоторые примеры соотношения норм текста и кодификации. Грамматика М. Смотрицкого предусматривает систему

<sup>11</sup> Материал заимствован из кн.: Горский А. В., Невоструев К. И. Описание славянских рукописей..., с. 165—166.

<sup>12</sup> Виноградов В. В. Очерки..., с. 14.

четырех прошедших времен славянского глагола. Эти «квазивремена» (С. Булич) по сути дела сводятся к двум: аористу («препроходящее») и имперфекту («прешедшее»), ибо «мимошедшее» — это нестяженный имперфект (*читаахъ*), а «непредельное» — аорист от глаголов сов. вида, приставочных (*прочтохъ*): в построении этой искусственной системы времен главную роль сыграло осознание видовых отличий. При этом в парадигме «прешедшего» времени для 3-го л. мн. ч. в качестве вариантов даны формы имперфекта (*читаху*) и аориста (*читаша*). 2-е л. ед. ч. во всех прошедших временах представляет форму старого перфекта со связкой<sup>13</sup> (*челъ, читалъ, читаалъ, прочелъ еси*). Из форм, имеющих место в этой системе, мы не встречаем лишь «мимошедшего» — нестяженного имперфекта. С. Булич не отметил ни одной подобной формы уже в первопечатной Московской библии 1663 г.<sup>14</sup> Остальные формы отмечаются в текстах вполне последовательно и регулярно.

И познах, яко мнози, иже по указу обриша брады своя, сумнятся о спасении своем. Д. Рост., 8; Сицевыми реченими дерзнул еси опорочити ушеса моя. Троя, 85; Благо пришел еси вожделенный гостю, благо возвратился еси отечества отче. Пркпв. Сл. 1717, 4; Егда паки аз бых и с Феодором уподиаконом в Сибирь везен, Феодор умывашся и пияше из единаго ковша со мною. Обличение, 67; Но кийждо вѣк своих имѧше Финиксов, ниже оскудѣваху мужи ученые, ово из христиан, ово из Еллинов, которые жестокия и крѣпкия Арапскаго языка силы превозмогоша. Кн. сист., предисл. 3; Заутра же в день той внезапу, яко вода, воскипеша московстии народи: улицы востопташася, слободы пролияшася, переулки протекоша. Пов. о слоне, 170; Блаженны есте и треблаженны, Российской сынове, яко таковаго милостиваго Отца Отечествия вашего возымѣсте. Слава Рос., 4; Тѣло которое на водѣ плаваше, ко дну низходит, егда воздух, иже то поддерживаше из него изводится. Филос. ест.

Но в стойкие вариантные отношения к двум названным временам становится бессвязочный перфект. Мы встречаем его у самых больших знатоков книжно-славянского языка, и вводится он подчас вполне сознательно и, может быть, не без стилистических заданий (ритмическая организация текста, в частности)<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> В Грамматиках 1619 и 1648 гг. указывается перфект без связки.

<sup>14</sup> См.: «Старинные формы без контракции встречаются только в Острожской библии и то очень редко; Первопечатная уже представляет одни стяженные формы, как и Новая» (Булич С. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, ч. 1. СПб., 1893, с. 362).

<sup>15</sup> Нарушение грамматических норм, связанное с ритмической организацией текста, особенно очевидно в текстах стихотворных. Не малую роль в возникновении аналогических форм играет при этом и внутренняя рифма. Ср. некоторые примеры из школьного диалога «Действо о семи свободных науках» (РРД 3): Во всех градех, в великих оградех, 183; О вечных музех, о злых человечех, 175; Со псалмы и с песнми, с молитвы и пенми, 177;

Нѣкія же духовнаго чина, Мартина армянина защищающе, понеже учение его злое яко истинное прияли и держахуся. Пращица, и; Прият <Христос> истоти<sup>к</sup> вся наша немощы земныя, взлкасѧ бо и возжадасѧ и утрудисѧ от пути, и прослезисѧ над Лазарем, и требоваше, гдѣ бы главу преклонити, и, надходящу страданию своему, ужасался и тужил. Пркв. Сл. 1716, 7; Ишпанию Вестрогофы, и иными народы под свою власть подбиша. В Африцѣ Вандалы сѣдоша . . Часть великую Паннонию и Иллирика Гунны завладѣли. В Италии Гофы собственное королевство утвердили. А Рим всего мира главу ниже королевским престолом почтоша. Пуф. Ист., 25.

Широта употребления бессвязочного перфекта в письменности этого времени заставляет предположить, что эта форма принята пишущими на книжно-славянском языке как некоторый вариант нормы.

В грамматической системе славянского языка имеется ряд пунктов, где ошибки возникали особенно часто: употребление 3-го л. имперфекта, деепричастий — в особенности кратких форм м. р. (типа *чты*, *чет*) и деепричастий ж. р., сослагательного наклонения и т. д. Так, в печатной программе театрального действия «Свобождение Ливонии» твердо проведена грамматическая норма в оформлении деепричастий ж. р.; в рукописных же текстах этой программы норма везде нарушена.

Посем является и Смерть на коне бледом, секущи их (вар. секуще). РРД 3, 227; Надежда же дающи котвицу речет (вар. дающе), 223; Посем утруждшия Ревность восхоте мало почити (вар. утруждьшеся), 223, и т. п.

Весьма возможно, что часто встречающиеся однородные отклонения могли получать значение нормы.

Некоторые грамматические особенности текстов связаны с употреблением форм, не предусмотренных кодификацией, хотя эти формы, по словам Ф. Максимова, всюду «обносимы зрятся». Таковы формы давнопрошедшего времени. Они встречаются в книжно-славянской письменности и в классическом старославянском оформлении (имперфект и причастие на *-л*) и в более поздних модификациях, особенно часто — по украинскому типу (бессвязочный перфект и причастие на *-л*).

Напоша землю нашу врази кровию своею, иже пришли бяху пити кровь ея. Пркв. Сл. 1709, 40; Между томбами написахом гигантомахию, сиречь брань олбрымов, сынов земных с небом и богами, иже тако устрашили быща богов с начала, яко вси . . убѣгша в Егупет. Апофеосис, 23—24; Попиновению и власти Российской вся страны, которая Разин

---

Царства ли велики, моря ли глубоки, Грады ли колики и реки широки —  
Вся аз свем, 188.

подчинил себѣ был, возвращеніи суть. Пуф. Ист. 1718, 406; Волк с ями избѣжавши, в июже впал был, отдалече ю обходит. Буж. Пропов., 22; Како бо немощная была Россия от смерти великаго Владимира, егда аще и не изсякл был род самодержца онаго, обаче самодержавный скіпетр на части разломан. Пркв. Сл. 1717<sup>2</sup> 108.

На правахъ такой некодифицированной нормы выступают в Петровскую пору и некоторые грамматические и синтаксические южнорусизмы. К нимъ следует отнести, кроме названного выше украинского плюсквамперфекта, употребление усеченныхъ прилагательныхъ, особенно часто встречающееся въ поэзии (Возстени и ты, флоте российски преславны, аще несть во Европе тебе равны. РСП 1725, 355). Усеченные прилагательные и причастия въ словахъ Ф. Прокоповича подверглись систематической правке при изданіи его сочинений въ 60-е годы XVIII в.

К такимъ же широко употребляемымъ южнорусизмамъ этого времени относится синтаксическая конструкция пассивно-безличного причастия съ винительнымъ падежомъ имени.

Егда младенца мужеска полу, въ осмый день отъ рождества его, на конечной плоти, обрѣзовано. Пркв., Иго, 118; Когда ихъ *древнихъ Христианъ* ко отвѣту о Христианстей вѣре призываю. Лопат. Увещ., 405 и др.

Лишь детальное обследование памятниковъ дастъ возможность выявить те языковые особенности, которые и нормативно — въ соответствии съ Грамматиками этого времени, и узуально — въ соответствии съ массовымъ употреблениемъ характеризуютъ книжно-славянский языкъ первой трети века. Лишь такое обследование поможетъ установить удельный весъ южнорусскихъ элементовъ въ книжно-славянскомъ языке русской редакции на этомъ хронологическомъ этапе, являющихся очень характерной его приметой, но практически не учтенныхъ и неописанныхъ.

Остановимся, наконецъ, еще на одной стороне нормирования книжно-славянского языка, имевшей самую непосредственную связь съ судьбами его въ России. Авторы книжно-славянскихъ книгъ и переводовъ на этотъ языкъ называютъ его различно: российский языкъ, славено-русский, словенский, русский. Эти терминологические различия не свидетельствуютъ, однако, о различии языковъ. Г. Бужинский на титулѣ книги Пуффендорфа обозначаетъ языкъ перевода какъ российский, а въ предисловии говоритъ о Пуффендорфе «вещающемъ словенскимъ языккомъ», а о себѣ: «азъ съ латинскаго превед на русский». Къ 20-мъ годамъ появляется весьма характерное уточнение стереотипной формулы. Ф. Поликарповъ въ предисловии къ «Географии генеральной» пишетъ: «Преводихъ сию *книгу* не на самый словенский высокий диалектъ противъ авторова сочинения и хранения правилъ грамматическихъ, но множае гражданскаго посредственнаго употребляхъ наречия». Созвучны этому слова

Феофана Прокоповича («Первое учение отроком»): «В России были таковы книжицы *«закона Божия»*, но понеже славенским высоким диалектом, а не просторечием написаны... того ради лишались доселѣ отроцы себѣ воспитания». Но мы напрасно стали бы искать в «Географии генеральной» Поликарпова «посредственное наречие» посольского приказа, а у Феофана Прокоповича «просторечие». «География генеральная» и толкование заповедей написаны на книжно-славянском языке, но в упрощенной и облегченной его редакции. Попытка создания упрощенной редакции, облегченного варианта книжно-славянского языка для нужд просвещения и пропаганды в 20-е годы XVIII в. несомненна. Особенно близка она Феофану Прокоповичу: об этом красноречиво свидетельствует эволюция языка его собственных сочинений. В этом «мини-варианте» упрощается грамматика: становится нормой бессвязочный перфект, подравнивается и еще более приближается к русской система склонения, исчезает сложный церковнославянский синтаксис с дательным самостоятельным, инфинитивными оборотами с *еже*, инфинитивные конструкции с глаголами говорения и мысли, обильными причастными оборотами и специфической формой выражения отрицания. Исчезает редкая архаическая лексика (типа *амо*, *неу*, *гонунти*, *непищевати*, *еда*, *поне* и т. п.), русифицируются союзы<sup>16</sup>. Намечается стилевое расслоение в пределах книжно-славянского языка: вариант высокий и вариант простой.

Тесное соседство и параллельное функционирование книжно-славянского языка с русским в целом ряде ведущих жанров, создание своеобразных контактных зон для обоих языков способствовало особенно сильному их взаимовлиянию. Русский книжный язык в петровскую пору включает в себя очень широкий круг славянских слов и форм. Свидетельством тесного взаимодействия языков может служить тот удивительный факт, что в сфере научного языка, активно развивающегося в это время, у нас не сложилось двух терминологий: славянская терминология становилась достоянием русских книг, русская использовалась в книгах славянских. В беллетристике Петровской поры славянизмы стали такой же «этикетной» лексикой, как западноевропеизмы. Сильный напор славянизмов испытывает деловой язык — язык канцелярии, законодательства, права. Значительная группа текстов этого времени с трудом допускает квалификацию в отношении типа языка (создание «пограничного слоя»). Трудность эта усугубляется появлением простой вариации книжно-славянского языка. «Окнижененная» русская речь и опрошенная славянская предельно сближаются. Это определило судьбы последней, а также судьбы книжно-славянского языка вне пределов конфессиональной сферы.

<sup>16</sup> Ср.: «Изменение национального колорита речи особенно разительно при смене союзов» (Виноградов В. В. Очерки..., с. 23).

Упрощенная стилистическая разновидность книжно-славянского языка не успела получить сколь-нибудь существенного распространения. К 30—40-м годам в России уже складывается новый культурный язык на русской национальной основе, способный к выполнению самых разнообразных функций. Быстрота, с которой он сформировался, стоит в теснейшей связи с контактами его с книжно-славянским языком в Петровскую эпоху. Этот новый язык стал исходной точкой отсчета в стилистической системе Ломоносова. А стилистический «разбор», прошедший в книжно-славянском языке в Петровскую эпоху, был прообразом того разбора, который предпринял Ломоносов по отношению к наследию «книг церковных».

Дальнейшие судьбы книжно-славянского языка в России в XVIII в. связаны только со сферой конфессиональной. В этой сфере он претерпевает еще одну кодификацию, связанную с изданием Новой (Елизаветинской) библии — 1751—1756 гг.

Что же касается светской письменности, то самые славянизированные (славено-русские) стили ее представляют уже обра-зование принципиально иное, не сополагаемое с книжно-славянским языком предшествующей поры. Они не имеют своего строя, у них нет своей грамматики. В русском литературном языке «славянизм» определяет себя как категория стилистическая<sup>17</sup>.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Апофеозис — Политиколепная апофеозис. М., 1709.  
Буж. Пропов. — Проповеди Гавриила Бужинского (1717—1727). Изд. Е. Петуховых. Юрьев, 1901.  
Д. Рост. — Рассуждение о образе божии и подобии в человеке. М., 1714. [автор Д. Ростовский].  
Кн. сист. — Кантемир Д. Книга систима, или Состояния мухаммеданския религии. [Перев. с лат. Ильинского]. СПб., 1722.  
Лопат. Увещ. — Святейшего правительствующего всероссийского Синода Увещание. СПб., 1725.  
Обличение — Обличение на Соловецкую челобитную, сочиненное убо на сербском языке Юрием Сербянином, преведено же на славенский диалект... Феодором Поликарповым в лето 1704. Казань, 1878.  
Оп. — Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689—1725 гг. М.—Л., 1958.  
Пов. о слоне — [Денисов А.] Повесть риторическая о срете в Москве слона персидского. Послание Андреево с Москвы в общебратство. Сообщ. Н. И. Барсов. — Русская старина, 1880, т. 29.  
Пращица — Книга... именуемая пращица, новосочиненная противо вопросов расколнических. СПб., 1721.  
Пркв. Иго — Прокопович Ф. Книжица, в пей же Повесть о распре Павла и Варнавы с Иудействующими... о неудобоносимом законном иге. — Слова и речи, ч. IV. СПб., 1774.  
Пркв. Сл. 1709 — Прокопович Феофан. Панегирикос или слово похвальное о преславной над войсками Свейскими победе. — Слова и речи, ч. I. СПб., 1760.

<sup>17</sup> Замкова В. В. Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в. Л., 1975.

- Пркв. Сл. 1716 — [Прокопович Феофан]. В день рождества господа нашего Иисуса Христа. СПб., 1717.
- Пркв. Сл. 1717 — Слово в неделю осмую надесять, сказанное . . . через ректора, честнейшего отца Прокоповича. СПб., 1717.
- Пркв. Сл. 1717<sup>2</sup> — Надежда добрых и долгих лет Российской монархии, сын Богом данный. . . Петр Петрович . . . проповедию провозвещенна. . . Феофана Прокоповича 1716. СПб., 1717.
- Пуф. Ист. — Введение в гисторию европейскую. Чрез Самуила Пуффендорфия на нем. яз. сложенное. СПб., 1718.
- РРД 3 — Ранняя русская драматургия. XVII—первая половина XVIII в. Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974.
- РСП — Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970.
- Слава Рос. — Слава Российской. Комедия 1724 года, представленная. . . по случаю коронации Екатерины I. — Чт. ОИДР, 1892, кн. 2.
- Стефанотокос. — Резалов В. И. Памятники русской драматической литературы. — В кн.: Из истории русской драмы. М., 1910.
- Троя — История в нейже пишет о разорении града Трои. . . М., 1709.
- Филос. ест. — Философия естественная. . . яже на лат. языке В. Сенгвердием издана бе, ныне же на славенский язык преведенная. Рукоп. БАН 17.14.3. 1718.

## ОБЩЕСЛАВЯНСКОЕ И ДИАЛЕКТНОЕ В ЛЕКСИКЕ ПАМЯТНИКОВ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Общеславянское в лексике указанных памятников, являясь в основном праславянским наследием, было тем костяком, на котором зиждалась понятность этих памятников письменности почти в любом славянском крае, не говоря о том, что понимаемость облегчалась преобладанием общеславянских фонетических явлений и грамматического строя.

Как велика группа общеславянских слов, звучавших одинаково или по крайней мере очень близко в IX в. почти во всех славянских языках, как например ст.-сл. *дъшти*, др.-рус. *дъчи*, др.-чеш. *дъсі* и т. д., пока точно не установлено. Исходя из данных книги *Sadník—Aitzetmüller*, в которой, как известно, приведен словарный материал 20 памятников (сюда не мог войти еще Ен. ап. и, кроме того, на наш взгляд, необоснованно включены надпись царя Самуила и Пражские глаголические отрывки), мы попытались составить список общеславянских слов на буквы а—к, звучавших одинаково в IX—X вв. во всех славянских языках (см. приложение 1). Список этот мы сверили с данными существующих словоуказателей к отдельным памятникам и убедились, что в этом, хотя и учебном, словаре все же отражается лексика почти всех так называемых классических памятников старославянской письменности. К сожалению, этого нельзя утверждать о лексическом составе *Slovník'a jaz. stsl.*, где немало слов, отсутствовавших в классических памятниках старославянской письменности.

В нашем списке оказалось около 770 слов. Возможны отдельные пропуски. Некоторые спорные слова сюда не включены, как: *господъ*, *господинъ*, *гобино* и др.

Как известно, слова на начальные а/ѣ типа *ѧвти*/ѣ<sup>1</sup>*вти*, *ѧгна*/ѣ<sup>1</sup>*гна*, *ѧицѣ*/ѣ<sup>1</sup>*ици*<sup>1</sup> и т. д. отражают: первое — нейотированное дрёвнейшее произношение начального а-, второе — более позднее — ѹотированное его произношение. Надо полагать, что в речи первоначальных переводчиков такие слова звучали без ѹотации, о чем свидетельствуют и другие примеры: *ѧбъе*, *ѧли*, *ѧштѣръ* и т. д.

<sup>1</sup> Здесь и впредь при передаче ѕ (= 'а), ѿ (= ѿ) будем пользоваться способами графического изображения этих звуков в глаголице, т. е. єгнѧ [= єгни], єѡтти см [= єѡтти см], єѹрък [= єѹр'а] и т. д.

Касаясь слов с начальным б — баба, бедро, бедранъ, бэзводанъ, бэздына, бесѣда, быти, бичъ, бичела, боурѣ, былие и т. д., — следует все же обратить внимание на то, что отношение многих образований с префиксом бэз-/бес- к праславянскому наследию требует специального изучения, потому что некоторые из них могут оказаться книжными, возникшими при переводах, как: бэзаконанъ, бэзкинанъ рядом с нэкинанъ, бэзлобанъ рядом с нэзлобанъ; бэзлие имеет соответствие только в болгарском языке, поэтому, возможно, оно там и образовалось. Не исключено, что болѣзна < болѣ-(ти)+зна; ботѣзна < болѣ-(ти)+зна являются поздними образованиями, вероятно, поэтому они свойственны не всем славянским языкам.

Из слов на букву в великота и вѣгота требуют проверки, поскольку подобные образования обычно поздние и зафиксированы только как слова литературных языков. Бидца рядом с събѣдтель, вероятно, диалектное слово, как и др.-рус. виодокъ. Не исключено, что после проверки могут оказаться книжными: вѣплѣти, вѣперити, ср. мѣткни вѣперени вѣджтва на вѣстание (Супр 425, 1—2); вѣзабидѣти... Бѣлазъ рядом с вѣхода также требует объяснения.

Слово залазъ по типу образования относится ко многим отлагольным именам, но в нем не видно семантической связи с глаголом лазити, вѣлазити, так как употреблено для передачи греч. ἡ κίνδυνος 'опасность', в связи с чем требуется специальная проверка. Также запокѣда, передающее греч. ἡ ἐντολὴ 'поручение, наставление', относится к древнейшим отлагольным именам типа пропада, прѣпражда, сънѣда, тѣарда, оущида и т. п. Однако было ли запокѣда общеславянским или только диалектным словом, как например прѣпражда, оущида, пока не ясно и требует специальных разысканий.

Хотя кадити, кадило, кадиланъ употребительны во всех славянских литературных языках, но тем не менее необходима проверка с целью установления, действительно ли эти слова генетически общеславянские. В русском и украинском языках их употребление в основном связано с церковью и ее обрядами.

Словом, общеславянская лексика памятников старославянской письменности может быть бесспорно установлена только в результате монографических исследований. До этого приведенная цифра является лишь относительно объективной.

Другая группа праславянской по происхождению лексики отражена в памятниках с изменением праславянских \*tort > trat, \*tolt > tlat, \*tert > trѣt, \*telт > tlѣt, \*olt-, \*ort- > lat, rat, dj > zd', tj > št': брати, брана, брадзда, брѣгъ, бранъ, врати, врѣма, благъ, благо, власъ, вѣшти, гласъ, гласити, градити, дѣжда, зажда, исходжати, вѣшта, вѣбрѣшти, запрѣштати и т. п. (см. приложение 2).

Видимо, эту группу слов имел в виду А. Мейе, когда писал, что «архаический характер старославянского языка, достаточно ярко выраженный, чтобы легче вызвать представление об общеславянском языке, проявляется главным образом в фонетике и морфологии; словарь его — это словарь особого славянского языка, имеющий черты в значительной мере диалектные»<sup>2</sup>.

Действительно, праславянских слов, принявших южнославянское диалектное оформление, по данным словаря *Sadnik — Aitzetmüller*, около 260.

В ряде случаев наблюдаются написания *а'* вместо ожидаемого *жд*, например: *о роддсткѣ* его *въздоуїтъ га* (Л I, 14 Ac; *о рождасткѣ*. — Зогр, Мар; *о рожасткѣ*. — Остр); *некѣдасткомъ* (Хилин. л. II В а) вместо ожидаемого *некѣждасткомъ* — *εις ἀγνοίας*,ср. *некѣзестка* (Син. пс. XXIV, 7) — *ἀγνοίας*; за *некѣждастко* (Ефес IV, 18 Шишат. ап.) — *διὰ τὴν ἀγνοίαν*; *приходдахъ* (Супр 568, 25) при обычном *прихождадахъ* и т. п. Написания *роддство*, *некѣдастко*, *приходдахъ* вместо *рождество*, *некѣждастко*, *прихождадахъ*, по всей видимости, отражают произношение *dj* как *d<sup>3</sup>*, свойственное диалекту, на который впервые переводили греческие церковные книги.

Из словообразовательных особенностей прежде всего бросается в глаза широкое употребление приставки *из-/и-* в выделительном значении (более 200 примеров в словаре *Sadnik — Aitzetmüller*). Эта приставка в указанном значении характерна, как известно, для южнославянских языков. В Син. пс. и Клоц зафиксированы глаголы с приставкой *кли-* в том же выделительном значении, которое могло быть внесено в указанные памятники в западнославянских краях.

В целом в двух приведенных выше списках лексем праславянского происхождения насчитывается до 1030. Всего же слов на *а*—*к* в книге *Sadnik — Aitzetmüller* — 3432. Говоря иначе, праславянская по происхождению лексика здесь составляет 30%. По имеющимся данным, праславянская лексика в целом (на все буквы алфавита) в памятниках старославянской письменности доходит до 40%<sup>4</sup>. Низкий % в группе *а*—*к* праславянских слов объясняется тем, что, например, на *а* и *е* фигурируют в абсолютном большинстве греческие слова, поэтому из 225 слов на *а*, интересующих нас, славянских оказалось только 19; на *е* из 183 — тоже 19. Кроме того, например, на букву *б* зафиксировано 421 слово, из которых праславянскими являются не более 110, потому что здесь исключительно много калек в композитах с начальным *благо-* и *бого-*. Упомянем еще об образованиях на *-ение*, *-ание* и

<sup>2</sup> Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, с. 7, а также с. 395.

<sup>3</sup> В Син. пс. заметно выделяется западнославянский слой лексики. Об этом см.: Львов А. С. Старославянские *ништь*—*субогъ*—*небогъ*—*вѣданъ*—*маломощть*. — Slovo, br. 25—26. Zagreb, 1976, с. 161—163.

<sup>4</sup> Львов А. С. Праславянский слой старославянской лексики. — ВЯ, 1976, № 2, с. 73.

—иे, среди которых значительное количество слов образовано переводчиками для передачи греческих лексем с абстрактным значением, например: *безраздание* — *άθανασία*; *бесправдание* — *άδικία*; *безмаслтие* — *ήσυχία*; *блаждомысие*, *блажхолюбие*, *блазмаздие* — *ἀποβήτη*; *грабхопадение*, *глаголание*, *глоумление*, *длагослоужение*, *доброговѣние*, *дзхнокеніе*, *единожжніе*, *едногласіе*, *жрятніе*, *жестьорѣдніе*, *заблждение*, *забытие*, *заколение*, *злобѣрие*, *иномысление*, *исповѣданіе*, *издрѣшненіе*, *изобрѣтеніе*, *кокогоглащеніе*, *камъканіе*, *коумиро слоужненіе* и т. п. Если к сказанному добавить слова на -ота, -оста, -астко, -асткие, а также употребление, например, приставок *прѣ-*, *вѣз-* в необычных значениях (см. ниже), то окажется, что словарь памятников старославянской письменности в немалой степени насыщен искусственными образованиями. Так, в исследовании С. Слонского о функциях глагольных префиксов в старославянском языке приведено 144 глагола с приставкой *вѣз-/вѣз-*<sup>5</sup>, а в нашем списке из них фигурирует не более 30, которые действительно можно считать праславянским наследием, поскольку указанная приставка в них придает значение 'движение вверх' или 'наполнение'. Следует заметить, что многие искусственные слова по возможности образованы по существующим моделям деривации, поэтому многие из них были понятны и значительная часть их стала даже достоянием разговорной речи.

Конечно, для выявления, так сказать, естественных и искусственных слов в памятниках старославянской письменности потребуются специальные разыскания, без которых невозможно ответить, например, на вопрос: такие слова, как *длѣканіе*, *безгодие*, *бездѣждніе*, *вѣдніе*, *бестоудніе*, *вѣзвѣшненіе*, *вѣздѣдніе* и т. п., появились в языке в процессе обычного словообразования, или же они представляют собою продукт творчества переводчиков.

Таким же образом обычно признаваемые общеславянскими слова *багъра*, *книги*, *книазь*, *печатъ*, *скарѣд-*, *слоуга* и т. п. для древнерусского языка являются заимствованными из памятников старославянской письменности<sup>6</sup>.

Кроме всего прочего, в памятниках старославянской письменности зафиксированы такие диалектные слова, которые известны либо только по этим памятникам, либо находят соответствия только в современных южных или западных славянских языках. Приступим к рассмотрению этих слов.

<sup>5</sup> Słoniski S. Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosłowiańskim (starobułgarskim). Warszawa, 1937, с. 301—327.

<sup>6</sup> Лъвов А. С. Об учете вспомогательных приемов при этимологизировании. — В кн.: Этимология. 1967. М., 1969, с. 181, 189 и сл.; *Он же*. Лексика «Повести временных лет». М., 1975, с. 197—208, 230 и сл., с. 330—334; *Он же*. Этимология ст.-сл. *кънгы*—*кънгъчн*. — Балканско езикознание, 1971, XV, 2, с. 21 и сл.; *Он же*. Ст.-слав. печать—печаткаѣти. — В кн.: Этимологические исследования по русскому языку. Вып. II. М., 1962, с. 93—103; *Он же*. О словах с основой *скарѣд-* в славянских языках. — В кн.: Этимология. 1966. М., 1968, с. 149—153.

# I. Слова, известные только памятникам старославянской письменности.

Наречие *абиē*, *абиē* зафиксировано в большинстве памятников старославянской письменности, кроме Ен. ап., Киев. л., Мак. гл. л. и некоторых других мелких фрагментов, для передачи греч. εὐθέως, εὐθέως, παραχρῆμα, παρατίκα<sup>7</sup>, например: *приимъ же онъ ҳлѣбъ. Ізиде абиē* (И XIII, 30 Зогр, Мар) — ἐξῆλθεν εὐθέως; подобаєтъ же къпадающее неясное (къ кино ли въ масло. — А. Л.) изати *абиē* (Син. тр. 196. 1—2) — ἐπαιρεσθαι παραχρῆμα; Да къзкратиътъ ста *абиē* (Син. пс. XIX, 4) — ἀποστραφεῖσαν παρατίκα и т. п.

Рассматриваемое наречие только старославянское: оно не имеет соответствий ни в одном из живых славянских языков. Из памятников старославянской письменности *абиē* попало в памятники древнерусской письменности, но в языке не закрепилось. То же нужно сказать о болгарском языке. Остаются неясными генетические связи *абиē*, а вследствие этого и состав слова: \*abi-je или \*ab-ię? Имеется мнение, что слово заимствовано из балкано-романского<sup>8</sup>. Как бы то ни было, слово в языке первых переводчиков было обычным. Так, в Мар оно употреблено до 90 раз, в кратком апракосе Сав — 20 раз, в Остр — более 30 раз; в Син. пс. — только 2 раза; в Син. тр. — 6 раз, в Клоц — 2 раза; в Супр — более 100 раз.

Мы уже писали, что ст.-сл. *алъкати*, *къзлъкати*, *алъканъ*, *алъчъба*, *алъчъна* представляют собою фонетический диалектизм<sup>9</sup>, отражающий древнейший способ образования открытого слога. Основа *алък* — также, несомненно, является древнейшим старославянским диалектизмом.

Единично зафиксированное в Супр *јато* для передачи εἴτος, ср.: *иѣ(етъ)* *къкоусила* *ни јата* *ни пигти* (Супр 520, 1), также не имеет соответствий в живых славянских языках и является только старославянским словом. Пытаются сблизить его с корнем *jad-* из *јада*, *јада*, *јада*<sup>10</sup>, но при этом остается необъясненным оглушение *d* > *t* в рассматриваемом слове.

Еѣтъ в переводе съмфона ‘соглашение, говор, договор’ известно только в памятниках старославянской письменности, ср.: *иши о слоужебѣ пекжъ сѧ онъ*. (Иоуда. — А. Л.) *еѣтъ ткоритъ* (Супр 415, 24—25) — съмфона *потеї*; *еѣта не сактористе на ѡрова* (там же 397, 2). Нет сомнения, что *еѣтъ* того же корня, что *сакѣтъ*, *стѣкѣтъ*, *закѣтъ* < \*vait- ‘говорить, обсуждать’, но в известных славянских языках форма *вѣть* в указанных значениях не фиксируется, поэтому *еѣтъ* является только старославянским словом.

<sup>7</sup> Sadnik—Aitzetmüller, с. 13; Slovník jaz. stsl. I, с. 3.

<sup>8</sup> ЭССЯ 1, с. 51 и сл.; Słownik prasłowiański I, с. 149; Фасмер I, с. 56; Berneker I, с. 23; Преображенский I, с. 2; и др.

<sup>9</sup> Лъвов А. С. Праславянский слой старославянской лексики, с. 83 и сл.

<sup>10</sup> Miklosich, с. 98; Sadnik—Aitzetmüller, с. 212; Trautmann BSW, с. 66.

Таким же образом *κλεψίτης* τόχος ‘прибыль’: подоба чи вѣ дати *серебро* мою прикоупъ творашгимъ и азъ приша д’ оубо *κλεψαλ* *εγώ* мою съ *κλεψити* (Супр 370, 1) — сѹ тóхъ (см. еще там же 377, 16). Приведенное является цитатой Мф XXV, 27; в евангелиях она читается: *κλεψа* оубо *ειμι* съе *εγώ* *λιχθω*. Последнее слово признается заимствованным из гот. *leihva* ‘заем, ссуда’<sup>11</sup>.

Вероятно, слово *κλεψи* в значении тóхос внесено в поздние переводы. Тем не менее интересующее нас слово, впервые зафиксированное в памятниках старославянской письменности, представляет образование от глагола *κλεψи* < \*vi-(ti)-< \*vei-/voi- ‘увеличиваться’<sup>12</sup> и являлось принадлежностью, видимо, какого-то болгарского диалекта.

Глаголъ, глаголати — исключительно часто употребляемые слова, особенно глагольные формы, основа этих слов представляет образование способом редупликации звукоподражательных *\*gol-gol* > глаголъ. Такое древнейшее по происхождению образование было известно не только старославянскому языку, потому что в русских диалектах зафиксировано *гологолить*<sup>13</sup>, *колокол*, *балаболить* < *<balobaliti*: чеш. *hlahol*, *hlaholiti*<sup>14</sup> и др.; но последние до сих пор полностью не освободились от звукоподражательного происхождения, а ст.-сл. глаголъ, глаголати полностью нейтральные в семантике слова, и в этом смысле они только старославянские<sup>15</sup>.

Гржетокъ для перевода *χαλεπός* ‘трудный, тяжелый, опасный’ зафиксировано в примерах: пр(иближ)ат’ са къ мѣс(тоу) томоу гржетокуому. идѣже п(аки) разлчачат’ са (Рыл. гл. л. V, 3); и сакѣдѣтельсткоуєтъ сарра... гржетокадо неплодастка. работаизша страсти (Супр 250, 1—4) — тѣ *χαλεπѣ* тѣс стеирѡсеос бουлеўсаси пайдеи. Поскольку это прилагательное не имеет соответствий в славянских языках, то остаются неясными его генетические связи. При этом сближение с *грусть* наталкивается на фонетические трудности, так как последнее искони с *и(оу)* в корне; сближение с *грузъ*, ст.-сл. \*гржзъ,ср.: *раба* *закисти* *погопъ* *погржити* не може (Супр 400, 24—25), — мало убедительно, потому что предполагает образование сущ. \*гржз+тъ > \*гржета от последнего прилаг. гржетокъ или -стка<sup>16</sup>. Как бы то ни было, гржетокъ известно только памятникам старо- и церковнославянской письменности.

Клачытъ, клачытати: творашгъ клачечтъ зѣбѣ его (Син. тр. 45а, 2); мол... на(а) траасциумъ са траасвицей клачытициж

<sup>11</sup> Berneker I, с. 717; Фасмер II, с. 504 и сл.

<sup>12</sup> Лъвов А. С. Лексика «Повести временных лет», с. 149—151.

<sup>13</sup> Словарь русских народных говоров, вып. 6. Л., 1970, с. 314; Фасмер I, с. 430.

<sup>14</sup> Gebauer J. Slovník staročeský, d. I. Praha, с. 419 и сл.; Macheck<sup>2</sup>, с. 166.

<sup>15</sup> Лъвов А. С. Праславянский слой старославянской лексики, с. 82.

<sup>16</sup> Berneker I, с. 356; Sadnik—Aitzetmüller, с. 240; Фасмер I, с. 465, и др.

зъбъи (там же 44а, 18—21). Значение рассматриваемых слов ясно: ‘стук, стучать’ (зубами); образованы же они от основы звукоподражательного происхождения **клак**+**-тъ** >**клачатъ**. Такое образование с суф. **-тъ** зафиксировано в Син. тр. и в некоторых других памятниках церковнославянской письменности<sup>17</sup>. Обычным суффиксом, присоединяющимся к основам звукоподражательного происхождения, является **-ть**, **-оть**, реже **-тъ**, **-еъ**, как: **скржатъ**, **трепетъ**. Наряду с **клокотати** от **клокотъ**; **кокота**, **ропатъ**, **клекотъ** и т. п., как видим, существовали **клачатъ** или **клечатъ**, **клачатати**. Поскольку последние впервые зафиксированы в памятниках старославянской письменности, то их можно считать только старославянскими словами, потому что нигде больше они не фигурируют.

**Къкъна**, или **къкънѣ**, **и** **ху́мъ** ‘голень’. Это слово лишь один раз встречается в Супр: и **пакъ** **и** **благоколитъ** **гъ** **и** **къкъну** **мѫжъскоу**. и да **и** **хъкалитъ** **са** **силашни** **и** **крѣпости** **свои** (546, 13—15) — **и** **таи** **хлѣмъ** **и** **тоб** **ѧндроу**. Подобное же предложение в пс. CXLVI, 10 (Болон, Вен, Погод и др.), а также в Пандектах Антиоха сп. XI в. читается: **ни** **и** **лѣгътъхъ** **мѫжъсцѣхъ** **благоколитъ**<sup>18</sup> — **и** **оѣ** **и** **таи** **хлѣмъ** **и** **тоб** **ѧндроу** **є** **бѣдоке**. **Лѣгътъ** известно многим славянским языкам в значениях ‘голень’, ‘икра ноги’ и ‘вся нога’<sup>19</sup>.

**Къкъна** в значении **лѣгътъ** — явный диалектизм, по-видимому, внесенный при переводе в Житие и Аѣдание преподобного Аннина (см. Супр. 543, 13) в Болгарии, возможно, в Симеоновскую пору. Этимология **къкъна** неясна<sup>20</sup>.

Одежда как передача **ѡѹи** ‘одеяние, покров’; **ιματισμός** ‘одеяние, одежда’, **столъ** ‘одеяние’ и других — употребительное слово, и оно зафиксировано во многих памятниках<sup>21</sup>, но наряду с этим словом в том же значении употребляется и **одѣниe**, ср.: **сѧклъкше со мнѣ** **честынижъ тѣсъ** **одѣждї** (Син. тр. 78а, 24—26); **и** **облѣчена** **и** **одѣниe** **брачаное** (там же 106б, 14—15) — эта цитата Мф XXII, 11; **кидѣша** **юношъ...** **одѣни** **и** **одѣждї** **вѣлѣ** (Мк XVI, 5) — **столънъ леукъу;** **дѣба** **листки** **казамъ.** и **сѧникъ** **себѣ** **и** **одѣждї** **сѧткори** (Супр 347, 29—30) — **περιβѣла** **и** т. п.

Одежда, как полагают, относится к образованиям на **-ја**, который присоединялся к редуплицированной основе **\*oded-ja**. А. Мейе допускает, что **одежда** образовано по образцу настоящего времени **одеждї**, ср.: **чимъ одѣждемъ** **са** (Мф VI, 31 Зогр, Мар, Ас и др.) — **ті** **περιβѣлѡмѣдъ**; **и** **одѣждїтъ** **са** **ቻко** **одѣждեй** **сгоудомъ** **свомъ** (Син. пс. CVIII, 29) — **περιβѣлѣсѡсахъ** **ѡсє** **ධїлкоидъ** ‘облекутся как

<sup>17</sup> Срезневский I, стб. 1219.

<sup>18</sup> Северянов С. Супрасльская рукопись, т. 1. СПб., 1904, с. 546, Примечания; Slovník jaz. stsl. II, с. 542.

<sup>19</sup> Даљ<sup>4</sup> В. II, стб. 718; Фасмер II, с. 542.

<sup>20</sup> Berneker I, с. 659; Sadnik—Aitzetmüller, с. 258.

<sup>21</sup> См.: Slovník jaz. stsl. II, с. 515 и сл.

двойным плащом<sup>2</sup>. Отсюда одѣжда — отглагольное имя, так же как и надѣжда. По предположению А. Мейе, такие образования — позднего происхождения<sup>22</sup>. Вероятно, это так, потому что рус. одѣжда, с.-хорв. одѣда — явные церковнославянанизмы<sup>23</sup>. В древнерусском в значении ст.-сл. одѣжда употреблялось пъртꙑ, портꙑ<sup>24</sup>.

Таким образом, одѣжда является, так сказать, обычным словом только для памятников старославянской письменности.

Прѣпражда, как название вида одѣжды, передает греч. ἡ πορφύρα в значении солдатского одѣяния или плаща багрового цвета<sup>25</sup>: и облѣша и καὶ πρѣпражда... и ειδαχж и по глагѣ тѣстикъ и плюѣхж на нѣ... и егда поржгаша са... емоу. Съклица съ него прѣпражда. и облѣша и καὶ ризы скоя (Мк XV, 17—20 Ас) — ἐνδιδόσκουσιν αὐτὸν πορφύραν... ἔξεδόσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν. Как писали, прѣпражда, несомненно, является отглагольным существительным от \*грѣргодіти ‘пережаривать’, а прѣпражда — ‘цвет пережаренного’ или то же, что и ‘багровый’. При этом прѣпражда, прѣпражданы являются только старославянскими словами, которые в Моравии адаптировались в форме праਪражда, праਪражданы, а в Болгарии заменились на баಗրѣница, баگرېنى<sup>26</sup>.

Оушидѣ зафиксирован всего один раз в Супр: καὶ ρაғанізмъ оүбѣже... коннъ зоушидѣ ҳрабъръи пачнникъ (93, 10—11) — фуγাস ‘беглец, беглый’. В памятниках церковнославянской письменности также фиксируется оушидѣ, -ѧз<sup>27</sup>. По всему видно, что рассматриваемое слово образовано от причастной формы (оу)шадѣ. При образовании имени существительного на -и(ъ) произошло удлинение гласного основы, так же как и в других подобных случаях: ‘тѣкорити → тѣкарь, рѣкъ → рѣчъ<sup>28</sup>. Такие образования, видимо, относятся к поздней праславянской эпохе, когда еще существовали краткие и долгие гласные. Слово оушидѣ возникло в диалекте, в чём едва ли могут быть сомнения, поскольку это старославянское слово не имеет соответствий в других славянских языках.

В Супр читаем: шиблѣхж и (Ислакиа. — А. Л.) ҳр҃заны (192, 19) — φραγέλλη. В евангелиях это греческое слово передано славянским бичъ, ср.: и съткорі ѿко бичъ о(т) врѣки (И ХII, 15 Ас

<sup>22</sup> Meillet A. Études sur l'étymologie et vocabulaire du vieux slave. 2<sup>me</sup> éd. Paris, 1961, с. 397; Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951, с. 289.

<sup>23</sup> Лъвов А. С. Лексика «Повести временных лет», с. 67; Skok I, с. 414.

<sup>24</sup> Там же, с. 67, 103, 351.

<sup>25</sup> Bauer W. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. 5. Aufl. Berlin—New York, 1971, стб. 1376.

<sup>26</sup> Подробнее об этом см.: Лъвов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966, с. 220 и сл.

<sup>27</sup> Срезневский III, стб. 1343 и сл.

<sup>28</sup> Мейе А. Общеславянский язык, с. 238 и сл.; Meillet A. Études..., с. 265.

и др.) — καὶ ποίησας φραγέλλιον ἐκ σχοινίου. Бичь — известное образование имени способом присоединения к глагольной основе суффикса -сь<sup>29</sup>. Хръзанъ восходит к иран. \*xaraθān ‘погоняющий слов’, откуда арм. xarasān ‘бич’. Не исключено, что ст.-сл. Хръзанъ заимствовано через ср.-греч. χαράζων ‘бич’<sup>30</sup>. Кстати, в Супр в том же Жигти Исадкиа, где зафиксировано слово хръзанъ, имеется и слово бичъ, ср.: и различно и каждо видахъ и. ови пръстиемъ ски бичъ, а дроузни жазлиемъ (193, 5—7), в греч. и здесь на месте бичъ фραγέλλη.

Надо полагать, что существовала разница в семантике между Хръзанъ и бичъ, потому что сказано: шибаахъ и Хръзанъ, но бидахъ и... бичъ, хотя в обоих примерах в греческом глагол *ραστίζειν*. Шибати употребляется, когда обозначают сильный удар, вызывающий звук, например: громъ [шибаше; камениемъ шибаахоу<sup>31</sup> и др. В Пандектах Антиоха сп. XIV—XV вв. сказано: εἰς τὸ ιγυμένιον Χρόζανον(ι) βιετὴ βρα(τ). да иметъ епитетъ γλα(т)<sup>32</sup>, что подтверждает, что Хръзанъ — более мощное орудие в сравнении с бичъ. В этом смысле употребление Хръзанъ с глаголом шибати оправдано. Заметим, что Хръзанъ не имеет соответствий в живых славянских языках, поэтому его следует считать только старославянским словом.

ІАЗЫКЪ в передаче єθнос — широко употребительное слово. Так, в Мар оно зафиксировано более 30 раз, в Сав около 20, в Остр более 20, в Син. пс. более 70 раз, а в Супр уже менее 10 раз, но зато в том же значении здесь 9 раз употреблено сграна. Несколько примеров: καστανετъ бо іазыкъ. на іазыка (Мк XIII, 8 Мар, на іазыка. — Зогр) — єθнос ἐπ' єθνος; сего обрѣтомъ. разграштавшта іазыкъ наша (Л XXIII, 2 Мар) — διαστρέφοντα τὸ єθνος ἡμῶν; іазыкъ потрѣби (Син. пс. XLII, 3) — єθνη єξωλόθρευσε; καскожъ разгнѣкаша сѧ аязыци (Супр 243, 16—17) — цитата пс. II, 1 с заменой шлаташа сѧ на разгнѣкаша сѧ: ἐφρύξαν єθνη; и сграны къ себѣ си съзъкоупи (Супр 341, 27) — єθнη... сўнафын и т. п.

Рассматриваемое слово в значении ‘народ’ — только старославянское. А. Мейе полагает, что іазыкъ в передаче та єθна является калькой с административного лат. *lingua*, употребительного в Малой Азии<sup>33</sup>. ІАЗЫКЪ в указанном значении имеет и производные іазычанъ, іазыческъ, іазычникъ, ср.: И поклонята сѧ прѣдъ нимъ вѣсѣ отг҃частка іазычна (Син. пс. XXI, 28) — αἱ πατραὶ τῶν єθνῶν; печете сѧ творити іазыческѣ вѣсѣ (Рыл. гл. л. II б, 30—31) —

<sup>29</sup> Słownik prasłowiański I, c. 102.

<sup>30</sup> Фасмер IV, с. 277; Sadnik—Aitzetmüller, c. 244.

<sup>31</sup> Среднеевский III, стб. 1592.

<sup>32</sup> Там же, стб. 1408.

<sup>33</sup> Мейе А. Общеславянский язык, с. 411; Фасмер IV, с. 551.

πράττει τὰ τῶν ἐθνῶν; οἵτις δέ τοι οὐ πότερον ἐθνικός καὶ ὁ τελώνης.

Все эти факты показывают, что слово *языкъ* в передаче *ἔθνος* с производными было употребительно в языке первых переводчиков. Позже их стали заменять более понятным *страна*, но *язычникъ* в значении 'нехристианин' продолжало употребляться.

Мы ничуть не исчерпали списка диалектизмов, а остановились только на наиболее ярких, собственно старославянских диалектизмах. Они свидетельствуют о том, что диалект, на который делались первые переводы, имел свои характерные слова, источники которых не всегда ясны.

В памятниках старославянской письменности зафиксированы слова, которые, как отметили, имеют соответствия либо только в южных, либо только в западных славянских языках. Остановимся на некоторых из них.

## II. Слова с южнославянскими соответствиями.

Язъ, с древнейшим нейотированным начальным *а*, как утверждает В. И. Абаев, совпадает с иранским *az*, *azu*<sup>34</sup>. В других индоевропейских языках это местоимение с начальным *e*, ср. греч. *ἐγώ* лат. *ego*, ст.-лит. *es* и т. д., что затрудняло объяснение начального *a* в славянском. Во всех славянских языках, кроме болгарского литературного (но в болг. диал. фиксируется и *язъ*), начальный *а* в *азъ* получил йотацию<sup>35</sup>, отсюда др.-рус. *язъ*, *я*, также и в других славянских языках<sup>36</sup>. Ст.-сл. *азъ* отражает древнейшее произношение начального *a*, так же как и в словах *абѣ*, *акити*, *агода*, *агна*, *агица*, *аице*, *ако*, *аштегъръ* и др.

Багъръ, багърѣнъ, багърѣница, багърѣти, ср. *багъръ* одеждыни (Супр 438, 16) — порфиръ столъ; облѣкоша и къ багъраницѣ (Мк XV, 17 Остр въ прѣпѣждѣ. — Ас [и др.]; въ ризѣ багъранѣ облѣкоша и (И XIX, 2 Остр; прѣпѣждѣнѣ. — Ас и др.); крѣвиц... багъримъ вѣчѣше (Супр 397, 15—16).

Эти до сих пор невыясненные в отношении этимологии слова<sup>37</sup> имеют бесспорные соответствия в болгарском языке и его диалектах<sup>38</sup>. Что касается восточнославянских языков, то в них слова с основой *bagr-* для обозначения цвета заимствованы из церковных книг. Принадлежность слов с основой *bagъr-* болгарскому и македонскому языкам искони подкрепляется и тем фактом, что

<sup>34</sup> Абаев В. И. Несколько замечаний к славянским этимологиям. — В кн.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков. М., 1971, с. 11.

<sup>35</sup> Мейе А. Общеславянский язык, с. 69; Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, с. 186.

<sup>36</sup> Фасмер IV, с. 538.

<sup>37</sup> Słownik prasłowiański I, с. 178 и сл.; ЭССЯ 1, с. 130 и сл.; Фасмер I, с. 103; Berneker I, с. 38; Skok I, с. 90.

<sup>38</sup> БЕР I, с. 24 и сл.

в болгарских списках церковных книг первичное прѣпражда, прѣпражданъ заменяли на багрѣница, багрѣнъ<sup>39</sup>. Думаем, что отнесение багр- к образованиям типа гьdrгъ, sěтgъ, modгъ<sup>40</sup> ошибочно. Дело в том, что в указанных словах суффикс -г- присоединяется непосредственно к корню или непроизводной основе,ср. \*гьdѣti — гьdrгъ, сѣтvъго — сѣтvъrgъ, rastи, rostи — razga, rozga и т. п. Отсюда от багати должно бы быть багръ, но в Супр 5 раз написано багр-, пишь 'один раз баг'ра, так же как и аб'е, вѣз'пиги, к'дѣ и т. д., т. е. написание баг'ра свидетельствует, что здесь пропущен з между г' и р. В Остр все 4 раза находим написание багр-. Известно, что в славянских языках сочетание -gr- не разъединялось вставкой между ними з. Все это свидетельствует о том, что багр-, вероятнее всего, неславянская основа; возможно, что она тюрко-булгарская, но об этом специально в другом месте.

**Бракъ**, брачанъ в переводе γάμος, γάμου употреблены в евангелиях, в Син. тр. и Супр. Слово имеет соответствие только в макед. brak, brakъ, brakuvi, brakovam 'брак', 'свадьба', 'проводить свадьбу', а в других славянских языках — болгарском, сербохорватском, русском, украинском — слово брак, несомненно, книжное слово, церковнославянизм<sup>41</sup>.

**Бѣхъма, бѣшиж**, ср. Бѣдѣ же оу нею бѣхъма не вѣаше (Супр 547, 29); не поклонж са имъ (языческим богам. — А. Л.) бѣхъма (там же 261, 2); не оугтжнихъ бѣшиж божаствомъ (там же 503, 2—3). Эти слова, зафиксированные только в Супр и передающие греч. τὸ σύνολον, πάντη, ὅλος и др., имеют соответствия в болгарском в виде бѣхъ, бѣшиша 'скрывание истины'; с.-хорв. баш< бѣшишъ, 'именно, как раз'; словен. baš 'точно так, прямо'<sup>42</sup>. Бѣхъма, бѣшиж, несомненно, вторичные слова, заменившие в Болгарии первичное отънижда, ср.: не клати са отънижда небома (Мф V, 34 Зогр, Мар) — μὴ ὄφεσας ὅλως; I не могжши касклонити са отънижда (Л XIII, 11 Зогр, Мар, Ас и др.) — εἰς τὸ παντελές и др.

**Крачъ, іатрос**, как известно, находит соответствие только в южнославянских языках<sup>43</sup>; в восточнославянских языках оно, несомненно, книжное. В евангелиях употреблено слово крачъ только в формах существительного, но в других памятниках, особенно в Супр, зафиксированы и производные в виде других частей речи: крачеканъ, крачекасъ, крачевати. Этимология слова крачъ неясна. Предполагают, что это слово образовано от корня \*ver-/

<sup>39</sup> Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913, с. 316; Лъвов А. С. Очерки по лексике..., с. 222.

<sup>40</sup> Słownik prasłowiański I, с. 178.

<sup>41</sup> Трубачев О. Н. История славянских терминов родства. М., 1959, с. 147; Berneker, I, с. 84; Фасмер I, с. 206; БЕР I, с. 73; Skok I, с. 197.

<sup>42</sup> Berneker I, с. 107, Skok I, с. 91 и сл.; БЕР II, с. 105; Słownik prasłowiański I, с. 464.

<sup>43</sup> Фасмер I, с. 361; Skok III, с. 616; БЕР III, с. 183.

\**vor-* со значением ‘говорить’; при этом указанный корень соотносят с лат. *verbum*, нем. *Wort*. Однако глагол от корня \**ver-*/ \**vor-* в значении ‘говорить, колдовать’ в славянских языках неизвестен. Что касается рус. *врать*, от которого наряду с *враль* фиксируется и образование *врач* ‘лгун, обманщик’<sup>44</sup>, то этот глагол не имеет древних связей, по всей видимости, он позднего происхождения. Сближение ст.-сл. *врач* со звукоподражательным \**vъrkati* или \**vъrkѣti*, рус. *ворчать* совершенно необоснованно, так как неясен способ образования \**vъrk-jo > врач*? Как бы то ни было, слово *врач* в памятниках старославянской письменности является южнославянским диалектным словом.

Къзглакница зафиксирована только один раз Мк IV, 38 в Мар: *і вѣ самъ на кръмѣ на къзглакници сѧла* (л. LI); на дохътърѣ. (Зогр) — *ἐν τῇ πρόμην ἐπὶ τῷ προσκεφάλαιον*. Конечно, къзглакница точно передает греч. προσκεφάλαιον, при этом къзглакница имеет соответствие в современном болгарском языке<sup>45</sup>. Однако остается неясным употребление дохътърѣ в Зогр и Малых пророках Упрыя Лихого на месте греч. προσκεφάλαιον<sup>46</sup>. Если дохътърѣ — тюркизм (правда, данные в пользу такого мнения мало убедительны)<sup>47</sup>, то это слово могли употребить только первые переводчики. Если же оно, как полагает К. Горалек, моравизм<sup>48</sup>, то и в этом случае оно могло быть употреблено при переводе комплекторных частей тетра в Моравии, потому что Мк IV, 38 в краткие апракосы не входил.

Таким образом, пока остается в силе высказанное допущение, что диалектизм къзглакница в памятниках старославянской письменности — вторичное слово, употребленное взамен дохътърѣ<sup>49</sup>.

Бѣниги сѧ употреблено Мф X, 29 и Л XII, 6 в Ас, Зогр и Мар в переводе греч. πολέόματι, и это слово находит соответствие в македонском языке<sup>50</sup>. Имеются основания считать, что это слово ввели в употребление первые переводчики.

Зафиксированное в Супр дρѣкодѣла: комоу же се. не сеноу ли дрѣкодѣли іѡсифоу (246, 12—13) — тѣ тѣхтѡи<sup>51</sup>. В евангелиях греч. тѣхтѡи оставлено без перевода<sup>52</sup>: не сѧ ли есѧ тѣ к'гопокъ сѧ (Мф XIII, 55 Зогр, Мар) — тоб тѣхтѡнос сио́с; не сѧ ли есѧ тѣк'гопоз. сѧ маринъ (Мк VI, 3 Зогр, Мар) — о тѣхтѡу, о сио́с тѣс Маріа́с.

<sup>44</sup> Словарь русских народных говоров, вып. 5. Л., 1970, с. 188.

<sup>45</sup> Речник на съвременния български книжовен език, св. 1. София, 1954, с. 153; БЕР IV, с. 244.

<sup>46</sup> Срезневский I, стб. 719.

<sup>47</sup> Фасмер I, с. 533.

<sup>48</sup> Horálek K. Stsl. dochътърь (\*dъchътърь). — Slavia, 1947, гоč. XVIII, с. 1—2, с. 57 и сл.

<sup>49</sup> Лъзов A. C. Очерки по лексике..., с. 204.

<sup>50</sup> Там же, с. 218 и сл.

<sup>51</sup> Другие примеры см.: Slovník jaz. stsl. I, с. 524.

<sup>52</sup> Jagić V. Entstehungsgeschichte der kirchen Slavischen Sprache, с. 320.

Заметим, что процитированные места не входили в краткие апракосы. Они, следовательно, переведены в Моравии, где, как видим, не нашли необходимым перевести греч. *τέχτω*. *Δρέκοδελτα* и поныне находит себе соответствие в болг. *дърводелец*<sup>53</sup>.

Ясно, что *Δρέκοδελτα* в памятниках старославянской письменности вторичное слово, употребленное в переводах, выполненных в Болгарии.

Кстати, таким же вторичным является *καζδούχъ*, *καζдоушанъ* на месте *ἀήρ*, *ἀέριος*, потому что в ряде старших памятников употреблены непереведенные греческие слова, ср.: *Τεμνηνα κόδι κα οβλαιψήχъ λεργανιχъ* (Син. пс. XVII, 12) — *ἐν νεφέλαις ἀέρῳ*; *на севлацѣхъ по лероу* (Син. тр. 71а, 11—12) — *εἰς ἀέρα*. Даже в Супр один раз: *εἴσκι σκжшда на лерѣ* проженетъ (482, 11—12), но в этом памятнике более 10 раз вместо лерѣ употреблено *καζдоуҳъ*, например: *вѣаше же и каздоуҳъ стоуденъ* (76, 13—14); *на каздоуҳъ... гласъ испоушглааше* (210, 24—25); *каздоушаніхъ вѣдъ скобождени вѣша* (531, 7—8) и т. п.

Далее перечислим некоторые южнославянские диалектизмы, рассмотренные нами в другом месте<sup>54</sup>: *негъкѣда* вместо *тама* *μηρίος*; *небѣстникъ* вместо *женихъ* *υφισίος*; *ништъ πτωχός*; *онзица* *బె*, *బెను*; *оноушта* вместо *лапогъ*; *писма* вместо *книги*; *глана πάχνη*; *съборъ*, *събориштѣ* вместо *сънъмъ*, *сънамиштѣ* и некоторые другие. Кроме того, сюда же относятся и тюркизмы как суперстратные слова<sup>55</sup>.

### III. Слова с западнославянскими соответствиями.

В памятниках старославянской письменности можно выделить целый ряд бесспорных западнославянских диалектизмов, или моравизмов. Остановимся на них, отнюдь не претендую исчерпать их количественно.

Ишютъ. Из классических памятников старославянской письменности это наречие зафиксировано только в Син. пс. и Клоц, моравское происхождение которых едва ли подлежит сомнению<sup>56</sup>. Кроме того, рассматриваемое слово имеет соответствие в ст.-чеш. *ješut* с производными *ješutný*, *ješutnost*<sup>57</sup>, совр. чеш. *ješitný*. Впервые предположение, что *ишютъ* моравизм, высказал В. Ягич<sup>58</sup>. Мы тоже писали об этом слове<sup>59</sup>. Ныне как будто сомнения, что

<sup>53</sup> Речник на съвременния български книжовен език, св. 2, с. 305; БЕР VI, с. 439.

<sup>54</sup> Лъвов А. С. Очерки по лексике. . . ; *Он же. Старославянские ништъ. . . ; Он же. Праславянский слой старославянской лексики.*

<sup>55</sup> Лъвов А. С. Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской письменности. — В кн.: Славянское языкознание. М., 1973, с. 211—228.

<sup>56</sup> Доводы в пользу перевода псалтыри целиком в Моравии см.: Лъвов А. С. Старославянские ништъ. . . , с. 161 и сл.

<sup>57</sup> Gebauer J. Slovník staročeský, с. 638 и сл.

<sup>58</sup> Jagić V. Enstehungsgeschichte. . . , с. 199 и 396.

<sup>59</sup> Лъвов А. С. Очерки по лексике. . . , с. 20 и сл.

дшнта не западнославянизм, исчезли, поэтому без оговорок констатируется принадлежность рассматриваемого слова к чехоморавизмам<sup>60</sup>.

Бални, *ἰατρός*, как известно, употребляется преимущественно вместо врача и, кроме того, в памятниках, западнославянское происхождение которых не оспаривается. К ним относятся Син. пс., Син. тр., Клоц, Киев. л., ср.: *балиа* *κλερκσιята* (Син. пс. LXXXVII, 11; *врачесе*. — Болон. пс.) — *ἰατροί* *ἀναστήσουσιν*; в Син. тр., кроме *бали* (84а, 4), употреблены и производные: *баластко*, *балование*, *оубаловаетъ* *са*; *аштѣ* *ли...* *не* *κλεχотѣ* *баластка*. *бали* *непокинула* (Клоц ба, 40); *баластко* *естъ* *то* (Киев. л. ба).

Эти данные являются основанием для допущения, что слово вошло в памятники старославянской письменности в Моравии. Что касается употребления слова *балии* в Мар, то этот факт объясняется адаптацией, так же как и замена здесь *стерь* на *единца*<sup>61</sup>.

Басна, зафиксированное в Супр: *басна* *κραγτитані* *проклаша* *ма* и *богъ* *ихъ* *мжчитъ* *ма* (222, 5—6) — *тâха* ‘без основания, напрасно’; не гнѣба *са* на *та*. *басна* *рекж* *ти* имже *милостика* *естъ* (226, 18—20) — *тâха* ‘поэтому’ (?); что ли *рекж*. *басна* *покажжта* *сат*-*коренна* *истинж* (432, 17) — *тâха* ‘может быть’, и др.

На первый взгляд, слово имеет соответствие в западнославянских языках, ср. чеш. и словац. *vašej* из ст.-чеш. *vašně* < \**vasnja* ‘ страсть, увлечение’; пол. *waśń* ‘несогласие, раздор, спор, скора’; в.-луж. *vašňa* ‘причуда’<sup>62</sup>. Но здесь явное расхождение в семантике, а также то, что ст.-сл. *басна* — наречие, а в западнославянских языках оно существительное. Словом, необходимы специальные разыскания для решения вопроса о соотношении *басна* — *ваšej* — *waśń*.

О западнославянском происхождении наречия *белами* мы уже писали<sup>63</sup>. Основания для такого заключения следующие: в евангелиях этого слова нет; в Син. пс. *вельми* встречается всего 2 раза при 30-кратном употреблении там же *стѣло*, ср.: *съмѣрихъ* *сѧ* *белами* (Син. пс. CXVIII, 107); *съмѣрихъ* *сѧ* *стѣло* (XXXVII, 9) — в обоих случаях переведен: *ἐπαπεινάθευ* *ἔως* *σφόδρα*; в Син. тр. приведенные наречия встречаются по 5 раз каждое; в Клоц — по два раза, но в последнем возможно семантическое различие, потому что слово *белами* передает греч. *μᾶλλον*, а *стѣло* — *λίαν*, *ὅντως*; *κλε-дѣхни* *белами* (3б, 37) — *στέναξον* *μᾶλλον*; *стѣло* *Δ(о)бра* (10а, 7) — *λίαν* *καλά*; *стѣло* *κα* *истинж* (12б, 18) — *ὅντως* *ἀληθῶς*. В Киев. л.

<sup>60</sup> Słownik prasłowiański I, с. 162 и сл.; ЭССЯ 1, с. 89 и сл.

<sup>61</sup> Лъвов А. С. Очерки по лексике..., с. 90 и сл.

<sup>62</sup> Machek<sup>2</sup>, с. 678; Slovník slovenského jazyka, d. V. Bratislava, 1965, с. 25; Podręczny słownik języka polskiego. Warszawa, 1957, с. 397; Brückner, с. 603; Фасмер I, с. 277.

<sup>63</sup> Лъвов А. С. Чешско-моравская лексика в памятниках древнерусской письменности. — Славянское языкознание. М., 1968, с. 320 и сл.

встречается только *велми*. Помимо всего прочего, *velmi*, *wielmi* в западнославянских языках издавна и поныне обычное наречие.

Братъкъ. Это прилагательное зафиксировано всего один раз в Супр: *пълзялъ нашъ съмъ*. братъка наша мыслъ (410, 4) — *εὐτερὶ τρέπτον ἡ προαίρεσις*, ср. чеш. и словац. *vratký* ‘неустойчивый’<sup>64</sup>. Другие славянские языки не фиксируют образования от \*vert-/ \*vort-+ъкъ >*vratъkъ*, \**воротъкъ*.

Далее к западнославянизмам относятся:

господъ, употребленное Л X, 34 Сав вместо *гостиница*, *пандохею*, — в других; *казамъ же* и *на скотъ скотъ*. приведе же къ господж. и прилежа ема (Сав. л. 56)<sup>65</sup>.

дрекле вместо *прѣждѣ*, *пѣлай*; драколъ, *чѣлонъ*; кратъ — кратъ, как: колъ кратъ... *седма* кратъ (Мф XVIII, 21 Мар) вместо *-шадзи*, *-жадзи*; иштадиє, *γένυημα*; маломощта *κυλλός*, *ἀνάπηρος*; неприѣзда, *πουηρός*; неѣглакъ, *ἀγνώμων*; оплатъ, папежъ, потавѣга, *ρѣснота*, *ρѣснотиваніи*, *скартѣдокати*, *оубогъ*, *оубожаство* и другие являются западнославянизмами, и они рассмотрены автором в других работах<sup>66</sup>.

Дополнительно укажем еще на ст.-сл. *присно*, впервые зафиксированное в Мк XV, 8, не входившем в состав краткого апракоса: и *възпикаше нача* *са* просити *тъкоже* присно творѣаше имъ (Мар; в Зогр без присно) — *ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς* ‘постоянно’; *ρѣхъ* присно блаждѣатъ *срѣдлїемъ* (Син. пс. XCIV, 10) — *ἀεὶ πλauῶται*; присно или пріемъ (Киев. л. 5а) — *semper*, и др. Это слово имеет соответствие только в чеш. *přisný*, словац. *prisny* ‘строго, строгий’. Изменение ‘постоянно, обязательно’ в ‘строго’ объяснимо.

Словом, по приведенным данным, наличие в лексике памятников старославянской письменности западнославянских элементов едва ли оспоримо. Дальнейшие разыскания должны точно выявить так называемый западнославянский слой старославянской лексики, возможно, с более убедительными обоснованиями.

В целом можно констатировать следующее.

1. Греческие церковные книги переводились на южнославянский диалект, безусловно характеризовавшийся архаическими чертами языка. Употребление редких слов, не имеющих соответствий в других славянских языках, — одна из характерных черт лексики памятников старославянской письменности (аблѣ, *кѣтъ*, *какна*, *прѣпражда*, *оущида* и т. д.).

<sup>64</sup> Trávníček F. Slovník jazyka českého. Praha, 1952, c. 1471; Machek <sup>2</sup>, c. 701; Slovník slovenského jazyka, d. V, c. 162.

<sup>65</sup> Доказательства см.: Лъвов А. С. Очерки по лексике..., с. 80 и сл.

<sup>66</sup> Лъвов А. С. Очерки по лексике...; Он же. Прославянский слой старославянской лексики; Он же. Чешско-моравская лексика...; Он же. неѣглосъ / неѣглость. — В кн.: Этимология. 1972. М., 1974, с. 103 и сл.; Он же. Старославянские иштъ..., с. 151—168; Он же. О словах с основой *skarѣd-*..., с. 149 и сл.

2. По-видимому, первые же переводчики стали употреблять западнославянские слова взамен отдельных южнославянских. Этим можно объяснить употребление ряда западнославянских слов вместо южнославянской или непереведенной греческой лексики, как: *пріно* вместо *вънж*; *вѣламі* вместо *σέλο*, *господа* вместо *гостиница*; *единица* вместо *ετέρα*; *непріѣзна* вместо *лжкаꙗни*; *млломошта* вместо *εἴδην* и т. д. Там же вводились новые слова, как *сукогъ* для перевода *πενής*; *скарѣдокати* *са* для перевода *βδελύττομαι*; *скарѣдне* — *ἀγρία*; *погъѣѣга* — *ἀπολεլυμένη*; *иштадие* — *γέννημα*; *оплѣтъ*, *папежъ* и др.

Показательно, что *иштадие* < \**иշчадие* находит соответствие только в ст.-чеш. *ščedia* < \**ščdia*, польск. *szczedek* — в обоих языках в значении 'потомство, потомок'. Как видно, *s't'edie* подведено под южнославянскую норму, поэтому прибавлено в аблакуте и. Иначе говоря, южнославянское было нормой старославянского.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Ас — *Evangeliář Assemanův*, díl II. *Vydař J. Kurz. Praha*, 1955.  
БЕР — Български етимологичен речник, св. I—Х. София, 1962—1974.  
Болон. пс. — Болонски псалтир, фототипно издание от Иван Дуйчев. София, 1968.  
Ен. ап. — *Мирчев К., Кодов Хр.* Енински апостол старобългарски паметник от XI в. София, 1965.  
Зогр — Зографское евангелие. Изд. В. Ягича. *Berolini*, 1879.  
Киев. л. — Киевские глаголические листки. По изданиям: *Ogienko I.* Пам'ятки старо-слов'янської мови. Варшава, 1929, с. 311—323; *Weingart M. Kurz Josef. Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského*. Praha, 1949, с. 114—138.  
Клоц — *Clozianus Codex palaeoslovenicus glagoliticus Tridentinus et Oenipontanus*. Pragae, 1959.  
Мак. — *Ильинский Г. А.* Македонский листок, отрывок неизвестного памятника кирилловской письменности XI—XII вв. СПб., 1906.  
Остр — Остромирово евангелие 1056—1957 гг. с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное А. Востоковым. СПб., 1843.  
Преображенский — *Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка, т. I—II. М., 1910—1914.  
Рыл. гл. л. — *Гошев Ив.* Рилски глаголически листове. София, 1956.  
Сав — Саввина книга. Изд. В. Щепкина. СПб., 1903.  
Син. пс. — Силайская псалтырь — глаголический памятник XI в. Изд. С. Северьянова. Пг., 1922.  
Син. тр. — *Euchologium sinaiticum*. По изданиям: *Frček J. Patrologia orientalis*, т. XXIV, fasc. 5; т. XXV, fasc. 3. Paris, 1933 и 1939; *Nahtigal R. I—II del.* Ljubljana, 1941, 1942.  
Срезневский — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка, т. I—III. СПб., 1893—1903.  
Супр. — Супральская рукопись. Изд. С. Северьянова. СПб., 1904.  
Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка, т. I—IV. М., 1964—1973.  
Хилн. л. — *Кульбакин С. М.* Хиландарские листки, отрывок кирилловской письменности XI в. СПб., 1900.  
Шипаш. ап. — *Miklosich F. Apostolus e codice monasteri Šišatovac palaeoslovenice. Vindobonae*, 1853.  
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков, вып. 1—4. М., 1974—1977.

- Berneker I* — *Berneker E.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Heidelberg, 1908—1913.  
*Brückner* — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.  
*Machek<sup>2</sup>* — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1968.  
*Miklosich* — *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.  
*Sadnik* — *Aitzetmüller* — *Sadnik L.* und *Aitzetmüller R.* Handwörterbuch zu den altkirchenoslavischen Texten. Heidelberg, 1955.  
*Skok* — *Skok P.* Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, kn. I—IV. Zagreb, 1971—1974.  
*Slovník jaz. stsl.* — Slovník jazyka staroslověnského, t. I. Praha, 1966; t. II, 1972; t. III, 1973.  
*Słownik prasłowiański* — Słownik prasłowiański, t. I—II. Wrocław—Kraków, 1974—1976.  
*Trautmann BSW* — *Trautmann R.* Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Общеславянские слова памятников старославянской письменности, имевшие одинаковое оформление во всех славянских языках**

авнти / ёвнти, авлѣти / ёвлѣти, -см, ав'к / ёв'к, агна / ёгна, агода, аице / ёице, ако / ёко, акы / ёкы,али, аштерь;

баба, банѣ, бансъкъ, бедро, бедрънъ, без, безакониѣ, безкинъ, безводиѣ, веягнѣвънъ, бездѣна, безлобънъ, безмжжынъ, безоумиѣ, бескончынъ, бесначамънъ, беспечальнъ, бесплодиѣ, бестоудиѣ, бестоудынъ, бестоудынкъ, бесьние, бечистынъ, бесѣда, бесѣдовати, вѣда, вѣдынъ, вѣдити, вѣгати, вѣлити, вѣль, вѣсъ, вѣснъ, вѣсити сѧ, бити, бичъ, бичелъ, бѣрати, блазнъ, блазнити, блѣдъ, блѣдити, близънъ, близнъ, бансъкъ; банскати, блѣвати, блюсти, блаждити, блаждъ, блѣдъ, блѣдити, bogat'ти, bogatъ, bogъ, bogинъ, болѣтнъ, болъ, болынъ, болѣзнь, болни, борити, борыцъ, бости (водж), боѣтни сѧ, боѣзнь, братъ, -трѣ, братиѣ, -трїкъ, бридѣкъ, бритеа, брѣкъ, брѣконо, боун, боурѣкъ, боурынъ, бѣдрѣ, бѣлие, бѣстстрѣ, бѣты, бѣывати;

БАБИТИ, БАДИНТИ, БАЛАНТИ, БАЛЕКТИ, -СА, БАЛА, БАРЪ, БАРИТИ, БЕДРО, БЕЛИН, БЕЛИКЪ, БЕЛИКОТА, БЕЛИЧАТИ, БЕЛѢТИ, БЕПРЪ, БЕРЌА, БЕСЕЛИЕ, БЕСЕЛЬ, БЕСЕЛТИ, -СА, БЕСЛО, БЕСНА, БЕСНЫНЪ, БЕСТИ, БЕТЪХЪ, БЕТЪШАТИ, БЕЧЕРЪ, БЕЧЕРЌА, БЕЧЕРЌТИ, БѣГАТИ, БѣДѢТИ, БѣКО, БѣКЪ, БѣЧЕНЪ, БѣРА, БѣРИТИ, БѣРЪНЪ, БѣСТЬ, БѣТРЪ, БѣТРЪНЪ, БѣТВА, БИКАЦА, БИДѢТИ, БИДАНЪ, БИДАЦЪ, БИДЪ, БИНА, БИНОВЪНЪ, БИНО, БИНЬНЪ, БИСѢТИ, БИДОВА, БИДОВИЦА, БИНЌ, БИНЌШАНИ, БИРЌАТИ, ВСЕГДА, ВСЕЌКЪ, ВСЕЌЧСКЪ, ВСЖДОУ, ВЧЕРДА, ВЧЕРАШАЊА, ВЛЪНА, ВЛЪХЕВЪ, ВОДА, ВОДИНЪ, ВОДОНОСЪ, ВОДИТИ, ВОН, ВОЕВАТИ, ВОЛИТИ, ВОЛНЪ, ВОЛЌ, ВОЛЬ, ВОНЌ, ВОНЌЕТИ, ВОСКЪ, ВРЪБНЕ, ВРЪБЕНИЦА, ВРЪХЪ, КРЪХОВЪНЪ, ВЪЕЌГАТИ, ВЪЕБРАТИ, ВЪЕВОДИТИ, ВЪЕВЕСТИ, ВЪЕЗАИДѢТИ, ВЪЕЗБИТИ, ВЪЕЗВОУДИТИ, ВЪЕЗДАТИ, ВЪЕЗДАТИ, ВЪЕЗВЫСИТИ, ВЪЕЗГОРЌАТИ, ВЪЕЗГАРДИ, ВЪЕДВИГНДИ, ВЪЕДѢТИ, ВЪЕДРАСТИ, ВЪЕДРАСТЬ, ВЪЕДРѢМАТИ, ВЪЕДДѢХНДИ, ВЪЕЗИТИ, ВЪЕЛЕЖАТИ, ВЪЕЛЕЗЕТѢТИ, ВЪЕЛОЖИТИ, ВЪЛЌШТИ, ВЪЕМЖДАТИ, ВЪЕМЖАТИ, ВЪЕМСТИ, ВЪЕНОСТИ, ВЪЕЗОРЪ, ВЪЕЗАТИ, ВЪКОУПЌ, ВЪКОУСТИ, ВЪКЌСТТИ, ВЪЛАЗЪ, ВЪЛАЗИТИ, ВЪЛНЌТИ, ВЪЛНВАТИ, ВЪЛОЖИТИ, ВЪМАЛЌ, ВЪМЕСТИ, ВЪМЕСТАТИ, ВЪМЛЌСТИТИ, -СА, ВЪНСТИ, ВЪНИМАТИ, ВЪНИТИ, ВЪНОЗИТИ, ВЪНОСТИ, ВЪНЖТРЯ, ВЪНЖТРЪНЪ, ВЪПАДАТИ, ВЪПАСТИ, ВЪПЕРНТИ, ВЪПЛТНТИ-ВЪПЛ, ВЪПРОСТИ, ВЪПРАШАТИ, ВЪПРОСЪ, ВЪРАДОУЛДИТИ, ВЪРЖЧИТИ, ВЪСАДИТИ, ВЪСЕЛТИ, ВЪСЕЛЌТИ, ВЪСКАСТИ, ВЪСКУПЌТИ, ВЪСМЌСТТИ, ВЪСКОЧТИ, ВЪСЛЕДЪ, ВЪСЛЕДОВАТИ,

въспаскати, въспатъ, въстати, въставити, въстжрати, въстокъ, въстремсти, въспвати, въторъ, въторъкъ, въходъ, въходити, въхъдти, въгъкъ, въсити, въсота, вътъръкъ, въше, вътъшънъ;

гадъ, гадънъ, гаша (от гасити), гладити, гладъкъ, глинина, глоумъ, глоумити, -съ, глоухъ, гажбина, гажбокъ, гажбинънъ, гладати, гнѣсти, гнѣвъ, гнѣвънъ, гнѣвливъ, гнѣвити, -ати, -съ, гнѣздо, гнѣздити, гнити, гнильнъ, гнои, гноинъ, гноушати, -съ, гнѣжити, гноусънъ, говоръ, говорити, годъ, годънъ, годити, голѣнъ, голѣбъ, голжеинъ, голъ, горити, гора, горѣти, горъкъ, горынца, горынъ, гость, гостити, гостиинъцъ, готовъ, готовати, -ити, грабити, грети (грѣж), грѣдъ, грѣланца, грѣстъ, грѣтанъ, грѣнъчаръ, грѣбати, грѣти, грѣхъ, грѣшинъ, греза, грезанъ, гроздъ, громъ, громънъ, грѣдъ, грѣсти, грѣхъ, гоубити, гоулъно, гѣнати, гѣбати, гѣбнѣти, гѣбѣль, гѣба, гѣгнинъ, гѣбнѣца, гѣсанъ, гѣстъ;

дати, дѣти, давати, давити, далече, далънъ, данъ, дарити, даровати, даръ, двигнѣти, двикати, -съ, дворъ, двѣрка, дѣвъти, дѣвътъ, десница, деснъ, десмътъ, десмътъ, дѣдъ, дѣати, дѣлати, дѣло, дѣлити, дѣти, дѣтъскъ, дѣтъ, дѣва, дѣвнѣца, дѣвичъ, дневни, дневнъ съ, дневнънъ, дира, дѣвръ, дѣнь, дѣневънъ, дѣнънѣца, дѣрати, дѣлгъ, дѣлгота, дѣлжити, дѣлгъ, дѣлжънъ, дѣлжъникъ, добъ, добълъ, добъръ, доброта, добрести, доволъ, доволънъ, дождати, дозѣрѣти, донти, дохдити, донти, доналица, доколѣ, долинъ, демъ, домашнъ, домовинъ, домовитъ, донести, донынѣ, досадити, доселѣ, достати, достонинъ, дробити, дробънъ, дрѣжати, дрѣзати, дрѣзни, дроугъ, дроужка, дроужина, дрѣва, дрѣхъ, дрѣгъ (ср. вѣдрожати: крѣсть вѣдрожкенъ. Клоц 106, 11), дуухъ, дуухати, дѣхнѣти, душа, дуушевънъ, дуушканъ, дѣва, дѣвон, дѣска, дѣштица, дѣмъ, дѣщати, дѣбъ, дѣбрава, дѣбравнъ, дѣбне, дѣти;

егда, еда, единъ, единаче, единако, едино, едѣва, еже, езеро, ен, еленъ, ели, еликъ, ель, елма;

жада, жалити, жалие, жаловати, же, желати, желѣти, желание, желѣзо, желѣзънъ, жена, женѣскъ, женити, -съ, женихъ, жениховъ, жестокъ, жиенти, жицъ, животъ, животинъ, жизнъ, жизнънъ, жила, жити, житие, жителинъ, жителъ, житицица, жито, жрьдъ, жрѣтва, жрѣтельнъ, жрѣты, жрѣнъвънъ, жѣдати, жѣднъ, жѣло, жѣти, жатва, жатвънъ;

за, забадити, забѣти, забѣвати, забѣтъ, забида, забидалиевъ, забистъ, забистънѣвъ, забистънѣца, забити, забора, забладити, зади, задальжити, задоушити съ, задѣхнѣти съ, задѣти, задѣбати съ, заборъ, забирати, забѣрѣти, замати, замѣмъ, замити, закалати, закалнити, закалити, заключити, законъ, законънъ, закрыти, закрѣвати, закровъ, замѣтъ, залогъ, заложити, замазати, заморити, замѣсалъ, западъ, западънъ, запалити, запинати, запати, запльвати, запокѣдати, -ѣти, заповѣдъ, запоустене, запоустѣти, заразити, зарокъ, зарѣ, застокти, застѣжити, -ати, защи, тити, затѣкнѣти, затѣкнати, затворити, -ѣти, затворъ, заходъ, заходити, звонъ, звѣръ, звѣринъ, звѣринънъ, звѣринѣскъ, зеленъ, зелѣ, земнъ, землѣ, земскъ, зѣнѣца, зима, зими, зирѣль, зирѣти, злѣ, змиѣ, зминъ, змиевъ, зминнъ, здамнити, -свати, знати, знанѣ, знонъ, зрино, зѣбати, зѣло, зѣлъ, зѣлобити, зѣлобивъ, зѣлодѣки, зѣлословити, зѣбати съ, злѣ, зѣкъ, зѣкнъ;

и, иде, иго, играти, игръ, игѣлайнъ, иже, из, издалече, изнинца, изнѣжити, изжѣръ, иланъ, имати, именовати, именитъ, именѣние (?), имѣти, имѣ, иначе, инако, иногда, ивъ, искати, исказити, искура, испоуог, истеса, истинна, истиннънъ, истѣ, ити;

кадити, каднало, каднѣнъ, каженикъ, казати, казити, казнъ, како, какъ, каковъ, калѣти съ, камы, каменъ, камение, камѣнъ, канжти, капати, капатѣ, касати съ,

кашица, каѣти сѧ, квасъ, квасиңъ, клаңѣти сѧ, класти (=кладж), клепати, канкнѣти, канчъ, клокотати, клонити, клокотъ, кльчтати, клѣть, клѣтъка, ключити, ключъ, клѣти, клѣтва, кобъ, кобыла, ковати, ковынкъ, ковъ, когда, кожа, кожнъ, коза, козлъ, козлам, коли, коликъ, коло, колесиңница, колесиңничнъ, колъ, колъ, колѣбати, колѣно, коньцъ, коньчтати,-са, коньчнна, конъ, коньнъ, коньскъ, копати, копи, копръ, коренъ, корене, користъ, корити, корыцъ, коңжти,-са, кость, котора, которати,-са, которъ, которынъ, котълъ, кошъ, кошынца, кран, краса, красиңъ, красити, красота, красти (=кладж), кригъ, крило, крилатъ, кричъ, кричан, кричава, кроевъ, кромѣ, кромѣшнъ, кропити, кроплѣ, кротъкъ, кроупица, кръвъ, кръвакъ, күйкнъ, кръмлѣ, кръмити, крѣпти, крѣпость, крѣпъкъ, крѣстъ, крѣстити, крѣти, крѣгъ, коүпъ (=въкоүпѣ), коуръ, коурин, коурити сѧ, къ, къда, къде, къто, кын, кылѣти, кысѣлѣ, кычнти сѧ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### Праславянские по происхождению слова, принявшее диалектное оформление

алѣкати, алѣчнъ, алѣчъба, алѣчъбынъ, аце, аштѣ, азъ;

бездѣждн, бесрама, бесрамынъ, бесрамъкъ, благо, благъ, благыни, благостъ (кроме того, благо — более 70 раз встречается в композитах, вроде: благодати, благодать, благодѣть, благодѣти и т. п., которые в основном являются кальками), бложити, бложнъ, бложынъ, близнити, близна, близнъ, близнынъ, блато, брати,-са, браннити, браны;ср. сънити сѧ на брань (Л XIV, 31 Зогр, Мар) . . . εἰς πόλεμον; браѧда, браѧно, брѣгъ, брѣжнъ, бѣдѣти;

вешть, вештиңъ < \*vekt-jo, владыка, влаға, власть, властьель, власти (=кладж), власъ, влачити, влѣшти < \*velkti, вождъ, вражни (глосса к слову птица. Син. ПС. X, 1), врагъ, вражни, вражъскъ, вранъ, вратити, вратарь, вратынкъ, вратъ, вратъкъ, врѣдъ, врѣднъ, врѣмъ, врѣменынъ, вѣэрѣшти, вѣзалькати, вѣзбууждати, вѣзвратити, -штати, вѣздарсти, вѣздарстъ, вѣзгловиңница, вѣзглаголати, вѣзгласити, вѣзградити, вѣзладити, вѣзрѣшти, вѣгънати, вѣгонити, вѣнести, вѣринжти, вѣѣ;

глаба, глабанъ, глабенза, гладъ, гладиңъ, глаголь, глаголати, гласити, гласъ, гласовати, [глашати, говажды, ср.: повелѣ...и вити говаждами жилами (Супр 113, 5—7), градити, градъ, градъскъ, градыцъ, градынкъ, граджадинъ, градъ (фратнѣ 'конюшня');

дланъ, досаждене, драгъ, дрѣво, дрѣвекнъ, дрѣводѣлѣ, дѣждъ, дѣждити, дѣждевиңъ, дѣжданъ, дѣждевѣ, дѣшти;

еша, еште;

жласти, жлѣсти (ср. др.-рус. жлѣдоу, жлѣсти 'платить, искупить вину'), жрѣбин, жрѣвъ, жрѣвѣцъ, жажда;

загрѣти, заградити, зајда, зајдъ, заклати, запрѣштати, злакъ, злато, златъ, златынъ, зракъ; звѣзда;

иждити, избирати, избирати, изблѣвати, изборынъ, избѣтын, избѣтн, избѣтъкъ, избѣгати, избѣгати, извести, извлечити, извѣднити, изволити, извѣшти, извѣтижти, извѣдѣти, извѣтъ (в значении др.-рус. 'нагѣтъ, перегѣтъ'); извѣзати, изглантити, изгандѣти, изгонити, изгорѣти, изгыбати, изгыбнжти, изгыннати, издати, издаѣти, издѣрати, издѣрити, издѣхати, изити, изискати, излизнти, излѣшти, излантити, изливати, изломити, измлады, измѣкнжти, изморити, измѣждати, измѣтын, измѣнка,

измѣнити, измѣтати, изнести, износити, изострѣти, изѣсти, изъчтати, изъхватити, искаести, искошати, искочити, искаести, искоушити, искоусити, искуидати, искуилѣти, ислѣдити, испадти, испадести, испаѣти, испити, испльнити, исповѣдати, испо-  
чни, испражнѣти, испросити, источити, исправити, испразнити, испрѣва, испрѣ-  
(въ испрѣ), испоустити, -штати, истаѣти, истапаѣти, истирати, истискати, истонжти,  
истѣлпити, источити, истрѣгати, истрѣгихъти, истѣкати, истѣкнѣти, истѣштати,  
истѣжстти, исоѹнжти, исѹшити, исчинотити, истѣкати, исыпати, исжити, исхождати,  
исходиште, исходъ, исхытити, иштистити, иштезнжти й др.;

каждение (от кадити), камыкъ, кладъсь, клада, класъ, крабин, крада 'колода',  
крамола, крамолъникъ, краста, крастъль, кратъ, кжшта.

## ДИАЛЕКТНЫЕ КОНТАКТЫ В ЗОНЕ СОВРЕМЕННОГО БАЛТИЙСКО-СЛАВЯНСКОГО ЭТНОЯЗЫКОВОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Исследования последних лет, свидетельствующие о возрастающем внимании к языковой ситуации нынешнего балтийско-славянского пограничья, умножили число материалов, которые говорят о повышенной концентрации типологически сходных черт в балтийских и славянских диалектах этой зоны<sup>1</sup>. По мере накопления фактов становится все более очевидной необходимость исчерпывающего изучения этой ситуации, позволяющей во всей конкретности наблюдать картину реализующегося на наших глазах балто-славянского языкового единства.

Специфика этого единства, сложившегося в условиях длительного и интенсивного контакта балтийских (литовских, латышских) и славянских (белорусских, польских) диалектов, заключается не только в материальном и типологическом уподоблении, затрагивающем в той или иной мере различные уровни диалектных систем. Столь же примечателен и тот факт, что представление о некотором общем инварианте (ядре) и сквозной схеме межъязыковых соответствий коренится в самом сознании (или под-

<sup>1</sup> Здесь нужно назвать обобщающие труды по белорусской диалектологии, которые выдвинули на первый план изучение белорусско-литовских языковых контактов: Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963; Нарысы на беларускай дыялекталогіі. Мінск, 1963; Лінгвістyczная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск, 1968; коллективные статьи Ю. Ф. Мацкевич, Е. М. Романович, Е. Й. Гринавецкене и др., представляющие материалы экспедиций по сборанию лексики северо-западных белорусских говоров; Лексічная балтызмы ў беларускай мове. Матэрыялы для амбэрскавання. Мінск, 1969; *Бірэла М. В., Vanagас А.* Літоўская элементы ў беларускай анатаміці. Мінск, 1968; Польские говоры в СССР, ч. 1, 2. Минск, 1973; работы польских диалектологов Т. Зданцевича, Э. Смульковой, С. Глинки, М. Кондратюка и др., а также коллективный труд: *Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Pod red. A. Obrebskiej-Jabłońskiej*. Warszawa, 1972; работы литовских исследователей: *Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija*. Vilnius, 1963; *Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija. Sudarė: E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, K. Morkūnas, B. Vanagienė, A. Vidugiris*. Vilnius, 1970; коллективные сборники, посвященные окраинным пунктам Литвы, которые издавались Обществом краеведения и охраны памятников Литовской ССР; исследования А. Видутиса, Е. Гринавецкене, В. Гринавецкиса, М. Сивицкене, Ю. Сенкуса, Я. Карделите, В. Урбутиса, Ю. Лаучюте и др.; работы латышских диалектологов М. Рудзите, А. Брейдака, Б. Лаумане, Э. Карайне и др., а также сб.: Контакты латышского языка. Рига, 1977 (Ин-т языка и литературы АН Латв. ССР).

сознании) говорящих этой зоны, обеспечивая быстроту и легкость перехода от одной системы к другой в частых и разнообразных здесь ситуациях дву- или трехъязычия.

В связи с этим представляется не только правомерным, но и принципиально важным введение термина **балтийско-славянский языковой союз** применительно к современному контакту балтов и славян<sup>2</sup>. Преимущество такой интерпретации прежде всего в том, что она позволяет преодолеть сказывающуюся и сейчас замкнутость и рознь диалектологических традиций в этой области и сосредоточить внимание на системном подходе к процессам и результатам конвергенции контактирующих языков, минуя уводящие от цели вопросы об источнике и направлении заимствования или влияния.

В общую перспективу ареально-типологического исследования балтийско-славянского языкового союза включается (как один из целесообразных на данном этапе аспектов) детальное изучение архаических литовских островов на территории Белоруссии, где в условиях симбиоза трех языков — литовского, белорусского и польского — должны, по всей вероятности, концентрироваться тенденции, присущие и более обширному контактному ареалу. Островки литовской речи расположены вдоль всей литовско-белорусской границы, в большем или меньшем удалении от нее: Зетела (Дятлово), Лаздуны, Гервяты, Пеляса (Гродненская обл.), несколько деревень вблизи местечка Опса на Браславщине (Витебская обл.). В каждом из этих пунктов на фоне различных типов и фаз дву- или трехъязычия с достоверностью прослеживаются признаки взаимопроникновения балтийского и славянского компонентов, пронизывающие все уровни языка и продолжающиеся в сфере традиционной духовной культуры.

Предварительным условием описания конвергенции диалектов в этой ситуации является изучение социального аспекта функционирования языков. В этом плане все островные пункты объединяет примерно одинаковый статус славянского элемента: во всех случаях **белорусский** служит средством междиалектного общения; **польский** почти нигде уже не используется активно и учитывается главным образом как язык религии, а отчасти и грамоты старшего поколения. Что же касается сферы действия **литовского** языка, то в этом отношении островные пункты существенно разнятся, представляя различные стадии ассимиляции: от равновесия с белорусским (Гервяты) и едва ли не преобладания над ним (как в некоторых деревнях близ Пе-

<sup>2</sup> Впервые такой взгляд на диалектную область стыка славянского и балтийского миров был предложен в статье В. Н. Топорова «К характеристике балто-славянских языковых отношений» (в кн.: Актуальные проблемы славяноведения. Материалы координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения. М., 1961); см. также: *Судник Т. М., Толстая С. М., Топоров В. Н. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового союза.* — Советское славяноведение, 1967, № 2.

лясы, например Повалака, Друскеники) до картины почти полного затухания (как в Зетеле и Лаздунах, где к настоящему времени остались лишь единицы говорящих по-литовски). Однако известно, что еще совсем недавно (несколько десятилетий назад) эти последние пункты были очагами активного сплошного двуязычия с полным параллелизмом функций литовского и белорусского, вплоть до бытования в двух вариантах песенных текстов (с общей музикальной основой):

svajá mátka ni\_čužája  
 svajé synkí pabužája  
 a\_n'avístki n'a\_buzíla  
 a\_n'avístka samá uestala  
 da\_u\_btúr vóliki paýnála  
 da\_u\_sil'n'éjka zaplakála  
 pašoú ɣolas pa\_dubróvi  
 da\_u\_mecúu míl'en'ki u\_kamóry  
 ci\_z'az'úla zakavála  
 ci\_milája zaplakála  
 zakladáj'c'a bíly kóni  
 da\_i\_pajíz'am u\_čysta pól'a  
 jíz'am pól'a i\_družója  
 a\_na\_tréc'a kún' stupája  
 zájčyg daróyu perab'ačája  
 p'erabíj zájčyg daróyu  
 zlamáu kónig lívu nóyu  
 a\_míl'an'ki právu rúku  
 pašlá máci da\_piunícy  
 uz'alá m'odu z'ví škl'anícy  
 a\_tréj'c'u čem'arýcy  
 píč'a synkí m'út salútki  
 a\_n'avístka čém'ar ɣárki

savá momá n'e\_s'vítima  
 saví vejkéi pabudíno  
 o\_martýjkoz n'e\_budíno  
 o\_martýika patí sik'ále  
 barýn jočukûz nuváre  
 želil's lívitkaž užv'árko  
 nuv'ái ɣálasas po\_dubrávoj  
 žgirdéi mítikas kamároj  
 ar\_g'agúže uškukávo  
 ar\_maňá mítikas užv'árk'a  
 n'e\_g'agúže uškukávo  
 tavá mítikas užv'árk'a  
 ói kinkíkid bal'tí arkl'ái  
 do\_važúsim čýistán loúkán  
 jójam k'ál'a, jójam kitá  
 o\_an\_tráčo arkl'áiž mína  
 nugúryno arklís kója  
 o\_militkas t'eis'aí rénka  
 nuv'ái momá pas\_piuníča  
 jém'e m'edouz dví škl'aníčas  
 o\_tráča čem'arýčos  
 g'árkit sunéi m'adús saldús  
 o\_martýika čém'aryj kartús .

(Зетела — дер. Засетье, запись 1964 г.).

Там, где традиция двуязычия не угасла и поныне (Гервяты и особенно Пеляса), почти не приходится сталкиваться с явлениямиmonoязычия в чистом виде, поскольку для всех литовский и белорусский во всяком случае взаимно понятны. Двуязычием же (способностью попеременного использования двух языков, по критерию У. Вайнрайха) охвачена подавляющая часть населения, включая представителей всех возрастных групп. При этом естественность переключения с одного языка на другой и компетентность говорящих в обоих случаях таковы, что сплошь и рядом (особенно если речь идет о лицах среднего, а тем более младшего поколения) оказывается едва ли возможным разделить двуязычных по признаку родной / второй язык, так как скорее всего литовский и белорусский усваивались одновременно.

В конкретных ситуациях повседневного общения говорящие, оказываясь перед выбором одного из двух языков, подчиняются общепринятым нормам речевого поведения (например, в неоднородных по языку ситуациях всегда используется белорусский; иногда выбор определяется темой разговора, числом говорящих и т. д.). Это обеспечивает известную автономию литовских и белорусских текстов и свидетельствует о несомненном разграничении языков в сознании говорящих.

Столь же очевидна, однако, и относительность этого разграничения — факт, который косвенно подтверждают частые случаи стихийного нарушения нормальной автономии и сплетения в тексте, иногда в рамках фразы, разноязычных элементов. Такого рода «креолизованные» тексты возникают, в частности, в результате неперевода прямой речи, в особенности стилистически маркированной: sus'éd tójí kryčýc' na\_jayó, kl'ané: kat\_taví žemínis p'arkúnas žumúšt! (Пеляса), и т. п. В практике пересказывания фольклорных текстов иноязычная прямая речь также вводится в повествование без перевода: áñas šáuk'a: krýs'a grýs'a, žic'á pláča, jés'ci xóca... a\_janáacsáko: b'aýú, b'aýú, n'i\_pabáyú, vadá óčki zalivája, p'asók nóški pabivája (Гервяты), и т. п. Рассказчик (и аудитория) не всегда чувствительны и к возможным при этом непроизвольным «персверациям» (когда вслед за таким вкраплением повествование продолжается уже на языке цитаты): byló éta doqno, šé jak\_vainá taja švékaja bylá. nú, i\_nátto, kazáli, bíli bábaq týja šv'adý, ménchyli jíx. nú, to\_l'úži uc'akája z' v'óskaq, xavájacca pa\_l'asóx, bajícca. a\_t'ýja šv'adý, jak\_ni\_náj'a nikóya u\_v'ósca, to\_abmánuvali l'už'éi. prýiž'a tak\_ó z'é pad\_lés i\_ýukája:

Marú, Tarú,  
řeik namó,  
n'erá šv'adú!

táj, sáko, ém'a išíndo kók'a bóba jóú. tájp ir\_žuménchy já... (Пеляса).

Характерный тип креолизации образуют высказывания, в которых совмещаются разноязычные лексические дублеты, например: miglínas pas'liso an\_úp'e — tu mánik b'él'an'ki; žylki pac'\_ápnusca pa\_n'eb'a — na\_rajódu gíslu týja (Пеляса), и т. п. Нет сомнения, что иноязычный лексический эквивалент привлекается тут на правах синонима, уточняющего сказанное, и тем самым текстуально выражается свобода межъязыковых ассоциаций, свойственная двуязычным.

Речь двуязычных изобилует и другими образцами текстов гетерогенной структуры, среди них — частые случаи взаимных подстановок при малейшем затруднении в слове: zájac smágly, jón\_ža\_š... v i d u r ó n'a\_máje (Пеляса), arklís žírbasi blógas... mókras, šláp'as bústa arklís (Лаздуны); макаронические фразы, которые здесь в порядке вещей: áš táu, sáko, v'éru, ítaí gáli búc'

prá̄du (Гервяты), janá móka varažýc' ir\_sáko prá̄du (Пеляса) фразеологические вставки и т. д., включая и случаи обыгрывания креолизации в фольклоре:

f\_c'ómnym l'és'a pšy\_ták'ej dolín'e  
c'onáj rýjko m'arg'ale vog'ál'es.  
— pújz'am dál'aj, mlóda ž'ačynačka  
— n'aís'u, n'aís'u, jáuñasai b'ar'n'ális  
— da\_v'ízén'a mlóda ž'ačynačka  
— súž'eu, súž'eu, jáuñasai b'arg'n'ális...  
(Лаздуны)

В свете этих наблюдений как нельзя более очевидна интеграция литовского и белорусского в сознании двуязычных, знающих по существу один «смешанный язык с двумя терминами» (вполне аналогично тому, что засвидетельствовал Л. В. Щерба у лужичан). Показательны в этом плане декларации самих носителей двуязычия, склонных скорее к отождествлению фактов знакомых им языков и во всяком случае не к противопоставлению их: pa\_próstu (т. е. по-белорусски) vózk, i\_pa\_lítóysku tója sámaja — vílkas, éta takí sámý jazýk, ažinákavy — prósty, m'ašancy my — ták sáma žavórum pa\_lítóysku i\_pa\_próstu... (Пеляса).

На фоне столь тесных уз, соединяющих литовский и белорусский в рассматриваемой ситуации, вполне естественно то сходство, которое обнаруживают литовские и белорусские диалектные системы как в материальном, так и в типологическом плане.

Если обратиться к фонетико-фонологическому уровню, то в любом из островных пунктов прежде всего поражает слух абсолютное тождество ритмико-интонационных очертаний литовской и белорусской речи. Единство фразовой интонации (интонация вопроса, переспроса, утверждения, отрицания, зова и т. д.) обычно производит настолько яркий эффект, что при этом затушевываются и не сразу обращают на себя внимание собственно звуковые междиалектные различия. Эти различия, надо сказать, и при более пристальном рассмотрении не оставляют впечатления контраста, особенно потому, что именно там, где намечаются межъязыковые границы, царят стихия перекрывающих их свободных произносительных вариантов. За общим же набором транскрипционных знаков, используемых для записи литовской и белорусской речи, стоит материальное тождество соответствующих звуков в тех и других говорах, основанное на стремлении говорящих к единой артикуляционной базе.

При этих условиях фонологические системы литовских и белорусских говоров адекватно будет представить как сужающиеся фонологические пространства, которые тяготеют так или иначе к пределу, обозначенному их ядром — набором повторяющихся во всех системах единиц. Этот предельный тип фонологической системы состоит из 37 фонем, различаемых десятью дифференциальными признаками (табл. 1).

Таблица 1

Подсистемы негласных и несогласных фонем (сонанты), реально наблюдаемые в литовских и белорусских говорах, представляют единую картину полного совпадения с ядерным инвентарем. *г'*, еще регулярное для островных литовских говоров во время полевой работы П. Арумаа<sup>3</sup>, ныне свидетельствуется диалектологами лишь как факультативный произносительный вариант на фоне уже преобладающей диспалатализации<sup>4</sup>. Симптомом разрушения оппозиции *г—г'* в литовском являются и факты гиперической палатализации, например: *br'ólis*, *g'ávas*, *g'ug'aí* (Гервяты).

Подсистемы согласных и негласных фонем (шумные) в литовских и белорусских говорах также почти покрываются ядерным инвентарем. Основной узел расхождения между ними в том, что если в литовских говорах расширение ядерного инвентаря связано с зоной некомпактных непериферийных (наличие *t'*, *d'*, образуемых комбинацией палатальности с этими двумя признаками), то в белорусских говорах, напротив, более представительным оказывается класс компактных периферийных (добавление к ядерному инвентарю *x*, *χ*, *γ'*, образуемых сочетанием признака непрерывности с компактностью и периферийностью).

Однако если иметь в виду некоторые фонетические тенденции в рассматриваемых говорах, то проведенное разграничение в действительности окажется не столь четким. Так, функционирование *t'*, *d'* в литовских говорах связано с существенными дистрибутивными ограничениями: 1) все говоры (исключая зетельский) охвачены изофоной дзуканьи, запрещающего последовательности *t' \ d' & i \ ie* (ассибиляции при этом не препятствует и промежуточное *v'*); 2) во всех говорах отмечены явления «гипернормального дзуканья»<sup>5</sup>, ограничивающего *t'*, *d'* и в других антевокальных позициях, ср.: *c'évas*, *zíz'alís*, *gai-z'álís* (Лаздуны); 3) наконец, во всех говорах наряду с ассибиляцией намечается и еще один путь исключения *t'*, *d'* — субSTITУЦИЯ *t' > k'*, *d' > g'*, что выглядит как попытка говорящих избежать фрикативной рекурсии, сохранив в произнесении ту же высокую степень артикуляционной энергии палатальности, ср.: *kákinas* (Гервяты), *šílkis*, *pàgegè*, *girg'éjåç* (Зетела), *k'évas*, *zíg'-alís* (Пеляса) и т. п.<sup>6</sup> В сумме указанные ограничения ведут к со-

<sup>3</sup> Arumaa P. Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Gegend. Dorpat, 1931, passim.

<sup>4</sup> Kardelytė J. Gervėčių tarmė. Vilnius, 1975, с. 33—34; Vidugiris A. Kai kurios Zietelos tarmės ypatybės. — В кн.: Lietuvių kalbotyros klaušimai, II. Vilnius, 1959, с. 199; и др. Ср. также диалектные тексты в кн.: Lietuvių kalbos tarmės. Chrestomatija. Sudarė: E. Grinavieckienė, A. Jonaitytė, K. Morkūnas, B. Vanagienė, A. Vidugiris. Vilnius, 1970, с. 392—404.

<sup>5</sup> См.: Senkus J. Kai kurie Lazūnų tarmės ypatumai. — Mokslo Akademijos darbai, ser. A (1), Vilnius, 1968.

<sup>6</sup> См.: Otrebski J. Gramatyka języka litewskiego, t. I. Warszawa, 1958, с. 352—357; Zinkevičius Z. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966, с. 140—141;

кращению встречаемости *t'*, *d'* в литовском, а в некоторых идиолектах колеблют и парадигматический статус этих единиц.

Со своей стороны белорусские говоры проявляют тенденцию к ограничению в тексте специфических для них прерывных периферийных компактных *γ*, *γ'*. В частности, таким именно образом можно, по-видимому, трактовать допустимую в рассматриваемых говорах замену *γ*, *γ' > нуль звука*. Речь идет не только о факультативности протезы (*γagáč*'—*agáč*', *γaičýt*—*aičýt*, *γéty*—*éty* и т. д., ср. также взаимозаменяемость *γóstry*—*vóstry*, *γúlica*—*vúlica*, *γínia*—*vínia* 'инеи' — Лаздуны, Зетела), но и о подвижности начального непротетического *γ* (причем, вариант с опущением *γ* для целого ряда слов более регулярен: *aspadár*, *asudárstva*, *azín'nik*, *alavá*, *aróx*, *órla*, *ul'tái*, *uz'éc'* — Лаздуны и др.), а также о возможном (как у двуязычных, так и у моноязычных носителей говоров) опущении *γ*, *γ'* в интервокальной позиции: *baáty*, *daróa*, *nói*, *mašla* и т. п. В не меньшей степени слаживанию этой грани между литовским и белорусским способствует проникновение в литовские говоры *x*, *γ*, *γ'* в качестве маргинальных элементов фонологической системы (в частности, через посредство лексических заимствований типа: *xóras*, *lancúgas*, *baγótas* и т. п.).

Как литовские, так и белорусские говоры могут присоединять к ядерному инвентарю *f*, *f'*, но в обоих случаях — лишь на правах периферийного фрагмента фонологической системы, подверженного (особенно в речи старшего поколения) вытесняющим фонетическим тенденциям; ср. варианты: *patagariós*'—*fatagráfiób*', *šýp'erus*—*šýf'erus*, *ragárija*—*paráfija* и т. д. в литовском, *lisapét*—*lisafét*, *pastrygavác*'—*fastrygavác*', *píkus*—*xvíkus*—*fíkus* и т. п. в белорусском.

Подсистемы непериферийных компактных в литовских и белорусских говорах полностью покрываются ядерным инвентарем. Включение в этот класс *s'*, *z'*, *c'*, *z'* (морфонологически соотносимых с *s*, *z*, *c*, *z*) моделирует более или менее характерное для тех и других говоров «шепелявое» звучание этих согласных в соответствии с «краепалатальной» артикуляцией<sup>7</sup>. Диспалатализация литовских *š'*, *ž'*, *č'*, *ž'*, наметившаяся уже в транскрипциях П. Арумаа, к настоящему времени стала регулярной чертой островного литовского консонантизма<sup>8</sup>.

Переходя к рассмотрению подсистем вокализма, следует прежде всего заметить, что литовские говоры отличает в этом плане от белорусских гораздо больший разнобой произносительных норм,

*Dovydaitis J. Priebsliai d, t bei k, g Dieveniškés ir kitose vietose. —* В кн.: *Dieveniškés. Vilnius*, 1968, с. 207—211; см. также исследования А. Видути-риса, Я. Карделите и др.

<sup>7</sup> См.: Брюг О. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910, с. 24.

<sup>8</sup> Ср.: *Kardelyté J. Указ. соч.*, с. 34—35; *Vidugiris A. Указ. соч.*, с. 199 и тексты; *Senkus J. Lazūnų tarmės tekstai. —* В кн.: *Lietuvių kalbotyros klausimai*, II, с. 215—230; *Grinavęckienė E. Tarmių medžiagos rinkimas lietuvių kalbos atlasui. —* Lietuvių kalbotyros klausimai, III. Vilnius, 1960, с. 199—204; и др.

которые, по наблюдениям диалектологов, могут здесь колебаться не только от идиолекта к идеолекту, но и в устах одного человека от высказывания к высказыванию<sup>9</sup>.

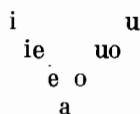
Максимальная модель вокализма островных литовских говоров включает 8 гласных, различаемых четырьмя признаками (табл. 2):

Таблица 2

Признаки	е	ie	о	uo	і	у	æ	а
Компактность	—	—	—	—	—	—	+	+
Диффузность	—	—	—	—	+	+	0	0
Периферийность	—	—	+	+	—	+	—	+
Напряженность	—	+	—	+	0	0	0	0

Непостоянство произносительных норм распространяется в первую очередь на напряженные ie, ио и непериферийный компактный æ, т. е. на те элементы, которые отличают эту систему от инвариантной модели. Смещение æ—а отмечено уже в текстах П. Арумаа, в том числе в позиции, считающейся для данной корреляции сильной (перед слогом, содержащим палатальный согласный и гласный переднего ряда). Современные наблюдения неизменно фиксируют «расширение» æ до а-оттенка, что свидетельствует о завершившейся в большинстве идиолектов дефонологизации æ,ср. регулярное а в начале слова и после отвердевших согласных: āžaras, aīna, aglīnē, ariūšė (Зетела, записи А. Видутириса), āžeras, sān'ai, žāmi (Гервяты, записи Я. Карделите), после палатальных согласных: m'ás, m'átaí, nuv'ájo (Пеляса и др.).

Таким образом, для большинства литовских островных идиолектов типична треугольная модель вокализма:



Функционирование оппозиции напряженность / ненапряженность расшатано многочисленными примерами монофонгизации дифтонгов, ср. duona — dūna — dona, kluonas — klūnas — klonas, šienas — šynas — šenaucie, diena — dyna — denēla (Лаздуны, записи Ю. Сенкуса), ži · mā, nī · ko, vī · nas, važu · kim, ju · das, diēdas, dū'na, d'ēna; jū'das (Зетела, записи А. Видутириса). В этой фонетической тенденции усматривается склонность островного литовского

<sup>9</sup> Отчасти в связи с этим нами не учитывается чрезвычайно расшатанная количественная градация гласных, которая вряд ли может быть адекватно представлена без применения инструментального анализа.

вокализма к упрощению в направлении 5-членной инвариантной модели:

i      u  
e      o  
a

Системы гласных белорусских говоров либо исчерпываются ядерным инвентарем (например, Пеляса, окрестности Опсы), либо расширяют его в том же направлении, что и литовский, — разыгрывая оппозицию напряженность/ненапряженность (наиболее ярко этот тип вокализма представляет говор Зетелы, где еще Я. Розвадовский заметил поразительную созвучность белорусских и литовских дифтонгов<sup>10</sup>;ср. *Li<sup>i</sup>s, s'ni<sup>u</sup>x, tu<sup>o</sup>st, l'u<sup>u</sup>d* и т. п.). Наличие этой дополнительной оппозиции всегда характеризует лишь старшие идиолекты, в речи же младшего и отчасти среднего поколения она обычно не релевантна.

Наконец, яркой чертой, сближающей литовский и белорусский вокализм уже на уровне аллофонов, является наличие ү (неслогового варианта ү). Особая роль этого звука в придании общего колорита литовской и белорусской речи усиливается еще и тем, что в тексте в обоих случаях он выступает, по-видимому, с весьма близкой частотой (например, для небольшого отрезка текста сказки протяженностью примерно в 2500 знаков встречаемость ү в литовском оказалась равной 53, а в белорусском — 65).

Типологическое подобие фонологических систем белорусских и литовских островных говоров продолжается и в плане их синтагматики, где прослеживаются, в частности, общие тенденции в строении вокалической схемы слова, в оформлении начала и конца слова, в правилах, упорядочивающих комбинаторику фонем<sup>11</sup>.

Заканчивая обзор фонетико-фонологических систем островных диалектных комплексов, следует особо остановиться на той роли, которая принадлежит в этой ситуации польскому языку, которым владеют люди старшего (и — реже — среднего) поколения (белорусско-польское двуязычие, литовско-белорусско-польское трехъязычие).

Как уже говорилось, польский язык во всех рассматриваемых пунктах, по сути, утратил жизненность и характеризуется крайне суженной сферой применения, почти исключительно связанный с религией. Несмотря на функциональную исключительность (а может быть, в какой-то мере и благодаря ей и в связи с этим — особому престижу), польский и поныне остается влиятельным участником контактной ситуации — ср. обилие разного рода полонизмов в белорусской и литовской речи, наличие некоторых

<sup>10</sup> Rozwadowski J. Uwagi o dyftongach *ie, ou* w południowo-zachodnim narzeczu białoruskiem. — Materiały i prace komisji językowej AU w Krakowie, 1904, t. I, с. 207 и далее.

<sup>11</sup> Подробно об этом см.: Судник Т. М. Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем. М., 1975.

сложных случаев интерференции, вплоть до «оживления» архаических явлений под воздействием польской графики<sup>12</sup>.

Тот факт, что в лингвистическом сознании говорящих польский язык по отношению к «диаде» белорусский—литовский занимает четко обособленное положение (отсюда и всегда ощущаемая напряженность перехода к польскому), не препятствует, однако, чрезвычайной податливости польского материала к влиянию преобладающей языковой среды. Записанные во всех островных пунктах образцы польской речи обнаруживают характерную пестроту — от более или менее педантичного следования норме до непроизвольного «сползания» к белорусскому, когда трудно установить фактическую языковую принадлежность высказывания (ср., например: n'éma déž̄u. čšēba vóda nōsic' na pl'ēsax. bugakí n'i rósna n'i mója ni kolkózna. móza dás'c' bóx daž̄ú. . . — Игнатишки близ Опсы на Браславщине, и т. п.). Как показывают наблюдения, диапазон колебаний во всех звеньях островной цепочки примерно один и тот же, и, таким образом, при всей их формальной расплывчатости польские говоры представляют единый тип диалектной системы, выступающий как константа на фоне локальных расхождений белорусского и литовского.

Как нельзя более гармонично вписывается польский язык в общую картину фонетико-фонологического взаимодействия: от ядерной междиалектной модели польская фонологическая система отличается наличием лишь трех дополнительных единиц — согласных f, f', x, подсистемы же сонантов и гласных (учитывая дефонологизацию ē, ę вследствие утраты или консонантизации ринезма) полностью с нею совмещаются. Отношения фонем в тексте также затронуты конвергенцией (ср. широко распространенное в польских говорах этой зоны неразличение гласных среднего подъема в безударной позиции, отсутствие прогрессивной ассимиляции по глухости в сочетаниях глухих согласных с v, v', палatalизацию x перед e, и др.).

Из других возможных аспектов отношений балтийского и славянского компонентов здесь будут подробно рассмотрены некоторые вопросы лексико-семантического взаимодействия говоров в островных пунктах.

В разных звеньях островной цепочки (Гервяты, Пеляса) по предварительно составленным анкетам, специально ориентированным на ситуацию взаимодействия двух (Пеляса) и трех (Гервяты) языков, изучалось несколько замкнутых лексических групп, в неодинаковой степени детерминированных экстраглавиствическими факторами: географическая терминология и терминология родства.

При описании литовской, белорусской и польской географической терминологии говора дер. Мильтеи (вблизи Гервят) при-

<sup>12</sup> См. об этом: *Jonaitytė A., Sudnik T.* Apie vieną lietuvių-lenkų kalbų interferencijos atvejį. — *Baltistica*, IX (1). Vilnius, 1973, с. 75—78.

менена методика, позволяющая представить три разноязычные системы во взаимно сопоставимом виде. Подобно универсальному способу представления парадигматических отношений в фонологии через дифференциальные признаки, можно описывать соответствующие отношения на семантическом уровне. Применительно к географической апеллятивной лексике достаточным оказывается понимание семантического дифференциального признака (семы) как минимального элемента, различающего значения двух слов. Используемый в работе термин *семема* понимается как суперпризнак, родовой для нескольких сем. Определенное семантическое пространство, иерархически организованное соответственно отношению семема : сема, называется *семантическим иерархическим полем*. Подобное описание позволит наиболее полно раскрыть картину языкового контакта и наглядно представить его результаты. В качестве иллюстрации будет приведено несколько фрагментов географической терминологии.

Семантическое поле 'Возвышенный рельеф' в говоре дер. Мильтеи (Гервяты) конструируется следующим максимальным набором признаков: I. 'Размер' (небольшой); II. 'Местоположение' с двумя эквивалентно противопоставленными значениями: 1) 'возвышение на лугу' — 2) 'возвышение на болоте', и 3) 'сухое возвышенное место'; III. 1) 'единичность (отдельная гора)' — 2) 'совокупность'; IV. 'Составляющий материал' — признак, порождающий понятие 'возвышение из камней'. Для подключенного сюда же семантического фрагмента 'ком земли' релевантен признак 'замерзший' (см. табл. 3).

Таблица 3

Признаки	Языки		
	литовский	белорусский	польский
Общее название	aukštumá		gužýzna
I	kauprē	prygórak vučor	pšygúrek úgor
II	1) 2) 3)	kúpina kur(')ónas sausumá	kúp'ina kurgtán sušyn'á
III	1) 2)	kálناس	γará
IV		krósniš akmænínas	krúšn'a
'Ком земли' — 'замерзший'	grùptas grúodas	γrupt(y) γrúda	γrúda

Как явствует из табл. 3, совокупную терминологию возвышенного рельефа формируют 19 лексических единиц (теоретико-множественная сумма (ТМС), т. е. максимальный набор лексем белорусского, литовского и польского говоров). Ядерный инвентарь (теоретико-множественное произведение (ТМП), т. е. список лексем, повторяющихся в каждом из языков) представлен двумя единицами: kur(')ōnas, kurγán, kúrgan и grúodas, γrúda, γrúda. Количественное отношение числа ядерных лексем к общему числу терминов описываемого микрополя является существенным показателем степени взаимопроникновения языков, свидетельствующим о глубине контакта. В данном случае ядерный инвентарь составляет 10,5% от суммарного. Попарное сравнение языков представлено в табл. 4.

Таблица 4

Языки	ТМС	ТМП	$\frac{\text{ТМП}}{\text{ТМС}}, \%$
Литовский и белорусский	14	5 kur(')ōnas — kurγán kùp'ina — kúp'īna krósnis — krúšn'a grúptas — γrupt(y) grúodas — γrúda	35,7
Литовский и польский	12	2 kur(')ōnas — kúrgan grúodas — γrúda	16,6
Белорусский и польский	11	5 γará — gúra prygórak — p̄sygúrek vuγór — úgor kurγán — kúrgan γrúda — γrúda	45,4

Семантическое поле 'Болото' конструируется следующим набором признаков: I. 'Степень заболоченности' с двумя подзначениями: 1) 'сильная' — 2) 'слабая'; II. 'Местоположение', внутри которого эквивалентно противопоставлены значения 1) 'болото на лугу' и 2) 'болото в лесу'; III. Признак 'Глубина (большая)', порождающий понятие 'бездонное болото'; IV. Специфические признаки, порождающие понятия 1) 'зыбкое болото' и 2) 'ржавое болото'. См. табл. 5.

При сравнении лексических систем трех языков выделяется ядерный инвентарь, равный трем единицам: (rājstas, róist), (krin'ič'ā, kryń'ica), (γrēblas, γrébl'a), что составляет 14,3% от ТМС, равной 21 единице. Попарное сравнение языков представлено в табл. 6.

Таблица 5

Признаки	Языки		
	литовский	белорусский	польский
Общее название	balà	balóta	blóto
I 1) 2)	klampīnas šlapīnē	γráz'n'a makryñ'a	
II 1) 2)	rājstas	báyña rójst(a)	báyno rójst(a)
III	bædúgnè bædugnínè	b'azdón'e	bezden'ica
IV 1) 2)	kuně rúž'imas	kuná rúž'imas	tšensav'isko
'Окно в болоте'	krin'ič'à	kryny'ica	kryny'ica
'Дорога через болото'	γréblas	γrébl'a	γrébl'a

Таблица 6

Языки	TMC	TMPI	$\frac{TMPI}{TMC} \cdot \%$
Литовский и белорусский	15	5 rājstas — rójst kuně — kuná rúž'imas — rúž'imas krin'ič'à — kryny'ica grébl'as — γrébl'a	33,3
Литовский и польский	11	3 rājstas — rójst krin'ič'à — kryny'ica grébl'as — γrébl'a	27,3
Белорусский и польский	12	5 balóta — blóto rójst(a) kryny'ica γrébl'a — grébl'a báyña — báyno	41,7

В семантическом поле 'Низинный рельеф' выделяется сепаратный фрагмент 'углубление в грунте, яма', сложная структура которого позволяет рассмотреть его отдельно и описать следую-

Таблица 7

Языки Признаки	Литовский	Белорусский	Польский
Общее название	duobė	jáma	jáma dul
I	kapan'ič'ā	kapan'īca	kapan'īca
II	sóžalka	sážalka	sažálka
III { 1)	pr'ūdas *	kryń'īca	kryń'īca
2)	krin'ič'ā	kal'úγa	
	kal'ùva	kal'uγóv'iua	

\* Лексическое перераспределение привело к тому, что только литовский говор сохранил эту этимологически славянскую лексему.

щим набором семантических дифференциальных признаков: I. 'Искусственный'; II. 'Наполненный водой'; III. Признак 'местонахождение' с двумя значениями: 1) 'в дне реки' и 2) 'на дороге'. См. табл. 7.

ТМС лексем данного семантического поля равна 9 единицам, три из которых относятся к ядерному инвентарю: (kapan'ič'ā, kapan'īca), (sóžalka, sážalka, sažálka), (krin'ič'ā, kryń'īca), что составляет 33,3%. Попарное сравнение языков представлено в табл. 8.

Таблица 8

Языки	ТМС	ТМП	$\frac{\text{ТМП}}{\text{ТМС}}, \%$
Литовский и белорусский	9	4 kapan'ič'ā — kapan'īca sóžalka — sážalka krin'ič'ā — kryń'īca kal'ùva — kal'úγa	44,4
Литовский и польский	8	3 kapan'ič'ā — kapan'īca sóžalka — sažálka krin'ič'ā — kryń'īca	37,5
Белорусский и польский	6	5 jáma kapan'īca róγ — rúγ sážalka — sažálka kryń'īca	83,3

Более подробное описание географической терминологии Гервят с включением других семантических полей, предложенное в другом месте<sup>13</sup>, позволяет говорить о том, что словарь географических апеллятивных названий описываемого пункта включает в общей сложности 115 литовских, белорусских и польских лексем, 12 из которых входят в ядерный инвентарь, что составляет 10,5% от общего числа терминов. Это следующие лексемы:

Лит.	Белор.	Польск.	
kur(')ōnas	kurγán	kúrgan	'небольшое возвышение на болоте, кочка'
grúodas	γrúda	γrúda	'замерзший ком земли'
skalà	skalá	skála	'крутый оползающий берег'
rāstas	rójst(a)	rójst(a)	'болото в лесу'
krinič'á	krynič'a	krynič'a	'окно в болоте, яма в дне реки'
grébl'as	γrébl'a	γrébl'a	'дорога через болото'
sóžalka	sážalka	sažálka	'естественный пруд; яма, наполненная водой, оставшейся после половодья'
kapan'íč'a	kapan'íca	kapan'íca	'искусственная яма'
wýspa	wýspa	wýspa	'поляна в лесу, поросшая травой'
päseka	pás'eka	pas'ěka	'вырубленное место в лесу'
rùč'us	ručáj	rúčaj	'ручей'
buktá	búkta	búkta	'глубокое место в реке'

Если же добавить сюда десять калек (о которых ниже), то ядерный инвентарь составит 19,1% от общего числа записанных в говоре географических названий. При этом особенно важно подчеркнуть, что речь идет о схождениях в такой лексике, которая выражает важнейшие представления человека об окружающем мире.

Столь высокую степень взаимопроникновения словарей трех языков можно рассматривать как дополнительный аргумент в пользу возможности классифицировать сложившуюся здесь языковую ситуацию как языковой союз.

Ядерный инвентарь формируется преимущественно из лексических элементов белорусского говора в современном его состоянии, которые рассматриваются здесь вне зависимости от их этимологической (балтийской, балто-славянской) интерпретации.

При попарном сравнении языков выясняется несколько большая роль литовского языка в общем литовско-белорусском словаре, в который входят кроме составляющих ядерный инвентарь следующие лексемы:

<sup>13</sup> Невская Л. Г. О лексическом и семантическом взаимодействии литовского и славянских языков. (На материале географической апеллятивной терминологии). — Советское славяноведение, 1972, № 1.

Лит.	Белор.	
kùp'ina	kùp'ina	'небольшое возвышение на лугу, кочка'
krósnis	krúšn'a	'куча камней; печь'
grùptas	γrùpt(ý)	'ком земли'
pùšč'a	púšča	'место, где ничего не растет'
kuně	kuná	'зыбкое болото'
rūž'ímas	rúž'imas	'ржавое болото'
šal't'ln'is	šal'cín'	'ключ, родник'
kal'úva	kal'úγa	'яма на дороге'
kúdra	kúdra	'густой частый лес'
atvajus	atvój	'водоворот'

Этот список эксплицирует различные способы адаптации заимствованных лексем: 1) «чистое заимствование», когда слово не претерпевает в языке-реципиенте ни фонетического, ни морфологического преобразования, типа белор. *гúž'imas*; 2) морфологическое перекодирование с сохранением основных грамматических характеристик типа белор. *šal't'ín'* при лит. *šal't'ln'is*, белор. *kuná* при лит. *kuně* и т. д.; 3) закономерные фонетические преобразования, касающиеся соответствия гласного (лит. *atvajus* — белор. *atvój*) и согласных (лит. *kal'úva* при белор. *kal'úγa*) и т. д. Большинство же ядерных лексем не требует особых преобразований, так как их фонетическая и морфологическая структура соответствует строю обоих языков.

Если иметь в виду ограниченность сфер использования польского языка в Гервятах, то особое значение для проблематики языкового союза имеет соотношение именно литовской и белорусской языковых систем. Ядерный инвентарь белорусско-литовского словаря, совокупно с кальками равный 32 единицам, составляет 27,8% от 115 записанных здесь географических терминов. В отдельных же семантических полях этот показатель еще выше. Так, в микрополе 'Болото' он равен 33,3% (см. табл. 2), а в микрополе 'Углубление в грунте' поднимается до 44,4% (см. табл. 8).

Может быть, самым примечательным и ярким лингвистическим показателем языкового союза является наличие во входящих в него языках большого количества взаимных калек. В результате калькирования вырабатывается тенденция к унифицированию словообразовательной структуры слова во взаимодействующих языках<sup>14</sup>, вырабатываются однозначные соответствия словообразовательных элементов и — далее — происходит интеграция словообразовательных средств.

<sup>14</sup> Конвергентные процессы, проявляющиеся в развитии сходных черт, в данном случае облегчаются изначальной структурной схожестью литовского и белорусского языков и одинаковой мотивацией внутренней формы многих названий. Последнее обстоятельство детерминирует появление большого количества семантических калек. Ср. такие пары, как лит. *išdægimas* — белор. *у́чагуšča* 'выжженное место в лесу', лит. *tankynė* — белор. *γuščár* 'частый густой лес', лит. *iškirtimas* — белор. *pás'eka* 'вырубки в лесу' и т. д.

Особенность процесса словообразовательного калькирования при контакте языков состоит не в том, что один язык усваивает словообразовательную структуру иноязычного слова, перевода его по составляющим его морфологическим элементам с использованием словообразовательных средств своего языка, а в выработке сходной структуры слова, причем уже нельзя указать направления калькирования. В результате устанавливаются такие пары, как лит. *saus-umà* — белор. *suš-yp'á* ‘сухое место, сушь, сухое время года’, лит. *deg-umà* — белор. *tar'ačun'á* ‘место на солнцепеке’ и т. д., и четкое соответствие литовского и белорусского суффиксов *-umà* — *yp'á*. На следующем этапе взаимопроникновения языков может происходить обобщение словообразовательных элементов. Так возникают параллельные литовско-белорусские формы типа *šlap-yp'è* — *makr-yp'á* ‘заболоченное место’ и литовско-белорусские лексемы типа *bystrumà* ‘быстрое течение реки’. Такие «гибридные», по терминологии У. Вайнрайха, образования, полукальки, частью состоящие из материала собственного языка, а частью из материала иноязычного слова, отмечены, естественно, и в других частях речи. Многочисленные примеры подобного рода можно извлечь как из полевых записей авторов, так и из работ, специально ориентированных на выявление лексических балтизмов в белорусском языке<sup>15</sup>.

Самым существенным результатом интерференции на семантическом уровне является усложнение структуры семантического поля, так как заимствование часто сопровождается спецификацией значения исконного слова, а вновь усвоенная лексема находит свое место в системе языка-реципиента, приобретя дополнительный признак. Так, лит. *gaistas*, попав в белорусский и польские гервятские говоры, где уже были слова *balóta* и *blóto* как родовые названия и *báγno* для обозначения болота на лугу, приобрело значение ‘болото в лесу’; славизм *kur(?)ōnas* в литовском говоре, где имеется исконная лексема *kaucgrė* ‘всякое небольшое возвышение’, употребляется с дополнительным семантическим признаком ‘(небольшое) возвышение на болоте, кочка’; литуанизм *kúdra* ‘густой частый лес на болоте’ в белорусском языке становится

<sup>15</sup> *Urbutis V. Dabartinés baltarusių kalbos lituanizmai.* — *Baltistica*, V (1, 2). Vilnius, 1969; *Арашонкаса А. Й., Гринавецкене Е. Й., Каульчук Г. П., Мацкевич Ю. Ф., Раманович Я. М., Чабярук А. Й., Шаталава Л. Ф.* Да лексіка-семантычнай дыферэнцыяцыі ў беларускіх народных гаворках. — Весці Акадэміі науک БССР, сер. грам. науку, I, 1971; *Гринавецкене Е. Й., Ковальчук И. П., Мацкевич Ю. Ф., Романович Е. М.* Северо-западные белорусские говоры литовского пограничья. — В кн.: Балто-славянский сборник. М., 1972; *Лаучюте Ю.* Лексические балтизмы в славянских языках. — ВЯ, 1972, № 3; *Гринавецкене Э., Мацкевич Ю. Ф., Романович Е. М., Чеберук Е. И.* Бытовая лексика литовского происхождения в Западной Белоруссии. — *Lietuvių kalbotyros Klausimai*, XVI. Lietuvių terminologija. Vilnius, 1975.

вится в отношение противопоставления исконному бор 'лес на возвышении' по признаку местоположения и т. д.<sup>16</sup>

Чрезвычайно существенно, что родовое название объекта в каждом из языков закрепляется за исконным словом и оказывается непроницаемым для заимствования.

\*

В условиях предельно развитого литовско-белорусского двуязычия изучалась терминология родства в дер. Пеляса (Вороновский р-н Гродненской обл. Белоруссии). Внутренняя структура этой лексической группы детерминируется не только языковыми факторами, но в значительной степени внеязыковыми обстоятельствами. Именно они определяют собственно структуру родственных отношений; нас же будет интересовать также сугубо словарная манифестация этих отношений.

Из нескольких принятых в настоящее время методов сбора материала и фиксации значений терминов была выбрана техника, предложенная Ю. И. Левиным<sup>17</sup>, исходящая из трех отношений: супруг, дитя, родитель (символически обозначаемых как С, Д, Р). Производные отношения представлены цепочкой символов, которые читаются слева направо, символы снабжаются детерминативом пола: Сж Дм — 'жена сына'. Составленный и записанный подобным образом список терминов пригоден для компонентного анализа, ценность которого особенно ощутима в нашем случае, так как этот метод позволяет единобразно представить результаты анализа, что существенно облегчает их сличение. Далее приводятся белорусская и литовская системы кровнородственных отношений (см. табл. 9).

Предложенная кодовая запись терминов кровного родства позволяет выделить дифференциальные признаки (собственно компоненты), релевантные этой терминологической системе: I — пол: а — мужской, б — женский; II — поколение: а — второе восходящее, б — первое восходящее, в — поколение этого, г — первое нисходящее, д — второе нисходящее; III — линейность: а — прямые родственники, б — коллатеральные родственники.

Запишем белорусские (см. табл. 10) и литовские (см. табл. 11) термины как комбинацию компонентов.

<sup>16</sup> Однако возможен и иной, во многом противоположный результат контакта языков —нейтрализация многих семантических оппозиций, упрощение структуры микрополя, сведение терминологии к минимуму, часто к родовому немаркированному названию. Эта тенденция реализована, например, в двух восточнонадышицких (латгальских) говорах Пилда и Шкилбены, характеризующихся взаимодействием латышского и русского языков, где в семантическом поле 'Болото', кроме родового названия *rūrvs*, манифестирует только один признак 'вязкое болото': *dūnkīt's* (*dūnkīšć*) (примеры даются в латгальской диалектной форме).

<sup>17</sup> Левин Ю. И. Об описании системы терминов родства. — Советская этнография, 1970, № 4.

Таблица 9

Значение термина	Язык	Белорусский	Польский
1. РмР 'дед' *		ž'et	ž'ēdas
2. РжР 'бабка'		bábka	bobúć'e
3. Рм 'отец'		táta **	tótā ***
4. Рж 'мать'		mátka	mótka <sup>4*</sup>
5. ДмРР 'дядя'		ž'áč'ka	ž'ēž'e
6. ДжРР 'тетка'		c'ótka	c'atà
7. ДмДмР 'сын брата'		bratának	bról'énas
8. ДмДжР 'сын сестры'		s'astrának	s'es'erúc'is
9. ДжДмР 'дочь брата'		bratan'íca	brólejč'a
10. ДжДжР 'дочь сестры'		s'astran'íca	s'es'erút'e
11. Дм 'сын'		syn	súnús <sup>5*</sup>
12. Дж 'дочь'		dačká	dukt'ë <sup>6*</sup>
13. ДмР 'брать'		brat	brólas
14. ДжР 'сестра'		s'astrá	s'asuva
15. ДмДРР 'двоюродный брат'		stréčny brat	stréčnës bróles
16. ДжДРР 'двоюродная сестра'		stréčna ja s'astrá	stréčna s'asuva
17. ДмД 'внук'		unúk	unükës <sup>7*</sup>
18. ДжД 'внутика'		unúčka	unük'e <sup>7*</sup>

\* Названия родственников третьего восходящего поколения ('прадед' и под.), равно как и третьего нисходящего ('правнук') опускаются для упрощения примера.

\*\* Синонимичным обозначением, употребляющимся в иной — официальной — стилистической подсистеме говора, является оборот тоj báč'ka, литовский язык использует параллельное máno c'ėvas. Обе лексемы во множественном числе — báč'k'i и c'evéi — употребляются в значении 'родители; предки'.

\*\*\* Ударение литовского слова утифицируется по белорусскому образцу.

4\* Лит. mōsc'ina употребляется в говоре в официальной речи параллельно белор. majá mótká. Лит. номинативная форма mōtka и форма обращения tħmta появляются в результате фонетического перекодирования соответствующих белорусских лексем.

5\* Это отношение родства имеет разные терминологические обозначения в зависимости от возраста: '15—16 лет' — xlérčuk, b'erm'ikas; 'меньше 15' — xlapčák, b'erg'ókas. В обоих случаях обращает на себя внимание интеграция суффиксальных элементов.

6\* Параллельно предыдущему для обозначения дочери с дополнительным (но иным — 'до 10 лет') указанием возраста употребляется белор. ž'aucýna и лит. m'erg'ina.

7\* Фонетическое уподобление литовской формы anükas, anükë (по происхождению заимствование из восточнославянского, см.: Būga K. Rinktiniai raštai, t. 1. Vilnius, 1958, с. 270—271) белорусской форме.

Таблица 10

Компонент Термин	I		II					III	
	а	б	а	б	в	г	д	а	б
1. ž'ed	+		+					+	
2. bábka		+	+					+	
3. tátá	+			+				+	
4. mótká		+		+	—			+	
5. ž'áč'ka	+			+					+
6. c'ótka		+		+					+
7. bratának	+					+			+
8. s'astrának	+					+			+
9. bratan'íca		+				+			+
10. s'astran'íca		+				+			+
11. syn	+					+		+	
12. dačká		+				+		+	
13. brat	+				+			+	
14. s'astrá		+			+			+	
15. stréčny brat	+				+				+
16. stréčnaja s'astrá		+			+				+
17. unúk	+						+	+	
18. unúčka		+					+	+	

Таблица 11

Компонент Термин	I		II					III	
	а	б	а	б	в	г	д	а	б
1. ž'edas	+		+					+	
2. bobúc'e		+	+					+	
3. tótá	+			+					
4. mótká		+		+				+	
5. ž'ëž'e	+			+					+
6. c'atá		+		+					+
7. brol'énas	+					+			+
8. s'es'erúc'is'	+					+			+
9. bróležic'a		+				+			+
10. s'es'erút'e		+				+			+
11. súnús	+					+		+	
12. dukt'ë		+				+		+	
13. bról'is	+				+			+	
14. s'asuvà		+			+			+	
15. stréčnés bróles	+				+				+
16. stréčna s'asuvà		+			+				+
17. unúkës	+						+	+	
18. unúk'e		+					+	+	

Из табл. 10 и 11 видно, что в основе и литовской, и белорусской систем родства в описываемом говоре лежит одинаковая конфигурация компонентов, обе системы имеют одинаковую структуру (здесь специально следует отметить выравнивание систем в звене 'племянник'—'племянница', где белорусский говор по аналогии с литовским находит языковые возможности для реализации оппозиций ДмДмР—ДмДжР 'сын брата'—'сын сестры' и ДжДмР—ДжДжР 'дочь брата'—'дочь сестры', калькируя соответствующие литовские термины).

Лексемная унификация литовской и белорусской систем выражается в том, что из ряда внутриязыковых синонимов<sup>18</sup> каждый из взаимодействующих языков выбирает структурно (и этимологически) соотносимые.

Изначальная высокая степень генетической близости, свойственная литовскому и белорусскому языкам в этой группе лексики, часто затрудняет решение вопроса о направлении заимствования, в некоторых случаях, впрочем, несомненного (см. лит. ž'ėdas, tótā, mótką, «дважды заимствованное» upūkas — см. примечание 7 к табл. 9). Как и в других лексических группах, взаимодействие терминологических систем родства в их современном состоянии приводит к лексемной перестройке литовской системы, адаптации ее по белорусскому образцу.

Сравнительно с географической лексикой терминология родства представляется системой, отражающей отношения, существующие только в данном социуме. Это придает особый смысл тому факту, что в условиях этно- и языкового контакта белорусско-литовская терминология кровнородственных отношений характеризуется большей степенью сближения, нежели функционирующая и за пределами говора географическая терминология.

\*

Характеризуя языковую ситуацию литовских островов в Белоруссии, мы ограничились лишь некоторыми вопросами фонетико-фонологического и лексического взаимодействия литовских и славянских говоров. Но по собранным уже сейчас материалам многочисленные и веские сходства свидетельствуются и в других планах.

Так, в морфологии отмечены факты заимствования и материальной адаптации аффиксов, возникновения креолизованных форм, утраты некоторых форм, а иногда и категорий (ср. явления, связанные с судьбой среднего рода в белорусских и польских говорах в соседстве с литовским), случаи внутриязыковой перегруппировки морфологических средств, вызванной силами взаимного притяжения говоров в условиях полилингвизма. Унифици-

<sup>18</sup> Максимальные наборы уже выявленных синонимов сопровождают каждый вопрос анкеты, составленной К. Моркунасом. См.: *Morkūnas K. 1-oji dialektologijos anketa. — Mūsų kalba. Vilnius, 1974, № 5.*

рующие тенденции активны и в синтаксисе. Здесь они ведут к большей, чем обычно, свободе вариаций, с одной стороны, и к перенесению центра тяжести на простые и нивелированные с точки зрения языковых различий конструкции — с другой. Однако точное представление о процессах и результатах морфологической и синтаксической конвергенции может дать не перечисление ряда общих черт, а сопоставление исчерпывающих и единообразных описаний морфологических и синтаксических систем говоров в условиях контакта. Разработка этих вопросов остается насущной задачей диалектологии литовско-славянского пограничья.

Изучение реликтовых литовских островов в Белоруссии важно для представления общей лингвогеографической картины территории современного соседства балтов и славян. Уже сейчас очевидно, что многие явления, отражающие континуум литовских и белорусских диалектов, остаются за пределами диалектологических атласов Белоруссии и Литвы. Ввиду этого особую актуальность приобретает вопрос о специальном диалектологическом атласе зоны балтийско-славянского языкового пограничья. Начало исследовательской работы в этом плане связано с выявлением типологических и материальных сближений литовских и славянских говоров в островных пунктах и далее — с прослеживанием иррадиации этих признаков в среде, окаймляющей острова.

## ВЗГЛЯДЫ Л. Н. ТОЛСТОГО НА НАРОДНЫЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЭВОЛЮЦИЯ ТОЛСТОВСКОГО СТИЛЯ

1. Суждения Л. Толстого о языке представлены в его наследии богато и многообразно. Они неоднократно излагались в его статьях, рассыпаны в его дневниках, записных книжках и письмах, ими он охотно делился в беседах с посетителями Ясной Поляны и близкими<sup>1</sup>. Все это свидетельствует о глубоком и неизменном внимании его к языковой проблематике, о тесной связи этих размышлений с собственным творческим опытом. Эта проблематика имеет для него и специальный и общий интерес. Личные склонности и общественные мотивы, творческие потребности и сознание долга перед народом соединены при этом крепко и неразрывно, определяют конкретные пути решения этих проблем. Язык ставится Толстым в один ряд с искусством; этим подчеркивается активная роль его в процессе познания мира. Эстетические мотивы в суждениях Толстого о языке вообще играли существенную роль. Но концепция неразрывности эстетического и познавательного элемента в речевой деятельности вместе с тем вела Толстого к этическим выводам о глубоко социальном, единственном назначении искусства и языка, о роли их в стремлении к достижению возможно полного общественного блага. В трактате об искусстве на одно из первых мест выдвинут тезис: «Искусство, вместе с речью, есть одно из орудий общения, а потому и прогресса, т. е. движения вперед человечества к совершенству» (30, 151)<sup>2</sup>. Одно (речь) обусловливает, по Толстому, эволюцию знаний, другое (искусство) — эволюцию чувств.

Взгляды Толстого на язык и специально на русский язык в его двух основных разновидностях (литературный и народный язык) занимают часто если не центральное положение, то близкое, непосредственно связанное с центральными для его мировоззрения вопросами. Движение этих взглядов, перемены в них

<sup>1</sup> См., например, передачу этих высказываний писателя в книгах: *Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом. 1883—1901. Воронеж, 1972; Тенеромо И. [Файнерман И. Б.]. Живые слова Л. Н. Толстого за последние 25 лет его жизни. М., 1912; Толстой С. Л. Очерки бытого. 2-е изд. М., 1956; Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973; и др.*

<sup>2</sup> Здесь и далее все ссылки делаются на юбилейное Полное собрание сочинений в 90 томах (1928—1958). Первая цифра в скобках означает том этого издания, вторая — страницу.

на протяжении его творческой деятельности отражают достаточно прямо и точно сложную эволюцию этого мировоззрения. Крутой перелом в отношении к литературному и народному языку отвечает тому перелому, который совершился в общественной позиции писателя на грани 1870—1880 гг., его переходу на позиции патриархального крестьянства, его решительному противостоянию корыстным интересам господствующих классов. Как увидим далее, этот перелом во взглядах на язык в известной степени даже предваряет перелом в общественных воззрениях, является предвестием последнего. Конечно, и тот и другой перелом не был прямым разрывом с, предшествующей творческой и идеальной эволюцией писателя. Он был подготовлен постепенным (но не всегда прямолинейным) усилением определенных сторон в его воззрениях, его творческими поисками, его теоретическими размышлениями и практической общественной деятельностью в предшествующий период, в связи с общим подъемом социального движения в начале 60-х годов.

2. Взгляды Толстого на язык, их отражение в его творческой деятельности уже были предметом специального рассмотрения<sup>3</sup>. Однако этот анализ их нельзя еще признать исчерпывающим тему и во всех случаях точным. Не всегда с необходимой отчетливостью и строгостью отделялось в этих исканиях и суждениях Толстого то, что отвечало характерным сдвигам в отношении к русскому литературному и народному языку в общественном сознании этого времени, и то, что составляло специфические черты толстовской концепции, обусловленные особым его мировоззрением, как оно складывалось до и после указанного решающего изменения в его социальной позиции. В этих взглядах Толстого несомненно было и то, что объединяло его в общих заключениях о путях и средствах дальнейшего развития литературной речи, об усилении начала народности в ней с другими направлениями в общественной мысли второй половины XIX в., было и то, что отдало его от других влиятельных направлений. В этих взглядах Толстого на литературный и народный язык в их соотношении заключено не мало противоречивого. Эти внутренние противоречия в сложившихся оценках позиции Толстого иногда выравнивались, а сама эта позиция иногда подравнивалась под взгляды иных направлений. В частности не всегда с достаточной осторожностью сопоставлялись взгляды Толстого со взглядами, характерными для передовой демократической мысли 1860—1870-х годов, хотя здесь несомненно были и важные сходства.

<sup>3</sup> Ср. работу «Л. Толстой о народности писательского языка» в кн.: Гельгардт Р. Р. Избранные статьи. Языкознание. Фольклористика. Калинин, 1966. Важно учитывать подборку ряда высказываний Л. Толстого в сб. «Русские писатели о языке» (Л., 1954, с. 563—599), но особенно труд Н. Г. Зеленова «Толстой о языке и критика о языке Толстого» (Аннотированный био-библиографический указатель, вып. 1. — Уч. зап. Ярославск. пед. ин-та им. К. Д. Ушинского, вып. III. Ярославль, 1965).

В связи с этим одной из существенных задач при исторической характеристике и оценке этих взглядов является необходимость проследить достаточно детально их эволюцию, выделить отдельные временные отрезки в этой эволюции, связанные с обострением внимания Толстого к этим проблемам, предлагающие существенные изменения в акцентах, определяющих для писателя место, назначение и идеальный облик литературной речи, ее отношение к речи народа. Наконец, необходимо определить с возможной точностью, каковы были конкретные отражения этих воззрений в собственной практике писателя, в его манере письма, в каких пределах следование выработанным стилистическим концепциям определяло разработку новых стилей повествования и дифференциацию отдельных стилевых приемов.

3. Первые высказывания Толстого по вопросам языка дошли до нас в дневниках начала 1850-х годов. Здесь рядом располагаются и мысли общего плана, и конкретные оценки стиля и языка предшествующих писателей и современников<sup>4</sup>, и требования, предъявляемые к себе как автору. «Надо писать и писать. Одно средство выработать манеру и слог» (46, 142) — это требование обращает к себе Толстой неоднократно в период работы над повестью «Детство» и другими замыслами этого времени. Один из настоятельных призывов — к четкости и ясности письма, к сокращениям, к уничтожению «без жалости» всех «мест неясных, растянутых, неуместных», «хотя бы они были хороши сами по себе» (46, 101). Эти требования сжатости и максимальной «уместности» каждого словесного штриха и дальше сопутствуют работе Толстого, получая специфические обороты и новое обоснование в период обращения к народной тематике, к писанию рассказов для народа. Не случайно, что и эти первые дошедшие до нас мысли приходятся на время вызревания замысла «Казаков», когда в станице Старогладковской молодой офицер впервые тесно соприкоснулся с народной средой<sup>5</sup>. Здесь — и первое по времени суждение Толстого о порочной связи «фразы», книжной искусственности слога с неверным развитием мысли. «Надо привыкать всегда и во всем писать четко и ясно, а то часто бессознательно неясность или неверность мысли скрадываешь от самого себя неестественными оборотами, помарушками и размахами» (46, 184). Для ран-

<sup>4</sup> И здесь немало парадоксальных суждений. Высокая оценка слога «Истории» Карамзина корреспондирует с известным высказыванием о prose Пушкина, которая, по мнению молодого Толстого, «стара не слогом, но манерой изложения». Ведь для него «повести Пушкина голы как-то» («в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий» — резюмирует Толстой) (46, 187—188). Эти реакции в оценке пушкинского повествования — краткого и динамичного — понятны на фоне тех стилевых заданий, которые культивируются Толстым как автором психологически осложненного рассказа в период работы над «Историей четырех возрастов».

<sup>5</sup> Дневниковые записи этих лет сохраняют следы острого интереса к фольклору, к живой народной речи.

них размышлений о соотношении литературы и народного начала характерна дневниковая запись марта—мая 1851 г.: «Все сочинения, чтобы быть хорошиими, должны, как говорит Гоголь... , выпеться из души сочинителя. Что же доступного для народа может выпеться из души сочинителей, большей частью стоящих на высшей точке развития, народ не поймет. Ежели даже сочинитель будет стараться сойти на ступень народную, народ не так поймет... Слова доступны, как выражения мысли, но мысли недоступны. — У народа есть своя литература — прекрасная, неподражаемая; но она не подделка, она выпевается из среды самого народа. Нет потребности в высшей литературе, и нет ее. Попробуйте стать совершенно на уровень с народом, он станет презирать вас» (46, 71).

Итак, признание двух не сливающихся сфер — литературы для «образованного класса» и литературы народной (фольклор), утверждение невозможности для людей образованного круга писать специально для народа и с «народной точки зрения».

4. К началу 1860-х годов положение меняется. Обостряется интерес Толстого к народной жизни, к крестьянскому быту. К 1859—1862 гг. относится создание повести «Поликушка» и — что еще более важно — работа над двумя тесно связанными между собою повестями «Идиллия» и «Тихон и Маланья». Замысел «Идиллии» вызван рассказом ясонополянской крестьянки. Впервые Толстой обращается к сказу, стремясь воспроизвести формы живой крестьянской речи. В дневниковых записях отражены нелегкие поиски новой формы, забота о безыскусственности повествования<sup>6</sup>. Нужно однако заметить, что в этих опытах еще сказывается зависимость Толстого от манеры сказа, сложившейся в литературе этого времени; формы народной речи нередко перебиваются литературными; недостает лаконизма и столь характерной для стиля позднейших народных рассказов Толстого манеры «резать фразу», выделять немногие особо выразительные образные детали. Любопытно, что, перечитывая в последние годы жизни «Тихона и Маланью», Толстой заметил: «Как я тогда размазывал на нескольких страницах то, что можно было сказать в двух словах»<sup>7</sup>. Но вместе с тем в этих первых опытах<sup>8</sup> выступает и некоторый речевой натурализм, передача диалектных особенностей речи персонажей<sup>9</sup>. Здесь же отчетливо выступает тяготение к народным поговоркам, пословицам, присловиям не только как к выразительной, но и организующей сюжет детали<sup>10</sup>. Очень характерно и обраще-

<sup>6</sup> См. запись от 7 VIII 1860, относящуюся к «Идиллии»: «Формы еще не знаю» (48, 27); от 29 VIII: «Дорогой пришла мысль о простоте рассказа» (48, 29).

<sup>7</sup> См.: Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения. М., 1928, с. 281.

<sup>8</sup> См. еще ряд отрывков рассказов из деревенской жизни: 7, 106—116.

<sup>9</sup> Например: «замашки стеле» (7, 107); «Одна Маланька не одемши, босиком дома была» (7, 67).

<sup>10</sup> Ср. подзаголовки к двум редакциям «Идиллии»: «Оно заработки хорошо, но и грех бывает от того» и «Не играй с огнем — обожжешься» (7, 64 и 82).

вие к отдельным выражениям, отвечающим народному восприятию явлений природы, к специальной лексике сельских работ и т. д. Ср. в «Идиллии»: «Погода стояла в а ж на я; до праздника дни за три месяц народился п о г о ж и й — с е р п к р у т о й. О б м y л с я месяц, и пошли красные дни»; «повестил (староста) — бабам сено грести в заклах, мужикам возить» (7, 67)<sup>11</sup>.

Характерно, что в дневниковых записях теперь, несмотря на убеждение в независимом и параллельном существовании двух литературных традиций, всплывает мысль о необходимости посредствующих звеньев<sup>12</sup>. Еще более существенна цель, которую себе ставит Толстой, впервые обращаясь к обучению крестьянских детей, — знакомство их с языком литературным. Вопрос об отношении и взаимодействии народного и литературного языка прямо выходит на передний план; это отражено в статьях журнала «Ясная Поляна».

Впрочем, для этих статей характерна более постановка вопроса, вызывающая противоречивые мысли, сомнения и чаяния, нежели вполне отчетливое и единое решение поставленного вопроса. Работа в яснополянской школе представляла для Толстого трудный эксперимент. Процесс обучения превращался в своего рода «совместную работу» с крестьянскими детьми, от которой «получают плоды не только они, но и учитель. Первый опыт школьной работы оборачивается своеобразным «ученичеством» писателя у крестьянских ребят.

Общая задача была поставлена как задача обучения крестьянских детей литературному языку, активного приобщения их к богатству литературы. Но сразу же, при первых попытках «постепенного чтения» она обернулась «неразрешимым вопросом». Толстой формулировал его так: «Для образования народа необходима возможность и охота читать хорошие книги, — хорошие книги писаны языком, которого народ не понимает. Для того чтобы выучиться понимать, нужно много читать; для того чтобы охотно читать — нужно понимать» (8, 61).

Крестьянские дети охотно читали и понимали фольклорные произведения — «сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок» (8, 60), но не обнаруживали охоты и понимания при обращении как к большой литературе — Пушкину, Гоголю, «Робинзону Крузо» и т. д., так и к специальным подделкам под простонародность типа изданий А. Ф. Погоссского и др. На поставленный вопрос Толстой предлагает три варианта ответа. Они отражают как бы три «ступени» в разрешении вопроса о народности литературы, представленные у самого писателя в раз-

<sup>11</sup> Здесь и далее в цитатах из Толстого разрядка моя. — Ю. С.

<sup>12</sup> «Немного успел прочитать Риля в календарях. Он прав; о органическом значении народных старых календарей и вообще на родной из народа литературы. Но где же место Ауэрбаха? *Intermédiaire* между народом и образованным классом» (48, 27).

ные периоды его деятельности. Первый вариант ответа сводился к тому, что при оторванности высшего класса общества от народа необходимо время, чтобы создать переходную литературу, «которая само собою уложится в курс постепенного чтения» (8, 61—62). К этому, как мы видели, клонились размышления Толстого, отраженные в дневниках ближайшего предшествующего времени. Второй ответ — наиболее резкий и безоговорочный. «Народ не понимает и не хочет понимать нашего литературного языка, потому что нечего ему понимать, потому что вся наша литература для него не годится, и он выработает сам из себя свою литературу» (8, 62). Эти мысли, это противопоставление двух литератур отражались в дневниковых признаниях 1850-х годов, но с особенною силой оно зазвучит у Толстого в 1870—1880-х годах, в период создания «Книг для чтения», а затем «народных рассказов». Сейчас же, в школьных опытах начала 1860-х годов, наиболее «вероятным» представляется вывод, что ошибка народных учителей состоит в форсировании обучения народа литературному языку. Здесь едва ли не «нерв» подхода Толстого к мучившей его проблеме в пору первых школьных занятий с яснополянскими ребятами. «Знание литературного языка придет в свое время каждому ученику сама собою» (8, 62), против воли научить народ нельзя. Это провозглашение принципа полной свободы народного выбора чтения проводится Толстым с особенной силой. «Народ так же нельзя поучать, как и нельзя испортить книжками»; «ежели народ хочет читать Английского Милорда, то какое мы имеем право жалеть об этом и предлагать ему сочинения о том, какие, по нашему мнению, нужны для народа добродетели» (8, 363—364). Личный учительский опыт уводил писателя в это время от усилий внедрить в практику письма деревенских ребят нормы литературной речи к попыткам проникнуть в «творческую лабораторию» простого ребенка. Не только описанию этого опыта, но очень характерному романтически напряженному осмыслению его посвящена статья «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» Ответ на вопрос уже не вызывает ни сомнений, ни колебаний. Восторженна оценка рассказа на заданную Толстым школьникам в качестве темы пословицу. Рассказ написан в основном двумя крестьянскими мальчиками, и Толстому, по его настойчивому признанию, принадлежит в нем немногое и не самое лучшее. Очень характерно описание работы над рассказом мальчика, выведенного здесь под именем Федьки. «Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, т. е. любви облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идеи вечной красоты и гармонии». И немного далее: «Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как иска-

телю клада, который бы увидел цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей» (8, 304—306). Здесь сама фразеология, образные атрибуты картины почерпнуты из арсенала романтических представлений об искусстве. Симптоматичны и те ноты авторского самоуничтожения, которые при этом вырываются. «Я автор „Детства“, заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики. . . я, в деле художества, не только не могу указать или помочь 11-летнему Сенке и Федьке, а . . . едва-едва, — и то только в счастливую минуту раздражения, — в состоянии следить за ними и понимать их» (8, 308). Конечно, в таких оценках и самооценках очевидно нарушение истинных пропорций. Они ведь еще опираются на метафизическую концепцию, что «чувства правды, красоты и добра независимы от степени развития» (8, 321). Здесь живо звучат руссоистские представления о том, что полное выражение гармонии лежит «позади нас», на ранних ступенях сознания. «Как бы ни неправильно было развитие ребенка, всегда еще остаются в нем первобытные черты гармонии. Еще умеряя, по крайней мере не содействуя развитию, можно надеяться получить хоть некоторое приближение к правильности и гармонии» (8, 322).

В это время сам Толстой еще не обращается к писанию произведений для народа и на народном языке. Но зато резко звучит критика многих изданий, предназначенных для народного и детского чтения, умножившихся в 1860-е годы. Здесь и журналы «Народная беседа» и «Солдатская беседа» А. Ф. Погорского, «Грамотей» И. И. Кушнерева и др., и книги П. М. Переялесского («Предметные уроки по мысли Песталоцци») и даже К. Д. Ушинского («Детский мир»). Толстой подвергает придирчивому разбору общие правила, по которым составляются книжки для детей и народа, причем выявляется либо неполнота, либо «совершенная ложность» некоторых из них. Так, касаясь утверждения, что язык таких книг должен быть «понятный, народный и не испещренный словами местного наречия» (8, 427), Толстой характерно дополняет его: язык должен быть не только понятный или простонародный, но он «должен быть хороший». Он советует (и этот совет очень важен для Толстого) «не то что употреблять простонародные, мужицкие и понятные слова, а . . . употреблять хорошие сильные слова и не. . . употреблять неточные, неясные, необразные слова» (8, 427). «Нужны понятные короткие предложения. . . Просто хороший, мастерской язык, которым отпечатывает простолюдин. . . все, что ему нужно сказать, то, чему мы учимся у него и не можем научиться» (8, 429). С требованием этой сжатости и образной силы слога сопрягается осуждение типично книжных, эмфатических, но неконкретных, необразных слов (*великолепный голос вм. хороший или прекрасный*), иностранных слов там, где

они могут быть заменены русскими, искусствами перифраз, где требуется назвать «самую простую вещь, имеющую короткое и меткое название в нашем языке» (8, 428). Осуждается с особою силою ложная манерность, «напыщенность и неестественность фразы», скрывающая «пустоту содержания» (8, 283) и вместе с тем «гладкость» языка, «которым пишут фельетоны и повести в плохих журналах» (8, 285). Но не менее безоговорочно отвергается электическое сочетание литературной «гладкости» с введением «для колорита» простонародных слов и речений. Ср. о таком слоге: «Каждое подлежащее с эпитетом, легкие обороты речи, милые русицизмы, когда говорит мужик или баба с прибавлением слов *там-от-ко*, или что трава растет *гонко* и т. п., — тот самый язык, про который говорят: „приятный стиль“, и про авторов которого говорят — „владеет пером“ . . . Ни одного живого прочувствованного оборота, эпитета, ни одного лица, ни одной картины! И что хуже всего, как будто бы есть картина, как будто бы что-то описывается. Все это набрано из плохих повестей и съючено в одно место» (8, 286). Это критика сильная — и при этом задевающая не какие-либо поделки бойких авторов, а, например, как в только что цитированном месте, слог хрестоматии К. Д. Ушинского, — но все же не очень конкретная. Всего конкретнее замечания о синтаксисе. Решительный характер носит отвержение периодической речи<sup>13</sup>, книжных форм причастий («формы удлинения речи, совершиенно чуждые языку» — 8, 429) и т. д. Здесь (в неопубликованной при жизни Толстого статье 1862 г. о языке народных книжек) впервые наблюдаем переход от резкой, но частной критики народных и школьных книг к замечаниям, касающимся книжного языка в целом, а не только его популярных стилей публицистических и беллетристических, — то, что вполне будет сформулировано в оценках литературного языка в 1870—1880-е годы.

Критика «плохого слога» книг для народа в названной статье дополняется выдвижением в качестве «образца языка» — «как в отношении слов, так и их сочетаний» — одного из ученических сочинений, опубликованных в книжках журнала «Ясная Поляна» за 1862 г. Таких сочинений было там опубликовано несколько, но особым вниманием Толстого пользовались два — «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» (его основные «авторы» — Игнат Макаров и Василий Морозов) и «Солдаткино житье» В. Морозова<sup>14</sup>. Они-то в процессе их «создания» и рассматриваются

<sup>13</sup> И здесь эта критика облекается иногда в форму самокритических признаний: «Длинный, закрученный период, с вставочными и вводными предложениями, тот период, который в старину составлял славу Биофонов, не только не есть красота, но он почти всегда скрывает слабость мысли и всегда неясность мысли. . . Не знаю, как скажут другие, откровенно проверив себя, но я признаюсь без исключения, всегда я впутывался и впутываюсь в длинный период, когда мне не ясна мысль, которую я хочу высказать, когда я не вполне овладел ею» (8, 429).

<sup>14</sup> Имя В. Морозова еще раз появилось в печати и опять при участии Л. Толстого, когда любимому ученику яснополянской школы первого набора

в статье «Кому у кого учиться писать». При этом подчеркивается самостоятельность учеников в развитии заданной темы и развертывании сюжета, в нахождении метких реально-образных деталей рассказа<sup>15</sup>. Эти особенности школьного рассказа Толстой прямо противополагает той «пошлости и испорченности» и сентиментальной неопределенности тона, которые видит в литературных описаниях народной жизни. Ср., например: «Ничего подобного этим страницам я не встречал в русской литературе. Во всей этой встрече (крестьянина, вернувшегося после солдатчины в свой дом, — из рассказа «Солдаткино житьё». — Ю. С.) нет ни одного намека на то, что это трогательно, рассказано только, как было дело. Солдат в своем доме сказал только три слова. Сначала он еще крепился и сказал: „здравствуйте“». Когда он начал забывать взятую на себя роль, он сказал: „что-то у вас семьи только?“ И все было высказано словами: „Где же моя матушка?“ Какие все простые и естественные слова, и никто из лиц не забыт» (8, 315). В этом смысле «идеал» был найден: простота и даже безыскусственность выражения, сжатость, минимум верных деталей. Не вполне определенными, однако, оставались внешние формы языка.

В рассказе «Ложкой кормит» бросаются в глаза довольно частые местные слова, далеко не все представленные даже в Словаре Даля. Ср.: «на дворе пыль затихла» (19)<sup>16</sup>, «шенель и щубу повесь на чело (печи. — Ю. С.), над запушкою, открай заслонку, чтобы она скорее присохла» (8), «разбрюзглы лапти в печку бросил» (8), «задорга отскочила и старик упал с печи» (20), «как он не замерз! небось у него ноги теперь как берлоги какие!» (9), «тут она (баба. — Ю. С.) стала как дикая: рогачами гремит, дрова (в печку) швыряет» (17), «как услыхала баба, что дед самовар завалил, она совсем остервенела и выскочила из двери и стала поднимать. А старик замешался, хотел подсобить. Как она дребацнет его в плечо, так он в притолку головой и уткнулся» (33) и т. п. Вместе с тем характерно смешение различных форм повествования, как народно-разговорных, так и книжно-литературных. Ср., например:

«Тут мужик проснулся и видит, старик лежит посреди избы. Он поднял его, посадил на лавку и говорит:

— Что, дедушка, убился?

А старик говорит:

— Ничего, мне теперь полегчило.

Старик посвежел против вчерашнего. В то время проснулся Сережка и с палатей на старика уставился и думает: вчера

было уже 60 лет. Его рассказ «За одно слово», правленный Толстым, был напечатан в журнале «Вестник Европы» за 1908 г. (№ 9) с предисловием Толстого (см. 37, 148 и 435, а также 56, 138).

<sup>15</sup> См. особенно об этом: 8, 312—320.

<sup>16</sup> Здесь и далее в скобках страницы по кн. 4 «Ясной Поляны». Курсив наш.

такого у нас не было... Сережка тем временем осмелился, и все около старика радовался, и все его кормил — картошек ему достал и показывал ему, где в ямке молоко стоит, — говорит: достань, дедушка. А старик говорит:

— Спасибо, матушка! не хочу. Лучше отец или мать даст» (20—22).

Толстой указывает, что рассказ этот он только «начал». И тут же добавляет: «Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указанию учеников» (8, 302). Однако никакой исключительной «фальшивости» и вообще резких отличий по языку и тону изложения даже придиличный стилист здесь не обнаружит. Есть, может быть, следы книжных синтаксических форм и более строгого выбора слов, но этого не лишено и последующее изложение. Вот это начало: «Была раз большая пыль (Примеч.: Вьюга, снежная метель). Вот баба оделась и пошла за водой. Несет ведра; сама насили ноги из снегу вытаскивает, и ничего не видит впереди себя. Вдруг она наткнулась на что-то у порога и воду пролила, испугалась и закричала» (5).

Некоторые из сочинений учеников, впервые появившихся в журнале «Ясная Поляна», в том числе и рассказ В. Морозова «Солдаткино житье», были позднее Толстым включены в его «Книги для чтения»<sup>17</sup>. Любопытна переработка, которой они при этом были подвергнуты. Она коснулась прежде всего реальной, содержательной стороны рассказов. Ведь в книгах для чтения, предназначенных для детей младшего возраста, многие эпизоды, например, рассказа «Солдаткино житье» (пьянство отца, побои, достававшиеся сыну, и т. д.) представлялись неуместными. Но правка затронула и стиль, и язык рассказов. Повествованию придан и больший лаконизм и большая логико-синтаксическая упорядоченность, убраны или пояснены некоторые местные слова и обороты и т. д. Ср., например, начало рассказа «Солдаткино житье» у Василия Морозова: «Чуть я помню, мне было лет шесть, жили мы на краю деревни бедно, был отец, мать, бабушка и нянька. Я помню, как сквозь сон, как моя бабушка меня любила пуще моей матери. Ходила она в старом чупруне и в худенькой паневе, голосу повязывала какой-нибудь старой ветошь

<sup>17</sup> Ср. еще: «Как мальчик рассказал про то, как его в лесу застала гроза. (Быль)» (в кн. 3 «Ясной Поляны» этот рассказ обозначен просто как «Сочинение Василия Румянцева»); «Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город» (в кн. 2 «Ясной Поляны»: «Как меня не взяли в Тулу» — без имени автора).

кой. Когда я бывало стану где-нибудь бегать, то она говорит: не убейся, Федя!» («Ясная Поляна», 1862, кн. 9, с. 5); в «Третьей книге для чтения»: «Мы жили бедно на краю деревни. Была у меня мать, нянька (старшая сестра) и бабушка. Бабушка ходила в старом чупруне и худенькой паневе, а голову завязывала какой-то ветошкой, и под горлом у ней висел мешочек. Бабушка любила и жалела меня больше матери» (21, 226). Ср. также: «потом народ заиграл песни и стали плясать» — «стали петь песни и плясать»; «Я сел на печку и стал дюжей плакать» — «я сел на печку и стал плакать» и т. п.

Работа Толстого в яснополянской школе в начале 1860-х годов обостряла его интерес к народному языку, вызывала на сопоставление его с языком литературным, на критику отдельных черт книжных стилей последнего. Но в общей сложной эволюции толстовских взглядов на язык это все еще первый, подготовительный этап, связанный и с романтической идеализацией некоторых сторон народного сознания и творчества, и с сомнениями относительно возможного сближения двух речевых традиций — народной и книжной.

С 1863—1864 гг. эти размышления об отношениях народной и литературной речи временно отступают. Писатель отдается работе над эпopeей «Война и мир». В многоголосии этой эпопеи звучат и крестьянские голоса; образ Платона Карапатаева с его особым отношением к миру и с его особым способом выражения получает даже особое значение для Толстого. Но этот особый склад речи Карапатаева, то, что, по образному выражению писателя, служит «олицетворением всего русского, доброго и круглого» (12, 48), представлен в романе еще пунктирно, отдельные реплики его чередуются с авторским пересказом.

5. С новой силой вопрос о народном языке в его отношении к литературному встает лишь после завершения работы над «Войной и миром». Здесь, в начале 1870-х годов, намечается и крутой поворот в решении этой проблемы. Это связано с новым увлечением педагогической работой в яснополянской школе и особенно с составлением «Азбуки» и «Книг для чтения», труда, которому Толстой отдается теперь с обычным для него безудержным увлечением и которому придает особое, почти исключительное значение. «Эта азбука одна может дать работы на 100 лет», — пишет Толстой (61, 283). И при этом на первом месте стоит работа над языком: «Если будет какое-нибудь достоинство в статьях азбуки, то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е. языка» (61, 274). Но характерно, что наряду с общими требованиями краткости, простоты и ясности, выдвигается и требование чисто эстетическое. «Работа над языком ужасная, надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно» (61, 283).

Всего, по подсчету исследователей, для «Азбуки» и ее другой редакции — «Новой азбуки» Толстым было написано 629 произ-

ведений<sup>18</sup> — рассказов разного размера, басен, сказок, описаний природных явлений и т. д. Работа, как всегда у Толстого, проходила в бесчисленных переделках и исправлениях. В одном из писем несколько более позднего времени, уже после завершения работы над «Новой азбукой», Толстой говорит о труде переделывания «по 10 раз», о просеивании немногого «из в 20 раз большего количества приготовленных рассказов» (62, 250). Действительно, в рукописях осталось 256 вполне отделанных, но не включенных в издание рассказов<sup>19</sup>. В состав «Книг для чтения» вошли и вполне оригинальные произведения (среди них такие замечательные миниатюры, как рассказики о Бульке, и такой шедевр, как «Кавказский пленник»), и переделки, иногда своеобразные и радикальные, вольные пересказы чужих произведений или отдельных эпизодов из них. Круг источников при этом широк и разнообразен: русские народные сказки (из сборников А. Н. Афанасьева и И. А. Худякова) и былины, басни Эзопа и индийские притчи (по французским переводам и пересказам), описания явлений природы из учебных книг (в частности, П. М. Переяллесского и К. Д. Ушинского), рассказы для народа А. Ф. Погорского, произведения иностранных авторов (например, «Отверженные» Гюго) и т. д. Эта широта в обращении к источникам всякого рода, в том числе и к тем, которые подвергались в свое время со стороны Толстого самой жестокой критике, очень характерна для автора «Азбуки» и «Книг для чтения». Вместе с тем характерно и то, что одно из первых мест занимают, конечно, источники фольклорные.

Не менее важно, что все «не свое» подвергается обычно очень существенной обработке и переработке, проходит правку, исходящую из общих принципов, выработанных к этому времени и для этих целей Толстым. На первом месте, конечно, стояли цели педагогические, и к рассказам для обучения и детского чтения выдвигались прежде всего, по словам Толстого, требования «отрицательных» (негативных) достоинств — простоты, ясности, отbrasывания всего «лишнего и фальшивого» (62, 250). На первом плане стояла, конечно, доступность, даже общедоступность языка. Вот почему многое из вошедшего в «Книги для чтения» отмечено отсутствием резкой характерности, даже там, где она уже почти канонизирована жанром (ср. пересказы басен Эзопа). Вот почему здесь заметно стремление, сохраняя максимальную простоту изложения в лексическом составе и в синтаксическом строе (избегание perífrase, предпочтение самых прямых слов, элементарный состав преимущественно простых предложений, без обособленных оборотов и вводных словосочетаний, и т. д.), отказываться и от типично книжных, и от типично

<sup>18</sup> См.: 21, XXXVI.

<sup>19</sup> О работе Толстого над текстом отдельных рассказов см. статью Б. А. Базилевского в «Ученых записках Калужского пед. ин-та» (вып. 2, 1954).

простонародных и даже разговорных черт языка. Характерно, что в процессе работы над текстом Толстой нередко снимает отдельные детали народно-разговорного характера. Ср., например, переработку басни «Лисица и козел» (из Эзопа). Было сделано три варианта изложения (см. 21, 152 и 451). Первая редакция, наиболее пространная, не лишена книжных форм. Ср. начало: «В жару козел, давно не пивший, слез к воде под крутой берег. Когда он надулся так, что бока его раздулись, как бочка, он не мог вылезть назад на берег». В окончательном тексте: «Захотелось козлу напиться; он слез под кручу к колодцу, напился и отяжелел. Стал он выбираться назад и не может». В одном из черновых вариантов находим и областное слово: «Козел сильно за рьял» (задыхался от жара). Пожалуй, единственным исключением, где широкой и свободной струей было влито народное просторечие, явился самый замечательный рассказ из четвертой «Книги для чтения» — «Кавказский пленник», но с этим рассказом связывались у Толстого особые цели и намерения.

Вместе с тем отказ от резкой речевой характеристики в детских рассказах не исключал того, что Толстой так высоко оценил в рассказах яспополянских школьников, — опоры повествования на несколько рельефных, образных речевых деталей. К поискам таких метких выражений прежде всего и сводится работа Толстого над многими текстами, иногда самыми малыми. Ср. в рассказике «Осел с львом на охоте» вместо первоначального: «Ты, говорит, осел, зайди в лес и кричи, что есть мочи, ты горласт» (21, 509), следующее: «у тебя горло просторно» (21, 57).

Можно отметить и другое. При всем единстве признаков, характеризующих речь автора в рассказах «Книг для чтения», в них слышатся разные голоса. Ведь одни из этих рассказов представляли собою, как уже сказано, переработку рассказов крестьянских детей, другие, как например рассказ «Как я первый раз убил зайца» (переработка рассказа А. А. Фета), принадлежат лицам иного социального круга (ср. здесь подзаголовок: «рассказ барина»).

В составе «Книг для чтения» нашли отражение не только чисто педагогические, но и другие, идущие дальше в решении вопросов языка и стиля цели. Примером этих новых целей служит как раз наиболее развернутый и замечательный рассказ — «Кавказский пленник». Именно этот рассказ, правда, по настоятельным просьбам Н. Н. Страхова и не без колебаний, Толстой отдал для первой публикации во «взрослый» журнал<sup>20</sup>.

Дело не сводилось для Толстого в это время только к задачам практического использования в процессе школьного обучения родному языку народных источников, и к созданию произведений ясных и простых, общедоступных по изложению. В ходе новых

<sup>20</sup> Заря, 1872, № 2. Другой рассказ, опубликованный в журнале «Беседа» (1872, № 3): «Бог правду видит, да не скоро скажет».

обращений Толстого к произведениям народного творчества, постоянных наблюдений над живой разговорной речью народа<sup>21</sup> рождалась новая концепция, определявшая особое значение обращения к народной речи не только при составлении школьных пособий или книг для народного чтения, но и для преобразования и обновления литературного языка в целом. Он, так же как и сама литература, представлялся теперь Толстому вступившим в состояние очевидного кризиса. Первое свидетельство этих новых воззрений Толстого — в известном письме к Н. Н. Страхову от 3 марта 1872 г. «Заметили ли вы в наше время, — говорится там, — в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: — упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии, и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода... Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплынет, бог даст, а Пушкинский период умер совсем, сошел на нет» (61, 274—275). Такая оценка развития предстоящего движения и русской литературы, и русского языка, как всегда высказанная Толстым в парадоксальной форме, с крайним обострением сложившейся исторической ситуации, ставит его среди современников в особое, уникальное положение. Здесь нет аналогии ни с пурристическими тенденциями Даля, ни со специфическими славянофильскими идеями (сам Толстой отвергает это в другом письме к Н. Н. Страхову того же времени)<sup>22</sup>. Лишь отчасти соприкасаются эти мысли Толстого о критических точках в развитии литературного языка и некоторых его книжно-публицистических стилей с позицией демократической критики 60—70-х годов. Но Толстой не сходится с ней ни в крайностях критической оценки, ни в конечных выводах и представляемых целях.

Вместе с тем это парадоксальное суждение о глубоком кризисе, захватившем литературу и литературный язык, и о необходимости широкого обращения для их возрождения и обновления к народной поэзии и народному языку, является своеобразным предвестием того решительного перелома, который совершился в сознании Толстого, в его общественных позициях позднее, на грани 70—80-х годов. В начале 70-х годов такой радикальной перемены еще не произошло — нет еще ни очевидного отрыва от сословных

<sup>21</sup> Ср. свидетельства многих мемуаристов о том, какое внимание, особенно начиная с этого времени, уделял Толстой беседам с простыми людьми, проходившими по большой дороге, лежавшей близ Ясной Поляны, или занятими здесь на дорожных работах.

<sup>22</sup> «Народность славянофилов и народность настоящая две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник света и тепла» (61, 278).

интересов дворянства, ни гневного осуждения произвола властей, социального неравенства и эксплуатации трудового народа, ни отрицания права частной собственности на землю и т. п., что так ярко сказалось в начале и особенно к середине 1880-х годов (ср. письмо к Александру III по поводу казни первомартовцев (63, 44—52), трактат «Так что же нам делать?» и др.). Но обращение к истокам народного творчества и к народному языку, противопоставление его «испорченному языку» образованного круга несет также несомненный сильный социальный акцент, покоятся на признании превосходства народного начала, его внутренней силы и нравственной правоты. Народный язык теперь признается не только достаточным для выражения всего необходимого, «всего здорового и значительного, он представляется гарантией от всего испорченного, наносного, искусственного. Характерно, что хотя, как это видно из сохранившихся высказываний в письмах, инвективы против искусственности литературного языка нацелены прежде всего против языка типично книжного, языка официального, публицистического и особенно газетного, но отрицание и осуждение форм литературного языкового выражения заходит в эти годы значительно дальше; в отдельных крайних своих проявлениях оно захватывает и высшие достижения литературно-художественного языка. «Даже Пушкин мне смешон, — заявляет Толстой в уже цитированном письме к Н. Н. Страхову, — не говоря уже о наших элукубрациях, а язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, — мне мил. Язык этот . . . и это главное — есть лучший поэтический регулятор. Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели — все похоже на литературу» (61, 278). Характерно также отталкивание от своего любимого детища, занимавшего до этого целиком творческое внимание Толстого, — от «Войны и мира». «Не думайте, что я неискренно говорю, — признается он близкому корреспонденту, — мне „Война и мир“ теперь отвратительна вся. Мне на днях (в январе 1873 г. — Ю. С.) пришлося заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания, и не могу вам выразить чувство раскаяния, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места! Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. — Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего» (62, 8).

Авторская импульсивность Толстого известна. По письмам и дневникам, по сохранившимся воспоминаниям можно проследить, как часто и подчас стремительно переходит он от удовлетворенности тем, что сделано, к сомнению и отрицанию, и обратно. Отношение к «Войне и миру» также не раз менялось, но здесь это страстное осуждение своего труда, выработанной стилисти-

ческой манеры служит признаком происшедшего перелома, во многом предполагавшего перемены и новые направления стилистических поисков. Ведь именно в это время шла подготовка третьего издания романа, где он подвергся не только серьезным композиционным изменениям, но и значительной стилистической правке (в частности, замене французских речевых партий русскими). Некоторые исследователи-текстологи склонны считать третье издание романа особой редакцией его текста и при этом своего рода последней авторской волей, хотя в последующих изданиях эта правка третьего издания и не воспроизводилась.

Нетрудно заметить существенные перемены в этих концепциях, отразившихся в повторяющихся неоднократных высказываниях Толстого в письмах 1872—1873 гг., сравнительно с теми взглядами на литературный и народный язык, которые представлены были в журнале «Ясная Поляна». Самое главное — в том подчеркнуто критическом, а подчас и осуждающем отношении к литературному языку и в обращении к народному языку как к своеобразной идеальной норме языкового выражения. Ставились далекие цели преображения литературной речи, выработки новой манеры письма, которая должна возродить литературный язык, освободить его от искусственной книжности за счет обращения к народным источникам. Передавая «Кавказский пленник» для напечатания в журнале, Толстой подчеркивал: «Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для б о л ь ш и х» (61, 278). То же повторяется в другом письме (к А. А. Толстой от 6—8 апреля 1872 г.): это («Кавказский пленник» и «Бог правду видит») — «образец того языка, каким я пишу». Тут же он говорит своей корреспондентке, что не может пренебречь «мнением и вашей среды» (т. е. «света»), «потому что я пишу для в с е х» (61, 283).

Вместе с тем можно отметить и те моменты, которые сближают эти взгляды начала 1870-х годов с представлениями начала предыдущего десятилетия. Первое сходство — в особом выделении эстетической направленности предпочтения форм народной речи. «Люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в нашем», — заявляет Толстой в письме Н. Н. Страхову (61, 278). Характерно, что критерий красоты совпадает здесь с критерием определенности, полной отчетливости выражения и вместе с тем умеренности, чувства меры, гармонии по отношению к целому, строгого соответствия требованиям жизни, лаконизма выражения.

Второй момент также восходит к представлениям, сложившимся еще в начале 1860-х годов. Это противопоставление постоянной изменчивости во времени литературного языка постоянству, устойчивости народной речи, особенно в ее наиболее обработанных и гармонических формах проявления — в стилях народной поэзии. Говоря (в письме к Н. Н. Страхову) об обстановке жизни «под выстрелами» в бурной идейной борьбе того времени, Толстой

замечает: «Мы под выстрелами, но все ли? Если бы все, то и жизнь была бы так же нерешительна и дрянна, как и наука и литература, а жизнь тверда и величава и идет своим путем, знать не хочет никого. Значит, выстрелы-то попадают только в одну башню нашей дурацкой литературы. А надо слезть и пойти туда ниже, там будет свободно. И опять случайно *это туда ниже* суть народное». И далее — характерное сопоставление: «„Бедная Лиза“ выжимала слезы, и ее хвалили, а ведь никто никогда уже не прочтет, а песни, сказки, былины — все простое будут читать, пока будет русский язык» (61, 278). Конечно, это «народничество» Толстого носит еще абстрактный характер, устойчивость народного сознания противопоставляется идеейной «злобе дня». Но в этой парадоксальной форме проявляется здоровое начало обособления от идеальной жизни «верхов», приобщения к вековым надеждам и чаяниям народа, к его коренным интересам, хотя все это еще и выражено в границах не столько этических, сколько эстетических категорий, часто в метафизических, а не конкретно исторических терминах.

Практически писательская работа Толстого с этого времени разделяется на два стилистических, языковых потока. Так как Толстому, по его горячим словам, в это время «противен этот наш теперешний язык и приемы», его «к другому языку и приемам (он же и случился народный) *влеクト мечты невольные*» (61, 277). Первой крупной пробой сил в этом направлении и явились произведения из «Азбуки» и четырех «Книг для чтения», и прежде всего наиболее крупные, предназначенные не только для детей, а для всех — «Кавказский пленник» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». Правда, в конкретно стилистическом плане эти два рассказа представляют в сущности не вполне единую манеру. В «Кавказском пленнике» непосредственнее выражены формы нового стиля и вместе с тем сильнее элемент «художественной игры», отделение своеобразного образа рассказчика из народа или из круга, близкого народу (впрочем, на этот образ наводят читателя только формы языка и способ восприятия; рассказчик нигде не назван и читателю не представлен), — рассказчика, становящегося посредником между автором и героем произведения, то сливающегося, то отделяющегося от любимого героя. Многие речевые детали составляют этот характерный новый стилистический сплав. Здесь можно лишь указать на самые постоянные и «ударные» из них. Характерные особенности специфического склада народно-разговорной речи должны быть поставлены в этом перечне на первое место. И прежде всего особенности синтаксических стереотипов, характерных для простого устного повествования — короткие простые предложения с постановкой глагола-сказуемого часто на первое место, такое же преобладание коротких глагольных предложений и в составе сложносочиненных предложений, важная роль в эпическом движении рассказа сочинительных союзов (*а*, *и*), нередко анафорических,

характерные повторы и ритмически подчеркнутые объединения однородных членов (особенно глаголов-сказуемых), обычные элементарные способы введения прямой речи («говорит») и т. д., и т. п. Ср.: «Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит»; «Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной»; «Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки» и т. п. Важную, организующую роль играет и выбор специфических лексико-фразеологических средств народно-разговорной речи: особых выразительных форм словообразования (*трепанулась* — об издыхающей лошади), *раздумался* (о Жилине), *разнеслась* (лошадь), *послезли* (с лошадей татары), *виднешеньки*, *близехонько* и т. п., особых разговорно-просторечных слов (*забрехали собаки, в рубахе распояской* и пр.). Еще более показателен выбор типичных именно для народного употребления слов, применяемых в метафорических смыслах (ср. «он и рассолодел» — об ослабевшем Костылине); не менее специфичен и подбор сравнений («как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся», «снеговая гора выше других шапкой стоит», «Дина... побежала на гору, как козочка прыгает», «рулонки тонкие, как прутики»). Еще более важны некоторые особенности структуры образного представления предметов и лиц, типичные для народного восприятия. Ср., например: «на лошадь места не доскакал»; «припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги»; «ружье уехало» (т. е. уехал Костылин с ружьем), «красный татарин» — с красной бородой и т. п. Это как раз те особенные формы сжатости выражения, основанные на тесном сцеплении нескольких представлений, на смелых метонимических смещениях и т. д., которые так выделял Толстой, характеризуя народную речь. Не чужд язык «Кавказского пленника» и слов местных, ср. *пулять каменьями, лопотать (залопотать)*<sup>23</sup>: однако их доля невелика.

Другой вариант повествования в этой новой манере представлен рассказом «Бог правду видит». Здесь больше умеренности в пользовании лексико-фразеологическими и синтаксическими особенностями народно-разговорного источника, при общей подчеркнутой простоте и сжатости изложения. Именно это направление, как мы видели, было ведущим в рассказах «Книг для чтения».

Обращение к новой манере письма, сближающейся с народной речью, в 70-е годы не пошло далее. Основным способом писания «для всех» это не могло стать; Толстого снова влекли к себе уже испытанные формы общения с образованным кругом читателей. Правда, в письмах к своему постоянному корреспонденту в это время — Н. Н. Страхову Толстой признается как в «грехе», что он действует в старом направлении. «Вы пишете, что ждете от меня теперь чего-нибудь в более строгом стиле — как мои по-

<sup>23</sup> У Даля с пометой: новг., тверск., вор.

пытки в Азбуке; а я, к стыду, должен признаться, что переправляю и отдельываю теперь тот роман («Анна Каренина». — Ю. С.), про который писал вам, и в самом легком, пестром стиле. Я хотел пошалить этим романом и теперь не могу не окончить его» (62, 45). Так вырастает новое противопоставление двух стилей письма — «строгого», каким должны быть писания «для всех», и для народа прежде всего, и «легкого» — писания в принятых литературных формах — романов и повестей с развитым сюжетом, с галереей лиц и характеров, с многоразличными ситуациями и сценами, с психологическим анализом и особым вниманием к внутренней жизни персонажей и т. д. Позднее это последнее направление будет кратко обозначаться как «художественное» в противоположность поучительному, наиболее важному, прямому, лишенному элемента художественной игры. В обращениях к «художественному» писатель нередко будет стыдливо признаваться как в «слабости», «шалости», «баловстве», иногда до поры прятать эти свои занятия даже от близких, откладывать на будущее, прерывать и т. д.

6. В письме к жене от 13 апреля 1887 г., сообщая о своей работе над трактатом «О жизни», Толстой писал: «Как бы хотелось перевести все на русский язык, чтобы Тит понял» (84, 25). Здесь Тит служит обобщенным обозначением читателя-мужика, и речь идет о возможности изложить все понятным даже для крестьян языком. Толстой прибавляет: «И как тогда все сокращается и уясняется. От общения с профессорами многословие, труднослование и неясность, от общения с мужиками сжатость, красота языка и ясность»<sup>24</sup>. Это признание почти совпадает по времени с третьим периодом обостренного внимания Толстого к народному языку и вместе с тем со временем решительного перелома в социальной позиции писателя. К 1885—1886 гг. относится создание целой серии небольших по объему произведений, обычно выделяемых под именем «народных рассказов»: «Ильяс», «Где любовь, там и бог», «Упустишь огонь — не потушишь», «Два старика» и др. — общим числом около двадцати; лишь один из них — «Чем люди живы?» был написан и впервые опубликован несколько ранее — в 1881 г. Почти все они готовились для «Посредника» — издательства, созданного по мысли и при ближайшем участии Толстого в 1884 г. для издания книжек для народного чтения. Эта серия занимает особое положение среди произведений Толстого и в идеино-тематическом, и в стилистико-жанровом плане, и потому термин «народные рассказы» целесообразно ирилагать именно

<sup>24</sup> Ср. в более позднем письме дочери — М. Л. Оболенской: «Не хочу писать с увлечением для господ — их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми, они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей. Я это инстинктивно чувствую, когда пишу вещи, как „Хозяин и работник“ и теперь „Воскресение“. А если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать» (68, 186).

к данной группе произведений, как это делал и сам писатель<sup>25</sup>. Они составляют особую группу по ряду оснований: по их функциональному назначению (для народного чтения), по основной идеино-художественной концепции их и по характерным стилеобразующим признакам — образу повествователя, структуре других образов, соотношению различных типов повествования в общей композиции рассказа, соотношению и взаимодействию собственно повествовательного, описательного и поучительного элемента в них, наконец, по языку.

Ко времени работы над «народными рассказами» для Толстого становится все более ясным, что при обращении непосредственно к читателю из народа дело не может сводиться лишь к требованию «понятности слова» или к использованию специфических форм народно-разговорного языка. Все реэче выступает другое требование к пишущему для народа — требование стать на точку зрения народа, проникнуться его воззрениями, исходить из его стремлений. Несколько позднее, рассматривая две книжки для «Посредника», Толстой замечает в письме к И. И. Горбунову-Посадову, что, хотя они «сами по себе очень не дурны», но ему не нравятся, так как «писаны с точки зрения б а р с к о й» (б5, 283).

Именно эта смена «точки восприятия», появление вместо образа автора незримой, но всегда ощущаемой фигуры повествователя из народа, определяет не только особую идеиную, но и художественную концепцию «народных рассказов». Повествование ведется как бы изнутри, это новая форма восприятия и раскрытия мира — с позиций патриархального крестьянина. И прямое, непосредственное отражение крестьянского быта со всеми его привычными занятиями и отношениями, и непосредственное погружение в круг привычных представлений простого крестьянина, не исключая и его мифологии, — все говорит об этом. Этому не мешает и тот специфический учительный элемент, нравственно-этические догмы, которые обычно заключаются в этих рассказах, — проповедь христианской любви к ближнему, не противления злу насилием и т. д. Ведь как раз в этих пунктах воззрения Толстого, по его собственному признанию<sup>26</sup>, совпадали с религиозно-этическим учением тверского крестьянина В. Сютаева. В тесной связи с этими религиозно-нравственными опорными моментами повествования находится и один из сильных

<sup>25</sup> Часто к ним причисляют также два наиболее значительных рассказа из «Книг для чтения» («Кавказский пленник» и «Бог правду видит»). Но правильнее, вслед за Л. А. Мышковской, считать их лишь «предварением к народным рассказам 80-х гг.» (*Мышковская Л.* Мастерство Л. Н. Толстого. М., 1958, с. 373). Стилистически наиболее близок к ним «Кавказский пленник». Присоединение же к ним некоторых более поздних рассказов о крестьянах, вроде «Алеши Горшка» (см.: *Мышковская Л.*, с. 383), вовсе произвольно.

<sup>26</sup> Ср.: Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Л. Н. Толстом, с. 40.

стилеобразующих моментов изложения народных рассказов — элемент библейского стиля, в частности и те евангельские цитаты, которые часто предваряют, а иногда и завершают повествование.

Характеризуя стиль «народных рассказов», нередко прямолинейно возводят формы толстовского повествования в них к фольклорным источникам или к устному народному рассказу. Влияние этих источников, конечно, нельзя не признать значительным, формы народно-разговорной речи широко применяются писателем в ряде этих рассказов. И тем не менее стилистика народных рассказов и более оригинальна, и более сложна; здесь синтезированы Толстым особенности нескольких языковых стилей. С фольклорными реминисценциями, с особенностями живого говорения, народной разговорной речи сплетаются и стилевые элементы книжного источника. Вместе с тем лишь с известными натяжками можно было бы интерпретировать стиль толстовских народных рассказов как простую имитацию этих особых источников, как особую форму сказа. Как сложно складывается новая форма толстовского повествования в «народных рассказах», показывает уже работа его над первым из них — «Чем люди живы?». Эта работа отражена в значительном числе сохранившихся черновых рукописей, представляющих, по мнению специалистов-текстологов, по крайней мере три различные редакции, очень отличные и в сюжетном развитии, и композиционном решении, и по языковому выражению. Сюжет рассказа был услышан Толстым от онежского сказителя В. П. Щеголенка<sup>27</sup>. Это легенда об архангеле Михаиле, о нарушении им божьей воли, изгнании его с неба «в люди» и о возвращении по искуплении проступка в архангельский чин<sup>28</sup>. В процессе оригинальной обработки этого сюжета Толстой, сохраняя общую сюжетную линию и узловые точки движения, используя отдельные обороты фольклорного типа и полюбившиеся ему выражения сказителя<sup>29</sup>, вместе с тем все более смещает повествование в сторону бытового рассказа, особого выделения отдельных характерных жанровых деталей и картин, более конкретного очерчивания живых характеров действующих лиц. Усиливается в связи с этим и роль прямых речевых партий действующих лиц, а с другой стороны — обрамляющие легенду поучения, разъяснение и истолкование мифологических символов. Сдвиги в сторону бытового повествования с живыми простыми диалогами и не менее характерной внутренней речью главного бытового персонажа — сапожника особенно наглядно видны при сопостав-

<sup>27</sup> См. отрывочную запись рассказа Щеголенка в записной книжке 1879 г. (48, 207).

<sup>28</sup> Легенда известна и в других фольклорных источниках. См.: Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М., 1859.

<sup>29</sup> Ср. обычно отмечаемую исследователями меткую фразу, представленную во всех редакциях рассказа: «день ко дню, неделя к неделе, в скруже и лся и год».

лении окончательной и первой краткой редакции (см. 25, 544—545). В первой редакции сохраняется последовательность раскрытия легендарного сюжета и главным персонажем всего повествования остается ангел (не случайно и сам рассказ первоначально назывался «Ангел на земле» или «Архангел»). В окончательной редакции основным, «ведущим» персонажем становится бедный деревенский сапожник, вокруг него в различных эпизодах из его будничной жизни развертывается и постепенно, отдельнымирывками «раскручивается» легенда о «падении» и прощении ангела, с тем чтобы вполне раскрыться только в самом конце рассказа. Последовательность внутреннего развития легенды в сцеплении всех причин и следствий сознательно заслоняется до времени внешней последовательностью бытовых, будничных отражений основного сюжета. Любопытно, что в ходе переработок текста устраняются даже немногие намеки, могущие прежде времени раскрыть легендарную его основу. Ср. в окончательной редакции устранение такой выразительной детали, как две зияющие раны на спине нагого человека — след опавших крыльев ангела; в окончательной редакции спина его при первой встрече не видна сапожнику.

Вместе с тем в ходе обработки рассказа выступает и известное «окнижение» образа ангела. Ср. исключение из речевой партии ангела простых слов, игру на противопоставлении их в речи сапожника или его жены книжным словам в речи ангела («— Так г о л ы й и лежал? — Так и лежал н а г о й, замерзал». Ср. в черновом варианте: «— Отчего же ты г о л ы й? — Нет у меня ничего, я в е с ь т у т»)<sup>30</sup>. Характерно, что в окончательной редакции последовательное изложение легендарной истории падения ангела и его прощения переведено из прямого повествования (как это было в черновых редакциях) в рассказ самого ангела, где, естественно, снимается просторечность и вводятся черты эпического, но не фольклорного, а «бibleйского» книжного стиля (особенно в синтаксисе). Ср.:

«И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.

И сказал ангел:

— Остался я один в поле и нагой» и т. д.

Такова же и сцена вознесения ангела:

«И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо».

<sup>30</sup> Ср. далее подобные же противопоставления: «Тебя как звать? — М и - х а и л. — Ну, М и х а и л а, сказывать про себя не хочешь — твое дело».

В черновом варианте стилистически все это было ближе к фольклорному источнику:

«Запели херувимскую и слышит старик — Михайлин голос запел. Только узнал его, а после уж и слышать не мог — такой голос пустыл Михайло, что задрожала церковь, затряслись стены, народ весь окрачъ упал» (25, 550).

Совсем иную степень близости к народному стилю выражения, к словесно-композиционным элементам фольклорного типа и к деревенским бытовизмам предлагает другое произведение этой серии, также очень любимая автором «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях». И здесь прямой зависимости от какого-либо конкретного фольклорного сюжета нет. «В ней есть, — по словам комментатора, — только обычный, простой и излюбленный мотив народных сказок про трех братьев — двух хитрых и третьего — простака и про конечную победу простоты над хитростью» (25, 715). Но по этой канве вышиты новые мотивы, чрезвычайно важные для нового мировоззрения Толстого, составляющие как его силу (резкое осуждение военщины и произвола властей, господства денег, эксплуатации трудового народа), так и его слабость (проведение идеи непротивления злу насилием вплоть до отказа от активной обороны при нападении врага). Но, сохранив лишь общую зависимость от фольклорной тематики и сюжетики, эта сказка действительно близка фольклорной стилистике. Характерные внешние формы сказочного повествования, традиционные формулы зачинов («В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына»); характерные формы синтаксиса — постоянное выдвижение глагола-сказуемого на первое место в предложении («Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой старой»), трафаретные приемы введения прямой речи («говорит», «и говорит»), устойчивые формулы-повторы (ср. сцены появления трех чертей) и т. п. Чрезвычайно широко представлена здесь и разнообразная народная фразеология, пословицы и поговорки (ср.: «узлом к гузну дошло» (у Даля иного состава: *пришло узлом к кулну*), «играть песни»; «думал повоевать, да — резала коса, да нарезалась» и под.; ср. также характерные простонародные определения: «стал валить — дуром пошло дерево, повалилось куда не надо»; «силом пригонять» и пр.). Обильна здесь и лексика народно-разговорного источника — от привычного просторечия, нередко грубого, до свободного привлечения слов и форм областных, прямо противостоящих литературной норме: *векоуха*, *обратить*, *калян* («упорный») — о человеке: «калян, — говорит, — дурак этот, не проймешь его», *рогач* (шест, жердь), *гузо* («поставил на гузо сноп»), *спопашиться* («не спопашился (чертенок), не успел ног выпростать») и т. п. Густо представлена лексика крестьянского быта и сельских работ, также нередко диалектная:

(ср. *старновка* (спопов), *одонье*, *севалка*, *подвои*, *рассоха*, *приголовок* (у сохи) и т. п.). Ср. также и характерные черты народного словообразования («всех, — говорит, — вас расскажию»), ненормативные грамматические формы («не работамши»), характерные глагольные формулы-повторы со значением особой длительности действия (ждать-пождать), особенности фразовой сочетаемости, характерные для народной речи («руки уморяются») и т. п., и т. д.

Указанных два рассказа представляют как бы две крайние точки. Один («Чем люди живы?») склоняется к более полифоническому построению, образуя вязь простонародно-бытового и книжно-легендарного стиля (ср. то же соотношение и в рассказе «Два старика»; сочетание книжности и простого рассказа дает и «Где любовь, там и бог»); другой («Сказка об Иване-дураке») сведен к стилистически однородным — простым, грубоватым и резким — формам народного сказа. Ряд других народных рассказов 1880-х годов, в том числе и те, которые сам Толстой причислял среди изданий «Посредника» к «очень хорошим»<sup>31</sup> (например, «Ильяс», «Вражье лепко, а божье крепко», «Девчонки умнее стариков»), дают гораздо более скромный набор специфических элементов речи простого народа в повествовании. В таких рассказах, как «Ильяс» или «Вражье лепко», это обусловлено их тематикой: здесь обстановка иного, не крестьянского русского быта. Естественно поэтому исключается свободное обращение к формам русской крестьянской речи, тем более — диалектной — по несоответствию ей самого предмета изображения.

При сопоставлении различных «народных рассказов» очевидно их стилевое многообразие и неоднородность их языка в плане принятой нормы. Здесь невольно столкнулись две позиции Толстого в отношении к народному языку. Одна — резко заявленная в высказываниях писателя 1870—1880-х годов: взгляд на народный язык как на идеальную форму выражения, противостоящую литературной речи, речи для «образованного круга». Это было вызвано к жизни и практическими целями — попытками прямого обращения к «Титам, Афанасьям и Игнатам» и выработкой доступных для них форм письменного языка, и общими этическими соображениями. Другая — конкретно-стилистическая, сообразующаяся с критериями художественности, определявшими меру привлечения специфических речевых средств народного источника и их сочетания с более традиционными элементами литературной речи. Ведь народный язык, как и язык литературный, представлял широкий выбор форм, получивших уже различную жизнь и в разговорном, и в письменном употреблении, заключающих в себе различную степень образной силы, различные экспрессивные возможности <sup>32</sup>.

<sup>31</sup> См. письмо к И. И. Горбунову-Посадову от 24 октября 1910 г. (82, 207).

<sup>32</sup> Любопытно, что сходные приемы использования народного просторечия в чисто стилистических целях наблюдаются не только в рассказах для на-

7. Как в период работы над «Азбукой» — «Кавказскому пленнику», так и в 1880-е годы «народным рассказам» Толстой придавал значение образца. Ср. в письме к начинающему писателю из крестьян Ф. А. Желтову: «Я не могу вам вкратце выразить то, что я считаю нужным для писания, иначе, как указав вам на мои народные рассказы и на предисловие к „Цветнику“, в котором я старался выразить, в чем состоит дело поэтического писания» (64, 40). Разница в том, что в начале 1870-х годов акцент делался на стилистике, на преобразовании форм литературного и на широком привлечении форм народного языка, теперь же, насколько об этом можно судить по предисловию к сборнику «Цветник» (1886), прежде всего подчеркивается поучительное значение писаний для народа, их этическая направленность, их содержание. Вопросы особой языковой формы теряют несколько свою остроту. У самого Толстого прямое следование наиболее типичным особенностям стиля «народных рассказов», несмотря на сохраняющееся до конца дней противопоставление народного и литературного языка <sup>33</sup>, не заходит далее 1890 г. Последнее произведение, написанное в той же народно-разговорной манере, — переложение отрывка из очерка Мопассана «На воде» — «Дорого стоит» (см. т. 27). На этот же относительно короткий период (1886) приходится и работа над народной драмой «Власть тьмы», где формы народного языка, естественно, заняли господствующее положение.

Характерно, что жанр поучительного рассказа, притчи или легенды, достаточно представленный в позднем творчестве Толстого, отнесен своеобразной «литературнойнейтрализацией» стиля, хотя, несомненно, эти произведения и были рассчитаны на широкое распространение в читательской среде (некоторые из них специально предназначались для серии народных книжек в издательстве «Посредник»). Простой и строгий стиль таких, например, произведений, как «Три притчи» (1893—1895), «Карма» (1894), «Ассирийский царь Асархадон», «Три вопроса» (1903) и др., вместе с тем лишен всякого элемента языкового упрощения и резких просторечно-разговорных, фольклорных и т. п. черт. Характерно следование общим нормам литературной речи и при подготовке материалов для таких важных для Толстого изданий, как например «Круг чтения» (1904—1908). Включая сюда чужие произведения или отрывки из них (например, рассказ Лескова «Воров сын», «Душечку» Чехова, стихотворение в прозе Турге-

родного чтения. Ср. в письме к А. А. Фету 1880 г. следующую передачу одного эпизода из евангелия от Матфея об искущении Христа дьяволом, где репликам последнего приданы формы вульгарного просторечия: «Д’я в о л. Что, сынок божий, — проголодался. Хлеба не сделаешь разговорами. И с ус. Я не хлебом жив. Я жив — богом. Д’я в о л. Разговоры слыхали мы. А коли богом ты жив, а не своей заботой о себе — так, ну-ка, чебурахнись отсюда, небось сынок божий, — а бережешься» и т. д. (63, 26).

<sup>33</sup> См., например, в кн.: Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. ГИХЛ, 1957, с. 216.

нева «Воробей» и др.), Толстой подвергает их некоторой адаптации, отдельным сокращениям, заменяет отдельные слова и выражения, но они не затрагивают стиля этих произведений в целом. Что касается собственных произведений Толстого, то в «Круг чтения» включаются и по жанру и по стилю очень различные вещи, в том числе и такие, которые Толстым прямо относились к «художественному» (например, «Корней Васильев», «За что?», «Божеское и человеческое» и др.). Характерно, что из «народных рассказов» почти ничего не включено в издание «Круга чтения»<sup>34</sup> и лишь немногое намечалось к включению. Еще более показательно, что, принявшиесь в 1905 г. за подготовку более доступной для народа редакции «Круга чтения», Толстой несколько упрощает и особенно сокращает многие из включенных сюда мыслей и отрывков, но не меняет общего стиля изложения.

Далекие замыслы радикального преобразования литературного языка, так волновавшие Толстого в начале 1870-х и еще в середине 1880-х годов, практически не вышли за пределы сравнительно ограниченного круга произведений, представивших блестящие и глубоко своеобычные образцы народного сказа. Несмотря на постоянное отстранение от своего художественного стиля, для Толстого характерно столь же постоянно обращение к нему до конца жизни. Даже в 1880-е годы, во время наиболее сильного отчуждения от художественного творчества для образованного круга и сосредоточения на создании произведений для народа, параллельно существуют эти две особые стилеобразующие тенденции в творчестве Толстого. Как сказано, вторая из них — стиль «народных рассказов» — в наиболее чистом виде перестает существовать, обрывается в 1890—1900-е годы. Но все это не исключает в позднем творчестве взаимодействия этих двух тенденций. Об одной стороне этого взаимодействия — об известной «литературной нейтрализации» стиля произведений, предназначенных для самого широкого распространения в читательской среде, мы уже говорили. Но важно отметить и другое. Характерные стилевые особенности, складывавшиеся в «народных рассказах», своеобразно преломляются в языке и образной структуре основных художественных произведений Толстого 1890—1900-х годов, отражаются они и в языке его публицистических произведений, статей и трактатов, начиная с середины 80-х годов.

Эта эволюция художественного и публицистического стиля Толстого идет по разным направлениям. В статьях и трактатах это отражается, например, в стремлении «попросту», с помощью очень конкретных, бытовых, обиходных сопоставлений рече, рельефнее представить сложные общественные отношения, объяснить важные теоретические положения. Ср., например, концовку статьи «О переписи в Москве» (1882): «Пускай механики

<sup>34</sup> Кроме относительно нейтральной по языковым формам притчи «Зерно с куриное яйцо».

придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дураски, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнем народом, — не поднимем ли? Дружней, братцы, разом!» (25, 181); ср. в трактате «Так что же нам делать?»: «Я вижу, что перед людьми вместо идеала трудовой жизни возник идеал кошелька с неразменным рублем» (25, 249); «По-русски выходит, что люди, у которых есть деньги, могут вить веревки из тех, у кого нет денег» (247); «Англия поступает как более дальновидный поработитель, не убивает сразу курицу с золотыми яйцами (речь идет о колониях. — Ю. С.), а может и покормить, зная, что курица — несучка» (263); «Мужики знают давно, что рублем можно быть больнее, чем дубьем. Но только политики-экономы не хотят видеть этого» (266) и мн. под. Почти во всех произведениях последних двух десятилетий отражается забота Толстого об известном упрощении синтаксических структур в повествовании. Еще более очевидно воздействие характерных форм повествования, выработанных в народных рассказах, на стиль тех произведений, где предметом изображения является крестьянин, его быт, его внутренний мир, его воззрения (ср. «Алеша-горшок», отчасти «Хозяин и работник», «Корней Васильев», «Ягоды» и пр.).

Но эволюция стиля позднего Толстого, и в частности те стороны этой эволюции, которые свидетельствуют о воздействии стиля его народных рассказов, — предмет специального серьезного исследования. Движение характерных для повествования Толстого стилевых форм на протяжении последних десятилетий его творчества прослежено еще явно недостаточно и во многом отрывочно.

# СЛАВЯНСКИЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД И БАЛТИЙСКАЯ ДИАТЕЗА

(проблема общего генезиса и реконструкции)

Предметом настоящего доклада являются некоторые постоянные корреляции между видом и диатезой в балто-славянских языках. Часть из них достаточно хорошо известна (см. Ульянов, 1891, 1895), однако они, по-видимому, и разнообразнее, и системнее, чем обычно считают. С другой стороны, существуют различные теоретические воззрения на вид и диатезу, и это различие связано с методом исследования. Поэтому при подходе к проблеме, подобной данной, приходится одновременно ставить вопросы метода и вопросы материала. В первой части доклада на основе синхронных наблюдений устанавливается некоторая модель, позволяющая оценить общность балтийских диатез и славянских видов. Она является результатом предшествующих исследований автора и здесь лишь кратко резюмируется (см. Степанов, 1975, 1976б, 1977). Во второй части дается опыт реконструкции на основе этой модели.

## I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЕГО МОДЕЛЬ

Преобладающими противопоставлениями в глагольной лексике современного литовского языка являются парные оппозиции простой глагол действия или состояния / каузативный или фактитивный глагол того же корня. Например: *bėgti* 'бежать' / *bėginti* 'заставлять бежать (цедить молоко)', *esti* 'есть (о животных)' / *édinti* 'кормить (животных)', *suti* 'шить' / *siūdinti* 'отдавать шить', *faire coudre*', *kisti* 'меняться' / *keisti* 'менять'. Этому типу противопоставлений отвечает продуктивная грамматическая оппозиция «мягкое» переходное спряжение / «твердое», непереходное спряжение; т. е. тип *ia*-презенс *é*-претерит против типа *a*-презенс *o*-претерит. Аналогично этому преобладающими оппозициями в современном русском языке (ср. также другие славянские) являются видовые пары глаголов, включая пары «способов действий, *Aktionsarten*».

Соответственно их относительной хронологии (периоду наибольшей продуктивности) эти оппозиции в каждом из языков могут быть сгруппированы в классы, образующие параллельные — балтийский и славянский — ряды. При этом делается очевидным, что соответственные классы того и другого ряда достаточно гомоморфны (Степанов, 1976б). Например, при основах,

имеющих абраут (старого или нового происхождения), в славянском глагол несовершенного, или старого «неопределенного», вида строится на основе, имеющей наиболее долгий гласный, глагол же совершенного, или старого «определенного», вида — на основе, имеющей краткий гласный: ст.-сл. *погрети*—*погрѣбати*, *родити*—*разждати*, *оумъреть*, *оумрѣти*—*оумирати* и т. п. В балтийском имеется аналогичное противопоставление: лит. *klupti*—*klùptoti* 'споткнуться — иди спотыкаясь', *bristi*—*brúdoti* 'переходить, перейти вброд — стоять посреди брода' и т. п., но, с другой стороны, и это особенно важно, функционально такое же различие, восходящее к и.-е. прототипу, использовано в балт. для противопоставления переходный глагол действия — глагол вызванного этим действием состояния: лит. *keisti*—*kisti* 'менять—меняться (о вещи)'. Некоторые древние фрагменты тождественны и по морфологии, и по категориальной семантике основ, ср. ст.-сл., др.-рус. *-граznjти* неперех. и сов. вида — *-г҃зити* перех. и несов. вида, лит. *birti*, *byra* < \*bi-n-га неперех. и «определенный» '(начать) сыпаться' — *barstyti* перех. и «неопределенный» 'сыпать, усыпать'.

Вполне согласуются основные отношения в категории переходности / неперходности и «определенного» / «неопределенного» вида. Первичные противопоставленные пары представляют одно и то же действие с двух различных точек зрения: в балт. с точки зрения субъекта / объекта (переходности / непереходности) при каком-либо одном фиксированном видовом значении, так, лит. *beriu žirnič* 'я (за)сыпаю горох' / *žirniai byra* 'горох (начинает) сыпаться' при фиксированном видовом оттенке начинательности (ср. *barstyti* с видовым оттенком длительности или итеративности; так же *merkti*, но *mirkyti*); в слав. с точки зрения полагания предела / снятия предела при каком-либо одном фиксированном переходном или неперходном значении, так ст.-сл. *соуты́кнe* / *-сыпati* *-сыпа* 'сыпать'. В этой двойственности точек зрения на одно и то же действие (хотя сами точки зрения различны) состоит общность славянской и балтийской систем и основание единства их прототипа «вид — диатеза». Вторичный же глагол, первоначально часто внепарный, представляет иное действие. Зачастую он достраивает семантическую оппозицию как раз по тому признаку, который в первичной паре был фиксированным, не вариативным и не оппозитивным. Так, в балт. вторичные глаголы типа *barstyti* 'сыпать, усыпать', *mirkyti* 'вымачивать', *sakyti* 'говорить' (при *sekti* 'следить, следовать'), *bradyti*, *braidyti* 'бродить, брести' (при *bristi*) объединяются лишь семантикой длительности или интенсивности, итеративности, но могут быть как переходными, так и неперходными. В слав. вторичные глаголы типа рус. *у-сыпать*, *об-сыпать*, *вы-сыпать* объединяются только семантикой переходности, но могут иметь — в части форм — как сов., так

и несов. вид (этот тип основан на различных и достаточно древних акцентуационных парадигмах и в целом уступил место продуктивному выделать — выделять, см. Мейе, 1951, с. 244, § 327 и здесь, ниже).

До некоторого предела согласуются также довольно тонкие градации в категории переходности / непереходности. Так, если в лит. вторичный глагол переходный, как и первичный, то это два совершенно разных типа переходности: ср. первичный *berti žirnīč* ‘рассыпать горох’ (противопоставление глаголу состояния ‘горох сыплется’), вторичный *barstyti žirniais kelia* ‘усыпать горохом дорогу’ (противопоставление: оборот с пассивным причастием ‘дорога усыпана горохом’). Так же в рус. первичный глагол делать все для победы; двигатель делает 1000 оборотов (противопоставления неотчетливы) и вторичный выделать и под., выделать кожу под сафьян (противопоставление: оборот с пассив. прич. кожа выделана под сафьян). С другой стороны, в лит. первичный глагол означает состояние вещи (точнее, каузированный процесс в вещи) типа ‘горох сыплется’; поэтому для передачи состояния субъекта-человека прибегают к возвратным глаголам, произведенным от активного глагола, означающего действие субъекта-человека: *kelti* ‘поднимать, заставлять подниматься’ субъект-человек — *kilti* ‘подниматься’ субъект вещь — *keltis* ‘подниматься’ субъект-человек. Аналогичные отношения существуют в слав., причем тип первичного глагола состояния типа лит. *kilti*, *birti*, *mirkti* в рус. полностью замещен производным возвратным, поэтому все такие лит. глаголы переводятся на рус. возвратными: подыматься, сипаться, размачиваться и т. п. Остатки незамещенных глаголов имеются в ст.-сл. и др.-рус. съдати — рус. садить-ся, др.-рус. легати, лѣгати — рус. ложиться и нек. др. (подробнее: Степанов, 1977 и здесь, ниже).

Из описанного положения дел мы извлекаем, в частности, один из принципов реконструкции: вproto-балто-славянском диатезы избирательны по отношению к субъектам, и это дает возможность реконструировать синтагмы — как сочетания «субъект (имя определенной лексико-семантической группы) + глагол (определенной диатезной формы)» (1) (см. Заключение). Из синхронных наблюдений, кратко резюмированных выше, на основе семиологического, или семиотического, подхода (см. Степанов, 1976а) могут быть сделаны и другие выводы.

Прежде всего, напрашивается предположение, что балтийские противопоставления диатез и славянские противопоставления видов возникают из одного и того же источника — из некоторых постоянных корреляций между видом и диатезой, существовавших вproto-балто-славянском и составлявших там элементы достаточно устойчивой системы «вид — диатеза». Реконструкция некоторых фрагментов этой системы корреляций составляет основную цель данного доклада.

К этой задаче мы намерены приступить на основе семиологических определений категорий вида и диатезы (2). Диатеза

составляет особый уровень в категории «залоговости», или залога в широком смысле слова. Залоговость состоит из залога в узком смысле слова и диатезы. Залог заключается в отношении глагола-сказуемого предложения к подлежащему предложения. Он является, по-видимому, универсальной категорией различных языков и в значительной степени связан с поверхностной организацией высказывания. Диатеза заключается в отношении действия к субъекту действия, носителю действия, и выражается в семантике и морфологии глагольного слова. Диатеза связана с глубинно-семантической организацией высказывания. В то время как система залога в и.-е. языках выявляется на основе трансформаций поверхностной структуры высказывания, система диатез для своего обнаружения требует лексико-семантических преобразований (Степанов, 1976б; ср. применительно к русскому Бэбби-Брехт, 1975). Например, *Лаборант растапливает вещество — Вещество тает*, две различные диатезы при одной форме залога; *Лаборант растапливает вещество — Вещество растапливается лаборантом* ('но никак не тает'), две формы залога — актив и пассив, при одной диатезе. Связь действия с его субъектом-носителем диктуется объективной действительностью: 'дышать', 'спать', 'расти' и т. п. могут только одушевленные субъекты — 'человек', 'животное', 'кошка' и т. п., в то время как 'таять', 'лопаться', 'кристаллизоваться', 'лущиться' и т. п. может как раз то, что не может 'дышать', 'спать', 'расти' и т. д. Поэтому диатеза не может быть предметом свободного выбора говорящего и зависеть от его точки зрения на происходящее. Семиологически диатеза должна быть определена как категория, ориентированная на обозначение предмета действительности, денотата, как категория денотативная (Степанов, 1976б).

Вид представляет собой особую разновидность в категории «аспектуальности» в широком смысле слова. «Аспектуальность» есть категория высказывания, заключающаяся в обозначении типов предела действия в данном высказывании. Она в значительной мере связана с поверхностными — или с промежуточными от глубинно-семантических к поверхностным — преобразованиями высказывания. «Аспектуальность» в таком виде существует во многих языках (например, английском, голландском, французском) (ср. Бондарко, 1971; Веркейль, 1972). В отличие от аспектуальности вообще вид заключается в возможности двоякого изображения одного и того же объективного действия, в полагании / снятии предела действия в зависимости от точки зрения субъекта речи на объективную ситуацию. Семиологически вид должен быть определен как категория, ориентированная на обозначение понятия, сигнификата, как категория сигнификативная (Степанов, 1976б). Поэтому типичной формой существования вида является наличие двух глагольных слов для выражения одного и того же действия.

Диатеза, как и вид, как и залог, может иметь оппозитивные формы, но с существенными отличиями. Когда субъект речи, говорящий, может представить одно действие (один и тот же факт действительности) в форме двух различных диатез, то эта возможность всегда основывается на том, что обе диатезы имеют объективные основания в действительности. Так, *Лаборант расстапливает вещество* (диатеза, выбранная говорящим с точки зрения субъекта действия) — *Вещество ('действительно') таet* (диатеза, выбранная говорящим с точки зрения объекта действия). Условием такого выбора является то, что вещество, действительно, таet. Когда же субъект речи, говорящий, выбирает залоги или виды, то эта возможность выбора не обязательно должна иметь основания в объективной действительности, она может основываться только на различии точки зрения говорящего на один и тот же факт. Так, *Лаборант расстапливает вещество* (актив) — *Вещество расстапливается лаборантом* (пассив), ни одна из форм не предполагает того, что вещество, действительно, таet, поддается расстапливанию. В современном русском языке эта черта диатез замаскирована тем обстоятельством, что глаголы на *-ся* (типа *расстапливаться*) выступают одновременно как синтаксическая форма пассивного залога в наст. времени несов. вида ('Нечто расстапливается кем-то', где *-ся* — «морфема предложения», а не глагола) и как лексическая единица, заместившая некогда существовавший прото-б.-сл. класс глаголов с непереходной диатезой и соответствующая лит. глаголам типа *birti* 'сыпаться', *ižti* 'лущиться' и т. п. В некоторых случаях последнее соответствие опознается в русском языке благодаря наличию видовой пары, указывающей на то, что мы имеем дело с отдельной лексической единицей: *расстапливаться—растопиться* 'таять' (против *расстапливать—расстапливаться* только несов. вид, синтаксическая форма залога). Но когда нормативной видовой пары нет (ср., например, при *лущиться*), то легко упустить из виду эту двойственность глаголов на *-ся*. (Поэтому, в частности, определения русского залога на основе форм на *-ся* как, например, в работе Богуславский, 1962, с. 51, неадекватны; работа А. Богуславского замечательна, однако, своим семантическим анализом).

Постулируемая прото-б.-сл. система корреляций «вид—диатеза» должна быть, таким образом, по определению денотативно-сигнификативной категорией и возникать в такой лексико-семантической группе глаголов, которые характеризуются специфическим пересечением признаков субъекта и предела (3). По признаку субъекта это должны быть глаголы, где изменение в объективном характере субъекта-носителя действия одновременно влечет за собой изменение точки зрения говорящего, субъекта речи. Этому определению удовлетворяют глаголы, которые могут быть произнесены от лица 'Я' (ср. определение первоначальных славянских видовых пар, Бородич, 1953, с. 11). По признаку предела это должны быть такие глаголы, где внешний предел действия

совпадает с его внутренним пределом. Этому условию удовлетворяют переходные глаголы, включающие признак соприкосновения с внешним объектом как пределом, типа рус. *на-ехать на...*, *под-бежать под...*. Переходность такого типа может быть и скрытой, глубинной: *сесть* ‘посадить свое тело на...’, *лечь* ‘положить свое тело на...’ (Вежбицка, 1969, с. 75). Обоим условиям одновременно удовлетворяет группа ‘сесть / сидеть’, ‘стать / стоять’, ‘лечь / лежать’. В ней обнаруживается древнейший прототип славянских видовых отношений; с одной стороны, и одновременно балтийских диатезных отношений — с другой. Первый глагол пары всегда (и в и.-е.) «определенный» в видовом смысле и переходный, второй — всегда (и в и.-е.) «неопределенный» и непереходный (4).

При изучении славянских и балтийских видов целесообразно выработать некоторое стандартное представление глагольного действия, пригодное для описания любой видовой пары, а тем самым и для любого отдельного глагола в этих языках. Мы применяем в дальнейшем трехфазовое представление (Кёлльн, 1969, с. 43; Степанов, 1977) (5). Каждое действие представляется как состоящее из трех фаз: 1) фаза, предшествующая критической точке; процесс, стремящийся к своему пределу, 2) фаза критической точки, наступление предела, 3) фаза, следующая за критической точкой, процесс, ограниченный в начале, исходящий из предела и не ограниченный концом. Например: *Я уже сажусь, сажусь...* (1-я фаза). *Я сел* (2-я фаза, критическая точка). *Я сижу* (3-я фаза). Другой пример: *Я падаю, падаю...* (1-я фаза). *Я упал* (2-я фаза). *Я лежу* (3-я фаза). И в этом отношении также группа ‘сесть / сидеть’ заключает в себе основную модель. К двум унаследованным от и.-е. в этой группе глаголам 2-й фазы типа *сесть* и 3-й фазы типа *сидеть* на б.-сл. почве подстраивается третий глагол, соответствующий 1-й фазе. В слав., в соответствии с его «двойкой точкой зрения» (см. выше), это глагол несов. вида — ст.-сл. *сѣдти*, *стакити*, *-лагати*, а в балт., в соответствии с его «двойностью», глагол каузативный — лит. *sodinti*, *statyti*, *guldutyti*. При этом не случайным обстоятельством является то, что в такой сравнительно небольшой группе представлены все основные типы подстраиваемых глаголов: в балт., лит. типы на *-uti*, *-dyti*, *-dinti*; в слав., др.-рус. *сѣдати* // *садити-са*. В дальнейшей реконструкции мы попытаемся показать, как три названные фазы последовательно заполняются глагольными формами, захватывая все более обширные пласти лексики.

Более глубоким историческим прототипом трех фаз выступают три и.-е. категории (6). В общем и целом глаголы 2-й фазы, действия самого по себе и достижения им критической точки, в балт.-сл. заполняются производными от и.-е. аористных корней, нередко с непереходным или нейтральным значением; в приведенной «модельной» группе глаголов этому соответствуют слав. е/о-аористы (*сѣдз*, *сѣде*) и корневые аористы типа *ста*. Действия

3-й фазы, состояния, заполняются производными от и.-е. ё-претеритов (типа греч. ἐ-μάχη) и производными от преобразований и.-е. перфектных корней и форм. Действия 1-й фазы, длительные, но завершающиеся пределом, поэтому также и / или переходно-каузативные действия, заполняются производными от и.-е. презентных корней с активным значением; их основное преобразование в балто-сл. идет по линии перестройки в је/о-презенсы и аје/о-презенсы; существенную роль сыграли также преобразования а-претеритов. Таким образом, также в общем и целом развитие исходной системы связано с наличием вproto-б.-сл. нескольких типов претерита' (е/о-претерита, ё-претерита, а-претерита) с различным значением при одной лексической единице. Это положение является основным принципом реконструкции парадигм (7) (ср. выше, (1) о реконструкции синтагм).

Наиболее глубоким историческим прототипом «трех фаз», а следовательно, и балто-славянской системы глагола в целом, выступают некоторые proto-и.-е. категории. Мы имеем двух фаворитов на занятие места этого прототипа и в настоящее время не можем высказаться определенно в пользу какого-либо одного из них: 1) и.-е. презентные корни / и.-е. аористные корни / и.-е. перфектные корни, 2) и.-е. activa tantum / и.-е. media tantum / и.-е. perfecta tantum (8).

Перечисленные выше положения (1)—(8) составляют модель одной из основных частей балто-славянской глагольной системы. Ниже на этой базе дается опыт реконструкции в рамках нескольких классов основ балто-славянского глагола.

## II. РЕКОНСТРУКЦИЯ

### 1. Аблаутный и безаблаутный классы тематических основ

Применительно к данному классу проблему можно сформулировать в следующем виде. Каким образом один и тот же индоевропейский корень, допускающий аблаут, например \*bhudh- // \*bheudh-, регулярно порождает три заведомо взаимосвязанных генетически и вместе с тем различных типа оппозиций? 1) Греческий тип — парадигма одного глагола с аблаутом между презенсом с полной ступенью πεύθομαι (с редуцированной ступенью при носовом инфикссе и суффиксе πυντάνομαι) 'узнаю, расспрашиваю' и аористом с редуцированной ступенью ё-πυθόμην и нередко с противоположными диатезными значениями различных членов парадигмы, ср. πεύθω 'даю знать, извещаю'. 2) Славянский тип — парадигмы двух различных глаголов, сохранивших аблаут лишь в редких случаях и соотносящихся как глагол «определенного» (совершенного) вида — глагол «неопределенного» (несовершенного)

вида: *къзбънжти*, презенс (*къз*)*бънж*, аорист (*къз*)*бъдѣ* 'проснуться' — *бъдѣти*, презенс *бъдитъ*, аорист *бъдѣ* 'бодрствовать'; часто при наличии еще одного или нескольких глаголов с каузативным или итеративным значением и в этом случае с аблautом нового происхождения, возникающим как продление краткого гласного — (*къз*)*боудити*, презенс (*къз*)*боуждѣ*. 3) Балтийский тип — парадигмы для различных глаголов, всегда с аблautом общеиндоевропейского типа, соотносительных как глагол состояния или действия, протекающего в субъекте (лице или вещи), — глагол *каузативный* (иногда, как при данном корне, с далеко расходящимися лексическими значениями): *būsti*, презенс с носовым инфиксом *buñda*, претерит *būdo* 'просыпаться' — *bañsti*, презенс *bañdžia*, претерит *bañdē* '1) наказывать, 2) грозить, 3) настойчиво просить, принуждать'; часто при наличии еще одного или нескольких глаголов, из которых каузативы и итеративы с основами на *-i*- имеют новый аблaut и вполне отвечают славянским, ср. лит. *bádyti* (// *budýti*) '1) держать, 2) держать над дымом, коптить', слав. (*къз*)*боудити*, презенс (*къз*)*боуждѣ* '(раз)будить'. Нашим исходным материалом является здесь старый аблautный класс с индоевропейскими корнями типа *TR(T)* // *TeR(T)*, где в формуле R представляет любой сонант, которому в слабой форме корня может соответствовать гласный. Ср. греч. *πειθ-//πυθ-*, лит. *merkti* 'мочить' — *mirkti* '(начинать) мокнуть (только о вещи)'.

Аблautный класс сплетается с классом, имеющим безаблаутные корни вида *TeT* (*TaT*, *ToT*) или *TiT* (*TuT*). В безаблаутном классе общими для и.-е. языков признаются четыре тематических типа: 1) при корнях *TeT* баритонный презенс вида скт. *váhati*, рус. *везет*, лит. *veža*; 2) при корнях *TiT* окситонный презенс вида скт. *tudáti*; 3) при корнях *TiT* окситонный аорист вида скт. *ávidat*, греч. *Ἐγίδε*; 4) конъюнктив вида скт. *áyat(i)* (Мейе, 1931; Рену, 1925, 1932; Уоткинс, 1969, с. 63). С другой стороны, давно уже отмечалась связь основ, имеющих редуцированный вокализм корня вида *TR(T)* (*TiT*, *TuT*), с аористическим значением в славянском (Поржезинский, 1916, с. 144; Курилович, 1964, с. 118) и с медиально-непереходным значением в балтийском (Скарджюс, 1943, с. 469).

По-видимому, сходные отношения возникали и в аблautном балто-славянском классе, который ограничен главным образом корнями вида *TR(T)* // *TeR(T)*. При этом в силу самой структуры корня здесь эти отношения были более отчетливыми и мобильными. Мы полагаем, что в аблautном классе центром специфических балто-славянских корреляций «вид — диатеза» является тематизация и.-е. первоначально атематических парадигм. В современной индоевропеистике постулируется существование в и.-е. атематических парадигм с аблautом между ед. и мн. числами и с так называемыми «вторичными» (в действительности исторически первичными) окончаниями: ед. ч. \**léikʷ-m* и т. д., мн. ч.

\*likʷ-mé и т. д. В процессе тематизации эта парадигма автоматически порождает два ряда т. н. «поляризованных» форм: а) \*léikʷ-om, \*léikʷ-es и т. д.; б) \*likʷ-óm, \*likʷ-és и т. д. (Курилович, 1964, с. 117; Уоткинс, 1969, с. 25). Парадигмы (а) с полной степенью корня характеризовались следующей совокупностью категориальных признаков действия: 1) длительное, 2) вследствие этого допускающее «определение» в видовом смысле, т. е. возможность стать «длительным определенным» (совершенным) видом, 3) допускающее «определение» в диатезном смысле, т. е. возможность получить синтаксический объект и развить категорию синтетической, эффективной переходности. Парадигмы (б) с редуцированной степенью корня характеризовались противопоставленными первым признаками действия: 1) недлительное, неопределенное в смысле длительности, 2) вследствие этого не допускающее «определения» в видовом смысле, немаркированное, 3) не допускающее «определения» в диатезном смысле, т. е. немаркированное, медиальное, точнее, в нашей терминологии, тяготеющее к категории аналитической неэффективной переходности. В греческом два ряда парадигм наиболее отчетливо противопоставлены в тематических глаголах как, с одной стороны, «презенс» в видовом смысле (собственно презенс и имперфект), с другой стороны, аорист. Ср. а) имперфект ἔ-λειπ-ον, ἔ-λειπ-ες и т. д., б) аорист ἔ-λιπ-ον, ἔ-λιπ-ες и т. д. Формальное и семантическое распределение основ здесь такое же, как в лит. парах: I) (pa)lieka — (pa)liko; II) melžia — milžo; III) merkia — mirko.

I. Литовский (общебалт.) тип ra-liēka — liko '1) оставлять, 2) оставаться' формально хорошо отвечает этому греческому типу и тем самым находит объяснение. При этом нет необходимости предполагать в типе вообще и в данном конкретном глаголе какую-либо контаминацию двух значений и двух форм 1) leikʷ- // likʷ-+2) loikʷ-, из которых вторая восходила бы к преобразованиям и.-е. перфекта (как Ван-Вейк, 1933, с. 134 сл.; Зенин, 1935—1936, с. 73; Станг, 1943, с. 101; 1966, с. 310; вслед за Стангом Уоткинс, 1969, с. 223, § 219). Прусский глагол, на который обычно ссылаются в этой связи, инф. (или 3 л. презенса?) polaikt 'оставаться', вполне может быть старым перфектом, но он имеет при себе в прус. соответствующий этому значению другой глагол preilaiküt 'учить', которого нет в лит. (\*-laikoti) (Шмальштиг, 1974, с. 207, 220). II. Литовский (общебалт.) тип mélžia — milžo является преобразованием более старой предыдущей модели и отличается от нее более новым, «характеризованным» je/o-презенсом, он будет рассмотрен ниже. III. Литовский (общебалт.) тип ūeikia — ūiēko отличается этой же чертой и, самое главное, тем, что субъект первой парадигмы, merkia 'замачивает', человек, в то время как субъект второй, mirko 'начало мокнуть', вещь. Аналоги этому типу мы также находим в греческом.

Атематические основы лишь постепенно вовлекались в указанный процесс и частично перерабатывались в нем. Атематические

парадигмы в греческом сохранили некоторые архаические черты исходного прототипа. Так, аналогом балтийского типа II, где субъектом действия выступает преимущественно человек (ra-likti 'оставаться' первое знач. и 'оставлять'), является, например, парадигма греч. ἔστημι презенс 'я ставлю', ἔστηψις аорист 'я стал'. Эти две формы, как об этом свидетельствует их характер — атематический презенс на -μι и корневой тип аориста, являются заведомо древнейшими и неподстроеными. Все другие формы парадигмы представляют собой позднейшие подстройки: медиальный презенс ἔσταμαι 'я становлюсь, встаю, ставлю себе' (он отсутствует, например, у формально тождественного φημι: 'говорю'); перфект ἔστηκα 'я стою', позднее также 'я поставил что-л.'; плюсквамперфект в значении имперфекта είστήκη 'я стоял'; аорист ἔστηψα с переходным значением 'я поставил'; пассивный аорист ἔσταθη 'я был поставлен' и др. По мере того как развиваются все эти формы, исконный корневой аорист ἔστηψις приобретает относительно них «определенный» видовой характер как однократное точечное действие в прошлом. Однако его первоначальное значение — не характеризованное, не определенное действие (т. е. ни «определенное», ни «неопределенное» положительно), и этот видовой характер отвечает его диатезе, что и ожидается при реконструкции. В то время как презенс имеет активную, переходную диатезу 'я ставлю кого-л., что-л.', в том числе и 'самого себя', аорист имеет неперходную, медиальную диатезу 'я (сам) стал'. Аналогом балтийского типа III merkti 'мочить' — mīkti 'начать размокать (только о вещи)' является в греческом целая группа парадигм, похожих на предыдущую, соединяющих медиальное, неперходное значение со значением эффективно переходным и даже каузативным, распределяющих эти значения между презенсом и аористом, но отличающихся тем, что активные и переходные значения связываются с 1-м лицом, тогда как медиальные и неперходные скорее с 3-м. Ср.: ἄγωμι презенс 'ломаю' — ἐάγη аорист (3-го л.) 'нечто сломалось (например, о копье)'; этому глаголу отвечает тохарское wāk-, имеющее одновременно медиальное значение 'лопаться' и каузативное 'разделять'; ср. то же в сочетании с характерным аблautом τέρχο презенс 'растопляю, плавлю' — ἐτάχη аорист '(что-то) растопилось, растаяло'; στήπω презенс 'гную' — ἐστήπη аорист '(что-то) сгнило'; πτήγωμι презенс 'вонзаю, сбиваю, уплотняю' — ἐπτάγη '(что-то) уплотнилось, затвердело'; ср. инфинитив аориста πτερῆναι 'устремлять взор' и мн. др. Отсюда следует, между прочим, что обычные семантические толкования двудиатезных глаголов, например, тох. wāk- '1) разделять, 2) лопаться', греч. ἄγωμι '1) ломаю, 2) ломаюсь', лит. degū '1) жгу, 2) горю' и т. п., не только неестественны (*я горю; я лопаюсь!*), но и не точны: если активное и переходное значение естественно связывается с разными лицами, то неперходное — только с 3 л. преимущественно неодушевленных субъектов и во всяком случае не может быть произнесено от лица 'Я'.

(В отдельных случаях непереходный актив в презенсе мог быть и первичным, — по-видимому, там, где позднее его место застуپает медий, например *τρέφω*, *дорич.* *τράφω* // *τράφομαι* при неперех. инфinitive *τραφεῖν*; *σήπω* // *σήπομαι*, показательно, что буд. медиальный *σαπήσομαι*; но здесь же и формы 1 л. должны в таком случае быть вторичными.)

Греческие парадигмы обнаруживают все существенные черты этого класса в области формы: 1) ведущее положение формы сильного аориста, которая едина в большинстве глаголов, в то время как формы презенса разнообразны и, следовательно, являются позднейшими подстройками (по-видимому, однако, формы на -μι здесь древнее прочих); 2) полная или продленная ступень вокализма в презенсе против нулевой или редуцированной ступени в аористе; 3) довольно частое формальное сходство в огласовке аориста и перфекта; 4) наличие позиций нейтрализации между основами презенса и аориста в 1 и 2 л. мн. ч., ср. *-φάμεν* (*φαμέν* — *ἔφαμεν*), *-θεμέν* (*τίθεμεν* — *ἔθεμεν*); в некоторых глаголах нейтрализация охватывала и основы перфекта в тех же лицах мн. числа, ср. исконный перфект *ἔ-στα-μεν* (но не в более новой форме *ἔστήκαμεν*).

На очень существенных явлениях нейтрализации необходимо остановиться подробнее. Во-первых, корневой аорист мог иметь полное формальное тождество с имперфектом в атематических глаголах, ср. *ἔφην*, *ἔφης* и т. д. (имперфект и аорист) — *ἔστην*, *ἔστης* (аорист ед. ч.; мн. ч. испытывало позднейшую перестройку); *ἔδομεν*, *ἔδοτε*, *ἔδοσαν* (аорист мн. ч.; ед. ч. испытывало позднейшую перестройку) (Степанов, 1975, с. 166). Это более новый тип нейтрализации, сходный с ним имеется в славянском в глаголах безаблаутного класса (с корнями *нес-*, *вед-*, *ид-*, *пад-* и под.) в отношении между презенсом и аористом (представляющим индоевропейские как аористы, так и имперфекты от «определенных» глаголов). Ср. в парадигме *pāstī* ‘пасть’: мн. ч. аорист (и.е. имперфект) 1 л. *padomъ*, 2 л. *padete*; презенс 1 л. *pademъ* (< \* *padomъ*), 2 л. *rade*. Преобразование флексии 1 л. мн. ч. презенса (-емъ вместо \*-отъ) объясняется не только уподоблением формам презенса с тематическим гласным -е-, но и расподоблением от соответствующей формы аориста.

Другая позиция нейтрализации существовала потенциально во 2, 3 л. ед. ч.: презенс *pade-(ši)*, *pade-(tъ)*; аор. *pade*, *pade*. В балт. в связи с преобразованием флексий 2 и 3 л. (и тем более при возможном исконном отсутствии согласных показателей) эта нейтрализация должна была актуализоваться и сыграть, по-видимому, решающую роль в некоторых классах глаголов (см. ниже перф. класс).

Во-вторых, имелся более древний тип нейтрализации. Один и тот же корень мог присутствовать и в новых, «поляризованных» парадигмах «презенса» и аориста (назовем его корнем II), и в старых, существовавших до «поляризации» парадигмах, основа которых может непосредственно связываться с основой или корнем

proto-i.-e. инъюнктива, или «примитива» (назовем его корнем I). Видо-временное и диатезное значение корня в этих двух противопоставлениях различно, но его собственная форма одна и та же, и при этом может быть как безаблаутной (типа TeT, TuT), так и аblaутной (типа TR(T) // TeR(T)). Реконструкция парадигм в таких случаях сильно затруднена. Например, в греческом корень *pe-* сильного аориста *ἐπέτον* имеет значение аориста как вида и времени в более новой парадигме *πίπτω*, *ἐπίπτον*, *ἐπέτον* (корень II), и только видовое значение «определенности» в более старой парадигме, где он выступает как корень и аориста и презенса *\*πέτω*, *ἐπέτον* (корень I) (Швицер, II, 1966, с. 260). Вполне аналогично аblaутные корни могут интерпретироваться в реальной системе языка, следовательно, и при реконструкции, либо как один корень (корень I) с вариациями TRT // TeRT, либо как корень аориста TRT в противопоставлении корню презенса TeRT (корень II). Например, греч. *πυθ-*: корень II в отношении *πεύθε/ο-* : *πυθέ/ό-* = *πίπτω* : *ἐπέτον*, или корень I в отношении *πεύθ-* // *πυθ-* = *\*πέτω*, *ἐπέτον*. В греческом этот тип нейтрализации имеется в нескольких видах. Корневой аорист мог сохранять частичное формальное тождество — в основе и флексиях, исключая аугмент, с 1—2 л. мн. ч. исторически предшествовавшей парадигмы с «вторичными атематическими окончаниями» -m, -s, -t, -mē, -té, -ént (см. выше), в тех случаях, когда последняя развивалась в презенсе атематических глаголов на -μt, ср. презенс *φαίμεν*, *φάτε* — имперфект-аорист *ἔ-φαμεν*, *ἔ-φατε*. Другим типом (см. Швицер, I, 1968, с. 685) являются так называемые «аористопрезенсы», немногочисленная группа, где редуцированная ступень корня, которая должна была бы соответствовать аористу, выступает в презенсе: *γράφω* ‘писать’, ст.-сл. *гребж*; *χάρφω* ‘стягивать, иссушать, морщинить кожу’, лит. *skrebti*, *skrembi* ‘то же, но в неперех. знач., стягиваться и т. д.’, *skribti* ‘кончаться, дохнуть’, *skriebti*, *skribiù* ‘чертить круги’.

По-видимому, такой, более дневний тип нейтрализации (корень I) в балто-славянском отражается как чередование двух аblaутных ступеней корня при одном и том же диатезно-видовом значении. Таковы лит. *skreb-//skrib-*, *der-//dir-* (*derù // diriù* ‘деру, луплю’) и мн. др.; ст.-сл. *дер-//дэр-*, *писа-писа-* и немн. др. Хотя в соответствии с общей тенденцией основы с полной степенью постепенно приобретают значение презенса и/или переходности, а основы с редуцированной степенью — значение аориста и/или непереходности; однако мало оснований считать (как считает Станг, 1943, с. 39) это различение во всех (в том числе в данных) основах исконным. Материал ст.-сл. памятников (Бородич, 1952, с. 110а) и живого лит. (Скарджюс, 1943, с. 471) также говорит в пользу исконности вариаций. Расходиться при этом могут, иногда далеко, только лексические значения. Таким путем можно объяснить происхождение группы балт. лексических дублетов типа: *bingti* // *bengti*, *dingti* // *dengti*, *dirti* // *derti*, *kirti* // *kerti*, *nirti* // *nerti*, *vilti* // *velti*, *tiršti* // *teršti*, а также

греч. дублетов типа: δέρω // δείρω // δαίρω, βάλλω // ζέλλω (об этой паре см. также ниже), ἔρω // ράζω, κτέννω // κταίνω, φθείρω // φθαίρω.

Из сказанного выше вытекает, что ядром балтийского противопоставления «каузирующее действие / каузированный процесс или состояние» было — в абраутном классе — противопоставление двух форм: 1) формы с полной ступенью вокализма в корне и со значением активного действия, связанного с 1 л., человеком, лицом ‘Я’, и 2) формы с редуцированной ступенью и со значением непереходного аориста, связанного с 3 л., вещью, лицом ‘оно’: 1) \*leik- / 2) \*lik-. Если с этой точки зрения взглянуть на греческий материал, то он проливает свет и на соотношение балтийского (и отчасти славянского) абраутного класса с глаголами состояния, характеризующимися показателями основы -i-/ē- (типа *mini* — *minēi*, *манигъ* — *манғти*). Простые абраутные тематические парадигмы типа *lieka* / *lico* (\*leik- / \*lik-) сменяются в балтийском более новым типом с *je/o-* презенсом: *melžia* / *milžo* (ранее *melža* / *milžo*) ‘доить’; *lenkia* / *linko* ‘гнуть / гнуться’ и т. п. В греческом *je/o-* презенс часто имеет при себе ē-аорист. Суффикс -ē- вообще означает состояние, наступающее вследствие действия, ср. *καλῶς σχῆσειν* ‘прийти в хорошее состояние’ против *καλῶς ἔχειν* ‘находиться в хорошем состоянии’, и комбинируется в спряжении с показателем -i- в силу семантических, а не фономорфологических причин (Шантрен, 1927, с. 13, 18). При этом в одном типе парадигм и презенс и аорист выражают состояние одного и того же субъекта, обычно человека (примечательно, что даже в том случае, когда речь идет о физических действиях, вообще говоря, допускающих выход за пределы субъекта: ср., например, слово *τόπτω* ‘бить, ранить’ в любом достаточно полном словаре): *μαίνομαι*, *χαίρω*, *τόπτω* — *ἐμάντην*, *ἔχαρην*, *ἔτόπτην* и т. д. Обычный при суффиксе -ē- вообще редуцированный вокализм корня стоит здесь в соответствии с семантикой. Именно этот тип обычно сопоставляется с балто-слав. \**mini-* // \**minē*. Однако в греческом имеется и другой тип: презенс на -je/o- или -e/o- с полной ступенью и со значением действия активного субъекта, подвергающего действию объект, при аористе на -ē- со значением состояния другого субъекта (отсюда часто просто пассивное значение): δέρω // δείρω ‘деру’ — *έδάρη* ‘нечто ободрано, некто ободран’, στέλλω ‘строю (к бою)’ — *έστάλη* ‘нечто выстроено (к бою)’ и т. п. (Мейе—Вандриес, 1966, с. 186, § 286). В балтийском этому типу нужно поставить в соответствие презенс типа *lenkia*. Как и в греческом, основа ē-претерита относится равно к обоим типам презенса: *linki* — *linkē-jo* и *lenkia* — *lenkē*. В первом случае последующее расширение основы (*linkē-jo*) соответствует значению состояния в этом типе глаголов и отвечает слав. имперфекту. Во втором случае полная ступень вокализма корня, необычная при суффиксе -ē-, свидетельствует, что последний был подстроен к основе *je/o-* презенса. Поэтому во втором случае необходимо предположить и второй, уже чисто балтийский, источник суффикса -ē- — а именно \**jā* < *j + ā*, где *-j* — показатель основы презенса, а *-a-* —

суффикс ā-претерита, как в типе *linko*. Таким образом, мы имеем соответствия: 1) греч. λείπω — (έ)λιπε, лит. lieku — liko < \*lik-ā; ā-претерит, заместивший собой е/о-претерит типа ἔλιπε; 2) греч. δέρω // δείρω < \*der-je/o-// dāírō < \*dř-je/o — (έ)δάρ-η, лит. derù // di-rū — dýg-é с позднейшим продлением гласного корня; lenk-i-ù < \*lenk-je/o — lenk-é с позднейшим выравниванием корня претерита по презенсу (вместо \*link-é) или, напротив, флексии претерита (вместо \*lenkj-ā как \*likā), оба процесса должны были привести к одному и тому же результату; 3) греч. μαίνομαι < \*man-je/o < \*mř-je/o (как dāírō) — (έ)μάν-η, лит. link-i-u (3 л. link-i) — link-é-jo с позднейшим расширением основы. Таким образом, в литовском мы имеем полные ряды от одного корня, допускающего аблaut: 1) lenkia je/o-презенс, субъект лицо, 'некто гнет'; 2) linko ā-претерит (заместивший е/о-претерит), субъект вещь, 'нечто согнулось'; 3) linkē-jo ē-претерит, выражющий достигнутое состояние (\*linke) 'нечто было согнутым', а затем, с расширением основы (linkē-jo), — итеративное действие; на этом этапе субъектом снова становится лицо, но действие, по-видимому, отнесено к нему уже вторично, путем метафоры, современное значение 'некто кланялся'; 4) ко второму претериту был подстроен новый презенс на -i и инфинитив на -ēti, и образовался новый глагол со своим лексическим значением linki, linkēti 'класться; выражать пожелания'; аналогично в слав. бъдитъ, бъдѣти при -бънжти. В греческом имеется по крайней мере один полный и древний ряд такого же типа: 1) презенс λείπω; 2) е/о-аорист ἔλιπε; 3) и 4) непереходный ē-аорист ἔλιπη 3 л. мн. ч., λίπεν у Гомера (II 507), λιπῆναι,ср. скт. ricyáte 'он оставлен', при более новом пассивном λειφθῆναι. Вообще же в греческом е/о-аорист и ē-аорист редко комбинируются в парадигму от одного корня, и когда это имеет место, то почти всегда можно отметить новое лексическое значение у формы на -ē. Характерно, что по поводу приведенной гомеровской формы Э. Швицер отмечает трудность в определении ее лексического значения, а вся группа таких непереходных аористов (около 30) связана с резким противопоставлением субъект-лицо / субъект-вещь (Швицер, I, 1968, с. 759). Среди этих глаголов отмеченные выше σύπω 'гною' — ἐσάπη 'нечто сломалось', соотв. ток. wāk- '1) лопаться, 2) каузат. разделять' и т. п. В позднем койне некоторые корневые аористы заменяются ē-аористами и при этом специализируют лексическое значение,ср. ἔψυν // ἔφύη 'рождаться', ἔδυν // ἔδύη 'садиться' (Бласс—Дебруннер, 1967, с. 41, § 76; с. 50, § 101). То же во внеродственных папирусах: ἡρπάτησαν от глаг. со знач. 'хватать',ср. лит. turēti 'иметь' при tverti 'хватать'; ἡνοίγη от глаг. со знач. 'открывать',ср. лат. patēre 'простираясь'; так же ἐτάγη, ἐγνάφη, ἐσκόλη (Мандиларас, 1973, с. 147). По-видимому, в греческом намечалась, но не была реализована такая же, как в литовском и славянском, тенденция к созданию на базе ē-претерита отдельного глагола с особым лексическим значением типа λιπῆναι, φυῆναι, linkēti, turēti, имѣти. В лит. из старого слояср.: 1) tveria (как през.

при соврем. *tverti*) — 2) *tviro* (как прет. при диал. *tvirti*, Буга, II, 1959, с. 130, и през. при *tvirōti*. Скардюс, 1943, с. 510) — 3) *turē-jo* (как прет. при *turēti*) — 4) *turi* (как през. при *turēti*); 1) *gula* (през. при *gulti*) — 2) *gulo* (диал. прет. при *gulti*) — 3) *gulē* (прет. при *gulti*), *gulē-jo* (прет. при *gulēti*) — 4) *guli* (през. при *gulēti*), здесь корень, допускающий аблaut, но фиксированный в одном виде; и др. под.

Согласно современным представлениям, презенс на *-i(tъ)* в балто-славянском представляет собой преобразование и.-е. перфекта, который был встроен в качестве презенса в парадигму при ё-претерите (Курилович, 1964, с. 79—84; Уткинс, 1969, с. 222, § 217; о наших отличиях по некот. деталям см. ниже, при перфектном классе).

Пересечение (имбрикация)<sup>1</sup> парадигмы непереходного или немаркированного по переходности / непереходности аориста с парадигмой перфекта объясняется, с точки зрения семиологического принципа (ср. выше), их семантикой по отношению к 'Я' говорящего субъекта: и.-е. перфект первоначально означает состояние субъекта-человека, а аорист имеет это значение в некоторых формах, связанных с 1 л. ед. ч. Поэтому пересечение (имбрикацию) нужно предположить — первоначально в ед. ч. — в части парадигмы, содержащей форму с 'Я'. Это предположение подтверждается греч. материалом: общие основы с *-ka-* у аориста и перфекта типа *ē-ðwxa* — *ðē-ðwxa* наблюдаются у Гомера преимущественно в ед. ч. (Шантрен, 1967, с. 194, § 224).

В общем и целом можно сказать, что различия балто-славянского и греческого в этом фрагменте глагольной системы основываются на том, что греческий, как правило, исключает два различных непереходных претерита-аориста, *e/o*-претерит и ё-претерит, при одном корне, тогда как балто-славянский, напротив, поощряет такие параллельные образования, придавая им функциональное различие действие / состояние. Расхождение связано с различным статусом и.-е. перфекта в обеих системах: греческий развивает перфект, делая ненужным два аориста, балто-славянский устраняет его, используя его обломки для подстройки вторых претеритов. Это системное соображение заставляет обратить внимание на параллелизм суффиксов ё/а в четырех рядах: лит. 1) *tēka*, *tekē-jo*, *tekē-ti*, 2) *mīēga*, *miegō-jo*, *miegō-ti* (ср. Станг, 1966, с. 388; но, вопреки Стангу, не *kýba*, *kýbojo*, *kýboti*, где корневой гласный вторичного продления и всегда корневое ударение), 3) *mirksi*, *mirksē-jo*, *mirksē-ti* 'помигивать глазами', 4) *mífkso*, *mirksō-jo*, *mirksō-ti* 'находиться в полудреме, с полузакрытыми глазами'. Различия слоговых интонаций корня в 3) и 4) стоят, вероятно, в связи с аномалиями долгот при s-основах, как в фор-

<sup>1</sup> Имбрикация — «наложение», от лат. *imbricare* 'укладывать как черепицу, так что край паходит на край', ср. англ. *overlapping*.

макс 3 л. будущего вр. Но формы с -i и с -o в наст. времени полностью параллельны по акцентуации: они не оттягивают ударение на приставку и поддаются одноковому моделированию (Степанов, 1972, с. 180). Глаголов 2-го типа в совр. лит. лишь несколько: во-первых, *mīēga*, *gīeda*, *rāuda*, все они по происхождению балт. атематические со значением состояния, и — *miega* более определенно — перфекто-презенсы (Станг, 1962, с. 163); во-вторых, *bijo*, *bijojo*, *bijoti* 'бояться', *žino*, *žinojo*, *žinoti* 'знать', из них первый восходит к и.-е. перфекту (см. ниже), а второй — к корневому аористу, основа которого, однако, совпадала с основой перфекта,ср. греч. *αρέων*, перф. *ἔγωκα*. В этой связи нужно вспомнить также, что в греч. суффикс -ē- выступал с параллельным ему, хотя и исключительно редким, -ō- в том же значении: *ἀλίσχομαι*, *ἐάλων*, *ἀλῶναι* 'хватать' (ср. параллель *ἀλῶναι* — *λιπῆναι*). Балто-славянской функциональной параллелью этому греческому суффиксу является, по-видимому, -ā- в указанных глаголах, и, возможно, в нескольких других. Его опознанию служит то, что содержащие его формы являются в современном языке как формы претерита в одних paradigmах и как формы презенса — в других, ср. *lindo* — претерит при *līsti* 'лезть' и презенс при *līndotī* 'быть взлезшим'. (Но формы *kibo* // *kybo* — *kimba*, *kibo*, *kibti* 'повисать' и *kýbo*, *kýbojo*, *kýboti* 'висеть' являются уже с более поздними перестройками.) Это -ā- было рано отождествлено с -ā-, возможно, иного происхождения, которое выступает показателем только балто-слав. претеритов, в свою очередь двух типов: ā<sub>2</sub> в ā-претеритах в обеих языковых системах — лит. *suka*, *suko*, слав. *tzčelъ*, *tzka*; ā<sub>3</sub> в ā-претерите, заместившем собою в балтийском более ранний непереходный e/o-претерит, сохраненный в славянском, — лит. *bunda*, *budo*, слав. *bъ(d)netъ*, *-bъde* (Станг, 1966, с. 378) (далее см. ниже, перф. класс). Однако различие трех -ā- нужно только для глубокой реконструкции, так как уже в поздний балто-сл. период они выступают как один и тот же показатель.

Таким образом, в аблautном классе восстанавливается протобалто-славянская парадигма (1): презенс *TiRT-e/o* — 1 претерит *TiRT-e/o* — 2 претерит, «аорист состояния» или «первичный балто-сл. имперфект» *TiRT-ē* // *TiRT-ā*. Эта парадигма сохранилась лишь в виде фрагментов: (1a) *lenda* 'лезет' — *lindo* 'залез' (1 ā-претерит, заместивший e/o-претерит) — *lindo* 'сидит залезший' (2 ā-претерит, пореосмысленный как презенс нового глагола состояния *lindo*, *lindojo*, *lindotī*); (1b) то же, но со 2 претеритом на -ē- *lindē-jo* (расширенном суффиксом и с новым презенсом из и.-е. перфекта *lindi*, так же как новый глагол состояния *lindi*, *lindējo*, *lindēti*); *kerpa*, *kirpo*, *kirgrē-jo* (*kirpēti*); *velka*, *vilko*, *vilkē-jo* (*vilkēti*); (1b) с перестройкой презенса в je/o-презенс и с расхождением субъектов *lenkia*, *linko*, *linkē-jo* (*linkēti*), каждая из трех форм дала начало трем глаголам: переходно-каузативному *lenkia*, *lenkē*, *lenkti* 'гнуть', непереходному с неодушевленным субъектом *linksta*, *linko*, *linkti* '(со)гнуться', непереходному с одушевленным субъектом *linki*, *lin-*

kējo, linkēti ‘гнуться, кланяться’. Наличие двух различных претеритов в одной парадигме стало одним из важнейших факторов раздвоения славянских лексем на видовые пары и балтийских лексем — на диатезные пары. (Сама парадигма сохранилась в балт. лишь в одном классе лит. глаголов типа *lenda*, *lindo*, подробнее см. ниже). Реконструируемая парадигма в целом послужила, как можно предполагать, эпицентром аналогичной организации лексики в безаблаутном классе.

Безаблаутный класс тематических основ представлен в лексике несколькими группами. Прежде всего отчетливо противопоставлены две основные группы: а) глаголы с корнями типа ТоТ (лит. ТаТ) и ТеТ, аналогичные скт. классу *váhati*, б) глаголы с корнями типа ТиТ, ТиТ, аналогичные скт. классу *tudáti* (см. выше). Уместно вспомнить тонкое замечание А. Мейе (1951, с. 173, § 219) о том, что в корнях такого типа корневой вокализм является как бы принудительно обобщенной аблautной ступенью. Таким образом, первая группа соответствует корням типа ТеТ, а вторая — корням типа ТиТ аблautной парадигмы. Это соотношение проливает свет на общие черты их семантики.

Общий балто-славянский тип глаголов с вокализмом корня -о-, лит. -а- обозначает действия ‘бить, толкать, бодать, копать’ и под. (Станг, 1943, с. 39). Самое наличие -о- (лит. -а-) в корне X. Станг считает формой интенсивности действия при обычном -е-. По нашей классификации типов переходности (см. 1977) эта группа может поставлять полярные формы, с одной стороны, синтетической и эффективной, с другой стороны, аналитической и неэффективной переходности. Ср.: ‘копать землю’, ‘толкать кого-что’, ‘бодать кого-что’ (синтет. эфф.); ‘копать яму’ (аналит. эфф.); ‘копаться в чем-л.’, ‘толкаться, бодаться’ (аналит. неэфф.). Основная семантика лежит, по-видимому, в сфере синтетической эффективной переходности, чём объясняется нередко явно вторичный характер форм с аналитической переходностью (наличие в них -ся). Ср. лит. и рус. *kasti* ‘копать’, *kastis* ‘копаться’. Важно отметить, что один и тот же тип аблautа -е--/-о- мог служить для создания «неопределенного» видового значения при «определенном» (тип *нести* — *носити*) и для создания пар, противопоставленных диатезой: погрязнжти — погряззити, тешти — точити. В лит. эта группа имеет смешанное, «переходно-непереходное спряжение» — презенс на -а, претерит на -ё(-ё). Сюда же примыкает группа с неизменным вокализмом корня -е- и с претеритом на -ё(-ё), а в диалектах и с презенсом — на -ia, что соответствует «переходному спряжению»: *veda*, *vedè*, *vesti* ‘вести’, *veža*, *vežè*, *vežti* ‘везти’, *neša*, *nešè*, *nešti* ‘нести’, *beda*, *bedè*, *besti* ‘колоть’, *dega*, *degè*, *degti* ‘1) гореть, 2) жечь’, *kepa*, *kepè*, *kepti* ‘1) печь, 2) печься’, *lesa*, *lesè*, *lesti* ‘клевать’, *tepa*, *tepè*, *tepti* ‘мазать, красить’ и др.

Балто-славянская группа с вокализмом корня -и-, -и- (исторически редуцированная ступень) означает действия того же семантического разряда, т. е. захватывает разные типы переход-

ности, но с тенденцией в сторону неэффективной и неэффективной аналитической, т. е. к употреблению без дополнения, ср.: лит. dirbt 'работать', risti (rita) 'катить, катиться' (ср. рус. Зима катит в глаза = 'катится'), sukti 'поворачивать', др.-рус. съкать (ср. рус. Воз повернул вправо = 'повернулся'), skusti (skuta) 'брить' (ср. рус. Бритва плохо бреет), risti 'вязать' (ср. рус. Незрелый виноград вяжет; Ее мама вяжет), supti 'качать', др.-рус. сутги, съпу (ср. рус. На пароходе качает), lipti 'лесть' (ср. рус. Волосы лезут), lupti 'лупить' того же корня (ср. рус. Он лупит со всех ног) и мн. др. В литовском этот класс имеет устойчивое «непереходное спряжение» — презенс на -a, претерит на -o. Таким образом, названные две группы предстают в целом как класс недифференцированной синтетически-аналитической, эффективно-неэффективной, переходно-непереходной семантики, но с тенденцией ее поляризации на две группы в соответствии с формальным признаком — вокализмом корня. Этим общим системным соответствием, по нашему мнению, более просто объясняется сложное на первый взгляд распределение типов претерита (ср. Станг, 1966, с. 378). Чрезвычайно важной, быть может, определяющей чертой всего этого круга лексики является то, что обозначаемые ею действия во всех своих диатезных значениях могут быть приписаны 1-му лицу, субъекту речи, самому говорящему человеку. В тех случаях, где с точки зрения современного значения глагола это выглядит натяжкой, следует предположить позднейшее изменение семантики. Ср., например, lesti 'клевать', первоначально 'собирать', ср. нем. lesen 'читать' и греч. λέω 'собирать, читать, считать' (Фриск, II, 1970, с. 96).

К этому классу принадлежит и один из центральных фрагментов в системе корреляций «вид — диатеза», глаголы группы 'сесть', 'стать', 'лечь': 1) от и.-е. корня \*sed-: основа презенса ст.-сл. \*sē-n-d-q, лит. sēd-u; основа претерита-аориста ст.-сл. sēdъ, sēde, sēsti (e/o-претерит), sēdajq, sēda, sēdati (a-претерит), лит. sēdo (< \*sēdā) (a-претерит) sēstī; основа претерита-«имперфекта» ст.-сл. sēdē-, sēdēxъ (как аорист к sēdēti с позднейшей сигматизацией), sēdēaxъ (имперфект к тому же), лит. sēdē-jo, sēdēti; 2) от и.-е. корня \*sta-: презенс ст.-сл. sta-n-q, лит. stō-j-u; претерит-аорист ст.-сл. staxъ, sta, sta, лит. нет; претерит-«имперфект» ст.-сл. stajaxъ, staja (как аорист к stajati), лит. stōjo, stōti (Ульянов, 1891, с. 320; Лойманн, 1955, с. 159); претериты от основы на -ē- расходятся: ст.-сл. stojēaxъ // stojaaxъ, лит. stovē-jo; 3) и.-е. корень со значением 'лечь, лежать' представлен особыми образованиями в каждой из двух семей — слав. leg-, лит. gul-, но общая утрата исконного корня и значительный параллелизм новообразований снова говорят о компактности всей группы (см. выше о производных от gul-).

В этой группе глаголов отчетливо прослеживаются пути подстройки парадигм, общее направление которых — заполнение места 1-й фазы (о фазах см. выше, I). В слав. первая фаза зани-

мается производным глаголом с основой на -ā: ст.-сл. sěda-ti, sědajq—sěsti; staja-ti, stajq—stati; др.-рус. *легати* // *лѣгати* — лечи (< \*legti); в лит. в соответствии со слав. формами на -ā представлены только основы претерита, включенные в парадигму базового глагола: sědu, sědau, sěsti; stoju, stojaū, stoti. Таким образом в этом фрагменте поддается восстановлениюproto-б.-сл. парадигма с вариативным презенсом и двумя претеритами — 1) аористного типа, 2) «имперфектного» типа. Два претерита дали в славянском начало двум различным глаголам, соответственно «определенному» («перфективному») и «неопределенному» («имперфективному»), а в балтийском аористный претерит был подавлен в пользу «имперфектного»: старый презенс \*stan- // \*staj-, 1-й претерит \*stā-, лит. нет, ст.-сл. sta, инфинитив stati; 2-й претерит \*stājā, лит. stojo, ст.-сл. staja, инф. stajati 'становиться', лит. stoti. Сюда же относятся pādo, pasti—pādajq, pādati с продлением в корне, как и в sēd-, bēg-. В данном случае в славянском вариативный презенс (и очень часто вообще je/o-презенс) принадлежит одновременно двум различным парадигмам, создавая имбриацию. Учитывая балтийский материал, к вариациям презенса здесь можно было бы причислить и sta-презенс, т. е. принять -je/o-/n/-sta-. Однако последняя форма, по-видимому, стояла здесь в подчиненном ранге: хотя в презенсе -sta- и -n- чередуются, но в претерите у sta-глаголов преобладает видовой оттенок недлительности, в то время как у n-глаголов — длительности (Ульянов, 1891, с. 73). Поэтому sta-презенсы были менее предрасположены к тому, чтобы сочетаться с новыми б.-сл. аористами «имперфективного» типа (т. е. с ē-претеритами, a-претеритами). Раздвоение лексем в соответствии с двумя претеритами выступает в этих фрагментах, как и следовало ожидать по системным соображениям, очень отчетливо. Очевидна также роль презенса на -je/o- в дальнейшей перестройке претерита. Поэтому, по нашему мнению, необходимо принять вторичное происхождение балт. суффикса претерита -ē- <-jā- в глаголах с презенсом на -je/o-. Это -ē₂- отождествилось с -ē₁-, содержавшимся в типах gulē, gulē-jo gulē-ti; linkē-jo, linkē-ti; rabēgē-jo, rabēgē-ti, слав. бѣжати < \*bēgēti и др. (см., однако, о двусмысленности лит. основ типа bēgē, vēžē- Степанов, 1977). Это — парадигма (2) (далее раздел 3).

Особо стоит вопрос о сигматическом аористе. Как известно, слав. широко развил этот тип аориста, в то время как балт. не знает его совсем, но зато имеет сигматическое будущее. Имеется ли здесь proto-б.-сл. дополнительное распределение двух сигматических форм будущее / аорист, остается спорным (ср. известную контроверсу А. Мейе — Х. Педерсен). Слав. имеет сигматический аорист главным образом в корнях типа TeT, TaT, что отвечает его семантике переходности, притом «сильного» синтетического и эффективного типа (о семантике см. Кёлльн, 1969, с. 28; Степанов, 1977). Г. Кёлльн, однако, не уделил достаточного внимания форме корня, которая играет очень большую роль как по связи

с семантикой, так и по связи с формообразованием, простирая свое влияние вплоть до образования новых претеритов: в слав. при ступени корня -е-, -о- имперфект имеет суффикс -ё- (*несъѣхъ*), при редуцированной же ступени — суффикс -а- (*блъдахъ*) (Фортунатов, 1897). При корнях типа ТeT, TaT в балт., как правило, ё-аорист. Презенс этих глаголов, как в балт., так и в слав., не знает j-расширения, и поэтому нельзя предположить вторичного образования здесь балт. -ё- <-jä-. Таким образом, мы имеем не-несомненное прото-б.-сл. соответствие: s-аорист // ё-аорист (с -ё<sub>1</sub>). Возникает вопрос о его древнейшем статусе. X. Станг справедливо, на наш взгляд, считает «парадоксальным» предположение о синонимии обеих форм, так как во всех других случаях одна из них, сигматическая, выражала переходное действие, а другая — достигнутое состояние (Станг, 1966, с. 388). Принимаемое им объяснение вполне согласуется с основными линиями и нашей реконструкции: s-аорист имел значение собственно аориста при глаголах с корнями TeT, TaT и переходным значением, в то время как ё-аорист был вторым, «древнейшим имперфектным», претеритом в той же группе и означал длящееся состояние, \*vedē ‘wurde führend’; поэтому именно на этой прото-балто-сл. основе возникает в дальнейшем расширенный, «новый» слав. имперфект vedē-ахъ (Станг, 1966, с. 387). Указанные отношения образуют парадигму (3).

Эта реконструкция также может быть подкреплена греческими параллелями. При корнях указанного типа в греч. существовали два типа аористов — на -ё- с непереходным значением состояния и сигматический с переходным значением, нередко здесь же был третий е/о-аорист с нейтральным значением, так, при τόπτω, κόπτω ‘бить’, βάλλω ‘бросать’ и др. аорист на -ё- здесь рано приобрел пассивное значение (Мейе—Вандриес, 1966, с. 313, § 464). Более того, греческий пошел дальшеproto-балто-сл., допуская контаминации s-аориста и е/о-аориста. Как показал Ф. Линдеман, именно так объясняются дублеты ёβαλεν // ёελεν. Форма ёβαλεν — обычный тематический аорист по формуле \*é-CRH<sub>1</sub>-e/o, где H<sub>1</sub> — ларингальный. Что касается формы ёελεн, то она объясняется как форма сигматического аориста \*é-CeRH<sub>1</sub>-S-m(s, t) со вставкой тематического гласного \*é-g<sup>w</sup>elH<sub>1</sub>-e-S-t, где группа -H<sub>1</sub>e- давала -е-, которое отождествлялось с 3 л. тематического аориста (Линдеман, 1971, с. 127 и сл.). Двойственная семантика глагола βάλλω ‘1) достигать, 2) бросать (копье и т. п.), ранить, 3) впадать (о реке) и т. д.’ (Шантрен, I, 1968, с. 161) соответствует такой реконструкции.

Наиболее полно, но не целиком, первоначальная парадигма (1) сохранена в немногочисленной группе, где отношения между балтийским и славянским как бы «зеркальные»: в славянском корень с полной ступенью чаще поставляет аористы, корень с редуцированной ступенью — презенсы, тогда как в балтийском отношения обратные. В слав. группа лексики такого типа немного-

численна: *мѣрж*, *мѣрѣти*; *ч҃рж*, *ч҃рѣсти* и нек. др. Некоторые глаголы совпадают по распределению ступеней с балт.: *перж*, *пѣрати* 'давать, топтать', *перж*, *прѣти* 'лететь', *верж*, *вѣрати*, *держ*, *дѣрати*; *жегж*, *жаже*, *жѣшти*; *жидж*, *жадати*. В балт. группа представлена более отчетливо, с регулярными парадигмами и хорошо сохранилась во всех лит. диалектах, но в ней всего 18—20 глаголов: *реfka*, *riško*, *riſkti* 'покупать', *liēka*, *lico*, *likti* 1) оставлять, 2) оставаться' и др. Неясно, какие семантические черты соответствуют столь хорошо сохраняющемуся формальному единству: группа содержит глаголы как переходные, так и непереходные, как с субъектом-лицом, так и с субъектом-вещью. Мы можем выдвинуть здесь лишь предположение (которое намерены развить в другом месте). Кажется, что семантическое единство образовано следующей весьма своеобразной чертой: в отличие от общего правила, более того — в прямой противоположности с ним, в лит. презентные корни с полной ступенью здесь означают 'состояние (притом зачастую предмета)', а претеритные корни с редуцированной ступенью — 'действие (притом зачастую активного лица)'. Например, *pirſti* 'сватать, навязывать' субъектом действия выступает мужчина, но он осмысливается как объект: *Puikų vainiqnā jai perša* 'Ей сватают доброго парня', отсюда возвратная форма *jis pats perſasi* 'он сам сватается'. Так же при *pirkti* 'покупать', где наименование субъекта связано с редуцированной формой вокализма корня *pirklys* 'покупщик, купец', а название объекта — с полной формой *prekē* 'товар'. Семантической параллелью может служить лат. *licet* актив '(предмет) продается с торгов' — *licetur* пассив '(человек) покупает с торгов'. По-видимому, здесь мы имеем дело с каким-то весьма древним противопоставлением и.-е. актива и медия (одним из их многочисленных противопоставлений), ср. скт. *váhati* актив '(колесница) везет человека' — *váhate* медий '(человек) едет на колеснице' (Барроу, 1976, с. 275; Степанов, 19766, с. 418).

## 2. Перфектный класс и категория состояния

Согласно современным представлениям, в балто-славянском ареале существовала абраутная парадигма перфекта без удвоения с чередованием полной ступени на -o- в ед. ч. и редуцированной ступени во мн. ч., подобная греч. 1 л. ед. ч. *οἶδα* — 1 л. мн. ч. *ἴδμεν* (аттич. *ἴστεν*) 'знать', *μέμονα* — *μέμαντεν* (\**mé-mop-a* — \**mé-mop-me*) 'помнить'. Балто-сл. флексия 3 л. восходит к и.-е. \*-ei, *mini*, *тьni(tъ)* < \**mn-ei*. Расхождения компаративистов, в общем второстепенные, касаются только «заголовкой» принадлежности этого прото-б.-сл. перфекта (медиопассивный по Куриничу, 1964, с. 81; активный по Уоткинсу, 1969, с. 225).

В точности аналогично тому, как это имеет место в абраутном классе тематических основ (см. выше), два ряда одной парадигмы

дают здесь начало двум классам балто-сл. глаголов: 1) тип с редуцированной ступенью корня и -i/ē-флексией балт. *mini*, *mi-nēti*, слав. *тьніть*, *тьнēти*, 2) тип со ступенью -o- в корне и той же флексией, но со следами иной флексии:ср. более старое прич. *gorq̄ste* при новом *gorēste*, *gorēti*. Первопачальное распределение основ отражено в расхождении \**bij-* // \**boj-*: лит. *bijoti*, ст.-сл. *bojati* съ. В то время как слав. глагол имеет флексию -i/ē-, лит. параллелен с *žino*, *žinojo*, *žinoti* 'знать' и таким образом пересекается с корневыми аористами аблautного класса (см. выше); этому пересечению (имбрикации) соответствует и вокализм лит. корня. Происхождение от и.-е. перфекта, при посредстве непереводного аориста, еще одной (в таком случае 3-й) группы глаголов с долгим гласным нового происхождения на основе редуцированной ступени корня — *gubъ*, *gubnōti*, б.-сл. \**sēd-*, \**bēg-* и др. (Вайан, 1962), остается дискуссионным. Эта группа вполне может восходить просто к аористам аблautного класса.

В некоторой группе основ, в балтийском несомненно, преобразование и.-е. перфекта происходило при посредстве нового атематического презенса (Станг, 1962, с. 167). Однако такая реконструкция, как \**sorg-ei* > \**sarg-ti* > *serg-ti* *sérgēti* 'сторожить' (Уоткинс, 1969, с. 223), которая предполагает замену аблautной ступени корня -o- на -e-, кажется маловероятной. В ее пользу говорит лишь то, что в балт. о-корни функционально тождественны е-корням (см. выше), но доводом против явится то, что аблautные ряды в балт. разделяются очень четко. Перекрешивание их отмечается очень редко, по-видимому, только для е-ряда с i-рядом: *rigzti* / *regzti* / *raizgýti* / *razgýti* (последнее в диал., Юрбаркас) 'путаться' / 'путать' / 'то же, интенс.' (Венцкуне, 1971, с. 14, 27). Перекрешивание же рядов как морфологическое средство было бы совершенно исключительным явлением. Наша точка зрения заключается в том, что многие формы типа «новых атематических» *liekti* (*lieka*), *sergti* (*sergi*) связаны с системой оппозиций аористы с редуцированной ступенью / презенсы с полной ступенью, которые в и.-е. по оформлению и значению очень близки к перфектам (см. выше абл. класс и спец. о глаг. *likit*).

Мы хотим обратить внимание на, кажется, не отмеченный в литературе параллелизм б.-сл. глаголов, определенно восходящих к и.-е. перфекту (группы 1 и 2 выше) и к аористам с перфективным значением (группа 3 выше) с русской «категорией состояния». Опознавательной чертой последней является конструкция с дательным падежом субъекта типа *Mne+катег. сост.* (*Mne* больно, душно, нужно и т. д.). Приведем материал: 1) семантические и этимологические соответствия с перфектами: лит. *maga*, *magēti* 'хотеться' — Jam *maga suvalgyti* obuoī, ст.-сл. *mogō*, *mošti* 'мочь', рус. *Mne* можно; сюда же абл. разновидность *mēgsta*, *mēgti* — Jam *mēgsta...*; лит. *gari*, *garēti* 'дымиться (паром)', ст.-сл. прич. *gorq̄ste* // *gorq̄ste*, рус. *Mne* горячо; лит. *bijo*, *bijoti* — Mañ

baisu, ст.-сл. bojati sę, рус. *Мне боязно*; 2) семантические соответствия (без точных этимологических) с перфектами: рус. *Мне больно*, *Мне руку* (Acc.) больно, ст.-сл. bōlēti, лит. skauda, skaudēti — Man galvą (Acc.) skauda; непоследовательная категория сост. рус. *Мне хочется*, ст.-сл. хотēti (старый атематич.), лит. nori, norēti — Man norisi; рус. *Мне маму* (Acc.) жалко; лит. gaili, gailēti — Man gaila; 3) семантические соответствия с аористами перфектного значения: ст.-сл. sty(d)noťi, рус. *Мнестыдно*, лит. Man gôđa; Gôđiūos; ст.-сл. vuknoťi, рус. *Мне привычно*. Если верна гипотеза А. Вайана о таком же происхождении долготы в корнях ēl-, sēd-, bēg-, sēk- (Вайан, 1962), то сюда же относится рус. диал. *Здесь ёжено 'сытно'*; *Неёжно*, да *ўлежно* (Некрасов). Рассмотрим теперь контуры реконструируемой парадигмы (4).

Соотношения типа рус. *боле-ть*, *боли-т*, *боле-е-т* и лит. skaudēti, skaula, skaudē-jo показывают вторичный характер и одновременно параллелизм рус. наст. вр. *боле-е-т*, лит. прет. skaudē-jo, надстроенных над формами типа \*ТоТ-ē со значением претеритопрезенса. Последние существовали, по-видимому, рядом с претеритами «достигнутого состояния» или «древнейшего балто-сл. имперфекта» типа \*TRT-ē, \*TēT-ē (mrg̥(tъ), mîrē; gulē, \*bēgē, pa-bēgē-jo, см. выше). При этом кажется, что, если основа наст. вр. на -i внедрена главным образом в ряд аористов с перфектным значением (ср. выше gulē, guli, gulē-jo), то основа наст. вр. на -a внедрена скорее в ряд исконных перфектов (skauda, skaudēti; maga, magēti; miega, miegoti и т. п.). Это соотношение заставляет поставить вопрос об особом статусе лит. презенса на -a (в соответствии со сл. е/о-презенсом) при инфинитиве на -ēti: teka, tekēti 'течь', maga, magēti 'хотеть (ср. мочь)', moka, mokēti 'мочь; учить'; sopa, sopēti 'болеть, болит' и под. При корнях типа TeT, ToT слав. презенсы имеют при себе очень часто тематические аористы с характерными позициями нейтрализации между през. и аор. во 2 и особенно в 3 л. ед. ч.: през. тече-ши, тече-тъ — аор. тече, тече (см. выше). В балт. эта нейтрализация должна была стать особенно значительной в силу характера балт. флексий. Таким образом, мы имеем соотношение: сл. teče-tъ : teče (texъ) = балт. ?: ? = балт. teka : tekē-jo. Промежуточным балт. звеном могли послужить формы \*teka : \*tekā // \*tekē. Формы типа \*tekē стоят в закономерном соответствии со сл. сегментическим аористом \*tēks, ср. vedē — վեց, а формы типа \*tekā восстанавливаются по типу bēgo < \*bēgā (Станг, 1966, с. 379). Наша точка зрения отличается от мнения Х. Станга лишь тем, что мы выделяем отношения типа teka : \*tekā, miega : \*miegā; skauda : \*skaudā и т. п. (отличаемых от ряда dega : degā : degē; kera : kerā : kerē) и считаем их специфически перфектным рядом. Формы типа teka отождествляются как презенсы перфекта (перфекто-презенсы), к которым был подстроен претерит перфекта, отождествленный как добавление того же показателя -ā : \*tekā + ā > \*tekā. (Ср. однако замечание Х. Станга, не повторенное им в «Сравнительной грамматике», о том, что тера 'может' является

презенсом перфекта, а *tarə // taro* 'становиться', первонач. 'прилипнуть' — претеритом перфекта: Станг, 1961, с. 70).

Постоянные корреляции вида и диатезы в перфектном классе очевидны уже из всего сказанного.

### 3. Класс основ на -(a)je/o-

В славянском к новому а-претериту (см. выше, 1) подстраивается новый презенс. В соответствии с его формой складываются два подтипа. Один из них, более старый, образован презенсом на -je/o- без предшествующего -a-, это так называемые славянские дуративы (класс IIIб по Лескину — Ван-Бейку): ст.-сл. *мазати, мажж;* *гасати, гашж;* *мрдцати, мрдчж;* *казати, казж* и т. д. Другой подтип, более новый, образован презенсом на -aje/o-, это так называемые итеративы на -ajq, -ати (класс IIIа по Лескину—Ван-Бейку), встречающиеся в ст.-сл. обычно в приставочной форме: *-мазати, -мазаж;* *-гасати, -гасаж;* *-мрдцати, -мрдцаж;* *-казати, -казаж* и т. д. Производные глаголы обоих типов занимают место глагола 1-й фазы, означая действие, предшествующее фазе критической точки. Базовый же глагол при обоих подтипах нередко содержит носовой инфикс, по-видимому, из презенса первоначального базового глагола (типа *станж, стати*), распространенный на всю парадигму и поляризующий ее по отношению к парадигме на -ajq, -ати: *дыхаж, дыхати — дыхнжти, тжче, тжкадти 'ткать' — тжкнжти 'воткнуть';* рус. *ткать 'пихать' — ткнуть и др.* Сюда же рус. *тыкать — ткнуть, вздыхать — вздохнуть, засыпать — заснуть, выгребать — выгрести, снимать — внять,* и позднее, вследствие утраты здесь чередований, присоединяющиеся пары без чередований: *ввергать — ввернуть, испекать — испечь и под.*

В славянских языках производный глагол 1-й фазы в этом типе сменяется более продуктивным на -овати и далее на -ывати, ср. *по-казати, по-казаетъ → по-казовати, по-казуетъ → по-казывать, по-казывает.* Параллельно протекают процессы префиксации. В общем так же параллельно происходит и частичное замещение базовых глаголов (со значением критической точки) другими типами, на -ить, -ать. В результате в русском языке основным функциональным и морфологическим заместителем древнейшего фрагмента оказывается преобразованный указанным образом подтип *отдавать — отдать, выкраивать — выкрасить, загнивать — загнить, вверять — вверить, выделывать — выделать, разрисовывать — разрисовать и т. п., т. е. наиболее продуктивные модели.* Детальную морфологическую классификацию продуктивного раздела мы здесь не производим. Для нас важны прежде всего фрагменты, обнаруживающие параллелизм между славянской и балтийской системами.

Таким фрагментом является пересечение (имбрикация) класса дуративов, когда они выступают с префиксами и, следовательно, в значении «определенного», или сов. вида, и класса итеративов

На -а, -ати: дуративы мажж, мазати; гашж, гасати; мрачж, мрацати и т. д.; итеративы -мазаң, -мазати; -гасаң, -гасати; -мрацаң, -мрацати и т. д. (Ван-Вейк, 1957, с. 348, § 66). Далее класс приставочных итеративов пересекается (образует имбрикации) с классом приставочных каузативов с «определенным» значением. «Каузативы в ст.-сл. памятниках встречаются (в аористе. — Ю. С.) только с приставками, с „определенным“ значением, им противопоставляются имперфекты от итеративных основ с приставками. Отношения между этими формами аориста и имперфекта можно считать отношениями сов. и несов. видов» (Бородич, 1952, с. 110а; ср. Кузнецов, 1961, с. 120), ср. с-стаки, с-ставити (каузат.) — с-стабләш, с-ставлати (итератив и дуратив). Балтийский, в общем, разводит подобные пары на две коррелятивные лексические единицы — каузатив типа *klupdýti* ‘заставлять спотыкаться’, *bèginti* ‘заставлять бежать, цедить (молоко)’ и итератив типа *klupcíoti* ‘часто спотыкаться’, *bègióti* ‘бегать, сновать’, выдвигая на первый план признаки диатезы и подавляя (в противоположность славянскому) признаки вида. Одним из следствий было то, что класс на -ити с корневым вокализмом -о- как класс каузативов в славянском перестал быть продуктивным и, напротив, стал очень продуктивным в балтийском. (Далее сравнение по этой линии см. Степанов, 1977).

#### 4. Класс основ на -и- итеративных и каузативных

С точки зрения тенденций языковой системы этот класс выступает функциональным заместителем абраутного и перфектного классов, и черты последних воспроизводятся здесь в новом материале иными средствами. В соответствии с общим семиологическим принципом реконструкции мы должны искать более новые морфологические признаки в более далекой от центра слова зоне. Если морфологические черты названных выше классов заключаются прежде всего в строении корня, то в рассматриваемом классе продуктивные процессы были связаны с формированием ближайших к корню основообразующих аффиксов.

С перфектным классом балто-сл. основы на -и- итеративные и каузативные (точнее, класс IVa Лескина, тип *χβαλιги*) связаны прежде всего частой общностью основы с -о-, унаследованной от и.-е. Ср. греч. каузатив *φοβέω* ‘пугаю’ при *φέβομαι* ‘боюсь’, итератив *φορέω* ‘ношу’ при *φέρω* ‘несу’. Кроме того, основы этих глаголов могут совпадать с основами деноминативов. Поэтому уже на уровне основ в этом классе могут вторично возникать позиции нейтрализации переходного действия и непереходного состояния. Показательно в этой связи дополнительное распределение перфекта и производного глагола с основой на -о-: в санскрите и готском перфекты при каузативных глаголах не исконные, а аналитические (описательные); в греческом производные глаголы часто свя-

заны с такими первичными основами, которые не имеют исконного перфекта: *трéмш* — *трорéш* ‘дрожать’, *сéвш* — *сéвшéш* ‘почитать’, *фéрш* — *форéш* ‘носить’ (Десницкая, 1941, с. 157). В дополнительном распределении находятся также в греческом «активный» перфект и медиальный перфект у Гомера (Шантрен, 1967, с. 184, § 210). Нейтрализация различий имени / глагола прописывает в русской категории состояния и ее литовских аналогах. В синтагмах *Mñe жаль*, *Man gaila* позиция предиката занята формами, которые не могут быть определенно квалифицированы как глагол или как именная форма (наречие), хотя с исторической точки зрения *жаль* — это имя с основой на *-i-*, лишь вокализм которой тождествен вокализму глагольных основ в *жалкти* и *жалити*, но *gaila* может быть аллоформой 3 л. к *gaili gailéti*.

На фоне нейтрализации различий основ легко возникала нейтрализация флексий. В настоящее время можно считать в целом (если не во всех деталях) обоснованным утверждение, что парадигмы прото-б.-сл. глаголов состояния на *-i/é-*, в свою очередь восходящие к преобразованиям перфекта (см. выше), сыграли важнейшую роль в формировании флексий слав. IVa класса типа *жжалити* и лит. класса на *-au*, *-iau*, *-uti* типа *sakau*, *sakiau*, *sakyti* (Курилович, 1964, с. 84; Уоткинс, 1969, с. 222, § 217). Утверждение Е. Куриловича, на наш взгляд, тем более основательно, что флексия *-a/á-* в части глаголов выступает, по-видимому, как алломорф перфекто- и претерито-презенсов с *-i/é* (см. выше).

С абраутным тематическим классом балто-сл. основы на *-i-* итеративные и каузативные связаны тем, что каузатив является всегда переходным глаголом и, следовательно, аналогом форм типа лит. *merkti* ‘мочить’, а итератив является немаркированной по переходности / непереходности формой и, следовательно, аналогом — по этой категории — форм типа *mirkti* ‘(начать) мокнуть’, *pirkti* ‘купить’. Этот раздел составит предмет отдельной работы.

### III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. К СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ БАЛТО-СЛАВЯНСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Совмещая элементы реконструкции синтагм и парадигм, мы можем выдвинуть следующую гипотезу. В протобалто-сл. существовало два типа синтагм или простых предложений: 1) один тип состоял из сочетания одушевленного имени с глаголом соответствующей, «одушевленной» диатезы, иными словами, через все сочетание проходил «длинный» семантический компонент «одушевленность»; 2) второй тип состоял из сочетания неодушевленного имени с «неодушевленной» диатезой, т. е. «длинным» семантическим компонентом была «неодушевленность». На определенном, позднейшем этапе происходит расподобление синтагмы, утрата семантического согласования имени и глагола, «прерывание» «длинного компонента». Это преобразование происходило двумя

путями. При одном пути, славянском, семантический компонент «одушевленность / неодушевленность» сосредоточился в имени, а глагол освободился от этого компонента; в результате создалась лексико-семантическая группировка имен на одушевленные и неодушевленные, в то время как глагол утратил различие «одушевленной» и «неодушевленной» диатез. При втором пути, балтийском, семантический компонент «одушевленность / неодушевленность» сосредоточился в глаголе, в результате создалось противопоставление глаголов по категории «одушевленная, или активная» диатеза (позднее развившаяся в переходно-каузативную) — «неодушевленная» диатеза (позднее развившаяся в непереходную), различие же «одушевленности / неодушевленности» в балтийском имени было утрачено.

Славянский глагол, освобожденный от семы «одушевленности / неодушевленности», получил возможность сочетаться с различными субъектами, не изменяя своей формы, следствием чего было появление новых, «метафорических» типов синтагм (простых предложений), в которых одушевленное имя сочетается с «неодушевленным» по происхождению глаголом (типа *Дама тает*; *Я весь похолодел* и т. п.), и, напротив, неодушевленное имя сочетается с «одушевленным» по происхождению глаголом (типа *Солнце садится*; *Море смеется* и т. п.). В балтийском такую же возможность получило имя, освобожденное от семы «одушевленность / неодушевленность», вследствие чего создались аналогичные два «метафорических» типа высказываний. Отсюда следует, что высказывания с семантической структурой типа 'Нечто неодушевленное действует активно' и 'Некто одушевленный действует пассивно (замыкает действие в самом себе)' в обоих языках являются метафорически производными. Свидетельством первого служит существование более старого типа *Молнией зажгло сарай* рядом с более новым *Молния зажгла сарай*. Свидетельством второго является производный характер «активно возвратных глаголов» — позднейшая подстройка частицы -ся: *Человек поднимается, моется* и т. п., лит. Žmogus keliasi, plaunasi. В соответствии с русскими глаголами типа *подниматься* стоят по два литовских: keltis — при одушевленном субъекте, более новый, и kilti — при неодушевленном, более старый, рус. *Человек поднимается, Буря поднимается* — лит. Žmogus keliasi, Pūga kyla.

Если использовать литовские формы, сохранившие более четкие, аблautные противопоставления, то развитие можно резюмировать следующим образом. Первичные б.-сл. типы простого предложения: I тип 'Некто одушевленный активно действует на объект', основы типа lenk-; II тип 'Нечто неодушевленное пассивно действует (замыкает действие в самом себе)', основы типа link-. Вторичные типы после утраты семантического согласования между именем и глаголом: Ia тип (формально тождественный I) 'Некто одушевленный активно действует на объект', lenkti,

lenkia 'гнет нечто'; Iб тип 'Некто одушевленный пассивно действует (замыкает действие в самом себе)', lenktis, lenkiasi 'гнется'; IIа тип (формально тождественный II) 'Нечто неодушевленное пассивно действует (замыкает действие в самом себе)' linkti, linksta 'гнется'; IIб тип смешанный 'Некто одушевленный действует подобно неодушевленному' или 'Нечто неодушевленное действует подобно одушевленному', от основы типа II, linketi, linki 'Некто кланяется, выражает пожелания'; так же byrèti, birenti (при berti — berti), skyléti (при skelti — skilti) и т. п. К этому развитию можно указать греческие аналоги (см. выше при абл. классе) и частичные хеттские аналоги — связь активной диатезы глагола и «одушевленного» типа имени (Ларош, 1975).

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Барроу, 1976 — *Barrou T.* Санскрит. Перев. с англ. М., 1976.  
 Бласс—Дебруннер, 1967 — *Blass F. and Debrunner A.* A Greek grammar of the New Testament and other early Christian literature. A transl. and rev. by R. W. Funk. The Univ. of Chicago Press. 1967 (перев. с нем.).  
 Богуславский, 1962 — *Bogusławski A.* Prefiksacja a strony czasownika ćosyjskiego. — *Slavia orientalis*, rocz. XI, № 1, 1962.  
 Бондарко, 1971 — *Бондарко А. В.* Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.  
 Бородич, 1952 — *Бородич В. В.* Видовые отношения старославянского глагола. Докт. дис., т. 1—2 (машиноп.). М., 1952.  
 Бородич, 1953 — *Бородич В. В.* Видовые отношения старославянского глагола. Автореф. докт. дис. М., 1953.  
 Бэбби—Брехт, 1975 — *Babby L. H. and Brecht R. D.* The syntax of voice in Russian. — *Language*, vol. 51, № 2, 1975.  
 Буга, 1958—1962 — *Būga K.* Rinktiniai raštai, t. I. Vilnius. 1958; t. II, 1959; t. III, 1961; Rodyklės, 1962.  
 Вайан, 1962 — *Vaillant A.* Le parfait indo-européen en balto-slave. — BSL, t. 57, fasc. 1, 1962.  
 Ван-Вейк, 1933 — *Van Wijk N.* Le problème des prétrérito-présents slaves et baltiques. — *Studi baltici*, vol. 3, 1933.  
 Ван-Вейк, 1957 — *Ван-Вейк Н.* История старославянского языка. Перев. с нем. М., 1957 (нем. изд. 1931).  
 Вежбицка, 1969 — *Wierzbicka A.* Dociekania semantyczne. Wrocław, 1969.  
 Венцкуте, 1971 — *Венцкуте Р. И.* Литовский аблaut. (Современное состояние и индоевропейская модель). Автореф. канд. дис. М., 1971.  
 Верккайль, 1972 — *Verkuyl H. J.* On the compositional nature of the aspects, D. Reidel. Dordrecht, 1972.  
 Десницкая, 1941 — *Десницкая А. В.* Каузативные глаголы — Уч. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук, 1941, № 58, вып. 5.  
 Зени, 1935—1936 — *Senn A.* Zu den litauischen Zahlwörtern für 11—19. — *Studi baltici*, vol. 5, 1935—1936.  
 Кёлльн, 1969 — *Kølln H.* Oppositions of voice in Greek, Slavic and Baltic. — Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofiske Meddelelser. 43.4. København, 1969.  
 Кузнецов, 1961 — *Кузнецов П. С.* Очерки по морфологии праславянского языка. М., 1961.  
 Курилович, 1964 — *Kuryłowicz J.* The inflectional categories of Indo-European. C. Winter. Heidelberg, 1964.  
 Ларош, 1975 — *Laroche E.* Noms d'action en indo-européen d'Anatolie. — *Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste*. Paris, 1975.  
 Линдемани, 1971 — *Lindemann F. O.* Bemerkungen zu den Aorist *εβλεψεν/εβλασεν*. — IF, Bd. 76, 1971.

- Лойманн, 1955 — *Leumann M.* Baltisch und Slavisch. — Corolla linguistica. Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955.
- Мандиларас, 1973 — *Mandilaras B. G.* The verb in the Greek non-literary papyri. Athens, 1973.
- Мейе, 1931 — *Meillet A.* Caractère secondaire du type thématique indo-européen. — BSL, t. 32, 1931.
- Мейе, 1951 — *Meiße A.* Общеславянский язык. Перев. с франц. М., 1951.
- Мейе—Вандриес, 1966 — *Meillet A. et Vendryes J.* Traité de grammaire comparée des langues classiques. 4-me éd., nouveau tirage revu. Paris, 1966.
- Поржезинский, 1916 — *Поржезинский В. К.* Сравнительная грамматика славянских языков. Вып. I. Введение. Общеславянский язык в свете данных сравнительно-исторической грамматики и.е. языков. М., 1916.
- Рену, 1925 — *Renou A.* Le type védique *tudáti*. — In: *Mélanges J. Vendryes* Paris, 1925.
- Рену, 1932 — *Renou A.* A propos du subjonctif védique. — BSL, t. 33, 1932.
- Скардюс, 1943 — *Skardžius P.* Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943.
- Станг, 1943 — *Stang Chr. S.* Das slavische und baltische Verbum. — Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akadem i Oslo. 1942. II. Historisk-filosofisk Klasse. Oslo, 1943.
- Станг, 1961 — *Stang Chr. S.* Zum baltisch-slavischen Verbum. — IJSLP, IV, 1961.
- Станг, 1962 — *Stang Chr. S.* Die athematischen Verba im Baltischen. — Scando-Slavica, t. 8, 1962.
- Станг, 1966 — *Stang Chr. S.* Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo—Bergen—Tromsö, 1966.
- Степанов, 1972 — *Степанов Ю. С.* Ударение и метатония в литовском глаголе. — *Baltistica*. I Priedas. (Vilnius), 1972.
- Степанов, 1975 — *Степанов Ю. С.* Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.
- Степанов, 1976а — *Степанов Ю. С.* Семиологический принцип описания языка. (Общая характеристика). — В кн.: Принципы описания языков мира. Под ред. В. Н. Ярцевой и Б. А. Серебренникова. М., 1976.
- Степанов, 1976б — *Степанов Ю. С.* Вид, залог, переходность. (Балто-славянская проблема. I). — Изв. АН СССР. Сер. литер. и языка, 1976, т. 35, вып. 5.
- Степанов, 1977 — *Степанов Ю. С.* Вид, залог, переходность. (Балто-славянская проблема. II). — Изв. АН СССР. Сер. литер. и языка, 1977, т. 36, вып. 2.
- Ульянов, 1891, 1895 — *Ульянов Г. К.* Значения глагольных основ в литовско-славянском языке. I ч. Основы, обозначающие различия по залогам. II ч. Основы, обозначающие различия по видам. Варшава, 1891, 1895.
- Уоткинс, 1969 — *Watkins C.* Geschichte der indogermanischen Verbalflexion.— Indogermanische Grammatik. Hrsg. von J. Kuryłowicz. Bd III, Formenlehre. I. Teil. C. Winter. Heidelberg, 1969.
- Фортунатов, 1897 — *Фортунатов Ф. Ф.* Критический разбор сочинения Г. К. Ульянова «Значения глагольных основ в лит.-сл. яз.». — Сб. ОРЯС ИАН, 1897, т. 64, № 11.
- Фриск, 1970—1973 — *Frisk H.* Griechisches Etymologisches Wörterbuch. C. Winter. Heidelberg, Bd I, 1973; Bd II, 1970; Bd III, 1972.
- Шантрен, 1927 — *Chantraine P.* Le rôle de l'élargissement ē/ō dans la conjugaison grecque. — BSL, 1927, t. 28, fasc. 1.
- Шантрен, 1967 — *Chantraine P.* Morphologie historique du grec. 2-me éd. Klincksieck. Paris, 1967 (1945<sup>1</sup>).
- Швицер, 1966—1968 — *Schwyzer E.* Griechische Grammatik. 4. Aufl. C. Beck. München. Bd I, 1968; Bd II, 1966; Bd III. Register, 1968.
- Шмальстиг, 1974 — *Schmalstieg W. R.* An Old Prussian Grammar: the phonology and morphology of the Three Catechisms. The Pennsylv. State Univ. Press. Univ. Park and London, 1974.

К РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
(лингво-этнографический аспект)

**Вводные замечания.** Разыскания по славянской этимологии последних десятилетий, ставящие своей целью реконструкцию праславянского лексического фонда, либо его части, либо просто отдельных слов, демонстрируют постоянное совершенствование методики исследования и усложнение его задач. Разработанности техники историко-фонетического анализа, который остается первостепенным и первоначальным при этимологизировании, но не дающим всегда однозначного ответа, до недавнего времени не соответствовали приемы анализа словаобразовательного и историко-морфонологического, который приобрел особую роль, когда слависты от реконструкции отдельных корней перешли к реконструкции отдельных слов. Еще менее устоявшимися, кодифицированными и «надежными» представляются многим лингвистам правила семантического анализа, который в наше время все чаще выступает как фактор, решающий и определяющий ход научных рассуждений в целом. Однако авторитет историко-семантических штудий в этимологии повышается с каждым годом, и это случается помимо прочего потому, что от прежнего возведения отдельных слов к ряду корней и от их классификации по этому принципу слависты переходят к иному виду исследования — к установлению истории отдельных слов, истории от праславянского периода до наших дней. Если раньше под исторической лексикологией понималось почти исключительно изучение судьбы слов, зафиксированных в памятниках письменности, то теперь важным источником истории слова оказалась его география. Лингво-географический аспект стал необходимым и при многих операциях по реконструкции (слов, фразеологизмов и т. п.). Вкупе с анализом методом семантических полей он дает хорошие результаты при групповой реконструкции, т. е. при восстановлении отдельных лексических пластов.

Важность обращения к экстралингвистическим фактам при изучении и реконструкции семантики слова не требует доказательств. Их первостепенное во многих случаях значение хорошо показала еще школа *Wörter und Sachen*. Однако в старые и испробованные на прочность меха этой школы слависты могут влить новое вино, сочетая прежний подход со структурно-системным пониманием лексической семантики. Именно достаточно строгий и разработанный семантический анализ скрывает в себе весьма

значительные, еще не использованные возможности, именно он определяет во многих случаях выбор этимона, и с его помощью устанавливается праславянская омонимичность / неомонимичность слов, предметная соотнесенность, мотивированность смысловых связей и т. п. Наконец, роль семантического подхода в реконструкции возрастает при обращении к фразеологизмам, вербальным клише, к обрядам и обрядовым текстам и иным подобным компонентам древней славянской духовной культуры. В этих случаях историко-фонетический, морфонологический и словообразовательный анализы или отступают на второй план, или вовсе элиминируются, а семантический анализ значительно усложняется, так как усложняется и семантическая структура исследуемого объекта.

Культурно-исторический контекст, в котором реально функционирует или функционировало слово, становится дополнительным источником, а в ряде случаев и решающим критерием реконструкции исходного значения слова и направления его семантической эволюции. Перспективность такого подхода в этимологии, в особенности для архаического пласта «мифологической» лексики, после ряда недавних работ<sup>1</sup> не нуждается в доказательстве. В целом, наблюдается своего рода ступенчатое развитие историко-этимологических штудий: рассмотрение отдельного корня, затем отдельного слова, позже групповая реконструкция и, наконец, групповая реконструкция, сопровождаемая реконструкцией невербальной системы, отражением или частью которой являются исследуемые слова. При этом каждый последующий этап анализа не отрицал и не отрицает предыдущего, а является его естественным продолжением. Будучи обременено дополнительными надъязыковыми символическими функциями, связями и оппозициями, слово в мифологическом контексте сохраняет и выявляет, как правило, наиболее архаические стороны своей семантики в отличие, например, от слова в поэтической речи, где вторичные (поэтические) его функции как бы надстраиваются над его основной (языковой) семантикой и лишь изредка могут ассоциироваться с древнейшим значением.

Касаясь проблемы реконструкции, следует подчеркнуть, что под реконструкцией мы понимаем не только восстановление исходной праформы или прасостояния, но и любое приближение к ним. Возможности и глубина реконструкции при этом, естественно, зависят от степени исследованности и полноты материала и по мере изучения меняются. Постоянным остается лишь требование учитывать перспективу (или, вернее, ретроспективу) реконструкции, соизмеряя с ней каждый возможный на данном этапе исследования шаг и определяя в соответствии с этим степень реконструированности и степень реконструируемости.

<sup>1</sup> Примером таких работ может служить статья В. Н. Топорова «Пóθων, Áhi Budhnyà, bádñák и др.» (в кн.: Этимология. 1974. М., 1976, с. 3—15).

Подобно тому как при реконструкции языковых фактов «необходимо отдать полное предпочтение материалу диалектному перед материалом литературным»<sup>2</sup>, хотя, естественно, последний не может быть совершенно сброшен со счетов, при реконструкции элементов славянской народной духовной культуры ритуального плана дело обстоит аналогичным образом. Тем более, что эта культура всегда бытowała как диалектная, прежде всего территориально-диалектная (и тем самым только как социально-диалектная, т. е. крестьянская, земледельческая), со всеми вытекающими из этого последствиями диалектной дробности, разнородности элементов и микросистем, их изоглоссной (изодоксной) распределенности и т. п.

**Соотношение народной и «книжной» культуры.** Старинной народной («традиционной») славянской культуре с ее особой системой представлений и ритуальных действий противостояло в течение почти всего последнего тысячелетия христианство в двух его основных разновидностях — православия и католицизма<sup>3</sup>. Оно и занимало позиции, аналогичные позиции литературного языка по отношению к диалектам в литературно-языковой структуре отдельных славянских народов. «Литературная» или книжная (христианская) культура была наднациональна, в каком-то отношении и надэтническая, как был наднационален и надэтнический церковнославянский (древнеславянский) язык для значительной части южных и для всех восточных славян, а для раннего периода христианизации (кирилло-мефодиевская пора) — и для славян западных. Многие ученые еще в XIX в. и в начале XX в. определяли такую «дуалистичность» духовной культуры, напоминающую литературно-диалектную дихотомию, как «двоеверие», считая его более характерным для народных представлений, чем для представлений высших социальных (книжнообразованных) слоев.

Не углубляясь сейчас в историю этого вопроса и воздерживаясь от изложения видов и форм подобного «двоеверия» в понимании ряда исследователей, отметим лишь, что, по нашему представлению, применительно к ситуации в средневековых славянских землях и прежде всего на Руси (ситуации, сохранившейся отчасти и в более поздний период) следует говорить, рассматривая положение вещей в генетическом ракурсе, не о двоеверии, а скорее о троеверии. Средневековая и «традиционная» духовная культура у славян состояла из трех генетически различных компонентов: 1) христианства, связанного с церковной догматикой, привнесенного из греческой Византии или латинского Рима, 2) язычества, унаследованного от праславянского периода, исконного для его носителей, и 3) «антихристианства» (либо ахристиан-

<sup>2</sup> Толстой Н. И. О реконструкции праславянской фразеологии. — В кн.: Славянское языкознание. VII. Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973.

<sup>3</sup> Влияние ислама в общеславянском масштабе было не столь значительным и сравнительно поздним. То же можно сказать и о протестантизме.

ства), чаще всего опять-таки язычества, но неславянского происхождения, проникшего в славянскую народную среду вместе с христианством или иным (субстратным, интерферентным) путем. Правда, третий компонент выявляется в наше время и проявлялся и бытовал в прошлом не столь рельефно, ярко и устойчиво, как первые два компонента. Почти во всех случаях этот третий компонент сливался с народнославянским языческим компонентом и противостоял или, вернее, коррелировал с «литературным», «книжным» ортодоксально-христианским (с ритуалом и идеологией мира *Slavia Orthodoxa* или мира *Slavia Latina*). Это был языческий антицерковный, или внецерковный, компонент, проникший на Русь и к другим, в первую очередь южным, славянам вместе с христианством как некий его культурный антипод, как выражение светского, а иногда даже «бесовского» начала, регламентированного, однако, в значительной мере христианско-догматическими представлениями, в частности в отношении времени и места своего проявления. Этот третий компонент народной духовной культуры мог быть разного происхождения, но прежде всего византийского<sup>4</sup>, а также фракийского (или фрако-иллийского) и т. п.

Проблема третьего элемента требует специального рассмотрения, и сейчас она может быть скорее декларирована, чем поставлена, но все же ее нельзя обойти при рассуждениях о структуре «современной» (XIX и XX вв.) славянской традиционной культуры, которая служит основным и богатейшим источником фактов, необходимых для реконструкции праславянского духовного «существования». В принципе к третьему элементу можно отнести многие черты скоморошества, некоторые особенности зимней колядной обрядности и карнавального цикла и даже юродства, которое своеобразно преломилось на Руси, ставши поддиалектом «лите-

<sup>4</sup> Со времени официального признания христианства в Византии (325 г.) до времени его официального принятия на Руси (988 г.) прошло шесть с половиной веков (почти такое же либо несколько меньшее или большее временно расстояние можно вычислить и для других славян), разделение церквей (1054 г.) произошло вскоре после крещения Руси. В Византии на Востоке, так же как и на Западе за шесть (пять) веков, прошедших до христианизации славян, выработалось свое «двоеверие» с христианством и антихристианством или ахристианством (т. е. мирским, противопоставленным христианству мировосприятием, но уживавшимся с ним в бытовом; а иногда и в идеологическом плане). Восприятие на Руси и у других славян византийской (или западноевропейской) культуры не было односторонним, исключительно церковным, ибо вместе с христианством усваивались и светские (в том числе и «антихристяnsкие» элементы). Правда, были и периоды, когда в культурных контактах в результате обоюдного стремления полностью превалировало церковное влияние. На Руси и у других славян такое импортное «антихристианство» соприкасалось и сливалось со своим национальным «антихристианством», со своим язычеством и вместе с ним противостояло христианству. Таково в самых общих и потому грубо обобщенных чертах происхождение «троеверия», которое потом подкреплялось другими «книжными» и ахристианскими веяниями и наслоениями.

ратурного», ортодоксального слоя культуры. Многие черты и моменты импортированного вместе с христианством язычества вошли в систему славянского язычества, образовав с ним единую, но локально варьирующую структуру. Этому способствовал и тот факт, что господствующие «книжные», церковные ритуально-философские догмы часто представляли славянское и неславянское язычество как несовместимое с христианством (во многом как христианство со знаком «минус»), отказывая ему при этом в универсальности и предоставляемая в удел сферу инфернальную, «бесовскую» и частично светскую<sup>5</sup>. Третий компонент во многом слился со вторым, что позволило, как отмечалось выше, ряду ученых выдвинуть тезис о русском (и славянском) народном христианско-языческом «двоеверии». Такое двоеверие можно наблюдать, если анализировать элементы культуры в «сильных позициях», т. е. в позиции противопоставления двух начал (христианского и языческого). В позициях женейтрализации язычество и христианство могли смыкаться, не расслаиваться в диалектических условиях, что и вело к хорошо известным в науке фактам замещения образов Перуна, Велеса, Мокоши и др. образами, а во многих случаях и просто именами пророка Ильи, св. Власия (или св. Николы), св. Параскевы-Пятницы, св. Георгия и др. (см. работы А. И. Соболевского, Б. М. Ляпунова, Е. В. Аничкова, А. И. Кирпичникова, В. Н. Топорова, В. В. Иванова, Б. А. Успенского и др.). Эти моменты «нейтрализации» более других затрудняют процесс реконструкции, хотя иногда и позволяют в фольклоризованном облике святых видеть дохристианские черты. Следует еще раз подчеркнуть, что «двоеверие» (или даже «троеческое») выявляется лишь при диахроническом подходе к «традиционной» или архаической народной духовной культуре либо при подходе ортодоксально-теологическом при ответе на вопрос, из каких генетически разнородных пластов состоит или состояла славянская народная духовная культура. При синхронно-структуральном рассмотрении этого явления можно говорить о целостности религиозно-мифологических народных представлений, о диалектном, народном единоверии, которое было характерно для славян и которое было именно таким потому, что составляющие его диахронически «разнородные» элементы находились в народных верованиях в дополнительном распределении и образовывали единую, хотя и подвижную и в некоторых случаях и несколько противоречивую систему.

Отдельные слои и фрагменты славянской народной культуры по-разному насыщены элементами христианства (первый компонент), неславянского язычества или «ахристианства» (третий компонент) и славянского язычества (второй компонент). Такое

<sup>5</sup> См: Толстой Н. И. Из заметок по славянской демонологии. 1. Откуда дьяволы разные.— В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, I (5). Тарту, 1974, с. 27—32.

положение можно наблюдать и в обрядах и обрядовых действиях. Естественно, что анализ, связанный с задачами реконструкции древнейших форм, следует начинать с таких обрядов, в которых второй компонент абсолютно преобладает. К ним можно отнести некоторые календарные аграрные обряды (купальский, жатвенный, и т. п.) и некалендарные аграрные обряды (вызывание дождя и т. п.).

**Основные источники и способы реконструкции.** Изложенные выше общие положения можно считать лишь косвенно относящимися к проблемам реконструкции, так как они касаются прежде всего историко-генетической характеристики современных славянских этнических зон (макродиалектов), притом характеристики, данной в самой общей форме. Однако оценка отдельных зон славянской духовной культуры именно по такому принципу, так же как и предварительная структурно-типологическая классификация элементов культуры, является необходимой предпосылкой для дальнейших более глубоких историко-генетических исследований и опытов реконструкции. В наше время, к сожалению, не только не оценен и не классифицирован в необходимом порядке собранный материал, но и очень вяло ведется работа по сбору нового материала, как будто такой сбор уже не может дать существенных результатов. Итоги работы Полесской экспедиции последних лет (1974—1977 гг.) тем не менее свидетельствуют об обратном — о том, что в некоторых областях духовной культуры новый материал может во много раз перекрыть имеющийся, уже известный, и тем самым в значительной мере детализировать и даже изменить существовавшие доселе представления о духовном мире славян. Таким образом, перед современными славистами встает проблема «славянских древностей» во всем ее объеме — от сбора материала (включая составление программ и его первичную классификацию) до его окончательной обработки (в виде описаний, словарей, этнолингвистических карт или атласов и т. п.), сопоставления с имеющимся материалом, постановки и решения задач этногенетического порядка.

Древние письменные источники чрезвычайно бедны свидетельствами о славянском язычестве. Эти свидетельства очень разрознены, отрывочны, часто искажены и могут быть все изложены в нескольких томах академического формата и объема. И это ничтожно по сравнению с корпусом славянских языковых памятников. Если даже при построении истории языка А. А. Шахматов и другие ученые выдвигали на первый план диалектные свидетельства, а на второй — свидетельства памятников, то при изучении истории славянской духовной культуры дело не может обстоять иным образом. Для истории этой культуры диалектный материал оказывается важнейшим и в абсолютном большинстве случаев единственным источником. Его неоднородность — яркое отражение процессов исторического развития славянских языческих обрядов и обычая. На основе диалектных показаний (с учетом

и скучных исторических свидетельств) строится система народного мироощущения предшествующих эпох. Если для праславянского языка восстанавливается дописьменный период (до IX в.), то для славянской духовной культуры нередко в определенных ареалах приходится восстанавливать факты (структуре) более поздних эпох. Между неравномерностью развития языка, ведущей к сохранению в разных языковых и диалектных зонах разных архаизмов, и неравномерностью развития (или разрушения) обряда можно провести полную аналогию. Именно этот момент требует от нас пристального внимания к диалектному материалу и к его географической интерпретации. Диалектное разнообразие рефлексов праславянских форм позволяет полнее восстанавливать процессы и промежуточные звенья развития фонетических и иных систем конкретных языков и диалектов<sup>6</sup>. Иными словами, чем больше рефлексов или разнообразных вариантов формы или смысловой (символической) единицы, тем полнее, тем менее схематична реконструкция того или иного явления или его фрагмента (обряда, ритуала, акта). Отсюда следует, что успешная реконструкция славянской мифологии невозможна без диалектологии славянской мифологии.

Традиционная народная славянская духовная культура, славянская мифология проявляется и проявлялась в прошлом в различных формах, жанрах и видах словесного, обрядового, изобразительного, музыкального и т. п. образа, действия и — шире — восприятия, мышления, искусства. Различные формы могли выступать (проявляться) и в отдельных текстах, ритуалах и актах синкетично, «подкрепляя», подчеркивая либо дополняя или заменяя друг друга.

Для иллюстрации некоторых общих положений, связанных с отдельными вопросами реконструкции древней славянской духовной культуры, нами избирается обрядовый материал. В данном случае выбор падает не на семейный или календарный обряд, а на окказиональный обряд вызывания дождя с относительно простой структурой и кратким текстом (под «текстом» понимается в данном случае не верbalная сторона обряда, а вся последовательность словесно-предметных действий). Необходимость выработки методики анализа сначала на простых, а затем уже на осложненных структурах и текстах не требует специальной аргументации.

Обращаясь к проблеме реконструкции того или иного славянского обряда, отметим еще раз, что эта проблема должна относиться не только к праславянскому периоду, т. е. ко времени до VI—IX вв. н. э., но для ряда славянских зон (в первую очередь

<sup>6</sup> Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии. — В кн.: Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Прага, август 1968 г. Доклады советской делегации. М., 1968, с. 342.

западнославянских) и к более позднему периоду. Реконструкцию, видимо, следует проводить поэтапно, исходя из этого положения, что синхронно-типологическая классификация «современных» (XIX—XX вв.) вариантов обряда и этно- и лингво-географический анализ этих вариантов являются необходимой предпосылкой или первым этапом реконструкции. Следующим необходимым для реконструкции моментом является определение глубинной мифологической семантики обряда и его символической структуры. На основе инвентаря символов можно установить парадигматику морфологических элементов обряда, а затем обратиться к более сложному и существенному для обрядовой структуры и сущности (так как действие в обряде — сторона преобладающая) моменту — синтагматическому. Архаичность парадигматических (морфологических) и синтагматических (синтаксических) обрядовых моментов может быть выявлена как на основе самой структуры обряда и близких к нему обрядов в одном говоре или в узко ограниченной этноязыковой зоне (внутренняя реконструкция), так и на основе сопоставления обряда в разных этноязыковых зонах, связанных с разными славянскими языками и диалектами (внешняя реконструкция). Не менее существенна внешняя реконструкция более широкого плана, основанная на индоевропейском материале, иногда с привлечением материала неиндоевропейских, но соседствующих лингво-этнических зон (угро-финской, кавказской и т. п.), которая строится с учетом тех же факторов, что и факторы, определяющие праязыковое состояние.

В этом вопросе, видимо, также следует придерживаться принципа последовательности привлечения и анализа материала, идя от анализа отдельных славянских диалектных и языковых зон (ареалов) к общеславянскому масштабу, а затем к масштабам более крупным.

Принципиально важно проведение двух видов сравнительного анализа — в пределах одной славянской макрозоны (Полесье, Карпаты, русский Север, Сербия и т. п.) и в общеславянском масштабе. При этом во всех случаях определения генетического родства особенно существенны показатели параллелизма ряда («щучка») деталей обряда, так как некоторые отдельно взятые кардинальные моменты обряда могут указывать не только на генетическое родство, но и на схождения типологического порядка или на определенные универсалии и т. п.

Для характеристики ряда локальных, диалектных славянских зон важен учет интерференции с духовной культурой соответствующих неславянских этносов (финского, балканских и др.). Проблема влияния и заимствований может решаться в том же смысле, как она решается и для лингвистических фактов. При этом те заимствования (например, иранские или германские), которые происходили в праславянскую эпоху (не самого позднего периода) и свойственны большинству славянских этнических зон, следует признать полноправным компонентом праславянского фонда.

**Виды обрядовой символики и их соотношение.** Любой обряд можно рассматривать как текст с определенной синтагматической последовательностью и комбинацией символов. Этот текст достаточно устойчив, и именно эта устойчивость, которая объясняется рядом причин и прежде всего сакральностью обряда, позволяет находить в нем формальные и структурные элементы далекого прошлого. Устойчивость обряда не означает его неизменяемости, и, как уже отмечалось выше, локальные варианты обряда и разные его виды — ценнейший источник для реконструкции его древнего облика и семантики.

Символ подобно любому знаку имеет две стороны — означающее (значение) и означающее (форма). Означающее в обряде может быть в разных формах, притом несколько форм, имеющих одно значение, одно означаемое, могут выступать в обряде одновременно. Наиболее распространенные формы (виды) символов в обряде следующие:

- а) вербальные (словесные);
- б) реальные (предметные, вещественные);
- в) акциональные (действенные).

Ни один из этих видов не существует самостоятельно в обряде, притом самым распространенным видом является вид *в*, потом вид *б* и затем только вид *а*. Тем не менее мы ставим вид *а* на первое место не только потому, что нам, как лингвистам, этот вид ближе и интереснее всего, а потому, что он, сопровождая другие виды, объясняет их и одновременно выделяет узловые и кульминационные моменты обряда. Упомянутые три вида можно считать тремя основными обрядовыми кодами, которые в отдельные моменты обряда либо употребляются одновременно, либо в определенных случаях замещают друг друга.

Примером параллельного кодирования одного и того же смысла с помощью словесных, предметных и акциональных символов может служить широко известный у славян мотив пожелания здоровья и плодородия. Предметным символом плодородия при этом служит ветка вербы (ср. распространенность этого символа в рисунках на пасхальных яйцах), акциональным — ритуальное битье этой веткой человека (или животного), словесным — произносимый при этом текст, описывающий действие, например (состав. запись из с. Дубровица Хойницкого р-на Гомельской обл.):

Верба бье, не я бью.  
За тыждень Великденъ.  
Будь багаты, як земля,  
И здоровы, як вода.

Нередки случаи, когда локальные варианты одного и того же обряда различаются именно выбором разных кодов для выражения одних и тех же заданных смыслов. Наряду с перекодировкой, при которой семантика сохраняется, реальные и акциональные

символы, как и слова, подвержены процессам десемантизации, т. е. потери семантики, транссемантизации, т. е. изменения семантики, и семантизации, т. е. появления семантики у предметов и действий, ранее не бывших символами.

В принципе десемантизация вербального символа (заклинания, восклицания и т. п.) случается редко, так как такой символ чаще всего оказывается синтагмой или законченным смысловым высказыванием<sup>7</sup>, в то время как десемантизация акционального символа или реального (предметного) символа наблюдается очень часто. Этот момент, однако, не должен вести к преувеличению роли вербальной стороны обряда по сравнению с другими его сторонами, как это делается иногда в отношении терминологии обряда, названия обряда, терминологии мифических персонажей и т. п.<sup>8</sup>

Относительно свободная перекодировка символов и одновременное употребление одного и того же символа, выраженного разными кодами, наконец, частая его повторяемость в одном и том же обряде, что можно назвать эмфатическим повтором или нанизыванием форм ритуального символа в целях большей его действенности, силы и большей сакральности всего обряда, ведет в то же время к известной неустойчивости отдельных форм символа, к частому выпадению его из «синонимического» (в широком смысле этого слова) ряда. Все это в конечном итоге определяет и возможности одновременного существования нескольких различных форм одного обряда в одной и той же диалектно-этнографической системе, в одном говоре (населенном пункте). Эти различия строятся на разных комбинациях и видах символов вербального, реального и акционального свойства.

В обрядовых символах, как и в случаях с фразеологическими единицами, о которых речь шла в нашем докладе на Варшавском конгрессе, важна в первую очередь не реконструкция их внешней формы, а реконструкция древней (праславянской и более поздней) смысловой стороны, смысловой «доминанты», смысловой обобщенной единицы (понятия-идеи), которой должен соответствовать символ, имеющий и свою формальную (внешнюю), и свою содержательную (внутреннюю) сторону. С одной и той же смысловой единицей может быть соотнесено несколько символов и в одной этнокультурной микросистеме (говоре), не говоря уже о диалектном континууме, т. е. о множестве систем.

<sup>7</sup> Устойчивость семантики поддерживается сохранением значения слова (слов) и в несимволическом языке, в конкретном языке диалекта.

<sup>8</sup> Примеров, когда названию обряда отводилась почти решающая роль при постановке вопроса о его происхождении (займствовании, путях проникновения и т. п.), можно привести немало, хотя, на наш взгляд, определяющим моментом должна быть сама структура и элементы обряда. См., например, доводы П. Г. Богатырева в его исследовании «„Полазник“ у южных славян, мадьяров, словаков, поляков и украинцев. Опыт сравнительного изучения славянских обрядов» (in: Lud Słowiński, t. III, z. 2. Kraków, 1934, с. 271—272).

Смысловые доминанты, или понятия-идеи, в каждом конкретном обряде — семейном, календарном, окказиональном и т. п. в общем немногочисленны, и им подчинены, с ними связаны отдельные понятия-идеи, смысловые единицы недоминантного плана, которые также присутствуют в обряде и также выражены символами разного характера. Число недоминантных единиц по отношению к доминантным в каждом варианте обряда также варьируется, наконец, в разных по своей функциональной направленности обрядах доминантные единицы могут оказаться в недоминантной позиции и, наоборот, отдельные недоминанты стать доминантами. Это свидетельствует о различной иерархии обобщенных смысловых единиц в разных обрядах, что напоминает разные иерархические отношения между семами (основной и сопутствующими) внутри одной семемы и в разных семемах, о чем речь шла в упомянутом пражском докладе. Правда, иерархия сем наблюдается внутри одной замкнутой и лишь парадигматически противопоставляемой единицы — внутри семемы, внутри значения слова, которое воспринимается как пучок семантических признаков, как разложимое целое, здесь же в обряде иерархия устанавливается в пределах отрезка текста, отрезка действия, при синтагматической противопоставленности или связанности крупных смысловых единиц.

Конкретный пример. Обряд вызывания дождя известен у всех славян — южных, восточных и западных. До недавнего времени лучше всего были описаны обрядовые действия вызывания дождя у южных славян. Это — известные додолы, пропоруши, герман и т. п., а также и некоторые акты иного порядка, частично приводимые нами в статье о полесских обрядах вызывания дождя<sup>9</sup>. Восточнославянские обряды того же предназначения рассмотрены в работе Д. К. Зеленина и некоторых других исследователей<sup>10</sup> и фрагментарно изложены нами в упомянутой статье. Общее обозрение славянских обрядов приводит к выводу, что в них первый элемент культуры, элемент христианский представлен мало, к тому же при диахроническом анализе он легко отслаивается<sup>11</sup>. Помимо молебна возможно хождение с иконами,

<sup>9</sup> Толстые Н. И. и С. М. Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье. — В кн.: Славянский и балканский фольклор. М., 1978.

<sup>10</sup> Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Пг., 1916; Максимов А. Н. Пахание реки. — Тр. Этнографо-археологич. музея 1-го МГУ, (III). М., 1927, с. 15—20; Дмитрук Н. Голод на Ураїні р. 1921. — В кн.: Етнографічний Вісник, кн. 4. Київ, 1927.

<sup>11</sup> Culinović-Konstantinović V. Dodole i prgoruše. Narodni običaji za prizivanje kiše. — В кн.: Narodna umjetnost, knj. II. Zagreb, 1963; Zečević S. Elementi naše mitologije u narodnim obredima za igru. Zenica, 1973; Зечевић С. Герман. — В кн.: Гласник етнографског музеја у Београду, књ. 39—40. Београд, 1976, с. 249—263; Стоилов А. П. Молба за дъжд. — СБНУ, XVIII. София, 1901; Арнаудов М. Студии върху български обреди и легенди, т. 1. София, 1971; Генчев С. Обичаи и обреди за дъжд. — В кн.: Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. София, 1974; Он же. Обичаите Герман в Добруджа. — Векове, 2/73. София, 1975; и др.

освящение воды, кропление святой водой, обход села, церкви и колодца. Все эти обрядовые действия не являются специфическими, т. е. присущими только обряду вызывания дождя (плювиальному обряду), и могут исполняться в других обрядах. Несколько сложнее обстоит дело с выделением третьего элемента, элемента языческо-неславянского. Применительно к рассматриваемым плювиальным обрядам можно было бы считать цикл додольских ритуалов ритуалами такого порядка. В пользу подобного решения вопроса и высказывались некоторые ученые, ссылаясь на балканскую локализацию обряда, т. е. известность его не только у сербов, части хорватов, болгар и македонцев, но и у новогреков, румын и части албанцев. Однако наличие подобного обряда, именуемого «кустом», в Полесье на Пинщине<sup>12</sup> с довольно четкой и ограниченной локализацией и с временной приуроченностью к Троице (что соответствует другим восточнославянским обрядам вызывания дождя, в частности обряду «плакать на цветы»), с рядом характерных деталей (ряженье в листву, обливание водой, пение песен, одаривание исполнительниц) не позволяет его считать чисто балканским и склоняет к выводу о праславянском его происхождении. Тем не менее и в этом случае возможны разные решения. Можно допустить славянское влияние на румын, новогреков и албанцев, но вернее предположить индоевропейские корни для всего обряда в целом и ситуацию обновления и укрепления элементов древнего обряда при вновь возникших относительно поздних контактах после великой миграции славян на Юг, на Балканы. Ограниченностю Пинского ареала и архаичность зафиксированных в нем «кустовых» обрядовых действий побуждает видеть в додольско-«кустовом» ритуале исконно славянское, а не заимствованное явление. Во всяком случае если заимствование и произошло, то оно не могло относиться к поздней праславянской эпохе. В додольском обряде наблюдается еще один ритуальный акт, который в принципе можно считать универсальным и характерным для почти всех крупных мировых зон, — акт обливания водой<sup>13</sup>. У южных и восточных славян он может быть исполнен и без других моментов додольского обряда, т. е. как самостоятельный одноактовый, изредка осложненный дополнительными признаками обряд<sup>14</sup>. Таким образом, уже при исследовании додольско-«кустовых» действий возникает необходимость считаться с несколькими моментами: генетического родства, типологического схождения, заимствования.

Остальные многообразные обрядовые действия и обряды, вероятно, можно отнести ко второму элементу — языческо-славянскому.

<sup>12</sup> Ковалева Р. М. Белорусские кустовые песни. Автореф. канд. дис. Минск, 1976; Беларускі фальклор у сучасных записах. Мінск, 1973, с. 58—60.

<sup>13</sup> Фразер Дж. Дж. Золотая ветвь, вып. 1. М.—Л., 1931, с. 79—83.

<sup>14</sup> Zečević S. Elementi naše mitologije..., с. 137.

Полесские обряды вызывания дождя<sup>15</sup> состоят либо из комбинации отдельных ритуалов, иногда различных по направленности (проводативных, охранительных, жертвенных, заклинательных), либо, что реже, из одного из таких ритуалов.

В Полесье известны:

1. Ритуальные обходы села, полей, церкви, источников, колодцев, совершаемые обычно во главе со священником и включающие молебствие о дожде, кропление полей и колодцев освященной водой и т. п. В отдельных селах известен обычай тайных обходов села, совершаемых вдовами.

2. Обыденные, т. е. совершаемые в один день от восхода до захода солнца, действия — тканье специальных рушников и вышивание их на деревянных крестах, установленных на развилках дорог или у колодцев, а также изготовление и установка таких крестов.

3. Ритуальные действия у колодца и источника: помимо обхода колодца и моления у колодца о дожде известны огораживание его, вкалывание деревянного креста или закапывание в землю креста, испеченного из теста; выливание, вычерпывание воды из колодца, обливание колодезной водой; колочение, битье или размешивание воды палками; бросание в воду освященных семян масла или других растений, хлеба, соли, горшков и других предметов; голосование по утопленнику у колодца; раскапывание заброшенных и засыпанных источников.

4. Действия над могилами «нечистых» (злых) покойников: разрушение могилы, бросание трупа в воду (в реку и т. п.) или поливание могилы, бросание креста в воду и т. п.

5. Запреты, приуроченные к дню Благовещения: до этого дня во избежание засухи не разрешается копать, рыть землю, ставить заборы и постройки, вывешивать белье для сушки на улицу; в день Благовещения нельзя печь и жарить.

6. Поливание и обливание водой и погружение в воду людей (беременной женщины, священника, пастуха) и различных предметов, литье воды через сито.

7. Пахание высохшего русла реки, пахание дороги, выкапывание ямок на дороге.

8. Иные действия: разрушение муравейника, убиение ужей и вешание их на ветку дерева; убиение и похороны лягушки<sup>16</sup>.

**«Глубинная семантика» обряда.** На первый взгляд этот перечень выглядит разнородным набором достаточно автономных и слабо связанных между собой элементов, которые к тому же представлены в реальных локальных системах в разных комбинациях (не говоря уже о возможных утраченных или отрывочно

<sup>15</sup> Здесь не учитывается обряд «куст», в котором мотив вызывания дождя содержится имплитно.

<sup>16</sup> Значительная часть этих обрядов рассмотрена и описана нами в статье «Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье».

сохранившихся звеньях). Однако при более внимательном и систематическом обзоре имеющегося материала можно выделить не только некоторые устойчивые ряды или последовательности плювиальных ритуалов, но и предложить определенную их группировку по их глубинному (мифологическому) содержанию.

Прежде всего следует разграничить ритуалы и ритуальные действия, специфические для рассматриваемой ситуации (вызываания дождя), и, как правило, не имеющие повторения в других ритуальных комплексах, и не специфические действия, встречающиеся и в составе других обрядов и имеющих более общий смысл. К последним в обряде вызывания дождя должны быть отнесены действия, имеющие охранительную, заклинательную или жертвенную функцию и объединяющие этот обряд с ритуалами, совершамыми при эпидемиях, эпизоотиях и иных стихийных невзгодах (обходы села, опахивания, тканье обыденных рушников, молебства и т. п.).

Специфические элементы в обряде вызывания дождя объединяются своей глубинной семантикой и объясняются на основе восстановливаемого общего мифологического представления о природе дождя и засухи. Согласно этому представлению засуха является следствием нарушения двух видов нормального равновесия: во-первых, равновесия между полюсами кардинального противопоставления Вода (небесная вода, дождь) — Огонь (небесный огонь, солнце, сушь), во-вторых, равновесия между небесной (дождь) и земной или подземной (источники, ключи) водными стихиями. Эти две оппозиции и определяют семантику рассматриваемых обрядов.

Множество ритуальных действий по вызыванию дождя в полесской и иных славянских традициях может быть интерпретировано в связи с оппозицией вода — огонь. Сама по себе ситуация засухи и бездождя трактуется на мифологическом уровне как временное возобладание стихии небесного огня (солнце, сушь) над стихией небесной воды (дождь). Преодоление этого неравновесия возможно через воздействие человека на земные корреляты этих начал — земной огонь и земную воду. Совершаемые с целью вызывания дождя действия — не что иное, как попытки символического воспроизведения актов борьбы, столкновения этих полярных стихий ради возобладания воды над огнем, т. е. дождя над засухой. Разумеется, в реальных обрядовых действиях эти мифологические отношения предстают в многократно закодированном виде, а сами исходные понятия выступают в форме их символических заместителей. Так, дождь может символизироваться льющейся через сито водой, обливанием, поливанием, разбрызгиванием воды, слезами<sup>17</sup>, капли дождя — высыпаемыми в колодец маковыми зернами (мелкий, частый дождь), горохом

<sup>17</sup> Толстой Н. И. Плакать на цветы. (Этнолингвистическая заметка). — Русская речь, 1976, № 4.

(крупные капли), муравьями (расползающейся муравьи — расходящиеся капли дождя) и т. п. Стихия воды может символизироваться также обитателями вод или хтонической сферы (ср. акты убийства и похорон лягушки, убийства ужа с целью вызывания дождя, мотив утопленника<sup>18</sup> и т. д.). Сюда же следует отнести и копание ямок на дороге как способ вызывания дождя путем проникновения вниз, в хтоническую область (хотя этот акт можно связать и с открыванием заброшенных источников и «паханием реки»).

Символическими заместителями огня (засухи) могут выступать печь и печная утварь — ухват, кочерга, хлебная лопата, выбрасываемые на двор или вверх, на дом, с целью прекращения дождя, а также действия, связанные с огнем — печение (хлеба и т. п.), жарение, обжиг (ср. южнославянский мотив черепичников, кирпичников и гончаров как виновников засухи<sup>19</sup>) и продукты обжига — черепица, кирпич, глиняные горшки или их черепки. В противоположность направлению вниз и проникновению в глубь земли, связываемому со стихией воды, направление вверх от земли, подвешивание над землей понимается как действие в пользу огня, суши<sup>20</sup>. В связи с этим существуют запрет вывешивать белье на дворе до Благовещения во избежание засухи, мотив висельника как виновника засухи<sup>21</sup> и т. п.

Соответственно этому каждый символ водной и противопоставленной ей стихии может быть использован в магических действиях, направленных либо на вызывание дождя, либо на прекращение дождя, установление бездождя и суши. Эти действия могут быть как «положительного», так и «отрицательного», точнее как провокативного, так и превентивного, свойства. С одной стороны,

<sup>18</sup> В Полесье, однако, утопленник может считаться как причиной дождя, так и причиной засухи. См. подробнее нашу статью «Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье».

<sup>19</sup> Подробнее см. в нашей статье «Заметки по славянскому язычеству. 1. Вызывание дождя у колодца» в сборнике в честь проф. Эвеля Гаспарини (Рим. В печати).

<sup>20</sup> Ср. ту же связь низ—дождь и верх—ясная погода в детских песенках с гаданием о погоде, обращенных к божьей коровке, типа белорусских:

Андрэйка-калода, куды паляціш,  
уніз ці ўгору, на дошч ці на пагоду?

или

Кароўка-буренъка, куды паляцела,  
Калі ўгору, на пагоду, калі ўніз, то на дошч.

См.: Шаталаев Л. Ф. Назва «божай кароўкі». (*Coccinella septempunctata*) у беларускіх гаворках. — В кн.: З жыцця роднага слова. Мінск, 1968, с. 166—178.

<sup>21</sup> В связи с изложенным материалом несомненный интерес представляет запись Н. Романовой (с. Яродовичи, Андрушевск. р-н, Житомирск. обл., 1976 г.): Девять женщин брали воду, решето, приходили на могилу висельника и поливали ее через решето водою, взятой у «святой криницы». При этом они молились и говорили: «Ми вам дали води, дайти й нам дошчу!» (сообщил П. Ф. Романюк).

используется поливание водой или плач для вызывания дождя, с другой стороны, предпринимается ряд акций с целью противодействия нежелательным действиям, способствующим засухе, обезвреживания их. Так, например, символическойнейтрализацией нежелательной функции черепицы или глиняных горшков как выразителей огненной стихии, сущи является их бросание в воду, чаще всего в колодец. Так же можно истолковать и предание воде трупа заложного покойника, считающегося причиной засухи, или поливание его могилы, бросание в воду креста с могилы неизвестного покойника, обливание водой заборов и построек, поставленных до Благовещения вопреки запрету, мотивированному опасностью засухи, и т. д. Напротив, с целью прекратить сильный дождь применяется предание огню символов дождя. Так, например, в Полесье в таких случаях сжигают ритуальную троицкую зелень, используемую в «кустовом» обряде, и т. п.

Второе противопоставление — воды небесной и воды земной (подземной, хтонической) — не является кардинальным в славянской (и — шире — индоевропейской) мифологии и не может быть выражено знаками «плюс» и «минус». По представлению древнего славянина эти противопоставленные воды не гетерогенны, как огонь и вода, а гомогенны и должны находиться в постоянном равновесии, как сообщающиеся сосуды<sup>22</sup>. Нарушение контакта между ними ведет к бездождию, к засухе. Поэтому большинство полесских плювиальных ритуалов, не направленных на ограничение стихии огня, связано с воздействием на «нижнюю» воду, с «отмыканием» ее. Простейшим действием, которое до его «десемантизации» даже нельзя было считать ритуальным, было раскапывание (на Черниговщине, в Житомирщине) заброшенных и засыпанных источников, ключей («криниц»). Смысл этого отворения был в том, что оно, согласно мифологическому пониманию, вызывало и отворение тверди небесной (ср. рус. церк.-слав. *разверзлись хляби небесные*), равно как и обратное положение — закупорка подземной водной стихии влияла на замыкание небесной водной стихии. Колодец, как естественный заместитель источника, послужил местом многочисленных и разнообразных ритуалов: жертвоприношений (бросание освященного мака или льняного семени, зерен пшеницы, сала, лука, чеснока, соли, хлеба, денег и т. п.), заклинательных и охранительных действий (вербальные формулы, колечение воды, освящение или огораживание колодца

<sup>22</sup> Ср. в связи с этим славянские народные представления о радуге: Толстой Н. И. Из географии славянских слов. 8. Радуга. — В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. 1974. М., 1976. Ср. также библейские представления: «Бог создал твердь: и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так» (Бытие, I, 7). Во многих древнеславянских рукописях, отражающих древние космологические понятия, сообщается, что небо состоит из воды: «от чеса бысть небо — от воды». См.: Грујић Р. Космошопки проблеми по нашим старим рукописима. — Годишњак Скопског филозофског факултета, I. Скопље, 1930, с. 182.

и т. п.), действий имитативной и парциальной магии (обливание водой и т. д.).

Приведем лишь один пример верbalного заклинания, сопровождавшего действие обливания друг друга водой у колодца (с. Лугини, Житомирск. обл. УССР):

Святою водою тебе поливаемо  
И щоб дошчик налиў поўну криничку  
И щоб джерело било.

**Формальная сторона обряда и реконструкция.** Следует учитывать, что приведенные выше обрядовые действия представляют собой суммарный набор всех зафиксированных в Полесье плювиальных обрядов (в нашем распоряжении имеется более шестидесяти описаний из Черниговской, Гомельской, Житомирской и Ровенской обл.). Отдельные виды действий или комплексы действий локализируются в той или иной зоне Полесья, и многие из них, как и полесский лингвистический материал, могут быть положены на карту, т. е. представлены в ареальной перспективе в виде изопрагм и изодокс, что, естественно, немаловажно для задач реконструкции. Но этот аспект не учтен в нашем докладе, так же как и в цитируемой статье о вызывании дождя («Заметки по славянскому язычеству. 2»), не только потому, что его освещение потребовало бы много места, но и потому, что сбор материала еще не завершен.

Однако и имеющегося в нашем распоряжении полесского и славянского материала достаточно, чтобы убедиться в том, что структура полесских (и славянских) ритуалов вызывания дождя — результат своего рода *нанизывания* почти одинаковых в своем содержательном отношении (в плане глубинной семантики и смысловых доминант) элементов и актов. Об этом уже шла речь в связи с понятием «синонимии» символов разного плана и типа. Сейчас следует еще сказать о типах магии, применяемых в таком виде магических действий, как метеорологический вид, к которому относится и интересующий нас обряд (по С. А. Токареву<sup>23</sup>). В этом случае наблюдается также использование разных видов магии, магических действий (имитативной, апотропейической, катартической), направленных к одной цели — к вызыванию дождя путем непосредственной его провокации или путем отражения сил, этому препятствующих. Короче говоря, в плювиальных обрядах применяются почти все известные и возможные типы магии (магических приемов) и символов.

Возвращаясь к вопросу символов, напомним, что они могут быть подразделены на вербальные, реальные (предметные) и акциональные.

В описаниях полесских плювиальных обрядов отмечен только

<sup>23</sup> С. А. Токарев. Сущность и происхождение магии. — В кн.: Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959, с. 27. Там же обзор различных опытов классификации магии.

один случай употребления простейшего вербального символа типа кашубского *dëga! dëgu!* ‘сила! сила!', применяемого при пасхальном битье вербой<sup>24</sup>, это возглас *dож! дож! дож!*, несколько осложненный дополнительной народно-христианской формулой «Святый Гурій, Самвоний і Авил моліт Бога за нас. Дож, дож, дож! (2 раза) (с. Прогресс Козелецк. р-на Черниговск. обл.).

Чаще встречаются сложные вербальные формулы, выступающие в виде заклинаний, оглашений (оповещений, объявлений) и гоношений (причитаний).

Заклинание: «Дасть Бог дощу, дощу дасть Бог! Полле наше просо та й зерно́ хороше. Бог дасть дощу, дасть Бог дощу!» (с. Довгалевка Талалаевск. р-на Черниговск. обл.); «Господи Боже, мы ткем и прадем и хмару зовем. Градки смочить и сушу размочить. Приступи да помоги!» (при изготовлении обыденного рушника). Или: «Як этые мурашки плувуць, так и дошь пусьць плыве» (при разгребании муравейника) (с. Кошицы Ельск. р-на Гомельск. обл.); «Як на тебе вода льется, щоб дощ обливав так землю» (при обливании друг друга водой) (с. Людвиновка Овручск. р-на Житомирск. обл.); «Як сыплеца мачок, так няхай сеенца дождзык» (с. Переров Житковичск. р-на Гомельской обл.).

Оглашение: «Христос воскрес! Христос воскрес! Освящается раба божья — рожь!» (при обходе поля) (с. Стреличево Хойницк. р-на Гомельской обл.).

Гоношение: «Ой-ой-ой! Жабка наша памерла, а...!» (по лягушке) (с. Дубровица Хойницк. р-на Гомельск. обл.); или: «Макарко утопиўса! Макарко утопиўса! Ой, Макарко утопиўса...! Макарко, сыночок, да вулезь из воды, розлей сълезы по съветуй земли!!! (по мифическому Макарке) (с. Стодоличи Лельчицк. р-на Гомельск. обл.).

Весьма любопытны заклинания (Як этые мурашки... Як на тебе вода...), содержащие мотивации обряда и указывающие на параллелизм действия, на имитативность (гомеопатичность по Фрэзеру, симильность по Кагарову) магии.

Среди реальных (предметных) символов немалое число относится к стихии огня — черепица, «печинка» (часть печи, печного кирпича), печь, обожженный горшок, хлебная (печная) лопата, кочерга и т. п. К стихии воды следует отнести слезы, утопленника, лягушку и в качестве заместителей капель дождя — муравьев, зерна мака, гороха и др.

Акциональных символов множество, и они почти все приведены выше: поливание водой сквозь сито, обливание водой, купание (часто насильтвенное), поливание могил и т. п.

Использование различных типов магии и символов с относительно единообразной семантикой в обрядовом действии (тексте) путем нанизывания одного на другое — характерная особен-

<sup>24</sup> Sychta B. Słownik gwar kaszubskich, t. 1. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1967, с. 193—194.

ность полесских плювиальных обрядов. При этом, как отмечалось выше, такая структура способствовала довольно безболезненной редукции отдельных элементов обряда, что часто приводило к свертыванию<sup>25</sup> обряда, с одной стороны, с другой — не препятствовала его расширению и использованию в нем элементов иных обрядов, т. е. неспецифических, интерритуальных. Все это приводило к значительному внешнему разнообразию и к формальным вариантам не только на сравнительно обширной территории Полесья, но часто и в пределах одной микросистемы — в одном говоре, в одном населенном пункте.

Для того чтобы дать представление о типичном для одного села комплексе ритуальных действий, направленных на вызывание дождя, приведем рассказы, записанные нами в 1975 г. в с. Дубровица Хойницкого р-на Гомельской обл. (в квадратные скобки заключены пояснения или реплики собирателей):

Ну от, як дажджа не было, бабу [=бабы] эта саберуцца и на-прадуць нитак и саберуцца вуткуць палатно и тады павесяць на икону и тады ужэ бувае шо и даждк пуйдзэ на заўтра;

Нема дажджу. Дзеўки, да ву [=вы] сабираіцеса да паваруице кушыны да пабейце да их у калодзесь — у чый папала. Ну, тады што? — от, ужэ пуйдзэ дож, ужэ рады;

Кажуць так, людзи старые казали: нада перараць шлях, дарогу. Ну вот, возьмуць плуга ци у вас ци у каго да у дзъвох возьмуцца ззаду за ручки а съпереду адна — дзвешушки, жэнщины. Ну да паскидаюць юпки да толька у споднюю, а верхние паскидаюць. Ну да возьмуць пераруць да кажэ пуйдзэ дож а ци праўда ци не. [При этом ничего не говорили] цихенька, цихенька;

Сабиралиса ж бабу да шлях арали. Ну, багата баб саберецца, давайце плуга... Эта не то што шлях — круга дзереўни абаранець, три разы ж эсім плугам бабу прайди. Запрагуць ужэ баб, а тые идуць да наганяюць: ей, арима. И адна плуг дзержыць а тройку баб запражэ, а тые ужэ идуць да смотряць. Так эта. И круга села три разы. Тады дож пуйдзэ;

Кались при маёй памеци засухи были — бацюшка хадзил па полю, малебен правили; плуга цягаюць, вулицу аруць голые, дзеўки гадоў па тринадцатць—чатырнадцатць. И баранавали, як засуха. И кушыны вешали на платы — як дажжу нема, у калодзесь кидали. Надболей бацюшка хадзил да правил малебен. Жабу раздзирали и на яки плот павесяць. Нац вельми ругали старые людзи што платы кутали да Благовешчэння — як дажджу нема дак знали хто закутал да и раскидаюць;

Жабу раздзирали штоб дож шол. И закапываюць и дзеци галосяць;

Рассадзину рвуць да ў калодзесь кидали, пойдуць да вурвуць рассаду капусну, три калиўцы вурвуць да ў калодзесь, як дажжа

<sup>25</sup> Об аналогичном явлении свертывания фразеологизмов см.: Толстой Н. И. О реконструкции праславянской фразеологии, с. 288.

доўга нема. Вóзьмуць да дзэ гладышку украдуць да ў калодзе съ кинуць. Дзевушки с платоў чыстые гладышки сънимали да кидали увечэри. Мак-видук кидали ў калодзе, у чужый калодзе кидали. Дзеци жабу раздзирали. То на малых: дзеци, буйце жабу да прасице Бога да будзэ дож. Вот пойдуць да злаваюць жабу... и тады бьюць и кажэ: от штоб дож. Дож будзе, му [=мы] жабу бьем. [А не закапывали ее?] — И закапывали, и кресьцік ис плачаки делали, плакали. [Куда закапывали?] — У землю, дзэ папала. [Как они плакали?] Ну ужэ ка: ой-ой-ой, жаабка наша памерла да о-о да й съмеюцца да плачуць нарочна... не то што па жабе ани плачуць, але так от ужэ. Ўсякае, ўсе рабили.

Нет сомнений, что формальное разнообразие ритуала в одной микросистеме может быть вызвано и процессом культурной интерференции двух различающихся по своим обрядовым системам диалектных зон, однако такое положение может быть характерно для контактных зон, в то время как «обрядовая синонимичность» — явление, свойственное и многим крупным, архаичным и относительно замкнутым этнокультурным зонам.

Это обстоятельство, безусловно, осложняет задачу реконструкции праславянского плювиального обряда (или обрядов). Наиболее затруднительным оказывается определение именно *формы* (или форм) такого обряда, а не его глубинного содержания. На этот момент следует обратить особое внимание. Если для реконструкции праславянского корня и даже слова первичной и наиболее достоверной является реконструкция их внешней стороны (корневой морфемы и лексемы), а реконструкция их значения (смыслового инварианта или семемы) оказывается вторичной и менее четкой и однозначной, то при реконструкции славянских обрядов типа рассмотренного — более строгой, определенной и первичной становится реконструкция семантики (доминантных идей, глубинных смыслов и символических представлений), в то время как реконструкцию формы следует считать вторичной задачей<sup>26</sup>.

При этом, как видно из разобранного примера, реконструкция семантики может быть произведена и только внутренним путем на основе материала отдельной этнодиалектной зоны, какой является в данном случае Полесье. Такая внутренняя реконструкция, естественно, может быть подкреплена реконструкцией внешней.

Что же касается восстановления праславянских *форм* обряда, то оно едва ли возможно без использования методов внешней реконструкции, без обращения к фактам родственных славянских

<sup>26</sup> Близкое положение наблюдается при реконструкции фразеологизма (фразеологического сращения), когда следует устанавливать три момента: а) лексемную форму (сочетание лексем), б) семантическую «форму» (сочетание семем) и в) значение, семему (не равную сочетанию семем в пункте б). В этом случае также пункт «а» устанавливается в последнюю очередь. См.: Толстой Н. И. О реконструкции праславянской фразеологии, с. 276.

и индоевропейских этносов (такую реконструкцию можно назвать соответственно ближней и дальней внешней реконструкцией). Наиболее существенными показателями архаичности внешних форм окажутся показатели географического плана, показатели соответствий форм, сохранившихся в архаических зонах славянского и индоевропейского (или смежного с ним) мира.

Внутренняя реконструкция является реконструкцией неполной, имеющей свой предел, который можно назвать «порогом реконструкции». Внешняя реконструкция также имеет свой порог, который, однако, значительно ближе к древнему реальному неизвестному состоянию. Порог реконструкции зависит, безусловно, и от полноты имеющегося материала.

В заключение приведем список полесско-южнославянских (сербско-болгарских) параллелей и одну существенную полесско-(белорусско-украинскую)-кавказскую (иранскую по происхождению?) изодоксу.

К полесско-южнославянским соответствиям относятся следующие элементы обряда вызывания дождя: а) обливание беременной женщины водой (сербск.); б) толкание людей (священника, пастуха) в воду, в реку (сербск., болгарск., также русск.); в) литье воды через решето (сербск., болгарск.); г) вырывание креста из могилы «нечистого» покойника и бросание его в воду; бросание трупа в воду (сербск., болгарск., также украинско-карпатск., русск.); д) бросание в воду горшков, краденных у гончаров (сербск., болгарск., македонск.); е) разрушение муравейника с сопутствующим словесным заклинанием (сербск.); ж) гоношение по покойнику (болгарск.); з) причина засухи: закапывание внебрючного ребенка (сербск.); и) обряд «куст» — «додолы». Многие из этих черт следует ожидать и в других зонах славянского мира, в первую очередь в карпатской зоне. Надо предполагать, что нередко мы сталкиваемся с неизвестностью и несобранностью материала, как это было до недавнего времени и с полесскими свидетельствами.

Приведенные параллели могут послужить основой для так называемой «ближней» внешней реконструкции. Ярким примером соответствия, которое может послужить базой для «дальней» внешней реконструкции, является ритуал пахания реки во время засухи, отмеченный на Кавказе у армян и восточных грузин. Суть этого обряда в том, что несколько женщин впрягались в плуг, входили в реку (или высохшее русло реки) и пахали дно. Аналогичные славянские свидетельства приведены впервые А. Н. Максимовым и относятся к Центральной Белоруссии (б. Игуменский уезд) и Западной Брянщине (Суражский уезд)<sup>27</sup>. По нашим далеко

<sup>27</sup> Максимов А. Н. Пахание реки, с. 17; см. также: Читая Г. С. Этнографическая экспедиция в Агдудахский район. — В кн.: Вестник музея Грузии, т. IV. Тбилиси, 1928; Миллер А. А. Из поездки по Абхазии в 1907 г. — В кн.: Материалы по этнографии России, т. 1. СПб., 1910, с. 68.

не полным данным, он известен и в некоторых зонах Полесья (Черниговщина, Северная Житомирщина, Ровенщина, Тернопольщина), на северо-западе Белоруссии (Зельвенский р-н Гродненской обл.)<sup>28</sup>. Рудименты этого обряда обнаруживаются и на окраине южнославянского мира, в Словении — в Штирии и Прекмурье, где во время сильного ненастья воруют плуг и бросают его в воду<sup>29</sup>. Обращают на себя внимание следующие характерные для кавказского ритуала пахания реки («запахивания дождя») детали, имеющие славянские соответствия: 1) исполнение ритуала женщинами (вдовы, девушки) — то же, за одним исключением, в полесском ритуале; 2) проливание слез — то же в Полесье в отдельном ритуале; 3) вариант обряда: пахание высохшего от засухи русла реки — этот вариант наиболее распространён в Полесье; 4) бросание в воду «рафаты», на которой пекут лаваш. Ср. в Полесье бросание горшков или кирпичей в воду.

По справедливому мнению А. Мейе, некоторые мифологические и языковые соответствия могут возникнуть «случайно» в результате типологических схождений или универсальности совпадающих моментов, но, подчёркивает знаменитый французский компартивист, «с о в о к у п н о с т ь отдельных мотивов, внутренне никак не связанных, не может появиться случайно»<sup>30</sup>. То же можно сказать и о совокупности форм, и можно еще добавить — особенно, если дело касается совокупности внешних деталей.

<sup>28</sup> Распространенное в некоторых районах Полесья пахание дороги, возможно, является модификацией обряда «пахания реки».

<sup>29</sup> См.: *Möderndorfer V. Verovanja, uvere in običaji slovencev*. Celje, 1946, с. 247.

<sup>30</sup> *Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954, с. 11.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРИФЕРИЯ  
ДРЕВНЕЙШЕГО СЛАВЯНСТВА.  
ИНДОАРИЙЦЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

I

Хотя теория иранского субстрата Северного Причерноморья утверждалась еще в прошлом столетии (вспомним, например, о работах Мюлленгофа, Миллера, Фасмера, Соболевского, Абаева)<sup>1</sup>, на долю современной науки осталась большая работа по проверке и выяснению многих вопросов. Автор настоящего очерка далек от мысли подвергнуть сомнению главный тезис, согласно которому Северное Причерноморье античного времени (с VII — VI вв. до н. э.) явилось ареной борьбы иранства и его разнообразных отношений с эллинством прибрежных греческих городов-колоний. Скудные остатки языка скифов и сарматов носят действительно иранский характер. Но дело обстоит при этом не так просто и однозначно. Иранцами, по-видимому, не были полумифические киммерийцы, несмотря на то, что имена нескольких их царей звучат по-ирански; возможно, что они были, согласно древнему преданию, теснее связаны с фракийцами-трерами, ср. целый ряд фракийских имен боспорских архонтов и царей. Ср. также некоторые возможные остатки киммерийско-фракийской топонимии, неизвестные прежним исследователям: *Путалица*, название речки в Крыму, близ Гурзуфа, ср. фрак. *Pautalia*; *Цюцюль*, гора в Крыму, ср. арум, *tsučul* 'вершина'; *Malorossa*, один из боспорских городов (Равеннский Аноним), ср. рум. *mal* 'берег', алб. *mal* (i) 'гора' (о втором компоненте названия см. некоторые соображения в части II нашего очерка). Не обязан ли сам Крым своим, вероятно, сильно исказенным и спорным названием, которое бессильны объяснить тюркологи, в конечном счете имени киммерийцев? Крым получил свое название с востока (т. е. не со стороны Перекопа и небезызвестного рва), а к востоку от Крыма, на полуострове Фонтан, сидели киммерийцы.

До сих пор всем попыткам истолкования успешно противостоят проблема тавров. Известие Геродота о том, что они были не скифы, а другой народ (*ἄλλο ἔθνος*), не позволяет отнести также их к иранцам, но это мало что дает, так как о принадлежности языка тавров, этого древнего туземного населения Крыма, наука не может сказать практически ничего. Виновата ли в этом скудная

<sup>1</sup> См. библиографию в нашей работе «О синдах и их языке» (ВЯ, 1976, № 4, с. 39 и сл.).

традиция или скорее определенная позиция науки, игнорировавшей некоторые факты, увидим дальше. Археологи, со своей стороны, исследовали этот вопрос и установили различные связи между областью тавров и Западным Кавказом в керамике и способе погребения<sup>2</sup>, но одна лишь эта констатация оставалась, как нередко случается в археологии, многозначной и даже чреватой заблуждениями. Ложным путем при этом, по-видимому, оказалось отождествление тавров с собственно кавказцами (адыги, черкесы), встречающееся в литературе.

Древние культурные корреспонденции между таврами античного Крыма и современным им населением к востоку от нынешнего Керченского пролива прежде всего относятся к синдам Таманского полуострова и родственным им меотам, земли которых простирались в восточном Приазовье до Дона. Эти области были затем тоже иранизированы сарматами, которых первоначально здесь не было. Скифы населяли степной Крым, но тоже не испокон веков; здесь жили сатархи<sup>3</sup>. Нескифский характер синдов и всех меотов, на что не раз обращала внимание античная традиция и что столь часто игнорировала наука нового времени, послужил для нас мотивом, чтобы предпринять поиски почти утерянных следов их языка. Сама античная традиция (например, гlosса Гесихия Σίδοι· ἔθνος Ἰδικόν), небольшая статья Пауля Кречмера 1943 г. об «индийцах на Кубани» и некоторые другие давние и новые голоса в этой дискуссии помогли направить наш интерес на такое решение этой проблемы, которое означало констатацию индоарийской, т. е. собственно индийской, принадлежности синдов и меотов. Для этого были привлечены новые факты или, точнее, новые объяснения старых фактов и данных, остававшихся пока как бы в тени. Этим вопросом я занимаюсь с 1973 г. Моя собственная первая этимология на эту тему была посвящена гlosсе Плиния Temarundam matrem maris — названию Меотиды как матери Моря, Понта, которое сам Плиний ошибочно приписал скифам. В результате появилась концепция нескифского по языку населения, называвшего Черное море \*tem-agip-, ср. др.-инд. ágra-‘морская пучина’ (хетт. agipa-‘море’ тоже близко, но сочетание с tem-/tam- ‘темный, черный’ носит исключительно индийский характер!). Неаспирированное s в ряде других случаев, а также ks (на письме є), вместо иранского š, из и.-е. ks — в фонетике, несколько примеров на суффикс прилагательного -in, характерный как раз для индийского, а не для иранского, и на суффиксальное -r-, известное в индийском и неизвестное в иранском, — на словообразовательно-морфологическом уровне и особенно лексические реконструкции, показательные в духе индий-

<sup>2</sup> Лесков А. М. Горный Крым в I тысячелетии до нашей эры. Киев, 1965, с. 134, 135, 144, 145 и т. д.

<sup>3</sup> Указание на связь сатархов с синдами см.: Ростовцев М. И. — Зап. имп. Одесского общества истории и древностей, т. XXXII, 1915, с. 60—61.

ских изоглосс, противопоставленных иранским изоглоссам (\*sind- 'река' и 'речные жители', \*tūr- 'быстрый', \*amb- 'вода', \*tar- 'берег', \*dand- 'камыш, тростник' и др.), — все это, по моему, указывало на индийский язык. Демонстрации реконструированной лексики, так сказать, лексикографии индоарийских реликтов Северного Причерноморья как наиболее осозаемому свидетельству их древнего существования, отведен конец I части данного очерка. Помимо сказанного, важнейшим критерием определения синдо-меотской принадлежности того или иного названия на первых порах было нахождение или приурочение его к территории меотов (Восточное Приазовье) и к Боспорскому царству. Материал, как известно, почти исключительно ограничивался ономастикой письменных источников и эпиграфики этих мест. Следующий шаг состоял в обнаружении близких, а также самостоятельных индоарийских свидетельств на других территориях. Групповой их характер может придать им значительную доказательную силу. Сейчас мы можем говорить об индоарийских следах помимо непосредственного Приазовья также в Крыму и в низовьях Днепра, и это не противоречит данным истории (ср. *Scythia Sindica* Плиния). А как же быть с иранцами (скифами, сарматами)? Ведь они тоже были — в разное время — во всех упомянутых районах. Индоарийцы, земледельцы и строители каналов в Приазовье и особенно в Синдской Скифии (к востоку от устья Днепра) находились в определенных отношениях к военным кочевникам-иранцам, составляя (кроме непокоренных тавров горного Крыма и приазовских меотов Боспорского царства) подчиненную массу, то, что Геродот называл Σκύθαι Γεωργοί 'земледельцы'. Индоарийско-иранские отношения Северного Причерноморья еще предстоит изучать.

Таким образом, вопрос ставится шире, чем только о языке синдов<sup>4</sup>. Индоарийская принадлежность языка определенного слоя северопонтийского населения положительно свидетельствует о прежнем пребывании праиндейцев в этих краях. Значительная их часть ушла через Кавказ в Переднюю Азию и в Индию. Другая часть осталась и постепенно была перекрыта близкородственными иранцами (скифами, сарматами), которые называли Понт ахśainapa- 'черный'. Парное соответствие имен Т̄рγataš (синдская царица иксоматского происхождения, у Полиена) — Titgutawiya (женское имя на глиняных табличках, Алалах, Сев. Сирия, II тысячелетие до н. э.), несмотря на недостаточную ясность этимологии, представляет хорошее свидетельство о самих отношениях. Другое свидетельство того же рода: название меотов — эпиграфическая форма MAITAI передает, видимо, самоназвание — всплывает в то же время (II тысячелетие до н. э.) в Передней Азии; так мы этимологизируем племенное название Maitanni, производное

<sup>4</sup> Ср. также в упоминавшейся статье: Трубачев О. Н. О синдах и их языке, с. 39 и сл.

с местным хурритским суффиксом -*pni* от одного из арийских самоназваний *maita-*, что-то вроде 'материнские' (отголосок древнего материнского культа). Благодаря этому обнаруживается самоназвание переднеазиатских ариев, которое безуспешно искали до сих пор, и вместе с тем обретается некоторая уверенность в том, что северопонтийские, азовские меоты принимали участие в переднеазиатских походах, относительно чего историки, за неимением лучшего, предпочтитаю питать сомнения<sup>5</sup>.

Случай с соответствием *Δανδάκη* (Птол.), теперь *Камышовая бухта* в юго-западном Крыму, — др.-инд. *Danḍaka-*, название леса в Деккане, собственно 'тростниковый лес' (*daṇḍá-* 'палка', *daṇḍana-* 'вид тростника'), привел нас в наших поисках индоарийцев к таврам Крыма. Дандака, по-видимому, была их *oppidum* и *portus*, Херсонес, как известно, чтил богиню Деву тавров. Здесь явно предстояло еще вскрыть многое поучительного. Думаю, что предварительные ожидания не были обмануты. Вскоре последовали положительные результаты. Во-первых, само прочтение *Δανδάκη*, которое давало нам в руки довольно длинную производную форму таврского слова вместе с его значением. Во-вторых, окончательная локализация Дандаки, которую историки искали дальше на север<sup>6</sup>. Но главный результат гласил: таинственные, жестокие тавры должны были говорить на индоарийском диалекте. Не зашли ли мы далеко в своем исследовании? Но таков Крым. Он не слишком далек и для науки о Греции, которая здесь, в дорийских и ионийских колониях, находит многое такое, чего не находит в самой Греции. Тем более — исследование синдов и меотов, которых отделял от близкой Тавриды только мелководный и узкий пролив. Таврское *Δανδάκη* родственно названию меотского племени *Δανδάριοι*. Сказывается и исключительное географическое положение Таврического полуострова, почти отовсюду омыненного водой, а на юге защищенного горами. Типологически идеальная почва для сохранения реликтов!

*Δανδάκη* звучит по-древнеиндийски, но одно слово, даже регулярно образованное и сохранившееся в целости, всегда вызывает сомнения. Однако имеются названия, которые могут считаться таврскими словами такого же происхождения. Известен город тавров *Παλάκιον*, производное от личного имени *Πάλακος*, которое носил один царь скитов. Но имя было определенно не скифским, оно точно покрывается др.-инд. *pālaka-* 'страж, защитник', также в качестве имени одного из царей. В более позднюю эпоху горный район юго-западного Крыма был известен в византийской литературе под названием *Δορός* (Жит. св. Иоанна Готского), *Δόρο* (Прокоп.), *Δόρας / Δόραντος* (VII в.). Готские этимологии названия

<sup>5</sup> Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы. (От появления на исторической арене до конца IV в. до н. э.). Л., 1974, с. 62.

<sup>6</sup> Щеглов А. Н. Заметки по древней географии и топографии Сарматии и Тавриды. 2. О местоположении Дандаки. — ВДИ, 1965, № 2, с. 110 и сл.

неубедительны. Вообще готы не оставили следов в топонимии Крыма, видимо, потому, что селились в местах, уже хорошо обжитых таврами. Мы имеем здесь перед собой, так сказать, сплошь древнеиндийские образования *dara-* м. р. 'пещера', также название горы, *darī*, ж. р. 'пещера', *darīvat-*, прилаг. 'обильный пещерами'. Ничто так не характеризует эту часть Крыма, как пещеры и целые пещерные города. Это нашло отражение и в ономастике других местных народов, ср. тюрк. *Ин-керман* 'пещерная крепость'; сатархи, населявшие соседние районы Крыма, получили прозвище *Spalaei*, *Spelaei*, собственно по-гречески 'пещерные'.

Гора на краю алуштинской долины Южного берега Крыма носит название *Урага*. Мы не можем при этом не вспомнить о др.-инд. *ihāga-* 'змея' (буквально 'ходящая на груди': *iha-ga*, целое сложное слово). Эта гора имеет прерывистые очертания; ср. русское название горы *Змейка* на Северном Кавказе.

Археологически тавры прослеживаются вплоть до Керченского полуострова. Принимая, что население по обе стороны пролива говорило на близкородственных диалектах, мы не можем в точности отличить, где сидели тавры, а где синдо-меоты. В пользу тавров говорит, например, местное название *Dia*, упоминаемое Плинием у Керченского пролива сразу после Нимфея. *Dia*, по-видимому, значило 'дева, принадлежащий Деве', ср. греч. *μηρφαῖος*, -ού 'то же', а также *Παρθένιον*, название местности близ Пантикопея. Культ Девы у тавров хорошо известен. Нарицательное имя \**diīā* 'дева, девин' имеет индоевропейский вид, однако не является индийским. Здесь представлен древний диалектизм. Неподалеку Равеннский Аноним называет *Tegine*, *Teaginem*, которое мы толкуем с помощью др.-инд. *tyāgin*, прилаг. 'самоотверженный', 'герой'. В новое время этот населенный пункт носил название *Эльтиген*, едва ли тюркское, за исключением начального *el-* (турк.) 'община'. После войны поселок стал называться *Героевка*, чем достигнуто случайное, хотя и удивительное совпадение с значением древнего этимона. В низовьях Днепра в 1492 г. упоминается замок *Тягинъ*, в других источниках *Tiahinia*. Это не славянское, а более древнее название. С древних времен встречаются известия о различных '*Αλεξάνδρου θόροι*' и других святилищах и жертвениниках на Борисфене и в других северопонтийских краях. На берегу Керченского пролива тот же Аноним называет местность *Asandi* (в другом источнике '*Асада*'), что может быть объяснено с помощью др.-инд. *äsandi* ж. р. 'сидение'. Очевидно, таврское *Kačēxa* (соврем. *Качик*) я уже этимологизировал как индоарийское \**kacchika-*, прилаг. 'береговой' в другом месте. Все это не иранские реликты или следы. Мы не найдем их среди достоверных иранских этимологий Фасмера и Абаева. Их преимущественно индийские связи убедительны без лишних слов.

К любопытной диалектно-индоарийской характеристике большой древности следует отнести проявления пракритизма в ре-

ликтах языка северопонтийских индоарийцев<sup>7</sup>, в данном случае тавров. Ср. группу согласных -č(ch)- вместо -ks-, засвидетельствованную для Каčéха с помощью тюрк. Качик, Яга-Качик. То же самое относится к остатку числительного satta-, пракритское, вместо классического др.-инд. sapta- 'семь', который мы усматриваем в названии народа Satauci (Плинний) в восточной части Таврического полуострова. Второй компонент этого названия мы сближаем с др.-инд. oka-, okas 'жилище, дом, убежище', первонач. \*auka-. Таким образом, Satauci первоначально моглозначить 'семь жилищ'. Число 7 пользовалось популярностью в этих краях и пустило корни в ономастике, судя также по другим источникам (ср., например, 'и в наши дни населенный пункт Семь колодезей в Вост. Крыму'). Стоит вспомнить о городе семи божеств — 'Ардáрда (читают 'Авдáрда, аланское название Феодосии), а также о несколько темном известии арабской географической литературы о стране у Черного моря под названием 'Семь округов'. Средневековые итальянские источники называют близ Алушты Casale de lo Sdaffo (Osdaffum) — тюрк. Yedi-Yevler 'семь дворов'. Мы имеем здесь редкую глоссу, причем с тюркской стороны гарантировается точная передача значения, а в реликтовой форме Osdaffum сохранен почти до нового времени сам этноним Satauci. По-ирански 7 было бы harpa-, ср. его отражение в упомянутом названии города 'Авдáрда.

Большие языки с богатой письменностью кодифицируются в больших словарях; это правило сохраняет свою силу и для малых языков и диалектов. Без преувеличения можно сказать, что обнаружение и изучение неизвестных и забытых языков и их реликтов тоже начинается с фиксации слова, т. е. с работы лексикографа. Этот вид словарного дела имеет свои трудности; объем полученной работы не принадлежит к их числу. «Словари», например, реликтов скифского языка или фракийского языка едва насчитывают 200—250 слов разной степени достоверности. Но на место трудностей объема выдвигаются другие, не меньшие трудности. Одна из них роднит лексикографию языковых реликтов до известной степени с описанием лексики народных диалектов. И там и тут нельзя откладывать словарное дело, и там и тут нужно спешить. Но народные говоры уходят, а реликтовые языки уже ушли и были забыты в глубокой древности, так что наше сравнение лишь приблизительно передает трудность и сложность реликтовой лексикографии. Вряд ли кто-нибудь может сомневаться в актуальности и важности такой реконструкции, в которой, думается, заинтересованы не только лингвистическая и историческая наука, но и пытливое самопознание тех народов, чье прошлое непосредственно обогащает эта реконструкция. Как

<sup>7</sup> Пример пракритской трактовки -tt- вместо -t̪- в Suppatos < \*su-patta- < \*su-partā- 'Добрая гавань' на кавказском побережье см. в нашей статье «О синдах и их языке» (с. 59).

писал более двухсот лет назад историк Штриттер: «Не бесполезно такожде и для любителей российской истории знать все похождение того народа, который в древние времена имел жительство в соседстве, или паче в пределах России, хотя бы после того и совсем в другую часть света он преселился».

Не имея возможности дать здесь словарные статьи со всей литературой и аргументацией, ограничимся лаконичным индексом слов, полагая, что и он, несмотря на недостатки, присущие ему как первому опыту, поможет получить некоторое представление об объеме и составе материала — лексических реликто<sup>в</sup> языка индоарийцев Северного Причерноморья:

1. \*abarakā: 'Αβοράχη (Страб.) ~ местн. назв. *Абрау*?
2. \*abaiaka-: Αθέαχος, царь сираков (Страб.). Ср. др.-инд. abhīka- 'бесстрашный'.
3. \*abidiaka-: Ὀβιδιακτροί, меот. племя (Страб.). Ср. др.-инд. abhí 'к, при'. См. также \*dīā.
4. \*ādi-gar- 'саранча': ἀδιγόρ (Гес.). Букв. 'пожиратель пищи', сп. др.-инд. ādi- 'пища'. Скиф. 'саранча': \*matuka-.
5. \*agra-: Αγροί, меот. племя (Страб.). Ср. др.-инд. Agra, местн. назв.
6. \*ait-asura- 'бог света': Οἰτόσυρος (Герод., Гос.). Ср. др.-инд. éta- 'сияющий', ásura- 'добрый дух'.
7. \*akša-bitī 'глаз убивающий': Αξαφίτις Ταινία, коса (Птол.). Ср. др.-инд. akṣa- 'глаз'. См. \*bitī.
8. \*a-kšama-paia- 'непригодная вода': Εξαμπαῖος (Герод.), местность близ Гипаниса (Ю. Буга). Ср. др.-инд. a- 'не', kṣamá- 'пригодный', páya- 'вода'.
9. \*akši-ak- 'имеющий глаза'? : Axiae, Oczakou, *Очаков; Ачакова коса*, Азовск. море (XVII в.). Ср. др.-инд. ákṣi- 'глаз'.
10. \*alakša-dru-? 'дуб-защитник'? : Πλεζάνδρъ, имя свящ. дуба (Жит. Конст.), в Тавриде. Ср. др.-инд. rákṣati 'охранять'. См. раздел II.
11. \*anta- 'конец, край': Ανταί (Прокоп.). См. раздел II. Ср. также сл.
12. \*anta-kāia-: ἀντακαῖος 'порода рыб' (Герод.). Ср. др.-инд. ánta 'конец', kāya- 'тело'.
13. \*antikitā-: Αντικείτης, рукав Кубани (Страб.). Ср. др.-инд. antikatā 'близость'.
14. \*antikiā: Antissa, местность (Плин.), *Ачук, Ачуев*. Ср. др.-инд. antika- 'близкий'.
15. \*apaka- 'река, речной': *Апока*, речка в Крыму.
16. \*apa-turā 'преодолевающая воды': Απάτουρον, святилище на Таман. п-ове (Страб.). Ср. др.-инд. aptúrg-.
17. \*āsandī 'сидение': Asandi, местность на Босп. Кимм. (Рав. Ан.). Ср. др.-инд. āsandī.
18. \*au-sili-? 'у (реки) Σιλις'? : "Οσιλοι, народ (Птол.).
19. \*avjnda?: *Авинда*, гора в Крыму..

20. \*avunda?: *Авунда*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *avata*-?
21. \*badraka-: *Бадрак*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *bhadraka*- 'счастливый'?
22. \*bah-tar(i)? 'большой берег'? : *bagtari*, *tarmagno* (Бенинказа), *Актар*, *Ахтарский*. Ср. др.-инд. *bahú-*, *tar*-?
23. \*bah var-jamin? 'большой двойной город'? : *Bахбарземин*, у Темрюка (Паллас). Ср. предыд., а также др.-инд. *vāga-* 'ограда', *yamīn* 'рождающий близнецов'?
24. \*balga-tur-?: *Болгатур*, *Богатырь*, нас. пп. в Крыму. Ср. др.-инд. *bhárgaḥ* 'блеск'?
25. \*biti 'убивающая': *Bitiae* 'женщины, убивающие взглядом, в Скифии' (Плин.).
26. \*boion?: *Boeon*, местность в Крыму. Ср. *Βαιώνη*, остров в Индии.
27. \*br(i)ta-?: *Britani*, местность на Босп. Кимм. (Рав. Аи.), *Буртани*, племя (Тунман), *Британ*, о-в на Днепре. Ср. др.-инд. *bhrīta-* 'наемный'?
28. \*buja- 'изгиб': *Buges*, *Buces*, сев.-зап. часть Азовск. моря (Мела, Плин.). Ср. др.-инд. *bhogá-*, *Bhoja-*, название области в Индии.
29. \*četra d(a)sa-? 'сорок'? : *Τετραξῖται*, *Τραχεῖται*, готское племя в Крыму и на Таман. п-ове (Прокоп.), *Τραχεῖος* = Чатыр-даг, гора.
30. \*dandakā 'камышовая': *Δανδάκη*, место в Тавриде (Птол.). См. выше.
31. \*dand-aria- 'камышовые арии': *Δανδάριοι*, меот. племя (Страб.). См. выше.
32. \*dara- 'пещера': *Δορός*, *Δαρᾶς*. местность в Крыму. См. выше.
33. \*darī 'пещерная': *Δόρυ*, местность в Крыму (Прокоп.). См. выше.
34. \*dara-(va)nt- 'обильный пещерами': *Δόρας*, *Δόραντος*. См. выше.
35. \*das(a)ka-: *Δόξαι*, меот. племя (Страб.). Ср. др.-инд. *dāsaka*-?
36. \*diiā 'дева, девин': *Δία*, местность на Босп. Кимм. (Плин.). См. выше.
37. \*diu-p(u)tuna-? : *Δούπουνος*, царь Боспора (эпиграфич.). Ср. др.-инд. *du-* и *Daiva-putra*?
38. \*do-ab- 'двуречье'? : *Дооб*, местн. название близ Новороссийска. Ср. *Doab*, область между Джамной и Гангом, в Индии.
39. \*ikšu-mat-: *Ἴξομάται*, меот. племя (Птол.). Ср. др.-инд. *Ikṣumatī*, река в Индии, *ikṣū-* 'сахарный тростник'.
40. \*ikšu-pura-? \*ikšu-pula-?: *Ἐξόπολις*, город на Танаисе (Птол.). Ср. предыд.
41. \*jalman-: *Джалман*, река в Крыму. Ср. др.-инд. *jalam*, *\*jalman*- 'вода'.
42. \*jar-sinā: *Zorsines*, царь сираков (Тац.), *Zωρθῖνος*, *Zωρθίνης*, личн. имя (Танаис). Ср. др.-инд. *jaga-* 'старый' и *-sena* в личн. именах.

43. \*kaba-takšā-; Кафада́къης, личное имя собств. в Синдике. Ср. др.-инд. kumbhá- 'кувшин', tákṣan- 'плотник'.
44. \*kačika- 'прибрежный': Каčéха, соврем. Качик, к вост. от Феодосии. Ср. др.-инд. (пракр.) kaccha- 'берег'.
45. \*kāma-sar- 'любимая женщина': Ка́масарóη, Коромасарóη, царица Боспора, синдянка (Корп. босп. надп.): др.-инд. kāma- 'любовь'. См. \*sar-i.
46. \*kap-? 'холм'? 'гора'? : Παντικάπαιον, Кафă, lo copa, Копыль. Ср. фрак. kap- 'холм'.
47. \*kar-oion 'каменный остров': Каρoία, Сагеон (Иорд.), ср. Τραχεία Χερσόνησος — о Керч. п-ове (Герод.). Ср. др.-инд. karkara- 'камень'.
48. \*kar(u)na- 'ухо'? : Carnas..., Caronos, названия племен (Плин.). Ср. др.-инд. kágra- 'ухо'?
49. \*kar(n)-östa-?: Carastaseos, народ на Сев. Кавказе (Плин.). Ср. (в обратном порядке) др.-инд. Oştha-kargā, название народа. Ср. предыд.
50. \*kinsanus? : Κινσάνους, область вокруг Алушты, тат. Kisan, дебрь Кисаню (Слово о п. Иг.). См. раздел II.
51. \*koita-: Coetae, Cetae, народ (Плин.). Ср. др.-инд. Ceti, племя в Индии.
52. \*kosinā-?: Коθίνας, личное имя собств., только в Горгиции.
53. kṛka- 'горло': Οὐκρόχ, черном. устье Кубани (Конст. Багр.), др.-рус. Кърчевъ. Ср. др.-инд. kṛīka- 'горло'. См. раздел II.
54. \*kṛkan-dāma 'место у пролива': Κοροκούδάμη (Страб.) Ср. \*kṛka- (выше) и др.-инд. dhāman 'жилище'.
55. \*kṛka-vantī 'имеющая горловины': Согасанда 'Кубань' (Мела). Ср. \*kṛka-.
56. \*kṛta- 'сделанный'? : Coretus, в Синд. Скифии (Плин.: говорит об искусств. каналах).
57. \*kṛva-saita- 'коровий брод, Вόσπορος': Κουραζαῖτος, эмпорий (Жит. св. Ио. Готск.), Gherète, «тур.» название Керчи (Дюбуа). Сложение \*kṛva- (ср. авест. srvā 'рог') и \*saita-, ср. др.-инд. setu- 'мост'.
58. \*kubā 'извилистая': Κούφης, Cuphis, Кубань. Ср. др.-инд. Kubhā 'река Кабул'.
59. \*lagura: Λαγύρα, таврское поселение (Птол.). Ср. Lahur, город в Индии.
60. \*lopā-takī: 'Аλωπεχία, о-в в дельте Дона (Страб.). См. раздел II.
61. \*maian-dara-ia 'пещерные меоты'? : Meandaraei, племя (Плин.). Ср. \*maita- и \*dara-, выше.
62. \*ma(ia)n-kar- 'гора меотов'? 'материнская гора'? : Mancap, Мангун, место в Крыму. Ср. \*maita- и \*kar-, выше.
63. \*maia-sarā 'меотянка': Μαιωσάρα, женск. имя (эпигр. Боспора). Ср. \*maita- и \*sarī, ниже.
64. \*maina-tara-: Menotharum, река на Кавказе (Плин.). Ср. \*maita-, ниже, и др.-инд. tara- 'берег'?

65. \*maita- 'материнские': *Μαῖται* 'меоты' (босп. эпиграфика).

См. выше, раздел I.

66. \*mar-ab- 'мертвая вода': *Μαράβιος*, река (Птол.).

67. \*marj-: крым.-гот. *marzus* 'nuptiae' (Бусбек), заимств. Ср. др.-инд. *magua-* 'жених'.

68. \*marsanda-?: *Марсандра*, *Масандра*, в Крыму. Ср. др.-инд. *Marsianḍī*, река.

69. \*meg-mada-: *Μερμόδας*, река, впад. в Меотиду (Страб.). Ср. др.-инд. *Narmadā?*

70. \*mes-plā- 'полная луна': *Μέσπλήν* 'луна' (Гесих.: скиф.) Ср. др.-инд. *mās* 'луна', *prātā* 'полный'.

71. mitraia- 'союзные': *Μιτραίων* ὅρη, горы к вост. от Меотиды (Лук.). Ср. др.-инд. *mitraya-*.

72. \*nau-var- 'новый город': *Ναύ(θ)αρις*, *Ναύαρον*, город в Сарматии (Птол.), *Navarum* (Плин.) = Неаполь Скифский? См. еще раздел II.

73. \*ni-kakšin 'находящийся' в низменной бухте': *Νίκκηξιν*, место на кавк. побережье (Анон. Пер.), *Níκοφις* (Конст. Багр.) = *Nakonse?* *Мысхак?* Ср. др.-инд. *ni-kakṣā-* 'подмышка' + суф. -in.

74. \*oion 'остров': *Εον*, синдский о-в (Плин.), *Oium* (Йорд.), *Aἰαίη* (Гом. Од.).

75. \*opitia- 'задний': *'Οπισσᾶς*, Таманск. зал. (Анон. Пер.). Ср. хетт. *appezzija-* 'задний'.

76. \*orianda?: *Orianda*, *Oreanда*, место в Крыму. Таврский исход -nda.

77. \*pälaka-: *Πάλακος*, имя скиф. царя (Страб.). Ср. др.-инд. *pälaka-* 'защитник'.

78. \*pälakia-: *Παλάκιον*, таврский город и порт (Страб.), *Bala-clava*. Произв. от предыд.

79. \*panda: *Πανδα*, место в Симеизе; *Panda*, река к вост. от Меотиды (Тац.). Ср. др.-инд. *rāṇḍū* 'желтоватый, белый, бледный'.

80. \*pari-sara 'обтекание': *Balisira* (Эвлия-эф.), *Белосарайская* коса. Ср. др.-инд. *parisara-*, *Παρίσαρα*, город в Индии (Птол.).

81. \*par(a)mā: *Πάρμα*, личное имя собств. (эпиграфич.). Ср. др.-инд. *paramá-* ' дальний, лучший'.

82. \*par-ōsta 'у устья': *Parosta*, место в Тавриде (Плин.) *Παρόστα* (Птол.). Ср. др.-инд. *ōṣṭha-* 'губы, уста'. Ср. также \*salōsta, \*gi-kōsta, ниже.

83. \*pa(r)ta- 'гавань': *Πάτους*, гавань (Псевдо-Скил.), *Βάτα* (Страб.), соврем. Новороссийск. Ср. др.-инд. (пракр.) *paṭana-* 'город'. См. \*su-pa(r)ta-.

84. \*pa(r)taka-: *Βαταχος*, личное имя собств. в *Βατα*. Производное от предыд.

85. \*pasa?: *Φασα*, название склона горы в Крыму. Ср. др.-инд. *pakṣa-* 'сторона'?

86. \*pauna-?: *Παῦνα*, личное имя собств. (босп. эпиграфика). Ср. др.-инд. *pavana-* 'чистый'?

87. \*pitunda: *Πιτυνδα*, на кавк. побережье. Ср. *Pithuṇḍa*, порт в Индии.

88. \*p<sub>ł</sub>tu-? \*pleteno-? 'широкий'? : *Плещенской лиман*, или Великой Луг, между Днепром и Конкой (XVIII в.). Ср. др.-инд. pr̥thu-, prathana-?
89. \*poika 'пастбище, луг'? : *Бойка*, луговое плато в Крыму, стар. Пοικη (Мангуп. эпиграфика). Ср. Bóixi, местность белых сербов (Конст. Багр.).
90. \*p(a)račina- 'восточный'? : civitas Parasinum, в Тавриде (Плин.). Ср. др.-инд. Prācya-, народ, букв. 'восточные', Práxoi (Страб.).
91. \*psal- 'песок': Ψάτης (Страб.) = *Кумлы-Кубань* (Клапрот). Ср. греч. φάμαθος.
92. \*pula 'город'? : Φουλ(λ)αι, место в Тавриде (Жит. св. Ио. Гот.). Ср. др.-инд. rug(a).
93. \*pura 'город': Ругга, город у Меотиды (Плин.). Ср. др.-инд. pura 'город'.
94. \*rokas 'светлый': Rocas, Rogas, народ у Черного моря (Иорд.). Ср. др.-инд. rokás 'свет'.
95. \*ruk-ōsta? 'светлое устье'? : *Рукуста*, дер. в Ю.-З. Крыму. Ср. др.-инд. ruk- (в слож.) 'светлый', óṣṭha 'уста'.
96. \*rukša-tar? 'белый берег'? : Rosso Tar, в Зап. Крыму (ит. карты). См. раздел II.
97. \*rukši-nau-var?: 'Ρευξι-ναλοι, племя (декр. Диоф.). См. \*nau-var- и раздел II.
98. \*salā 'сток'? 'склон'? : *Сала*, ряд мест в Крыму. См. еще \*sal-gir-, \*sal-ōsta. Ср. др.-инд. sará 'водопад'.
99. \*sal-gat?: *Солхат* 'Старый Крым'. Ср. \*salā и др.-инд. gātú 'дорога'?
100. \*sal-gir(i): *Салгир*, река в Крыму. Ср. \*salā и др.-инд. girí 'гора', также в назв. рек.
101. \*sal-ōsta 'устье гор \*salā': Salusta, *Алуцита*. Ср. \*salā и др.-инд. óṣṭha- 'уста'.
102. \*sal(a)-tura?: стар. Чалтура, соврем. Челтера, место в Крыму. Ср. др.-инд. Šalā-tura.
103. \*saraka: Σαράχα, место на реке Вардан (Птол.). Ср. др.-инд. sará- 'ручей', 'пруд'.
104. \*sar-i 'женщина': [Σ]αρία, женск. имя (босп. эпиграфика).
105. \*sarikā: Σαρύκη γυνή (босп. эпиграфика). Производное от предыд.
106. \*sarkar- 'камень': sacrium 'янтарь' (Плин.: скиф.), *Цукур*, *Сокур*, лиман. Ср. др.-инд. śarkarā- 'камень', Śarkarā, позднее Sukkur, город.
107. \*sasa- 'заяц'? : Σάσας, имя синда. Ср. др.-инд. šaśá- 'заяц, кролик'.
108. \*satt-arha: Satarchei Spalaei, племя в Тавриде (Плин.). Сложение с пракр. satta '7': др.-инд. класс. sapta-? Ср. \*satt-auka-.
109. \*satt-auka- 'семь уделов': Satauci, племя в Тавриде (Плин.). См. раздел I.

110. \*sibi- 'болото'?: civitas Sibensis, близ Таматархи. Ср. иллир. \*sib- (*Σιβέντον*)?
111. \*sibri-apa- 'светлая вода': Σιβριάπα, место на р. Вардан (Птол.). См. раздел II.
112. \*sili- 'каменный': Σίλις, название Танаиса (Евст.). Ср. др.-инд. sīlā 'камень'.
113. \*sindak-: Σίνδαξ, личное имя собств. в Горгиппии. Производное от \*sinda(va)-.
114. \*sinda(va)-: Σίνδοι, народ (Герод., Страб., Стеф. Виз.), Σίνδος, личное имя в Горгиппии. Ср. др.-инд. sindhava-. См. \*sindu-.
115. \*sindu- 'река': Sinus 'Танаис' (Плин.: скиф.). Ср. др.-инд. Sindhu 'река, Инд'.
116. \*singula-/ \*hingula-: Συγγουλ (Конст. Багр.), Ингул. Ср. др.-инд. Hingulā, река.
117. \*siraka-: Σίρακες, Σιρακοί, народ (Страб.). Ср. др.-инд. sirā 'река, вода'.
118. \*sita- 'мост': Sita, босп. город (Рав. Ан.). Ср. др.-инд. setu- 'мост' и kṣva-saita-.
119. \*sitaka-: Σιτάκη, местность у Меотиды (Страб.). Ср. \*sita- и др.-инд. Setaka.
120. \*sōl? 'солнце': τῷ θεῷ Σῶλ (надп. на Таман. п-ове).
121. \*sr̥-bi-: Serbi, Cephalotomi (Плин.), Σέρφοι, народ на Сев. Кавк. См. раздел II.
122. \*su-pa(r)ta- 'добрая гавань': Suppatos (Рав. Ан.) = Новороссийск. Ср. др.-инд. su- 'хороший' и \*pa(r)ta- (см.).
123. \*su-pat?- \*sam-pat?- 'стечение путей': Cnam, ст.-тат. S[u]bat, место на перекрестке путей в степном Крыму. Ср. др.-инд. path- 'путь'.
124. \*sur-uba 'кислая вода': Σούρουβα, место на реке Вардан (Птол.). Сложение \*sūr- 'кислый' и \*ab-/ \*ap-, ср. \*mar-ab-, выше.
125. \*su-varna- 'золотой': Σουρνοί, народ к сев. от Кавк. (Птол.). Ср. др.-инд. suvárṇa- 'золото, красивый, благородный'.
126. \*su-vasa- 'доброе жилье': Soza, город дандариев (Тац.), Σῶζαι, место под Херсонесом (Конст. Багр.). Ср. др.-инд. su- и vāsa- 'одежда, защита'.
127. \*ta(d)-biti 'бьющая': Taþitī, богиня скифов (Герод.) Ср. др.-инд. tad 'это' и \*biti (см.).
128. \*tailap?-: Tайлап, река в Крыму. Ср. др.-инд. Tailaparqī, река в Индии?
129. \*taj?- : Tačōc, место на кавк. побережье и в Тавриде.
130. \*takanda: Takonda, место в Крыму. Таврск. образование на -nda?
131. \*takata-: Takata, река в Партените, Крым. Ср. др.-инд. tákta 'спешить'.
132. \*takšaka-: Táxaxīs, царь скифов (Герод.). Ср. др.-инд. Takšaka-, имя принца.

133. \*tarika- 'береговой': Τορικός, место на кавк. побережье (Пс.-Скил.). Ср. др.-инд. tarika- 'паром, лодка'.

134. \*tarita-: Τορέται, народ на кавк. побережье (Скил.). Родственно предыд.

135. \*tarpata-: Τάρπητες, народ (Страб.). Ср. др.-инд. tarpa- 'плот, корабль'.

136. \*tava-dara-: Θεοδωρό, место в Крыму (XV в.). Сложение индоар. \*tava- 'сильный' и \*dara- 'пещера' (см.).

137. \*tem-arun-dā 'кормилица Черного моря': Temarundam 'Меотида' (Плин.: скиф.). Ср. др.-инд. támās, ágta-. См. раздел I, выше.

138. \*tirgutaviā: Τιργαταώ, имя жены синд. царя (Полиен). Ср. Tırgutawiya, женск. имя в Передней Азии. См. раздел I, выше.

139. \*tukandita?: Τυχανδειτῶν, этникон? (босп. эпиграфика). Производное на -ita от \*tukanda, ср. \*tu-/\*tava- 'сильный', др.-инд. káṛda 'ствол'?

140. \*tur(a)-ga- 'быстро идущий': Τύργ[α], личное имя (синд.?). Ср. др.-инд. turaga.

141. \*tur-ambā 'быстрая вода': Τυράμβη, место в Аз. Боспоре (Страб.). Ср. др.-инд. turá- 'быстрый', ámbi 'вода'.

142. \*turī takā 'быстрое течение': Τυριτάχη, место на Боспоре Кимм. Ср. др.-инд. turá-, ж. р. turí- 'быстрый', tákti 'спешить'.

143. \*tiāgin: Teaginem, Tēgine, место на Боспоре Кимм. (Рав. Ан.), Эльтиген; Тягинъ, на нижнем Днепре. Ср. др.-инд. tyāgin 'самоотверженный'. См. выше.

144. \*ip-āgra-: Πάγρα, гавань на кавк. побережье (Арриан). Ср. др.-инд. ipāgra- 'крайний'. Ср. \*agta-, выше.

145. \*ura-ga- 'змея': Ύραга, гора близ Алушты. Ср. др.-инд. urágā- 'змея'. См. выше.

146. \*us-kṛd-ia?: Οὐσκάρδιοι, Oscardeos, племя (Плин.). Ср. \*uspa-.

147. \*uspa- 'жилье'? : urbem Uspen, город сираков (Тац.). Производное с суф. -р- от \*ues-/\*us- 'живьть, пребывать'?

148. \*vānī-tika- 'ткаческий'? : porta Vonitiche, vel Filatorum, название ворот в Кафе (1455 г., генуэзск. документы). Ср. др.-инд. vāṇī 'тканье'?

149. \*vṛdan-?: Οὐαρδάνης, река (Птол., Страб.), возможно, рукав Кубани. Ср. Шимардан, деревня на Таман. п-ове. Ср. др.-инд. Marud-vṛdhā, название реки Инд.

150. \*vrikš-ava- 'бараний лоб': Βριξάθα·χριοῦ μέτωπον (Пс.-Плут.). Ср. др.-инд. vrikṣa- 'дерево' <'выросшее', здесь — 'холм' (?), и ав-'овца, баран'.

## II

Хотя предпринятый выше пересмотр проблемы в пользу допущения более заметного вклада индоарийского элемента посвящен, так сказать, дославянскому периоду жизни этих земель, я попытаюсь показать на нижеследующих примерах, что этой пробле-

мой могли бы также заинтересоваться и слависты и что в результате мы можем обнаружить неожиданные связи там, где до сих пор зияют пробелы. Нижеследующие новые фактические дополнения и соображения, как мне кажется, интересны как материал для вечной темы, сформулированной в свое время покойным М. Фасмером: «Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven». Подзаголовком и собственным содержанием этого его давнего исследования о древнейших местах обитания славян явились, как известно, «Иранцы в Южной России». С мыслью о древнейших местах обитания славян мы говорим сегодня здесь об индоарийцах в Южной России, или, точнее, на Юге Европейской части СССР.

Нередко говорят об отсутствии у славян сношений с Боспорским царством; известен также тезис об отсутствии самих славян в античном Северном Причерноморье. Эти старые воззрения нуждаются в ревизии в том смысле, что между древнейшими местами обитания славян (мы намеренно избегаем менее удачного термина *п р а р о д и н а*) и древним культурным районом Северного Причерноморья существовали связи и следы этих связей сохранились. Более того, названные связи, по крайней мере отчасти, относятся к индоарийскому компоненту североопонтского населения. Наши наблюдения над реликтами этого рода касаются (1) этнонимов, (2) культурной лексики и (3) сведений о берегах Черного моря.

У латинских и греческих авторов раннего средневековья восточная часть тогдашнего славянства упоминается под названием *"Аутас"* (Прокопий), *Antes* (Иордан). Эти названия, конечно, старше упоминаний о них в литературе. Кроме того, ясно, что название *а н т ы* никогда не было самоназванием славян, оно дано им извне. Обычно думают, что его дали иранцы. Любопытно, что, считая иранским, ученые сближали этот этноним с тохар. *ant* 'равнина'<sup>8</sup>, с лексемой 'слепой, темный', представленной как в авест. *anda-*, так и в др.-инд. *andhá-*<sup>9</sup>, и, наконец, с исключительно древнеиндийским *anta-* 'конец, край'<sup>10</sup>. В результате такой уязвимой методики понятие 'иранский' приобретало все более географический, а не лингвистический характер. Начнем с того, что в этнической номенклатуре самих иранцев (скифов, сарматов) нет антов, а попытки выделить этот этноним в составе названий сарматских социально-этнических группировок *Limigantes*, *Ardaragantes*<sup>11</sup> вызывают сомнения. Тохарская этимология (выше) очень ненадежна, сближение с *anda-* 'слепой' прежде всего встречает препятствие в фонетике. Остается наибо-

<sup>8</sup> Vernadsky G. Ancient Russia. New Haven, 1943, c. 82.

<sup>9</sup> Pekkanen T. The ethnic origin of the ΔΟΥΛΟΣΠΟΡΟΙ. Helsinki, 1968 (= *Actos. Acta philologica Fennica. Supplementum I*), c. 130–131.

<sup>10</sup> Rudnyckyj J. Etymological dictionary of the Ukrainian language I, c. 27.

<sup>11</sup> Pekkanen T. The ethnic origin..., c. 141; *Он же*. — Ural-Altaische Jahrbücher, Bd 45, 1973, c. 11, 15 (с литературой).

лее импонирующее нам сближение "Анта" с др.-инд. *anta*- 'конец, край', безуокоризненное фонетически, а также семантически, потому что так называемые анты в самом деле занимали юго-восточный край славянства, известный впоследствии под названием *Украина*. Следует отметить, что как раз иранцы так назвать славян не могли, поскольку обозначали конец и край своим особым древним диалектным словом \*karana- (авест. *karana-*, осет. *kægən* и др.). Назвать восточных славян термином \*anta-, видимо, могло в силу изложенного индоарийское оседлое земледельческое население Юга Украины — возможно, скифы-земледельцы Геродота, подвластные собственно скифам-иранцам (кочевникам или царским скифам). Трудно, как нам кажется, не видеть территориального и этнического тождества этих подвластных скифов-земледельцев (*Σκύθαι Γεωργοί*), иначе *Scythaes degeneres et a servis orti* 'низкорожденные «скифы»', 'дети рабов' (Плиний) с «низкорожденными», «подлыми» синдами — *Sindi ignobiles* (Аммиан Марцеллин) тех же низовьев Днепра и примыкающих мест. Именно к ним, а, разумеется, не к славянам<sup>12</sup> применима живучая послегеродотовская легенда о «детях рабов» (греч. *Δούλοβοτέροι*), отражающая индоарийско-иранские земледельческо-кочевнические социально-политические отношения в этом районе. Гегемония иранских скифосарматов над «низкорожденными» синдами (*Sindi*, сюда же *Si(n)dones*), возможно, частично распространилась к западу, на соседних бастарнов, имя которых, неудачно толковавшееся из германского<sup>13</sup>, скорее всего восходит к иранскому эквиваленту (или прототипу) греческого *δούλοβοτέροι* — \*bast-arna- 'потомки рабов', ср. др.-перс., авест. *basta-* 'связанный' и иран. \*arga-, родственное греч. *έρυος* 'отприск'. Связывать упомянутых «детей рабов» — дулоспоров после этого со славянами только на том основании, что, по Прокопию, в старые времена склавины и анты звались *Σπόροι*<sup>14</sup> (буквально 'дети, потомки!'), было бы явной неосторожностью. Надо полагать, что древние славяне, подобно другим народам на ранней ступени развития, до оформления подлинных этнонимов называли себя 'потомки, дети', 'люди'. Мы Словѣни, прости чадъ, — читаем мы в Житии Мефодия. Вполне возможно, что прокопиевское *Σπόροι* есть всего лишь перевод славянского ѡძѣ 'дети, потомки'.

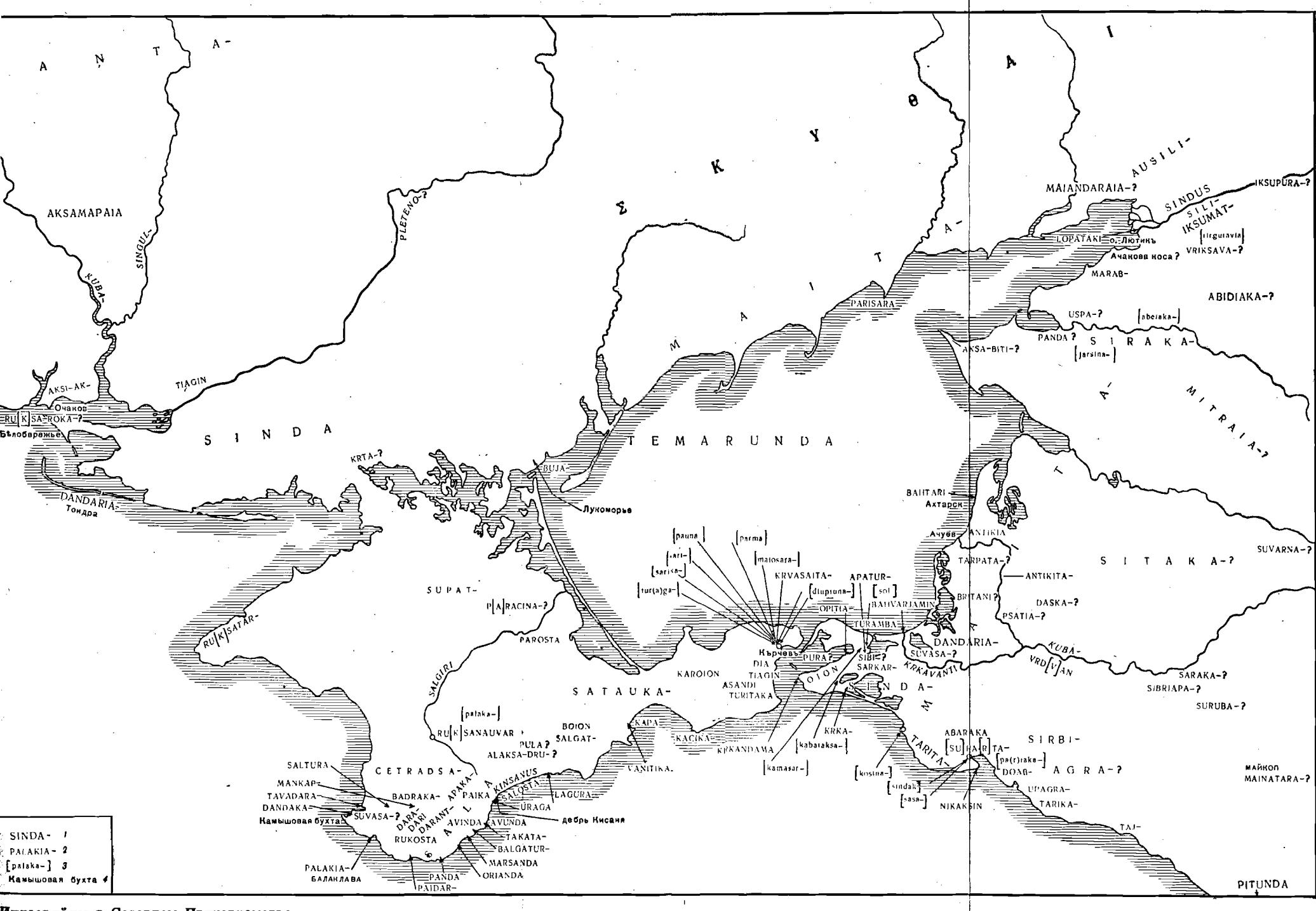
Необходимо отметить, что и самоназвания некоторых славянских племен или племенных союзов ведут свое начало из Северного Причерноморья в широком смысле слова: Давно известно сближение у Погодина славянского этнонима \*хървати, *хорваты* с иранским личным собственным именем *Хоруваθος* в эпиграфике Танаиса II—III в. н. э.<sup>15</sup> То, что имя славянских сербов про-

<sup>12</sup> Отнесение традиции о *δούλοβοτέροι* к славянам см.: *Pekkanen T. The ethnic origin...*, с. 131.

<sup>13</sup> Там же, с. 109 (там же предшествующая литература).

<sup>14</sup> Там же, с. 123.

<sup>15</sup> Литературу см.: *Фасмер IV*, 262; *Skok. Etim. гјечн.*, I, 691—692.



## **Индоарийцы в Северном Причерноморье**

— этническое название; 2 — местное название; 3 — личное собственное имя; 4 — (древне)русское название

делало примерно тот же путь, явствует из наличия так называемых античных сербов на Северном Кавказе. Еще Добровский считал, что имена *Σέρβοι* и *Срби* этих мест дали имя позднейшему славянскому народу<sup>16</sup>; век критики подверг эту мысль сильному сомнению, хотя неудовлетворительность всех прочих объяснений<sup>17</sup> вынуждает — в свете также других вероятий — вернуться к упомянутой мысли вновь. Связь слав. \**sъrbъ* и *Σέρβοι*, *Serbi* в античном Северном Причерноморье слишком очевидна. В другом месте я уже указывал на упоминание у Плиния рядом с меотскими керкетами (торетами) народа *Serri*, *Cephalotomi* (Плин. NH VI. 16), что предлагается прочесть как *Serbi Cephalotomi*, причем, видимо, индоарийское *ser-bi* глоссировано греческим *κεφαλο-τόμοι*, которое само по себе нигде не встречается как название особого народа, но только как эквивалент-перевод, ср. еще *Σαραπάρας* — *κεφαλοτόμος* у Страбона. *Σαραπάραι* отражает иранскую форму названия головы, ср. авест. *saraθ-*, тогда как вокализм *Σέρβοι* (вар. *Σέρβοт*, Птол.) ближе к др.-инд. *síras* 'голова'<sup>18</sup>.

Сознавая всю ответственность шага, мы хотели бы коснуться здесь некоторых новых возможных аспектов происхождения этнического названия *Русь* в ряду рассматриваемых проблем. Самой сильной до настоящего времени считается скандинавская теория, и автор доклада также практически разделял ее. Теория эта широко известна даже за пределами славянского языкоznания; пользуясь этим, мы не приводим здесь ни ее аргументацию, ни (огромную) литературу<sup>19</sup>. Впрочем, есть в этой признанно веской теории и трудно разрешимые противоречия, на что тоже давно обращено внимание. «Тезис о том, что имя *Русь* является славянской передачей финского названия Швеции, которое через посредство какого-то другого, возможно, гуннско-турецкого народа пошло в форме 'Рѣс' к ромеям (и арабам), до сих пор не доказан. До сих пор берега Понта и Меотиды остаются местом, где это имя впервые выступает перед нами в документированной истории»<sup>20</sup>. Документированная история этих мест действительно знает, например, упоминание народа *Hr̄os* по соседству с амазонками, т. е. у Азовского моря, в середине VI в. (Церковная история Захарии ритора<sup>21</sup>), т. е. за 300 лет до призываия варягов. Концом VII — началом IX в. (т. е. тоже доваряжским временем) датируются упоминания племени *Русь*, 'Рѣс' в Тавриде и на берегах Черного

<sup>16</sup> Dobrovský J. Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur. Prag, 1818, c. 9.

<sup>17</sup> Включая пространную попытку выведения из кавказских языков: Županić N. Srbi Plinija i Ptolemeja. Pitanjje prve pojave Srba na svetskoj pozornici sa historijskog, geografskog i etnološkog stanovišta. — Зборник радова посвећен Ј. Цвијићу. Београд, 1924, с. 555 и сл.

<sup>18</sup> Трубачев О. Н. Некоторые данные об индоарийском языковом субстрате Северного Кавказа в античное время (рукопись).

<sup>19</sup> См.: Фасмер III, 522—523.

<sup>20</sup> Marquart J. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Leipzig, 1903, с. 355.

<sup>21</sup> Там же, с. 355—356.

моря в житиях Георгия Амастридского и Стефана Сурожского<sup>22</sup>. Ср. также известное противопоставление Руси (юга) и новгородских словен, а главное — признание многими историками факта существования азовско-черноморской Руси<sup>23</sup> и раннего освоения восточными славянами Приазовья. Правда, и Маркварт, и Васильевский, и Лавров<sup>24</sup> удивительным образом приходили к выводу, что народ 'Рѣс' в Тавриде и Приазовье все-таки был германским и даже готским, хотя готы всегда называются там своим именем, как и прочие германцы этих мест — евдусиане, герулы. Теория Иловайского о роксоланах как росс-аланах<sup>25</sup> сильно дискредитировала и затруднила поиски в этом направлении, однако кажется, что продолжать искать надо именно тут, потому что при этом открываются связи имени *Русь* и значение его прототипа, как будто исключающие германскую этимологию. Мы вынуждены коснуться этих вопросов в докладе лишь кратко и предварительно. Коротко говоря, сюда относится название роксоланов — греч. 'Ρωξολανοί (I—II вв. н. э., Страбон, Птолемей). Его толкуют по-ирански 'светлые аланы', но иранский знает только форму \*gauhšna- 'свет, светлый', которая в этой позиции должна бы сохраниться<sup>26</sup>, чего не произошло. То, что имеется, напоминает др.-инд. rukṣa- с близким значением. Несколько не по-ирански звучит этническое название 'Рευξιλαοί из более раннего времени (херсонесский декрет в честь Диофанта, конец II—нач. I в. до н. э.<sup>27</sup>), которое явно относится сюда же. Далее, сюда же — реликты Rosso Tar, Rossatar на западном берегу Крыма, в старых итальянских картах<sup>28</sup>, и, наконец, деревня *Rukusta* в юго-западном Крыму. Есть основания полагать, что во всех этих названиях первый компонент значил 'светлый, белый'. Др.-рус. *Бѣлобережье*, район в низовьях Днепра, и, как мы думаем, явно покрывающее его гибридное Roga-stadzans у Иордана (второй компонент — гор. *stadja* 'берег') помогают этому прочтению. Семантическим эквивалентом двух последних мы считаем упомянутое Rosso Tar 'светлый берег', локализуемое в Акмечетском (турк. ак- 'белый!') заливе. Диофант оборонял Херсонес от тавров, местных скифов и несколько загадочных ревксиналов. Царская столица таврических скифов, известная у греков как Νέα πόλις 'новый город', предположительно носила и эпитет

<sup>22</sup> Васильевский В. Г. Русско-византийские исследования. Вып. 2. СПб., 1893, passim.

<sup>23</sup> Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 34, 83, 84.

<sup>24</sup> Лавров П. Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві. (Розвідка). Київ, 1928, с. 17.

<sup>25</sup> Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. 2-е изд. М., 1882, с. 144—145.

<sup>26</sup> Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. II. Л., 1973, с. 437.

<sup>27</sup> Latyshev B. Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini, vol. I. Petrov., 1885, № 185.

<sup>28</sup> Шахматов А. Варанголимен и Россоффар. — В кн.: Историко-литературный сборник. Посвящается Всеволоду Измаиловичу Срезневскому. Л., 1924, с. 166 и сл.

'светлый', отголосок чего сохранялся в татарском названии сопредельного Симферополя — Акмечеть 'Белый храм'. Смутным отголоском названия «скифского» или, скорее, 'Белого Нового города' является, по нашему мнению, рассказ о чуде Стефана Сурожского, особенно в пересказе Жития Димитрия Прилуцкого: пришедъ князь ѿ рѹскаго нова града... <sup>29</sup> Может быть, мы таким образом лучше поймем и знаменитый рассказ о деяниях Кирилла-Константина в Тавриде, который «обрѣте же туу евангеліе и псалтирь роусьскими писмены писано...» (Жит. Конст. VIII). Первоучитель славян нашел здесь образцы письма не готов, но еще и не русских-славян, а возможно, местных псевдоскифов (ведь не совсем ясно, кого имел в виду Иоанн Златоуст, IV в. н. э., когда сообщил о том, что скифы перевели святое писание на свой язык <sup>30</sup>). Небезынтересно в связи с вышеизложенным отметить, что наличие форм гuk-, goka-, гukša- 'светлый, блестящий' характеризует как раз древнеиндийский и отличает его от иранского, как и вычленяемое выше tar- 'берег'. Почему \*ruks- не дало на славянской почве закономерное \*гих-? Почему мы имеем форму Рѹсь, а не ожидавшуюся \*Рѹшь? Состоялось ли народно-диалектное упрощение ks > s (s) еще на дославянской почве? <sup>31</sup> Новая теория, как это нередко бывает, ставит вопросов больше, чем дает ответов. И тем не менее именно неподалеку от «русаго нова града» (Неаполя Скифского? <sup>32</sup>) имел Кирилл еще один достоверный случай общения с этим загадочным населением: Бѣше же во Фоульстѣ языци доубъ великъ, сросльса съ чрешнею, подъ нимже требы дѣахоу, нарицающе именемъ Алѣксандръ, женьскоу полоу не дающе пристоушати къ немоу, ни къ требамъ его (Жит. Конст. XII). Естественно, язычники не могли назвать свое священное дерево крестным именем 'Алѣксандрос', явившимся здесь лишь записью по созвучию туземного (индоарийского таврского?) \*alakša-dru- 'дуб-защитник' или 'запретное дерево' (ср. др.-инд. gáksati 'охранять', греч. ἀλέξω то же, др.-инд. d(a)gi- 'дерево'), которое не могло быть ни иранским, ни готским.

Поскольку план этнонимов — как важнейший — пришлось подать несколько шире, план культурных заимствований и древних сведений славян о берегах Черного моря придется изложить в заключении доклада совсем кратко, также в силу мозаичности самих этих данных.

<sup>29</sup> Васильевский В. Г. Указ. соч., с. CCLXXXVII—CCLXXXVIII. Предполагать здесь Новгород Великий элементарно невозможно, как было ясно еще прежним исследователям.

<sup>30</sup> Ebert M. Südrussland im Altertum. Bonn und Leipzig, 1921, с. 109.

<sup>31</sup> Так называемый «Золотой» берег — Χρυσὸς Δεγόμενος — у Константина Багрянородного не есть ли греческая народная этимология (chrys-) предполагаемого нами местного первоначального \*rus- 'белый', так как речь идет о Белобережье? В Приазовье сюда могло бы относиться Malo-rossa с упомянутым упрощением ks, а также город 'Рѡзіа, XII в.

<sup>32</sup> Эту идеентификацию см.: Соболевский А. И. — Изв. Таврического общества истории, археологии и этнографии, т. III. Симферополь, 1929, с. 1.

Из возможных апеллятивных культурных заимствований указем на слав. \*sъrebro из индоар. \*śub(h)ri ара 'светлая вода', ср. др.-инд. śubhṛā- 'красивый, светлый', ср. Σιβρίάτα на Кубани (Птол.)<sup>33</sup>.

Особую проблему, на которую я хотел бы еще обратить внимание, составляют лингвистически вскрываемые сведения у древних восточных славян о черноморском побережье и отражение в этой информации преемственности древних форм языка. Так, если тюрк. *Kirk-er* и лат. quadraginta castella — о Юго-Западном Крыме — подводят нас к раскрытию в составе названий Тетра́с-тас, Трапе́ц-объс=Чатыр-даг некоего туземного \*četra dsa- 'сорок(городов)', то знание этого факта (тамошнего многоградья) собственно Русью подтверждается, например, и договором Игоря с греками 945 г. (Лавр. лет.): А о Корсуньстѣи странѣ, елико же есть градъ на тои части, да не имать власти кнѧзь Русьскыи...

Можно считать, что в V—VI вв. славяне вышли на берега Черного и Азовского морей. Тогда еще существовали тысячелетние боспорские города и синдомеотский элемент в них еще не совсем угас (в 703 г. в последний раз упомянута Фанагория, боспорский царь VI в. носил туземное имя Διούπτούης, Δούπτοῦνος). В связи с этим мы этимологизируем др.-рус. *Кърчевъ*, *Керчь* не от *кърчи* 'кузнец' (Абаев), а от местного продолжения др.-инд. *kṛka-* 'горло' (город при горловине!), ср. сюда же *Объроú* (Конст. Багр.)<sup>34</sup>, синонимичное тюркскому *Богаз*, горловина перед бывшим черноморским устьем Кубани, и еще более древнему греч. Σινδικὸν διάφραγμα 'синдская расселина' (Гиппонакт). Современное *Керчь*, раньше — *Керче*, ит. *Cherz* носит печать тюркского вокализма. Хорошо знаком был древнерусским племенам северный берег Азовского моря. Уже старшие русские летописи, говоря о походах XII в. в эти места, знают безусловно более древнее название местности: *Лукоморье*. *Лукоморье* или *Лука моря* 'изгиб моря, залив', по данным Картотеки Древнерусского словаря, связывается главным образом с заливами северного азовского побережья и напоминает нам *Buges* или *Vices* у Плиния, которое обозначало тот же северо-западный угол Азовского моря и которое мы сближаем с др.-инд. *bhogá-* 'изгиб', *Bhojá-*, название страны (этот корень известен также в германском, но около начала нашей эры там, конечно, еще не было никаких германцев).

Всю нощь съ вечера бусови врани възграяху у Пльснъска на болони, бъша дебрь Кисани и несочася къ синему морю. — Это место Слова о полку Игореве остается темным главным образом из-за загадок топонимии: *Плеснесь* или *Плесенск* искали в Галиции и близ Киева, а названия *Кисань* так и не нашли «на целой

<sup>33</sup> Трубачев О. Н. Серебро. — В кн.: Восточнославянское и общее языкознание. М., 1977.

<sup>34</sup> Еще Татищев правильно увидел здесь вторичное тюркское наращение гласного в начале слова, см.: Татищев В. Н. История российская в семи томах, т. 1. М.—Л., 1962, с. 188.

Руси»<sup>35</sup>. И, однако, Слово в данном пункте содержит точную, хотя и уникальную информацию об округе Кисан, Κισάνον (XIV в.) в долине Алушты, в Крыму. Это название, при всей его этимологической неясности и относительно поздней средневековой документации<sup>36</sup>, носит старый характер и локализуется в земле тавров. Контекст Слова лишь подтверждает наше сравнение и укладывает его в точный маршрут бусовых (?) воронов, которые «... были в долине Кисанской и понеслись к Азовскому морю» (ибо синее море в древнерусской литературе — это Азовское море, ср. еще любопытное Синяя вода=Дон).

Во времена Страбона в донском устье был известен большой остров *'Аλωπεχία*. В последние десятилетия XVII в. поступает известие об острове *Лютикъ*, «знатнейшем» из островов дельты Дона. Существует, далее, мнение, что страбоновская Алопекия и современный остров Перебойный, крупнейший в устье Дона, — это одно и то же. Итак, *'Аλωπεχία* — *Лютикъ* — *Перебойный*. Задачу можно, кажется, решить, только предположив в основе всего преобразованное греческой народной этимологией слово туземного языка *\*lopa-taka-* или *\*lopa-takī* 'ломающее течение', ср. др.-инд. *lora-* 'прорыв, уничтожение', *takti* 'спешить, нестись'. Созвучию с греч. ἀλώπηξ 'лиса' способствовало вероятное наличие близкого слова в местном индоарийском диалекте, ср. др.-инд. *lopāśā-* 'лисица'. И все-таки исконное значение туземного названия острова удержалось, вопреки всему, вплоть до наших дней, когда остров носит русское название *Перебойный* (= *\*lopa-taka-*). История этих названий не лишена интереса и для русской лексикологии, потому что мы привыкли обозначать словом *лютик* только растение *Ranunculus sceleratus*, и мотив этого обозначения коренится во вредных свойствах самого растения, причем слово *лютик* калькирует лат. *sceleratus* 'преступный'. Название донского острова *Лютикъ* XVII в. не имеет ничего общего с этим ученым словом, появляющимся, по данным Картотеки Древнерусского словаря, только в лечебниках конца XVII в. (ср. случайную омонимию *Судак* в Крыму и *судак* 'рыба').

Суть всей проблемы, представленной выше, можно выразить кратко: дальнейшая жизнь имен и слов в Северном Причерноморье с античной эпохи вплоть до славянского, русского языка. Под впечатлением готских войн, переселения народов, гуннских и тюркских нашествий, от которых страдала эта земля, ученые неохотно верят в возможность этой дальнейшей жизни и даже сохранения остатков языка. И все-таки именно здесь таится много нераскрытое для истории языка, как и для истории вообще.

<sup>35</sup> Партицкий Ом. Цит. по: Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слово о полку Игореве», вып. 2. Л., 1967, с. 183—184.

<sup>36</sup> Бертье-Делагард А. Л. Исследование некоторых недоуменных вопросов средневековья в Тавриде. — Зап. имп. Одесского общества истории и древностей, т. XXXII, 1915, с. 238.

## ИСКОННОЕ И ЗАИМСТВОВАННОЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

На протяжении многих веков в русской письменности происходил сложный процесс взаимодействия русской и церковнославянской языковых стихий. Как известно, старославянский язык (с самого начала своего существования наддиалектный, но в основе древнеболгарский), перенесенный на Русь, приобрел особенности древнерусской народной речи и стал церковнославянским языком русской редакции. Древнерусский письменный язык вбирал в себя многочисленные церковнославянизмы, что облегчалось близким родством обоих языков. Создавались и разные формы «срединного» языка (сплава древнерусского и церковнославянского с преобладанием элементов того или другого), границы которого были неустойчивыми. Языковые особенности древнерусской (позже великорусской) письменности зависели от разных причин (тематики и назначения текстов, уровня образования и социальной принадлежности грамотных людей, различия литературных направлений и др.), в том числе и от сознательного предпочтения (соответственно пренебрежения), которое отдавалось древнерусскому или церковнославянскому языку.

Высказывания о преимуществах и недостатках того или иного языка начались с самой ранней поры русской письменности, и их было очень много<sup>1</sup>, причем эти высказывания имели свою классовую подоплеку. Еще у митрополита Иллариона (середина XI в.), писавшего на церковнославянском языке русской редакции, блестящего публициста, ясно оказывается пренебрежение к «простой» народной речи: «не к неведущим бо пишем, но преизлиха насыщшемся сладости книжныя». Митрополит Климент Смолятич (середина XII в.) на упрек смоленского пресвитера Фомы, что Климент пишет невразумительно, с презрением отвечал, что он писал не для малообразованного Фомы, а для просвещенного князя. Лингвистические споры особенно обострились в XV—XVII вв., времени церковнославянской архаизации языка не только клерикальной литературы, но и многих других жанров письменности. Начавшее процветать «извитие словес» преследовало цель утвердить церковнославянские основы русского литературного языка, отдалить литературный язык от народной

<sup>1</sup> Многие из этих высказываний приведены в книгах: Ягич И. В. Рассуждение южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. СПб., 1895; Булич С. К. Очерк истории языкоznания в России, т. 1. (XIII в. — 1825). СПб., 1904.

речевой стихии. Для церковной реакции важно было добиться не понятности текста, цель была иной: создать благоговейное удивление перед чем-то величественным, мистическим, священно-таинственным. Дело доходило до крайностей. Даже Курбский, сторонник церковнославянского языкового «благолепия», вынужден был заметить по поводу «Богословия» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха, что «Богословие» «ко вразумению неудобно и никому же познаваемо» (=ни для кого непонятно).

Разумеется, в XV—XVII вв. в языке письменности было не только «извитие словес». Набирали силу демократические жанры. В XVII и особенно XVIII в. наступает решительный перелом: формируется национальный литературный язык. В русской лексикографии появляется характерная стилистическая помета «славенское», которая, несмотря на неопределенность и расплывчатость ее значения, указывала на обособление русского литературного языка от церковнославянского. «Славянизмы» отделяются от нейтральной или иной лексики, становятся одним из стилистических пластов русского литературного языка. Уже в XVIII в. они начинают сливаться с архаизмами, так как в их состав писатели и лексикографы включают обветшавшие исконно русские слова и формы и даже некоторые заимствования из западноевропейских и иных языков. Писатели и филологи XVIII в. «по-разному представляли себе церковнославянский язык и не знали даже в общих чертах историю русского языка»<sup>2</sup>. Творчество Пушкина завершило процесс создания русского литературного языка как единой и целостной системы. Помета «славенское» перестает употребляться в словарях. Ее заменяет помета «церковное» (иногда «церковнославянское»), которая прежде всего относится к словам, обозначающим предметы и явления церковного обихода и характерным для цитат и текстов священных книг. Подобного рода слова не составляют особого стилистического пласта вроде «просторечия», «разговорного», «областного», «специального», «книжного» и пр., а представляют собой отраслевую лексическую группу подобно тем группам, которые нередко получают в некоторых словарях пометы «музыкальное», «медицинское» и т. п. Церковнославянизмы в языковом сознании объединяются с архаизмами. Сам церковнославянский язык, существующий и поныне, становится исключительно языком церковных обрядов, своего рода профессиональным жаргоном.

Окончательная ассимиляция церковнославянизмов литературным языком сопровождалась бурными дискуссиями, участники которых обсуждали не только теоретические проблемы, но и практический вопрос: по какому пути должен развиваться русский литературный язык. «Никогда раньше и никогда после наши общелитературные журналы не обнаруживали такого живого интереса к языку и языкоznанию и не помещали так часто

<sup>2</sup> Орлов А. С. Язык русских писателей. М.—Л., 1948, с. 38.

статьей филологического и грамматического содержания, как в течение первой четверти XIX в.»<sup>3</sup>. После Пушкина вопрос о взаимоотношении исконно русского и церковнославянского в литературном языке становится предметом академических споров, не более того. Однако это не означает, что он теряет свою теоретическую и общественную актуальность. Для нас не безразлично выяснение истоков современного русского литературного языка и с познавательной, и с иных точек зрения. Литература по этому предмету огромна, и мы не можем здесь дать ее обзора даже в самом кратком изложении.

Существуют две главные взаимоисключающие гипотезы: современный русский литературный язык является церковнославянским (т. е. в конечном счете древнеболгарским) по происхождению, подвергшимся на протяжении веков русификации, и, в противоположность этому, русский литературный язык в генетической основе своей представляет собой исконно русское, народное образование, испытавшее воздействие церковнославянского языка. Высказывалось и множество компромиссных взглядов.

В XIX и первой трети XX в. в науке о русском языке господствовала первая гипотеза. В развернутом виде она была представлена А. А. Шахматовым, как бы подведшим итоги взглядов своих предшественников<sup>4</sup>. А. А. Шахматов исходил из того, что письменность, а вместе с нею и литературный язык, была перенесена в древнюю Русь из Болгарии. Этот церковнославянский литературный язык подвергался русификации (прежде всего в фонетике и морфологии). Он всасывал в себя русские народные элементы, асимилировал их, вобрал в себя и московский говор. Из этого, по А. А. Шахматову, следует, что церковнославянизмы в современном русском литературном языке являются не наносными элементами, не заимствованиями, а остатком общего церковнославянского основания литературного языка. Что касается древнерусского и более позднего языка деловой письменности и близких к ней жанров, в основе своей исконно народного, то А. А. Шахматов выводит эту письменность за пределы литературного языка, отказывает ей в правах литературного гражданства, чтобы не нарушать стройность своей гипотезы. А. А. Шахматов выделяет двенадцать «бесспорных» церковнославянизмов — фонетических, грамматических и лексических — и приходит к выводу: «Из предложенного обзора церковнославянизмов в современном литературном языке видно, что в словарном составе он по крайней мере наполовину, если не больше, остался церковнославянским»<sup>5</sup>.

Гипотеза А. А. Шахматова получила широкое распространение у нас и за рубежом. После выхода в свет работ С. П. Обнорского (начиная с 1934 г.), отстаивавшего автохтонность происхож-

<sup>3</sup> Булич С. К. Указ. соч., с. 708.

<sup>4</sup> Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941.

<sup>5</sup> Там же, с. 90.

дения русского литературного языка, завязалась оживленная (и подчас эмоционально перегруженная) дискуссия, продолжающаяся и в наше время. Против С. П. Обнорского выступили Л. В. Щерба, А. М. Селищев, В. В. Виноградов (последний считал гипотезу С. П. Обнорского и взгляды ее сторонников проявлением «квасного патриотизма») и некоторые другие видные ученые. Впрочем, взгляды этих ученых были далеко не идентичны. Так, например, В. В. Виноградов писал о мнении Л. В. Щербы: «Ему казалось, что основной — книжный и нейтральный, то есть свойственный и разговорным и книжным стилям, словарный массив современного русского языка является по семантическому существу своему церковнославянским. Даже те слова, которые в одинаковой мере могли восходить к старославянскому языку и устноречевой восточнославянской стихии, в своей смысловой структуре отражают или продолжают, по мнению Л. В. Щербы, традицию семантического развития старославянского языка. Согласно устным высказываниям Л. В. Щербы, около  $\frac{2}{3}$  русского литературного словаря необходимо связывать в том или ином отношении с лексико-семантической системой старославянского языка»<sup>6</sup>. Действительно, такое мнение Л. В. Щербы в устных предвоенных дискуссиях высказывал. Однако справедливости ради следует отметить, что у Л. В. Щербы были и иные определения. Он, например, писал: «Я не говорю об исконных русских элементах, которые, конечно, составили основу русского литературного языка... Именно постоянная живая связь с живым народным языком... и помогла нам переварить все то, что поглотил русский литературный язык за 1000 лет своего существования»<sup>7</sup>. Что касается позиции самого В. В. Виноградова, по ряду пучков колеблющейся и противоречивой, то она заслуживает специального исследования.

Гипотеза А. А. Шахматова была поднята на щит и в существенных своих чертах обострена и изменена Б. О. Унбегауном<sup>8</sup>. Как полагает Б. О. Унбегаун, «современный русский литературный язык продолжает никогда не прерывающуюся традицию литературного языка Киевской, удельной и Московской Руси, то есть языка церковнославянского»<sup>9</sup>. Имело место непрерывное

<sup>6</sup> Виноградов В. В. Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958, с. 60.

<sup>7</sup> Щерба Л. В. Современный русский литературный язык. — В кн.: Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 125 (впервые опубликовано в журнале «Русский язык в школе», 1939, № 4).

<sup>8</sup> См.: Унбегаун Б. О. Разговорный и литературный русский язык. — In: Oxford Slavonic papers, 1. Oxford, 1950; *On же. Le russe littéraire est-il origine russe?* — In: Revue des Etude slave, XLIV, 1965; *On же. Язык русской литературы и проблемы его развития.* — Communications de la délégation française et de la délégation suisse. Paris, 1968; *On же. Русский литературный язык: проблемы и задачи его изучения.* — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971; *On же. Историческая грамматика русского языка и ее задачи.* — В кн.: Язык и человек. М., 1970; и др.

<sup>9</sup> Унбегаун Б. О. Историческая грамматика русского языка..., с. 263.

развитие церковнославянского (=русского) литературного языка «от „Сказания о Борисе и Глебе“ до автобиографии Паустовского»<sup>10</sup>. Принимая гипотезу А. А. Шахматова, Б. О. Унбегаун в то же время считает, что Шахматов был непоследователен и противоречил самому себе. «Шахматов, определив русский литературный язык как русифицированный церковнославянский язык, в дальнейшем посвящает целую главу церковнославянским элементам в этом языке, в то время как, оставаясь логичным, он должен был бы говорить о церковнославянской базе русского литературного и о русских элементах в нем»<sup>11</sup>.

Правда, в древней Руси и позже был и другой письменный язык — язык юридических и административных документов, что «общеизвестно и споров не вызывает». «Единственное, что может и должно вызвать возражение, это присвоение утилитарному — юридическому и административному — языку литературного ярлыка», что всего лишь «прискорбная терминологическая путаница»<sup>12</sup>. Б. О. Унбегаун все же признает, что для XI—XIV вв. проблема «своего» (т. е. исконно русского) литературного языка существует, поскольку в «низких» (?) жанрах, таких как летописи и паломничества, церковнославянизмы и русизмы настолько смешивались, «что иногда трудно бывает определить, написан ли данный литературный отрывок на русифицированном церковнославянском или на славянизированном русском языке (нелитературные части летописи написаны, конечно, на русском, вернее, восточнославянском языке)»<sup>13</sup>. Однако с конца XIV в., времени так называемого «второго южнославянского влияния», произошел возврат к церковнославянскому литературному языку, который, начиная с середины XVII и на протяжении XVIII в., стал национальным русским литературным языком. Правда, фонетика его (за немногим исключением) и почти вся морфология русифицировались, но синтаксис, словообразование и лексика остаются и теперь в основном церковнославянскими. В синтаксисе русификация коснулась лишь «некоторых словосочетаний» (каких?), а структура предложения осталась нетронутой церковнославянской. Лексика, как открытая система, пополнилась заимствованиями из народного русского языка и других языков. В XIX и XX вв. происходит массовое церковнославянское новообразование. Возникают церковнославянизмы *здравоохранение*, *соцсоревнование*, *истребитель*, *хладотехника* и т. д., и т. п. Что касается слов, общих для русского и церковнославянского языка, то для Б. О. Унбегауна они, разумеется, принадлежат церковнославянскому языку. Деловой по происхождению исконно русский язык прекратил свое существование в XVIII в., как исчез и старый

<sup>10</sup> Унбегаун Б. О. Язык русской литературы..., с. 130.

<sup>11</sup> Унбегаун Б. О. Историческая грамматика русского языка..., с. 263.

<sup>12</sup> Унбегаун Б. О. Русский литературный язык..., с. 330.

<sup>13</sup> Там же.

разговорный (тоже русский) язык. Между народной русской речью и церковнославянским (т. е. теперешним национальным литературным) языком образовался серьезный разрыв, своего рода пропасть. «Таким образом парадоксально, исторические грамматики русского языка описывают эволюцию языка, обретенного на вымирание и не имеющего генетических связей с современным русским литературным языком»<sup>14</sup>. Подобного рода происхождение русского (=церковнославянского) литературного языка уникально, так как все другие славянские литературные языки сложились на базе народной речи.

Экстравагантная (если не сказать больше) гипотеза Б. О. Унбегауна была поддержана некоторыми зарубежными русистами, но получила резкие критические отзывы со стороны советских русистов<sup>15</sup>.

Жесткие и прямолинейные схемы, мало обоснованные фактами, не помогают выяснению сложных языковых процессов. Уже одно признание того, что фонетика и морфология современного литературного языка по своему происхождению являются русскими, противоречит гипотезе Шахматова—Унбегауна. Никто не будет отрицать огромного значения фонетики и морфологии для языковой структуры. Остаются лексика вместе со словообразованием и синтаксис. Если мы, вслед за Унбегауном, будем считать, что слова типа *соцсоревнование* являются церковнославянизмами, то совершенно очевидно, что в оценке лексики мы пользуемся только формально-генетическим методом и игнорируем конкретную историю языковых явлений, неразрывно связанную с историей общества, не принимаем во внимание смысловое содержание слов и их контекстов. Все же на первых порах станем на формально-генетические позиции и мы, чтобы проверить, насколько соответствуют действительности утверждения, что словарный состав современного русского литературного языка по своему происхождению «по крайней мере наполовину, если не больше», «на две трети» или даже «в основном» является церковнославянским или связан с церковнославянской лексико-семантической системой. На этот счет существуют и другие мнения. Например, М. Н. Петерсон на основании анализа нескольких пушкинских текстов пришел к выводу, что церковнославянизмов в русском литературном языке имеется всего только около 8,5%<sup>16</sup>.

Когда речь идет о генетической основе языка, статистика приобретает принципиальное значение. Количественные опреде-

<sup>14</sup> Унбегаун Б. О. Историческая грамматика русского языка..., с. 264.

<sup>15</sup> Виноградов В. В. О новых исследованиях по истории русского литературного языка. — ВЯ, 1969, № 2; Жуковская Л. П. О некоторых проблемах истории русского литературного языка древнейшего периода. — ВЯ, 1972, № 5; Шведова Н. Ю. Лингвистика. Грамматика современного русского литературного языка. — Русский язык за рубежом, 1971, № 3, с. 60—61; и др.

<sup>16</sup> Петерсон М. Н. Лекции по современному русскому литературному языку. М., 1941, с. 19 и сл.

ления церковнославянизмов в русском литературном языке А. А. Шахматова, Б. О. Унбегауна, М. Н. Петерсона и других нельзя принимать всерьез, поскольку они не основываются ни на каких подсчетах, а представляют собой всего лишь своего рода «символы веры», выражение тенденциозности теоретических установок. А. А. Шахматов и не мог произвести какие-либо подсчеты, так как в его время еще не было более или менее полных словарей нормированного русского литературного языка. В качестве доказательства своего тезиса, согласно которому лексика литературного языка состоит «на половину, если не больше» из церковнославянизмов, он приводит всего лишь 735 случайно набранных примеров. М. Н. Петерсон ограничился изучением языка только нескольких, случайно взятых пушкинских текстов. Б. О. Унбегаун вообще не делал никаких подсчетов.

Между тем более или менее точные подсчеты теперь осуществимы. Для получения статистических данных мы взяли семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка», в котором приведено немногим более 120 000 слов, и «Обратный словарь русского языка» (М., 1974), содержащий в себе около 125 000 слов. Таким образом, общая исходная цифра для нас составляет 120 000—125 000 слов. При подсчетах мы берем прежде всего явления, которые дают массовые показатели, остальные (вроде слов с начальными *a*- вместо русского *я*-, *e*- вместо *о*-, *ю*- вместо *у*-, *ra*-, *la*- вместо *ro*-, *lo*-; *щ*, *жд* вместо *ч*, *ж* в основах слов, исключая причастия, деепричастия и наречия, относящиеся к грамматическим формам и др.) показываем обобщенно, приплюсовывая их к конечному итогу.

Результаты получаются следующими. Слов с неполногласием в корнях (включая все зафиксированные в словарях архаизмы типа *брег*, *блато*, *брада*, *врата*, *млат*, *мрежа*, *праг* и т. п., в настоящее время преимущественно употребляемые некоторыми поэтами) оказалось 1475, слов с приставками *пре-*, *пред-*, *чрез-* (вместе с архаизмами типа *пременять*, *преполовение*, *преходить*, *чрезполосица*, *чресцедельник* и пр.) — 849, а всего слов с неполногласием 2324, т. е. около 1,7% общего словарного состава. Между прочим, слов с полногласием в корнях мною насчитано 2335, с приставкой *пере-* и *через-* 2490, всего слов с полногласием 4825, т. е. в два с лишним раза больше, чем слов с неполногласием. В прошлом картина была иной. В течение XIX в. происходило резкое падение употребления неполногласных форм, их частотности не только в прозаическом литературном языке, но и в языке поэзии, что было вызвано большим ограничением состава слов с неполногласием в прямых значениях (соответственно их замещением народными полногласными словами) и сведением почти на нет метафор религиозно-мифологического и библейского происхождения, вроде «берег забвения», «врата рая», «древо жизни» и т. п. Процентное отношение неполногласных и полногласных форм в языке поэзии в конце XVIII—начале XIX в. было 57,8 и 42,4 в 40—

60-х годах — уже 27,7 и 72,3, а в 70—90-х годах — 20,8 и 79,2<sup>17</sup>. В прозаическом литературном языке, особенно в его разговорной разновидности, частотность неполногласных форм в XIX в. была значительно ниже. Но мы сейчас говорим не о прошлом, а о современном состоянии русского литературного языка.

Большой удельный вес в лексике литературного языка имеют слова с суффиксами отвлеченного значения (особенно слова на *-ание*, *-ение*, *-тие*, *-ие*, *-ость*, *-ство*, *-тель*) и сложносоставные слова, которые А. А. Шахматов, Б. О. Унбегаун и их последователи безоговорочно относят к церковнославянизмам. Таких слов по моим подсчетам оказалось: на *-ание*, *-ение*, *-тие*, *-ие* 7755 (около 6% словарного состава современного русского литературного языка), *-ость* (*-есть*) — 4461 (примерно 3,6%), *-тель* (с производными *-тельница*, *-тельский*, *-тельство*) — 1388 (1,3%), *-ство* — 1269 (1%), всего 14 873 слова, или 11,9% всей лексики.

Сложных слов (любого происхождения!) по данным Б. З. Букчиной и Л. П. Калакуцкой<sup>18</sup>, насчитывается 10 100. В Семнадцатитомном и Обратном словарях их около 9000 (Б. З. Букчина и Л. П. Калакуцкая использовали и источники, которые не представлены в указанных словарях), т. е. примерно 7% русского литературного словаря.

Имеются еще образования с приставками *воз-(вос-)*, *из-(ис-)* с пространственно-выделительными значениями, *со-*, *во-*, *низ-*, которые считаются церковнославянизмами, — их всего 1250 (1% словаря). Все остальные слова с церковнославянскими признаками не превышают тысячи лексем (еще около 1% словаря). Итого по чисто формальным основаниям насчитывается как будто 26 123 церковнославянизма — около 20% лексики современного русского литературного языка, на самом же деле их гораздо меньше, поскольку часто в одном и том же слове сочетаются несколько признаков (ср. *хладнокровие* — сложное слово, неполногласная форма, *-ие* — сразу три признака, *самолетовождение*, *морозостойкость* и т. д., и т. п.). Например, по подсчетам Ю. Г. Кадькалова, более 50% форм с *-ие* (и русифицированным *-ье*) приходится на сложные слова<sup>19</sup>. Формальные признаки реализуются в слове, сами по себе они не существуют. По моей предварительной раскладке слов, которые по А. А. Шахматову и Б. О. Унбегауну мы должны считать церковнославянскими, оказывается не более 15 000, т. е. около 12%.

Остается еще группа лексико-семантических церковнославянизмов (на ее существование в русском литературном языке указывали многие исследователи), т. е. слов и значений слов, которых не было в древнерусском и великорусском языке и которые были

<sup>17</sup> Граудина Л. К. К истории неполногласных вариантов в русской поэзии второй половины XIX века. Автореф. канд. дис. М., 1963.

<sup>18</sup> Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Сложные слова. М., 1974.

<sup>19</sup> Кадькалов Ю. Г. Отвлеченные существительные на *-ие*, *-ье* в русском языке и их взаимодействие с именами существительными других суффиксальных типов. Автореф. канд. дис. М., 1967, с. 4.

заемствованы из старославянского и более позднего церковнославянского языка. Такие слова и значения слов, конечно, имеются в лексике современного русского языка, но сколько их, каков их удельный вес, мы не знаем и вряд ли узнаем в обозримом будущем времени, так как для их выявления нужна колossalная работа по сравнительно-сопоставительному и историко-этимологическому изучению всех слов русского и старославянского (церковнославянского) языков. Пока что русско-старославянские (церковнославянские) лексико-семантические сопоставления касаются единичных примеров и в ряде случаев из этих сопоставлений делаются неверные выводы. Например, в некоторых работах (особенно в учебных пособиях) считается, что такие слова, как *уста, очи, чело, перст* и др. (противопоставленные словам *рот, глаза, лоб, палец* и др.) являются церковнославянизмами, тогда как это исконно восточнославянские слова, в сфере литературного языка ставшие архаизмами, поэтому в словарях XVIII—начала XIX в. ошибочно получавшие помету «славянское». Во всяком случае можно сказать, что процент генетических лексико-семантических церковнославянизмов не может быть значительным.

Из изложенного выше следует, что утверждения, будто бы лексика современного русского литературного языка «на половину, если не больше», «на две трети», «в основном» является церковнославянской, представляет собою миф, с наукой ничего общего не имеющий. Факты рассеивают мифические гипотезы. И эти 12% предполагаемых формально-генетических церковнославянизмов (плюс некоторое количество процентов лексико-семантических церковнославянизмов), о которых сказано выше, нуждаются в комментариях.

Как было установлено выше, слова со старославянским (древнеболгарским) неполногласием составляют заметный пласт словарного состава современного русского литературного языка, хотя количественно более чем вдвое уступают словам с восточнославянским полногласием. Церковнославянское воздействие на русский язык было более значительным, чем на украинский и белорусский, что объясняется перерывом книжно-языковых традиций на Украине и особенно в Белоруссии. «В белорусском и украинском языках полногласные формы представлены шире, чем в русском»<sup>20</sup>. Как полагает А. С. Фидровская, в украинском и белорусском языках количество полногласных корней, допускающих параллельные неполногласные формы, составляет менее четверти от слов с полногласием, тогда как в русском языке их более половины<sup>21</sup>. Однако нельзя игнорировать того факта, что очень большое количество слов с неполногласием образова-

<sup>20</sup> Фидровская А. С. О полногласных и неполногласных формах в белорусском и украинском языках. — В кн.: Памяти В. А. Богородицкого. К столетию со дня рождения. Казань, 1961, с. 137.

<sup>21</sup> Там же, с. 140.

лось на русской почве, их не было в старославянском языке. Появились эти слова как в церковнославянском языке русской редакции, так и в самой русской народной речи. Например, слова *драгоцѣнны* и его производных не было в старославянском языке, нет его и в русских памятниках XI—XVI вв. *Драгоцѣнное* как русское книжное образование впервые появляется в новгородской Библии Геннадия 1499 г., а *драгоцѣнный* только в русской письменности XVII в., в записях песен и былин. Слово, по-видимому, появилось в XIV в., но широкое распространение получило только с XVII в.<sup>22</sup> Как отмечает Б. О. Унбегаун, слово *прохладиться* (здесь не только неполногласие, но и *жд*) возникает в народно-разговорной (не в книжной!) речи и попадает в письменность в XVI в. Только в конце XVIII—начале XIX в. слово *прохлада* теряет значение ‘удовольствие’, ‘наслаждение’ и сохраняет теперешнее ‘приятная свежесть’, ‘тень’, ‘умеренное тепло’<sup>23</sup>. Некоторые слова являются ложными церковнославянismами: они были заимствованы из польского языка и лишь в результате субституции получили неполногласную огласовку. Ср. *охрана*, *охранка* — из польского *ochrona*, *ochronka* (с XVII в.), а не образование от *охранять*, *поздравить*, *поздравлять*, *поздравление* (впервые засвидетельствованы у Курбского) из польского *pozdrowić*, *pozdrowienie* и др.<sup>24</sup>

В русском языке, в том числе и в диалектной его разновидности, происходили всякого рода преобразования в словах с неполногласными формами: создание новых слов, иное их оформление, а также переосмысление и стилистическое опрощение. Бранное слово *мразь* (его А. А. Шахматов приводит как пример «чистого» церковнославянизма) возникает в диалектной среде, оно впервые зафиксировано в «Опыте областного словаря» 1852 г. и в современных толковых словарях обозначается как просторечное. Ср. еще *младше* (просторечное; диалектное *млаже*), *младшенький* (разговорное), *сластъ* ‘сладость’ («звенул во всю сластъ» и пр. — просторечное), *сласти* ‘кондитерские изделия, лакомства’ (разговорное), *сластена* (разговорное; впервые в Словаре 1847 г.), *сладкоежка* (то же, впервые в «Опыте» 1852 г.), *сласто-ежка* (то же, впервые у Даля), *благой* (*кричать благим матом* — просторечное), *блажить*, *блажь*, *блажной* (все просторечные) и т. д., и т. п. Эти и им подобные слова попадают в литературный язык (обычно в позднее время) не из церковнославянского языка,

<sup>22</sup> Цейтлин Р. М. К истории слова *драгоценный* в русском литературном языке. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, с. 179—184.

<sup>23</sup> Unbegau B. O. Vulgarisation d'un term liturgique russe: *прохладдаться*. — In: Selected papers on Russian and Slavonic philology. Oxford, 1969, с. 113.

<sup>24</sup> Кохман Ст. К вопросу о неославянизмах. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974, с. 154—159.

а из бытовой разговорной речи и из русских говоров<sup>25</sup>. Предстоит огромная работа по выявлению неполногласных слов, доставшихся нам непосредственно из старославянского (древнеболгарского) источника (через письменность и, может быть, частично в процессе устного общения древних восточных славян с южными славянами и известной частью западных славян), из церковнославянского языка и из русской народно-разговорной речи. Когда такая работа будет выполнена, мы увидим, что история неполногласия в русском литературном языке не является такой прямoliniейной, как ее представляли себе А. А. Шахматов и Б. О. Унбегаун<sup>26</sup>. Дело ведь не только (и даже не столько) в том, что именно заимствуется, сколько в том, как и во что перерабатывается заимствованное в заимствующем языке. Мы имеем дело с реально существующими (и существовавшими) словами, а не с абстрактными признаками (в данном случае с неполногласием), которых вне слов самих по себе не бывает. Если все это учесть (а мы это обязаны делать), то из 2324 (см. выше) неполногласных слов далеко не все окажутся генетическими церковнославянизмами. Многое было создано самим русским народом.

Еще сложнее обстоит дело с церковнославянским суффиксально-префиксальным словообразованием. Суффиксы *-ание*, *ение*, *-ние*, *-тие*, *-ие*, *-ость* (*-есть*), *-ство*, *-тель*, *-нь* (жизнь, болезнь) и др. имелись еще в праславянском языке, из которого они были унаследованы отдельными славянскими языками, и сами по себе они не являются в русском языке генетическими (этимологическими) старославянизмами (церковнославянизациями)<sup>27</sup>. В первых трех выпусках «Этимологического словаря славянских языков» под редакцией О. Н. Трубачева (М., 1974—1976), представляющего собой опыт реконструкции праславянского лексического фонда, имеются слова на указанные суффиксы, особенно на *-ье* (ср. *\*bezdъždъje*, *\*bělostъ*, *\*blědostъ* и др.). Фиксируются они и в публикующемся «Słowniku prasłowiańskiem» под редакцией Ф. Славского.

Работы Л. Н. Булатовой<sup>28</sup>, С. Б. Бернштейна<sup>29</sup> и других

<sup>25</sup> Употреблению неполногласных слов в русских народных говорах посвящен ряд статей О. Г. Пороховой. См.: Порохова О. Г. О лексике с неполногласием и полногласием в русских народных говорах. — В кн.: Диалектная лексика. 1969. Л., 1971; Она же. [То же название]. — В кн.: Диалектная лексика. 1974. Л., 1976; и др.

<sup>26</sup> Почин этой работы сделан в исследованиях Л. А. Булаховского, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, В. В. Замковой, Т. Н. Кандуровой, Б. А. Ларина, С. П. Обнорского, Ф. П. Филипа, Г. Хютль-Ворт (теперь она Г. Хютль-Фольтер) и многих других лингвистов, но главное еще впереди.

<sup>27</sup> Описание праславянских и иного времени суффиксов представлено в хорошо обозримой форме в кн.: Kiparsky V. Russische historische Grammatik, Bd III. Heidelberg, 1975, с. 181—305.

<sup>28</sup> Булатова Л. Н. Отлагольные существительные на *-нь*, *-ть*. — Тр. Ин-та языкоznания АН СССР, 1957, т. 7.

<sup>29</sup> Бернштейн С. Б. К истории славянского суффикса *-telъ*. В кн.: Русское и славянское языкоznание. М., 1972.

исследователей подтверждают, что *-ie*, *-тель* и прочие интересующие нас форманты были унаследованы отдельными славянскими языками из праславянского фонда. Старославянское (позже церковнославянское) воздействие выразилось в активизации словообразовательных процессов с участием этих формантов. Бесписьменные древнеславянские языки, в том числе и древнерусский (восточнославянский), имели по сравнению с высокоразвитым греческим (византийским) языком слаборазвитую систему слов, выражающих отвлеченные понятия, способы образования таких слов находились в древнерусском языке, по выражению Г. Хютль-Ворт, как бы в зародышевом, «дремлющем» состоянии<sup>30</sup>. Вызванный к жизни христианизацией славян, старославянский язык вобрал в себя из византийского языка множество отвлеченных понятий и средств их обозначения путем прямых лексических заимствований, калькирования, решительного расширения собственных средств словообразования, упорядочения и усложнения синтаксического строя. Если бы письменный язык впервые возник и получил свой расцвет не в Моравии и на Балканах, а в древней Руси, результат был бы тем же. Получив толчок извне, образование слов с отвлеченными, «книжными», понятиями интенсивно осуществлялось на Руси в течение веков как в переводной (ср. хотя бы богатую в словарном отношении «Хронику» Георгия Амартола), так и в оригинальной литературе.

Конечно, процесс этот происходил неравномерно, с разной степенью интенсивности. Нередко считается, что формант *-ie* старославянского (церковнославянского), а *-ье* русского происхождения или представляет собой русифицированную форму (в зависимости от значения). Генетически это не так. Редукция «напряженного» *ъ*, а следовательно, и написание *-ье* вместо *-ie* в старославянском языке произошла раньше, чем в древнерусском (как вообще падение редуцированных гласных). Как показал С. П. Обнорский, в языке Ефремовской Кормчей XII в. *-ie* было еще нормой, а написания *-ье* (*-ъя*, *-ью*) единичны, и в рукописи они оказались под влиянием болгарского оригинала<sup>31</sup>. После падения *ъ*, *ъ* произношение *-ie* сохраняется только в церковнославянском языке, а впоследствии становится признаком книжности. Налет книжности слов с *-ie* чувствуется и теперь, хотя в большинстве случаев нет каких-либо четких правил разграничения *-ie* и *-ье*. В современных словарях формы *мгновение* и *мгновенье*, *повторение* и *повторенье* и т. п. приводятся как равноправные варианты. Однако в просторечных и разговорных словах закре-

<sup>30</sup> *Huttl-Worth G. On church slavic interference in Russian word-formation. — The slavic Word Proceedings of the international slavistic colloquium at the university of California. Los Angeles, september 11—16, 1970, c. 5.* Ср. также: *Ružička R. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen. Berlin, 1963, c. 7.*

<sup>31</sup> *Обнорский С. П. О языке Ефремовской Кормчей. СПб., 1912.*

пляется *-ье* (*баюканье, тяжканье, хрюканье*), а в книжных преимущества имеет *-ие* (*взятие, образование, машиностроение*).

Необходимость в обозначениях огромного числа вновь возникающих понятий, связанных с субстантивацией процессов действия, вызывает лавину образований на *-ие*, *-ье*. Появляются они в языке деловой и иной оригинальной древнерусской письменности с народной речевой основой (ср. в «Повести временных лет» под 1097 г. — *устройство мира*, в XIII в. — *перемирие*, в XIV в. — *роздание, размежевание* ‘немирное время’ и т. п.), даже в диалектах (пск. *пособие* и др.)<sup>32</sup>, но особый расцвет начинается с XV в., причем отмечается злоупотребление ими не только в церковнославянской, но в одинаковой степени и в деловой письменности (ср. в «Курантах» XVII в. *обваление дворов, помешание войск* и пр.)<sup>33</sup>. Масса слов на *-ие*, *-ье*, встречающихся в памятниках XI—XVIII вв., вышла из употребления и в лексике современного литературного языка не представлена. В частности резко идут на убыль существительные на *-ие*, образованные от глаголов совершенного вида вроде *вынюхание, выстегнутие, залитие, заманение, издрание* и т. п., в основном созданные искусственно<sup>34</sup>. Разумеется, окказионализмы появляются постоянно (ср. *петушенье, паслинецье, порывание* и др. у писателей XIX в.<sup>35</sup>). Особенно много искусственных слов на *-ие*, *-ье* в известном словаре Даля. Встречаются они и в современных толковых словарях: *переарестовывание, насилиствие, свевание, давание, грохочение, загрызание* (с речением «загрызание крысы кошкой» или без всяких иллюстраций) и т. п. Тут еще сказывается традиция переписывать слова из одного словаря в другой без достаточных для того оснований.

Слова на *-ие* современного русского литературного языка в большей своей части созданы в XVIII—XX вв. Особенно распространены они в научно-технической терминологии. Впрочем, в наше время параллельное образование слов на *-ка*, в прежние времена малопродуктивное, начинает брать верх над *-ие*, *-ье*<sup>36</sup>. В древнерусском языке образование на *-ка* представлено единичными примерами, активизация его начинается в XV—XVII вв. и, конечно, вне всякой связи с церковнославянским языком. Чрезвычайно основательное обновление лексического пласта

<sup>32</sup> Сергеев Ф. П. Русская терминология международного права XI—XVII вв. Кишинев, 1972, с. 14—15, 46, 224.

<sup>33</sup> Хаустова И. С. Из истории лексики рукописных «Ведомостей» конца XVII века. — Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике. Уч. зап. ЛГУ, 1956, № 198. Сер. филол. наук, вып. 24, с. 57, 91.

<sup>34</sup> Мальцева И. М. «Общий церковнославянско-российский словарь» П. Соколова 1834 г. — В кн.: Из истории слов и словарей. Л., 1963, с. 107.

<sup>35</sup> Хохлачева В. Н. Индивидуальное словообразование в русском литературном языке XIX в. (Имена существительные). — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. V. М., 1962, с. 181.

<sup>36</sup> Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968, с. 151 и сл.

с признаком *-ie*, *-ье* (причем основами послужили глаголы исконно русского и западноевропейского происхождения), наличие большого числа слов с *-ie*, *-ье* узкоспециальных, малочастотных и окказиональных не позволяет объективному исследователю утверждать, что слова с *-ie*, *-ье*, составляющие около 6% словарного состава современного русского литературного языка, в генетическом отношении являются церковнославянismами.

То же следует сказать и о всех других словообразовательных типах, которые пытаются определять как церковнославянismы. Как показал Н. М. Шанский, образования на *-ость* в древнерусском языке были малопродуктивны. Активизация их начинается с XVI в. и особенно резко возрастает с XVII в. не без украинско-белорусского влияния, а украинский и белорусский языки в свою очередь подверглись польскому воздействию<sup>37</sup>. Эта точка зрения поддержана другими исследователями<sup>38</sup>. В ста-роукраинском и старобелорусском языках активность образований на *-ость* начинается с XIV—XV вв. Следовательно, кроме русского и церковнославянского слагаемых в этом разряде слов появляется еще украинско-белорусский и польский компоненты. Из категории генетических церковнославянismов нужно «вычесть» сумму лексических единиц, не принадлежавших церковнославянскому языку. В XVIII—XX вв., как и в других словообразовательных разрядах, происходит массовое обновление словарного состава. Ощущение новизны вновь возникавших слов обычно быстро проходит. Только из лингвистических пособий читатель может узнать, что слова *промышленность* и *потребность* были созданы Карамзиным. Обычно авторство неологизмов остается неустановленным. Так или иначе в языке XVIII в. слова на *-ость* в подавляющем своем большинстве являются новообразованиями. Собственно лексических церковнославянismов, особенно семантически не видоизмененных, остается сравнительно немного<sup>39</sup>. Исстари существительные на *-ость* образуются от основ качественных и качественно- относительных прилагательных<sup>40</sup>. В наше время, прежде всего в терминологии, возникают слова на *-ость* от существительных (*рядность*, *этажность*, *сортность* и т. п.), которые идут как бы вразрез с обычной словообра-

<sup>37</sup> Шанский Н. М. О происхождении и продуктивности суффикса *-ость* в русском языке. — В кн.: Вопросы истории русского языка. Изд-во МГУ, 1961.

<sup>38</sup> Хютль-Ворт Г. Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений. — В кн.: Славянска филология. Материалы от V международен конгрес на славистите. Т. VII. Езикознание. София, 1965, с. 266; Kiparsky V. Указ. соч., с. 250—251; Прокопович Е. И. Словообразование существительных со значением отвлеченного качества. — В кн.: Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв. М., 1974, с. 115 и сл.; и другие авторы.

<sup>39</sup> Веселитский В. В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII—начале XIX в. М., 1972, с. 82.

<sup>40</sup> Грамматика русского языка, т. 1. М., 1952, с. 254.

зовательной моделью, причем такие слова представляют собой не единичные аномалии, а «самостоятельный словообразовательный тип в пределах общей модели имен на -ость»<sup>41</sup>. Непрерывный рост имен на -ость происходит во всех лексических сферах. Например, И. Г. Бакутина нашла в специальных источниках около 60 земледельческих терминов, отсутствующих в современных толковых словарях (*репродуктивность, ранеспелость, морозобойность* и др.)<sup>42</sup>.

Сложные процессы происходят в истории всех других образований с суффиксами, выражающими отвлеченные значения. Важно, чтобы при их изучении эти процессы описывались всесторонне. Споры вызвало происхождение в русском языке суффикса -тель. Одни исследователи полагают, что этот суффикс хотя и был малопродуктивным, почти угасшим, но все же был унаследован древнерусским языком из праславянского, другие, наоборот, считают, что -тель был вовсе утрачен в древнерусском языке и его нужно считать заимствованным из старославянского языка. «Как бы то ни было, — пишет Г. Хютль-Ворт, — широкое распространение таких производных слов в допетровскую эпоху было, несомненно, обязано церковнославянскому влиянию, поскольку формы с -тель совершенно отсутствуют в ранних текстах деловой письменности и потому редки в современных русских диалектах. Среди всех имен деятеля слова на -тель наиболее книжные и абстрактные»<sup>43</sup>. Отрицать церковнославянское влияние в распространении слов на -тель в русском языке допетровской эпохи невозможно. Однако нельзя забывать и о том, что такие слова становятся частыми уже в деловой письменности XVI—XVII вв. «Книжность и абстрактность», как следствие развития русской общественной мысли, вопреки известному утверждению Лудольфа, находила свое выражение не только в церковнославянском языке. Не так уж редки слова на -тель в современных русских говорах. Более того, некоторые из них были созданы в диалектной речи и вошли из нее в литературный язык. Например, есть основание полагать, что слова *сказитель, сказительница* ‘исполнитель, исполнительница былин’ — олонецкого происхождения. Во второй половине 30-х годов текущего столетия в научной литературе появляются производные от них — *сказительский, сказительство*<sup>44</sup>. Слова на -тель проникают в русский

<sup>41</sup> Даниленко В. П., Хохлачева В. Н. О словах типа *этажность*. (Соотношение общелитературного и терминологического образования). — В кн.: Вопросы культуры речи, вып. VII. М., 1966, с. 74.

<sup>42</sup> Бакутина И. Г. О значении и словообразовательной структуре терминов земледелия с суффиксом -ость. — В кн.: Значения в языке и речи. Волгоград, 1975, с. 150.

<sup>43</sup> Хютль-Ворт Г. Изменения и преемственность в образовании имен на -тель. — В кн.: Русское и славянское языкознание. М., 1972, с. 284.

<sup>44</sup> Скитова Ф. Л. Обогащение словарного запаса русского литературного языка XIX—XX вв. областными словами. *Сказитель, сказительница*. — Уч. зап. Пермского гос. ун-та им. А. М. Горького. Языкознание, № 162, с. 61 и сл.

литературный язык и из западнославянских языков. Ср. *обыватель* из польского *obywatel*, которое в свою очередь заимствовано из чешского *obyvatel* (в польском должно было быть *obywaciel*)<sup>45</sup>.

Г. Хютль-Ворт справедливо отмечает «невероятный рост» слов на -тель в наше время, особенно в обозначениях машин<sup>46</sup>. Конечно, вряд ли этот процесс можно связывать с влиянием церковнославянского языка.

Дальнейшие исследования истории приведенных выше и иных суффиксов со значением отвлеченности<sup>47</sup> несомненно покажут, насколько сложно возникновение и развитие слов, образованных посредством этих суффиксов, и как неосторожны лингвисты, которые в угоду своим упрощенным и прямолинейным гипотезам приписывают языку то, чего в нем не было и нет.

Как было отмечено выше, префиксальных образований с признаками церковнославянлизмов в современном русском литературном языке насчитывается всего около 1% словарного состава. Вокализация *воз-*, *во-*, *со-* произошла довольно рано (ср. в Изборнике 1073 г. *воздухъ*, *возвратъ* и др.) и, вероятно, была вызвана наличием сочетаний двух последних согласных, что могло произойти и в самом народном древнерусском языке. Впрочем, преимущественное употребление вокализированных префиксов в церковнославянских текстах свидетельствует о церковнославянском происхождении тенденции распространения образований с *воз-*, *во-*, *со-*. Однако и в данном случае картина оказывается достаточно сложной. Например, образования с *воз-* (*возо-*, *вос-*) в народных говорах по своему числу не уступают аналогичным словам в литературном языке, причем многие из них оказываются диалектными (*возгавкать*, *восполетывать*, *востонежиться* и т. п.). Особенно они распространены в языке фольклора. В самом литературном языке продуктивность образований с *воз-* резко падает<sup>48</sup>.

По сравнению с другими словообразовательными типами самый большой удельный вес в современном русском литературном языке занимает словосложение. Как известно, словосложение своими корнями уходит в глубокую индоевропейскую древность. Оно было достаточно широко представлено в праславянском языке, откуда было унаследовано древнерусским языком в дописьменную эпоху. Словосложение в русский язык не было заимствовано из старославянского языка (ср. др.-рус. *березозолъ*,

<sup>45</sup> Мельников Е. И. О чешских лексических элементах в русском языке, заимственных через посредство польского и других языков (в XIV—XIX вв.). — Slavia, XXXVI, 1, 1967, с. 104.

<sup>46</sup> Хютль-Ворт Г. Изменения и преемственность..., с. 289.

<sup>47</sup> О других суффиксах отвлеченности см.: Николаев Г. А. Имена существительные с суффиксом -ствие в словарях XVIII в. — В кн.: Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в. Казань, 1969; Железнова Р. В. Из истории личных имен существительных с суффиксом -арь в русском литературном языке. Автореф. канд. дис. М., 1974; и иные работы.

<sup>48</sup> Павленко П. И. Слова с приставкой *воз-* в русских народных говорах. (В сопоставлении с литературным языком). Автореф. канд. дис. Л., 1973.

мѣдѣбѣдь, собственные имена типа *Дажьбогъ*, *Мъстиславъ* и т. д., и т. п.). Сложные слова имеются во всех жанрах древнерусской письменности, тысячи их зафиксированы в русских народных говорах. Церковнославянское влияние (кстати, пока плохо изученное) сказалось в активизации книжных образований сложных слов (словосложение особенно расцветает в стилях, для которых было характерно «извитие словес»). Однако какими тут были количественные пропорции (сколько было церковнославянизмов и сколько русизмов), определить невозможно. Искусственные образования, как и широко представленное в сложных словах калькирование, осуществлялось как в церковнославянских, так и в оригинальных и переводных светских текстах. Имеются некоторые косвенные свидетельства церковнославянского влияния в этом типе словообразования: еще И. В. Ягич в свое время отметил, что словосложение представлено в литературных восточнославянских и южнославянских языках шире, чем в западнославянских литературных языках<sup>49</sup>. Это высказывание повторялось Е. Дикенманом<sup>50</sup> и некоторыми другими зарубежными и отечественными исследователями, но оно нуждается в серьезных подкреплениях. Словосложение очень характерно для немецкого языка и не играет большой роли во французском, хотя эти языки не подвергались какому-либо старославянскому влиянию.

Высказывалась мысль, что неосложненные аффиксами сложные слова типа *пулемет*, *громоотвод*, *скороход* восходят к древнейшему типу и являются по происхождению исконно русскими, а аффиксально осложненные сложились в церковнославянском языке<sup>51</sup>. Такое утверждение не соответствует действительности. Множество просторечных и диалектных сложных слов имеет дополнительные аффиксальные оформления (ср. *кнутобойничать*, *кнутобоец*, *мухоморный* и т. п.), что вполне естественно: сложные слова, как и все прочие, с самого начала их возникновения подчинялись действовавшим в языке законам словообразования. По формальным признакам сложные слова русского и церковнославянского происхождения различить крайне трудно, если не невозможно. Единственно верный путь — изучение истории каждого отдельного слова и групп слов.

Основная масса сложных слов в современном русском литературном языке относительно позднего или совсем позднего происхождения. Многие их типы возникают в XVIII—XX вв. вне

<sup>49</sup> Jagić V. Die slavischen Composita in ihrem sprachgeschichtlichen Auftreten. — Archiv für slavische Philologie, XXI, с. 31—43.

<sup>50</sup> Dickenmann E. Untersuchungen über die Nominalkomposition im Russischen. Leipzig, 1934.

<sup>51</sup> Десницкая А. В. Архаичные черты в индоевропейском словосложении. — В кн.: Язык и мышление, XI. М.—Л., 1948, с. 133—152; Немировский М. Я. Народные источники словосложения в славянских языках. — В кн.: Вопросы славянского языкознания, кн. 4. Львов, 1955; Царев А. А. Сложные слова в научной прозе М. В. Ломоносова. — В кн.: очерки по истории русского языка и литературы XVIII в. Казань, 1969, с. 90.

всякой связи с церковнославянской лексикой. Например, сложения с компонентом *свеже-* (*свежепросольный*, *свежеразрытый* и пр.) впервые появляются только во второй половине XVIII в. Почти все сложные наречия (а их очень много) — образования XVIII—XX вв.<sup>52</sup> Новый период в истории русского языка характеризуется лавинообразным нарастанием сложных слов самых разных типов и источников. А. М. Бабкин приводит немало новообразований из фразеологизмов: *шапкозакидательство* (из *шапками закидаем*), *немогузнайство*, *пенкосниматель* (образование Салтыкова-Щедрина), *всамделишный*, *сиюминутный* и т. д.<sup>53</sup> Большое количество сложных слов образуется из заимствований: *автоматумовоз*, *биокомбайн*, *гигропресс* и пр.<sup>54</sup> — ими полна научно-техническая терминология.

Еще с XVIII в. до наших дней установилась традиция называть книжные и на них похожие образования «славянорусизмами». Термин этот был крайне расплывчатым уже в XVIII в. (в славяно-русизмы зачислялись архаизмы любого происхождения, в том числе исконно русские слова, греко-латинские и западноевропейские заимствования), а с современной научной точки зрения его употребление неоправданно. Даже в тех случаях, когда церковнославянский признак в слове несомненен (например, неполногласие), вряд ли оправдана постановка на первое место компонента «славяно-» (т. е. церковнославяно-). Разумеется, формальные признаки слова для лексикологии очень существенны, но определяющим в слове является его лексическое значение (основа заключенной в ней информации) и среда (язык, диалект), в которой слово возникло или приобрело новую семантику. Недавно предложенный термин «неославянизм» и вовсе не годится, так как в нем заключена оценка слов типа *луноход* и *истребитель* как новых церковнославянизмов по чисто формальным (как мы видели выше, церковнославянское происхождение многих форм оказывается мнимым) признакам. Говорят о лексике, а считают не слова, а взятые изолированно словообразовательные морфемы вне зависимости от содержания слов, обстоятельств, места и времени возникновения цельнооформленных лексических единиц. Гипотезы строятся на основе тенденциозных идей, а не на базе реальных фактов. Но даже и при этих условиях формально-генетиче-

<sup>52</sup> Ряшенцев К. Л. О сложных словах в современном русском языке. — Уч. зап. Северо-Осетинского гос. пед. ин-та им. К. Л. Хетагурова, XVIII, вып. 3, ч. III. Орджоникидзе, 1967, с. 34 и сл.; Кавецкая Р. К. Образование терминологической лексики путем сложения причастий с основами других полнозначных слов. — В кн.: Материалы по русско-славянскому языко-знанию. Воронеж, 1968, с. 147 и сл.; и другие работы.

<sup>53</sup> Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970, с. 11—12, 71—76, 104.

<sup>54</sup> Думитреску М. Новое в лексике современного русского языка (1968—1972). — В кн.: Доклады и сообщения, представленные на седьмом международном съезде славистов. (Варшава, 21—27 августа 1973 г.). Bucuresti, 1973, с. 5 и сл.

ских церковнославянлизмов при надлежащей проверке данных оказывается всего около 12% от всего словарного состава современного русского литературного языка<sup>55</sup>. На самом же деле, принимая во внимание все сказанное выше, их значительно меньше: влияние церковнославянского языка в основном сказалось на активизации имевшихся уже в древнерусском народном языке словообразовательных средств. На каких весах и как можно взвесить удельный вес активизированных словообразовательных формантов, если главная масса русской литературной лексики, образованная посредством этих формантов, сложилась у русскоязычного населения, причем не за короткий промежуток времени, а в течение многих веков?

Остается еще основной лексический пласт, общий у русского и церковнославянского языков. Сторонники церковнославянского происхождения русского литературного языка склонны считать его церковнославянским. А на каком основании? Общее у двух близкородственных языков принадлежит носителям каждого языка. Слова *вода*, *дуб*, *ходить*, *светлый* и т. п., по крайней мере в их исходных, не книжных, значениях со всеми их семантическими микрополями, были в активном словарном запасе не только у книжников, но и у неграмотных людей, не знавших церковнославянского языка. Нельзя отделить литературный язык от народа, его создавшего.

Наконец, несколько замечаний о синтаксисе. Прежде всего нужно сказать о различии между синтаксисом письменных текстов и разговорной речи, существующем во всех письменных языках мира. Письменная фиксация текстов, особенно если она уже имеет традиции, делает синтаксис более стройным и упорядоченным. В письменном синтаксисе развиваются сложные предложения, находит свое широкое выражение гипотаксис. При возникновении старославянского языка на его синтаксический строй оказал влияние греческий язык, хотя степень этого влияния далеко еще не определена и является предметом дискуссии<sup>56</sup>. Упорядочение синтаксиса (в частности, развитие гипотаксиса) проходило и в языке памятников древнерусской письменности, основой которого была народная речь. Каково было воздействие синтаксиса церковнославянского языка на синтаксис русского

<sup>55</sup> Я. Ригер (*Rieger J. Glosa w sprawie pochodzenia współczesnego rosyjskiego języka literackiego*. — *Slavia orientalis*, XXII, 2. Warszawa, 1973, с. 241), пользуясь обратным словарем Е. Штейнфельдт (Частотный словарь современного русского литературного языка. Таллин, 1963), установил, что слова с формальными признаками церковнославянлизмов составляют в словаре современного русского литературного языка не более 16%.

<sup>56</sup> Из обширной литературы предмета сошлюсь здесь на работы: Йордан К. Греко-русские синтаксические связи. — *Scando-slavica*, XIX, 1973, с. 143—164; Birnbaum H. On Medieval and Renaissance Slavic writing. Selected essays. The Hague—Paris, Mouton, 1974, с. 381; Скупский Б. И. Дательный самостоятельный и вопросы истории славянского перевода евангелия. Автореф. докт. дис. М., 1975.

литературного языка? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала установить синтаксические различия между церковнославянским и русским языками. Однако несмотря на наличие большого количества работ по историческому синтаксису этих языков, наши сведения в этой области являются отрывочными и очень скучными. Исследователи обычно ставили и ставят перед собой задачу изучения истории отдельных синтаксических конструкций и синтаксического строя в целом без специального внимания к различиям между церковнославянским и русским языками. Впрочем, установить эти различия между близкородственными языками дело крайне трудное.

Если мы согласимся с исследователями, считающими дательный самостоятельный оборот, предложения с одним отрицанием вместо двух (*а никого пьяного напоил*—*=а никого пьяным не напоил*) и некоторые другие явления специфическими особенностями старославянского языка, то это не меняет сущности дела, так как подобного рода конструкции отсутствуют в современном русском литературном языке. В XVII—XVIII вв. происходит бурный процесс замены церковнославянских союзов типа *аще*, *егда*, *внегда*, *дондеже* и других русскими по происхождению союзами *если*, *когда*, *тогда*, *потому что* и т. п.<sup>57</sup> С переосмыслением именных и местоименных причастий развиваются деепричастные и причастные конструкции (процесс этот был основательно исследован еще А. А. Потебней), и в настоящее время мало свойственные непринужденной разговорной речи. Церковнославянское влияние тут несомненно (ср. формальный признак *-щ-*: *читающи* и пр.), но не абсолютно: причастные и деепричастные конструкции с самого начала были свойственны всем жанрам письменности, в том числе и ориентированным на русскую языковую основу.

Таким образом, утверждение Б. О. Унбегауна, что синтаксис современного русского литературного языка (особенно синтаксис сложного предложения) является церковнославянским, по меньшей мере преждевременно и, следовательно, необоснованно. Можно вполне согласиться со словами Н. Ю. Шведовой: «Что касается синтаксиса, то, работая над грамматикой (и ранее — над изучением русского литературного языка в XVIII—XIX вв.), мы еще раз убедились, что ни о какой „русификации“ церковнославянского синтаксиса, якобы представленной сейчас в нашем языке, говорить нельзя: весь строй простого предложения, система связей и соотношения частей в сложном предложении, си-

<sup>57</sup> Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. З-е изд. Киев, 1950, с. 54; Коротаева Э. И. Союзное подчинение в литературном языке второй половины XVIII в. (Из истории образования сложного предложения в русском литературном языке). Автореф. докт. дис. Л., 1951; Черкасова Е. Т. К вопросу о самобытности синтаксического строя русского языка. — ВЯ, 1972, № 5, с. 77—81; Кременцова Л. И. Сложноподчиненные предложения с придаточным времени в русском литературном языке XVIII в. Автореф. канд. дис. М., 1975; и другие работы.

стема подчинительных связей слов и образующиеся на ее основе словосочетания являются собственно русскими. В книжной речи действительно сохранились отдельные конструкции церковнославянского происхождения, что является фактом общеизвестным. Влияние же на русский синтаксис строя языков французского и немецкого, с одной стороны, сильно преувеличено, с другой — синтаксические кальки XVIII в. сейчас в значительной своей части утрачены. В целом нужно сказать, что концепция проф. Унбегауна, внешне как будто стройная, отражает недостаточное знакомство с богатыми материалами, накопленными исследователями русского языка в последние десятилетия»<sup>58</sup>.

Итак, гипотеза о церковнославянском происхождении современного русского литературного языка и тем более о теперешнем его церковнославянском облике не подтверждается фактами, противоречит фактам и как необоснованная должна быть отвергнута. Только в угоду своей тенденциозной схеме А. А. Шахматов и особенно Б. О. Унбегаун произвольно вычеркнули из категории литературного языка язык деловой письменности и иных «низких» жанров<sup>59</sup>. Они видели лишь культурно-языковую преемственность и непрерывную традицию в развитии письменного языка от XI в. до наших дней. Из этого получалось, что поскольку в древней Руси литературным языком был один церковнославянский язык, постольку и в наши дни (при непрерывности традиции) литературный язык по происхождению является церковнославянским или даже (по Б. О. Унбегауну) и теперь остается церковнославянским. Традиции традициями, однако с самого начала письменности в древней Руси складывается собственно русский литературный язык, на протяжении веков находившийся в сложном взаимодействии с языком церковнославянским. В XVI и особенно XVII вв. вместе с возросшими светскими потребностями русского общества возникают и расцветают многие новые литературные жанры, большую роль начинает играть демократическая литература. XVIII век был переломным. Церковнославянский язык сдает свои позиции, отходит на второй план. Неслучайно церковнославянские слова и обороты многими писателями XVIII в. используются в комических целях<sup>60</sup>. Наш современный литературный язык в основе своей по происхождению является русским. Церковнославянский язык сохраняется и теперь, но даже невооруженным глазом видно, что этот язык является другим языком, малопонятным для непосвященных. С него переводят на современный русский литературный язык (библию, евангелие и пр.).

<sup>58</sup> Шведова Н. Ю. Указ. соч., с. 60—61.

<sup>59</sup> Подробно об этом см.: Филип Ф. П. О свойствах и границах литературного языка. — ВЯ, 1975, № 6, с. 3—12.

<sup>60</sup> См., например, наблюдения в книге: Граннес А. Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века. Bergen—Oslo—Tromsö, 1974, с. 48 и др.

Если современный литературный язык в генетическом плане является русским, то в функциональном отношении он тем более русский. Многочисленные церковнославянские, западноевропейские и иные заимствования настолько ассимилируются им, что об их иноземном происхождении обществу сообщают только филологи. Сравнительно недавно М. В. Ломоносов формы *говорящий*, *чавкающий*, *маращий*, *брякнувший*, *нырнувший* и пр. считал непристойными, «несносными слуху», «весьма противными», а теперь никто не замечает их особого положения. Слово чай с его производными выполняет ту же роль, что и этимологически исконные слова, хотя оно через тюркское посредство пришло к нам из Северного Китая (сев.-кит. ča 'чай'). Чем в более широком употреблении находится заимствование, тем скорее оно утрачивает свои иноземные черты.

Чтобы закончить статью, коснемся еще одной гипотезы. А. В. Исаченко, например, считал, что современный русский литературный язык возник в узкой сфере образованного дворянства во второй половине XVIII—начале XIX в. под сильным воздействием французского языка, поскольку образованное дворянство было двуязычным. Русско-французское двуязычие — явление давно известное. Современный исследователь по этому поводу пишет: французский и русский языки в системе двуязычной культуры «были не смешаны, а диалогически сопоставлены, интерференция естественных языков в практике их многолетнего сосуществования в одной области была ничтожной»<sup>61</sup>. Надо полагать, это верно. Все же, конечно французское влияние на русский язык несомненно. Только вот вопрос, каков удельный вес галицизмов в современном русском литературном языке? На этот вопрос ответа пока мы не имеем. Не пытался делать хоть сколько-нибудь серьезные разыскания в этой области А. В. Исаченко, а одних голословных заявлений для науки явно недостаточно. Великий Пушкин отлично владел французским, но прославился он своими замечательными произведениями, написанными на русском языке. Язык Пушкина был неразрывно связан с народными источниками, что и позволило ему стать основателем национального литературного языка. Нет, неокарамзинизм не возродить, как и неошиковизм.

<sup>61</sup> Паперно И. А. О двуязычной переписке пушкинской эпохи. — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, XXIV. Литературоведение. Тарту, 1974, с. 152—153.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ

(по материалам древнеболгарских рукописей X—XI вв.)

За последние десятилетия лексико-семантические исследования достигли значительных успехов как в теории лексикологии и лексикографии, так и в изучении и описании конкретных языков. Тем не менее «методика исследования словарного состава языка во многом остается спорной и неясной. По сути дела, каждый исследователь, приступивший к семантическому анализу той или иной области лексики, вынужден обосновывать свои исходные теоретические позиции и методологические принципы»<sup>1</sup>. Особенно усложняется эта методика при изучении лексики древних языков, когда исследователь не только не является носителем языка, но и располагает заведомо ограниченным кругом первоисточников, при этом сами эти первоисточники требуют достаточно сложной предварительной историко-филологической интерпретации.

В соответствии с современным уровнем развития языкоznания ст.-сл. лексикология как специальный раздел науки о СЯ только еще формируется. Она имеет своим объектом изучение СР как определенной языковой системы, выраженной в языке данных рукописей. Исследователь ст.-сл. лексики в таком аспекте сталкивается со значительными трудностями как собственно лексикологического характера, так и с необходимостью преодолевать глубоко укоренившиеся и тем не менее неверные представления о слове в языке древней рукописи. С начала XIX в., т. е. со времени своего становления как специальной области славянской филологии, СЯ изучался и в лексическом отношении (хотя значительно менее интенсивно, чем на других уровнях). Изучение словаря СР развивалось преимущественно в текстологическом аспекте. Многие исследователи лексики СЯ ставили и продолжают ставить своей прямой задачей определение стратиграфии рукописей с целью выделить в них первичный словарный слой, т. е. те лексемы, которые употреблялись в славянских переводах с греческого, выполненных во второй половине IX в. Кириллом и Мефодием и их непосредственными учениками и последователями. Эта проблема, одна из кардинальных в палеославистике, отодвинула на второй план изучение словаря рукописей как конкретных лексических систем, в них отраженных.

<sup>1</sup> Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 8.

При решении кирилло-мефодиевского вопроса основным объектом анализа являются письменные памятники идентичного содержания, восходящие к предполагаемым общим протографам IX в. Каждый манускрипт при этом рассматривается как сокровищница разновременных языковых фактов, которые в различной степени пригодны для воссоздания утраченных текстов начального периода славянской письменности. Так как относительно поздние рукописи сохраняют немало лексических архаизмов, то верхняя временная граница привлекаемых письменных источников при изучении словаря IX в. весьма условна. Этим в основном и объясняется традиционная нечеткость хронологических и локальных признаков понятия «старославянский язык». Далеко не всегда учитывается диалектное своеобразие лексики древних славянских рукописей и то обстоятельство, что слово как определенный звуковой комплекс может сохраняться веками и на обширной территории, тогда как условия его функционирования, его словообразовательные, парадигматические и синтагматические связи, его стилистические свойства, наконец, состав и иерархия его значений значительно более подвижны. В результате немалое количество лексем, отсутствующих в древних рукописях, считается старославянским по одной какой-либо примете — фонетической особенности, аффиксу или семантико-стилистическим свойствам.

По традиции во многих работах старославянскими именуются некоторые лексемы только оттого, что они значатся в известных словарях Ф. Миклошича и А. Х. Востокова, построенных на текстах рукописей различных изводов и редакций и отчасти на материалах старопечатных книг в хронологических границах X—XVI и даже X—XVIII вв. Эту традицию в известной мере поддерживает и «Словарь старославянского языка» Чехословацкой Академии наук, построенный на материалах «древнейшего периода ст.-сл. письменности, т. е. памятников, сохранившихся от этой эпохи, или памятников, в эту эпоху возникших» (*Úvod*, с. XI) и включающий, таким образом, слова из текстов X—XVI вв.

В работах по истории русского литературного языка старославянскими по происхождению нередко называются русские книжные слова, имеющиеся в известном своде «церковнославянских элементов» в «Очерке современного русского литературного языка» А. А. Шахматова. Сам же А. А. Шахматов писал только об «элементах» и призывал будущих исследователей к конкретному изучению материала, предупреждая, что не находит «под руками данных для определения того, какие церковнославянизмы надо признать древнейшими, какие новейшими»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941, с. 70.

Проблеме «мнимых церковнославянанизмов» в древнеславянских рукописях большое внимание уделял А. И. Соболевский<sup>3</sup>.

Нам уже приходилось писать о том, что слова, отсутствующие в древнейших славянских рукописях, которые во многих лингвистических работах (не говоря уже об учебниках СЯ) считаются старославянскими, насчитываются десятками и даже сотнями. При этом в их число включаются и такие, которые заведомо возникли позднее или в других языковых ареалах. Не всегда учитывается и реальная семантика слов, известных в СР в значениях, отличных от значений таких же слов в более поздних источниках. Таковы, например, слова: *брѣгъ*, *младъ*, *изаціиъ*, *икона*, *кнѧгъ*, *клекетанікъ*, *клекетаръ*, *напрасно*, *олоко*, *осла*, *паница*, *простокласъ*; *простыни*, *рабога*, *рѣть*, *скокрада*, *хытръ*, *чародѣица* и многие другие<sup>4</sup>.

Несомненно, словарь СЯ был во много раз богаче словарного состава дошедших до нашего времени древнейших славянских рукописей и по количеству слов, и по объему значений, и по степени сочетаемости, и по числу фразеологических оборотов. Тем не менее далеко не каждое слово из древней славянской рукописи можно считать старославянским. Это нужно в каждом конкретном случае доказать.

При определении возможного круга источников при изучении лексики СЯ нам представляется принципиально важным различивать прямые, непосредственные источники (СР) и источники косвенные (т. е. все те, которые не входят в состав СР).

Достаточно точные данные о лексической системе СЯ могут быть получены прежде всего при синхронном рассмотрении всех сохранившихся несомненно старославянских рукописей конца X и XI в. Именно поэтому старославянским мы считаем только письменный (литературный) язык, которым владели книжники культурных центров Юго-Западной (Македонской) и Восточной Болгарии конца X и XI в. и на котором написаны все древнеболгарские рукописи этого времени. До наших дней сохранилось семнадцать таких рукописей. Одиннадцать из них глаголические: евангелия Зографское, Мариинское, Ассеманиево, Охридское, Зографский палимпсест, Боянский палимпсест; Синайская псалтырь, Синайский евхологий, Синайский служебник, Клоцов сбор-

<sup>3</sup> См. рецензию А. И. Соболевского на книгу С. К. Булича «Церковнославянские элементы в современном литературном и народном языке» (ЖМНП, 1894, V, с. 215), а также его труд «Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии» (СПб., 1910).

<sup>4</sup> Подробнее: Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. (Опыт анализа мотивированных слов). М., 1977, а также наши статьи «К истории слова *драгоценный* в русском литературном языке» (в кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974); «Заметки по старославянской лексикологии» (в кн.: Этимология. 1971. М., 1973); «О старославянских словах, которых нет в рукописях старославянского языка» (в кн.: Этимология. 1975. М., 1977); «Из заметок по древнеболгарской лексикологии» (в кн.: Памяти чл.-корр. БАН проф. К. Мирчева. БАН, София, 1978).

ник, Рыльские листки. Шесть кириллических: Саввина книга, Листки Ундольского, Супрасльская рукопись, Хиландарские листки, Зографские листки, Енинский апостол. Все остальные древние славянские рукописи иных изводов и редакций мы относим (применительно к СЯ) к числу косвенных источников.

Конкретизация понятий «старославянский язык» и «рукопись старославянского языка» позволяет, на наш взгляд, строго и последовательно отграничить словарь эпохи написания данных манускриптов (СР), во-первых, от языка кирилло-мефодиевского времени (и глубже — от праславянского словаря); во-вторых, от лексической системы среднеболгарского периода в истории болгарского письменного языка; в-третьих, от языка церковнославянских рукописей иных изводов.

Выделение древнеславянских рукописей других изводов и редакций в разряд косвенных источников отнюдь не предполагает умаления их значения при интерпретации лексических явлений СЯ. Напротив, в значительном количестве случаев эти источники занимают главное место, играют определенную роль при истолковании темных мест СР и объяснении ряда ст.-сл. лексем, но от этого они не становятся первоисточниками, так как они написаны в другой языковой области и в другое время (важна соотносительная хронология, а не абсолютная). Как и остальные весьма важные косвенные источники изучения лексики СЯ (прежде всего данные греческих протографов, дающие этимологию и диалектных и литературных славянских языков), они требуют специальной методики использования во избежание привнесения в СЯ фактов, чуждых его лексико-семантической системе.

Предложенное (наиболее узкое из существующих) понимание терминов «СЯ» и «СР» обязывает характеризовать СР как единственные непосредственные источники наших сведений о лексической системе СЯ и определить, в какой мере данные СР отражают словоупотребление СЯ, достаточны ли они для описания его лексической системы.

Мы вынуждены ограничиться здесь самыми общими сведениями о словаре СР. Состав словоформ и количество слов суммарно по всем 17 СР не установлены. По нашим весьма приблизительным (!) подсчетам в текстах СР имеется не менее 300 000 словоупотреблений. Всего в СР — 9616 слов<sup>5</sup>. Есть десятки слов, встречающихся тысячи раз. Типичное число употреблений одного слова — от двух-пяти до пятнадцати. Около четверти всего словарного состава СР — гапаксы. 7838 слов — славянские (в том числе и заимствования праславянского происхождения). Остальные 1779 —

<sup>5</sup> Общая характеристика словарного состава СР дается в первой части нашей книги «Лексика старославянского языка». Специальная глава в ней посвящена рассмотрению различных количественных данных, извлеченных нами из СР, Словаря Садник—Айтцетмюллера и индексов к отдельным СР. Некоторые из этих сведений мы приводим в настоящем докладе.

затмствования из греческого (или через греческое посредство, например слова арамейские и древнееврейские). В числе славянских — 2879 глаголов, 2674 существительных. В архаичных по языку рукописях прилагательных меньше, чем в более поздних. По своему объему СР разнородны. Например, в Супр — 285 листов большого формата (всего 5285 слов), в Зогр (в древнейшей его части без Зогр-пал) — 271 лист (2756 слов), а в Зогр лл — всего два листа (242 слова). Только в четырех фрагментах евангелия (Охр, Унд, Зогр-пал и Боян-пал) нет слов, которые не употреблялись бы в других СР. В каждой из остальных 13 СР такие лексемы имеются, при этом они далеко не всегда гапаксы. Есть немало слов и их групп, которые отмечены только в определенных СР.

При оценке различных количественных данных по СР важно учитывать одну из языковых универсалий: увеличение словарного состава языка происходит тем интенсивнее, чем ближе данная эпоха истории языка к его современному состоянию. Таким образом, общее число слов СР (как и данные по конкретным словам и семантическим группам) представляют относительно словарного состава СЯ в целом (и его частных фактов и явлений) несравненно большую величину, чем такие же количественные сведения по лексике большинства современных письменных языков.

По своему содержанию СР — тексты евангелия, апостола, псалтыри, молитвенника, житий, проповедей, теологических трактатов, т. е. тексты в той или иной степени тематически близкие. Тематическая и текстуальная близость (8 СР из 17 — евангелия различного объема) отражается и на самом составе лексем СР. Целые разряды слов, несомненно, известные писцам СР, не попали в СР просто потому, что многие явления духовной и материальной жизни людей того времени не отражены в литературных памятниках, сохранившихся в СР.

Итак, исследователь лексики СЯ располагает 9616 словами, которые являются несомненно старославянскими, но которые находятся в различных 17 рукописях, написанных, хотя и на одном языке в течение примерно 150 лет, но далеко не однородных по своему стилю и нормам словоупотребления (если под лексической нормой применительно к СЯ понимать совокупность словарных особенностей, характеризующую язык, принятое в нем словоупотребление).

Поставив перед собою задачу не привносить в лексическую систему ничего ей чуждого, опираться на СР; исследователь, учитывая трудности, о которых говорилось выше, должен избрать наиболее эффективную и рациональную методику анализа известных 9616 ст.-сл. слов. Заведомо очевидно, что нельзя ограничиваться этюдами, посвященными изолированным лексемам (хотя и такие исследования имеют свою немалую ценность). Несомненно, объектом изучения должно явиться слово в ряду других лексем, соединенных между собой существенными (системными) лексико-

семантическими особенностями. «В языковой системе смысловая сущность слова,— писал В. В. Виноградов,— не исчерпывается свойственными ему значениями. Слово по большей части заключает в себе указания на смежные ряды слов и значений. Оно насыщено отражениями других звеньев языковой системы, выражая отношение к другим словам, соотносительным или связанным с его значениями»<sup>6</sup>. Должны изучаться группы слов, объединенные в единое целое общим элементом значения. Такие комплексы слов, выделяемые по общему элементу значения, будем называть семантическими группами.

Как двусторонняя единица слово входит в семантические группы двух родов. Во-первых, в такие, которые выделяются по отношению к реальной действительности. Во-вторых, в такие группы, которые выделяются по внутренним языковым признакам.

К семантическим группам первого рода относятся, например, слова со значениями 'фитоним', 'музыкальный инструмент', 'цветовой признак' и т. п. объединения лексем, образующиеся по их экстралингвистическим признакам. Исследования подобных семантических групп на современной стадии развития старославянской лексикологии не могут быть во множестве случаев высокоеффективными в собственно лингвистическом отношении из-за сравнительно небольшого числа известных СР и их тематической ограниченности.

Приведем два примера из многих возможных. При этом отбираем такие семантические группы, которые словарно (сравнительно с другими) довольно широко представлены в СР.

Таковы, например, 24 наименования кровного родства и свойства в СР (указываем и лексические дублеты основного слова): **мати** (Зогр Мар Ас Сав Охр Боян-пал Син Евх Клоц Супр Зогр лл Ен Рыл); **отъць** (Зогр Мар Ас Сав Охр Унд Боян-пал Син Евх Служ Рыл Супр Зогр лл Ен Клоц); **родитељ** (Зогр Мар Ас Сав Боян-пал Евх Супр Рыл); **дъци** (Зогр Мар Ас Сав Унд Син Клоц Супр Ен Рыл); **сынъ** (Зогр Мар Ас Сав Охр Унд Боян-пал Син Евх Клоц Супр Хил Рыл Ен); **брать**, **братръ** (Зогр Мар Ас Сав Охр Боян-пал Син Служ Евх Клоц Рыл Зогр лл Супр Ен); **сестра** (Зогр Мар Ас Сав Боян-пал Евх Супр Ен); **мжъ** (Зогр Мар Ас Сав Боян-пал Син Евх Клоц Супр Ен; в части указанных СР есть только значение иной семантической группы — 'мужчина'); **жена** (Зогр Мар Ас Сав Унд Охр Боян-пал Син Евх Клоц Супр Ен; в части указанных СР есть только значение 'женщина'); **поуциница, потыгѣга, подтыгѣга, подъвѣга** (Зогр Клоц Ас Мар); **мальжена** (Рыл); **подроужник** (Супр); **вѣдова, вѣдовица** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр); **дѣдъ** (Супр), **прѣдѣдъ** (Евх), **прадѣдъ** (Супр), **прѣботъць** (Сав); **женихъ** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр), **зять**

<sup>6</sup> Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. — ВЯ, 1953, № 5, с. 6.

(Супр), **невѣстынкъ** (Супр); **свѣкры** (Зогр Мар); **жжика** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр Ен), **ближника** (Син Евх Супр); **срѣдовома** (Супр); **вратоучадъ** (Супр); **тѣтъка** (Супр); **тыца** (Зогр Мар Ас Сав); **тыстъ** (Зогр Мар Ас Сав).

В СР не зафиксированы лексемы со значениями 'племянница', 'племянник' (сын сестры), 'зять', 'деверь', 'золовка', 'бабушка', 'дед', 'внук', 'внучка', 'свекор', 'вдовец', 'сноха', 'отчим', 'мачеха', 'пасынок', 'падчерица', 'дядя' и ряд других<sup>7</sup>. Ст.-сл. **баба**, **зать**, **дѣдъ**, **сѫпржгъ** известны в СР в иных значениях, чем, например, такие же слова в современном русском языке.

В СР употребляется 34 фитонима (считаем ботанические наименования, а не лексемы, при этом учитываем мотивированное слово при отсутствии мотивирующего): **аворовъ** (Супр); **виноградъ** (в значении растения известно только по Супр и Евх); **вльчыцъ** (Супр); **връбине** (Син, Клоц Супр); **гороушынъ** (Зогр Мар Ас Сав); **джѣгъ** (Евх Супр); **кедръ** (Син); **киминъ** (Мар); **копръ** (Мар); **кринъ** (Мар Ас); **лоукъ** (Евх); **льненъ** (Супр); **маньна** (Зогр Мар Ас Син Ен); **маслина** (Син Евх); **мелагрин** (Супр); **мата** (Зогр Мар); **пиганъ** (Зогр Мар); **пистикии** (Зогр Мар Ас Сав); **пинкъсь** (Син); **пышеница** (Зогр Мар Ас Сав Унд Син Евх Супр Хил); **рожьцъ** (Зогр Мар Ас Сав), **рѣшинъ** (Зогр Мар); **сланоутгъкъ** (Супр); **смокъвыница** (Зогр Мар Ас Сав Зогр-пал Супр), **сукамина** (Зогр Мар Ас), **сукомория** (Зогр Мар Ас); **триволь** (Ас); **трѣник** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр); **трѣнъ** (Син); **трѣстнѣк**, **трѣсть** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Супр); **финникъ** (Зогр Мар Ас Сав); **шингъкъ** (Супр); **ячынъкъ**, **ячынънъ** (Зогр Мар Ас), **госоль** (Зогр Мар Ас Син Евх).

Кроме перечисленных конкретных наименований растений в СР употребляется также 27 слов, выраждающих общие понятия из мира растительности: **агода** (Сав); **былинѣ** (Супр); **ваа, вѣза** (Зогр Мар Ас Сав); **вѣтвъ** (Зогр Мар Ас Сав Евх); **дрѣво** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр Ен); **дрѣзга** (Супр); **джѣрава, джѣрова** (Син Евх); **жито** (Зогр Мар Ас Сав Син); **зелинѣ** (Зогр Мар Син Супр Ен); **зизанинъ** (Хил); **злакъ** (Син); **класъ** (Зогр Мар Ас Сав Супр); **корень** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр); **лѣсъ** (Евх Супр); **лѣторасль** (Супр); **листвицѣ** (Зогр Мар Ас Сав Син Супр); **лоза** (Зогр Мар Ас Сав Син Супр); **лѣгъ** (Син); **овоштѣ** (Супр); **плодъ** (Зогр Мар Ас Сав Унд Син Евх Клоц Рыл Супр); **розга, разга** (Зогр Мар Ас Сав Син); **садъ** (Зогр Мар Рыл Супр); **трава, трѣба** (Зогр Мар Ас Сав Унд Син Евх Супр); **цвѣтило** (Супр), **цвѣтъ** (Зогр Сав Син Евх), **цвѣтыцъ** (Супр).

Состав ботанических наименований, как об этом свидетельствуют многочисленные косвенные источники, исторические и лингвистические, был в СЯ значительно разнообразнее и богаче, чем это зафиксировано в языке СР. Среди оставшихся нам неизвестными,

<sup>7</sup> Ср. состав подобных наименований в славянских языках в монографии О. Н. Трубачева 'История славянских терминов родства' (М., 1959).

видимо, находилось определенное количество диалектизмов (ср. ст.-сл. *сланоутъкъ*<sup>8</sup>) и немалое число книжных гредизмов, неизбежных при переводах с греческого<sup>9</sup>.

Важно подчеркнуть, что, при отсутствии соответствующего материала в самих СР, рукописи других изводов и редакций, как и остальные косвенные источники любого характера, в данном случае дают материал для определения состава реалий, предметов (в широком понимании слова), но не слов определенных семантических групп, которым они выражены в конкретном языке (в СЯ). Нельзя, например, в настоящее время неопровергимо доказать, что соответствующие понятия в СЯ выражались, например, именно такими или только такими словами, как *бокъ*, *быкъ*, *дѣверь*, *крава*, *лань*, *мравии*, *оса*, *праса* и т. п., хотя многие из них являются не только праславянскими словами, но и получили общеславянское распространение. Нельзя доказать просто потому, что в известных на сегодняшний день СР нет однокоренных с ними слов. Кроме того, следует учитывать и множество частных особенностей формирования определенных разрядов слов, например, табуистических наименований, бытовых наименований местного значения. В этом отношении показателен состав текстологических дублетов в рукописях идентичного содержания.

Наблюдения показывают, что исследования семантических групп, выделенных по экстралингвистическим (предметным) признакам, не всегда эффективны для древних языков, в частности, для СЯ, в узколексикологическом плане, хотя по данным таких групп удобно изучать различные парадигматические, синтагматические и некоторые другие свойства слова.

Наиболее результативными, на наш взгляд, являются исследования, направленные на изучение собственно языковых свойств лексемы, прежде всего на те, которые достаточно полно выражены в языке известных нам рукописей.

СЯ принадлежит к языкам с ярко выраженной мотивированностью<sup>10</sup>. В языке СР имеется около 100 аффиксов, около 850 гнезд однокоренных слов, более 600 двукорневых сложений. Сопоставление данных различных славянских языков дает основания полагать, что зафиксированные в СР лексемы достаточно полно отражают систему словообразования СЯ. Известно, по-видимому, подавляющее большинство не только аффиксальных, но и корневых морфем СЯ. Показательно, что Ен, содержащий 898 слов,

<sup>8</sup> См.: Ковачева Пенка К. Названията на растението *cicer arietinum* в историята на българския език. — В кн.: Трудове на Великотърновския университет «Кирил и Методий», т. XI, кн. 1. София, 1974.

<sup>9</sup> Известное косвенное представление о такой номенклатуре СЯ дает монография: *Moldenk Harold N. and Moldenke Alma L. Plants of the Bible*. Waltham. Mass. U. S. A., 1952.

<sup>10</sup> См.: Ульманн С. Семантические универсалии. — В кн.: Новое в лингвистике. В. М., 1970, с. 254 и сл.; Лопатин В. В. Русская словообразовательная морфемика. Автореф. докт. дис. М., 1976, с. 10 и сл.

увеличил число «новых» слов СЯ более чем на 120, кроме того, стали известны новые значения или семантические оттенки «старых» слов, увеличилось количество сочетаний «старых» слов за счет новых, но мы не узнали из словаря Ен новых аффиксов или корней СЯ. То же можно констатировать и относительно 12 «новых» слов, полученных из Рыл.

Наиболее результативными поэтому, на наш взгляд, являются исследования семантически связанных, мотивирующих и мотивированных слов, группирующихся по обязательному и формально выраженному общему элементу лексического значения — по общей морфеме (корневой или аффиксальной). Имеем в виду синхронную соотнесенность морфем, так как историческое членение слова (в ряду других этимологических данных) относится уже не к прямым, а к косвенным источникам исследования ст.-сл. лексики.

Определение места членения слова в языке древней рукописи имеет первостепенное значение для его толкования. При этом мы исходим из понятия бинома, сформулированного Г. О. Винокуром<sup>11</sup>, т. е. рассматриваем каждое мотивированное слово как бинарную конструкцию, как двучленное единство. Так, например, ст.-сл. **тръзжьць** — 'вили с тремя (отдельными) зубьями', т. е. **трь-зжьць**, точнее **трь-(зжь-ць)**, так как суф. **-ць** вносит во вторую основу сложения понятие единичности — 'один из.., отдельный' (ср. ст.-сл. **цвѣт-ць**, **със-ць**), а потому **тръзжьць** не может члениться как **тръзж-ьць**, т. е. рассматриваться как производное от **тръзжь**, следовательно толковаться как 'маленькие вили, маленький **тръзжь**'.

Важно иметь в виду, что в ряде случаев имеющийся материал не дает возможности установить с достаточной достоверностью место членения старославянского слова. Нередко наблюдается и двойная мотивация. Например, сущ. **неправъдникъ** могло быть одновременно мотивировано и прил. **неправъднъгъ** и сущ. **правъдникъ**; **зълодѣти** можно членить на **зъл-одѣти** или рассматривать как производное от **зълодѣти**. В случаях калькирования с греческого (особенно композит) реально наблюдаются такие ситуации, когда при переводе определенного греческого текста мотивированное слово могло быть употреблено ранее своего потенциального старославянского мотивирующего.

В идеале каждое слово как структурно сложная языковая единица должно анализироваться во всех семантических группах, в которые оно входит (и по экстралингвистическим признакам, и по собственно языковым). Смысл слова полностью проявляется как бы в фокусе пересечения всех семантических групп, членом которых оно является. В этом проявляется специфика слова как языкового знака, этим объясняется трудоемкость лексикологических исследований. Следует учитывать, что информативность

<sup>11</sup> Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию. — В кн.: Винокур Г. О. Избр. работы по русскому языку. М., 1959, с. 440 и сл.

отдельных семантических групп, в которые входит «искомое» слово, весьма различна в каждом конкретном случае.

В соответствии с тремя типами морфем выделяем три типа морфемных семантических групп — по корню, префиксу и суффиксу.

В качестве примеров изучения слова как члена морфемной семантической группы определенного типа изложим результаты анализа нескольких групп с целью показать, как такое исследование нередко восполняет недостающие в языке СЯ данные лексико-семантического характера. Исследование ряда лексем, объединенных общим формально выраженным элементом значения (общей морфемой) расширяет информативные возможности прямых источников СЯ—СР, в принципе каждого старославянского слова относительно многих других старославянских слов, так или иначе связанных по своим значениям. При такой методике исследования уменьшается опасность привнесения черт, свойственных другим языкам и эпохам из косвенных источников. Наши примеры разнонаправленны: в одних случаях мы идем от группы к слову как ее члену, в других — от слова к группам, в которые оно входит.

Первый тип морфемной семантической группы — лексемы, объединенные значением общего корня.

В языке СР имеется немногим более 1200 различных корневых морфем, которые представлены в 7838 словах. При этом около 350 корней известно только по одному старославянскому слову (простому или производному), а более 7000 слов образует около 850 семантических групп по общему корню.

Обычно в СР один и тот же корень представлен немногими словами. Типичны, например, следующие корневые семантические группы: *блѣдѣти*, *блѣдъ*, *облѣдѣти*; *брачнъ*, *бракъ*; *длѣгъ*, *длѣжнъникъ*, *длѣжнъ*; *драхльстко*, *драхълъ*, *драсловати*, *драселъ*; *безлѣтъно*, *лѣтнъ*, *лѣто*, *лѣторасль*, *мѣноголѣтнъ*; *мѣдропишнъцъ*, *мѣдръ*, *оутѣдрити*; *бесплѣтнъ*, *плѣтьскъ*, *плѣтнъ*, *плѣть*, *плѣтойднѣкъ*, *плѣтолюбивъ*, *вѣплѣтити*, *вѣплѣщеникъ*; *сановитъ*, *санъ*; *сирота*, *сиротство*, *сиръ*; *скотинъ*, *скотъ*.

Вместе с тем имеется и немалое количество больших гнезд однокоренных слов. Например, *бити* со своими производными и однокоренными словами образует семантическую группу в 39 лексем; *ѣтати* — 26; *вѣра* — 30; *градъ* — 25; *дѣти* (*дѣяти*) — 90; *кровъ* — 25; *любити* — 71; *мѣра* — 23; *мѣдръ* — 29; *писати* — 24; *решти* — 64; *свѣтъ* — 29; *цѣлъ* — 35; *исти* — 29.

Знаменательно, что среди 350 слов СР, изолированных по корню, и среди слов, входящих в группы из единичных однокоренных лексем, преобладают такие слова, которые в различных славянских языках характеризуются ограниченным количеством однокоренных с ними слов, что, видимо, неслучайно и отражает определенные закономерности славянской лексики в целом и СЯ в частности.

Изложим в качестве примеров некоторые результаты исследования семантических групп с корнями *-прост-* и *-млад-*.

В языке СР известно 12 слов с корнем *-прост-*: **простъ** (Зогр, 3; Мар, 2; Ас, 1; Сав, 2; Син, 1; Евх, 4; Супр, 21); **просто** (Евх, 1; Супр, 15; Клоц, 1); **простѣ** (Супр, 2); **простити** (Евх, 2; Супр, 15; Ен, 1); **прачили** (Евх, 1; Супр, 5; Ен, 1); **прощеніе** (Евх, 1; Супр, 12); **простота** (Супр, 1); **простыни** (Супр, 4); **простовласть** (Супр, 1); **прѣпростъ** (Супр, 8); **прѣпростъ** (Клоц, 1; Рыл, 1, Супр, 3); **съпроста** (Супр, 6)<sup>12</sup>. Всего, таким образом, нам известно 116 ст.-сл. контекстов со словами этого корня. Одновременное рассмотрение этих слов позволяет определить семантическое ядро, их объединяющее, установить филиацию значений и уточнить смысл и семантические оттенки употребления многих лексем, составляющих данную корневую группу. Семантическое ядро *-прост-* можно определить как «простой, однородный, несоставной». Из данного ядра выделяются два пучка значений, определенным образом соотносящихся друг с другом. Первый семантический пучок: «природный, изначальный, цельный, без примеси, чистый», «простодушный, доверчивый, чистый сердцем», «скромный, непрятязательный, смиренный». Второй семантический пучок: «прямой, стоящий прямо, выпрямленный», «освобожденный от чего-либо изначально чуждого, наносного, лишнего, плохого» (ср.-русск. *опростать*), «прощенный кем-либо, освобожденный от грехов». В СЯ, видимо, не оформились значения «простоватый, глуповатый» и «искренний, правдивый, откровенный». Последнее (как оттенок значения ‘простой, несложный’) приписывается прил. **простъ** в Мт 6, 22 в Сл. ЧСАН (III, 382), что представляется нам сдвигом в толковании этого слова к современному пониманию текста. В Мт 6, 22 говорится: **свѣтильникъ тѣлоу есть око. аште оубо бѣдетъ око твоє просто. все тѣло твоє бѣдетъ свѣтъло** Зогр Мар Ас; аналогично Л 11, 34 Зогр Мар. В Мт 6, 22 Сав и Л 11, 34 Зогр **просто** употребляется и вместо **свѣтъло**. Для стиля евангелия характерно употребление простых, безыскусственных сравнений, что имеет место и в названных стихах. Здесь говорится о том, что если глаз (как источник света) будет прозрачным, чистым, незамутненным, т. е. здоровым, то и тело будет светлым (освещенным). **Простъ** в данных контекстах означает ‘ясный, прозрачный, чистый, без посторонних примесей’. В следующем стихе говорится: **аште ли око твоє лжако бѣдетъ. все тѣло твоє тьмъно бѣдетъ** Мт 6, 23 Зогр Мар Ас Сав. Здесь **лжако** — антоним **просто** в Мт 6, 22. Если **просто** в греческом тексте соответствует *ἀπλοῦς* ‘простой’, то **лжако** передает *πονηρός* ‘испорченный’ (т. е. прямое значение греческого слова, а не переносное ‘злой, враждебный’ или ‘лукавый’, как это нередко tolкуется). Стоит

<sup>12</sup> Цифры, следующие после запятой, указывают, сколько раз данное слово употреблено в этой рукописи.

вспомнить, что *лукавый* в различных славянских диалектах изредка означает 'слепой, кривой'. Ср. более распространенное *кривой* 'слепой (на один глаз)'.

Толкование гапакса *простовласъ* как 'с непокрытой головой' также представляется модернизированным (Сл. ЧСАН, III, 379). В Супр оно употребляется в рассказе о гибели младенцев в Вифлееме, убитых по приказу царя Ирода: *и́гда кричава и тръзания мжже и женъ. въ градынъхъ стъгдахъ и междахъ. и от'цемъ и матеремъ простовласомъ сжштемъ. и зѣло жалаштемъ о младынхъ чадѣхъ исѣченни* Супр 397, 13; то же Усп. сб. 1986 10—11. *Простовласъ* здесь означает 'с распущенными (в знак траура) волосами'. Здесь в Супр имеет место калька греч. соотв. *λοσικός*, которое буквально означает 'со свободными, незавязанными волосами'. Аналогично: *изиде жена из града въ сквирънънахъ ризахъ простовласа... сынъ мон... мъръте лежитъ* Усп. сб. 292а 27—28; то же 290б 9. Ср. более новое значение *простовласъ* и *простоволосыи* в древнерусских текстах: *въскочи црца ис полаты простовласа Жит. Екатер. 19; юже съгренеть чюжене женѣ повон с головы или дцьри, явится простоволоса, 5 гривень старыи за соромъ Мир. гр. Новг. 1199* (цит. по Словарю Срезневского, II, 1577). Значение 'с непокрытой головой' является основным в поздних текстах, но словари отмечают и значение 'с распущенными волосами' (например, Гринченко, III, 482; Линде, IV, 484; Ушаков, III, 1009).

Аналогично гапакс *простость* не означает 'простота, скромность' (Сл. ЧСАН, III, 379), а 'простодушие, доверчивость'. В тексте Супр говорится о том, что монах не подозревал злого умысла в просьбе об исцелении обратившейся к нему женщины: *она же... хоташти юго оуловити. и на похѣтѣи зѣло стааго привести. гла юмоу молж ти са мажи ми срѣдъце на дльзѣ... онъ же по сжштин въ немъ простости. творѣше ии иже на врач'вѣ. коупно же и проказыства лжкавааго вѣды и бол са... лѣважк ржкк къ огню приධѣл* Супр 516, 21. Греч. соотв. *ἀπλότης*, как и *ἀπλός* при *простъ*, — многозначно.

Можно умножить примеры уточнения значений слов с данным корнем в СЯ на основе анализа всех 116 контекстов, относящихся к данной семантической группе. Отметим здесь, что анализ слов, составляющих данную группу, позволяет сделать еще одно наблюдение: слова данного корня в переносных значениях свойственны Супр и близким к ней СР, они принадлежат к неологизмам СЯ. Например, глаголы *простити* и *працати* означают 'избавить, избавлять, освободить, освобождать от чего-либо чужого, плохого (в том числе и от грехов); простить, прощать (вину, грехи)'. Например: *прости ма отъ в'сѣхъ зѣль* Евх 79а 2—3; *доушж отъ жэзъ съмрѣтънъхъ прости* Супр 311, 17; *ис тѣмы тѣмничынъ прости юго* Супр 365, 12; *фко ты еси працатаи отъ грѣхъ* Евх 80а 22. Ср. более употребительные в СР в этих значениях глаголы

**отъпустити и отъпушати** (Зогр Мар Ас Сав Син Евх Клоц Супр).

Ст.-сл. **младъ** (в отличие от всех однокоренных с ним слов СР) в лингвистической литературе, включая и специальную, толкуется как 'молодой'. Анализ семантической группы **млад-** в языке СР, состоящей из 20 словоупотреблений этого прилагательного и 90 контекстов, содержащих лексемы **младынъ, младеница, младенец, младенчина, младенство, младенческий, младатъце, младенческая, младенческий, младенческая**, убеждает в том, что значение 'молодой', т. е. 'находящийся в возрасте от отрочества до зрелости', не было присуще ст.-сл. **младъ** (в СЯ употреблялось прил. **юнь**). Значение 'молодой' развились у слов с этим корнем в славянских языках позднее. Примечательно, что **младость** 'молодость' — позднее слово русского литературного языка, а **молодость** является своего рода производным от него (в этом значении они возникли не ранее XVII в.). В СР нет слова **младость**, если оно и употреблялось в СЯ, то только в значении 'детство'.

Семантическим ядром группы **млад-** является значение 'только что появившийся, родившийся, еще неокрепший, мягкий'.

В ст.-сл. евангелиях прил. **младъ** употребляется только тогда, когда говорится о молодых побегах: **єгда оуже вѣнца вѣдеть млада и листвие прозъбнетъ. вѣсте чѣко близъ есть жатва** Мт 24, 32 Зогр Мар Ас Сав (*ἀπαλός*); то же Мк 13, 28 Зогр Мар.

В Супр прил. **младъ** в девяти случаях употребляется, когда речь идет о младенцах или о маленьких детях. Например: **иако младоу и неискоускоу зкла. дѣти младъ. съжшти тѣлеси** Супр 320, 8 и 9. Ср. 397, 14 (приведено выше по поводу слова **простовласъ**). В пяти остальных случаях употребления **младъ** общим исходным значением является 'мягкий, нежный, несозревший'. Во-первых, в выражении **измладъ ногти** (*ἐξ ἀπλῶν ὄνυχων*) Супр 117, 27, т. е. 'с младенчества (когда еще ногти были мягкими)'. Во-вторых, когда говорится о молодом сыре или о молодом вине: **млады сыры** (*υεαρὰ τορία*) Супр 291, 7—8; и **младъ грозижесть мъстъ младъ** (*ἄφρος* в обоих случаях переводится на СЯ **младъ**) Супр 397, 16 и 17 (397, 16 — о растении!). В-третьих, в переносном употреблении 'свежий, гибкий (о растении)': **иже прѣстарѣвшъ сѧ трѣсть. прѣобразити на младъ онъ образъ** (*πρὸς χολογήματα*) Супр 249, 28.

Показательно употребление гапакса **младынъ: икъ юд' наче вѣ младынъ и младынъ пишти сжште...** Супр 397, 9, где означает 'нежный, младенческий' (*ἀπαλός*)<sup>13</sup>.

Ст.-сл. **младъ** семантически пересекается со ст.-сл. **макъкъ**<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Подробнее о семантической группе **младъ** говорится в нашей статье «Заметки по старославянской лексикологии. 3».

<sup>14</sup> Этимологически ст.-сл. **младъ** и восходит к значению 'мягкий, нежный' (см.: *Фасмер II*, с. 643—644; Словарь Садник—Айтцетмюллера, с. 269, № 526). Как показано в только что опубликованном втором томе труда В. М. Иллича-Свитыча, это значение является глубоким архаизмом, см.:

Второй тип морфемной семантической группы — лексемы, объединенные значением общей приставки.

Предфикс уточняет значение следующего за ним корневого элемента лексемы. Различие между приставкой и первым компонентом сложения, представляющим собою корневую морфему, состоит лишь в степени семантической насыщенности, что определяется специфическими различиями так называемых полнозначных слов от неполнозначных. Префиксы по характеру значения близки к предлогам, а потому последние должны учитываться при исследовании префиксальных семантических групп, сопредельных с соответствующими предлогами.

Чем ближе приставки к наречиям (с которыми они связаны генетически), тем они семантически определеннее. Именные и глагольные приставки, особенно в древних языках, как правило, различаются по степени своей семантической наполненности (ср. хотя бы слова на **сж-** и на **ск-**). Глагольные префиксы обычно несут грамматическую функцию — видоразличительную, тем не менее их семантическое содержание вполне определимо. Ср., например, ст.-сл. приставочные глаголы типа **въ-**, **въз-**, **изъ-**, **отъ-**, **це-**, **при-**, **прѣ-**, **разметати** (и **метати**) или **въ-**, **на-**, **прѣ-**, **скъпичати** (и **писати**).

В лексическом составе СР приставочные слова (преимущественно глаголы) занимают значительное место. Достаточно указать, что префиксальных слов на **без-(вес-)** — 118; на **въз-(въс-)** — 258; на **до-** — 48; на **из-(ис-)** — 255; на **на-** — 107; на **ск-** — более 300.

Рассмотрим «возможности» морфемных семантических групп применительно к объяснению гапакса-окказионализма — префиксального прилагательного **притрань**.

В словарях древних славянских языков имеются статьи **притрань** и **притраньи** со значением 'страшный, жестокий' (см. Словарь Миклошича, 684—685; «Материалы» Срезневского, II, 1479—1480; Словарь Востокова, II, 102; См. ЧСАН, III, 318). В этих статьях указывается и гапакс из Супр со знаками вопроса.

В Супр **притрань** выступает в следующем контексте: ... **привыкающстемъ ба.** Прити на помошть имъ. и абыс томоу жде авить са еппоу. и глас(ъ) оуслышишъ притрань глаголющшть к нимоу Супр 530, 11. **Притрань** здесь означает 'вполне ясный, отчетливый, явственный', что полностью соответствует смыслу излагаемого события и значению греч. соотв. **τρανής** 'явственный, ясный, определенный'.

Этимологи считают **притрань** словом неясного происхождения, но при этом выделяют аффиксы **при-** и **-ан-** и корень **тр** (\*ter)<sup>15</sup>.

Иллич-Севитич В. М. Опыт сравнения иностранческих языков, II. М., 1976, с. 83—85.

<sup>15</sup> См. этимологическую часть Словаря Садник—Айтцетмюллера, с. 320 (№ 985), здесь же указана и литература вопроса. Неясным по происхождению считает **притрань** и М. Бродовская-Гоновская: *Brodowska-Honowska M. Słownictwo przymiotnika w języku staro-cerkiewno-słowiańskim*. PAN. Kraków—Wrocław—Warszawa, 1960, с. 136.

По нашему мнению, **притрань** в Супр является окказионализмом и прямым заимствованием из греческого протографа со славянской приставкой **при-** (по ошибке вместо **прѣ-**). **Притрань** и **притранынь** в древних славянских рукописях других изводов представляют собою омонимы по отношению к ст.-сл. гапаксу. При этом мы исходим из стилистических особенностей памятника и результатов анализа в языке СР префиксальных семантических групп на **прѣ-** и **при-** и суффиксальной семантической группы с формантом **-ѣнъ(-'ан-)**.

В тексте жития (Супр 513—532), в котором употреблено прил. **притрань**, постоянно встречаются усиительные эпитеты, в том числе и прилагательные с приставкой **прѣ-**, что составляет одну из характерных черт стиля произведений агиографического жанра и языка Супр и близких к ней рукописей в целом. В Супр употребляется 27 прилагательных-эпитетов с начальным **прѣ-** усиительного значения из числа 30, известных в языке СР в целом. Это слова: **прѣблажынь**, **прѣвеликъ**, **прѣвѣчынь**, **предобръ**, **прѣлихъ**, **прѣлжавъ**, **прѣль**, **прѣмрачынь**, **прѣмъногъ** и т. п.

Типичные значения приставки **при-**, которые как элемент значения слова присутствуют в ст.-сл. прилагательных **приложынь** 'расположенный у дороги, придорожный' (Супр 250, 15); **прискрѣбнынь** (например, в Л 18, 23 Зогр Мар Ас Сав) или **пристрашынь** (например, в Л 24, 5 Зогр Мар Ас) со значениями 'проникнутый, полный какими-либо чувствами (скорбью, страхом)', к окказионализму **притрань** не приложимы. Приставка **при-** в **притрань** употреблена писцом по ошибке вследствие близости ее написания и звучания к приставке **прѣ-**. Такие случаи не единичны в рукописях различных изводов, имеются они и в СР (мы считаем, в частности, что в Супр 88, 22—23 и 464, 27 **пристрашынь** употреблено вместо **прѣстрашынь**, в данном случае имеет значение и употребительность прил. **пристрашынь** в СР с исконным **при-**).

**Притрань** в СЯ следует считать бессуффиксальным прилагательным. Об этом свидетельствует рассмотрение семантической группы с суффиксом **-ѣнъ(-'ан-)**. **Притрань** изолировано от других слов по финали. Во всех остальных прилагательных СР на **-анъ** данный формант следует после палатализованного согласного. Вторых, с суффиксом **-ѣнъ(-'ан-)** образуются только относительные адъективы со значением 'состоящий, сделанный из вещества, материала (соответственно значению производящей основы)'. Ср. значения прилагательных, образующих данную семантическую группу: **власѣнъ**, **дрѣвѣнъ**, **лыгѣнъ**, **мѣдѣнъ**, **оловѣнъ** и т. п. или **можданъ**, **рожанъ**, **цвѣтѣнъ**, **шипѣнъ** и др. В слове **притрань** подобного элемента значения нет<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Подробнее о семантических группах с префиксами **прѣ-** и **при-** говорится в наших статьях «Старославянские прилагательные с приставкой **прѣ-**» (в кн.: *Studia palaeoslovenica*. ČSAV, Praha, 1971) и «Значение

Изучение префиксальных слов СР, особенно лексем с собственно приименными приставками, дает существенные данные для объяснения редких, часто реликтовых явлений в области словообразования и лексики СЯ. В таких случаях важно учитывать и сопредельные предлоги. Так, например, при объяснении гапаксов **обнощница** (Супр 208, 18) и **обнощыть** (Супр 548, 7—8) важно опоставление с выражением **об ношь** (См. Л 6, 12 Зогр Мар; Л 5, 5 Зогр Мар Ас) и с темпоральным **о** (Супр 301, 22). При определении значений прилагательных **пристрашыть** и **прискрѣбъти** важно учитывать редчайшее употребление предлога **при** в значении ‘со свойственными, присущими (качествами, особенностями)’. Например: **трѣфимъ и єгкар'пишнъ.** словожштаа при лоутости и при дръзости. и кназемъ посыана на кръстнины мжчтъ Супр 212, 13 и 14.

Анализ префиксальных семантических групп (как и вообще аффиксальных групп) существен при определении стилистических особенностей словоупотребления в СЯ. Так, например, лексемы с префиксом **низъ-** — архаизмы, а прилагательные на **прѣ-** — преимущественно неологизмы Супр и близких к ней СР, при этом неологизмы, характеризующиеся определенным книжным стилистическим оттенком.

Третий тип морфемной семантической группы — лексемы, объединенные значением общего суффикса.

Информативность данного типа семантических групп чрезвычайно высока в силу природы данного аффикса, формирующего классы слов и их словообразовательные типы и модели.

В качестве примера анализа семантической группы, выделенной по суффиксу, приведем результаты исследования ст.-сл. слов с формантами **-ѧ/-ѧт-**, занимающих по всей семантике обособленное место среди аналогично оформленных слов других славянских языков<sup>17</sup>. С этим суффиксом в СР известно семь слов, шесть из них — названия животных, одно относится к человеку. Суффикс вносит в эти слова довольно широкое значение — живое существо (животное) без конкретизации пола и возраста, характерной для других славянских языков. Тем не менее во всех славянских словарях, описывающих древние периоды славянской письменности, во многих сравнительных грамматиках эти слова и применительно к старославянским текстам интерпретируются как уменьшительные, как обозначения детенышей или маленьких животных. Между тем в языке СР только **агнѧ**, **жрѣѧ** и **отрочѧ** обозначали невзрослых существ в соответствии со значениями их корневых морфем. Слова же **овѣѧ,** **осъѧ,** **козыѧ** и **клюѧ** представляют собою наименования

приадъективной приставки **прі-** в языке старославянских памятников» (в кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971).

<sup>17</sup> Сравнительно-исторический анализ слов с основами на **-ѧт-** дает С. Б. Бернштейн во втором томе своего «Очерка сравнительной грамматики славянских языков» (М., 1974, с. 197 и сл.).

животных без указания на их пол или возраст, так как являются родовыми немаркированными названиями соответствующих понятий. Приведем факты. **Осьла** (Зогр, 1; Мар, 5; Ас, 4; Сав, 4; Супр, 7; ὄνος, ὄναρτον, ὑπόβυγτον) — 'осел' (употребляется преимущественно в контекстах, где имеется в виду ослица). Например: **обращение осьла привязано и жреца съ нимъ. и отрѣшьша приведѣта ми** в Мт 21, 2 Мар Ас Сав (см. также далее Мт 21, 3—7 и И 12, 14 и 15 Зогр Мар Ас Сав; Мк 11, 2—7 Зогр Мар; ср. о том же Супр 321, 12; 337, 7 и 13). Показательно прил. **осълатинъ: всѣдъ па осъла и жреца осълатино** 337, 7, которое означает 'ослиный, относящийся к ослице'.

Информативны в этом отношении и данные косвенных источников. Характерна замена **осъла** на **осълица** в цитате из библии в паримейнике Григоровича (см. Сл. ЧСАН, II, 557). Относительно поздние **осълица** и **осълиха** еще не зафиксированы в «Материалах» Срезневского, а у Востокова (11, 34) дается в этом значении **осълатница** (ср. **осълатинъ** в Супр!) с характерным для поздних рукописей наращением суффикса. **Осъчъ** и **осъца** в СР употребляются в сходных контекстах и имеют общее греческое соответствие — **прѣбато**.

**Козъла** (греч. ἔριφος) в СР известно только в следующем контексте: **се колико лѣтъ работай тебѣ. и николиже заповѣди твоиа не прѣстажиши. и млынѣ николиже не дадъ еси козълате... егда же синъ твои. изѣды твои имѣнье. съ любодѣнцами. приде. и закла ємоу тѣльцу питомы** Л 15, 29 и 30 Зогр Мар Ас Сав. Здесь говорится, по всей вероятности, о мясе козы (или козла, козленка, указывается только на вид животного без дальнейшей конкретизации пола или возраста). Ср. образования от той же основы в русском языке — **козлятина, медвежатина, курятина, гусятина** и т. п., где также указывается только вид животного без дальнейшей детализации. Следует также учитывать, что в данном контексте сущ. **тѣльцу** (**μόσχος**) 'молодой бык' (возраст указывается корнем, а не суффиксом слова, **тѣла** в СР не зафиксировано) противопоставляется сущ. **козъла** как менеециальному животному, при этом пейоративный смысл противопоставления очевиден.

**Клюса** в СР отмечено только в Супр и не имеет греческого соответствия. Оно употребляется только в контекстах, когда говорится о выючном животном. Учитывая реалии, видимо, следует думать, что имеется в виду осел. Ср.: **дастъ клюса. на ношенье водѣ** Супр 551, 24; о том же 551, 30 и 552, 3—4, 5, 11—12; **прѣзы напрасно глоухъ и неемъ и всѣмъ тѣломъ раславынъ. кгоже не могъше носаштии въсадити на клюса** Супр 552, 24. Ср. в Усп. сб.: **на вѣложъю ма клюса въсадиwt. несе ма...** 172г 25. В церковнославянских текстах **клюса** часто имеет греч. соотв. **ὑπόβυγτον** (см. словари Срезневского, I, 1230; Востокова, I, 173; Миклошича, 291; Гебауэра, II, 57). У **клюса** неясная этимология. Обычно подчеркивается пейоративный оттенок однокоренных

с ним слов в славянских языках (см. Фасмер, II, 258 и 256; Скок, II, 106). При толковании ст.-сл. **клюса**, на наш взгляд, следует обратить внимание на значения однокоренных с ним слов в западно- и южнославянских языках, семантическим ядром которых является значение 'бежать рысью'. Видимо, в СЯ **клюсъ** обозначало породу осла, бежавшего таким аллюром.

Изучение морфемных групп, объединенных общим суффиксом, позволяет в ряде случаев выявить семантические и стилистические сдвиги, происходящие в СЯ. Так, например, анализ сущ. **дѣвица** в ряду других слов на **-ица** (**-иница**) показывает, что первоначальное уменьшительное значение в нем утрачивается и слово переходит в семантическую группу с данным суффиксом (и его вариантом **-иница**), объединяющую многочисленные слова женского рода со значением лица типа **вѣдовица**, **чѣница**, **старица**, **цѣсарница**, **постъница**, **пророчица**. Ср.: **что маѣтъ... отроковица нѣсть оумрѣла** **и** **съпитъ... онъ... имъ** **за** **ржкъ** **отроковицѣ.** **гла** **єї** **талитакоумъ.** **еже естъ съказаємо.** **дѣвице** **тебѣ** **глѣхъ** **вѣстани.** **и** **абъе** **вѣста** **дѣвица** ... **вѣ** **бо** **лѣтома** I б' Мк 5, 39—42 Зогр Мар (греч. **χοράζων**) и чистая **дѣвица** **мария** Супр 241, 7 (греч. **παρθένος**). При этом **дѣвица** становится словом обычного употребления, а слово **дѣва** переходит в разряд архаизмов СЯ. Ср. стилистически аналогичные **вѣдова** — **вѣдовица**<sup>18</sup>, **сжѣръ** — **сжѣръникъ**, **съпасъ** — **съпісителъ** и некоторые другие лексемы СЯ, в которых первый член пары на фоне однозначного с ним суффиксального слова, входящего в определенную семантическую группу по суффиксу, стал в СЯ восприниматься как архаичное, стилистически маркированное слово.

Только, например, на фоне суффиксальной семантической группы пейоративных существительных мужского рода типа **пивыца**, **сѣчыца**, **оувиница**, **іадыца** можно верно истолковать гапакс СЯ **чародѣвица** (К. Мейер в своем индексе к Супр предполагает, что данное слово могло быть женского рода!). В Супр говорится: **да съконъчаєтъ сѧ** **реченю апостолу** **рекшоу.** **проныривин же** **чловѣци** **и** **чародѣвица** 214, 21. Здесь повествуется о цесаре Юлиане-отступнике и переназывается Тим II, 3, 13, где обычно употребляется гречизм **гоитъ** (см. Сл. ЧСАН, I, 415, а также II, 51). **Чародѣвица** в Супр означает 'колдун, обманщик' и не сопоставимо по значению, например, с др.-русск. **чародѣвица** — словом женского рода (см. Словарь Срезневского, III, 1473). Ст.-сл. **чародѣви**, в отличие от **чародѣвица**, стилистически нейтрально и имеет другое значение — 'за-

<sup>18</sup> См.: Мареш В. Ф. Славянское **вѣдова**—**вѣдовица**. — ВСЯ, вып. 5. М., 1961. А. М. Селищев считал, что ст.-сл. **вѣдовица** стилистически окрашенное слово, в котором уменьшительный суф. **-ица** передается «эмоциональный оттенок», отсутствующий в греческом тексте (Селищев А. М. Старославянский язык, ч. 1. М., 1951, с. 31). Заметим, что в истории болгарского языка и в истории русского языка слова **вѣдова** и **вѣдовица** имели различную судьбу.

клинатель (змей), волшебник' (см. Супр, 4, ἐπαοιδός: 183, 19; 184, 15, 17 и 19—20)<sup>19</sup>.

Мы конспективно изложили результаты анализа ряда лексем, полученные методом изучения групп слов, объединенных общим элементом значения, выраженным корнем, приставкой или суффиксом. Мы надеемся, что даже приведенные примеры достаточно определенно показывают, что исследование старославянских слов в составе морфемных семантических групп позволяет получить существенные результаты.

\*Сплошное исследование всех известных нам слов СР по семантическим группам даст возможность: во-первых, определить и объяснить многие кардинальные семантические и стилистические процессы, характерные для СЯ; во-вторых, в ряде случаев преодолеть внешне заданную ограниченность прямых источников СЯ (СР) и получить дополнительную информацию о словарном составе СЯ из самих СР, не привнося фактов, характерных для других славянских языков (большинство ошибочных толкований старославянских слов коренится в отождествлении семантических и стилистических особенностей различных славянских языков).

Укажем также на значение исследований по морфемным семантическим группам для установления пассивного словаря СЯ, т. е. тех лексем, которые непосредственно не зафиксированы в СР, но существовали одновременно со словами, имеющимися в сохранившихся до нашего времени СР. Многие из них имеют в СР косвенные свидетельства своего существования в СЯ, но их квалификация как старославянских требует определенных приемов анализа для того, чтобы включать их в словарный состав СЯ с достаточной долей уверенности.

Исследование морфемных семантических групп позволяет установить такие существенные, закономерные соотношения лексем, которые могут быть положены в основу разрабатываемой методики восстановления пассивного словаря СЯ. Так, пользуясь определенными приемами, мы восстанавливаем существительные *изъцникъ*, *оубитељ* и *оубитељникъ* на основании гапаксов *изъцническъ* и *оубитељническъ*. Эти прилагательные входят по своему суффиксу в группу из 73 слов СР, мотивированных преимущественно существительными со значением лица типа *ратъникъ* — *ратъническъ*, *родитељ* — *родитељскъ*, *пророкъ* — *пророческъ*, *чловѣкъ* — *чловѣческъ*. В языке СР особенно продуктивны семантические группы со значением лица мужского рода с суффиксами *-никъ* (154 слова) и *-тель* (72 слова). Прил. *оубитељническъ* употребляется в контексте: *вѣстъ* *всма* *арна*. *вѣстъ* и *отъгонитъ*. *не* *приемлетъ* *чѣсти* *блазнинча*. *не* *вѣзантъ* *вѣ* *оубитељническъ* *пештерж* Супр 510, 2—3 (тѣу *фоуёш*). Значение слова ясно из контекста,

<sup>19</sup> Анализ 16 суффиксальных семантических групп дается во второй части нашей книги «Лексика старославянского языка».

где говорится о притоне убийцы, и подтверждается значением греч. соотв. Оно образовано по продуктивной модели, несомненно, мотивировано сущ. **ѹбителъникъ**, которое, видимо, образовано от сущ. **ѹбителъ**. Последнее зафиксировано в Словаре Миклошича (со ссылкой на сборник Михановича, 1030). В Супр известно еще три существительных на **-никъ** с таким избыточным формантом: **исходатаникъ** (479, 27), **обрѣтельникъ** (186, 21), **приобрѣтельникъ** (160, 24), которые свидетельствуют о продуктивности образований на **-никъ** в СЯ со значением лица. Все три слова — прилагательное **ѹбителъничъскъ**, известное по Супр, и существительные **ѹбителъ** и **ѹбителъникъ**, отсутствующие в СР, вероятно, следует считать окказионализмами СЯ. В значении 'убийца' в СЯ обычно употреблялось сущ. **ѹбница** и его фонетические варианты.

Сущ. **изацъникъ** также легко восстанавливается по гапаксу **изацъничъскъ** в контексте; **егаг'евлинско во писаныкъ глаголётъ. мала бытъша зак'хъса по въздрастоу. а и ивымъ величество вола. старѣнишина изаштъничъска** Супр 545, 29—30. Значительно труднее определить его значение: нет греч. соотв., нет такого слова в церковнославянских и других древнейших рукописях славянских языков. Первая фиксация слова, нам известная, — в Словаре П. Бернанды (со значением 'сильнейший рыцарь'). Ключ к пониманию ст.-сл. **изацъникъ** — в самом контексте, где указывается на евангельский текст. В последнем говорится: **и се мжъ именемъ нарицаемъ закъхъса. и съ бѣ старѣи мытаремъ. и тъ бѣ богатъ. и искааше видѣти иса. къто естъ. и не можааше видѣти народомъ. ѿко тѣломъ малъ бѣ** Л 19, 2 и 3 Зогр Мар Ас. Следовательно, в Супр **старѣнишина изацъничъскъ** соответствует евангельскому **старѣи мытарь** и означает 'старший, главный сборщик податей', т. е. 'старший мытарь'. Ср. аналогичные **старѣнишина жъръчъскъ**, **старѣнишина вѣльшъскъ**, употребляющиеся в Супр. По своему значению **изацъникъ** соотносится со ст.-сл. гл. **изати** 'изъять, вынуть, взять что-либо'. Например: **побелѣ изати и изврѣтишта** Супр 112, 6. В составе неологизмов на **-никъ** известны слова, производные от глаголов, типа **застѣльникъ**, **обличъникъ**, **раздавъникъ**. Таким неологизмом, видимо, являлось и сущ. **изацъникъ**, хотя оно могло быть образовано и от прил. **изацънъ** или непосредственно от сущ. **изацъ** (оба в СР не зафиксированы, **изашта** отсутствует и во всех известных нам словарях, хотя модель слова известна и в СЯ, ср. **съраца**). **Изацънъ** в восточнославянских рукописях известно уже в переносном значении 'лучший, отборный' (см. хотя бы Словарь Срезневского, I, 1086). **Изацъникъ** соотносится с прямыми значениями своих возможных мотивирующих и, вероятно, первоначально имело более общий смысл — ' тот, кто изымает, вынимает, собирает что-либо'. Примечательно, что слова **мытоимъцъ** и **мъздоицъцъ**, известные в СР по другим рукописям, в Супр не встречаются, а сущ. **мытарь** сравнительно с другими СР в нем употребляется редко (Зогр,?; Мар, 25; Ас,?;

Сав., 12; Евх., 3; Служ., 1; Супр., 3). Возможно, сущ. **изъянникъ** следует отнести к диалектизмам СЯ, которыми так богата Супр.

Значение СЯ в истории славянских литературных языков так велико, что состояние ст.-сл. лексикологии теснейшим образом связано и методически и практически с исследованиями в области лексикологии отдельных славянских языков, особенно старшей поры. Возможно, еще большее значение имеет разработка СЯ для сравнительной славянской лексикологии (преимущественно X—XIV вв.). Сравнительная славянская лексикология в настоящее время начинает оформляться как специальная область славянского языкознания. Ее развитие непосредственно стимулируется и питается теми фундаментальными лексикографическими работами, которые ведутся в каждой славянской стране по древним рукописям отдельных славянских языков. Большинство словарей завершается в текущем десятилетии. Вместе со своими многомиллионными картотеками они должны явиться той необходимой материальной основой, на которой славянская сравнительная лексикология получит свое дальнейшее развитие.

Для того чтобы сравнительное изучение принесло существенные плоды, нужно сопоставлять не отдельные лексемы или их случайно подобранные группы, а классы слов, семантические категории и семантические группы лексем различных типов. Необходимо разработать процедуру анализа достаточно разнородного и обильного материала на основе однородных признаков. Эти признаки могут быть прежде всего выделены на основе морфемных семантических групп, набор которых должен быть предварительно установлен.

Анализом словарного состава СЯ по морфемным семантическим группам устанавливаются кардинальные черты лексической системы этого языка, выделяется общестарославянский слой лексики, архаизмы и неологизмы, слова стилистически маркированные и нейтральные. С этими данными можно по-новому подойти к решению такой сложной проблемы, как восстановление текстов первых славянских переводов с греческого IX в., при этом подойти с собственно лексикологических позиций. Эта проблема не решена и может быть решена только методом установления все большего и большего числа текстологических дублетов в известных древних рукописях различных изводов и редакций. Прежде всего сами эти дублеты должны быть изучены с целью определения степени вероятности их употребления в лексической системе языка кирилло-мефодиевского времени на основе единых критериев достаточно конкретных и в ареальном и в хронологическом отношении. Эти критерии могут быть прежде всего разработаны на основании изучения морфемных семантических групп, известных в СР.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Ас — Ассеманиево евангелие.  
Боян-пал — Боянский палимпсест.  
греч. соотв. — греческое соответствие (или: греческие соответствия).  
Евх — Синайский евхологий.  
Ен — Енинский апостол.  
Зогр — Зографское евангелие.  
Зогр лл — Зографские листки.  
Зогр-пал — Зографский палимпсест.  
Клоц — Клоцов сборник.  
Мар — Мариинское евангелие.  
Охр — Охридское евангелие.  
Рыл — Рыльские листки.  
Сав — Саввина книга.  
Садник — Айтцетмюллер — *Sadnik L. und Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchen-slavischen Texten.* Heidelberg, 1955.  
Син — Синайская псалтырь.  
Сл. ЧСАН — *Slovník jazyka staroslověnského.* ČSAV, Praha, t. I, 1968, t. II, 1973.  
Служ — Синайский служебник.  
СР — старославянская рукопись (или: старославянские рукописи).  
ст.-сл. — старославянский.  
Супр — Супрасльская рукопись.  
СЯ — старославянский язык.  
Унд — Листки Ундельского.  
Усп. сб. — Успенский сборник (XII—XIII вв.).  
Хил — Хилендарские листки.

ДИХОТОМИЯ  
«ПРИСЛОВНЫЕ — НЕПРИСЛОВНЫЕ ПАДЕЖИ»  
В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К КАТЕГОРИЯМ  
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В современном синтаксисе ушел в прошлое подход к предложению как к единице с симметричным соотношением внешнего и внутреннего строения. Ученые разных направлений по-разному разделили и противопоставили друг другу эти две — в языковой реальности нерасчленимые — стороны предложения и разработали различные методы их изучения. Признание и утверждение тезиса, согласно которому отдельные формальные компоненты предложения далеко не всегда симметрически соотносятся с отдельными компонентами его значения, со всеми вытекающими отсюда теоретическими и практическими следствиями и выводами, несомненно, нужно отнести к числу фундаментальных достижений современной синтаксической науки.

В связи с обращением к предложению как к двустороннему языковому знаку с асимметричным строением вновь остро встал вопрос о той роли, которую в предложении выполняет падежная форма имени. Еще раз подтвердилось с полной очевидностью, что строевая (формальная) и семантическая функции падежа здесь часто не только не совпадают, но могут самым существенным образом расходиться. Были предложены разные ответы на вопрос о семантической роли падежных форм в предложении. Существенно то, что представители разных новейших направлений, разделяя и противопоставляя в предложении его формальную и семантическую стороны, так или иначе соотносят участвующие в строении предложения падежи с категориями его семантической структуры<sup>1</sup>.

В настоящем докладе будет сделана попытка показать на материале современного русского языка один из возможных подходов к разрешению вопроса о семантических функциях падежей. Однако прежде чем говорить о падеже в его отношении к той или иной категории семантической структуры предложения, необходимо кратко сформулировать принятое автором понимание категонального (морфологического) значения падежа и соотнести

<sup>1</sup> Из самых последних интересных опытов соотнесения падежных значений с категориями семантической структуры славянского предложения см.: Michalk Fr. Der Genitiv der Substatis in der OS Schriftsprache. (Auszug aus dem Kapitel über den Kasus). — Diskusijny material za Komisija za přeputowanje gram. struktury słowjanskich rečow při MKS. Budyšin, 1975 (ротапринт).

это значение со значением падежа как единицы синтаксического уровня.

2. В определении категориального значения падежа современные исследователи так или иначе отталкиваются либо от учения Р. Якобсона о падежных корреляциях, либо от теории де Гроота и Е. Куриловича о грамматических и неграмматических падежах — часто с попытками соединения того и другого<sup>2</sup>. Работы последних десятилетий показали, что поиски инвариантного значения падежа в том духе, как это сделал Р. Якобсон, нереалистичны; во всяком случае, применительно к современному языковому состоянию они не дали обнадеживающих результатов. Для отдельного падежа как члена целостной падежной системы такого единого, в разной степени и в разных видах, но во всех употреблениях присутствующего значения найти не удается<sup>3</sup>. Тезис о наличии в каждом падеже семантического инварианта, так или иначе присутствующего во всех синтаксических позициях этого падежа и объединяющего все его традиционно исчисляемые значения в некое семантическое целое, не смог получить доказательного подтверждения<sup>4</sup>. Поэтому сохраняет свою силу утверждение, согласно которому абстрактным грамматическим значением любого падежа, падежа вообще как грамматической категории является отношение имени к какой-то другой — называющей или сообщающей, языковой единице. Это отношение имени — всегда и только в определенной его форме — к слову, к словоформе (или словоформам) в составе предложения, либо к целой синтаксической конструкции. Таково самое общее, максимально абстрагированное значение падежа вообще, всякого падежа<sup>5</sup>. В том или

<sup>2</sup> Разной степени полноты обзоры работ о падежных значениях содержатся в трудах Н. Д. Арутюновой, А. В. Бондарко, Т. В. Булыгиной, А. А. Зализняка, С. Д. Кацельсона, И. И. Ревзина, З. Д. Поповой, Д. С. Станишевой, Е. В. Чепко; в кн.: Категория падежа в структуре и системе языка. День Артура Озола. Рига, 1971; Проблемы семантики. М., 1974; Деянова М. и Станишева Д. Изменения на морфологическом уровне, обусловленные явлениями синтаксиса. София, 1976.

<sup>3</sup> Убедительную аргументацию см., например, в работах Т. В. Булыгиной, в частности в ее статье «Некоторые вопросы классификации частных падежных значений. (На материале сочетаний с генетивом в современном литовском языке)» (в кн.: Вопросы составления описательных грамматик. М., 1961). См.: также: Кацельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, с. 41 и сл.

<sup>4</sup> О широте «диапазона поисков» значения падежа свидетельствует сопоставление якобсоновской теории, например, с тезисом А. Ф. Лосева о «непрерывной семантической текучести» падежа и о его «безбрежном семантическом поле» (Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей, М., 1968, с. 232 и сл.).

<sup>5</sup> Ср. в той же книге А. Ф. Лосева: «Падеж определяют то как отношение имени к предложению, т. е. как выражение функционирования имени в предложении, то как отношение к предложению и вообще словосочетанию, то как вообще отношение имени к любым другим элементам связной речи. По-видимому, это последнее и самое широкое определение падежа — есть и самое правильное» (Лосев А. Ф. Введение..., с. 227).

ином отдельном падеже это отношение всегда предстает в каких-то определенных, конкретизированных видах: в каждом падеже сосредоточено несколько таких конкретизированных видов отношения, т. е. каждый падеж имеет несколько значений, объединяющихся в систему, организованную по принципу семантического центра и окружающей его семантической периферии.

При систематическом, идущем от одного уровня к другому описании грамматического строя падежей объектом рассмотрения необходимо оказывается дважды: как категория морфологическая, т. е. как член парадигмы имени, и как категория синтаксическая, т. е. как компонент словосочетания и предложения. Для морфологии существен прежде всего комплекс наиболее абстрактных, обобщенных значений падежа, изначально отвлекаемых от его синтаксических функций, но на морфологическом уровне рассматриваемых в отстранении от этих функций. Такими максимально обобщенными, категориальными падежными значениями, отвлеченными от функционирования падежей во всех их возможных позициях как при слове, так и в предложении, можно считать значения субъектное, объектное и определительное (в определительное значение входят все те значения, которые традиционно описываются и как собственно определительные, и как обстоятельственные). Каждое из этих значений далее необходимо предполагает внутреннюю дифференциацию, отражающую те более конкретные и индивидуальные значения, которые определяются прежде всего формальной характеристикой падежа. Так, например, различие объектного значения у русских винительного и дательного беспредложных падежей состоит в том, что в дательн. падеже значение предмета непосредственного приложения действия самой его формой конкретизируется как значение адресата; субъектное значение именит. падежа, как правило, ничем не осложнено, а в субъектном значении творит. падежа присутствует идущий от формы элемент значения орудийности и т. д.

3. Падеж многозначен. В морфологической парадигме имени каждый отдельный падеж предстает как определенным образом организованный комплекс значений. В то же время в парадигму слова падеж входит не как изолированная грамматическая единица: в составе парадигмы падежи оказываются в отношениях единиц, объединенных в законченное множество. Падеж как член парадигмы относится к другим падежам как необходимый участок системы к другим ее участкам. Парадигма имени объединяет и сосредоточивает в себе значения всех падежей: все вместе эти значения, рассредоточенные языком по разным падежам и по-разному в каждом из них соотнесенные друг с другом, составляют целостную систему падежных значений. Как носитель определенного комплекса значений падеж занимает свое место в парадигме, которая, таким образом, являет собою законченную целостность многозначных грамматических единиц (падежей) с распределенными между ними комплексами значений одного и того же

уровня абстракции. Отношение одной из этих единиц (одного падежа) ко всем остальным (к другим падежам) есть отношение участка системы к системе в целом, а отношения между отдельными падежами есть внутрисистемные отношения таких участков друг к другу. У разных падежей могут сближаться или совпадать отдельные их значения, но комплексы значений в целом у разных падежей не совпадают никогда.

Важно еще раз подчеркнуть, что те значения падежа, которые делают его членом единой системы падежных значений, не являются неким линейным набором его семантических функций: в каждом отдельном падеже его значения имеют свою внутреннюю организацию, представляющую собою оппозицию, во-первых, абстрактных и конкретных падежных значений (см. с. 457), во-вторых, значений центральных и периферийных: какие-то значения составляют семантический центр падежа, т. е. являются функционально наиболее для него характерными, представительными, регулярными и высокочастотными; другие находятся на семантической периферии падежа, т. е. не могут служить основанием для его примарной семантической характеристики, менее для него характерны, менее регулярны и менее частотны<sup>6</sup>. Значения, принадлежащие к семантическому центру падежа, могут так или иначе присутствовать и в его нецентральных, периферийных значениях (см. об этом ниже); однако ни в одном падеже значение (или значения), относящееся (относящиеся) к его центру, не пронизывает собою весь комплекс его значений, т. е. не является его семантическим инвариантом. По отношению к центральным значениям, может быть, и можно говорить о «доминанте семантического содержания» данного падежа, понимая под этим наиболее регулярные и важные его семантические функции; хотя надо признать, что такая единая «доминанта», во-первых, далеко не всегда может быть установлена (семантический центр падежа может организоваться двумя и даже тремя значениями), во-вторых, часто оказывается мнимой: даже такое значение, как, например, орудийное значение у творит. падежа, при ближайшем его рассмотрении не оказывается доминирующим в кругу его семантических функций.

В общую систему падежей и их значений входит и именительный падеж. Сейчас уже, кажется, никто не считает, что этот падеж противостоит всем косвенным падежам как падеж «без отношения»: именит. падеж семантически так же нагружен, как и косвенные падежи<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Обзор различных пониманий семантического центра и периферии (применительно к понятию функционально-семантического поля) см. в кн.: Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. М., 1976, с. 216–217.

<sup>7</sup> Как член парадигмы именительный падеж так же относится к другим падежам (к каждому из них в отдельности), как и один косвенный падеж — к другому (к другим). Ср., например, личные или временные гла-

4. Падежные значения субъектное, объектное и определительное могут вступать — и очень часто вступают — в различные соединения друг с другом. Так возникают значения контаминированные, нерасчлененные: объектно-определенительное, субъектно-определенительное и субъектно-объектное<sup>8</sup>. В разных своих соотношениях и комбинациях те или иные значения формируют семантическое строение каждого отдельного падежа как члена парадигмы. Различия такого строения у разных падежей заключаются как в самом комплексе значений, так и в их распределении между семантическим центром падежа и его семантической периферией.

Как уже сказано выше, центральное значение падежа в ряде случаев может влиять на какие-то другие его значения, проникать в их сферу. Так, например, в центре значений беспредложного винительного падежа находится значение объектное; например: *читает книгу, готовит окошад, любит детей, жаль друга, надо пропуск, врача!* Даже в тех случаях, когда в предложении, сообщающем о субъектном состоянии, винительный падеж выносится в синтаксическую позицию субъекта (т. е. в начальную позицию, не предопределеннную тематико-рематическим строением высказывания): *Больно трясет, Рабоче не устраивает ждать; Руку больно, он не утрачивает своего объектного значения, а контаминирует его со значением субъекта, испытывающего состояние или (в таких случаях как Людей видно; Голоса слышно) субъекта, обнаруживающего себя (одновременно: 'кто-то видит людей' и 'люди видны'; 'кто-то слышит голоса' и 'голоса слышны, слышатся'). На периферии семантического строения винит. падежа находится его четко разграничающиеся, ни при каких условиях не перекрещивающиеся ни друг с другом, ни со значением объектным и в разной степени, но всегда лексически ограниченные определительные значения: он определяет по мере времени, пространства, количества.*

Яркий пример контаминации центральных значений дает творительный падеж. Его семантический центр составляют значения определительное и объектное. Определительное значение творит. падежа представлено в сказуемом (открывание предикативного признака есть в широком смысле слова один из видов определения) и, в условиях различных лексико-семантических ограничений, в многообразных квалифицирующих функциях (творит. падеж способен определять по очень разным обстоятель-

---

гольные парадигмы, где открывающие формы входят в качестве органического звена в цепочку парадигматических отношений, а инфинитив как форма без таких отношений, т. е. называющая, в этом смысле оказывается вне парадигмы; соответственно могли бы быть противопоставлены (и некоторыми исследователями справедливо противопоставляются) как две разные формы, совпадающие лишь внешне, именительный падеж, открывающий парадигму, и именительный падеж «словарный», собственно называемый.

<sup>8</sup> Все эти значения применительно к каждому падежу рассмотрены в главе «Значения падежей» в кн.: Русская грамматика, т. 1. М., «Наука» (в печати).

ственным признакам). Эти два вида определительности в творит. падеже свободно контаминируются, с одной стороны, друг с другом (сравним: *путь полями* и *Путь — п о л я м и*; *записка карандашом* и *Записка — к а р а н д а ш о м*, а также в случаях типа *Бабе Ниле д е в о ч к о й* очень нравилось *ездить летом в деревню*. Ю. Трифонов); с другой стороны, со значением объектным (*ходить конем*, *ход конем* и *Ход — к о н е м*; *писать карандашом*, *письмо карандашом* и *Письмо — к а р а н д а ш о м*). Субъектное значение, находящееся на периферии семантической системы творит. падежа (*Проект одобрен к о м и с с и е й*, — *чтение романа а в т о р о м*), стоит особняком; однако объектное значение входит и в сферу субъектного значения: в случаях типа *М о л и е й зажгло сарай* субъектное значение творит. падежа сочленено со значением орудийности, которое само представляет контаминацию значений объектного и определительного. Сравним редкий случай неосложненного орудийного значения в творит. падеже существительного одушевленного: — *Если оно [хозяйство] рационально, то вы можете наймом вести его*, — сказал Свияжский. — *Власти нет-с. К е м я его буду вести? позвольте спросить?* — Р а б о ч и м и (Л. Толст., Анна Каренина, I, III, 27).

5. Падеж как категория синтаксическая, т. е. как компонент словосочетания или предложения, требует семантических характеристик, сделанных уже под иным углом зрения. Таким характеристикам и посвящается настоящий доклад. Мы попытаемся подойти к семантике падежа, сопоставив прежде всего его присловные и неприсловные позиции, соответственно — его присловные и неприсловные значения, и рассмотрев, далее, взаимодействие этих значений в предложении. Материалом для рассуждений и выводов послужат русские беспредложные падежи. При этом мы будем исходить не из широко понятых глубинных «семантических полей» падежных форм<sup>9</sup>, а только из тех реальных, грамматических падежей, которые даны в соединениях слов и в предложениях. Однако в соответствии с сейчас уже прочно сложившимся пониманием собственно языковой характеристики той или иной категории как характеристики необходимо многоаспектной и ни

<sup>9</sup> Ср. получивший разнообразные применения «глубинный» подход Филлмора, употребляющего термин «падеж» для обозначения «синтаксико-семантических отношений», а термин «падежная форма» — «для обозначения выражения этих отношений в конкретном языке»; «We may agree... with Hjelmslev, who suggests that the study of cases can be pursued most fruitfully if we abandon the assumption that an essential characteristic of the grammatical category of case is *expression in the form of affixes on substantives*. I shall adopt the usage first proposed, as far as I can tell, by Blake (1930), of using the term *case* to identify the underlying syntactic-semantic relationship, and the term *case form* to mean the expression of a case relationship in a particular language — whether through affixation, suppletion, use of clitic particles, or constraints on word order» (Fillmor Ch. The case for case. — In: Universals in linguistic theory. New York etc., 1968, c. 21).

при каких условиях не односторонней, в комплекс собственно языковых характеристик падежа в предложении будут включены следующие показатели: 1) сама падежная (грамматическая) форма слова; 2) синтаксическая позиция этой формы; 3) лексическая семантика слова, предстающего в этой форме и в этой позиции; 4) ближайшее языковое окружение, минимальный контекст, релевантный для установления языковых качеств словоформы; 5) место конструкции, образованной с участием данной словоформы, в принадлежащем языковой системе ряду конструкций, объединенных отношениями ближайшей формально-смысловой соотносительности (см. с. 465). Так, например, в предложении *Инженеры разработали проект* первая падежная форма должна характеризоваться не просто как форма именит. падежа, а как занимающая позицию подлежащего форма именит. падежа одушевленного существительного, обозначающая субъект действия, направленного на объект, и входящая в ближайшие формально-смысловые соотношения с формами творит. падежа беспредложного и родит. падежа с предлогом *у* в ряду: *И н ж е н е р ы разработали проект — И н ж е н е р а м и / у и н ж е н е р о в разработан проект*. Вторая падежная форма в том же предложении должна характеризоваться как занимающая позицию сильноуправляемого имени при глаголе форма винит. падежа существительного с конкретно-предметным значением, обозначающая объект действия и входящая в ближайшие формально-смысловые соотношения с формой именит. падежа в ряду: *Инженеры разработали проек<sup>т</sup> — Инженерами разработан проек<sup>т</sup> — Проек<sup>т</sup> разработан инженерами* (о роли позиции в формировании семантического качества падежа см. ниже, п. 6).

Падежная форма имени как элемент синтаксической конструкции может занимать одну из четырех позиций: 1) позицию присловную — в словосочетании; это — те позиции, которые показываются при слове в словарях как сигналы его сильной интенции, а также те позиции, которые открыты для реализации его слабых интенций и поэтому в словарях показываются нерегулярно; 2) позицию обязательного компонента предложения — его главного члена или одного из его главных членов; 3) позицию непосредственного распространителя внутреннего состава предложения, не предопределенную категориальными свойствами слова (например, в случаях типа *Проект разработан инженерами*, где форма творит. падежа с агентивным значением предопределена законами построения пассивной конструкции, а не свойствами слова *разработать*); 4) позицию распространителя предложения в целом — его детерминанта. В этой системе первый ее член — присловная падежная позиция противопоставлен трем последующим — неприсловным позициям как такая позиция, которая может быть занята падежной формой «до предложения»: каждое отдельно взятое слово в определенном своем лексическом значении, во всей системе своих форм, есть единица, обладающая соб-

ственным синтаксическим потенциалом, и в этом смысле вполне правомерно введение слόва в круг синтаксических единиц языка. Конечно, присловные позиции падежных форм при анализе берутся из предложения (хотя методологически совершенно правомерно установление этих позиций на основании «синтаксических импульсов», идущих непосредственно от слова); но существенно то, что значения присловного падежа имеют свою собственную организацию, и ни эта организация, ни сами эти значения не совпадают полностью со значениями и организацией падежей неприсловных. Иными словами, семантические функции падежа разграничиваются, с одной стороны, как функции, предопределенные категориальными свойствами синтаксически главенствующего слова, с другой стороны, как функции падежа, не зависящие от этих свойств, не предопределенные словом<sup>10</sup>. При этом в предложении как присловная, так и неприсловная падежная форма — одна или в некоем сочетании — всегда является выразителем той или иной семантической категории предложения, элементарного (основного) или неэлементарного (неосновного) компонента его семантической структуры.

С выражением элементарных категорий семантической структуры предложения — субъекта, объекта, предикативного признака, а также диффузных семантических категорий с субъектно-или объектно-обстоятельственными значениями<sup>11</sup> — связаны те значения падежей, которые можно называть значениями абстрактными; с выражением неэлементарных категорий — разнообразных качественно- и обстоятельственно-характеризующих определителей (квалификаторов) — те значения, которые можно называть конкретными значениями падежей. Это противопоставление проходит внутри самого падежа, который всегда многозначен, т. е. несет в себе потенциал нескольких семантических функций. Как и в других случаях языковой полисемии, эта многозначность обнаруживается при определенных условиях: лексико-семантических и/или позиционных<sup>12</sup>. Абстрактные значения,

<sup>10</sup> См. об этом: Шведова Н. Ю. Категориальные свойства слόва на службе его синтаксических связей. — В кн.: Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie 3—5 grudnia 1969. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1971.

<sup>11</sup> О принятых автором настоящего доклада принципах выделения и разграничения элементарных и неэлементарных категорий семантической структуры предложения см. его работы: О соотношении грамматической и семантической структуры предложения. — В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973; К спорам о детерминантах. (Обстоятельственная и необстоятельственная детерминация предложения). — Филол. науки, 1973, № 5; Объектная форма в субъектной позиции. — *Otázky slovanské syntaxe*, IV. Vgp (в печати).

<sup>12</sup> От известных работ А. де Гроота и Е. Куриловича идет разделение падежей на грамматические и неграмматические. Если стремиться сохранить это разделение, то можно считать, что элементарные падежные функции совпадают с грамматическими падежами, неэлементарные — с неграмматическими. В этом будет свой резон, так как абстрактные падежные зна-

как правило, характеризуются меньшей лексико-семантической ограниченностью, большей свободой как для самих форм, так и для синтагматики словоформ; конкретные значения в обоих этих смыслах менее свободны, более ограничены (из этого общего правила, однако, есть исключения, в русском языке касающиеся, в частности, определительных значений приименного родительного и именительного согласовательного падежей).

Итак, если исходить из как будто бы общепризнанного тезиса о том, что знаменательное слово, в силу своей внутренней природы, обладает свойством разной силы синтаксического притяжения к себе (к любой своей словоформе) другого слова (слов) в какой-то определенной форме (формах), то естественно заключить, что в так образованном словосочетании подчиненная падежная форма имеет определенное значение, а в отвлечении от всех возможных для нее словесных соединений — комплекс своих собственных присловных значений (или, что то же самое, семантических функций). Здесь уместно сделать два существенных замечания. Во-первых, при определении всего комплекса семантических функций присловного падежа противопоставление (традиционное в русских грамматиках) прилагольных и приименных его значений может оказаться не определяющим, так как эти значения нередко совпадают (такова, например, почти вся сфера определительных значений у падежей с предлогами). Гораздо более важным часто оказывается перекрывающее собою применность и прилагольность противопоставление абстрактных и конкретных падежных значений. Во-вторых, при установлении как абстрактных, так и конкретных значений для присловных падежей в очень многих случаях первостепенно важными оказываются лексико-семантические характеристики обоих участников присловной связи; считая присутствие этих характеристик само собою разумеющимся, мы в дальнейшем изложении останавливаться на них вообще не будем.

Специальные изучения материала под углом зрения сопоставления присловных и неприсловных падежных значений показывают, что системы значений присловного падежа не совпадают с системой значений этого же падежа в неприсловных позициях и, следовательно, с системой значений данного падежа в целом: круг присловных значений падежа, во-первых, уже системы его значений в целом; во-вторых, сами присловные и неприсловные значения, в чем-то совпадая, в то же время могут существенно расходиться. Так, например, нельзя в одном плане, линейно (пусть с оговорками) выстраивать и характеризовать значения родитель-

---

чения участвуют в формировании семантической структуры предложения, а конкретные — только в расширении ее. Однако, поскольку такое расширение целиком лежит в сфере грамматики, вряд ли есть основания отказывать конкретным падежным значениям в грамматическом качестве.

нного падежа, с одной стороны, в случаях типа *искать следов, ждать конца, час покоя, поворот дороги*, с другой стороны, в случаях типа *Родных у нее — только сестра, Следов не заметно или Конца не предвидится*. В строках из стихотворения А. Твардовского: *Спасибо за утро такое, За чудные эти часы Лесного — не сна, а покоя, Безмолвной морозной красы, Когда над изгибом тропинки С разлатых недвижных ветвей Снежинки, одной пороши и страхнуть опасается ель* родит падеж в сочетании часы сна, покоя, красы является падежом присловным (функция его здесь определительная); что касается второй части текста, то формы *снежинки, (одной) порошинки* могут быть объяснены и семантически охарактеризованы только исходя из той «скрытой негации», которая заключена в этом предложении в целом (сравним аналогичное: *И был еще дар: неумение тайть ни мыслей, ни чувств, никаких движений души.* Ю. Трифонов).

Если для иллюстрации тезиса о различии присловных и не-присловных падежных значений обратиться к русскому родительному беспредложному, то этот падеж даст следующую картину. На уровне присловных связей здесь — при максимальном допустимом обобщении — устанавливаются четыре вида значений, располагаемые здесь и ниже от семантического центра падежа к его семантической периферии.

1) Определительное: собственно-определительное: *приехать пятого мая, физика высоких энергий, театр [имени] Вахтангова, дух изгнанья, час ночи, человек дела и контаминированные*: а) определительно-субъектное (в родит. падеже — элемент значения субъекта обладающего); *книга сестры, весна года, член бригады, корень зла, смысл преобразования* и б) определительно-объектное: *памятник Пушкина* (одновременно: ‘какой’, ‘поставленный кому’ и ‘принадлежащий кому’; именно этим сложным значением объясняется устойчивое сосуществование вариантов типа *памятник Пушкина / Пушкину, цена слов / словам*). 2) Объектное: *ждать письма, желать счастья, настроить домов, уважение традиций, цензура печати, боязнь огласки*. 3) Субъектное (субъекта действия или состояния — в сочетании с элементом определительности): *суд глупца, приезд начальника, стук колес, белизна снегов*. Как уже сказано выше, ни одно из этих значений не может быть установлено «без лексики», «до лексики». 4) Четвертый вид значения характеризуется негативно: это — не определительная, не объектная и не субъектная функция информативно необходимо вспомняющую падежа, с одной стороны, в таких случаях как *трое друзей, пара сапог, несколько книг, род гостиницы, полный воды*, с другой стороны, в таких случаях как *удостоить внимания, стоить денег или сильнее смерти*.

Все присловные значения падежа переносятся в предложение, присутствуют в предложении: слово, занимающее (в отдельной своей форме) ту или иную позицию в предложении, прежде всего в нем реализует свои валентностные свойства, связи и отношения. Однако падежная форма в предложении далеко не всегда «тянется за словом»; помимо присловных позиций, она выступает, во-первых, как обязательный строевой компонент предложения; во-вторых, как его распространитель. И здесь общая картина функций родительного падежа оказывается существенно иной. Неприсловными значениями родительного беспредложного являются следующие. 1) Субъектное<sup>13</sup> (субъекта действия или состояния); здесь во многих случаях в родительном падеже присутствует элемент значения количественности: 'сколько-то', 'много', 'мало' или 'николько' (а); но совершенно нормальны и случаи отсутствия количественного значения (б): а) *В оды прибывает; Машин едет! Дел много; Народу! Ревизор приехал целых три; Ходьбы — десять минут; Друзей никого; Хлеба еще осталось; Не минуло и году; На небе ни облачка; Только и ради, что внучка; Куска хлеба как не найти!* (С.-Щ.); *Объявляет, что в доме никого не живет, кроме его жены* (Л. Толст.); *Заря — только клочья* (И. Бунин); *Комара — в две руки не отмашешься* (Шергин); *Крови еще будет* (М. Булг.); *Будет еще мороки, будет...* (В. Распутин). б) *Таких си туацкий не должно возникать; Его и след простыл; Твой тих далекий дом, и не грозит тебе Позора — понимать, и ужаса — родиться* (Инн. Анненск.); *Еще не село первой тыли на молодую нашу прыть* (С. Орлов). 2) Значение объектное (объект действия, отношения, восприятия, обладания, требуемый, даваемый): *не жаль затаить, не слышу вострелов, не читаю книги* (связи при негации — неприсловные: они возникают в предложении); *Окружая щих стыдно; Лучшего отыска и придумать невозможно;*

<sup>13</sup> Субъектное значение некоторых форм косвенных падежей неоднократно рассматривалось исследователями. У разных косвенных падежей это значение в различной степени сохраняет в себе след того «несубъектного» значения, которое принадлежит собственно форме. Показательны, однако, устанавливаемые на основе сопоставления близких контекстов семантические совпадения косвенно-падежных форм с «чистой» субъектной формой именит. падежа; например: *Они не помнят. Сказал и забыл. Я с ума со ходи* (В. Распутин) и: *Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем. — Мне за это перед тобой на лапках сложи?* (В. Тендряков); или: *Придет эдакой шпендрик, размякнет, нагадит, а нам расхлебывай* (А. Фадеев). В одном и том же контексте один и тот же семантический субъект нормально выражается разными падежными формами; например: *Кому нужда, тем спесь, Лежи они в пыли* (Гриб.); — *Здесь он чувствует себя в своей сфере. Ему столько дела, и он имеет дар всем интересоваться* (Л. Толст.); *Между слушателями произошел разговор, и хотя они говорили по-русски, я ничего не понял* (М. Булгаков).

*Т е т р а д е й купили две; Склад на своем веку пе ч е й, что и счету нет* (Л. Толст.); *Мне даже и с м е р т и не страшно, Она, как и жизнь, позади* (А. Твард.); *И о р д е н о в своих с собою им не положено иметь* (К. Симонов); *А у нас тишина гладь, Божья благодать. А у нас светлых глаз Нет приказу подымать* (А. Ахм.); *Черный человек, Ты не смеешь это огол!* (Есенин). 3) Субъектно-объектное значение (субъект состояния / объект действия, вызвавшего собою это состояние) обнаруживает родит. падеж в предложении в случаях типа: *П о д т в е р ж д е н и я не получено* ('подтверждение не получено' и 'подтверждения не получили'); *Потоплено скотом, что и не счастье* (Крыл.). Далее следуют периферийные, но тем не менее занимающие свое место в системе неприсловные значения: 4) Субъектно-определительное (временное): *Семнадцати лет шли на войну* ('семнадцатилетние' и 'в семнадцать лет'); *Двух лет научился плавать.* 5) Объектно-определительное (временное): *Семнадцати лет брали на войну* ('семнадцатилетних' и 'в семнадцать лет'); *Двух лет уже учат плавать.* 6) Значение предикативное (предикативного признака): *На заводе — высокого мнения о рационализаторе* (газ.); *Дом — старой стройки; Сабля — отца; Чье виндо, того и заздравыше* (посл.); *Лицо у него толстое, фигура — мебелья* (Бунин). 7) Определительное (временное): *Седьмого мая — субботник.*

Из этого краткого обозрения видно, что если в присловных позициях субъектное значение либо осложняет собою значение определительное (значение субъекта обладающего), либо само осложняется определительным значением (значение субъекта действия или состояния), то в предложении субъектное значение родит. падежа нормально выступает как не осложненное определительностью, причем центральное, а характер его возможного совмещения с другими значениями (определенным: темпоральным, а также объектным) отличен от совмещения значений на уровне присловных связей. В присловных позициях объектное значение находится на периферии значений родит. падежа, и лексико-семантические условия возникновения этого значения легко исчислимы; в предложении же объектное значение у родит. падежа, наряду с субъектным, доминирует, оно связано, с одной стороны, с негацией, с другой стороны, с характером самого строения предложения (см. примеры выше). Объектное значение, далее, в предложении контаминируется, во-первых, с субъектным значением — без всяких оттенков определительности, во-вторых, со значением обстоятельственным (временным). Значение определительное, на уровне присловных связей относящееся к семантическому центру родит. падежа, в предложении представляет его семантическую периферию. Важной характеристикой родит. падежа в предложении является наличие у него здесь предикатив-

ного значения, — впрочем, прозрачно отраженное от его присловных значений: определительного (*Глаза — испуганной лани*), определительно-субъектного (*Сабля — отца*) и определительно-субъектно-объектного (*Памятник — Пушкина*).

Так распределены присловные и неприсловные значения русского родительного беспредложного, на морфологическом уровне характеризуемые в максимально обобщенном виде, в употреблении предстающие все вместе как семантические функции падежа в предложении, но, как мы старались показать, по своей языковой природе различные. Это различие подтверждается и проверкой присловных и неприсловных падежных значений по тем показателям, которые выше (см. с. 456) были определены как необходимые собственно языковые характеристики падежа. Так, например, синтагматические возможности присловного родительного падежа с субъектным значением ограничены лексически: управляющее имя обязательно должно иметь процессуальное или признаковое значение; такой родительный по значению непосредственно соотносится с прилагательным и заменяется им (*приезд отца* — *отцов приезд*). Неприсловный родительный с субъектным значением со стороны лексико-семантической не знает никаких ограничений в своей синтагматике; его ближайшим синтаксическим «партнером» в плане формально-смысовых соотношений оказывается именительный падеж со значением субъекта (*Хлеба осталось* — *Хлеб остался*). Аналогичное по своей природе несовпадение многоаспектных языковых характеристик отличает и другие одноименные присловные и неприсловные значения родительного и других падежей.

6. Присловные и неприсловные падежи в предложении обнаруживают разнообразные семантические взаимодействия. Здесь мы остановимся на явлениях семантических преобразований присловного падежа, вызываемых его позиционными перемещениями внутри предложения.

В предложении, сообщающем о субъектном действии или состоянии, существует нормальная, не связанная с актуальным членением позиция, предназначенная для падежной формы, несущей значение семантического субъекта<sup>14</sup> либо заключающей в себе элемент такого значения. Это позиция в абсолютном начале предложения. Так, например, в ряду предложений *Он устал*, *Ему грустно*, *У него жар*, *Он в жару*, *В публике* / *у публики* / *среди публики* недоумение словоформа, открывающая собою

<sup>14</sup> Тезис о «непозиционности» русского языка (Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972, с. 216) далеко не бесспорен. В той же книге этот тезис опровергается следующим утверждением: «Наличие у каждой позиции первичной синтаксической функции как будто подтверждается данными разного рода лингвистических экспериментов, таких, как опыты по конструированию предложений из заданных слов, анализ спонтанной речи, интерпретация предложений носителями языка и др.» (с. 293).

предложение, либо нераздельно обозначает субъект, либо, при строгих лексико-семантических условиях (см. последнее предложение), контаминирует субъектное значение со значением определительным (обстоятельственным). Субъектная позиция принадлежит той системе внутренних характеристик предложения, которая имеет дело с семантическими «раскладками», не зависящими от функциональной перспективы предложения<sup>15</sup>. Сопоставляя предложения *Небо влечет смелых* — *Смелых влечет небо*, мы видим, что в первом предложении сообщается о некоем действии и о том, от кого это действие исходит и на кого оно направлено. Производитель действия — субъект (*небо*) представлен здесь формой именит. падежа<sup>16</sup> (т. е. называющей формой, не осложненной никакими дополнительными значениями, свойственными косвенным падежам в субъектной функции) и нормально занимает субъектную позицию. Семантическая структура этого предложения — «отношение между субъектом и его активным признаком, направленным на объект». Во втором предложении неакцентированная форма с объектным значением (*смелых*) заняла субъектную позицию, а форма с субъектным значением отодвинулась в конец предложения. Такому перемещению (не связанному с актуальным членением, которое для риматизации формы *смелых* дало бы виды: *Смелых влечет небо* или *Небо смелых влечет*) сопутствуют весьма существенные смысловые преобразования: объектная форма наращивает в себе элемент субъектного значения. В этой позиции она обозначает не только объект, но и того, кто испытывает состояние ('смелые влекомы небом'). Сочетанием объектного значения, заключенного в форме слова, с субъектным значением, предопределенным позицией, формируется диффузная семантическая категория «объект действия / субъект состояния, вызванного (или вызываемого) этим действием». Та же категория представлена в таких предложениях, как *Дом построен студентами*, *Заданиедается бригадиром* или *Сарай зажгло молнией* (см. об этом ниже). Рассмотрим два наиболее характерных случая таких смысловых наращений.

1) Прилагольный падеж с объектным или объектно-определительным значением, будучи в предложении вынесен в субъектную позицию, ослабляет в себе свое присловное значение, отрывается от слова. Этот отрыв часто сопровождается интонационным отчленением. Так, например, в предложении: *Неизвестных столько лиц, Все свои, все дома, а солдаты — попадись Хоть бы кто*

<sup>15</sup> В приведенных предложениях неакцентированная словоформа в начальной позиции не является актуализированной. Актуализация даст следующие виды: *Он устал* или *Устал он*, *Ему грустно* или *Грустно ему*, *У него жар* или *Жар у него* и т. д.

<sup>16</sup> Ср.: «Субъект — это тот предмет мысли, по отношению к которому мыслится, определяется и выделяется предикат. Субъект в предложении находится выражение в подлежащем» (Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. М., 1957, с. 108).

знакомый (Твард.) дательный падеж с объектным значением (*попасться солдату*), заняв субъектную позицию, не только соединяет это свое присловное значение со значением субъекта воспринимающего, но и подчиняет первое второму ('солдат не встретил'). Аналогично осложнение значения родительного падежа в предложениях: *Такого безлюда, такой тишины — поискать* (Бунин); *Таких лягушей по пальцам пересчитать; Тебя не узнать; Слове не разобрать*; семантика этих предложений — та же, что у предложений: 'такое безлюдье (такая тишина) — редкость', 'ты неузнаваем' и т. д. В предложениях *В снабжении — перебои, С приезжим — происшествие* осложняются субъектным значением предложный и творительный падежи, которые на уровне присловной связи имеют значение определительно-объектно-субъектное (*перебои в снабжении: какие, в чем и чего; происшествие с приезжим: какое, с кем и у кого*). Именно в таких случаях часто возникает неразличение присловного падежа и детерминанта.

Таким образом, в формировании — в условиях предложения — нового значения присловного падежа участвует, во-первых, значение позиции, во-вторых, значение самой падежной формы, занимающей эту позицию, в-третьих, те смысловые отношения, которыми образуется семантическая структура данного предложения. Условием такого формирования является несовпадение значения падежной формы и нормальной предназначенностю позиции, которую заняла в предложении эта форма. Категории семантической структуры предложения создаются взаимным действием значений форм слов, значений позиций и лексических значений слов. Например, в предложении *В публике недоведение* в предложно-падежной форме (*в публике*) взаимодействуют значение предложно-падежной формы (определенительное: пространственное), предназначенностю позиции (субъектная) и лексическое значение слова (название совокупности лиц). Все эти компоненты существенны: их взаимным действием формируется семантическая категория с диффузным субъектно-обстоятельственным значением — и соответственное значение падежной формы в предложении. В случае *Ученiku помогает смекалка* в первой словоформе взаимодействуют ее собственное значение (объектное), предназначенностю позиции (субъектная) и лексическое значение слова (название лица); в результате создается диффузная семантическая категория «субъекта состояния / объекта действия, вызывающего собою это состояние» — и соответствующее значение падежной формы в предложении.

Названные три компонента, все вместе формирующие семантические категории предложения, находятся в отношениях «колеблющегося равновесия». Это значит, что в конкретном предложении в каких-то случаях решающее влияние принадлежит позиции, в каких-то — значению формы или таким лексико-семантическим характеристикам слова, как одушевленность или неоду-

шевленность, значение личное или неличное. Возьмем ряд предложений, заключающих в себе одну и ту же словоформу с объектным значением, и расположим их по признаку постепенного наращивания в этой словоформе значения субъекта-носителя состояния: 1) *Молния зажгла с а р а й*; 2) *С а р а й зажгла молния*; 3) *С а р а й зажгло молнией*; 4) *С а р а й зажгло*. В первом предложении винит. падеж — чисто объектный: совпадают значения формы и предназначенностю позиции, в предложении существует субъект направленного на объект действия (*молния*), выраженный специальной субъектной формой, которая нормально занимает предназначенную для нее субъектную позицию. Во втором предложении во взаимном противодействии субъектной позиции и объектного значения формы это последнее оказывается сильнее в силу присутствия в предложении формы именит. падежа с ничем не осложненным субъектным значением; однако значение позиции не подавлено: объектная форма в субъектной позиции сигнализирует о том, что вся ситуация 'зажгла молния' спроектирована на предмет (*сарай*) как характеризующая собою его состояние. В третьем предложении элемент субъектного значения в форме винит. падежа усилен орудийным (в предложении — орудийно-субъектным) значением формы творит. падежа *молнией* и неличной формой глагола-сказуемого. В четвертом предложении это усиление максимально: действующий субъект полностью устранен; предложение сообщает о состоянии предмета как о результате бесссубъектного действия, и форма винит. падежа называет субъект этого состояния. Однако форма винит. падежа и наличие в языке присловной связи *зажечь сарай* обеспечивают сохранность в этом семантическом компоненте элемента объектного значения. В приведенном ряду предложения 3 и 4 демонстрируют диффузную семантическую категорию «субъект состояния / объект действия, вызывающего собою это состояние». Аналогично может быть проанализировано значение винит. падежа в ряду предложений: *Студенты построили к л у б* — *К л у б построен* или *студенты* — *К л у б построен студентами* — *К л у б построен* или значение дательн. падежа в ряду предложений: *Врачи разрешили болезному встать* — *Б о л ь н о м у врачи разрешили встать* — *Б о л ь н о м у врачами разрешено встать* — *Б о л ь н о м у разрешили встать* — *Б о л ь н о м у разрешено встать* — *Б о л ь н о м у можно встать*.

Строгому языковому анализу во всех подобных случаях помогают ближайшие смысловые сопоставления, т. е. сопоставления, основанные на том, что в соотносимых предложениях (разной формальной структуры) могут быть выявлены одни и те же семантические компоненты в их совпадающих соотношениях. Так, предложение *Молния зажгла сарай* ближайше соотносится с предложением *Молнией зажжен сарай*; *Сарай зажгло молнией* — с предложением *Сарай загорелся от молнии*, а *Сарай зажгло* — с предложением *Сарай горит*; *Врачи разрешили больному встать* ближайше

соотносится с *Врачами* *больному разрешено встать*, а *Больному врачи разрешили встать* — с *Больному врачами разрешено встать*.

2) Слова некоторых семантических групп присоединяют к себе сильноуправляемую форму со значением, определяемым обычно как объектное, однако таким, которое в силу самой лексической семантики управляющего слова является максимально абстрактным, а в некоторых случаях предстает как падежная функция необходимого информативного восполнения. Таковы падежные функции при глаголах *нравиться*, *полюбиться*, *казаться*, *мерещиться*, *мниться*, *чудиться*, *мечтаться*, *грезиться*, *сниться* *к о м у - н.*, *даваться* (в знач. 'быть доступным для понимания, усвоения') *к о м у - н.*, *восхищать*, *воодушевлять*, *охватывать* (о чувствах), *захватывать* (в знач. 'увлекать, поглощать'), *настороживать* *к о г о - н.*, *удовлетворять* *к о г о - н.*, *влечь* (в знач. 'привлекать, притягивать'), *тянуть*, *подмывать* (в знач. 'влечь') *к о г о - н.*, *отличать* (в знач. 'быть характерным') *к о г о - н.*; при глаголах со значением бытия, наличия, бытийного отношения, становления, появления: *принадлежать* *к о м у - н.*, *случаться*, *быть с к е м - н.*, *происходить*, *статься с к е м - н.*; при прилагательных: *присущ*, *свойствен*, *известен*, *знаком*, *приятен*, *понятен*, *чужд*, *ненавистен* *к о м у - н.*, *популярен* *у к о г о - н.* / *ср ед и к о г о - н.*, *нужен*, *необходим*, *полезен*, *важен*, *удобен*, *привычен* *к о м у - н.* / *д л я к о г о - н.* и некот. др. под. Нельзя отрицать, что такие связи и, следовательно, падежные значения существуют как присловные; именно в таком качестве они свободно реализуются и в предложении; например: *Мечта летать влечет его с детства*; *Фильм нравится публике*; *Случилось с тобой что-нибудь?*, *Мастерство дает счастье настойчивым*; *И снимается чудный сон Татьяне* (Пушкин); *Базаров не мог усидеть на месте*, словно *что-то его подымало* (Тургенев).

Однако присловная падежная форма в подобных случаях в предложении не только очень часто, но нормально выносится в субъектную позицию: *Его влечет мечта летать*, *Его подмывает спорить*, *Только настойчивым дается мастерство*, *Мне снился сон*, *Зрите фильм нравится* и т. д. Во всех подобных случаях зависимая падежная форма, занявшая субъектную позицию, обозначает субъект (состояния, восприятия), а во всей остальной части предложения происходят специфические смысловые смещения: субъектный именит падеж в подлежащем наращивает в себе элемент значения объекта, а признаковое значение сказуемого оказывается обращенным на субъект состояния или восприятия, т. е. на форму косвенного падежа; ср.: *Земля принадлежит колхозу* (ближайшее соотношение: 'земля находится во владении колхоза') и *Колхозу принадлежит земля* (ближайшее соотношение: 'колхоз владеет землей'). Ср. соответственно разное семантическое строение предложений в парах: *Эта книга популярна у молодежи* —

*У молодежи популярна эта книга; Лицемерие противно в с е м — В с е м противно лицемерие; Тоска охватила в с е х — В с е х охватила тоска; Движение полезно д е т я м — Д е т я м полезно движение; Фильм не понравится з р и т е л я м — З р и т е л я м фильм не понравится*<sup>17</sup>.

Таким образом, в предложении присловный падеж в определенных случаях обнаруживает стремление освободиться от своей прикрепленности к слову.

Падежные значения в предложении тесно связаны друг с другом — в том же смысле, в каком взаимно связаны в предложении категории его семантической структуры. Поскольку эти категории организуются в целостную систему взаимодействующих единиц значения, постольку и падеж, наряду с другими грамматическими категориями непосредственно участвующий в формировании таких единиц, являет собою такую организацию значений, которая, с одной стороны, отвлечена от смыслового строения предложения, а с другой — целиком спроецирована на это строение. И как безуспешны были бы попытки свести к единому значению все семантические категории предложения, так же нельзя свести к семантическому инварианту все разнообразные (но и вполне обозримые) семантические функции падежа.

Из всего сказанного отнюдь не следует, что семантическая структура предложения складывается из значений падежных форм. Эта структура формируется при участии многих факторов: формального устройства и семантики самой структурной схемы предложения; лексических значений слов, занявших позиции элементарных компонентов предложения и его распространителей; тех внутренних отношений, которые связывают весь состав предложения в единое целое. В эту сложную систему средств и отношений органически вписывается и падеж как носитель таких значений, которые отвлечены языком от семантических категорий синтаксиса и к этим же категориям обращены.

<sup>17</sup> См. замечания С. Д. Кацнельсона (указ. соч., с. 61 и сл.) о таких семантических преобразованиях в случаях типа *У него болит голова, У него есть машина*, анализирующего сходные явления в терминах «сдвига позиционной значимости падежей».

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Р. И. Аванесов.</i> Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы . . . . .	5
<i>С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова.</i> Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги . . . . .	27
<i>Г. А. Богатова.</i> Семантика корневой группы и история слова в славянской исторической лексикографии . . . . .	42
<i>А. В. Бондарко.</i> Принципы описания категориальных значений морфологических форм в современных славянских языках	58
<i>В. И. Борковский.</i> Структура сложного предложения в сказках восточных славян. Белорусские сказки . . . . .	76
<i>Ж. Ж. Варбом.</i> К соотношению славянской этимологии и праславянской морфонологии (в истолковании сложных имен) . . . . .	105
<i>Е. И. Демина.</i> К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков . . . . .	120
<i>А. В. Десницкая.</i> К вопросу о балканализмах в лексике восточнославянских языков . . . . .	145
<i>Л. П. Жуковская.</i> Постоянная и варьирующаяся лексика в списках памятника (вопросы изучения и лексикографирования) . . . . .	172
<i>Е. А. Земская.</i> Особенности русской разговорной речи и структура коммуникативного акта . . . . .	196
<i>В. В. Иванов, В. Н. Топоров.</i> О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) . . . . .	221
<i>Л. Л. Кутина.</i> Последний период славяно-русского двуязычия в России . . . . .	241
<i>А. С. Львов.</i> Общеславянское и диалектное в лексике памятников старославянской письменности . . . . .	265
<i>Л. Г. Невская, Т. М. Судник.</i> Диалектные контакты в зоне современного балтийско-славянского этноязыкового пограничья	285
<i>Ю. С. Сорокин.</i> Взгляды Л. И. Толстого на народный и литературный язык и эволюция толстовского стиля . . . . .	308
<i>Ю. С. Степанов.</i> Славянский глагольный вид и балтийская диатеза (проблема общего генезиса и реконструкции) . . . . .	335

<i>Н. И. Толстой, С. М. Толстая.</i> К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво- и этнографический аспект)	364
<i>О. Н. Трубачев.</i> Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье . . . . .	386
<i>Ф. П. Филип.</i> Исконное и заимствованное в современном русском литературном языке . . . . .	406
<i>Р. М. Цейтлин.</i> Некоторые проблемы старославянской лексикологии (по материалам древнеболгарских рукописей X—XI вв.)	428
<i>Н. Ю. Шведова.</i> Дихотомия «присловные — неприсловные падежи» в ее отношении к категориям семантической структуры предложения . . . . .	450

**Славянское языкознание**

VIII Международный съезд славистов

(Загреб—Любляна, сентябрь 1978 г.)

*Утверждено к печати*

*Советским Комитетом славистов*

Редактор издательства *Н. Г. Герасимова*

Художественный редактор *Т. П. Поленова*

Технический редактор *И. Н. Жмуркина*

Корректоры *М. В. Борткова, Н. Г. Васильева*

ИБ № 5360

Сдано в набор 03.01.78. Подписано к печати 5.06.78.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 2.

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.

Усл. печ. л. 29,5. Уч.-изд. л. 32,9. Тираж 2900 экз.

Тип. зак. № 34.

Цена 3 р. 70 к.

Издательство «Наука».

117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а.

1-я типография издательства «Наука».

199034, Ленинград, В-34, 9-я лин., 12

# КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»

---

**Балканский лингвистический сборник.** (Институт славяноведения и балканистики). 1977. 324 с. 1 р. 01 к.

Сборник посвящен исследованию лингвистических проблем, связанных с языками Балканского полуострова и смежных с ним ареалов. Рассматриваются вопросы древних языковых и этнических контактов Балкан, актуальные проблемы современной балканской лингвистики. Материалы сборника отражают результаты новейших исследований в области балканистики.

Книга рассчитана на специалистов по балканистике, языкоznанию, а также по древней истории, этнографии, фольклору и мифологии.

---

**Восточнославянские языки. Источники для их изучения.** 1973. 312 с. 1 р. 03 к.

В статьях сборника раскрывается значение важных источников по истории русского языка, а также методов анализа текста памятников древнерусской письменности. Дается содержательная информация об отдельных памятниках русского языка; анализируются акцентованные рукописи и старопечатные книги; характеризуются материалы, собранные для словарей восточнославянских языков.

Книга рассчитана на широкие круги филологов и историков, на преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

---

**Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования.** 1974. 1976. 270 с. 93 к.

Сборник содержит статьи советских и зарубежных ученых-славистов, сотрудничающих в коллективной теме «Общеславянский лингвистический атлас». Значительная часть статей посвящена актуальным проблемам работы над ОЛА, главным образом — вопросам картографирования материала разных языков. Кроме того, публикуются статьи широкого славистического профиля, в которых освещаются самые различные аспекты истории и диалектологии славянских языков.

Книга рассчитана на широкий круг ученых-славистов и преподавателей вузов.

Заказы направляйте по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

- 480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97;
- 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 13;
- 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95;
- 252030 Киев, ул. Пирогова, 4;
- 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2;
- 197110 Ленинград, П-110, Петрозаводская ул., 7;
- 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12;
- 630090 Новосибирск, 90, Морской проспект, 22;
- 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137;
- 700029 Ташкент, 29, ул. К. Маркса, 28;
- 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге, 10;
- 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42;
- 310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6.

с. 73х.

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ